

Аркадий Аверченко Рассказы

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись. – Ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнил это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и спалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который докончил и уме: «...хорошего в ученьи».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и, нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя ла-

комый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распроставшийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению, выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосыгаем!

– Сережа служит, а ты еще не служишь... – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека, в жилете, без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку. – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самым главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я. – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя. – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там, – попросил меня главный агент. Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто. Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того лодырем, предупредительно сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился. Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

– Что это такое? – изумился я.

– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

– Ну?

– Так не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Прodelав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина – был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими, отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывая работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрызгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году,¹ и была она, как мне казалось, сплошным триумфом.

Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

¹ В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, наиболее вероятен 1903 год.

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я. – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я – могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот – начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

* * *

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

ХЛОПОТЛИВАЯ НАЦИЯ

Рассказы

В ресторане

– Фокусы! Это колдовство! – услышал я фразу за соседним столиком.

Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.

Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ был дурак.

Был дурак в прямом и ясном смысле этого слова.

Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:

– Не более как ловкость и проворство рук.

– Это колдовство! – упрямо стоял на своем черный, обсасывая свой ус.

Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:

– Хорошо! Что здесь нет колдовства, хотите, я докажу?

Черный мрачно улыбнулся.

– Да разве вы, как его... пре-сти-ди-жи-да-тор?²

– Вероятно, если я это говорю! Ну, хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их?

Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:

– За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!

– Вполне постижимо! Ну, идет – сто рублей?

– Нет, это много! У меня есть только пять.

– Да ведь мне все равно... Можно меньше – хотите три бутылки пива?

Черный ядовито подмигнул:

– Да ведь проиграете!

– Кто, я? Увидим!..

Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел руки.

– Ну, смотрите на часы и следите, чтобы не было больше пяти минут!

Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом.

– Раз, два, три! Начинаю!

Человек, объявивший себя фокусником, взял нож, поставил тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы.

– На пиджаке тоже есть?

– Как же!.. Сзади, на рукавах, около карманов. Пуговицы со стуком сыпались в тарелку.

– У меня и на брюках есть! – корчась от смеха, говорил черный. – И на ботинках!

– Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь, все будет отрезано!

Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.

Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.

– На ботинках по восьми пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно.

Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.

Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал:

– Готово, все!

Лакей восхищенно всплеснул руками:

– 82 штуки. Ловко!

– Теперь пойдешь принеси мне иголку и ниток! – скомандовал фокусник. – Живо, ну!

² Фокусник, развивший необыкновенную ловкость и быстроту пальцев рук.

Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.

– Поздно! Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли! Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.

– Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну, нечего делать!.. Человек! Принеси за мой счет этим господам три бутылки пива и, кстати, скажи, сколько с меня следует?

Черный человек побледнел:

– Ку-куда же вы? Фокусник зевнул:

– На боковую... Спать хочется, как собаке. Намаешься за день...

– А пуговицы... пришить?

– Что? Чего же я их буду пришивать, если проиграл... Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен... Всех благ, господа!

Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами.

– Гос-по-ди! Что же теперь будет? Что с ним было, я не знаю.

Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц.

Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго без слов хохотали.

Сплетня

Контролер чайно-рассыпного отделения Федор Иванович Аквинский шел в купальню, находящуюся в двух верстах от нанимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать дачей...

Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холодка, осторожно спустился по ветхой шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое пред-рассветной росой, бросало слабые теплые блики на тихую, как зеркало, воду.

Какая-то не совсем проснувшаяся мошка очертя голову взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.

Аквинский попробовал голый ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собирался с духом, не решаясь броситься в холодную прозрачную влагу...

И только что он затаил дыхание и вытянул руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.

Аквинский остановился и посмотрел налево.

Из-за серой, позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова и наконец выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды четко показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой материей.

Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрепал голый рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:

– Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере, и женщины, и мужчины купаются вместе... Ну и штука!

Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:

«Ну, хорошо... скажем, купаются вместе... а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!»

Придя на службу в таможню, он после обычной возни в пакгаузе сел на ящик из-под чая и, спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом...

– Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю – из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает... Ну, думаю, увидит меня да мужу скажет... Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются... Гы!.. Вот бы поехать!

Когда, через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:

– Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался... Говорит, что в какой-то там Ривьере все вместе – и мужчины и женщины купаются. Говорит – поеду в Ривьеру. Поедешь, как же... На это деньги надо, голубчик!

– Отчего же! – вмешался пакгаузный Нибелунгов. – У него тетка, говорят, богатая; может у тетки взять...

Послышались шаги секретаря, и вся закусывающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.

А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, сучонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:

– Вот дела-то какие, Петровна, у нас в таможене! Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой сманил... Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято... Хе-хе!

– Ах бесстыдники! – целомудренно потупилась Петровна. – Ну и езжали бы себе подальше, а то – на-ко, здесь разврат заводят! Только куда ему с ней... Она баба здоровая, а он так – тьфу!

На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Портупеевых, пришла к Петровне просить по-соседски уюги для барыниных юбок, душа госпожи Портупеевой не выдержала:

– Это что же, для Ривьеры глаженные юбки понадобились?

– Ах, что вы! Слова такие! – усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.

– Ну да! Небось тебе-то да не знать... Она скорбно помолчала.

– Эхма, дурость бабья наша... И чего нашла она в нем?

Горничная, все-таки не понимавшая в чем дело, вытаращила глаза...

– Да, ваша Марья Григорьевна – хороша, нечего сказать! С пакгаузной крысой Аквинским снюхалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру, на купанье бежать, и деньги у тетки он достать посулился... Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и все!

Горничная всплеснула руками.

– Да правда ли это, Анисья Петровна?

– Врать тебе буду. Весь город шуршит об этом.

– Ах, ужаси!

Горничная опрометью, позабывши об утюгах, бросилась домой и на пороге кухни столкнулась с самым членом таможи, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.

– Что с вами, Миликтриса Кирбитьевна? – прищурил глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. – Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников...

– Оставьте! – огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных tête-à-tête.³ – Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками...

Пухлое, невозмутимое лицо члена таможи приобрело сразу совсем другое выражение.

Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенькой, чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'ом.⁴

Но, учуяв какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Отелло с теми особенностями и отклонениями от этого типа, которые налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.

³ Здесь: свидание наедине (фр.).

⁴ Железной дорогой (фр.).

Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.

– Что? Что ты говоришь, п-подлая? Повтори-ка!!

Испуганная этим неожиданным превращением члена таможи, горничная слезливо заморгла глазами и потупилась:

– Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут ни при чем! Мое дело сторона! А как весь город уже говорит, то чтоб после на меня чего не было... Скажут – ты помогала! А я как перед Господом!..

Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:

– Рассказывай: с кем, как и когда? Горничная почувяла под собой почву.

– Да все с этим же... трухлявым! Федором Ивановичем... что в прошлом году раков вам в подарок принес... Вот тебе и раки! И как они это ловко... Уже все и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет – тетка евонная богатая, – и вместе купаться поедут в Ривьеру куда-то... Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..

* * *

Сидя за покосившимся столиком в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпочного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.

Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой голове Аквинского... Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.

Похоже было, что кто-то, по небрежности, забыл пересыпать никому не нужную вещь – Аквинского – нафталином и сложить на лето в сундук... Моль и поела Аквинского.

Он писал:

«Милая тетенька! Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении... За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело... Вчера досмотрщик Сычевой сказал, подойдя к моему столику, что меня требуют член таможи господин Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял... Сначала говорит: „Вы, – говорит, – Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?“ – „Никак нет“, – отвечаю... А он как закричит: „Так вот как!!! Не лгите! Вы, – говорит, – попрали самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблете!! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором – предупреждаю – вы же и захлебнетесь!!“ Ужасно эти ученые люди туманно говорят... Потом и про вас, тетенька... „Вы, – говорит, – вашу тетку порешили ограбить... вашу старую тетку, а это стыдно! безнравственно!!“ Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посылаю вам обычных десяти рублей на содержание? Как я уже вам объяснял – это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на все лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки – не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы... А за что? Какие-то устои, водоворот... Насчет же семейной жизни что он говорил – так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, я не женат...»

Пропавшая калоша Доббльса (Соч. А. Конан-Дойля)

Мы сидели в своей уютной квартирке на Бэкер-стрит в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. (Удивительно: когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись...)

Итак, по обыкновению, выла буря, Холмс, по обыкновению, молча курил, а я, по обыкновению, ожидал своей очереди чему-нибудь удивиться.

– Ватсон, я вижу – у тебя флюс. Я удивился:

– Откуда вы это узнали?

– Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого! Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком.

– Поразительно!! Этакая наблюдательность. Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шею в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко-де-Гама.

Когда он заканчивал 39-ю симфонию Юлиа Генриха Циммермана, в комнату с треском вошел неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью.

– Г. Холмс! Я Джон Бенгам... Ради Бога помогите! У меня украли... украли... Ах! страшно даже вымолвить...

Слезы затуманили его глаза.

– Я знаю, – хладнокровно сказал Холмс. – У вас украли фамильные драгоценности.

Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока.

– Как вы сказали? Фамильные... что? У меня украли мои стихи.

– Я так и думал! Расскажите обстоятельства дела.

– Какие там обстоятельства! Просто я шел по Трафальгар-скверу и, значит, нес их, стихи-то, под мышкой, а он выхвати да бежать! Я за ним, а калоша и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша – вот.

Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и наконец, откусивши кусок, с трудом разжевал его и проглотил.

– Теперь я понимаю! – радостно сказал он. Мы вперили в него взоры, полные ожидания.

– Я понимаю... Ясно, что эта калоша – резиновая! Изумленные, мы вскочили с кресел.

Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения, но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало.

– Господи помилуй! Это колдовство какое-то! По уходе Бенгама мы помолчали.

– Знаешь, кто это был? – спросил Холмс. – Это мужчина, он говорит по-английски, живет в настоящее время в Лондоне. Занимается поэзией.

Я всплеснул руками:

– Холмс! Вы сущий дьявол. Откуда же вы все это знаете?

Холмс презрительно усмехнулся.

– Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор – несомненно, мужчина!

– Да какая же сорока принесла вам это на хвосте?

– Ты обратил внимание, что калоша мужская? Ясно, что женщины таких калош носить не могут!

Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день как дурак.

Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке.

Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии.

Кончивши элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микель-Анджело и на половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне:

– Ну, Ватсон – собирайся! Я таки нащупал нить этого загадочного преступления.

Мы оделись и вышли.

Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймса».

Мы прошли прямо к редактору.

– Сэр, – сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы. – Если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи – задержите его и сообщите мне.

Я всплеснул руками:

– Боги! Как это просто... и гениально.

После «Таймса» мы зашли в редакцию «Дэли-Нью», «Пель-Мель» и еще в несколько. Все получили предупреждение.

Затем мы стали выжидать.

Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выла буря и

бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату забрызганный грязью.

– Холмс, – сказал неизвестный грубым голосом. – Я – Доббльс. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквере калошу – я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой белиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски.

– Ну, мы эти штуки знаем, любезный, – пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол.

Но Доббльс прыгнул к дверям и, бросивши в лицо Шерлока рукопись, как метеор скатился с лестницы и исчез. Другую калошу мы нашли после в передней.

Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош, но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным.

Кроме этого преступления, Холмс открыл и другие, может быть, более интересные, но я рассказал о пропавшей калоше Доббльса как о деле, наиболее типичном для Шерлока.

Друг

I

Душилов вскочил с своего места и, схватив руку Крошкина, попытался выдернуть ее из предплечья.

Он был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь сказал ему, что эта хирургическая операция имела очень мало сходства с обыкновенным дружеским пожатием.

– Крошкин, дружище! Кой черт тебя дернул на это? Душилов помолчал и взял руку Крошкина на этот раз с осторожностью, как будто дивясь прочности Крошкиных связок после давешнего рукопожатия.

– Видишь, ты уже раскаиваешься... Ведь я эти глупые романы знаю – вот как! Я как будто сейчас вижу завязку этой гадости: когда однажды никого из ближних не было, ты ни с того ни с сего взял и поцеловал ее в физиономию... У них иногда действительно бывают такие физиономии... забавные. Она, конечно, как полагается в хороших домах, повисла у тебя на шее, а ты, вместо того чтобы стряхнуть ее на пол, сделал предложение... Было так?

Крошкин пожал плечами:

– Уж очень ты оригинально излагаешь! Впрочем, что-то подобное было. Но что поделаешь... Глупость совершена – предложение сделано.

– Ах ты Господи! Можно все еще исправить. Ты еще можешь разойтись.

– Черт возьми! Как?! Душилов впал в унылое раздумье.

– Не мог ли бы ты... поколотить ее отца, что ли! Тогда, я полагаю, все бы расстроилось, а?

– То есть как поколотить? За что?

– Ну... причину можно найти. Явиться не в своем виде – прямо к старику. Ты что, мол, делаешь? Газету читаешь? Так вот тебе газета! Да по голове его!

– Послушай... Как ты думаешь: может дурак хотя иногда чувствовать себя дураком?

– Иногда пожалуй, – согласился Душилов серьезно. – Но сейчас я не чувствую в себе припадка особенной глупости: обычное хроническое состояние. Хотя старика, пожалуй, бить жалко...

– Ну, вот видишь! Ах, если бы она меня разлюбила! Не нашел бы ты человека счастливее меня!

Душилов сделал новую попытку вывихнуть руку Крошкина, но тот привычным движением спрятал ее в карман.

– Друг Крошкин! Хочешь, я это сделаю? Хочешь, она тебя разлюбит?

– Может, ты ее собираешься поколотить?

– Фи, что ты! Я только буду иметь с ней разговор... в котором немного преувеличу твои недостатки, а?

Крошкин подумал.

– Знаешь, удав, – это мысль! Только ты можешь все испортить!

– Кто, я? Будет сделано гениально.

– Сумасшедший, постой! Куда ты?

Боясь, чтобы друг не раздумал, Душилов схватил шапку, опрокинул столик, оторвал драпировку и исчез.

II

Душилов сидел в саду с прехорошенькой блондинкой и вел с ней крайне странный разговор.

– Итак, вы, Душилов, чувствуете себя превосходно... я рада за вас. А что подельывает Крошкин?

– Какой Крошкин?

– Ну, ваш друг!

– Он мне теперь не друг!

– Что вы говорите! Почему?

– Потому что он не Крошкин!

– А кто же он?

Душилов сокрушенно вздохнул.

– Человек, который живет по фальшивому паспорту, не может быть моим другом.

Побледневшая блондинка открыла широко испуганные глаза.

– Что вы говорите! Зачем ему это понадобилось?

– Вы читали в прошлом году об убийстве в Москве старого ростовщика? Убийца его, студент Зверев, до сих пор не найден... Теперь вы понимаете?!

– Душилов... Вы меня... с ума сведете.

– Еще бы! Я и сам хожу теперь как потерянный!

– Боже мой... Такой симпатичный, скромный, непьющий...

Душилов развел руками:

– Это он-то непьющий?! Потомственный почетный алкоголик... Вчера он у вас не был?

– Не был.

– Вчера он ночевал в участке. Доктор говорит, что скоро будет белая горячка. Погибший парень!

– Я с ума сойду! Ведь он был такой добрый... Когда умерла его тетка, он пришел к нам и навзрыд плакал...

– Комедия! Если бы отрыть тетку и произвести экспертизу внутренностей...

– Господи! Вы думаете...

– Я уверен.

– Но каково это его сестре! Душилов грубо расхохотался.

– Полноте! Вы имеете наивность думать, что это его сестра! У них в Могилеве была фабрика фальшивых монет, а познакомились они в Киеве, где оба обобрали одного сонного сахарозаводчика. Хорошая сестра!

На глазах девушки стояли слезы.

– Вы знаете, что он хотел на мне жениться?

– Знаю! Он вам говорил о своем намерении совершить свадебную поездку по Черному морю?

– Да... Мы так мечтали.

– Знайте же, слепая безумица, что вы должны были попасть в продажу на константинопольский рынок невольниц. У них с сестрой уже это все было устроено!..

Добрые, сочувственные глаза Душилова с искренним состраданием смотрели на девушку.

– Душилов... один вопрос: значит, он меня не любил?

– Видите ли... У него есть любовница – француженка Берта, отбывшая в прошлом году в парижском Сен-Лазаре наказание за кражи и разврат.

Девушка глухо, беззвучно плакала.

- Этого... я ему никогда не прощу.
- И не прощайте! Я вас вполне понимаю... Кстати, у вас столовое серебро в целости?
- Ка-ак! Неужели он дошел до этого?
- Ничего не скажу... Вы знаете, я не люблю сплетничать, но вчера мне удалось видеть у него две столовые ложки с инициалами вашей доброй мамы. Ну, мне пора. Прикажете передать Крошкину, alias⁵ Звереву, от вас привет?
- Девушка вскочила с растрепанной прической и гневным лицом:
- Скажите ему... что он самый низкий мерзавец! Что ему и имени нет!
- Так и скажу. Хотя имя у него есть, и даже целых четыре. Я еще скажу, что он, кроме мерзавца, поджигатель и детоубийца – я нисколько не ошибусь. Ну-с, всего доброго. Поклон уважаемому папаше!
- Душилов ушел из сада в самом благодушном настроении.

III

- На другой день он решил зайти к другу Крошкину поделиться удачными результатами. Вбежавши, как всегда, без доклада, он заглянул в кабинет друга и увидел его в странной компании.
- За столом сидел судебный следователь и сухо, официально спрашивал бледного, перепуганного Крошкина:
- Итак, убийство ростовщика вы решительно отрицаете? Лучше всего вам сознаться. Хорошо-с! А не скажете ли вы нам, чем вы занимались в прошлом году в Могилеве с вашей сообщницей, которую вы выдаете за сестру и которая так ловко оперировала в деле с сахарозаводчиком?.. Не согласитесь ли вы сознаться, что смерть вашей несчастной тетки ускорена не природой, а человеком, и этот человек были вы, – при соучастии любовницы, француженки Берты, которую полиция сегодня тщетно разыскивает? Не запирайтесь, вы видите, что правосудию все известно!..

Люди четырех измерений

I

- Удивительно они забавные! – сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.
- Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:
- Совершенно верно. – Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.
- Иногда они смешат меня.
- Это мило с их стороны, – осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.
- Вы знаете, он – настоящий Отелло.
- Так как до сих пор мы говорили о старике докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:
- Никогда этого нельзя было подумать! Она вздохнула.
- Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.
- Ах, вы говорите о муже! Но ведь он... Она удивленно посмотрела на меня.
- Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.
- Упал, что ли?
- Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку. Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной. Я беспомощно взглянул на

⁵ Здесь: иначе (говоря) (лат.).

нее и сказал:

– До тех пор, пока вы не разьясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.

– Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень раздумялась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете – я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, – настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, – говорит, – закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове – трах! И молодой человек, как этот самый... сноп, – падает. Ужас!

– Неужели он его приревновал ни с того ни с сего?! Она пожала плечами.

– Я же вам говорю: они удивительно забавные!

II

Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.

– Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не видите!

– И не покажусь, – пошутил я. – Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.

Он захохотал.

– Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то – подумайте – у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги...

Я отшатнулся от него:

– Но... при чем здесь серьги?

– Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глушь отчаянная.

– Вы думаете, что это грабитель?

– Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку – ясно, кажется.

Он обиженно замолчал.

– Так вы его... кирпичом?

– По голове. Не пискнул даже... Мы тоже эти дела понимаем.

Недоумевая, я простился и пошел дальше.

III

– За вами не поспеешь! – раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.

Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.

– Боже! Что с вами случилось?!

– Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.

– Но... ради Бога! Чем вы были больны?

Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:

– Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?

– Не знаю. А что?

– Ну... не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?

– Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.

– Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.

Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:

– Вы говорите – шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?

– Ну да. Вы, наверно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни... Сижу я как-

то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу, – черт возьми! Нет спичек... Ну, думаю, будет проходить добрая душа – попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел: рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И – что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то – и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:

– Вы... действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?

– Я в этом уверен.

Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и наконец нашел, что мне требовалось.

Это была небольшая заметка в хронике происшествий: «Под парами алкоголя. – Вчера утром сторожами, убиравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию...»

* * *

Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны...

И смеюсь, смеюсь.

День госпожи Спандиковой

День госпожи Спандиковой начался обычно.

С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче «хронической дурой» и «рыжей тетехой», а потом долго причесывалась.

Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку.

Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга вставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу.

В городе она купила десять фунтов сахарного песку, цветов в глиняном горшке и опять колотила Кольку.

Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае.

Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика.

Извозчик сообщил, что считает ее чертовой куклой, а госпожа Спандикова высказала замечание, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора.

Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал.

Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась.

– Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Наседкиной.

Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной жен-

щиной, не обращая внимания на Кольку. А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком.

Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделался легкий, и сначала радовалась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар.

Поезд же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком.

– Мука моя мученская! – простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком.

Из Галочки, сахара, цветка, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое: Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелица растения держала его за верхушку.

Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара.

* * *

Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться, и так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней.

Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей.

– Чего ты? – спросил господин Спандиков.

– Я потеряла обручальное кольцо в воде, – всхлипнула госпожа Спандикова.

– Ну? Очень жаль. Впрочем, что же делать – потеряла, значит, и нет его. Пойдем.

– Как пойдем? – вспыхнула госпожа Спандикова. – Так может говорить только старый осел!

– Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?

Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила:

– Ты.

– Ну ладно, ну я... Пойдем, милая.

– Как пойдем?! Кольцо необходимо найти.

– Я куплю другое. Пойдем, милая.

– Он купит другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо значит – большое несчастье.

– Первый раз слышу!

– Он первый раз слышит!.. Это известно всякому младенцу.

– Ну, я иду домой.

– Он пойдет домой! Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?

– Купить другое? – пошутил муж. Госпожа Спандикова всплеснула руками:

– Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду. Я не могу уйти без кольца... Это принесет нам страшное несчастье.

– Да мне не хочется.

– Лезь.

Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.

– Ищи тут!

Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.

– Ищи же тут! Нырни еще.

Муж нырнул еще. Потом, отфыркиваясь, спросил:

– Разве ты в этом месте купалась?

– Нет... вот здесь! Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону.

– Да течение не оттуда, а отсюда.

– Не может быть... Почему же, когда мы купались у Красной рожи, течение было отсюда?

– Потому что мы были на том берегу реки.

– Это все равно! Ищи!

Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку грустный, с искаженным лицом...

– Не могу больше! – прохрипел он.

– Это еще что за новости?!

– Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо для моего здоровья.

– Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье... Поищи еще здесь...

* * *

Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:

– Поищи еще вот тут! В то время, когда я купалась, дул северо-восточный ветер...

В сущности, ветер указанного госпожой Спандиковой направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к местопребыванию кольца, но тем не менее господин Спандиков, зеленый, как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной, маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой.

Вернулись вечером.

Господин Спандиков лег в постель и все время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали коньяку, но у него появилась рвота. В одиннадцать с половиной часов господин Спандиков умер.

.....
На даче все оживилось.

Послышался вой прислуги, плач детей и рыдания самой госпожи Спандиковой.

Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром «хронической душой» и «рыжей тетехой».

Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу.

Сочувствовала.

Утром рыжая соседка говорила своему мужу:

– Видишь! А ты еще не верил приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами... Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета!

– Ну? – спросил муж хронической дуры.

– Ну – и в тот же день у нее умирает муж! Можешь себе представить?

Поэт

– Господин редактор, – сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки, – мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради бога, простите меня!

– Ничего, ничего, – ласково сказал я, – не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

– Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

– Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению только, ваши стишки не подошли.

– Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня:

– Эти стишки не подошли??!

- Да, да. Эти самые.
- Эти стишки??! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

– К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

- Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.
- Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.
- Да вы бы их еще раз прочли!
- Да зачем же? Ведь я читал.
- Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой – сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

– Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон...»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

- Стихи не подходят.
- Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.
- Нет, зачем же оставлять?!
- Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?
- Не надо. Оставьте их у себя.
- Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...
- До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел:

«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполл...»

– Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать. Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...» – и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

– Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

– Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

– «Хотел бы я ей черный ло...» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

– Чего ты такой задумчивый? – спросила жена.

– Хотел бы я ей черный ло... Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

– Что такое?

– Тс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что она очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

Хотел бы я ей черный локон... –

все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

– От кого это?

– Брось! Это так... глупости. Один очень надоедливый человек.

– Да? А что это тут написано?.. Гм... «Целовать»... «ажное утро»... «черны... локон...» Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь сунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

– Папочка! – радостно закричал Володя. – Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

– Я тебя высеку, – злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»... – Ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

– Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов, – вот это настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меня это то на продажных тварей, – и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то волосы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то волосы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью

лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

Хотел бы я ей черный локон...

Здание на песке

I

Я сидел в уголку и задумчиво смотрел на них.

– Чья это ручонка? – спрашивал муж Митя жену Липочку, теребя ее за руку.

Я уверен, что муж Митя довольно хорошо был осведомлен о принадлежности этой верхней конечности именно жене Липочке, а не кому-нибудь другому, и такой вопрос задавался им просто из праздного любопытства...

– Чья это маленькая ручонка?

Самое простое – жене нужно было бы ответить:

– Мой друг, эта рука принадлежит мне. Неужели ты не видишь сам?

Вместо этого жена считает необходимым беззастенчиво солгать мужу прямо в глаза:

– Эта рука принадлежит одному маленькому дурачку. Не опровергая очевидной лжи, муж Митя обнимает жену и начинает ее целовать. Зачем он это делает, Бог его знает.

Затем муж бережно освобождает жену из своих объятий и, глядя на ее неестественно полный живот, спрашивает меня:

– Как ты думаешь, что у нас будет?

Этот вопрос муж Митя задавал мне много раз, и я каждый раз неизменно отвечал:

– Окрошка, на второе голубцы, а потом – крем. Или:

– Завтра? Кажется, пятница.

Отвечал я так потому, что не люблю глупых, праздных вопросов.

– Да нет же! – хохотал он. – Что у нас должно родиться?

– Что? Я думаю, лишенным всякого риска мнением будет, что у вас скоро должен родиться ребенок.

– Я знаю! А кто? Мальчик или девочка?

Мне хочется дать ему практический совет: если он так интересуется полом будущего ребенка, пусть вскроет столовым ножиком жену и посмотрит. Но мне кажется, что он будет немного шокирован этим советом, и я говорю просто и бесцельно:

– Мальчик.

– Ха-ха! Я сам так думаю! Такой большущий, толстый, розовый мальчуган... Судя по некоторым данным, он должен быть крупным ребенком... А? Как ты думаешь... Что мы из него сделаем?

Муж Митя так надоел мне этими вопросами, что я хочу предложить вслух:

– Котлеты под морковным соусом. Но говорю:

– Инженера.

– Правильно. Инженера или доктора. Липочка! Ты показывала уже Александру свивальнички? А нагрудничков еще не показывала? Как же это ты так?! Покажи.

Я не считаю преступлением со стороны Липочки ее забывчивость и осторожно возражаю:

- Да зачем же показывать? Я после когда-нибудь увижу.
- Нет, чего там после. Я уверен, тебя это должно заинтересовать.
- Передо мной раскладываются какие-то полотняные сверточки, квадратики.
- Я трогаю пальцем один и робко говорю:
- Хороший нагрудничек.
- Да это свивальник! А вот как тебе нравится сия вещь?
- Сия вещь решительно мне нравится. Я радостно киваю головой:
- Панталончики?
- Чепчик. Видите, тут всего по шести перемен, как раз хватит. А колыбельку вы не видели?
- Видел. Три раза видел.
- Пойдемте, я вам еще раз покажу. Это вас позабавит.
- Начинается тщательный осмотр колыбельки. У мужа Мити на глазах слезы.
- Вот тут он будет лежать... Большой, толстый мальчишка. «Папочка, – скажет он мне, – папочка, дай мне карамельку!» Гм... Надо будет завтра про запас купить карамели.
- Купи пуд, – советую я.
- Пуд, пожалуй, много, – задумчиво говорит муж Митя, возвращаясь с нами в гостиную.
- Рассаживаемся. Начинается обычный допрос:
- А кто меня должен поцеловать?
- Жена Липочка догадывается, что этот долг всецело лежит на ней.
- А чьи это губки?
- Из угла я говорю могильным голосом:
- Могу заверить тебя честным словом, что губы, как и все другое на лице твоей жены, принадлежат именно ей!
- Что?
- Ничего. Советую тебе сделать опись всех конечностей и частей тела твоей жены, если какие-нибудь сомнения терзают тебя... Изредка ты можешь проверять наличность всех этих вещей.
- Друг мой... я тебя не понимаю... Он, Липочка, кажется, сегодня нервничает. Не правда ли?... А где твои глазки?
- Эй! – кричу я. – Если ты нащупаешь ее нос, то по левой и правой стороне, немного наискосок, можешь обнаружить и глаза!.. Не советую даже терять времени на розыски в другом месте!
- Вскакиваю и не прощаясь ухожу. Слышу за своей спиной полный любопытства вопрос:
- А чьи это ушки, которые я хочу поцеловать?..

II

Недавно я получил странную записку:

«Дорог Александр Сегодня она, кажется, уже! Ты понимаешь?.. Приходи, посмотрим на пустую колыбельку она чувствует себя превосход. Купил на всякий слу. карамель. Остаюсь твой счастливый муж, а вскорости и счастли. отец!!!! Ого-го-го!!»

«Бедняга помешается от счастья», – подумал я, взбегая по лестнице его квартиры.

Дверь отворил мне сам муж Митя.

– Здравствуй, дружище! Что это у тебя такое растерянное лицо? Можно поздравить?

– Поздравь, – сухо ответил он.

– Жена благополучна? Здорова?

– Ты, вероятно, спрашиваешь о той жалкой кляче, которая валяется в спальне? Они еще, видите ли, не пришли в себя... ха-ха!

Я откачнулся от него.

– Послушай... ты в уме? Или от счастья помешался? Муж Митя сардонически расхохотался.

– Ха-ха! Можешь поздравить... пойдём, покажу.

– Он в колыбельке, конечно?

– В колыбельке – черта с два! В корзине из-под белья!

Ничего не понимая, я пошел за ним и, приблизившись к громадной корзине из-под белья, с

любопытством заглянул в нее.

– Послушай! – закричал я, отскочив в смятении. – Там, кажется, два!

– Два? Кажется, два? Ха-ха! Три, черт меня возьми, три!! Два наверху, а третий куда-то вниз забился. Я их свалил в корзину и жду, пока эта идиотка акушерка и воровка нянька не начнут пеленать...

Он утер глаза кулаком. Я был озадачен.

– Черт возьми... Действительно! Как же это случилось?

– А я почему знаю? Разве я хотел? Еще радовался, дурак: большой, толстый мальчишка!

Он покачал головой.

– Вот тебе и инженер!

Я попробовал утешить его.

– Да не печалься, дружище. Еще не все потеряно...

– Да как же! Теперь я погиб...

– Почему?

– Видишь ли, пока что я лишился всех своих сорочек и простынь, которые нянька сейчас рвет в кухне на пеленки. У меня забрали все наличные деньги на покупку еще двух колыбелей и наем двух мамок... Ну... и жизнь моя в будущем разбита. Я буду разорен. Всю эту тройку негодяев приходится кормить, одевать, а когда подрастут – учить... Если бы они были разного возраста, то книги и платья старшего переходили бы к среднему, а потом к младшему... Теперь же книги нужно покупать всем вместе, в гимназию отдавать сразу, а когда они подрастут, то папирос будут воровать втрое больше... Пропало... все пропало... Это жалкое, пошлое творение, когда очнется, попросит показать ей ребенка, а которого я ей предъявлю? Я думаю всех вместе показать – она от ужаса протянет ноги... как ты полагаешь?

– Дружище! Что ты говоришь! Еще на днях ты спрашивал у нее: «А чья это ручка? Чьи ушки?»

– Да... Попались бы мне теперь эти ручки и губки! О, черт возьми! Все исковеркано, испорчено... Так хорошо началось... Свивальнички, колыбельки... инженер...

– Чем же она виновата, глупый ты человек? Это закон природы.

– Закон? Беззаконие это! Эй, нянька! Принеси колыбельки для этого мусора! Вытряхивай их из корзины!

Рыцарь индустрии

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил, – и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

– Почему не можете? – добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. – Конечно же, можете.

– Зайдите ко мне в таком случае, – сказал я, отходя от окна.

Он вошел, веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

– Цацкин.

– Очень рад. Не ушиблись ли вы?

– Чтобы сказать вам – да, так – нет! Чистейшей воды пустяки.

– Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? – подмигивая, спросил я. – Хе-хе.

– Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев, хе-хе?! Не желаете ли – могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр! Понимающие люди считают его выше французского.

– Нет, зачем же, – удивленно возразил я, всматриваясь в него. – Послушайте... ваше лицо кажется мне знакомо. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая?..

– Ничего подобного! Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по

вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

– Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти.

– Так вы – агент по страхованию жизни? – сухо сказал я. – Чем же я могу быть вам полезен?

– Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос: как вы хотите у нас застраховаться – на дожитие или с уплатой премии вашим близким после – дай вам Бог здоровья – вашей смерти?

– Никак я не хочу страховаться, – замотал я головой. – Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет... Я одинок.

– А супруга?

– Я холост.

– Так вам нужно жениться – очень просто! Могу вам предложить девушку – пальчики оближете! Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет! Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет – можно купить готовые. Адрес – магазин «Оборот»... Наша фирма...

– Господин Цацкин, – возразил я. – Ей-богу же, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни...

– Ой! Не созданы? Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь... Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собою радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно! Имеем массу благодарностей! Пробный флакончик...

– Оставьте ваши пробные флакончики при себе, – раздражительно сказал я. – Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

– Что такое – лысина? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем, так обростете волосами, как, извините, кокосовый орех! А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет! Рост? Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать! А вы мне говорите – рост...

– Ничего мне не нужно! – сказал я, сжимая виски. – Простите, но вы мне действуете на нервы...

– На нервы? Так он молчит!.. Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться! Есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но...

Я схватился за голову.

– Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите: сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин» – фирма уж сама доставит вам на дом...

– Извините, – сказал я, закусывая губу, – но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа – писать статью...

– Утомительная? – сочувственно спросил господин Цацкин. – Я вам скажу – она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма. Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки семь рублей, а за три – десять...

– Пошел вон! – закричал я, дрожа от бешенства. – Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье!!

– Этим пресс-папье? – презрительно сказал господин Цацкин, ошупывая пресс-папье на моем письменном столе. – Этим пресс-папье... Вы на него дуньте – оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-папье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита...

Я нажал кнопку электрического звонка.

– Вот сейчас придет человек – прикажу ему вывести вас!

Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего

обещания. Прошло две минуты. Я позвонил снова.

– Хорошие звонки, нечего сказать, – покачал головой господин Цацкин. – Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят. Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные звонки...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу.

– Идите! Или у меня сейчас будет разрыв сердца...

– Это не дай бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и – распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и прищурясь сказал:

– В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! Хорошие английские замки вы можете иметь через меня – один прибор два рубля сорок копеек, за три – шесть рублей пятьдесят копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

– Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил:

– Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две дешевле, а три еще дешевле. Прошу вас убедиться!..

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно. Падая, он успел крикнуть мне:

– У вас очень непрактичные запонки на манжетах! Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией, пара два рубля, три пары де...

Я захлопнул окно.

Ниночка

I

Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову, и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.

Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует.

Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно, и только в глазах время от времени пробежали искорки голубого света.

Мишкин подошел к ней ближе и сказал:

– Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?

– Почему же? – удивилась Ниночка. – Я за это жалованье получаю.

– Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки? Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...

– Грудь не болит.

– Я очень рад. Вам не холодно?

– Отчего же мне может быть холодно?

– Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают. Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?

– Оставьте мои руки в покое!

– Милая... Одну минутку... Пойдите... Зачем вырываться? Я, это самое... рукав, который просвечив...

– Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!

Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги.

Волосы у нее сбились в сторону и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.

– Мерзавец, – прошептала Ниночка. – Я тебе этого так не прощу.

Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:

«К кому же мне идти? Пойду к адвокату».

II

Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.

– Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? – ласково спросил адвокат Язычников.

– Нельзя ли его сослать в Сибирь? – попросила Ниночка.

– В Сибирь нельзя... А притянуть его вообще к ответственности можно.

– Ну, притяните.

– У вас есть свидетели?

– Я – свидетельница, – сказала Ниночка.

– Нет, вы – потерпевшая. Но, если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас следы насилия?

– Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверно, там теперь синяк.

Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.

– Покажите руку, – сказал адвокат.

– Вот тут, под кофточкой.

– Вам придется снять кофточку.

– Но ведь вы же не доктор, а адвокат, – удивилась Ниночка.

– Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?

– Нет, не знаю.

– Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличность преступления, я должен прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.

Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать с одного плеча кофточку.

Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на белорозовом фоне плеча и вежливо сказал:

– Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое?.. Грудь?

– Не трогайте меня! – вскричала Ниночка. – Как вы смеете?

Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.

– Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов...

– Вы – нахал! – перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.

Идя по улице, она говорила сама себе: «Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее – это пойти к доктору, пусть он даст свидетельство о гнусном насилии».

III

Доктор Дубяго был солидный пожилой человек. Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:

– Разденьтесь.

Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки и попросил:

– Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь...

– Зачем же совсем? – вспыхнула Ниночка. – Он меня хватал за руку. Я вам руку и покажу.

Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.

– Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд. Позвольте, я вам помогу.

Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но и обыкновенные.

– Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

IV

Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.

«Вот вам – друзья человечества! Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся масками добродетели».

Ниночка прошла несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз в неделю.

Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.

– Ха-ха! – горько засмеялся он. – Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз – справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас!

– Прикажете снять кофточку? – робко спросила Ниночка.

– Кофточку? Зачем кофточку?.. А, впрочем... можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы, гм... культуры.

Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.

– Однако, руки же у вас... разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет... постойте... чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут... в сгибе... А... Гм... согласитесь, что вам никакого ущерба от этого не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...

Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.

Идя домой, она улыбалась сквозь слезы: «Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»

Вечером Ниночка сидела дома и плакала.

Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переделась и пошла посидеть к соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.

Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым, бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала студента профессором.

Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:

– Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.

– Меня сегодня обидели, Ихневмонов, – садясь, скорбно сообщила Ниночка.

– Ну!.. Кто?

– Адвокат, доктор, старик один... Такие негодяи!

– Чем же они вас обидели?

– Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...

- Так... – перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, – это нехорошо.
- У меня рука болит, болит, – жалобно протянула Ниночка.
- Этакие негодяи! Пейте чай.
- Наверно, – печально улыбнулась Ниночка, – и вы тоже захотите осмотреть руку, как те.
- Зачем же ее осматривать? – улыбнулся студент. – Есть синяк – я вам и так верю.
- Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.
- До сих пор рука горит, – пожаловалась Ниночка. – Может, примочку какую-нибудь надо?
- Не знаю.
- Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, – я вам верю.
- Ихневмонов пожал плечами.
- Зачем же вас затруднять... Будь я медик – я бы помог. А то я – естественник.
- Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:
- А вы все-таки посмотрите.
- Пожалуй, показывайте вашу руку... Не беспокойтесь... вы только спустите с плеча кофточку... Так... Это?... Гм... Действительно, синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро пройдет.
- Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу.
- Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голое плечо матово блестело при свете убогой лампы.
- Вы бы одели в рукав, – посоветовал Ихневмонов. – Тут чертовски холодно.
- Сердце Ниночки сжалось.
- Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, – сказала Ниночка неожиданно, после долгого молчания.
- Экий негодяй! – мотнул головой студент.
- Показать?
- Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:
- Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует. Простудитесь – что хорошего? Ей же богу, я в этой медицине ни уха, ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.
- Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.
- Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.
- Отчего же, помилуйте, – сказал Ихневмонов, энергично трясая на прощанье руку Ниночки.
- Войдя в свою комнату, Ниночка опустила на кровать и, потупив глаза, еще раз повторила:
- Какие все мужчины негодяи!

Страшный человек

I

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупое покрывающий какую-нибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы: аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа – любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетовода.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете,

стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подзрительными личностями с нахлобученными на глаза шляпами и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

– Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, два пуда три фунта.

Химиков писал квитанцию, но когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на глаза широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы по дороге на него было произведено нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но или негодьям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.

II

Химиков благополучно добирался домой, с отвращением съедал обед из двух блюд с вечным киселем на сладкое. Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная, упорная борьба.

– Я не хочу вашего супа с битком, – говорил он обиженно. – Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню. Он хотел сделать так.

Съесть, надвинув на глаза шляпу, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но, раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего, эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный Лебедь».

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось его название «Черный Лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие, закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он таинственно озираясь, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывающими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

– Эй, паренек, позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

– Их нет-с, – говорил обычно слуга. – Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

– Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха! – грубо смеялся он, хлопая себя по карману. – Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал какому-то из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел его на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

– Доброе пиво! Есть чем Матвею промочить глотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что на него все смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

III

Вокруг него шумела и ругалась городская гольтьба, он думал: «Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто, – будут со страхом спрашивать, – стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это – страшный человек! Потом княжну какуюнибудь украсть...»

Он шарил под плащом находившийся там между складками кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал слуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

«Хорошо бы, – подумал он, – если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал». И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог идти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека («эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся»).

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудость бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:

– Вот... возьми себе.

При этом монету бросал он на землю, что доставляло нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

IV

У помощника счетовода был один только друг – сын квартирной хозяйки, Мотька, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

– Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотька робко входил в комнату Химикова и садился в уголок.

Химиков в задумчивости шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

– Ну, тезка... Было сегодня жаркое дело.

– Бы-ло? – спрашивал Мотька, дрожа всем телом. Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

– Да, брат... Купчишку одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча – чудо что такое.

– А что же вы с купцом сделали? – тихо спросил бледный Мотька.

– Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я бы, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов – Лоренцо, и я, ха-ха, поквитался с ним!

– Кричал? – умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся у него на голове.

– Не цыкнул. Нет, это что... Это забава сравнительно с делом старухи Монморанси.

– Какой... старухи? – прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.

– Была, брат, такая старуха... Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с... Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери... Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была потеха! Я че-

тырех уложил... Ну, и мне попало! Две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

– А сколько... вы вообще человек... уложили? Химиков задумывался:

– Человек... двадцать, двадцать пять. Не помню, право. А что?

– Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть...

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

– Ничего, брат, зато я здесь, на этом свете, натешусь властью... а потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду босой в Иерусалим...

Химиков кутался в плащ и мрачно шагал из угла в угол.

– Покажите мне еще раз ваш кинжал, – просил Мотька.

– Вот он, старый друг, – оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал. – Я таки частенько уголяю его жажду. Ха-ха! Любит он свежее мясо... Хах-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывая конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

– Ну, Мотя, устал я после всех этих передраг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

– Зачем вы предпочитаете пол? – почтительно спрашивал Мотька.

– Э-э, брат! Надо привыкать... Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев это – царская постель.

И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.

Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупое покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему то, что весь Химиков – такой маленький, жалкий и незначительный. И что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

V

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшему в вечность, – закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжала, – влюбился.

Его идеал, – бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме, – нашел воплощение в девице без определенных занятий – Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико живописный Химиков шагал аршинными решительными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

– Очень даже это нетактично приставать к незнакомым девушкам.

– Сударыня, Маруся... Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей...

Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?

– Ишь, чего захотели. Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер семь... Ах, что я сказала! Я, кажется, проговорила... Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но когда до него донесся

этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.

– Милостивый государь! – загремел он, приблизившись к дон-жуану и смотря на него снизу вверх. – Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

– Кто вы такой, черти вас раздери?

– Негодяй! Я тот, которого провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный, толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступать.

– Ч-черт з-знает, что такое, – пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки. – Черт знает... решительно не понимаю... – оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

VI

– Сударыня, – сказал Химиков, снимая свою черную странную шляпу и опуская ее до самой земли. – Прошу извинений, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость. Ха-ха! – зловеще захохотал Химиков. – Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания... Ха-ха-ха!

– Кто вы такой? – спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

– Я...

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стяхнувши с себя что-то, сказал:

– Когда-нибудь... когда будет возможно, человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто я... Пока же... сударыня, не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы... Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь... Не найдете ли вы удобным сообразоваться дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома.

– Ну что ж, можно, – усмехнулась Полина Козлова. Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию – Полина Козлова.

– Так молоды и, увы, беззащитны, – прошептал Химиков, тронутый ее историей. – Скорбь об утрате ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары злобной интриги и происки вра...

– Покатайте меня на автомобиле, – сказала девушка, шуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им старые добрые дилижансы. Но желание женщины было для него законом.

– Сударыня, вашу руку...

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголодалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возражал ей ни слова, но про себя решил, что если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине. В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

– Суд... Полина. Вв... вы... меня... полюбили! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь.

– Дайте папиросу, – попросила Полина, разглаживая его редкие рыжие волосы.

– Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота! – в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

– Сегодня я сплю одна.

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

VII

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир «Черный Лебедь», добрый кувшин пива – все это поглотило молодое поэтическое чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень любившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед... Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в трактире «Черный Лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время как атрибут любовного похождения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли – он не замечал этого. Над Химиковым смеялись – он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли – он был слишком поэтической натурой, чтобы обратить на это внимание...

И наступило крушение.

VIII

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал, как зеницу ока. Но однажды Полина сказала:

– Принесите завтра конфет.

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

– Что это? – спросил удивленный торговец.

– Кинжал. Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу, – печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.

– Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал, – улыбнулся торговец. – С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Измученный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди и похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

IX

А на другой день, так как вопрос о конфетах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-

нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений: ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали.

Тут же он решил, если ограбит большую сумму, отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал – маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб – перед прохожим.

– Ха-ха-ха! – жутким смехом захохотал он. – Нет ли денег?

– Бедняга! – сострадательно сказал господин, приостанавливаясь. – В такую холодную ночь просить милостыню... Это ужасно. На тебе двугривенный, пойдешь, обогрешься!

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, шлепал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.

Х

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотья и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.

– Да... брат... Мотя, – подмигнул ему Химиков, – много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.

– Мама говорила, что, может, не умрете, – попытался обрадовать страшного счетовода Мотья.

– Нет уж, брат... Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя... Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего, – мой кинжал?

На минуту Мотькины глаза засверкали радостью.

– Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда вырасту, буду им убивать.

– Ха-ха-ха! – зловеще засмеялся Химиков. – Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках, – тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.

Он оборвал разговор и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.

– Кто он такой? – шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

– Лекарь, – с трудом сказал Химиков, открывая глаза, – тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

– Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей... Но дам я за них ответ только перед престолом Всевыш...

И затих.

История одной картины (Из выставочных встреч)

До сих пор, при случайных встречах с модернистами, я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо или попросит займы.

Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре, – и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины.

Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения... Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом – голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину, – что предо мной морская вид. Но черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

– Э! – сказал я сам себе. – Ловкач-художник просто изобразил внутренность нормандской хижины...

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее...

Я пустился на хитрость – крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их...

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной и закорючки с утомительной стойкостью висели – каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

– Черт возьми! – проворчал я, наконец потеряв терпение. – Хотелось бы мне знать автора этой картины... Я б ему...

Молодой господин радостно закивал головой:

– Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне позжать вам руку.

– Кто вы такой? – отрывисто спросил я.

– Я? Автор этой картины! Какова штучка?!

– Да-а... Скажите, – сурово обратился я к нему. – Что это такое?

– Это? Господи боже мой... «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый». Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

– Соната?

– Соната.

– Вы говорите, восемнадцатый? – мрачно переспросил я.

– Да-с, восемнадцатый.

– Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена; опус двадцать четвертый?

Он побледнел.

– Н-нет... Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.

Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.

– Объясните мне... Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?... Или дернуть даже шестую сонату... А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался.

– Так нельзя... Вы вводите в настроение математическое начало... Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому, как к четырнадцатой сонате.

Я грустно улыбнулся.

– К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение... О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.

– Почему?!!

– Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка был преленивым субъектом.

– Что вы ко мне пристаёте?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах... Я и переживал.

– Старик как будто задался целью строить вам козни... Виолончельных-то сонат всего шесть и состряпано.

Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.

– Не надо портить статуи, – попросил я. Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.

– Вы знаете... Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «Седьмая fuga Чайковского, Оп. 9, изд. Ю. Г Циммермана».

Он не сдержал обещания. Я – тоже.

Магнит

I

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:

– Если мне будут звонить, спроси – кто и запиши номер.

Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

– Если мне будут звонить, спросите – кто и запишите номер.

– Слушаю-с, барин!

– Хорошо, папа!

И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

– Смотрите, какой он важный!

– Да, у него такой дурацкий вид, что будто он только что обзавелся собственным телефоном.

II

Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.

– Что такое?

– Барин, барин, – шептала она, давясь от смеха. – Подите-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услышала...

Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй, что я вскружил ей голову своей наружностью и она предлагает вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе, строго спросив:

– Чего ты хочешь?

– Тш... барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву.

Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия и она говорит первое, что взбрело ей на ум.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.

– Что случилось? – обеспокоился я.

– Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой... Папочка, лучше ты брось эту дражную кошку, Бельскую.

– Какую... Бельс-ку-ю? – ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.

– Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она дражная кошка. Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать, о глазах-то.

Вне себя, я оттолкнул Китти и бросился к жене.

Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голосом она говорила:

– И это передать... Хорошо-с... Можно и это передать. И поцелуй... Что?.. Тысячу поцелуев. Передам и это. Все равно уж заодно.

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

– В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно. Муж, кажется, проследил.

– Это дом сумасшедших! – вскричал я. – Ничего не понимаю!

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:

– Ты... мерзавец!

– Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости.

– Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?

Она взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:

– № 349-27: «Мечтаю тебя увидеть хоть одним глазком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй».

№ 259-09: «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?»

№ 317-01: «Я на тебя сердита... Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»

№ 102-12: «Ты негодяй! Надеюсь, понимаешь».

№ 9-17: «Мерзавец – и больше ничего!»

№ 177-02: «Позвони, как только придешь, моя радость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?».

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.

– Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде? – с дрожью в голосе спросила она. – Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей – № 177-02, а то придет муж, и вам не удастся условиться о вечере. Подлец!

Я пожал плечами.

Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не доставили мне радости, покоя и скромного веселья.

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.

– Центральная, № 177-02! Спасибо. № 177-02? Мужской голос ответил мне:

– Да, кто говорит?

– Номер 300-05. Позовите к телефону Надю.

– Ах, вы № 300-05. Я на нем ее однажды поймал. И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при встрече я надаю вам пощечин... Я знаю, кто вы такой!

– Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей, что она сумасшедшая.

– Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные оболъстители. Знайте, № 300-05, что я поколочу вас не позже завтрашнего дня.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.

III

Обед прошел в тяжелом молчании.

Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти не отрываясь смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, дружески шептала мне:

– Папа, так ты бросишь эту драную кошку Бельскую? Смотри же! Брось ее!

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник. По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефон.

Я вскочил и помчался в кабинет.

– Кто звонит?

– Это № 300-05?

– Да, что нужно? Послышался женский смех.

– Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца? Куда ты его девал?

– Кольца у меня нет, – отвечал я. – И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!

И повесил трубку.

После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.

Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту драную кошку Бельскую».

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда.

IV

На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:

– Если вам все равно, поменяемся номерами телефонов.

– А зачем? – удивился я.

– Видите ли, ваш номер 300-05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли.

– Да, они уж очень к нему привыкли, – согласился я.

– И потому, так как мой новый номер мало кому известен, происходит путаница.

– Совершенно верно, – согласился я. – Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не поехал ночью в Москву, как предполагал.

– Да? – обрадовался молодой человек. – Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.

– А Клеманс-то собирается за Бельскую выжечь вам глаза, – сообщил я, подмигивая.

– Вы думаете? Хвастает. Никогда из-за нее не брошу Бельскую.

– Как хотите, а я обещал, что бросите. Потом тут вам ребенка вашего хотел подкинуть № 77–92. Я обещал усыновить.

– Вы думаете, он мой? – задумчиво спросил бритый господин. – Я уже, признаться, совершенно спутался: где мои – где не мои.

Его простодушный вид возмутил меня.

– А тут еще один какой-то муж Нади обещался вас поколотить палкой. Поколотил?

Он улыбнулся и добродушно махнул рукой:

– Ну уж и палка. Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же, поменяемся номерами?

– Ладно. Сейчас скажу на станцию.

V

Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.

Разговаривая, я слышал доносившиеся из гостиной голоса.

– Так вы артист? Я очень люблю театр.

– О, сударыня. Я это предчувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то такое магнетическое. Почему вы не играете? Вы так интересны! Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только в сне, которое... которое...

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум, все это покрылось звуком поцелуя.

Русская история

Посвящается Мин-ву нар. Просвещения

I

Один русский студент погиб от того, что любил ботанику.

Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал.

А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.

– Здравствуйте, милые поселяне, – сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.

– Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было, – отвечали поселяне. – Ты чего?

– Благодарю вас, ничего, – говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.

– Ты – чего?!

– Как видите: гербаризацией балуюсь.

– Ты – чего?!?!?

Ухо студента уловило наконец странные нотки в настойчивом вопросе мужиков.

Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные жилистые кулаки.

– Ты – чего?!?!?

– Да что вы, братцы... Если вам цветочков жалко, – я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки...

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик, Петр Савельев Неуважай-Корыто.

Был он старик белый как лунь и глупый как колода.

– Цветочки собираешь, паршивец, – прохрипел мудрейший. – Брешет он, ребята! Холеру пускает.

Авторитет стариков, белых как лунь и глупых как колода, всегда высоко стоял среди поселян...

– Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы... Заходи отделева!

Студент завопил.

– Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол – твой батя – и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашелся.

Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки и то – самым примитивным способом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане завернутым в бумажку, с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.

– Вот он, порошок-то! Холерный... Как, ребята, располагаете: потопить парня али так, помять?

Обе перспективы оказались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:

– Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не вредный... Ну, хотите – я съем его?

– Брешешь! Не съешь!

– Уверю вас! Съем – и мне ничего не будет.

– Все равно погибать ему, братцы. Пусть слопают! Студент сел посередине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок.

Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

– Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой... а без покаяния.

– Весь! – сказал студент, показывая пустой пакетик.

– Ешь и бумагу, – решил Петр Савельев, белый как лунь и глупый как колода.

По газетным известиям насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего – его якобы отпустили.

А на самом деле было не так: студент, морщась, проглотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать: нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.

– Ешь! – приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда Неуважай-Корыто.

Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:

– Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?..

– Видимое дело, – сказал добродушный мужик по прозвищу Коровий-Кирпич. – Занапрасну скубента изобидели.

– Темный вы народ, – сказал студент, вздыхая.

Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.

– Темный вы народ! – повторил он. – Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах – так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.

– Толкуй! – недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.

В общем, настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое.

Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что луна сама не светит, а отражает только солнечный свет.

Когда же студент осмелился нахально заявить, что земля круглая и что она ходит вокруг солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить...

Били долго, а потом утопили в реке.

Почему газеты об этом умолчали – неизвестно.

II

Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого положения.

И совершенно неожиданно выход был найден в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.

– Дело! – сказал Васька Свищ.

Приладил к своей телеграфистской фуражке офицеру кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:

– Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!! Там заплатят.

Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к Старостиной избе.

Васька Свищ молодецкато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:

– Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!

Испуганный, перетревоженный, выскочил староста.

– Чего изволишь, батюшка?

– «Батюшка»? Я тебе, ррракалия, покажу – батюшка!! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?.. Ты кто? Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?

– Ко... Коровий-Кирпич.

Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича...

– Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут! Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.

Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой, испуганной, встревоженной тучей.

– Тихо! – крикнул Васька Свищ, выступая вперед. – Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки – собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением одного в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята? Виновные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до 500 рублей. Поняли?!

– Поняли, ваше благородие! – зашелестели мужицкие губы.

– Благо-о-оодие?! – завопил телеграфист. – Меррзавцы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!

Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед телеграфистом деньги и сказал робко:

– Может, оно... насчет бумаги... поглядеть бы... Касательно печати...

– Осел!!! – рывкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.

– Я покажу вам, негодяи, – погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.

Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый как лунь и глупый как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:

– С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!

Четверо

I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четверорук, его молодая жена – Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель – Василий Абрамович Сандомирский...

А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение.

Особенная – дорожная – скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.

– Нам еще ехать пять часов, – сказала Симочка, сладко зевая. – Пять часов отчаянной скуки!

– Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, – наставительно отвечал муж.

А Сандомирский сказал:

– И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет стоит двенадцать рублей.

И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:

– Уже я не говорю о плацкарте!

– Главное, что скучно! – стукнула ботинком Симочка.

Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.

И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили:

– Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука... Оттого, что все вы – не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.

– То есть как мы не те? – обиженно возразил Сандомирский. – Мы вовсе – те. Я, как человек интеллигентный...

Незнакомец улыбнулся и сказал:

– Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы – кто вы такой?

– Я? – поднял брови Сандомирский. – Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи.

– Ах-ха-ха-ха! – закатился смехом незнакомец. – Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!

– Ватикан? – пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. – Я Ватикан?

– Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!

– Извините, – сказал Сандомирский. – Но эти шутки мне не надо!

II

– Джузеппе! – серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. – Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок...

– Пустите меня! – в ужасе закричал Сандомирский. – Что это такое?!

– Тссс! – зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. – Не надо кричать. Здесь дама.

Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.

– Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу!

Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.

– Господа! – сказал странный пассажир. – Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался – кто он такой?

– Я Сандомирский! – прошептал белыми губами коммивояжер.

– Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.

Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.

Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:

– Вы видите, с кем вы имеете дело... Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?

– Я же не кардинал!! – в отчаянии прошептал Сандомирский.

– Он стесняется сказать вам, что он кардинал, – заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. – Но, вероятно, он кардинал.

– Не правда ли?! – подхватил незнакомец. – Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?

– Есть! – с готовностью отвечал Четвероруков. – Но... стоит ли вам так волноваться из-за этого?..

– Пусть он скажет! – капризно потребовал пассажир, играя револьвером.

– Ну хорошо! – закричал Сандомирский. – Хорошо! Ну, я кардинал.

III

– Видите! – сделал незнакомец торжествующий жест. – Я вам говорил... Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!

Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца. Симочка фыркнула.

– При чем тут смех? – обиделся Сандомирский. – Позвольте мне, господин, на минутку выйти.

– Нет, я вас не пущу, – сказал пассажир. – Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.

– Какие прихожанки? Какая может быть интриж... При взгляде на револьвер коммивояжер понизил голос и уныло сказал:

– Ну, были интрижки, – стоит об этом говорить...

– Говорите!! – бешено закричал незнакомец.

– Уберите ваш пистолет – тогда расскажу. Ну, что вам рассказать... Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама...

– Графиня? – спросил пассажир.

– Ну, графиня. Вася, говорит, я тебя так люблю, что ужас. Целовались.

– Нет, вы подробнее... Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..

Представитель фирмы Эванс и Крумбель наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:

– Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень...»

– Что вы путаете, – сурово перебил пассажир. – Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?

– Ну какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».

– Исповедаться! – поправил незнакомец.

– Ну исповедаться. Хорошо, говорю я. Приезжайте. А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».

– Ужасно глупый роман! – бесцеремонно заявил незнакомец. – Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!

IV

Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:

– Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар...

Четвероруков побледнел и робко спросил:

– Ка... кой ддар?

– Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не догадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..

– Вы ошиблись, – насильственно улыбнулся Четвероруков. – Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка...

– Кардинал! – воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника. – Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?

Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:

– Наверное, баритон!

– Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.

– Я не умею! – беспомощно пролепетал Четвероруков. – Уверю вас, у меня голос противный, скрипучий!

– Ах-хах-ха! – засмеялся незнакомец. – Скромность истинного таланта! Прошу вас – пойте!

– Уверю вас...

– Пойте! Пойте, черт возьми!!!

Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах...

Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.

– Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?

– Еще как! – нерешительно сказал Сандомирский.

– Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете?

– Какая тут скука! – вздохнул представитель фирмы Эванс и Крумбель. – Сплошное веселье.

– Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться – все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть, всю жизнь... А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой – баритоном. Не правда ли, кардинал?

– Вы говорите, как какая-нибудь книга, – печально сказал Сандомирский.

– И самое ужасное, что ложь – во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас – снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе – тело!

Станный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:

– Будьте добры раздеться... Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..

Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:

– Я... нич... чего... Я сам люблю красоту. Немножко раздеться можно, хе... хе...

Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова,

на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:

– Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.

– Кардинал! – строго сказал незнакомец. – Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!

– Симочка... – пролепетал Четвероруков. – Ты... немножко.

– Отстань, без тебя знаю!

Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.

– Не правда ли, я интересная? – задорно сказала она, улыбаясь углами рта. – Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа – он, вероятно, позволит.

– Баритон! Разрешите мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!

Четвероруков молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах смотрел на страшного пассажира.

– Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку...

Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.

– Зачем же руку? – болезненно улынулась Симочка. – Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?

Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:

– Я буду счастлив!

Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала. Поезд остановился.

Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:

– Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет – я застрелю того. Ладно?

– Идите уж себе! – простонал Сандомирский. Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской. Четвероруков взял ее и с недоумением прочел: «Сознайтесь, что мы не проскучали... Этот оригинальный, но действительный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я – весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала...»

Ложь

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль – чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени – и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки – сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.

Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.

Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

– Что же это, – весело вскричала жена Лязгова. – Около двенадцати, а публики еще нет?!

– Подойдут, – сказал Лязгов. – Откуда ты, Симочка?

– Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. Зачем она солгала? Что это значит? Я задумался.

Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или – встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

* * *

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

– Ну как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна? Серафима Петровна удивленно вскинула плечами:

– С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

– Как же не были? А я заезжал к Черножуковым – мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

– В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену.

– Почему она должна была солгать?

– Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне:

– К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

– А он все-таки здесь!

– Не понимаю... – пожал плечами студент Конякин. – Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

– Он, кажется, скрывается, – постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. – За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился.

– Следят??! Кто следит?

– Эти вот... Сыщики.

– Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила:

– Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость – газетный рецензент Блюхин.

– Мороз, – заявил он, – а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

– А жена тоже сейчас только оттуда, – прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. – Встретились?

– Что вы говорите?! – изумился Блюхин. – Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

– Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.

– Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, все как на ладони.

– Мы больше сидели все... около музыки, – сказала Серафима Петровна. – У меня винт на коньке расшатался.

– Ах так! Хотите, я вам сейчас исправлю! Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала по ковру.

– Я уже отдала его слесарю.

– Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? – спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

– Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная, по случаю срочной работы, была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

– Извиняюсь, что опоздал, – раскланялся он. – Задержал прекрасный пол.

– На драматурга большой спрос, – улыбнулся Лязгов. – Кто же это тебя задержал?

– Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захолопал в ладоши.

– Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

– Как не читал? – обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. – Читал! Именно ей читал.

– Ха-ха! – засмеялся Лязгов. – Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

– Да, она со мной была, – кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

– Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».

– Вы что-нибудь спутали, – пожалла плечами Серафима Петровна.

– Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так – спутать?

– Хотите чаю? – предложила Серафима Петровна.

– Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

– Часов в десять-одиннадцать. Драматург всплеснул руками.

– Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.

– Да? Может быть, на свете существуют две Шемшурины? Или я незнакомую даму приняла

за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера?.. Ха-ха!..

– Ничего не понимаю! – изумился Селиванский.

– То-то и оно, – засмеялась Серафима Петровна. – Тото и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.

Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

– Вы сегодня были на катке? – спросил я равнодушно.

– Да. С Шемшуриной.

– А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

– Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

– Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.

– Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

– Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

– Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

– А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

– Вы этого не сделаете!

– Отчего же не сделать?.. Сделаю!

– Ну милый, ну хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?

– Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

– А теперь не скажете? Нет?

* * *

После чтения драмы – ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:

– А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в «ГрандОтеле», а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.

– Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

– Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой-француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле – она очень богатая – по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в «Гранд-Отеле» у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал: «Да. Вот это ложь!»

Золотые часы

История о том, как Мендель Кантарович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе, наделала в свое время очень много шума. Все местечко Мардоховка волновалось целых две недели и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это

действует ему на нервы.

Тогда перестали волноваться.

Все местечко Мардоховка чувствовало, что и Гендельман и Кантарович – каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и тем не менее эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться.

– Они не правы?! – кричал, трясая седой бородой рыбак Блюмберг. – Так я вам скажу: да, они правы. В сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь? Сколько пожелаете! Ну и они перестали верить.

– Что такое двадцатый век? – обиженно возражал Яша Мельник. – Они говорят, двадцатый век – жульничество! Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли.

– Они разочаровались людьми – нужно вам сказать. Они... как это говорится?.. О! вот как: скептики. Вот они что.

– Скептики? А по-моему, это гениальные люди!

– Шарлатаны!

Дело заключалось в следующем.

Между Кантаровичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью в двести рублей. Кантарович сначала предлагал за них полтора ста рублей, потом сто семьдесят, сто девяносто пять, двести без рубля и наконец, махнув рукой, сказал:

– Вы, Гендельман, упрямый как осел. Ну, так получайте эти двести рублей.

– Где же они? – осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы.

– Деньги? Вот смотрите. Я их вынимаю. Двести настоящих рублей.

– Так что же вы их держите в руках? Дайте я их пересчитаю.

– Хорошо, но вы же дайте мне часы.

– Что значит – часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?

– Ну да. Так я хочу лучше их видеть в моих руках.

– Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег?

– А спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов не имею?

– Кантарович! Вы мне не доверяете?!

– А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали: и евреи, и русские, и французы разные. Я теперь уже разверился в человеческих поступках.

– Кантарович!!! Вы мне не доверяете?

– Не кричите. Зачем делать скандал? Ну, впрочем, ведь и вы мне не доверяете?

– Я доверяю, но только – двестирублевые часы, а?! Вы подумайте!

– Что мне думать? Мало я думал! Ну, давайте так: вы покладите на стол часы, а я деньги.

Потом вы хватайте деньги, а я часы.

– Гм... Вы предлагаете так? Кантарович! Вы думаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и... татары всякие. Малороссы. Ой, Кантарович, Кантарович... Я теперь уже ничему не верю.

– Что же вы думаете: что я схвачу и часы, и деньги и убежу?

– Боже меня сохрани! Я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег – это будет самый печальный факт.

– Ну хорошо... смотрите в окно: водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот.

– Гм!.. Это ваша рекомендация... А не хотите ли моей рекомендации: пойдём к лавочнику Агафонову и он нам сделает то же самое.

– Смотрите-ка! Вы не доверяете водовозу Никите? Так знайте: я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову!!

– Так Бог с вами, если вы такой – разоидеся!

– Лучше разоидеся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов.

– А вы думаете, мне было не нужно этих двухсот рублей? О, еще как!

– Так мы сделаем вот что, – сказал Кантарович, почесывая затылок. – Пойдем к господину уряднику и попросим его посредничества. Он лицо официальное!

– Ну, это еще так-сяк.

Гендельман и Кантарович оделись и пошли к уряднику. Шли задумчивые.

– Стойте! – крикнул вдруг Кантарович. – Мы идем к уряднику. Но ведь урядник – тоже человек!

– Еще какой! Мы дадим ему часы, деньги, а он спрячет их в карман и скажет: пошли вон, к чертям.

Оба приостановились и погрузились в раздумье. По улице шли двое: Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Кантаровича и Гендельмана и спросили их:

– Что с вами?

– Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель? Спрашивается?

– Доверьте становому приставу.

– Благодарю вас, – усмехнулся Кантарович, – сами доверяйте становому приставу.

– Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он как только увидит евреев, – сейчас же и вышлет. Знаете что? Доверьте мне!

– Тебе? Яша Мельник! Тебе? Хорошо. Мы тебе доверим, так дай нам вексель на четыреста рублей.

– Это верно, – подтвердил старый Блюмберг, – без векселя никак нельзя!

– Ой! Неужели я, по-вашему, жулик?

– Вы, Яша, не жулик, – возразил Гендельман. – Но почему я должен верить вам больше, чем Кантаровичу?

– Да, – подтвердил недоверчивый Кантарович. – Почему?

Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Кантаровича.

Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.

– Доверьте мне! Я сейчас же передам вам с рук на руки.

– Мы вам доверяем, Григорий Соломонович... Но ведь тут же двести рублей деньгами и двести – часами. Подумайте сами.

– Положим, верно... Ну, тогда поезжайте в город к нотариусу.

– Натте вам! К нотариусу. А нотариус – машина, что ли? Он тоже человек! Ведь это не солома, а двести рублей!

Комбинаций предлагалось много, но так как сумма – двести рублей – была действительно неслыханная – все комбинации рушились.

* * *

Прошло три месяца, потом шесть месяцев, потом год... Часы были как будто заколдованные: их нельзя было ни купить, ни продать.

О сложном, запутанном деле Кантаровича и Гендельмана все стали понемногу забывать... Сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мардоховцы, попав в затруднительное положение:

– Гм!.. Это так же трудно, как купить часы за наличные деньги.

Веселый вечер

Ее выцветшее от сырости и дождей пальто и шляпа с перьями, сбившимися от времени в странный удивительный комок, не вызывали у прохожих Невского проспекта того восхищения, на которое рассчитывала обладательница шляпы и пальто. Мало кто обращал внимание на эту шаб-

лонную девицу, старообразную от попок и любви, несмотря на свои двадцать пять лет, уныло-надоедливую и смешную, с ее заученными жалкими методами обольщения.

Если прохожий имел вид человека, не торопящегося по делу, она приближалась к нему и шептала, шагая рядом и глядя на крышу соседнего дома:

– Мужчина... Зайдем за угол. Пойдем в ресторанчик – очень недорого: маленький графин водки и тарелка ветчины. Право. А?

И все время она смотрела в сторону, делая вид, что идет сама по себе, и если бы возмущенный прохожий позвал городского, она заявила бы нагло и бесстыдно, что она не трогала этого прохожего, а наоборот – он предлагал ей разные гадости, которые даже слушать противно.

Ходила она так каждый день.

– Мужчина, поедем в ресторанчик. Неужели вам жалко: графинчик водки и тарелка ветчины. Право. А?

Иногда предмет ее внимания, какой-нибудь веселый прохожий, приостанавливался и с видом шутника, баловня дам, спрашивал:

– А может быть, ты хочешь графинчик ветчины и тарелку водки?

И она раскрывала рот, схватывалась за бока и хохотала вместе с веселым прохожим, крича:

– Ой-ой, чудак! Уморил... Ну, и скажет же...

В общем, ей совсем не было так весело, как она прикидывалась, но, может быть, веселый прохожий, польщенный ее одобрением, возьмет ее с собой и накормит ветчиной и водкой, что, принимая во внимание сырую погоду, было бы совсем не плохо.

Сегодня прохожие были какие-то необщительные и угрюмые, – несколько человек в ответ на ее деланно-добродушное предложение поужинать совместно ветчиной и водкой посылали ее ко «всем чертям», а один, мрачный юморист, указал на полную возможность похлебать дождевой воды, набравшейся в тротуарном углублении, что, по его мнению, давало полную возможность развести в животе лягушек и питаться ими вместо ветчины.

Юмориста эта шаблонная девица ругала долго и неустанно. Он уже давно ушел, а она все стояла, придерживая шляпу и изобретая все новые и новые ругательства, запас которых, к ее чести, был у нее велик и неисчерпаем.

В это время навстречу шли два господина. Один приостановил своего спутника и указал ему на девицу:

– Давай, Вика, ее пригласим.

Другой засмеялся, кивнул головой и пошел вперед. Оба, приблизившись к девице, осмотрели ее с ног до головы и вежливо приподняли свои цилиндры.

– Сударыня, – сказал Петерс, – приношу вам от имени своего и своего товарища тысячу извинений за немного бесцеремонный способ знакомства. Мы, знаете, народ простой и в обращении с дамами из общества не совсем опытные. Оправданием нам может служить ваш благосклонный взгляд, которым вы нас встретили, и желание провести вечер весело, просто, скромно и интеллигентно.

Девица захохотала, взявшись за бока.

– Ой, уморили! Ну и комики же вы! Господин по имени Петерс всплеснул руками:

– Это очаровательно. Ты замечаешь, Вика, как наша новая знакомая весела?

Вика кивнул головой.

– Настоящая воспитанность именно в этом и заключается: простота и безыскусственность. Вы извините нас, сударыня, если мы сделаем вам нескромное одно предложение...

– Что такое? – спросила девица, замирая от страха, что ее знакомые повернутся и уйдут.

– Нам, право, неловко... Вы не примите нашего предложения в дурную сторону...

– Мы даем вам слово, – заявил Петерс, – что будем держать себя скромно, с тем уважением, которое внушает к себе каждая порядочная женщина.

Девица хотела хлопнуть себя по бедрам и крикнуть: «Ой, уморили!» – но руки ее опустились, и она молча, исподлобья взглянула на стоящих перед ней людей.

– Что вам нужно?

– Ради бога, – засуетился Вика, – не подумайте, что мы хотели употребить во зло ваше дове-

рие, но... скажите... Не согласились бы вы отужинать вместе с нами, – конечно, где-нибудь в приличном месте?

– Да, да, – согласилась повеселевшая девица, – конечно, поужинаю.

– О, как мы вам благодарны!

Петерс нагнулся, взял за грубевшую руку девицы и тихо коснулся ее губами.

– Эй, мотор! – крикнул куда-то в темноту Вика.

Девица, сбита с толку странным поведением друзей, думала, что они сейчас захохочут и убегут... Но вместо того к ним подъехал, пыхтя, автомобиль.

Вика открыл дверцу, бережно взял девицу под руку и посадил ее на пружинные подушки.

«Матушки ж вы мои, – подумала пораженная, потрясенная девица. – Что же это такое?»

Ей пришло в голову, что самое лучшее, в благодарность за автомобиль, обнять Вика за шею, а сидевшему напротив Петерсу положить на колени ногу: некоторым из ее знакомых это доставляло удовольствие.

Но Вика деликатно отодвинулся, давая ей место, и сказал:

– А ведь мы еще не знакомы. Моя фамилия – Гусев, Виктор Петрович, а это мой приятель – Петерс, Эдуард Павлович, – писатель. Мы хотя и не осмеливаемся настаивать на сообщении нам вашей фамилии, но имя...

Девица помолчала.

– Меня зовут Катериной. Катя.

– О, помилуйте, – ахнул Петерс, – разве мы осмелимся звать вас так фамильярно. Екатерина... как по отчеству?..

– Степановна.

– Мерси. Вика... Как ты думаешь, куда мы повезем Екатерину Степановну?.. Я думаю, в «Москву» неудобно.

– Да, – сказал Вика. – Там с приличной дамой нельзя показаться... Форменный кабак. Рискнешь наткнуться на кокотку, на пьяного... Самое лучшее – к «Контану».

– Прекрасно. Вы, Екатерина Степановна, не бойтесь, туда смело можно привести приличную даму.

Девица внимательно посмотрела в лицо друзьям: серьезные, невозмутимые лица, с той немногочисленной холодной вежливостью, которая бывает при первом знакомстве.

И вдруг в голове мелькнула ужасная, потрясающая мысль: ее серьезно приняли за даму из общества.

У «Контана» заняли отдельный кабинет. Порыжевшее пальто и слипшиеся перья были при ярком электрическом свете убийственны, но друзья не замечали этого и, разоблачив девицу, посадили ее на диван.

– Позвольте предложить вам закуску, Екатерина Степановна: икры, омаров... Что вы любите? Простите за нескромный вопрос: вы любите вино?

– Люблю, – тихо сказала девица, смотря на цветочки на обоях.

– Прекрасно. Петерс, ты распорядись.

Весь стол был уставлен закусками. Девице налили шампанского, а Петерс и Вика пили холодную, прозрачную водку. Девице вместо шампанского хотелось водки, но ни за что она не сказала бы этого и молча прихлебывала шампанское и заедала его ветчиной и хлебом.

На белоснежной скатерти ясно выделялись потертые рукава ее кофточки и грудь, покрытая пухом от боа. Поэтому девица искусственно-равнодушно сказала:

– А за мной один полковник ухаживает... Влюблен – невозможно. Толстый такой, богатый. Да он мне не нравится.

Друзья изумились.

– Полковник? Неужели? Настоящий полковник? А ваши родители как к этому относятся?

– Никак, они живут в Пскове.

– Вы, вероятно, – сказал участливо Петерс, – приехали в Петроград развлекаться. Я думаю, молодой неопытной девушке в этом столичном омуте страшно.

– Да, мужчины такие нахалы, – сказала девица и скромно положила ногу на ногу.

– Мы вам сочувствуем, – тихо сказал Вика, взял девицу за руку и поцеловал деликатно.
– Послушай, – пожал плечами Петерс. – Может быть, Екатерине Степановне неприятно, что ты ей руки целуешь, а она стесняется сказать... Мы ведь обещали вести себя прилично.
Девушка густо покраснела и сказала:
– Ничего... Что ж! Пусть. Когда я у папаши жила, мне всегда руки целовали.
– Да, конечно, – кивнул головой Петерс, – в интеллигентных светских домах это принято.
– Кушайте, Екатерина Степановна, артишоки.
– Вы какая-то скучная, – сказал участливо Вика. – Вероятно, у вас мало развлечений. Знаешь, Петерс, хорошо бы Екатерину Степановну познакомить с моей сестрой... Она тоже барышня, и им вдвоем было бы веселей выезжать в театры и концерты.
Девушка с непонятным беспокойством в глазах встала и сказала:
– Мне пора, спасибо за компанию.
– Мы вас доведем до вашей квартиры в автомобиле.
– Ой, нет, нет, не надо! Ради бога, не надо. Ой, нет, нет, спасибо!
Когда девушка вышла из кабинета, друзья всплеснули руками и, захлебываясь от душившего их хохота, повалились на диван...
...Девушка шагала по опустевшему Невскому, спрятав голову в боа и глубоко задумавшись.
Сзади подошел какой-то запоздалый прохожий, дернул ее за руку и ласково пролепетал:
– Мм... мамочка! Идем со мной. Девушка злобно обернулась.
– Ты, брат, разбирай, к кому пристаешь. Нельзя порядочной даме на улицу выйти... Сволочь паршивая!

Кривые Углы

Глава первая приезд

Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве репетитора в усадьбу помещика Плантова Кривые Углы.

Ехать пришлось восемьсот верст по железной дороге, семьдесят лошаадьми и восемь пешком, так как кучер от совершенно неизвестных причин оказался до того пьяным, что свалился на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.

Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрал до усадьбы Кривые Углы.

Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с криком ужаса понеслась в барский дом.

Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший, густой сад.

Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал.

– Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно украл я для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболью я тебе костюм чернилом!

Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван.

Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку на пол, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.

Вошел толстый человек в халате и с трубкой. Пососав ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко:

– Наверно, это самый учитель и есть! Приехал с чемоданом. Да. Сидит на диване. Так-то, брат Плантов! Учитель к тебе приехал.

Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в

ладоши, затанцевал на толстых ногах.

– Эй, кто есть? Копанчук! Павло! Возьмите его чемодан. А что, учитель, играете вы в кончины?

– Нет, – сказал Поползухин. – А ваш мальчик меня языком дразнил!

– Высеку! Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами... Пойдем... покажу!

Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди.

– Чего ты его тащишь? Опять, верно, со своими проклятыми картами! Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги.

– Здравствуйте, сударыня! Я – учитель Поползухин, из города.

– Ну, что же делать? – вздохнула она. – Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты, уж сделай милость, у нас мертвецов не режь!

– Зачем же мне их резать? – удивился Поползухин.

– То-то я и говорю – незачем. От Бога грех и от людей страм. Пойди к себе, хоть лицо оплесни! Опылило тебя.

Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.

Глава вторая триумф

На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.

Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу.

– Учение – очень трудная вещь, – говорил Поползухин. – Вы знаете, что такое тригонометрия?

– Нет!

– Десять лет изучать надо. Алгебру – семь с половиной лет. Латинский язык – десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь. Трудно! Профессора двадцать тысяч в год получают.

Плантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина.

– Да, теперь народ другой, – сказал он. – Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?

– Как играть?

– А так... Прислал мне тесть на именины из города граммофон... Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть, бес его знает! Так и стоит без дела.

Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:

– Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря!

– Ну? Играете? Вот так браво!..

Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку.

– Пойдем! Вы нам поиграете. Ну его к бесу, ваш пиджак! После отчистите! Послушаем, как оно это... Жена, жена!.. Иди сюда, бери вязанье, учитель на граммофоне будет играть!

Граммофон лежал в зеленом сундуке под беличьим салопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор.

Поползухин с мрачным, решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой.

– Потрудитесь, господа, отойти подальше! Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать, на это ты мастер, а как на коленях стоять, так не мастер! Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете!

– А вы его не испортите? – испуганно спросил Плантов. – Вещь дорогая.

Поползухин презрительно усмехнулся:

– Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели!

Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.

Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку».

Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка, с хладнокровием опытного, выдавшего виды мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука.

Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил:

– Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли? А ты все по крышам лазишь!.. А ну еще что-нибудь изобразите, господин Поползухин!

В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя.

Потом крадучись пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.

В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.

Глава третья светлые дни

Для гимназиста Поползухина наступили светлые, безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:

– Ну, сыграйте что-нибудь!.. Очень вас прошу! Чего в самом деле?

– Да ничего сейчас не могу! – манерничал Поползухин.

– Почему не можете?

– А для этого нужно подходящее настроение! А ваш Андрейка меня разнервничал.

– А бес с ним! Плюньте вы на это учение! Будем лучше играть на граммофоне... Ну, сыграйте сейчас!

– Эх! – качал мохнатой головой Поползухин. – Что уж с вами делать! Пойдемте!

Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.

Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цветов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени.

И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могуществом учителя – при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.

Сам Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал: Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:

– Принеси-ка мне чего-нибудь поесть! Студня, что ли, или мяса! Да наливки дай!

Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.

– Кушаете? А что, в самом деле, выпью-ка и я наливки! А ежели вам спать не особенно хочется, пойдём-ка, вы мне поиграете что-нибудь. А?

Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать.

Глава четвертая крах

С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке. Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:

– Идите, барчук, в дом! Барин просят вас на той машине играть.

– А ну его к черту! – морщился Поползухин. – Не пойду! Скажите, нет настроения для игры!

– Идите, барчук!.. Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слушать хотят.

– Скажите, вечером поиграю!

Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.

«Выйду ль я на реченьку», – заливался граммофон.

С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.

– Да что ж тут мудреного? – говорил он. – Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится.

– Зачем вы без меня трогали граммофон? – сердито крикнул Поползухин.

– Смотри, какая цаца! – сказал ядовито помещик Плантов. – Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться? А вот Митя Колонтарев приехал и сразу заиграл. Эх, ты... карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу! То-то здорово! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.

За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания. Говядину ему положили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:

– Ну, брат, довольно тебе шалберничать... нагулялся!.. Учитель, займитесь!

Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его:

– Пойдем!

И они пошли, не смотря друг на друга... По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.

День человеческий

дома

Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с женой теткой чай. Тетка – глупая, толстая женщина – держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом.

– Как вы нынче спали? – спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого сдобного сухаря, который она втаптывает ложкой в противный жидкий чай.

– Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились.

– Ах ты Господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками.

Я задумчиво смотрю в ее круглое обвислое лицо...

– Хорошо. Будем говорить серьезно... Вас действительно интересует, как я спал эту ночь? Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно – вас это опечалит и угнетет на весь день? А если я хорошо проспал – ликование и душевной радости вашей не будет пределов?.. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца?

Она обиженно отталкивает от себя чашку.

– Я вас не понимаю...

– Вот это сказано хорошо, искренне. Конечно, вы меня не понимаете... Ей-богу, лично про-

тив вас я ничего не имею... простая вы, обыкновенная тетка... Но когда вам нечего говорить – сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства... И если бы я ответил вам: «Благодарю вас, хорошо», – вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы: «А Женя еще спит?», – хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в двенадцать часов, что вам, конечно, тоже известно...

Мы сидим долго-долго и оба молчим.

Но ей трудно молчать. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль: что бы сказать еще?

– Дни теперь стали прибавляться, – говорит наконец она, смотря в окно.

– Что вы говорите?! Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение, еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать?

Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул.

– Вы тяжелый грубиян и больше ничего.

– Ну как же так – и больше ничего... У меня есть еще другие достоинства и недостатки... Да я и не грубиян вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее.

Тетка плачет, тряся жирным плечом. Я одеваюсь и выхожу из дому.

на улице

Навстречу мне озабоченно и быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу.

Увидев меня, он расплывается в изумленной улыбке (мы встречаемся с ним каждый день), быстро сует мне руку, бросает на ходу:

– Как поживаете, что подельваете?

И делает движение устремиться дальше. Но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю:

– Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу... Хотя особенного в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать... Позавчера я простудился, думал, что-нибудь серьезное – оказывается, пустяки... Поставил термометр, а он...

Чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться, но я сжимаю ее и продолжаю монотонно, с расстановкой, смакуя каждое слово:

– Да... Так о чем я, бишь, говорил... Беру зеркало, смотрю в горло – красноты нет... Думаю, пустяки – можно пойти гулять. Выхожу... Выхожу это я, вижу, почтальон повестку несет. Что за шум, думаю... От кого бы это? И можете вообразить...

– Извините, – страдальчески говорит Хрякин, – мне нужно спешить...

– Нет, ведь вы же заинтересовались, что я подельваю. А подельваю я вот что... Да. На чем я остановился? Ах, да... Что подельваю? Еду я вчера к Кокуркину, справиться насчет любительского спектакля – встречаю Марью Потаповну. «Приезжайте, – говорит, – завтра к нам»...

Хрякин делает нечеловеческое усилие, вырывает из моей руки свою, долго трясет слипшимися пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих...

Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натываюсь на другого знакомого – Игнашкина.

Игнашкин никуда не спешит.

– Здравствуйте. Что новенького?

– А как же, – говорю, вздыхая. – Везувий вчера провалился. Читали?

– Да? Вот так штука. А я вчера в клубе был, семь рублей выиграл. Курите?

– Нет, не курю.

– Счастливый человек. Деньги все собираете?

– Нет, так.

- По этому поводу существует...
- Хорошо! Знаю. Один другому говорит: «Если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик». А тот его спрашивает: «А вы курите?» – «Нет». – «Значит, есть домик?» – «Нет». – «Ха-ха!» Да?
- Да, я именно этот анекдот и хотел рассказать. Откуда вы догадались?..
- Я его перебиваю:
- Как поживаете?
- Ничего себе. Вы как?
- Спасибо. До свидания. Заходите.
- Зайду. До свиданья. Спасибо.
- Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю:
- А вы счастливый человек, чтоб вас черти побрали!
- Почему – черти побрали?
- Такой анекдот есть. До свиданья. Заходите.
- Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот?
- Знаю, знаю, очень смешно. До свиданья, до свиданья.

Отец

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кричущих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать – такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное гремяние и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы – но тоже они были както ни к чему – делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

- Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!
- А матерьял стоил тридцать! – подхватывала мать.
- Молчи, Варя, – говорил отец. – Ты ничего не понимаешь...
- Конечно, – горько усмехаясь, возражала мать. – Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности – с коммерческой точки зрения – тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

- Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.
- Ты ничего не понимаешь, Варя, – деликатно возражал отец. – Он очень хороший человек.

Две дочери в гимназии учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

- Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне – так всем и давать в долг?
- Ты ничего не понимаешь, Варя, – печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

– Ты ничего не понимаешь, Васька, – сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины какихто голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план – открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть – покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

– Что это такое? – с беспокойством спросила мать. Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

– Увидите, – дрожа от нетерпения, говорил он. – Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

– Ну? – торжествуя обратился отец к окружающим. – Во сколько вы оцените эту штуку?

– Да для чего она? – спросила мать.

– Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты – сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша – льстец, гипперболист и фальшивая низкопоклонная душонка – всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

– Какая прелесть! Сколько стоит! Четыреста двадцать пять рублей!

– Ха-ха-ха! – торжествуя захохотал отец. – А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

– Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

– Много ты понимаешь! Можете представить – весь этот мрамор, красное дерево и все – стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

– Течет! – сказал отец. – Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:

– Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему – покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била. Но струя не дремала...

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убежал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

* * *

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье... Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с крышу небольшого сарайчика.

– Что это? – с тайным страхом спросила мать.

– Лампа, – весело отвечал отец.

– А я думала – тумба для афиш.

– Не правда ли, – подхватил отец, – прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного – тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

– Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

– Три тысячи! – уверенно сказал Алеша.

– Ха-ха! А ты что скажешь, Варя? Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

– Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоять такая лампа?

– Семь тысяч, – сказал я, обойдя вокруг лампы. – По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

– Много ты понимаешь! – растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начал, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

– Что еще? – выскочила мать.

– Часы, – счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно, как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часыгодились нам, как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашенных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

– Что ты с ними сделала? – спросили мы мать.

– Продала.

– Много дали? – спросил молчавший доселе отец.

– Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

– Много ты понимаешь! Теперь он умер, мой отец.

Корибу

В мой редакторский кабинет вошел, озираючись, бледный молодой человек. Он остановился у дверей, и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.

– Вы редактор?

– Редактор.

– Ей-богу?

– Честное слово!

Он замолчал, пугливо поглядывая на меня.

– Что вам угодно?

– Кроме шуток – вы редактор?

– Уверяю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?

– Не губите меня, – сказал молодой человек. – Если вы сболтнете – я пропал!

Он порылся в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое

движение к дверям с явной целью – бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в дверях ключ и сурово сказал:

– Э, нет, голубчик! Не уйдешь... Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..

Молодой человек упал на диван и залился горючими слезами.

Я развернул брошенную на стол бумажку. Вот какое странное произведение было на ней написано.

«Африканские неурядицы»

Указания благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными – все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья Далекоего Конго от понятий европейской закономерности и порядка...

Вождь племени бери-бери Корибу, заседа в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказалось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы, будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу?! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессилевшему от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:

– Вы хотите, чтобы мы это напечатали?

– Да... – робко кивнул он головой.

– Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, корралы, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:

– Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благородного собрания.

– Какой вздор и какая нелепость, – возмутился я. – К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто – описать одесский случай и прямо рассказать о поведении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было... Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафешантана и закрыл благородное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?

– Я думал, так безопаснее...

– А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто – наложил печати?

– А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? – прищурился молодой человек.

– Вы меня извините, – сказал я. – Но тут у вас есть еще одно место – самое чудовищное по ненужности и вздорности... Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание»? Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:

– А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так – нука – пусть догадаются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.

– Бедные мы с вами... – прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:

– Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы! И тоже плакали над своей горькой участью.

И артельщик пришел, и кассир, и мальчик, обязанности которого заключались в зализывании конвертов для заклейки – и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв слипшийся рот, раздирательно заплакал... И так плакали мы все.

Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут...

Хлопотливая нация

Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные, представления и толкования слов, слышанных от взрослых.

Слово «хлопоты» я представлял себе так: человек бежит из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы.

«Это и есть хлопоты», – думал я.

И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок.

Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот – в бегстве и бормотании.

С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации.

Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское.

Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на южный берег Крыма.

– Идея, – похвалили друзья. – Только ты похлопочи заранее о разрешении жить там.

– Похлопочи? Как так похлопочи?

– Очень просто. Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцыбашев хлопочет. Куприн тоже хлопочет.

– Как же они хлопочут? – заинтересовался я.

– Да так. Как обыкновенно хлопочут.

Мне живо представилось, как Куприн и Арцыбашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы... У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей.

– Ну, что ж, – вздохнул я. – Похлопочу и я. С этим решением я и поехал в Крым.

* * *

Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму – нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта – и мне же еще нужно хлопотать! Стоит после этого делать честь нации и быть русским... Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем.

В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили:

– Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы.

– По какой причине?

– На основании чрезвычайной охраны.

– А по какой причине?

– На основании чрезвычайной охраны!

– Да по ка-кой при-чи-не?!!

– На осно-ва-нии чрез-вы-чай-ной ох-ра-ны!!!

Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла.

Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил:

– Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина!!! Что – это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли – ваша чрезвычайная охрана?!? Ведь я не болен чрезвычайной охраной – за что же вы меня высылаете?.. Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой?! Можете вы развести меня с женой на основании чрезвычайной охраны?

Он подумал. По лицу его было видно, что он хотел сказать:

– Могу.

Но вместо этого сказал:

– Удивительная публика... Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право высылать вас на основании охраны? Имеем. Ну, вот и высылаем.

– Послушайте, – смиренно возразил я. – За что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрецины, хотя некоторые очень ее и заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смиреннько смотреть на птичек, собирать цветные камушки... Плюньте на вашу охрану, разрешите жить, а?

– Нельзя, – сказал губернаторский чиновник.

Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал:

– Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру... Я тихий. Разрешите? Можно жить?

Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, и есть хлопоты.

Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами. И заявил:

– Тогда – если вы так хотите – начните хлопотать об этом.

Я с суеверным ужасом поглядел на него.

Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову – не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные, утомительные, которые мне надлежит взвалить себе на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам?..

Да, ну вас к...

Я уехал.

* * *

Теперь я совсем сбился:

Человек хочет полетать на аэроплане.

Об этом нужно «хлопотать».

Несколько человек хотят устроить писательский съезд.

Нужно хлопотать и об этом.

И лекцию хотят прочесть о радиі – тоже хлопочут. И револьвер купить – тоже.

Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр? Почему – мне говорят – об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить! И об этом, говорят, хлопотать не стоит!

Да я хочу хлопотать!

Почему револьвер купить – нужно хлопотать, а галстук – не нужно? Лекцию о радиі прочесть – нужно похлопотать, а на «Веселую вдову» пойти – не нужно. Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать, и – о чем не нужно? Почему просто «о радиі» – нельзя, а «Радий в чужой постели» – можно?

И сижу я дома в уголку на диване (кстати, нужно будет похлопотать: можно ли сидеть дома в уголку на диване?) – сижу и думаю:

– Если бы человек захотел себе ярко представить Россию – как она ему представится?

Вот как:

Огромный человеческий русский муравейник «хлопочет».

Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать: бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут.

Хорошо бы это все взять да изменить...

Нужно будет похлопотать об этом.

Петухов

I

Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены.

Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому.

Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки.

Дальше было так: соседка уронила футляр от бинокля – Петухов его поднял; соседка внимательно посмотрела на Петухова – он внутренне задрожал сладкой дрожью; рука Петухова лежала на ручке кресла – такую же позу пожелала принять и соседка... а когда она положила свою руку на ручку кресла – их пальцы встретились.

Оба вздрогнули, и Петухов сказал:

– Как жарко!

– Да, – опустив веки, согласилась соседка. – Очень. В горле пересохло до ужаса.

– Выпейте лимонаду.

– Неудобно идти к буфету одной, – вздохнула красивая дама.

– Разрешите мне проводить вас. Она разрешила.

В последнем антракте оба уже болтали, как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла.

– Неужели мы так больше и не увидимся? – с легким стоном спросил Петухов. – Ах! Надо бы нам еще увидеться.

Брюнетка лукаво улыбнулась:

– Тссс!.. Нельзя. Не забывайте, что я замужем. Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал:

– Ах, ах! Умоляю вас – где же мы увидимся?

– Нет, нет, – усмехнулась брюнетка. – Мы нигде не увидимся. Бросьте и думать об этом. Тем более, что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге.

– Ага! – вскричал Петухов. – О, спасибо, спасибо вам.

– Я не знаю – за что вы меня благодарите? Решительно недоумеваю. Ну, здесь мы должны проститься! Я сажусь на извозчика.

Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую.

Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок, – и уехала.

II

Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы. Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил:

– Где ты была сегодня вечером?

– В синемаатографе.

Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза:

– Одна?

– Нет, с Марусей.

– С Марусей? Знаем мы эту Марусю!

– Я тебя не понимаю.

– Видишь ли, милая... Мне не нравятся эти хождения по театрам и синемаатографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего!

– Александр! Ты меня оскорбляешь... Я никогда не давала повода!!

– Э, матушка! Я не сомневаюсь – ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается. Ха-ха! О, я прекрасно знаю вас, женщин! Начинается это все с пустяков. Ты, верная жена, отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакое какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь. Но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь – он поднимает, вы встречаетесь взглядами... Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного? О, да! Пока конечно, ничего нет. Но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует... Ты кладешь руку на ручку кресла и – согласишься, это очень возможно – ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты (Петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку) – вздрагиваешь, как от электрического тока. Ха-ха! Готово! Начало сделано!! «Как жарко», – говорит он. «Да, – простодушно отвечаешь ты. – В горле пересохло...» – «Не желаете ли стакан лимонаду?» – «Пожалуй...»

Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате.

Его ревнивый взгляд жег жену.

– Леля, – простонал он. – Леля! Признайся!.. Он потом мог взять тебя под руку, провожать до извозчика и даже – негодяй! – при этом мог добиваться: когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидания ему не назначила – я слишком для этого уважаю тебя, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скетинг-ринг или еще что-нибудь... О, Леля, как я хорошо знаю вас, женщин!!

– Что с тобой, глупенький? – удивилась жена. – Ведь этого же всего не было со мной...

– Берегись, Леля! Как бы ты ни скрывала, я все-таки узнаю правду! Остановись на краю пропасти!

Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал.

III

Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скетинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая.

Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила:

– Вы? Каким образом?

– Позвольте быть вашим кавалером?

– О, да. Я здесь с кухней. Это ничего. Я познакомлю вас с ней.

Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту.

И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце.

– Милая! – прошептал он еле слышно. – Как мне хорошо...

– Тсс... – улыбнулась розовая от движения и его прикосновений Ольга Карловна. – Таких вещей замужним дамам не говорят.

– Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе.

– Вы с ума сошли! А кухня! А... вообще...

– «Вообще» – вздор, а кухню домой отправим.

– Нет, и не думайте! Она меня не оставит! Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал:

– Когда? Когда?

– Ни-ког-да! Впрочем, завтра я буду без нее.

– Спасибо!..

– Я не понимаю, за что вы меня благодарите?

– Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего!!

– Я не понимаю... что вы такое говорите? Что такое – уютно?

– Солнце мое лучистое! – уверенно сказал Петухов.

Приехав домой, он застал жену за книжкой.

– Где ты был?

– Заезжал на минутку в скетинг-ринг. А что?

– Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки – прекрасная вещь.

Петухов омрачился.

– Ага! Понимаю-с! Все мне ясно!

– Что?

– Да, да... Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полужнакомым пройдохой. У-у, подлая!

Петухов сердито схватил жену за руку и дернул.

– Ты... в своем уме?

– О-о, – горько засмеялся Петухов, – к сожалению, в своем. Я тебя понимаю! Это делается так просто! Встреча и знакомство в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге, катанье в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он, – не будь дурак – сейчас тебе: «Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать». Ты, конечно, сразу не согласишься...

Петухов хрипло, страдальчески засмеялся.

– Не согласишься... «Я, – скажешь ты, – замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной!» Но... змея! Я прекрасно знаю вас, женщин – ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!

Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом, под тяжестью упреков и угроз, заплакала.

Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены.

IV

Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило три часа.

Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо.

– Спите? – прошептал он. – Утомились? Ха-ха. Как же... Есть от чего утомиться! Страстные, грешные объятия – они утомляют!!

– Милый, что с тобой? Ты бредишь?

– Нет... я не брежу. О, конечно, ты могла быть это время и дома, но кто, кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетинг-рингов и не встретишься с одним из своих знакомых?! Это ничего, что знакомство продолжается три-четыре дня... Ха-ха! Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать – это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба...

– Саша!!

– Что там – Саша!

Петухов схватил жену за руку выше локтя так, что она застонала.

– О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бессцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту... Ты! Ты – чистая, добродетельная женщина только и находишь в

себе силы, что вскричать: «Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха-ха! Громадный оплот добродетели, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай!! И вот – гибнет все! Ты уже не та моя Леля какой была, не та, черт меня возьми!! Не та!!

Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и, обессиленный, зарыдал хватаящим за душу голосом.

V

Прошло три дня.

Петухов приехал домой к обеду, увидел жену за вязаньем, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся:

– Дома сидите? Так. Кончен, значит, роман! Недолго же он продолжался, недолго. Ха-ха. Это очень просто... Стоит ему, другу сердца, встретить тебя едущей на извозчике по Московской улице чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, – чтобы он написал тебе коротко и ясно: «Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса – это слишком! Надеюсь, вы должны понять теперь, почему я к вам совершенно равнодушен и – не буду скрывать – даже ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте!»

Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел:

– А что – кончен роман?! Кончен?! Так и надо. Так и надо! Го-го-го! Довольно я, душа моя, перестрадал за это время!!

Случай с Патлецовым

Глава первая

ключи

Однажды летом, в одиннадцать часов вечера, супруги Патлецовы сидели на ступеньках парадной лестницы в трех шагах от своей квартиры и ругались.

– В конце концов, – пробормотал Патлецов, – это уже удивительно: стоит только поручить что-либо женщине – и она приложит все усилия, чтобы исполнить это как можно хуже и глупее.

– Молчал бы лучше, – угрюмо отвечала жена, – уже достаточно одного того, что мужчины картежники и пьяницы.

Муж горько, страдальчески засмеялся.

– В огороде бузина, а в Киеве дядька... Представьте себе, – обратился он к угловому солидному столбику на перилах, так как никого другого поблизости не было, – представьте, что я, выходя днем с нею из дому, вышел первый, а ее попросил запереть парадную дверь и ключи взять с собой... Что же она сделала? Ключи забыла внутри, в замочной скважине, захлопнула дверь на английский замок, а ключик от него висит тоже внутри, на той стороне двери. Как вам это покажется! И, представьте, чем эта женщина оправдывается. «А вы, – говорит, – картежники». Логично, доказательно, всеобъемлюще!

Госпожа Патлецова хлопнула кулаком по молчаливому слушателю своего мужа и, энергично обернувшись, спросила:

– Скажи: чего ты от меня хочешь?

– Мне было бы желательно знать, как мы попадем в квартиру.

Жена задумалась.

– Это ты виноват. Ты отпустил прислугу до завтра – ты и виноват. Если бы она была внутри – она бы открыла нам.

– Видели? – обратился к своему единственному другу – столбику – Патлецов и заскрежетал зубами. – Я виноват, что отпустил прислугу. А она ее нанимала, – значит, она и виновата. А та заперла черный ход, – она, значит, и виновата. А какой-то глупый англичанин изобрел английский

замок, – он и виноват.

– Недаром я так не хотела выходить за тебя замуж. Если бы не вышла – ничего бы не было.

– Что?.. Как вам это нравится?

После долгого саркастического разговора Патлецов предложил жене два проекта: поехать до утра в гостиницу или переночевать тут же, ни площадке лестницы, у дверей.

Первый проект был забракован на том основании, что ездить по гостиницам неприлично. За второй проект автор его удостоился краткого слова:

– Ду-рак!

– Ну, что же, – кротко улыбнулся Патлецов. – Если я дурак, а ты умная, – придумай сама выход. А я вздремну.

Он прислонился к перилам и действительно задремал. Его разбудил плач.

– Ты чего?

– Мне страшно. Ступай за слесарем.

– Да какой же слесарь в двенадцатом часу... Все честные слесаря спят...

– Бери хоть нечестного. Мне все равно. Муж улыбнулся.

– Вот если бы сейчас поймать вора с отмычками – он оборудовал бы это моментально.

– Поймай вора.

– Что ты, милая!.. Как же это так... поймай вора! Что это – блоха на теле, что ли? Где я его ловить буду?

И тут же Патлецов немедленно вспомнил: за углом той большой улицы, где они жили, был грязный переулочек, а в переулочке помещался трактир «Назарет», пользовавшийся самой печальной и скверной репутацией.

Сначала то, что думал Патлецов, показалось ему невероятно глупым, чудовищным, а потом, когда он поразмыслил минут десять, план стал казаться гораздо проще и исполнимее.

Он сказал, что пойдет поискать слесаря, спустился с лестницы и исчез.

Глава вторая «назарет»

Теплый, влажный, пропитанный невыносимым запахом прокисшего пива и старых закусок воздух окутал Патлецова, когда он открыл темную липкую дверь.

Патлецов подошел к толстому одноглазому буфетчику и деликатно наклонился к нему.

– Не могу я навести у вас справочку?

– Ну, – сурово и подозрительно кивнул одноглазый.

– Мне нужен слесарь. Нет ли здесь... между вашими... гостями слесаря?

– А вам для чего?

– Ключи от дверей потеряли. В квартиру не могу попасть.

Вид у Патлецова был солидный, искренний. Буфетчик хмыкнул.

– Бог их знает... Все они слесаря так или иначе. Ходят тут всякие.

– Да вы мне только укажите на кого-нибудь... а я сам поговорю. Я заплачу ему.

– Вот туда идите, – ухмыльнулся буфетчик. – Видите, в углу роятся. Только меня не путайте. Может они и не возьмутся. Мне-то что!

В углу сидело трое. Приняли они Патлецова недоверчиво, странно поглядывая на него, сбитые, очевидно, с толку его странным предложением.

Один носил странное имя – Зря, другого называли Аркашенькой, а третий был сложнее: Мишка Саматоха.

– Кто хочет, ребята, честно рубль заработать?

– Да мы всегда честно рубли зарабатываем, – с болезненным самолюбием вора проворчал Аркашенька.

– И прекрасно. Мне нужен слесарь... Ключи от дверей забыл. Так нужно открыть.

Все трое, как куклы, замотали головами.

– Не занимаемся.

– Как же так? Мне сказали, что кто-то из вас слесарь.

Мишка Саматоха, молодой, бритый парень с лицом актера и такими невыносимо блестящими глазами, что он беспрестанно гасил их блеск скромным опусканием век, возразил:

– Да как же так: ночью идти в чужую квартиру, отмыкать какие-то двери – бог его знает, что оно такое... Хорошо ли это?

– Да я хозяин квартиры, – загорячился Патлецов. – Понимаете, хозяин квартиры. И я вам разрешаю... Мало того, я даже прошу вас об этом. Вы меня выручите... Я два рубля дам! Я очень, очень прошу вас. Ну что вам стоит выручить человека?

– Да почему вы в слесарную мастерскую не обратились? – спросил, гася свои алмазные глаза, Саматоха.

– Заперто уже все. Господи! А мне сказали, что тут, в «Назарете», можно найти... этих... слесарей... безработных. Как же мы иначе попадем в квартиру! Мы бы с женой вам были очень благодарны, чрезвычайно.

Зря и Аркашенька снова сухо отказались. А сентиментальному Саматохе польстило, что его так просят и что этот господин в золотых очках и его жена, вероятно, красивая, не менее нарядная женщина, будут ему, Саматохе, очень благодарны.

А когда Патлецов, заметив колебания раскисшего Мишки, взял его за руку и горячо пожал ее, Мишка встал и, разнеженно усмехнувшись, буркнул:

– Идите вперед. Я... сбегаю за инструментом и догоню вас.

Глава третья мишка саматоха

Жена Патлецова была очень удивлена и обрадована, когда муж явился с каким-то человеком и сообщил радостно:

– Нашел. Вот он сейчас откроет.

У Саматохи в сукне были завернуты какие-то вещицы, издававшие металлический звон. Саматоха поклонился жене Патлецова, положил суконку на подоконник и развернул ее.

– О-ой, что это, – с кокетливым любопытством протянула госпожа Патлецова, заглядывая в суконку, – зачем так много?

– Инструменты, сударыня, – снисходительно улыбнулся Мишка Саматоха. – Разные тут.

– А это что?

– Это английский лобзик, – стал объяснять польщенный вниманием Мишка. – Пилочка такая... Преимущественно для амбарных замков и засовов. Вот этим ее смазывают, чтобы не слышно было.

– А зачем чтоб не слышно было? – спросила жена. Патлецов и Саматоха перекинулись быстрыми смеющимися взглядами и отвернулись друг от друга.

– Это, извольте ли видеть, американский ключ – последнее слово техники. Со вставными бородками: можно вставить какую угодно, вот набор бородок.

Невыносимо алмазные глаза Мишки сверкали вдохновением артиста.

– Ну, а как же вы откроете нашу дверь? – спросил Патлецов. – Этим, что ли?

– Английский замок? Нет, этой штучкой. То совсем для другого. Вот, смотрите...

Мишке Саматохе хотелось под взглядом прекрасных женских глаз сделать свое дело как можно красивее, проворнее и с блеском.

– Только он не будет уже больше годиться, – предупредил он, – ничего? Английские замки нужно, видите ли, ломать снаружи, чтобы открыть.

– Все равно, – нетерпеливо сказал Патлецов. – Лишь бы попасть домой.

– Слушаюсь!

Послышался треск. Саматоха, с лицом доктора, делающего трудную операцию, суетливо нагнулся к своему набору инструментов, быстро вынул необходимый и сунул его куда-то вбок, в щель.

У своего плеча он слышал дыхание госпожи Патлецовой, с любопытством глядевшей на его

работу.

И сам Патлецов был невероятно заинтересован. Потный, сияющий Саматоха чувствовал себя героем дня.

– Пожалуйте-с!

Госпожа Патлецова радостно вскрикнула и бросилась в открытую дверь. Патлецов посмотрел на собиравшего свои инструменты Саматоху и сказал ему:

– Подождите здесь. Я сейчас вынесу деньги.

Дверь захлопнулась, и Саматоха остался один.

Прошло минут пять-шесть. К Саматохе никто не выходил. Саматоха уже хотел напомнить о себе деликатным стуком в дверь, как она распахнулась и в ее освещенном четырехугольнике показались Патлецов, дворник и городской.

– А-ах! – крикнул протяжно Мишка Саматоха, отпрыгивая к окну.

– Вот что, милый мой, – строго обратился к нему Патлецов. – Ты, я вижу, слишком большой искусник и слишком большая персона, чтобы оставлять тебя на свободе. Сегодня ты открыл дверь с моего разрешения, а завтра сделаешь это без оного. Общество должно бороться с подобными людьми всеми легальными способами, какие есть в его распоряжении. Понимаешь? А такой субъект, как ты, да на свободе, да с этим инструментом – благодарю покорно! Да я ночей не буду спать!..

Когда Саматоху уводили, он уже не старался тушить бриллиантовый взгляд своих глаз. Они так сияли, что больно было смотреть.

Патлецов аккуратно запер дверь и, почесав спину, пошел спать.

Яд

(Ирина Сергеевна Рязанцева)

Я сидел в уборной моей знакомой Рязанцевой и смотрел, как она гримировалась. Ее белые гибкие руки быстро хватили неизвестные мне щеточки, кисточки, лапки, карандаши, прикасались ими к черным прищуренным глазам, от лица порхали к прическе, поправляли какуюто ленточку на груди, серьгу в ухе, и мне казалось, что эти руки преданы самому странному и удивительному проклятию: всегда быть в движении.

«Милые руки, – с умилением подумал я. – Милые, дорогие мне глаза!»

И неожиданно я сказал вслух:

– Ирина Сергеевна, а ведь я вас люблю!

Она издала слабый крик, всплеснула руками, обернулась ко мне, и через секунду я держал ее в своих крепких объятьях.

– Наконец-то! – сказала она, слабо смеясь. – Ведь я измучилась вся, ожидая этих слов. Зачем ты меня мучил?

– Молчи! – сказал я.

Усадил ее на колени и нежно шепнул ей на ухо:

– Ты мне сейчас напомнила, дорогая, ту нежную, хрупкую девушку из пьесы Горданова «Хризантемы», которая – помнишь? – тоже так, со слабо сорвавшимся криком «наконец-то» бросается в объятия помещика Лаэртова. Ты такая же нежная, хрупкая и так же крикнула своим милым сорвавшимся голоском... О, как я люблю тебя.

На другой день Ирина переехала ко мне, и мы, презирая светскую условность, стали жить вместе.

* * *

Жизнь наша была красива и безоблачна.

Случались небольшие ссоры, но они возникали по пустяковым поводам и скоро гасли за отсутствием горючего матерьяла.

Первая ссора произошла из-за того, что однажды, когда я целовал Ирину, мое внимание привлекло то обстоятельство, что Ирина смотрела в это время в зеркало.

Я отодвинул ее от себя и, обижаясь, спросил:

– Зачем ты смотрела в зеркало? Разве в такую минуту об этом думают?

– Видишь ли, – сконфуженно объяснила она, – ты немного неудачно обнял меня. Ты сейчас обвил руками не талию, а шею. А мужчины должны обнимать за талию.

– Как... должен? – изумился я. – Разве есть где-нибудь такое узаконенное правило, чтобы женщин обнимать только за талию? Странно! Если бы мне подвернулась талия, я обнял бы талию, а раз подвернулась шея, согласись сама...

– Да, такого правила, конечно, нет... но как-то странно, когда мужчины обвивают женскую шею.

Я обиделся и не разговаривал с Ириной часа два. Она первая пошла на примирение.

Подошла ко мне, обвила своими прекрасными руками мою шею (мужская шея – узаконенный способ) и сказала, целуя меня в усы:

– Не дуйся, глупый! Я хочу сделать из тебя интересного, умного человека... И потом... (она застенчиво поежилась) я хотела бы, чтобы ты под моим благотворным влиянием завоевал бы себе самое высокое положение на поприще славы. Я хотела бы быть твоей вдохновительницей, больше того – хотела бы сама завоевать для тебя славу.

Она скоро ушла в театр, а я призадумался: каким образом она могла бы завоевать для меня славу? Разве что сама бы вместо меня писала рассказы, при условии, чтобы они у нее выходили лучше, чем у меня. Или что она понимала под словом «вдохновительница»? Должен ли я был всех героев своих произведений списывать с нее, или она должна была бы изредка просить меня: «Владимир, напиши-ка рассказ о собаке, которая укусила за ногу нашу кухарку. Володечка, не хочешь ли взять темой нашего комика, который совсем спился, и антрепренер прогоняет его».

И вдруг я неожиданно вспомнил. Недавно мне случилось видеть в театре пьесу «Без просвета», где героиня целует героя в усы и вдохновенно говорит: «Я хочу, чтобы ты под моим влиянием завоевал себе самое высокое положение на поприще славы. Я хочу быть твоей вдохновительницей».

– Странно, – сказал я сам себе.

А во рту у меня было такое ощущение, будто бы я раскусил пустой орех.

* * *

С этих пор я стал наблюдать Ирину. И чем больше наблюдал, тем больший ужас меня охватывал.

Ирины около меня не было. Изредка я видел страдающую Верочку из пьесы Лимонова «Туманные дали», изредка около меня болезненно, с безумным надрывом веселился трагический тип решившей отравиться куртизанки из драмы «Лучше поздно, чем никогда»... А Ирину я и не чувствовал.

Дарил я браслет Ирине, а меня за него ласкала грандкоклет, обвивавшая мою шею узаконенным гранд-коклетским способом. Возвращаясь поздно домой, я, полный раскаяния за опоздание, думал встретить плачущую, обиженную моим равнодушием Ирину, но в спальне находил, к своему изумлению, какую-то трагическую героиню, которая, заломив руки изящным движением (зеркало-то – ха-ха! – висело напротив), говорила тихо, дрожащим, предсмертным голосом:

– Я тебя не обвиняю... Никогда я не связывала, не насиловала свободы любимого мною человека... Но я вижу далеко, далеко... – Она устремила отуманенный взор в зеркало и вдруг неожиданно громким шепотом заявила: – Нет! Ближе... совсем близко я вижу выход: сладкую, рвущую все цепи, благодетельницу смерть...

– Замолчи! – нервно говорил я. – Кашалотов, «Погребенные заживо», второй акт, сцена Базаровского с Ольгой Петровной. Верно? Еще ты играла Ольгу Петровну, а Рафаэлов – Базаровского... Верно?

Она болезненно улыбалась.

– Ты хочешь меня обидеть? Хорошо. Мучай меня, унижай, унижай сейчас, но об одном только молю тебя: когда я уйду с тем, кто позовет меня по-настоящему, – сохрани обо мне светлую, весеннюю память.

– Не светлую, – хладнокровно поправил я, стаскивая с ноги ботинок и расстегивая жилет, – а «лучезарную».

Неужели ты забыла четвертый акт «Птиц небесных», седьмое явление?

Она молча, широко открытыми глазами смотрела на меня, что-то шептала страдальчески губами и, неожиданно со стоном обрушиваясь на постель, закрывала подушкой голову.

А из-под подушки виднелся блестящий, красивый глаз, и он был обращен к зеркалу, а рука инстинктивно обдергивала конец одеяла.

* * *

Однажды, когда я после какой-то размолвки, напившись утреннего чая, встал и взялся за пальто, предполагая прогуляться, она обратила на меня глаза, полные слез, и сказала только одно тихое слово:

– Уходишь?

Сердце мое сжалось, и я хотел вернуться, чтоб упасть к ее ногам и примириться (все-таки я любил ее), но тотчас же спохватился и выругал себя беспамятным идиотом и разиней.

– Слушай! – сказал я, укоризненно глядя на нее. – Прекратится ли когда-нибудь это безобразия?.. Вот ты сказала одно лишь слово – всего лишь одно маленькое словечко, и это не твое слово, и не ты его говоришь.

– А кто же его говорит? – испуганно прошептала она, инстинктивно оглядываясь.

– Это слово говорит графиня Добровольская («Гнилой век», пьеса Абрашкина из великосветской жизни, в четырех актах, между вторым и третьим проходят полтора года). Та самая Добровольская, которую бросает негодяй князь Обдорский и которая бросает ему вслед одно только щемящее слово: «Уходишь?» Вот кто это говорит!

– Неужели? – прошептала сбитая с толку Ирина, смотря на меня во все глаза.

– Да конечно же! Ты же сама еще и играешь графиню. Ну, милая! Ну, не сердись... Будем говорить откровенно... На сцене, – пойми ты это, – такая штука, может быть, и хороша, но зачем же такие штуки в нашей жизни? Милая, будем лучше сами собой. Ведь я люблю тебя. Но я хочу любить Ирину, а не какую-то выдуманную Абрашкиным графиню или слезливую Верочку, плод досугов какого-то Лимонова! Я говорю серьезно: будем сами собой!

На глазах ее стояли слезы. Она бросилась мне на шею и, плача, крикнула:

– Я люблю тебя! Ты опять вернулся!

Так как она в неожиданном порыве обняла меня под мышками (способ неприятый), я многое простил ей за это. Даже подозрительные слова: «Ты опять вернулся», – пропустил я мимо ушей.

* * *

Когда примирение состоялось, я с облегченным сердцем уехал по делам и вернулся только к обеду. Ирина была неузнаваема.

Театральность ее пропала. Заслышав мои шаги в передней, она с пронзительным криком: «Володька пришел!» – выскочила ко мне, упала передо мной на колени, расхохоталась, а когда я, смеясь, нагнулся, чтобы поднять ее, то она поцеловала меня в темя и дернула за ухо (способы ласки диковинные и на сцене мною не замеченные).

А когда я за обедом спросил ее, не сердится ли она на меня за утренний разговор, она бросила в меня салфеткой, сделала мне своими очаровательными руками ребольшой нос и подмигнув сказала: «Молчи, старый, толстый дурачок!»

Хотя я не был ни старым, ни толстым, но мне это правилось больше прежнего: «О, свет моей жизни! О, солнце, освещающее мой путь!»

Вечером она уехала в театр, а я сел за рассказ. Не писалось.

Тянуло к ней, к этому большому, изломанному, но хорошему в некоторых порывах ребенку.

Я оделся и поехал в театр. Шла новая комедия, которой я еще не видел. Называлась она «Воробушек».

Когда я сел в кресло, шел уже второй акт. На сцене сидела Ирина и что-то шила, а когда зазвенел за кулисами звонок и вошел толстый, красивый блондин, она вскочила, засмеялась, шаловливым движением бросилась перед ним на колени, потом поцеловала его в темя, дернула за ухо и радостно приветствовала:

– Здравствуй, старый, толстый дурачок! Зрители смеялись. Все смеялись, кроме меня.

* * *

Теперь я счастливый человек.

Недавно, сидя в столовой, я услышал из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривала. Сначала я лениво прислушивался, потом прислушивался внимательно, потом встал и прильнул к полуоткрытой двери.

И по щекам моим текли слезы, а на лице было написано блаженство, потому что я видел ее, настоящую Ирину, потому что я слышал голос подлинной, без надоевших театральных вывертов и штучек Ирины.

Она говорила кому-то, очевидно, прачке:

– Это, по-вашему, панталоны? Дрянь это, а не панталоны. Разве так стирают? А чулки? Откуда взялись, я вас спрашиваю, дырки на пятках? Что? Не умеете – не беритесь стирать. Я за кружево на сорочках платила по рубль двадцать за аршин, а вы мне ее попортили.

Я слушал эти слова, и они казались мне какой-то райской музыкой.

– Ирина, – шептал я, – настоящая Ирина.

А впрочем... Господа! Кто из вас хорошо знает драматическую литературу? Нет ли в какой-нибудь пьесе разговора барыни с прачкой?..

Смерть девушки у изгороди

Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе, у изгороди, стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль.

Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин: стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства.

Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую, издерганную душу.

Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города.

С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели.

Прямая им противоположность – городская женщина. Глаза ее ни на секунду не устремляются в беспредельную даль. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие, тут же, около вас... Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть... Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом...

О, как прекрасны девушки у изгороди!

У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к

числу городских женщин.

На этой городской женщине я изучил женщин вообще – и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть.

Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременно условием – не считать ее за человека.

Сначала она призадумалась:

– А кем же ты будешь считать меня?

– Я буду считать тебя существом выше человека, – предложил я, – существом особенным, недостижимым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама – какой же ты человек?

Кажется, она обиделась.

– Очень странно! Если у меня нет усов и бороды...

– Милая! Не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины, – это вздор. Просто мы разные – и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы... Довольно с тебя этого? Если бы прекрасная, нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом – ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей.

– Ну, поцелуй меня, – сказала женщина.

– Это можно. Сколько угодно. Мы поцеловались.

– А ты меня будешь уважать? – спросила она, немного помолчав.

– Очень тебе это нужно! Если я начну тебя уважать – ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей.

И она стала жить у меня.

Часто, утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем.

Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком.

То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз – когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке.

– Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности – кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они?

– Ты глуп.

Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, полезна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ног не могли; корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаюсь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм.

Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам.

Цель, к которой он при этом стремится, – сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно.

«Выдумаю-ка я для них башмаки», – решил в пылу своей работы этот таинственный человек.

За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума.

«Гм, – думает этот человек, – башмак хорошо-с!»

Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц, и – бедная, доверчивая, обманутая женщина

обута.

«Ничего, – злорадно думает этот грубый таинственный человек. – Сносишь. Не подохнешь... Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У мужчин они большие, плотные. Хорошо-с.

Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра».

И этот человек достигает своей цели: от дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается.

«Носи, носи! – усмехается суровый незнакомец. – Я тебе и шляпку выдумую. И кофточку, которая застегивается сзади. И пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь, за тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом подлецом себя держит».

Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то «Институте красоты». Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок.

– Вот, – сказала мне продавщица, – модная вещь.

В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.

– Что это?

– Это, monsieur, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. Двенадцать рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки.

– А есть у вас клей, – спросил я с тонкой иронией, – для приклеивания на место выпавших волос?

– На будущей неделе получим, monsieur. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?

– Благодарю вас, – холодно сказал я, – я предпочитаю сделать это с помощью мясорубки или ротационной машины.

Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым, нахальным незнакомцем.

* * *

Живя у меня, городская женщина проводила время так.

Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был невинноградный сезон, то что-нибудь другое – плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты.

Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции.

– Почему тебя интересуют именно турки? – спросил я однажды.

– Они такие милые. У тети жил один турок-водонос. Черный-черный, загорелый. А глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?

Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне.

Через пять минут она заливалась слезами:

– Зачем ты ее купил?

– А что?

– Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю!

– Ну, еще что?

– Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо, ты глубоко в этом раскаешься.

– В чем?

– В этом.

Она плакала, я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.

– Луша, – спрашивала горничную жившая у меня женщина, – зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?

– Он не заходил.

– Ступайте.

– Это еще что за штуки? – кричал я сурово.

– Я хотела вас поймать. Гм... Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим.

Потом она еще плакала.

– Дай мне слово, что когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство.

* * *

Недавно я пришел к ней и сказал:

– Ну вот я и разлюбил тебя.

– Не может быть! Ты лжешь. Какие вы, мужчины, негодяи!

– Мне не нравятся городские женщины, – откровенно признался я. – Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина. Ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня если не физически, то взглядами, желанием, кокетничаньем с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок... К черту приборы для вынимания соринки из глаз!

– Ну, поцелуй меня, – сказала внимательно слушавшая меня женщина.

– Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими.

– И буду. Подумаешь, какой красавец выискался! Думает, что кроме его и нет никого. Не беспокойся, милый! Поманю – толпой побегут.

– Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай.

* * *

На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось: усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опирающуюся на изгородь... Я упал перед ней на колени и заплакал:

– Я устал, я весь изломан. Исцели меня. Ты должна сделать чудо.

Она побледнела и заторопилась:

– Встаньте. Не надо... Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы.

– У меня было прошлое. У меня была женщина.

– Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне – у тебя не было счастья.

Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для меня ноги на низких каблуках:

– Не надо, не надо!

Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил, – с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой.

Тихие слезы умиления накали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпу с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное.

Мы уже миновали задумчивые, зеленые поля и въехали в шумный, громадный город.

– Она здесь? – неожиданно спросила меня моя спутница.
– Милая! Раньше ты этого не говорила. И потом – это невозможно. Я ведь сам от нее ушел.
– Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?
– Да так просто.
– Так. Но ведь ты мог смотреть на меня!
Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины.
– Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков.
– Зайдем. И мне нужно кое-что. В магазине она спросила:
– У вас есть маленькие кружевные зонтики? Я побледнел.
– Милая... зачем? Они так неудобны... лучше большой.
– Большой – что ты говоришь! Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики! Это не деревня. Послушайте. У вас есть подвязки, такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках... не те, выше, еще выше.

Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как выростала изгородь из хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов... А на тихой, дремлющей вдаль и осененной ветлами усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами:

Modes et robes.⁶

Девушка отошла от изгороди и – умерла.

История болезни Иванова

Однажды беспартийный житель Петербурга Иванов вбежал, бледный, растерянный, в комнату жены и, выронив газету, схватился руками за голову.

– Что с тобой? – спросила жена.
– Плохо! – сказал Иванов. – Я левею.
– Не может быть! – ахнула жена. – Это было бы ужасно... Тебе нужно лечь в постель, укрыться теплым и натереться скипидаром.
– Нет... что уж скипидар! – покачал головой Иванов и посмотрел на жену блуждающими, испуганными глазами. – Я левею!
– С чего же это у тебя, горе ты мое?! – простонала жена.
– С газеты. – Встал я утром – ничего себе, чувствовал все время беспартийность, а взял случайно газету...
– Ну?
– Смотрю, а в ней написано, что в Минске губернатор запретил читать лекцию о добывании азота из воздуха... И вдруг – чувствую я, что мне его не хватает...
– Кого это?
– Да воздуху же!.. Подкатило под сердце, оборвалось, дернуло из стороны в сторону... Ой, думаю, что бы это? Да тут же и понял: левею!
– Ты б молочка выпил... – сказала жена, заливаясь слезами.
– Какое уж там молочко... Может, скоро баланду хлебать буду!
Жена со страхом посмотрела на Иванова.
– Левеешь?
– Левею...
– Может, доктора позвать?
– При чем тут доктор?!
– Тогда, может, пристава пригласить?

⁶ Шляпы и платья (фр.).

Как все больные, которые не любят, когда посторонние подчеркивают опасность их положения, Иванов тоже нахмурился, засопел и недовольно сказал:

– Я уж не так плох, чтобы пристава звать. Может быть, отойду.

– Дай-то Бог, – всхлипнула жена.

Иванов лег в кровать, повернулся лицом к стене и замолчал.

Жена изредка подходила к дверям спальни и прислушивалась. Было слышно, как Иванов, лежа на кровати, левел.

* * *

Утро застало Иванова осунувшимся, похудевшим... Он тихонько пробрался в гостиную, схватил газету и, убежав в спальню, развернул свежий газетный лист.

Через пять минут он вбежал в комнату жены и дрожащими губами прошептал:

– Еще полевел! Что оно будет – не знаю!

– Опять небось газету читал, – вскочила жена. – Говори! Читал?

– Читал... В Риге губернатор оштрафовал газету за указание очагов холеры...

Жена заплакала и побежала к тестю.

– Мой-то... – сказала она, ломая руки. – Левеет.

– Быть не может?! – воскликнул тесть.

– Верное слово. Вчерась с утра был здоров, беспартийность чувствовал, а потом оборвалась печенка, и полевел!

– Надо принять меры, – сказал тесть, надевая шапку. – Ты у него отними и спрячь газеты, а я забегу в полицию, заявку господину приставу сделаю.

* * *

Иванов сидел в кресле, мрачный, небритый, и на глазах у всех левел. Тесть с женой Иванова стояли в углу, молча смотрели на Иванова, и в глазах их сквозили ужас и отчаяние.

Вошел пристав.

Он потер руки, вежливо раскланялся с женой Иванова и спросил мягким баритоном:

– Ну, как наш дорогой больной?

– Левеет!

– А-а! – сказал Иванов, поднимая на пристава мутные, больные глаза. – Представитель отживающего полицейско-бюрократического режима! Нам нужна закономерность...

Пристав взял его руку, пощупал пульс и спросил:

– Как вы себя сейчас чувствуете?

– Мирнообновленцем!

Пристав потыкал пальцем в голову Иванова:

– Не готово еще... Не созрел! А вчера как вы себя чувствовали?

– Октябристом, – вздохнул Иванов. – До обеда – правым крылом, а после обеда – левым...

– Гм... плохо! Болезнь прогрессирует сильными скачками...

Жена упала тестю на грудь и заплакала.

– Я, собственно, – сказал Иванов, – стою за принудительное отчуждение частновладельч...

– Позвольте! – удивился пристав. – Да это кадетская программа...

Иванов с протяжным стоном схватился за голову.

– Значит... я уже кадет!

– Все левеете?

– Леваю. Уходите! Уйдите лучше... А то я на вас все смотрю и леваю.

Пристав развел руками... Потом на цыпочках вышел из комнаты.

Жена позвала горничную, швейцара и строго запретила им приносить газеты. Взяла у сына томик «Робинзона Крузо» с раскрашенными картинками и понесла мужу.

– Вот... почитай. Может, отойдет.

* * *

Когда она через час заглянула в комнату мужа, то всплеснула руками и, громко закричав, бросилась к нему.

Иванов, держась за ручки зимней оконной рамы, жадно прильнул глазами к этой раме и что-то шептал...

– Господи! – вскрикнула несчастная женщина. – Я и забыла, что у нас рамы газетами оклеены... Ну, успокойся, голубчик, успокойся! Не смотри на меня такими глазами... Ну, скажи, что ты там прочел? Что там такое?

– Об исключении Колюбакина... Ха-ха-ха! – проревел Иванов, шатаясь, как пьяный. – Отречемся от старого ми-и-и...

В комнату вошел тесть.

– Кончено! – прошептал он, благоговейно снимая шапку. – Беги за приставом...

* * *

Через полчаса Иванов, бледный, странно вытянувшийся, лежал в кровати со сложенными на груди руками. Около него сидел тесть и тихо читал под нос эрфуртскую программу. В углу плакала жена, окруженная перепуганными, недоумевающими детьми. В комнату вошел пристав.

Стараясь не стучать сапогами, он подошел к постели Иванова, пощупал ему голову, вынул из его кармана пачку прокламаций, какой-то металлический предмет и, сокрушенно качнув головой, сказал:

– Готово! Доспел.

Посмотрел с сожалением на детей, развел руками и сел писать проходное свидетельство до Вологодской губернии.

Октябрист Чикалкин

К октябристу Чикалкину явился околоточный надзиратель и объявил, что предполагавшееся им, Чикалкиным, собрание в городе Битюге, с целью сообщения избирателям результатов о деятельности его, Чикалкина, в Думе, не может быть разрешено.

– Почему? – спросил изумленный Чикалкин.

– Потому. Неразрешенные собрания воспрещаются!

– Так вы бы и разрешили! Околоточный снисходительно усмехнулся:

– Как же это можно: разрешить неразрешенное собрание. Это противозаконно.

– Но ведь, если вы разрешите, оно уже перестанет быть неразрешенным, – сказал, подумавши немного, Чикалкин.

– Так-то оно так, – ответил околоточный, еще раз усмехнувшись бестолковости Чикалкина. – Да как же его разрешить, если оно пока что неразрешенное? Посудите сами.

– Хорошо, – сказал зловеще спокойным тоном Чикалкин. – Мы внесем об этом в Думе запрос.

– Распишитесь, что приняли к сведению, – хладнокровно кивнул головой околоточный.

* * *

Когда октябрист Чикалкин остался один, он долго, взволнованный и возмущенный до глубины души, шагал по комнате...

– Вы у меня узнаете, как не разрешать! Ладно! Запрос надо формулировать так: «Известно ли... и тому подобное, что администрация города Битюга своими незаконномер...»

Чикалкин вздохнул и потер бритую щеку.

– Гм. Резковато. За версту кадетом несет... Может, так: «Известно ли и тому подобное, что

ошибочные действия администр...» А что такое ошибочные? Ошибка – не вина. Тот не ошибается, кто ничего не делает. Да что ж я, в самом деле, дурак... Запрос! Запрос! Не буду же я один его вносить. А фракция – вдруг скажет: несвоевременно! Ну конечно, скажет... Такие штуки всегда несвоевременны. Запрос! Эх, Чикалка! Тебе, брат, нужно просто министру пожаловаться, а ты... Право! Напишу министру этакое официальное письмо...

* * *

Октябрист Чикалкин сел за стол.

«Ваше высокопревосходительство! Сим довожу до вашего сведения, что произвол властей...»

Перо Чикалкина застыло в воздухе. В столовой гулко пробило два часа.

«... что произвол властей...»

В столовой гулко пробило половину третьего.

«... что произвол властей, которые...»

Рука онемела. В столовой гулко пробило пять.

«... что произвол властей, которые...»

Стало смеркаться.

«Которые... произвол, котор...»

И вдруг Чикалкину ударило в голову:

«А что, если...»

Он схватил начатое письмо и изорвал его в клочья.

– Положим... Не может быть!.. А вдруг! Октябрист Чикалкин долго ходил по комнате и, наконец, всплеснув руками, сказал:

– Ну конечно! Просто нужно поехать к исправнику и спросить о причине неразрешения. В крайнем случае – припугнуть.

* * *

Чикалкин оделся и вышел на улицу.

– Извозчик! К исправнику! Знаешь?

– Господи! – с суеверным ужасом сказал извозчик. – Да как же не знать-то! Еще позавчерась они меня обстраховали за езду. Такого, можно сказать, человека, да не знать. Скажут такое.

– Что же он – строгий? – спросил Чикалкин, усаживаясь в пролетку.

– Он-то? Страсть. Он, ваше высокоблагородие, будем прямо говорить – строгий человек. И-и! Порох! Чиновник мне один анадясь сказывал... Ему – слово, а он сейчас ножками туп-туп да голосом: «В Сибирь, говорит, вас всех!! Начальство не уважаете!!»

– Что ж он – всех так? – дрогнувшим голосом спросил Чикалкин.

– Да уж такие господа... Строгие. Если что – не помилуют.

Октябрист Чикалкин помолчал.

– Ты меня куда везешь-то? – неожиданно спросил он извозчика.

– Дык сказывали – к господину исправнику...

– Дык сказывали! – передразнил его Чикалкин. – А ты слушай ухом, а не брюхом. Кто тебе сказывал? Я тебе, дураку, говорю – вези меня в полицейское управление, а ты к самому исправнику!.. Мало штрафуют вас, чертей. Заворачивай!

* * *

– Да, брат, – заговорил Чикалкин, немного успокоившись. – В полицейское управление мне надо. Хе-хе! Чудаки эти извозчики, ему говоришь туда, а он тебя везет сюда. Так-то, брат. А мне в полицейское управление и надо-то было. Собрание, вишь ты, мне не разрешили. Да как же! Я им такое неразрешение покажу! Сейчас же проберу их хорошенько, выясню, как и что. Попляшут они

у меня! Это уж такая у нас полиция – ей бы только придраться. Уже... приехали?... Что так скоро?

– Старался, как лучше.

– Могу я видеть пристава? – спросил Чикалкин, входя. – То есть... господина пристава... можно видеть?

– Пожалуйте.

– Что нужно? – поднялся навстречу Чикалкину грузный человек с сердитым лицом и длинными рыжими усами.

– Я хотел бы этого... спросить вас... Могу ли я здесь получить значок для моей собачки на предмет уплаты городского налога.

– Э, черт! – отрывисто вскричал пристав. – Шляются тут по пустыкам! В городской управе нужно получать, а не здесь. Герасимов, дубина стоеросовая! Проводи.

Мой сосед по кровати

Гостей на этой даче было так много, что я не всех знал даже по фамилиям. В 2 часа ночи вся эта усталая, нашумевшая за день компания стала поговаривать об отдыхе. Выяснилось, что ночевать остаются восемь человек – в четырех свободных комнатах.

Хозяйка дома подвела ко мне маленького приземистого человечка из числа остающихся и сказала:

– А вот с вами в одной комнате ляжет Максим Семеныч.

Конечно, я предпочел бы иметь отдельную комнату, но по осмотре маленького незнакомца решил, что если уж выбирать из нескольких зол, то выбирать меньшее.

– Пожалуйста!

– Вы ничего не будете иметь против? – робко осведомился Максим Семеныч.

– Помилуйте... Почему же?

– Да видите ли... Потому что компаньон-то я тяжелый...

– А что такое?

– Человек я пожилой, неразговорчивый, мрачный, все больше в молчанку играю, а вы паренек молодой, небось душу перед сном не прочь отвести, поболтать об этом да об том?

– Наоборот. Я с удовольствием помолчу. Я сам не из особенно болтливых.

– А коли так, так и так! – облегченно воскликнул Максим Семеныч. – Одно к одному, значит. Хе-хе-хе...

Когда мы пришли в свою комнату и стали раздеваться, он сказал:

– А ведь знаете, есть люди, которые органически не переносят молчания. Я потому вас и спросил давеча. Меня многие недолголюбивают за это. Что это, говорят, молчит человек, ровно колода...

– Ну, со мной вы можете не стесняться, – засмеялся я.

– Ну, вот спасибо. Приятное исключение...

Он снял один ботинок, положил его под мышку, погрузился в задумчивость и потом, улыбувшись, сказал:

– Помню, еще в моей молодости был случай... Поселился я со знакомым студентом Силантьевым в одной комнате... Ну, молчу я... день, два – молчу... Сначала он подсмеивался надо мной, говорил, что у меня на душе нечисто, потом стал нервничать, а под конец ругаться стал... «Ты что, – говорит, – обет молчания дал? Чего молчишь, как убитый?» – «Да ничего», – отвечаю. «Нет, – говорит, – ты что-нибудь скажи!» – «Да что же?» Опять молчу. День, два. Как-то схватил он бутылку да и говорит: «Эх, – говорит, – с каким бы удовольствием трахнул тебя этой бутылкой, чтобы только от тебя человеческий голос услышать». А я ему говорю: «Драться нельзя». Помолчали денька три опять. Однажды вечером раздеваемся мы перед сном, вот как сейчас, а он как пустит в меня сапогом! «Будь ты, – говорит, – проклят отныне и до века. Нет у меня жизни человеческой!.. Не знаю, – говорит, – в гробу я лежу, в одиночной тюрьме или где. Завтра же утром съезжаю!» И что же вы думаете? – Мой сосед тихо засмеялся. – Ведь сбежал. Ей-богу, сбежал.

– Ну, это просто нервный субъект, – пробормотал я, с удовольствием ныряя в холодную по-

стель.

– Нервный? Тогда, значит, все нервные! Ежели девушка двадцати лет, веселая, здоровая, она тоже нервная? У меня такая невеста была. Сначала говорила мне: «Мне, – говорит, – нравится, что вы такой серьезный, положительный, не болтун». А потом, как только приду – уже спрашивать начала: «Чего вы все молчите?» – «Да о чем же говорить?» – «Как! Неужели не о чем? Что вы сегодня, например, делали?» – «Был на службе, обедал, а теперь вот к вам приехал». – «Мне, – говорит, – страшно с вами. Вы все молчите...» – «Такой уж, – говорю, – я есть – таким меня и любите». Да где там! Приезжаю к ней как-то, а у нее юнкер сидит. Сидит-ит, разливаётся! Я, говорит, видел и то и се, бывал и там и тут, и бываете ли вы в театре, и любите ли вы танцы, и что это значит, что подарили мне сейчас желтый цветок, и со значением или без значения? И сколько этот юнкер мог слов сказать, это даже удивительно... А она все к нему так и тянется, так и тянется... Мне-то что... сижу – молчу. Юнкер на меня косо поглядывает, стал с ней перешептываться, пересмеиваться... Ну, помолчал я, ушел. И что ж вы думаете? Дня через два заезжаю к ней, выходит ко мне этот юнкер. «Вам, – говорит, – чего тут надо?» – «Как чего? Марью Петровну хочу видеть». – «Пошел вон! – говорит мне этот проклятый юнкеришка. – А то я, – говорит, – тебя так тресну, если будешь еще шататься». Хотел я возразить ему, оборвать мальчишку, а за дверью смех. Засмеялась она и кричит из-за двери: «Вы мне, – говорит, – не нужны. Вы молчите, но ведь и мой комод молчит, и мое кресло молчит. Уж лучше я комод в женихи возьму, какая разница...» Дура! Взял я да ушел.

Я сонно засмеялся и сказал:

– Да-а... История! Ну, спокойной ночи.

– Приятных снов! Вообще, у мужчины хотя логика есть по крайней мере. А женщина иногда так себя поведет... Дело прошлое – можно признаться – был у меня роман с одной замужней женщиной... И за что она меня, спрашивается, выбрала? Смеху подобно! За то, видите ли, «что я очень молчалив и поэтому никому о наших отношениях не проболтаюсь»... Три дня она меня только и вытерпела... Взмолилась: «Господи, Создатель! – говорит. – Пусть лучше будет вертопрах, хвастунишка, болтун, но не этот мрачный надгробный мавзолей. Вот, – говорит, – со многими приходилось целоваться и обниматься, но труп безгласный никогда еще любовником не был. Иди ты, – говорит, – и чтобы мои глаза тебя не видели отныне и до века!» И что ж вы думаете? Сама пошла и мужу рассказала о наших отношениях... Вот тебе и разговорчивость! После скандал вышел.

– Действительно, – поддакнул я, с трудом приоткрывая отяжелевшие веки. – Ну, спите! Вы знаете, уже половина четвертого.

– Ну? Пора на боковую.

Он неторопливо снял второй сапог и сказал:

– А один раз даже незнакомый человек на меня осwirепел... Дело было в поезде, едем мы в купе, я, конечно, по своей привычке, сижу молчу...

Я закрыл глаза и притворно захрапел, чтобы прекратить эту глупую болтовню.

–...Он сначала спрашивает меня: «Далеко изволите ехать?» – «Да». – «То есть как – да?»...

– Хррр-пффф!

– Гм! Что он, заснул, что ли? Спит... Ох, молодость, молодость. Этот студент бывало тоже, что со мной жил... Как только ляжет – сейчас храпеть начинает. А иногда среди ночи проснется и начинает сам с собой разговаривать... Со мной-то не наговоришься – хе-хе!

Я прервал свой искусственный храп, поднялся на одном локте и ядовито сказал:

– Вы говорите, что вы такой неразговорчивый. Однако теперь этого сказать нельзя.

Он недоумевающе повернулся ко мне:

– Почему?

– Да вы без умолку рассказываете.

– Я к примеру рассказываю. Вот тоже случай у меня был с батюшкой на исповеди... Пришел я к нему, он и спрашивает, как полагается: «Грешен?» – «Грешен». – «А чем?» – «Мало ли!» – «А все-таки?» – «Всем грешен». Молчим. Он молчит, я молчу. Наконец...

– Слушайте! – сердито крикнул я, энергично повернувшись на постели. – Сколько бы вы ни

говорили мне о вашей неразговорчивости, я не поверю! И чем вы больше мне будете рассказывать – тем хуже.

– Почему? – спросил мой компаньон обиженно, расстегивая жилет. – Я, кажется, не давал вам повода сомневаться в моих словах. Мне однажды даже на службе была неприятность из-за моей неразговорчивости. Приезжает как-то директор... Зовет меня к себе... Настроение у него, очевидно, было самое хорошее... «Ну, что, – спрашивает, – новенького?» – «Ничего». – «Как ничего?» – «Да так – ничего!» – «То есть позвольте... Как это вы так мне...»

– Я сплю! – злобно закричал я. – Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи!

Он развязал галстук.

– Спокойной ночи. «...Как это вы так мне отвечаете, – говорит, – ничего! Это невежливо!» – «Да как же иначе вам ответить, если нового ничего. Из ничего и не будет ничего. О чем же еще пустой разговор мне начинать, если все старое!» – «Нет, – говорит, – все имеет свои границы... можно, – говорит, – быть неразговорчивым, но...»

Тихо, бесшумно провалился я куда-то, и сон, как тяжелая, мягкая шуба, покрыл собою все.

* * *

Луч солнца прорезал мои сомкнутые веки и заставил открыть глаза.

Услышав какой-то разговор, я повернулся на другой бок и увидел фигуру Максима Семеныча, свернувшегося под одеялом. Он неторопливо говорил, смотря в потолок:

– «Я, – говорит, – буду требовать у вас развода, потому что выходила замуж за человека, а не за бесчувственного, безгласного идола. Ну, чего, чего вы молчите?» – «Да о чем же мне, Липочка, говорить?»

Законный брак (Стихотворение в прозе)

На берегу суетилась кучка людей...

Я подошел ближе и увидел в центре группы женщину, которая лежала, худая, мокрая в купальном костюме, с закрытыми глазами и сжатыми тонкими губами.

– В чем дело? – спросил я.

– Купалась она. Захлебнулась. Насилу вытащили.

– Нужно растереть ее, – посоветовал я.

На камне сидел толстый отдувающийся человек. Он махнул рукой и сказал:

– Не стоит. Все равно ничего не поможет.

– Да как же так... Попробуйте устроить искусственное дыхание... Может, отойдет.

– Мм... не думаю. Не стоит и пробовать, – сказал толстяк, искоса поглядывая на захлебнувшуюся.

– Но ведь нельзя же так... сидеть без толку. Пошлите за доктором!

– Стоит ли, – сказал толстяк. – До доктора три версты, да еще, может, его и дома нет...

– Но... попытаться-то можно?!

– Не стоит и пытаться, – возразил он. – Право, не стоит.

– Я удивляюсь... Тогда одолжите нам вашу простыню: попробуем ее откачать!

– Да что же ее откачивать, – сказал толстяк. – Выйдет ли толк? Все равно уж... Будем считать ее утонувшей... Право, зачем вам затрудняться...

– Вы жалкий, тупой эгоист! – сердито закричал я. – Небось если бы это был вам не чужой человек, а жена...

Он угрюмо посмотрел на меня.

– А кто же вам сказал, что она не жена? Она и есть жена... Моя жена!

Робинзоны

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский – интеллигент.

Пров Иванов Акациев – бывший шпик.

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

– Ваш паспорт!

Голой Нарымский развел мокрыми руками:

– Нету паспорта. Потонул. Акациев нахмурился.

– В таком случае я буду принужден... Нарымский ехидно улыбнулся:

– Ага... Некуда!..

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом, молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

* * *

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

– Ага! Попался! Вы это что делаете? Нарымский улыбнулся:

– Предварилку строю.

– Нет, нет... Это вы дом строите?! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

– Ничего я не знаю.

– А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

– Отстанете вы от меня?..

– Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжело вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегающую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегающую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

– Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:

– Чего вы пристаёте? Занимались бы лучше своими делами.

– Да я и занимаюсь своими делами, – обиженно возразил Акациев. – Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение впредь до разбора дела.

– Так я вам и отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

– За находку вы имеете право лишь на одну треть... – начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: – Вы еще не имеете права охотиться!

– Почему это?

– Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

– А у вас календарь есть? – ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

– В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

– Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

* * *

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел:

«Езда по мосту шагом».

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...»

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительно-го Прова Акациева.

– Что вам угодно?

– Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

– А предписание вы имеете? – лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

– Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству – виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

* * *

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника.

– Вы... живы? – с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

– Жив. – Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. – Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, – и просто, без рисовки, ответил:

– Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутораста лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

– Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.

«Аполлон»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень ин-

тересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

– Как же он... называется? – растерянно спросил я.

– Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

– Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет, – я буду свято хранить его.

– Здесь нет секрета, – сказал приказчик. – Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет, как по маслу.

– Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

– Аполлон – бог красоты и света, а ящерица – символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которую я начал читать, – Иннокентия Анненского, – называлась «О современном лиризме». Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну – махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Анти-мертинов...»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»...

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хоророды и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! – думал я. – Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы – вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу...»

«Вот оно! – подумал я. – Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье: «О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жаловании у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре – простое глаzenie на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

– Господа! – предложил я. – Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

– То есть?..

– В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нести даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нести в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

– Почему вам взбрела в голову такая идея – танцевать? – сухо спросил хозяин дома. – Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла – согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

– А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали? Я пожал плечами.

– Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы и теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

– Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

– То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

– Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозничий кнут обратив, тебя же им и отгужит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

– Так – жаловаться?! – гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

–...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

–...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

– Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?.. Я попытался оправдаться:

– Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

– Знаем мы вас, – скептически сказал околоточный. – Напьются, а потом – тирсы!..

Неизлечимые

«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию».

(Книжн. Известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

– В чем дело?

– Вещь!

– Которая?

– Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса – так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

– Повесть?

– Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу, две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

– Еще что? – сухо спросил издатель.

– Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди и все заверте...»

– Еще что? – спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

– А... еще... вот... Ззаб... бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

– Не надо, – сказал издатель.

– Что не надо? – вздрогнул писатель Кукушкин.

– Не надо. Идите, идите с богом.

– В-вам... не нравится? У... У меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

– Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия и все заверте...»

– Откуда вы узнали? – ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. – Действительно, так и есть у меня.

– Штука не хитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

– А где тут у вас корзина?

– Вот она, – указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

– О чем нужно?

– Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

– А аванс дадите?

– Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

– Давайте под муху, – вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I

боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

– Ой, ты, гой, еси, – воскликнул он на старинном языке того времени.

– Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! – воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте...

II

мухи и их привычки (Очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна. Звали ее по-мушиному – Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

Четверг

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

– Едете к Пылинкиным?

– А что? – спросил, покривившись, Андромахский. – Разве сегодня четверг?

– Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали, и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся.

– Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-те Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников, – не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то – что мы, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! «Нет, скажешь, не был». – «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

– Не скажете!

– Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какуюто босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане...» – «Ах, – скажет игриво m-те Пылинкина, – вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно, нужно было бы сказать ей – кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники? «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньицем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чайшко-то у нее, признаться, скверный, да и печеньице тленом пахнет... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нравится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны. Ляписов вынул часы:

– Однако уже скоро девять!

– Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

* * *

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

M-те Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

– Боже ты мой, Павел Иваныч! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

– Благодарю вас! – ласково наклонил голову Андромахский. – Не откажусь.

– А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

– Где? – спросил Андромахский.

– Как же! В Соляном Городке. Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромахского изобразилось неподдельное отчаяние.

– Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты, вообще, мельком просматриваю.

– В газетах теперь нет ничего интересного, – сказал из-за угла чей-то голос.

– Репрессии, – вздохнула хозяйка. – Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

– Не откажусь, – поклонился Ляписов.

– Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

– Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

– Хорошенькая? – игриво спросил Андромаский. Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой.

– Ох, эти мужчины! Им бы все только – хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

– Ну, нет, – сказал Ляписов. – Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

– Есть разные женщины и разные мужчины, – послышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного. – Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

– У меня был один знакомый, – сказала полная дама. – Он был кассиром. Служил себе, служил и – представьте – ничего. А потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

– А я против женского равноправия! – сказал господин с густыми бровями. – Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера – кухня!

– Извините-с! – возразила хозяйка. – Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

– Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины – все изящное, женственное.

– А, по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое – ноги толстые, и сама скачет, как козел!

– А мне нравится! – сказал маленький лысый человек. – Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

– Чашечку чаю! – предложила хозяйка Андромаскому. – Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

– Мерси. Я, вообще, не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

– Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку – это не может быть вредным.

– Ничем не надо злоупотреблять, – сказала толстая дама.

– Безусловно. Все должно быть в меру, – уверенно ответил Ляписов.

Андромаский встал, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

– Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

– Уже?! Посидели бы еще...

– Право, не могу.

– Ну, одну минутку!

– С наслаждением бы, но...

– Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромаского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог – лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

* * *

Захлопнув за собой дверь, Андромаский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался. До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

– Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходившее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово – так отчетливо, что Андромаский,

уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

– Куда это он так вскочил? – спросил голос толстой дамы.

– К жене, – отвечал голос Ляписова. М-те Пылинкина засмеялась.

– К жене! С какой стороны?!

– Что вы! – удивилась толстая дама. – Разве он такой?..

– Он?! – сказал господин с густыми бровями. – Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной – с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

– В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность, – сказал лысый старичок.

– К кому?

– Не к кому, а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

– Куда же вы? – послышался голос хозяйки.

– Я и так уже засиделся, – отвечал голос Ляписова. – Нужно спешить.

– Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

* * *

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

– Тссс!.. – прошептал Андромахский, указывая на окно. – Слушайте! Это очень любопытно...

– Какой симпатичный этот Ляписов, – сказала хозяйка. – Не правда ли?

– Очень милый, – отвечал господин с густыми бровями. – Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

– Неприятности! – послышался сочувственный голос толстой дамы.

– Семейные?

– Нет, по службе. Все игра проклятая!

– А что, разве?..

– Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

– Проклятая баба, – прошептал изумленный Ляписов. – Что она такое говорит!

– Хорошее оконце! – улыбнулся Андромахский.

–...Куда же вы?! Посидели бы еще!

– Не могу-с! Время уже позднее, – послышался голос лысого господина. – А ложусь-то я, знаете, рано.

– Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

– Сейчас о вас будет. Слушайте!

– Я никогда не встречала у вас этого господина, – донесся голос толстой дамы. – Кто это такой?

– Это удивительная история, – отвечала хозяйка. – Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю: кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину,

между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверги? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: пожалуйста! Буду рада.

– Ах ты дрянь этакая, – прошептал огорченно лысый старичок. – Если бы знал – никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек, – обратился он к Андромахскому, – эта худая выдра в интимных отношениях с тем самым Дерябиным, который нас познакомил. Ейбогу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

– А вы зачем соврали там, в гостиной, что я выпиваю 20 бутылок пива в день? – сурово спросил старичка Андромахский.

– А вы мне очень понравились, молодой человек, – виновато улыбнулся старичок. – Когда зашел о вас разговор – я и думаю: дай вверх словечко!

– Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

– Опять обо мне, – сказал Ляписов. – Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня-завтра сбегу с казенными деньгами.

– Проклятая лягушка! – проворчал Андромахский. – Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

– Ха-ха! – злобно засмеялся старичок. – А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

– Как же! – усмехнулся Андромахский. – Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало – ничего...

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продолжал:

– И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким ляמידелямезончиком на мази!

– Хе-хе! – тихонько засмеялся Ляписов. – А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил на счет этой Мессалины: она не меняет любовников как перчатки только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

– Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились...

* * *

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассеившуюся на ступеньках лестницы компанию...

– Я уверен, – говорил увлеченный разговором Ляписов, – что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

– Ну да! – возражал Андромахский. – Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой – и madame Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:

– А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же – в будущий четверг!

Виктор Поликарпович

В один город приехала ревизия... Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

– Приступим-с.

Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городского Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».

– Во-первых, – заявляли обыватели, – никакого моря у нас нет... Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутой Дымба не предъявил, а когда у него потребовали документы – показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурки папиросы, который при сем прилагается.

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке стоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городского Дымбы заплакал.

– Позвать Дымбу! – распорядился ревизор. Позвали Дымбу.

– Здравия желаю, ваше превосходительство!

– Ты не кричи, брат, так, – зловеще остановил его ревизор. – Кричать после будешь. Взятки брал?

– Никак нет.

– А морской сбор?

– Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

– Превосходно... Попросите-ка сюда его высокородие. Никаноров, напишите бумагу об аресте городского Дымбы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие... Теперь уже заливались слезами два ангела: городского и его высокородия.

– Из... зволили звать?

– Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?

– По распоряжению Павла Захарыча, – приободрившись, отвечал Пальцын. – Они приказали.

– А-а. – И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоры руки. – Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает... Хе-хе. Никифоров! Этому – бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне... Живо!

Пришел и Павел Захарыч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизора ангела.

– Павел Захарович? Здравствуйтесь, здравствуйтесь... Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?

– Гм... Это взыскание-с.

– Знаю, что взыскание. Но – какое?

– Это-с... во исполнение распоряжения его превосходительства.

– А-а-а... Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

– Позвольте предложить вам стул... Садитесь, ваше превосходительство.

– Успею. Зачем это я вам понадобился?

– Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем

городе?

- Как понимать? Очень просто.
- Да ведь моря-то тут нет!
- Неужели? Гм... А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.
- Так как же так – «морской сбор»? Почему без расписок, документов?
- А?
- Я спрашиваю – почему «морской сбор»?!
- Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.

- Ну?
- Что «ну»?
- Какое море вы улучшали на эти триста рублей?
- Никакого моря не улучшали. Это так говорится – «море».
- Ага. А деньги-то куда делись?
- На секретные расходы пошли.
- На какие именно?
- Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!
- Так-с...

Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.

– Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините... обязанности службы... я принужден буду вас, как это говорится: арестовать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво усмехнулся.

– Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.

- Ага! Так, так... Вместе разрабатывали?! С кем? Его превосходительство улыбнулся.
- С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.
- Да-а? Кто же этот человечек?

Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:

– Виктор Поликарпович. Была тишина. Семь минут.

Нахмутив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки... И нарушил молчание:

- Так, так... А какие были деньги получены: золотом или бумажками?
- Бумажками.
- Ну, раз бумажками – тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство.

Гм... гм...

Ангел его превосходительства усмехнулся ласково.

– Могу идти? Ревизор вздохнул:

– Что ж делать... Можете идти.

Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами. Подошел Никифоров.

– Как с арестованными быть?

– Отпустите всех... Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит... Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

Мужчины

Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки предварительно докладывать о посетителях... Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих

людей.

Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как можно меньше движений. Я человек очень прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомило.

...По пустынному коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучалась в мою дверь.

Машинально я сказал:

– Войдите!

Это была скромно одетая немолодая женщина в траурной шляпе с крепом.

Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно:

– Чем могу быть вам полезен?

Она внимательно всмотрелась в мое лицо.

– Вот он какой... – пробормотала она. – Таким я его себе почему-то и представляла. Красив... Красив даже до сих пор... Хотя прошло уже около шести лет.

– Я вас не знаю, сударыня! – удивленно сказал я. Она печально улыбнулась.

– И я вас, сударь, не знаю. А вот привелось встретиться. И придется еще вести с вами длинный разговор.

– Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен... Кто вы? Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:

– Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая... ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я?! Я – мать вашей любовницы!..

Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для выяснения наших взаимоотношений. А я не считал эти данные достаточными. Я не считал их типичными.

Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, фамилию или имя своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.

Потом повторила, вздыхая:

– Теперь вы знаете, кто я... И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках, с вашим именем на холодеющих устах.

Я рассудил, что вполне приличным случаем поступком будет всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову:

– Умерла?! Боже, какой ужас!

– Так вы еще не забыли мою славную дочурку? – растроганно прошептала дама, незаметно утирая уголком платка слезинку. – Подумать только, что вы расстались больше пяти лет тому назад... Из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.

Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я должен бы откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:

«Милая моя! Для тебя роман замужней женщины с молодым человеком – огромное незабываемое событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. – А я... я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты... была ли это Ася Званцева? Или Ирина Николаевна? Или Вера Михайловна Березаева?»

Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и потом, свесив голову, осторожно спросил:

– Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери...

– Да что ж рассказывать?... Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал души ее и запросов... А тут явились вы – молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были сказаны вами при первом сердечном объяснении... Помните?

– Помню, – нерешительно кивнул я головой, – как же не помнить!.. Впрочем, повторите их.

Так ли она вам передала.

– В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, «светлый», как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она отказывалась... Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли ее к себе и тихо сказали: «Счастье мое! Я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоего чудесного жемчужного сердца, твоей кристальной души. Ты совершенно одинока. Есть только один, человек, который оценил тебя, сердце которого всецело в твоей власти...»

– Да, это мой приемчик, – задумчиво улыбнулся я. – Теперь я его уже бросил...

– Что?! – переспросила старушка.

– Я говорю: да! Это были именно те слова, которые я сказал ей.

– Ну вот. Потом вы, кажется, стали целовать ее?

– Наверное, – согласился я. – Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?

– Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам, выпить чашку чаю... Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято замужней даме ходить в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу... Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: «Вы сердитесь?» – «Да, – сказали вы, – вас оскорбляет такое отношение и вообще вам очень тяжело и вы страдаете». Тогда она сказала: «Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово вести себя прилично...»

Вы пожалы плечами: «Вы меня обижаете!» Через полчаса она была уже у вас, а через час стала вашей.

И, опять приподнявшись со стула, спросила старуха торжественно:

– Помните ли вы это?

– Помню, – подтвердил я. – А что она говорила, уходя от меня?

– Она говорила: «Наверное, теперь вы перестанете уважать меня?», а вы прижали ее к сердцу и возразили: «Нет! Никого еще в жизни я не любил так, как тебя!» А теперь... она умерла, моя голубка!

Старая дама заплакала.

– О! – порывисто, в припадке великодушия вскричал я. – Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого своей жизнью!

– Нет... ее уже ничто не вернет оттуда, – рассудительно возразила старуха.

– Не говорила ли она вам еще что-нибудь обо мне?

– Она рассказывала, что вы сначала виделись с ней каждый день, потом через день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.

Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку.

– Помните вы это? – спросила дама.

– Помню.

– А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь!» И предложили ей остаться хорошими друзьями.

– Неужели я предложил ей это? – недоверчиво спросил я.

Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и потому никогда не предлагал вместо любви – дружбу. Просто я спрашивал: «Кажется, мы охладели друг к другу?» У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы? Никогда я к тебе не охладела!» А опустит голову, промедлит минуты три и скажет: «Да! Прощайте!» Очевидно, старуха что-то напутала.

– Не передавала ли мне покойница что-нибудь перед смертью?

И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:

– Да! Она поручила вам свою маленькую дочь.

– Мне? – ахнул я. – Да почему?

– Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю...

– Да почему же именно мне? Старуха печально улыбнулась.

– Сейчас я скажу вам вещь, которая неизвестна никому, тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла ее мне только в предсмертный час: настоящий отец ребенка – вы!

– Боже ты мой! Неужели? Вы уверены в этом?

– Перед смертью не лгут, – строго сказала старуха. – Вы отец, и вы должны взять заботы о вашей дочери.

Я побледнел, сжал губы и, опустив голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.

– А может быть, она ошиблась? – робко переспросил я. – Может быть, это не мой ребенок, а мужа.

– Милостивый государь! – величаво сказала старуха. – Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт!

Нахмурившись, я размышлял.

С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала мне совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее!). С другой стороны, эта неожиданная тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные, запутанные обязанности в будущем.

Я – отец! У меня – дочь!..

– Как ее зовут? – спросил я разнеженный.

– Верой, как и мать.

– Хорошо! – решительно сказал я. – Согласен. Я усыновлю ее. Пусть носит она фамилию Двуутробникова.

– Почему Двуутробникова? – недоумевающе взглянула на меня старуха.

– Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.

– Вы... Двуутробников?!

– А кто же?

– Боже мой! – в ужасе закричала странная гостья. – Значит, это не вы?!

– Что – не я?

– Вы, значит, не Класевич?! Дочь называла фамилию Класевич и сказала этот адрес.

Неожиданная бурная волна залила мое сердце.

– Класевич, – захохотал я. – Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Класевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната – номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.

Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.

– Как же! – тараторил я. – Моя фамилия Двуутробников, номер десятый, а Класевич дальше. Он – номер одиннадцатый. Он тут уж давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же! Класевич... Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь... А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали?! Хе-хе... Ошибочка вышла. Как же! Класевич, он тут. Эй, Класевич!! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает... Идите, сударыня. Хе-хе... А я-то – слушаю, слушаю...

Чад

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга – постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке. Сзади меня послышался голос:

– Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с

театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

– Я тоже зашел на минутку, – сообщил юбилейный друг. – И вот столкнулся с этим буйносовым человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

– Можно не снимая пальто?..

– Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

– Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

– Да выпей! Какая там еще рецензия...

– Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

– Глупости, – сказал я, закусывая первую рюмку икрой. – Какие там еще почки?

– Молодец, Сережа! – похвалил меня юбилейный друг. – За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

– Да выпей! – умоляюще протянул я. – Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

– Почему же свинство? У меня почки...

– А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше...

– Ну, я только одну...

– Не извиняйся! Можешь и две выпить. Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами – и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

– Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

– Bravo! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо. Буйнос! Пей – не хами.

– Я не хам... хамлю, – осторожно произнес странное слово Буйносов. – А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

– Вздор! После напишешь.

– Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

– Ты?! – с радостным изумлением воскликнул юбилейной друг. – Да ты в десять минут хватаешь такую рецензию, что все охнут!

– Где там... – просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

– Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

– А вы что же думали, – засмеялся Буйносов. – И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

– Я... сейчас, – смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. – Дай ветчину прожевать.

– Не хами, Сережа, – сказал юбилейный друг. – Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

– Мне бы домой нужно!.. Дельце одно.

К моему удивлению, возмущился Буйносов.

– Какое там еще дельце? Вздор – дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, – подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза. – Черт с ним, с

дельцем!..» Вслух сказал:

- Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.
- Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!
- ...И пива я бы кружку выпил...
- Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

– Сережа... милый... – сказал Буйносов. – Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

- Да ведь мы и так на «ты»! – засмеялся я.
- Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

- Графинчик водки! – крикнул Буйносов.
- Водку? – удивился я. – После пива?
- Это освежает. Освежимся!
- Неужели водка освежить может? – удивился я.
- Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углерода и желтков... Не помню.
- Обедать будете? – спросил слуга.
- Как? Разве уже... обед?..
- Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

- Семь часов?! – всплеснул руками юбиляр. – Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

- Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.
- Да, брат... – поддержал и я. – Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.
- Мне распорядиться нужно...
- Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбиляр подмигнул.

- Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

– Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят. Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

– Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

- Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

– Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей... которые его искренне любят.

– Поцелуемся! – вскричал воодушевленно юбиляр. – Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

– Вот это яркий человек! Вот это порыв, – воодушевился Буйносов. – В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

- Да... У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»
- Не хамите! – с готовностью сказал юбиляр. – Сейчас бы кюрассо был к месту.
- Почему?
- Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрассао был признан единственным могущим освежить нас напитоком.....

-
- Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.
 - Вздор! – сказал бывший юбиляр. – Не хаами!
 - Извините-с. Я сейчас счет подам.
 - Ну, дай нам бутылку вина.
 - Не могу-с. Буфет закрыт. Буйносов поднял голову и воскликнул:
 - Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...
 - Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего – поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

– Пойдем ко мне, – неожиданно для себя предложил я. – у меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

– Освежиться? – спросил юбиляр.

«Как попутай заладил, – с отвращением подумал я. – Хоть бы вы все сейчас провалились – ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты... Не встретить я вас – все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это – что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.

– Ну, освежаться так освежаться, – со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), – к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но, тем не менее, в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хаами!» – и с хохотом побежал за нами...

– Вот дурак, – шепнул я Буйносову. – Как так можно свой юбилей пропустить?

– Да уж... Не дал Господь умишка человеку.

«А тебе, – подумал я, – влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утро-ко».....

.....

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он, вообще, не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но оно пахло мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

– Может, спать хочешь? – спросил я.

– Хочу, но удерживаюсь.

– Почему?

– Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну – хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я по-

сизу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

– Ну, а я пойду спать, – сухо проворчал я. Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

– Здорово вчера дрызнули, – сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

– Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами... Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделывать: вино спаяло всех трех самым непостижимым, самым отвратительным образом...

Один город...

I

Считается признаком дурного тона писать о частной жизни лиц, которые еще живы и благополучно существуют на белом свете.

То же самое можно применить и к городам.

Мне бы очень не хотелось поставить в неловкое положение тот небольшой городок, о котором я собираюсь написать. Именно потому, что он еще жив, здоров и ему будет больно читать о себе такие вещи.

Поэтому я полагаю: самое лучшее – не называть его имени. Жители сами догадаются, что речь идет об их городе, и им будет стыдно. Если же жители других городов, которых я не имел в виду, примут все на свой счет, я нисколько не буду смущен... Пусть! На воре шапка горит.

В том городе, о котором я хочу писать и который не назову ни за какие коврижки, мне нужно было пробыть всего один день.

Подъезжая к нему, я лениво поинтересовался у соседа по месту в вагоне: что из себя, в сущности, представляет этот город?

– Скверный городишко... Мог бы быть красивым и интересным, но городская дума сделала из него черт знает что...

– А почему?

Сосед ехидно подмигнул мне:

– Покрали деньги.

– Кто покрал?

– Да члены думы. А первый вор – городской голова... Такого вора, как ихний городской голова, и свет не производил! Не только все деньги из кассы покрал, но даже самую кассу на куски разломал и домой к себе свез.

– А чего же ихняя полиция смотрит?

– Ихняя полиция? Ха-ха!.. Ихняя полиция... В этом городе такая полиция, что с живого и мертвого взятки дерет...

– Ну уж и с мертвого... – усомнился я.

– А ей-богу. Собираются родственники хоронить покойника, а их сейчас за шиворот: «Стой – куда? Хоронить? А разрешение от департамента торговли и мануфактур имеешь?» – «Нет». – «Ну, вот видишь... Давай десять рублей поспектакльного сбору – тогда волоки». И дают.

– Ну, это вы, кажется, слишком...

– Нет, не слишком! Не слишком... С жидов взяли все, что можно было взять. Теперь русских стали ловить. Поймают: «Ты жид?» – «Нет, не жид!» – «Нет, жид». – «Сколько?» – «Десять». –

«Подавись!» Всего и разговору.

– Но как же при таких порядках могут существовать жители?

Он опять ехидно подмигнул мне.

– Жители? А вот увидите.

В этот момент поезд подошел к городку, имени которого я упорно не хочу называть... Так как вещей у меня с собой почти не было, я решил до ближайшей гостиницы дойти пешком. Взял ручной сак и пошел.

II

Впереди меня шел человек простоватой наружности и вел энергичную беседу с бабой в платке.

– Да ты говори толком – сколько хочешь?

– Да двадцать же рублей! Слепой, что ли? Чистое золото.

– Мало что чистое! Небось украла – дешево досталось! У меня только десятка и есть – хочешь за десятку?

Я приблизился.

– Да вот спросим у барина, – сказал простоватый человек. – Нешто за краденую вещь можно столько просить?

Баба подозрительно оглянулась на меня и спрятала золотые часы под платок.

Простоватый человек дружелюбно нагнулся ко мне и шепнул:

– Дура баба! А не хотелось бы вещицу выпускать... Часы рублей двести стоят, а она двадцать просит. Десятки только у меня и не хватает... Эх, жалость! – И сказал бабе громко: – Так не отдашь за десять? Ну и шут с тобой.

Он махнул рукой и отошел. А я, оставшись с бабой, решил купить дешевые часы.

– Вот что, сударыня, – сказал я. – Если эти часы действительно ваши и если вы считаете для себя возможным отдать за такую цену...

Я вынул бумажник...

Какой-то человек, видом похожий на дворника, спешно приближался к нам, размахивая руками и крича:

– Постойте! Обождите, господин!.. Вы, верно, приезжий?

– Приезжий, – робко отвечал я.

– Оно и видно. Ах ты, старая ведьма! Пошла вон, пока я тебя в участок не отправил! Ну и жулье же, прости Господи!..

Старая баба запахнулась в платок и испуганно убежала, а мой новый знакомый сострадательно посмотрел на меня и сказал:

– Эх вы! Вот бы и влопались, если бы купили часики. Ведь они медные.

– А как же тот человек сам хотел купить...

– Да он ее муж. Вместе работают, по уговору. О-о... Тут нужно держать ухо востро!

Я горячо поблагодарил своего спасителя, а он добродушно махнул рукой и сказал:

– Ну чего там!.. Вы где думаете остановиться?

– Я... еще не знаю.

– У нас во дворе хорошая гостиница. Чисто и безопасно. А в других гостиницах – не только обворуют, а еще и придушить могут.

Я затрясся от ужаса и еще раз пожал руку моему новому знакомому.

– Пойдем, я вас провожу.

Когда мы вошли в арку под воротами, с нами столкнулся солидный, изящный господин в цилиндре.

Он перевел взгляд с моего провожатого на меня и с неподдельным ужасом всплеснул руками:

– Боже мой! Боже мой! Послушайте, господин... На одну минутку...

Он схватил меня за руку и отвел в темный угол.

– Извините, что я так... не будучи представленным... Вы, конечно, приезжий? Я это вижу. Скажите – не приглашал ли вас этот человек в его «гостиницу» и не сулил ли он вам разных благ?

– Да... А что?

– Мой долг, долг порядочного человека, предупредить вас: знаете ли вы, что вас хотели затащить в гнуснейший притон и, напоив, обобрать, избить и выбросить?

О, я такие сцены наблюдал неоднократно!.. И всегда при участии этого негодяя, который вас поджидает у ворот.

– Господи! – застонал я. – Какой ужас! Кому же после этого верить?..

– Совершенно верно. Для приезжего человека – здесь прямо гибель. Всякая гостиница – клоака...

– Ах! Но что же мне делать?

– Если бы мое предложение не показалось вам назойливым... я пригласил бы вас к себе. У меня семейная квартира... Правда, нет той роскоши, как в гостиницах, но моя жена хорошая хозяйка...

– Я не знаю, – горячо воскликнул я, хватая его руку, – чем и отблагодарить вас за такую любезность к почти незнакомому человеку. Спасибо!

– О, не стоит благодарить, – полусмущенно-полусмеясь, покачал головой мой спаситель. – Интеллигентный человек должен помогать интеллигентному человеку. Это как масоны... Не правда ли?

Мы зашагали по улице, и я, чувствуя искреннюю признательность к этому господину, взял его под руку.

На углу двух улиц к нам приблизился молодой, бледный человек в жокейской шапочке, уперся руками в бока и сказал, обращаясь к моему спутнику:

– Здравствуй, карточный шулер Арефьев! Здравствуй, мерзавец Арефьев, обыгравший меня в своем притоне. Что я вижу? Ты поймал приезжего и тянешь его на буксире в свою шулерскую компанию, которую ты выдаешь за свое семейство... По-прежнему ли ты, Арефьев, торгуешь своей любовницей, выдавая ее за жену, и по-прежнему ли ловишь доверчивых простачков вроде этого? Ха-ха-ха!

И бледный человек разразился саркастическим хохотом. Мой спаситель выдернул свою руку из моей и принялся улепетывать вдоль по улице, сопровождаемый свистом и улюлюканьем бледного человека.

– Ах мерзавец... – прошептал он, когда господин в цилиндре скрылся из глаз. – Впрочем, этот город полон негодяями.

Потом бледный господин печально улыбнулся.

– Вероятно, – сказал он, – вы и меня считаете таким же? О, не протестуйте... Вероятно, около вокзала с вами уже пытались проделать фокус с помощью медных часов или подкидки бумажника? И вероятно, вас уже заманивали в какие-нибудь притоны? Я вас понимаю: это город мошенников и поэтому вы должны бы и ко мне отнестись недоверчиво.

III

Он сел на ступеньки подъезда и, опустив бледную голову, тяжело закашлялся.

– Конечно!.. – сказал он, откашлявшись. – Вы вовсе не обязаны верить незнакомому человеку. И у меня нет никаких доказательств в пользу моей порядочности. Но я доволен уж и тем, что вырвал вас из когтей этого негодяя Арефьева! Я не буду приглашать вас ни в гостиницу, ни к себе, но очень прошу вас – не доверяйте и мне! Вы не имеете права доверять мне, неизвестному вам, в городе, где все построено на обмане! Предположим, что я тоже жулик. Но, откровенно говоря, я хотел бы, чтобы вы скорее уехали из этого города!

– Почему? – спросил я.

– Три года тому назад я приехал сюда такой же наивный, доверчивый и простой. Через пять минут я уже был обобран, раздет и вот с тех пор не могу выбраться из этого города, перебиваясь с хлеба на квас. О, ради Бога не доверяйте мне! Но все-таки мой вам совет: проваливайте из этого

города.

– Да я приехал, в сущности, по делам...

– Дела? В этом городе? Изумительно!

– Мне нужно устроить сделку с купцом Семипядевым по покупке оптом ста бочек масла и сговориться с адвокатом Бумажкиным по поводу одного взыскания.

– Что?!! Вы... без шуток? Скажу заранее, что они вам сделают: от Семипядева вы действительно получите сто бочек масла, но в бочках вместо масла будут кирпичи, а Бумажкин – взыскать-то он взыщет, но деньги эти немедленно растратит. Вы их и не понюхаете... Господи! Сколько с ними уже было этих примеров!

– Что же мне делать?

– В память того человека, каким я был три года тому назад, – хочу спасти вас. Кажется, ведь в моем предложении нет подвоха – идите сейчас же на вокзал и немедленно уезжайте.

Слова бледного молодого человека заставили меня призадуматься... Действительно, не лучше ли поскорее убраться из города, где все так входят в положение приезжего, хлопчут о нем – и так конкурируют в этом, что приезжий может через час остаться без сапог.

– Так Семипядев и Бумажкин действительно такие? – переспросил я.

– А то какие же! Такие. Что мне за расчет врать вам?

– А вы меня проводите до вокзала?

– Так и быть. Провожу. Если бы вы не подумали, что я способен сейчас же убежать с вашим саком, я попросил бы у вас его донести до вокзала, чтобы облегчить вас. Но вы, конечно, должны подумать, что я такой же, как и другие, что я убегу...

В словах бледного человека слышалась затаенная горечь...

Я вспыхнул, смутился, как школьник, пойманный учителем.

– О, что вы! Как можно говорить так... Чтобы доказать, что я этого не думаю, – нате, возьмите сак... Хотя мне и неловко затруднять вас...

Бледный человек взял сак, покачал печально головой и вдруг бросился опрометью бежать по пустынной улице, стараясь избежать как можно скорее моего растерянного взгляда...

* * *

Когда я брал на вокзале билет, кассир обсчитал меня на двугривенный.

Едучи обратно, я задумался о судьбах этого города, который только и можно встретить на святой Руси...

Как кончит этот город? Плохо кончит.

Будет, вероятно, так: чужестранцы перестанут туда ездить, а туземцы украдут друг у друга все, что у них было, сдерут один у другого кожу взятками, поборами и обманом, а потом, когда проживут все это, – поумирают с голоду.

Неприятно говорить людям правду в глаза. И меня сначала смущало то, что жители этого города получают книгу с моим рассказом, прочтут и будут чрезвычайно обижены.

Но потом я успокоился. Наверное, ни одна книга с моим рассказом не дойдет до них, так как будет утащена почтовыми чиновниками на ихней же городской почте.

Костя Зиберов

I

В Одессе мне пришлось прожить недолго, и все-таки я успел составить об этом городе самое лестное для него мнение. Тамошняя жизнь мне очень понравилась, улицы, бульвары и море привели меня в восхищение, а об одесситах я увез самые лучшие, тихие, дружеские воспоминания.

Костя Зиберов навсегда останется в моей памяти как символ яркого, блестящего, переливающегося разными цветами пятна на тусклом фоне жизни, пятна – рассыпавшегося целым каска-

дом красивых золотых искр.

Впервые я увидел Костю Зиберова в Александровском парке. Я скромно сидел за столиком, допивая бутылку белого вина и меланхолично, со свойственным петербуржцу мелким скептицизмом посматривая на открытую сцену.

Когда показался Костя Зиберов, он сразу привлек мое внимание. Одет он был в синий пиджак, серые брюки, белый жилет и на груди имел прекрасный лиловый галстук – костюм немного пестрый с точки зрения чопорного франта, но чрезвычайно шедший к смуглому красивому лицу Кости Зиберова. Черные кудри Кости прикрывала элегантная панама, поля которой были спущены и бросали прозрачную темную тень на прекрасные Костины глаза.

Ботинки у него были желтые, с модными тупыми носками.

Костя, легко скользя между занятыми публикой столиками, приблизился к одному свободному, по соседству со мной, сел за него и громко постучал палкой с серебряным набалдашником.

Метрдотель подобострастно склонился над ним.

«Эге! – подумал я. – Этот господин пришел с серьезными намерениями... Я уверен, сейчас появится две-три этуали и веселый кутеж протянется до утра. Будет от него хозяину нажива».

Действительно, палкой он постучал так громко и заложил ногу за ногу так решительно – будто бы хотел потребовать все самое лучшее, что есть в погребе, в кухне и на сцене.

– Что позволите? – замотал невидимым хвостом метрдотель.

Костя поднял на него рассеянные, томные глаза.

– А? Дайте-ка мне... стакан чаю с лимоном. Только покрепче!

Нигде не умеют с таким толком тратить деньги, как в Одессе. Каждый гривенник тратится там ясно, наглядно, вкусно, с блеском и экстравагантностью, которых петербуржцу никогда не достичь, даже истратив сто рублей.

Бутылка дешевого белого вина, поданная одесситу в серебряном ведре со льдом, и пятиалтынный, врученный за это лакею на чай, произведет всегда более громкое, более потрясающее по своей шикарности впечатление, чем пара бутылок шампанского петербуржца... Потому что петербуржцу не важно, будет ли вино стоять на его столе или на стуле в двух шагах от него, прикрытое до неузнаваемости белой салфеткой, не важно – считают ли это вино принадлежащим ему или его соседу, и не важно – видел ли кто-нибудь, когда он сунул лакею в ладонь два рубля на чай.

С рублем в кармане одессит проведет праздничный день так полно, разнообразно, блестяще и весело, как не приснится жителю другого города и с десятком рублей. С самого утра одессит посидит в кафе, потом пойдет на бульвар послушать музыку и выпить бокал пива, поедет куда-нибудь на Фонтан к знакомым; вернувшись, съест пару бутербродов в Квисисане, а вечером он сидит в парке, пьет свой «стакан чаю, но покрепче» и слушает пение шикарных шансонеток, изредка мелодично подпевая им.

И все это он делает с таким независимым видом, будто он мог бы на Фонтан поехать и в автомобиле, но для курьеза хочет испытать и трамвайную езду... На бульваре он мог бы плотно пообедать с бутылочкой бургундского, но доктора строго-настрого запретили ему излишествовать в пище... И вечером в парке – что стоило бы ему пригласить к своему обильному столу пару певиц, но зачем? Все это одно и то же, все это надоело, всем этим он пресытился.

Вид у него – принца, путешествующего инкогнито, колоссально богатого, но который избрал себе, разочаровавшись жизнью, странную забаву: имея в кармане сотенные билеты, тратить пятак и гривенники, иногда торгуясь даже в самых безнадежных случаях.

II

Когда Костя Зиберов потребовал стакан чаю, я, будучи еще мало знаком с одесской жизнью, подумал:

«Вероятно, он стесняется и не хочет устраивать сразу шум и треск, предпочитая начать со скромного стакана чаю...»

Но Костя и кончил этим стаканом. Вместе с последним номером программы на сцене Костя допил остатки холодного чаю и опять громко постучал палкой по столу.

– Что прикажете?

– Человек! Счет!

– Один стакан чаю-с. Пятнадцать копеек.

Боюсь, что, если бы Косте подали счет, он подписал бы его. Но счета ему не подали, и он, вынув из кармана двугривенный, с громким звоном бросил его на блюдо.

– Возьмите. Сдачи не надо!

И с развинченными манерами неисправимого кутилы и расточителя, просадившего не одно наследство, Костя вышел из сада.

Расплатившись, ушел и я.

В конке нам пришлось сидеть рядом.

Костя приветливо взглянул на меня и со свойственной всем южанам общительностью спросил:

– Далеко изволите ехать?

С такими вопросами обращаются обыкновенно пассажиры поездов, идущих без пересадки дня два-три. Когда предстоит совместный трехдневный путь, интересно ознакомиться с соседями и узнать их планы, намерения.

Костя попытался сделать это, хотя мы должны были расстаться через двадцать минут.

– На Преображенскую, – отвечал я.

– Хорошая улица. Прекрасная... Мне хотя нужно через две улицы слезать, но я провожу вас до Преображенской. Кстати, зайду в Квисисану закусить... Вы приезжий?

Как-то случилось, что зашли мы вместе, каким-то образом вышло, что съели мы салат, котлет и выпили две бутылки вина, и еще вышло так, что заплатил я. Правда, Костя очень горячо спорил, желая взять эти расходы на себя, я горячо возражал, но наконец, когда мое упорство было сломлено, я согласился:

– Ну хорошо, сегодня платите вы, а следующий раз я.

Костя тогда сказал, добродушно пожав плечами:

– Ну, ладно. Платите вы, если уж так хотите. А следующий раз заплачу уж я.

Когда мы вышли, Костя, держа меня под руку, восхищенно говорил:

– Так ты, значит, петербуржец... Вот оно что. Очень рад! Я все собирался в Петербург, да все как-то не мог собраться. Хочешь, приеду теперь, а?

– Приезжай, – согласился я.

– Право, приеду. Все-таки свой человек теперь есть в столице.

III

Я думал, что Костя Зиберов говорил о своем приезде в Петербург просто так, чтобы сказать мне что-нибудь приятное и удовлетворить палящую, ненасытную жажду общительности и дружелюбия. Так, один господин из Кишинева, встретив меня случайно в Петербурге и познакомившись, пригласил к себе в Кишинев «денька на два». И он знал прекрасно, что никогда я к нему не приеду, и все-таки приглашал, а я был твердо уверен, что нет такой силы, которая повлекла бы меня за тысячи верст к еле знакомому человеку «денька на два» – и все-таки я обещал. Впрочем, сейчас же мы оба и забыли об этом.

Но Костя Зиберов сдержал свое обещание: он приехал в Петербург.

Никогда я не видел интереснее, забавнее и курьезнее зрелища, чем Костя Зиберов в Петербурге.

Среди горячей, сверкающей декоративной природы юга Костя Зиберов был красив, уместен и законен со своим ярким, живописным костюмом, размашистыми жестами, неожиданными оборотами языка и болезненным влечением к знакомству и дружбе. В Петербурге он казался сверкающим павлином среди скромных серых воробьев. Все пугались его яркости, стремительности, дружелюбия и шумливости...

Он поселился у меня.

В первый день мы пошли обедать в один из ближайших ресторанов и произвели там фурор...

Блестящий костюм Кости, его походка разочарованного миллионера и властный стук палкой по столу собрали у нашего стола целую группу: двух метрдотелей, мальчишку и четырех лакеев.

– Что изволите приказать, ваше сиятельство?

Его сиятельство с брезгливой миной взял карточку, скептически взглянул на нее и проворчал:

– Воображаю... Чем вы тут накормите!..

– Помилуйте-с... Все оставались довольны...

– Да... знаем мы... Все вы так говорите! Он наклонился ко мне и шепнул:

– Нам хватит на обед и вино? Я, признаться, не при деньгах.

– Не беспокойся, – улыбнулся я. – Распожарайся.

Костя оживился и сразу дал почувствовать метрдотелю, что с ним нужно держать ухо востро и накормить нас нужно по-княжески.

Он забросал метрдотеля самыми необычными названиями вин, ошеломил его какими-то тефтелями, «которые у вас, наверное, делают черт знает как!», и, успокоившись немного, обратился ко мне:

– С кем это ты сейчас раскланялся?

– Это скульптор. Князь Трубецкой.

– Как?! И ты говоришь об этом так спокойно? Ты с ним знаком?

– Да, – сказал я. – Знаком. А что?

– Чего же ты молчал все время? – ахнул Зиберов. – Вот чудак! Приехал в Одессу и молчит.

– А чего ж мне. Не бродить же мне было с утра до вечера по одесским улицам, крича до хрипоты: «А я знаком с князем Паоло Трубецким!»

Тут же я вспомнил, как Костя прожужжал мне уши тем, что он знаком с известным борцом – каким-то Кара-Меметом, и даже как-то, расщедрившись, дал мне благосклонное обещание познакомиться с ним.

Известность его прельщала. Чья-нибудь слава туманила ему голову, и знакомство с популярным человеком доставляло ему вакхическую радость.

Пришлось познакомиться его и с Трубецким.

Разговор их чрезвычайно меня позабавил.

– Так вы, значит, и есть тот самый Трубецкой? – лихорадочно спросил Костя.

– Тот самый и есть, – улыбнулся князь.

– А я представлял вас совсем другим. Думал – вы с большой бородой.

– Напрасно!

– Ну что – трудно, вообще, лепить?

– Сущие пустяки. Привычка, и больше ничего.

В этом месте Косте Зиберову захотелось сказать князю что-нибудь приятное.

– Отчего вы никогда не приедете в Одессу?

– А что?

– Помилуйте! Прекрасный город! Море, вообще, суша... Вас бы там встретили по-царски.

Помилуйте – князь Трубецкой!

– Мерсі, – скромно поклонился князь.

– Да чего там! Конечно, приезжайте. Прямо ко мне... У меня можете и остановиться.

– К сожалению, я не знаю – что же я там буду делать?

– Господи! Мало ли... Право, приезжайте. Беру с вас слово... Стаканчик вина можно вам предложить? Я так рад, право...

Глаза Кости затуманились. Наступал тот психологический момент, когда Костя должен был предложить князю выпить с ним на «ты».

IV

Вечером Костя изъявил желание повеселиться, и я повез его в летний «Буфф».

У кассы театра я остановился.

– Зачем? – удивился Костя.

– Билеты взять!

– Вот чепуха! С какой стати платить! Нам и так дадут места.

– Да с какой же стати...

Костя властно взял меня под руку:

– Пойдем!

Он вел меня, глядя рассеянно, задумчиво прямо перед собою.

У входа человек нерешительно остановил его:

– Ваши билеты, господа!

Костя очнулся, вышел из задумчивости, обернул к привратнику изумленно-оскорбленное лицо и процедил сквозь зубы, с непередаваемым выражением презрения, исказившим его красивое лицо:

– Бол-ван!

– Извините-с, – засуетился привратник. – Я не знал... Пожалуйста! Программу не прикажете ли?

В саду Костя быстро ориентировался. Он повлек меня за кулисы, отыскал какого-то режиссера или управляющего и потребовал:

– Два места в партере поближе.

– Для кого?

– Как?! – изумился Костя, указывая на меня. – Вы его не знаете? Этого человека не знаете?! Полноте! Вы должны бы дать ему два постоянных места, а не спрашивать – для кого? Вы только и держитесь прессой, пресса создает вам успех, а вы спрашиваете – для кого?

Через пять минут мы сидели в креслах третьего ряда.

Первое действие Костя просмотрел с пренебрежительной гримасой, мрачно, а в середине второго действия возмутился.

– Черт знает что! – громко воскликнул он. – Какую дрянь преподносят публике... Только деньги даром берут.

– Замолчи, – прошептал я. – Ну, чего там...

– Не замолчу я! Хор отвратительный, режиссерская часть хромает и певицы безголосые... Да у нас бы в Одессе пяти минут не прожила такая оперетка!

В третьем акте Костя выразил еще более недвусмысленное неудовольствие и даже попытался намекнуть, что мы можем потребовать возврата напрасно брошенных денег.

– Да ведь мы не платили, – возразил я.

– Мало что – не платили... Так они этим и пользуются? Зрители, после Костиной критики, вероятно, нашли, что никогда им не случалось видеть более шикарного, изысканного посетителя, чем Костя...

* * *

Прожил Костя у меня неделю. Денег у меня он брал мало – на самое необходимое – и тратил их с таким вкусом, что все относились к нему подобострастно и почтительно, а на меня не обращали никакого внимания... Он был так ослепителен, что я все время являлся серым, однотонным контрастом ему. Уезжая, взял у меня на дорогу.

– Были деньги, – небрежно улыбнулся он своими прекрасными губами, – да вчера как раз просвистел их все в «Аквариуме». Безобразие, в сущности. Посмотри-ка счет какой!..

Он вынул из кармана измятый счет и показал итог: 242 р. 40 к.

Меня удивило, что отдельные строчки, когда я бросил на счет быстрый взгляд, были такого содержания:

Шницель по-гамбур.....1р.
Водка и бутер.....70 к.
Папиро.....20 к.

И, кроме того, мне показалось, что первые две цифры итога 242 р. 40 к. были написаны более темными чернилами, чем последующие три.

Но я ничего не сказал, сочувственно покачал головой, обнял на прощанье Костю Зиберова, сердечно простился с ним и – он уехал в свою веселую Одессу.

Очень часто вспоминал я Костю Зиберова и, сказать ли правду, частенько скучаю по Косте Зиберове...

Смерч

I

Услышав звонок в передней, кухарка вышла из кухни, открыла парадную дверь и впустила Кирилла Бревкова, пришедшего в гости к хозяину дома Терентьеву.

Кирилл Бревков имел рост высокий, голос очень громкий, смеющийся и лицо веселое, открытое, украшенное светло-красным носом и парой сияющих, как звезды, глаз.

При одном взгляде на этот треугольник, углы которого составляли два глаза и нос – можно было безошибочно определить, что Кирилл Бревков живет на земле беззаботно, радостно, много ест, много говорит и всюду находит себе материал для веселья, заливаясь всю жизнь счастливым безыдейным смехом, столь редким в наш сухой век...

– Здравствуй, Пелагея! Как поживаешь?

– Спасибо, барин. Пожалуйте.

– Постой, постой... Э! Да что это с тобой, матушка, такое?!

Он взял руками пылающее от кухонного жара лицо Пелагеи и повернул его к свету.

– Да ведь на тебе, матушка, лица нет!! Ты больна?

– Н-нет! – испуганно прошептала Пелагея. – А рази – что?

– Да ведь ты же бледна как смерть... Краше в гроб кладут! Тифом была больна, что ли?

Багровая Пелагея действительно побледнела и вздрогнула.

– Неужто хворая?!

– Матушка! Да ведь ежели так с тобой, не знаючи, встретиться – так тебя за привидение, за русалку примешь! Сама белая-белая, а глаза горят лихорадочным блеском! Похудела, осунулась...

Кухарка охнула, всплеснула толстыми руками и с громким топотом убежала в кухню, а Кирилл Бревков посмотрел ей вслед смеющимся, лучезарным взглядом и вошел в гостиную.

Его встретил 12-летний Гриша. Вежливо поклонившись, он сказал:

– Драсте, Кирилла Ваныч. Папа сейчас выйдет. Напустив на себя серьезный, мрачный вид,

Кирилл Бревков на цыпочках подошел к Грише, сделал заговорщицкое лицо и шепнул:

– Папаше признались?

– В чем?

– Насчет недопущения к экзамену?

Гриша растерянно взглянул в сверкающие глаза Бревкова.

– Какое недопущение? Я допущен.

– Да-а? – протянул Кирилл Бревков. – Вы так думаете? Ну, что ж – поздравляю! Блажен, кто верует...

Хе-хе!..

Он сел в кресло и преувеличенно грустно опустил голову.

– Жаль мне вас, Гришенька... Влопались вы в историю!

– В ка... кую?!..

– А в такую, что я сегодня видел вашего директора Уругваева. «Как идет у вас, – спрашиваю, – Терентьев Григорий?» – «Отвратительно, – говорит. – На совете постановили не допустить его к экзаменам!» Вот оно что, молодой человек!

Если бы Гриша был наблюдательнее, он заметил бы, как дрожали полные губы Бревкова и каким весельем сверкали его бриллиантовые глазки... Но Грише было не до этого.

Он тихо побрел в детскую, спрятав голову в узкие плечи и шепча под нос:

– Господи!

II

В гостиную вышел сам Терентьев и облобызался с гостем.

– Здорово, Кирилл! Сейчас и жена выйдет. Вышла и жена.

Она была худошавая, тонкогубая, с прической, взбитой высоко-высоко над желтым лбом.

– Анна Евграфовна! Неизмеримо рад видеть вас! Ручку-с! Давно вернулись из Москвы?

– Позавчера.

Она оглядела мужчин пытливым взором и с деланным равнодушием спросила:

– Ну а вы, господа, как проводили без меня время? Кирилл Бревков хотел заявить, что он не виделся с мужем со времени ее отъезда, но пытливое лицо Анны Евграфовны показалось ему таким забавным, что он ухмыльнулся и загадочно сказал:

– Было всего!

– Да? – криво улыбнулась Анна Евграфовна. – Вот как!

– Кстати! – обернулся к мужу Бревков. – Вчера я встретился с той полькой!

– С какой? – удивился Терентьев.

– Ну с этой, знаешь... Станиславой. Которой ты платье тогда токайским облил. Вспоминали тебя.

При этом Бревков многозначительно подмигнул Терентьеву одной стороной своего подвижного лица. Но Терентьеву не нужно было и этого подмигивания. Терентьев знал своего веселого, замысловатого друга и сейчас же решил, что он, Терентьев, не ударит перед ним лицом в грязь.

Он сделал фальшиво-испуганные глаза и погрозил Бревкову пальцем:

– Кирилл! Ведь ты же дал слово молчать! Кирилл расцвел. Мистификация получилась хоть куда.

– Молчать? Но я знаю, что Анна Евграфовна женщина передовая и простит мужчинам их маленькие шалости. Тем более – больших денег это не стоило. Сколько ты тогда заплатил? Сто сорок?

– Сто сорок, – подтвердил Терентьев. – Да на чай десять рублей.

Жена переводила взоры с одного весельчака на другого и наконец убежденно воскликнула:

– Да вы врете! Хотите подшутить надо мной. Дразнитесь.

Бревков никогда не мог примириться с тем, чтобы его шутки так легко разгадывались.

– Мы шутим? Ха-ха! Ну, хорошо! Да-с, Анна Евграфовна, мы шутим! Не придавайте нашим словам значения...

Он помолчал и затем обернулся к Терентьеву:

– А знаешь, насчет этой испанки Морениты ты оказался прав!

Терентьев никогда не знал никакой испанки Морениты, но вместе с тем счел необходимым обрадоваться:

– Видишь! Я говорил, что буду прав.

– Да, да, – медленно кивнул головой Кирилл. – Она сейчас же от тебя и поехала к этому жонглеру. Ха-ха! А ведь как уверяла тебя в своих чувствах.

Бревков ударил себя ладонью по лбу.

– Кстати! Все собираюсь спросить тебя: это ты засунул мне в карман тогда утром желтый шелковый чулок?

– Так он был у тебя? – захохотал Терентьев. – А мы-то его искали...

Жена сидела не шевелясь, опустив глаза.

– Вы это серьезно... господа? – спросила она странно спокойным тоном.

Кирилл Бревков вздрогнул:

– О черт возьми! Я, кажется, наболтал лишнего! Простите, сударыня. При вас не следовало

вспоминать о таких вещах...

Она вскочила.

– Вы эт-то серъ-ез-но?!

В тоне ее было что-то такое, отчего муж поежился и рассмеялся бледным смехом.

– Милая, но неужели ты не видишь, что мы шутим с самого начала? Никуда я не ездил и все время сидел дома. И с Кириллом не виделся...

Муж думал, что Бревков тоже сейчас расхохочется и успокоит жену. Но Бревков был не такой.

– Неужели вы так близко принимаете это к сердцу, Анна Евграфовна? Ну что здесь, в сущности, ужасного? Все мужья это делают и остаются по-прежнему любящими мужьями. Из-за милостливой встречи с какой-нибудь канатной плясуньей не стоит...

Жена закрыла лицо руками, заплакала и сказала сквозь рыдания:

– Вы негодяи! Развратные подлецы...

– Кирилл! – вскочил с места Терентьев. – Перестань. Довольно! Аничка... Ведь он же это нарочно...

– Не смей ко мне прикасаться, негодяй! Я тебе не испанка!

– Сударыня! – сказал Бревков. – Он больше не будет, он исправится...

Анна Евграфовна оттолкнула мужа и ушла в спальню, хлопнув дверью.

– Началась история! – сказал муж, обескураженно почесав затылок. – И нужно было тебе выдумать такую чепуху!..

Сидя в кресле, Кирилл Бревков хохотал, как ребенок...

III

– Анюта! А Анюта!.. Отвори мне. Ну, брось глупить. Мы же шутили...

Молчание было ответом Терентьеву.

– Анюта, Аня! Что ты там делаешь? Открой! Кирилл хотел подтрунить над тобой, а ты и поверила... Ха-ха.

– Не лги! Хоть теперь не лги... в память наших прежних отношений. Все равно твои жалкие оправдания не помогут...

За дверью послышались рыдания. Потом все стихло. Потом дверь распахнулась и из спальни вышла Анна Евграфовна, в шляпе, с чемоданчиком в руках.

– Я уезжаю к тете. Потрудитесь не разыскивать меня – это ничему не поможет. Приготовьте Гришу ко всему этому. Мне было бы тяжело его видеть. Прощайте, Бревков.

– Анна Евграфовна, – кинулся к ней Кирилл. – Неужели вы поверили? Мы же шутили!!

Она слабо улыбнулась и покачала головой.

– Не лгите, Бревков. Дружба великое дело, но за негодяев заступаться не следует.

– Анна Евграфовна...

– Прочь!! Довольно.

Она отстранила мужа и вышла из комнаты, высоко подняв голову (еще 10 минут тому назад она решила выйти из «этого дома» с «высоко поднятой головой»).

– Чтоб тебя черти взяли, Бревков, – вырвалось у мужа совершенно искренно. – Ты еще что?! Тебе еще чего надо?

– Чего? – прищурилась вошедшая Пелагея. – А того, что изверги вы все, кровопийцы. Вам бы только вдовью кровь пить, чтобы вдове скорее в могилушку снизойти. Этого вам надо?! Да?! Пожалуйте расчет.

– С ума ты сошла? Кто твою кровь пьет?

– Да уж поверьте!.. Посторонние люди-человеки замечают... Уходили вы меня, чтоб вам ни дна ни крыши! Может, мне и жить-то через вас неделька-другая осталась, да чтоб я молчала?! Нет в вас жалости! Как же – пожалеете вы! Посторонний человек пожалеет, это верно... «бледненькая вы, Пелагея Васильевна, скажет, хворенькая»... А вам – что? Работает на вас дура – и хо-рошо. Хы! хы!

Она села на пол и залилась слезами.

– Вон! – закричал Терентьев. – Вот тебе деньги, вот паспорт и проваливай. Э... да ну вас всех к черту!

Терентьев схватил шляпу, нахлобучил ее на глаза и убежал. Слышно было, как в передней хлопнула дверь. Пелагея тоже поднялась с пола и ушла. Уходя, поклонилась Кириллу и сказала:

– Балдарим покорно, батюшка! Хуть ты вдову пожалел!

Измученный Кирилл почесал затылок и, бормоча что-то под нос, стал прохаживаться по опустевшей комнате...

IV

В детской послышался шорох.

Крадучись, вышел маленький Гриша, увидев Бревкова, отскочил, бросил на пол какую-то бумажку и помчался к выходу.

– Куда ты? – крикнул ему вслед Бревков. Гриша взвизгнул на ходу:

– Убегаю! В Америку.

Кирилл поднял бумажку и прочел:

«В смерти моей прошу никого не винить. Виноват директор Уругваев. Уезжаю с Митей Косых в Америку. Примечание: не знал, как начинаются записки, и потому написал про смерть. А вообще едим в Америку. Ученик 2-го класса Григо. Терентьев».

* * *

Кирилл еще минут пять бродил по пустой квартире. Потом ему сделалось жутко.

Он оделся, вышел, запер на ключ наружную дверь и, отдавая ключ дворнику, сообщил ему:

– Терентьевы уехали за границу, а все вещи подарили тебе за верную службу. Старайся, Никифор!

И пошел по улице, усмехаясь.

С корнем

I

– Удивительная женщина! – прошептал Туркин. – Я ее иногда даже боюсь.

– Почему боишься?

– Бог ее знает почему. В ней есть что-то нездешнее.

– Где она?

– Вон, видишь... На диване комочек. В ней есть что-то грешное, экзотическое – это стручковый перец, но формы какой-то странной... необычной.

– Нездешней? – спросил Потылицын.

– Нездешней. Пойдем, я вас познакомлю. Она тобой интересовалась. Спрашивала.

Туркин схватил Потылицына под руку и, лавируя между группами гостей, подтащил его к пестрому комочку, свернувшемуся в углу дивана.

Комочек звякнул, развернулся, и рука, закованная в полсотни колец и десяток браслетов, поднялась, как змея, из целой тучи шелка и кружев.

– Айя! – сказал Туркин. – Я привел тебе моего друга, Потылицына. Ты, Потылицын, не удивляйся, что мы с Айей на «ты» – она всех просит называть ее так. Айя стоит за простоту.

Даже при самом поверхностном взгляде на Айю этого нельзя было сказать: невероятно странную прическу, сооруженную из волос, падавших на глаза, обхватывал золотой обруч, белое лицо и красные губы сверкали в этой чудовищной рамке, как кусок сахара, политый кровью. Нельзя сказать, чтобы на этой Айе было надето простое человеческое платье: просто она была об-

шита несколькими кусками газа терракотового цвета и окована с ног до головы золотыми цепочками, привесками и браслетами – браслеты на руках, браслеты на ногах, ожерелье в виде браслета – на шее. А от браслета на руке шли тоненькие цепочки, придерживавшие кольца на пальцах, так что вся рука была скована хрупкими кандалами.

При каждом движении Айя вся тихонько позвякивала и шелестела.

– Знакомьтесь со мной, – сказала Айя. – Вас зовут, я знаю – Потылицын, а меня Айя. Думаю, что через час мы будем на «ты». Так проще.

– Айя... – нерешительно сказал Потылицын. – Айя... А дальше как, по отчеству?..

– Никак. Просто Айя.

Айя взяла руку Потылицына, осмотрела ладонь этой руки и уверенно сказала:

– Мы с вами где-то встречались. Вы помните?

– Нет... кажется, не помню. Не встречались.

– Встречались, – уверенно сказала Айя. – В Египте.

– В Египте? Да я там никогда не был.

– О... будто это так важно – не были! Мы с вами все-таки встречались, – капризно протянула Айя. – Не теперь, так раньше.

– Да я и раньше там не был.

– Раньше? Откуда вы знаете, что было раньше... когда не было смокингов и автомобилей.

Вы ведь не местный.

– Да, я сам с юга. Родители мои...

– Вы не местный! У вас нечеловеческое выражение глаз. Может быть, вы когда-нибудь были ящерицей.

– Может быть, – нерешительно сказал Потылицын. – Мне об этом неизвестно.

– Дайте-ка еще раз вашу руку, – сказала Айя. – У вас на душе есть преступление.

– Что вы! Да я...

– Тсс... Не надо быть таким шумным. Посидим помолчим.

Эта просьба относилась, очевидно, только к Потылицыну, потому что Айя позвякала с минутой и, усевшись поудобнее, сказала:

– Что бы вы сделали, если бы были королем всего мира?

«Повесил бы тебя», – подумал Потылицын, а вслух сказал:

– Что бы я сделал? Не знаю. Особенного тут ничего не сделаешь.

– А если бы я была королевой, – приказала бы уничтожить все часы на земном шаре. Часы – это господа, мы – рабы, и мы стонем под их игом. Тик-так, тик-так! Прислушайтесь – это свист бича.

– Ну уничтожили бы вы часы, а дни остались бы. День сменяется ночью – те же часы.

– В моем королевстве была бы абсолютная ночь. Мы жили бы под землей и уничтожили бы время. Нет времени – и мы бессмертны. Из всего моего королевства я бы сделала бесконечный темный коридор.

«Пожалуй, сделай тебя королевой, – подумал Потылицын, – ты еще и не такую штуку выкинешь... С тебя станется».

А Айя в это время говорила задумчиво и трогательно:

– Ах, я так понимаю римских цезарей. Ванна из свежей человеческой крови утром – это запас нескольких жизней на целый день! Возрождение через смерть прекрасных молодых детей... Розовый огонь на свежем сером пепле...

– Где ваш муж служил? – нервно спросил Потылицын.

– Директор металлургического общест... Ах, мой муж! Иногда я слышу около себя шелест – это он издали думает обо мне.

– Нездешний шелест? – спросил Потылицын.

– Да... Нездешний. Это вы очень хорошо сказали. Шелест... Выродившийся гром, раб, сверженный с небес и закованный в шелковые оковы. Вы никогда не были убиты молнией?

Потылицын украдкой пожал плечами и уверенно признался:

– Был.

– Как это хорошо! Быть убитым молнией – это небесная смерть. Рана в борьбе с небесным Воином.

II

Потылицын потер ладони одна о другую, взглянул на Айю и заметил будто вскользь:

– Вы были когда-то женой вождя негритянского племени?

– Почему? – спросила Айя умирающим шепотом.

– Потому что вы серая. Вы под пеплом... даже сейчас. Я уверен, вы родились от Вулкана.

Вышли из кратера вместе с пеплом.

– Ах, – сказала Айя, – вы, пожалуй, правы больше чем нужно. Не нужно быть правым. Кратер...

– А когда вы смеетесь, – заметил деловито Потылицын, – вы напоминаете самку суслика.

– Суслик смеется перед опасностью, – покачала головой, позвякивая, Айя.

– Да и после смерти. У вас прекрасные глаза, Айя. В особенности левый.

– Мой левый глаз знает больше.

– Да! Знание, умерщвляя, украшает. Я вспомнил! Мы с вами виделись не в Египте, а у истоков Замбези. Вы пили воду, стоя передними ногами в реке.

– Я была оленем?

– Да. Антилопа-гну. Жвачное, однокопытное. И, зацепившись хвостом за ветку хлебного дерева, смотрел я на вас, раскачиваясь. Верно?

Айя нерешительно взглянула на Потылицына, и в глазах ее можно было прочесть некоторый испуг: будто пришел какой-то похититель и явно хочет обокрасть ее.

– Да, – подтвердила она. – Замбези. Я помню тигра, который любовно смотрел на меня из джунглей...

Потылицын серьезно кивнул головой.

– Да... тигр. Очевидно, он убежал из туземного зверинца, потому что на Замбези они не водятся.

– Вы любите пуму? – смущенно спросила Айя. – Пума и ягуар напоминают льющуюся воду. Их движения водопадны.

– Ниагарны или имартны? – с интересом спросил Потылицын.

– Ах, это все равно. Я когда-нибудь встречу ягуара... Я буду проходить под деревом, и вдруг на меня сверху свалится гибкая злая масса. О, я не буду кричать. Пусть! Пусть мое тело будет исковеркано, облито кровью. Пусть – я зато узнаю мучение. Я скоро встречу с ягуаром.

– Вы действительно этого хотите? – сурово спросил Потылицын.

– Да, я хочу мучения, побоев. Я поцелую руку ударившему меня мужчине.

– Хорошо. Завтра я буду у вас с визитом и, кстати, завезу вам расписание.

– Чего?.. – удивилась Айя.

– Расписание пароходов, отходящих в Сан-Франциско. Оттуда по железной дороге до Сакраменто и...

– Зачем?

– Затем, что ягуары водятся в Мексике. До Йокогамы вы можете поехать по Сибирской железной дороге. Правда, вагоны не ахти какие и на станциях буфеты отвратительные...

– Ах, что вы такое говорите...

– Да ведь как же! Иначе вы до ягуаров не доберетесь. В Мексике вы их можете найти по дороге от Чигуагуа...

– Милый! Вы мне даете мигрень. Вы слишком реально касаетесь вещей, которые тоньше паутин. Наши ощущения должны быть ирреальными.

– Нездешними?

– Вот именно. Вы очень метко это сказали...

– Вот что, уважаемая Айя, – сказал Потылицын, вставая. – Я хочу иметь с вами серьезный разговор... Но наедине. Можем мы сейчас уйти в кабинет хозяина?

– Да... – колеблясь, согласилась Айя. – Только зачем «вы»? Нужно «ты». «Ты» – это не приближает, а отдаляет. Я хочу отдаления.

– Ладно, ладно. Пойдем.

III

Они вошли в кабинет. Потылицын усадил Айю на оттоманку, притворил дверь и уселся рядом.

– Вот что, моя милая. Как тебя зовут?

– Айя. Это звучит как падение снега.

– Моя милая! Если ты будешь ломаться – я тебя поколочу. Ты сама об этом мечтала давеча. Не вздумай кричать – я свалю все на тебя. Меня все хорошо знают как скромного человека, а тебя, вероятно, считают за полусумасшедшую сумасбродку, готовую на всякую глупость. Итак, не лмайся и скажи мне, как тебя зовут? Как твое настоящее имя?

– Вы с ума сошли! – испуганно сказала притихшая Айя. – Меня зовут Екатерина Арсеньевна.

– Вот и прекрасно. Вот что я тебе скажу, Екатерина Арсеньевна: мне тебя смертельно жалко... Как это так можно изломать, исковеркать свой благородный человеческий облик? Как можно себя обвешать какими-то браслетками, цепочками, связать себя так, что к тебе и приступить страшно. Вспомни, Екатерина Арсеньевна, о своей матери. Как бы она плакала и убивалась, если бы увидела свою дочь в таком горестном, позорном положении. Какой глупец научил тебя этим смешным, нелепым разговорам об Египте, ягуарах и темных коридорах? Милая моя, ты на меня ради Бога не обижайся – ты баба, в сущности, хорошая, умная, а только изломалась превыше головы. К чему это все? Кому это нужно? Дураки, вроде Туркина, удивляются тебе и побаиваются, а умные люди смеются за твоей спиной. Мне тебя смертельно жалко.

То, что я тебе скажу, никто тебе не скажет, даже твой муж. Сними ты с себя все эти побрякушки, колокольчики, начни говорить по-человечески, и ты будешь женщиной, достойной уважения и даже настоящей любви. Дети-то у тебя есть?

– Нету, – со вздохом сказала жена директора.

– Вот то-то и беда. Может, это все от бездетности пошло. Ну, милая, не будь такая печальная, развеселись, махни на все рукой и заживи по-новому. Ей-богу, тебе легче будет, чем тогда, когда нужно измышлять беседы о каких-то темных королевствах, ягуарах, пумах и кровавых ваннах. Вот ты уже и улыбаешься. Молодец! Я ведь говорил, что ты женщина не глупая и чувствуешь даже юмор. Ты на меня не сердисься?

– Вы чудовище, – засмеялась Екатерина Арсеньевна. – Грубое животное.

– Ну миленькая, ну скажи же, ну бросите вы своих ягуаров и египтян, а? Обещаете? Я буду вам самым преданным, хорошим другом. Вы мне очень нравитесь, вообще. Бросите?

– Наш разговор – между нами? – отрывисто спросила она, отвернувшись.

– Конечно. Я завтра зайду к вам, ладно?

– Хорошо... Только чтобы об этом разговоре даже не намекать. Условие?

– Даю слово. Итак, до завтра. Расписания привозить уже не надо?

– Ну-у?! А кто обещал молчать? Чудовище! Кстати, мне эта цепочка ужасно натерла руку. Я сниму эту сбрую, а вы спрячьте ее в карман.

– Ах вы, прелесть моя. Давайте!

Медицина

За утренним чаем Ната Корзухина посмотрела внимательно и беспокойно на мужа, провела рукой по его голове и спросила:

– Почему ты такой желтый? Корзухин удивился.

– Желтый? Почему бы мне быть желтым?

– Я не знаю. Только очень желтый. Мне не нравится твой цвет.

– Хорошо, – пообещал Корзухин. – Постараюсь, чтобы этого больше не было!

Корзухин поднялся и ушел на службу. Через два дня утром жена опять сказала с беспокойством:

– Знаешь, ты опять желтый... Даже какой-то синеватый. А виски коричневые.

Корзухин испугался:

– Что ты говоришь?! О, черт возьми... Вот история...

– Тебе, вероятно, нельзя пить. Обратись к доктору.

– Все доктора – мошенники.

– Уж и все! Иногда попадаются и не мошенники. Хочешь, я приглашу своего доктора, у которого я зимой лечилась? Очень хороший. Я напишу ему записку, и он сегодня после обеда заедет.

– Неужели я такой... желтый и синий?

– Ужас! Ужас! Прямо какой-то зеленый.

– Я смотрел нынче в зеркало. Как будто ничего.

– Так... – печально сказала жена. – Значит, жена врет, а зеркало не врет? Зеркало, значит, лучше? Почему же ты в таком случае не устроишься так, чтобы оно варило тебе по утрам кофе, заказывало обед, целовало тебя и ездило с тобой в театры...

– Зови доктора!!

После обеда приехал доктор.

– Здравствуйте, Наталья Павловна. Я получил вашу записку и сейчас осмотрю вашего мужа.

Осмотр продолжался недолго. Доктор выстукал Корзухина, осмотрел его язык и убежденно сказал:

– Вам нельзя пить! Это для вас смерть.

– Что вы говорите! – побледнел мнительный Корзухин. – Что же я тогда буду делать?

– Что вы обыкновенно пьете?

– Немного водки, шампанское, ликеры...

– Вот водки вам и нельзя. И шампанского вам нельзя, и ликеров.

– Стоит ли жить после этого?

– Стоит. Нужно только заниматься больше духовными запросами.

– Займусь, – с искаженным страхом лицом пообещал Корзухин.

* * *

– Ты кашлял во сне. Знаешь ли ты это?

– Нет, я спал.

– Ты кашлял. Я тебя уверяю – ты кашлял, а не спал.

– Почему же я сам этого не заметил?

– Очень просто: потому что ты спал. Тебе, вероятно, вредно куренье... Я уже давно косо поглядывала на твои ужасные сигары. Сегодня позовем моего доктора – пусть он осмотрит тебя.

– Странно... Вчера только в департаменте мне говорили: как вы поздоровели!

– Да? Так если тебе говорят в департаменте такие приятные вещи – ты взял бы и поселился там вместо того, чтобы приходить сюда. Конечно, человек ищет где глубже, а рыба... тоже ищет этого самого... как это говорится: как рыба об лед. Я бьюсь как рыба об лед, измучилась, беспокоюсь о тебе...

– Зови доктора. Зови доктора!

Приехал доктор и опять осмотрел Корзухина... Ната оказалась права. Доктор, даже не досмотрев голого Корзухина, всплеснул руками и сказал:

– Ой-ой! Вам нужно бросить курить... А то выйдет очень неприятная штука.

– Что же вы называете неприятной штукой? Доктор поднял палец вверх.

– Туда пойдете.

– Вы, вероятно, хотите сказать, – со слабой надеждой в голосе прошептал Корзухин, – что куренье сигар расшатает мой бюджет и мне придется перебраться этажом выше?

– Я говорю о смерти, – веско сказал доктор.

Корзухин сжал губы в мучительную гримасу, подошел к столу, схватил ящик с сигарами и

решительно бросил его в огонь камина.

- Молодцом! – сказал доктор. – Зуб нужно вырывать сразу.
- И зуб? – пролепетал Корзухин. – И зуб... нужно?
- Нет, зуб пока не нужно. Это я так.

* * *

Через неделю доктор опять был у Корзухиных.

- Наталья Павловна телефонировала мне, что вы ночью бредили...
- Ей-богу, не бредил. Чего мне бредить?
- А вот мы посмотрим. Разденьтесь... Те-те-те... Батенька! Да у вас скверная вещь: я бы за ваши нервы ни копейки не дал.

Корзухин и не думал вступать с доктором в какую-нибудь коммерческую сделку, но все же встревожился.

- Что же мне делать? Ради Бога...
- Поздно ложитесь?
- Часа в три, в четыре. Бываю в клубе.
- Он, доктор, в карты играет, – пожаловалась Ната.
- Что вы говорите?! Это самоубийство! Вы хотите сохранить остатки вашего здоровья?
- Хочу!
- Клуб – к черту. Карты – к дьяволу. Сон – в двенадцать часов ночи. Перед сном обтиранье холодной водой.
- Хорошо... – скорбно сказал Корзухин. – Оботрусь.

* * *

... Доктор долго мял, тискал и выстукивал Корзухина. Он бил Корзухина кулаком по спине и спрашивал:

- Больно?
- Конечно, больно.
- А тут?
- Ой!
- Нервы, нервы и нервы. Нужно их успокоить. Вы музыку любите?
- Не выше оперетки.
- Нет, это не подходит. Вам нужно ходить на что-нибудь серьезное, действительно художественное. Гм... Вот что! На днях начинается серия вагнеровских опер. Дostaньте абонемент.
- Как кстати! – воскликнула, всплеснув руками, Ната. – Мои знакомые как раз хотят уступить кому-нибудь абонемент. И мы вдвоем будем ходить... Вагнер – такая прелесть!
- Осмотрите меня внимательно, – заискивающе попросил Корзухин. – Может быть, найдете что-нибудь полегче, чем можно было бы заменить Вагнера. Обыкновенную оперу, что ли... Или цирк...

Доктор ударил Корзухина кулаком под ложечку и спросил:

- Больно?
- Еще как!
- Ну вот видите – лучше Вагнера не придумаешь... Чудак человек... Говорит – цирк. Это все равно что больному ревматизмом давать пилюли от кашля. Медицина, батенька, такая вещь, что... гм... гм...

Доктор сделался домашним врачом Корзухина. Однажды он осмотрел его, ощупал и сказал со вздохом:

- На этот раз – дело серьезное.
- Говорите – не мучайте меня – что такое? – скривился Корзухин.
- Мотор!

– Неужели есть такая болезнь? Вероятно, психомотор?

– Нет, просто мотор. Вам нельзя пользоваться извозчиком – никаких сотрясений! Слышите? Грудно-брюшная преграда не в порядке. Нужен мотор!

– Послушайте! – сказал Корзухин. – Вы доктор? Так. Вы осматриваете пациента?.. Так, прекрасно. Он, предположим, болен. Хорошо. Вы садитесь и пишете ему рецепт. Существует правило, по которому с рецептом ходят в аптеку. Но я никогда не слышал, чтобы с рецептом бежали в автомобильный гараж!!

– Вы забываете о физическом методе лечения, – сухо сказал доктор.

– Это что за музыка?

– Механотерапия.

– Странно... – обиженно улыбнулся Корзухин. – у меня, может быть, и всей-то грудно-брюшной преграды на дешевенький велосипед неберется, а вы – целый автомобиль прописываете.

Доктор нахмурился.

– Я не гомеопат. Не нравится – можете обратиться к гомеопату. Он вам может даже швейную машину прописать. Пожалуйста!

И ушел, гулко хлопнув дверь в передней.

– Можно подержанный, – робко сказала жена.

* * *

Это было однажды осенью...

Корзухин лег после обеда спать, но ему не спалось: грезилась разные болезни, эпидемии и несчастья. Он встал, оделся и печальный, расстроенный побрел к жене.

В дверях ее комнаты, перед портьерой, приостановился, услышав голоса. Прищурился... Потом опустился на стул у окна и стал слушать. Разговаривали двое:

– Вы должны, доктор, это сделать!

– Ни за что! Вы сами не знаете, что просите... Нужно же знать меру.

– Я и знаю меру. Но мне необходимо иметь зеленую гостиную! Слышите? Вы должны это устроить. Наша старая красная опротивела мне до тошноты.

– Вы говорите вздор. Как я это сделаю?!

– Ваше дело. На то вы доктор.

– Это скорей дело обойщика.

– Придумайте что-нибудь! Скажите, что красный цвет ему вреден, а что зеленый там что-нибудь такое... увеличивает кровообращение, что ли. Или расширяет сосуды.

– Вздор! Зачем ему расширение сосудов?

– Скажите просто, что ему вредна красная гостиная.

– Да он ведь там никогда и не бывает.

– А вы найдите такую болезнь, чтобы ему нужно было сидеть в гостиной, намекните на кубический объем воздуха, а потом скажите, что такой красный цвет в гостиной ему вреден.

– Наталья Павловна... Это черт знает что!.. Он уже на автомобиле чуть не поймал меня. Если он догадается – подумайте, что будет... Я понимаю, мои первые опыты – они хоть что-нибудь имели под собою... Хоть какую-нибудь почву... Конечно, куренье вредно, напитки вредны, картежная игра вредна... Но Вагнер – это безобразия, автомобиль – это наглость. У вас нет ни такта, ни логики.

– Ну хорошо. Устройте мне последнее – красную гостиную – и ладно. Больше ни о чем не попрошу.

– Даете слово?

– Да-ю! Честное слово!!

– Ну, в последний раз. Господи благослови.

.....
Доктор и Ната отправились в спальню на поиски Корзухина, но Корзухина там не нашли.

Отыскали его в красной гостиной. Он сидел на красном диване, тянул из горлышка бутылки

коньяк и курил чудовищную сигару.

– А, доктор! – сказал он, подмигнув. – Здравствуйте! Не находите ли вы, что красный цвет гостиной мебели дурно влияет на меня? Кубический объем, как говорится, не тот. Хе-хе... Продастся хороший автомобиль, дети мои! Срочно нужны деньги за выездом в клуб, и если я, черт побери, не заложу сегодня хорошего банчишки – потащите меня опять на Вагнера. Ха-ха! Дорогой врач! Ломаются нынче все преграды, в том числе и ваша грудно-брюшная, если вы не покинете немедленно одр тяжелобольного Корзухина. Неужели мы никогда с вами, доктор, не увидимся? Ну, что ж делать... Я с этим совершенно примирился. Пошел вон!

Купальщик

– Эй... как вас... Мм... молодой чч... век! Нет ли тут поблизости морей каких-нибудь?

– Каких морей?

– Ну, там... Черного какого-нибудь... Средиземного. А то так – Мраморного, что ли.

– Нет, тут поблизости не будет. Переплюниха река есть, так и то верст за пятнадцать...

– М... молодой чч... век! Море бы мне. А?

– Говорят вам – нет. Да вам зачем?

– Купаться ж надо ж...

– Да если нет, так как же?

Человек, желавший выкупаться, покачнулся, схватил сам себя за грудь, удержал от падения и прохрипел страдальчески:

– Надо ж купаться же ж! Освежаться надо же ж!

– Да-с. Нет морей.

– А... Каспийское море... Далеко?

– Каспийское? Далеко.

– Вы думаете – я пьян?

– Почему же-с?

– Да, пил. Надо же ж пить же ж!! Напиваться необходимо же ж!!

– Извините... Я домой.

– Домой? Лошадь! Кто ж нынче домой ходит? Впрочем – прав! Надо ходить же ж домой же ж!! Посл... лушай! А дома морей никаких нет? Хоть бы Красное... Аральское... А? Ушел? Ну и черт с тобой. Ты же лошадь же ж! Я тут сейчас и искупаюсь! Вот еще! Куда бы мне пиджак повесить? Вот гвоздик! Надо ж пиджаки вешать же ж!

– Эй, господин! Разве тут можно раздеваться?

– Можно. Здравсс... прохожий... Не знаете – тут глубоко?

– Где-е? Это ведь улица! Тут и воды нет.

– Толкуй! Подержи жилетку.

– Отстаньте!

– О Господи ж! Надо ж жилетки держать же ж! Купаться надо же ж!!

–...Это что еще?! Вы чего тут?! Как так – на улице раздеваться? Пшел!

– Мама-аша! Сколько лет!..

– От-то ж дурень! Какая я мамаша? Я городской.

– Вот черт!.. А я смотрю – обращение самое... материнское. Городской! Где моя мама?

– Стыдно, господин. Тут и купальни нет, а вы раздеваетесь!

– Нет купальни... А ты построй! Я тут сяду – пока брюки подожду снимать, а ты надо мной и воз... веди п-по-строечку! О Господи! Строиться надо же ж!!

– Да зачем купальню, когда воды нет? Хи-хи.

– Милл... лай. Мне ж много не надо же ж! Построй купаленку, плесни ведро – мне и ладно. Надо ж купаться же ж!!

– «Же ж, же ж»! Вот тебе покажут в участке «же ж»! Одягайся!

– Позвольте, городской! Они выпимши и не в себе, а вы сейчас – участок. Знаем мы ваши участки. Позвольте, я сам его урезоню.

- Здравствуйте, господин!
- А-а... Мамаша! Глубочайшее...
- Купаться хотите?
- Купаться же ж надо ж! Работать надо ж!
- Дело хорошее. Водички вам немного потребуется.
- Пустяки же ж! Как пожива... аете?
- Слава Богу, хорошо. Вам ведь купаться не обязательно? Только освежиться?
- Освежиться ж надо же ж!
- Ну, вот. У меня в пузыречке вода и есть. Ведь вам не обязательно обливаться? Ежели ее немного – можно и понюхать. А?
- Господи! Надо нюхать же ж!
- Ну вот и хорошо. Умница. Нюхайте.
- Фф... ррр... пффф... Од... днако!
- Это вы что ему за водичку дали?
- Ничего-с. Нашатырный спирт.
- Здорово! Слеза-то как бьет. Хи-хи!
- Еще, может, нырнете, а? Вот бутылочка. Держи ему голову.
- Фф... рр... пфф... Однако!..
- Ну как?
- Где мой... пиджак? Дом купца Отмахалова направо?
- Направо.
- Городовой! Дай мой пиджак. Ффу!

Сазонов

I

Рукавов собирался пить чай.

Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно поджал губы.

– Чаишко-то, кажется, мутноватый... Ох, уж эти меблированные комнаты! Ох, уж эта холостая жизнь!

Дверь скрипнула. Рукавов оглянулся и увидел прижавшегося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятьина.

– А, здравствуйте! – равнодушно сказал Рукавов. – Вот приятный визит. Входите... Ну, как дома? Все благополучно? Чаю хотите?

Заклятьин отделился от притолоки и сделал шаг вперед.

– Я пришел только сказать вам, Рукавов, – держась рукой за сердце, сказал Заклятьин, – что людей, подобных вам, нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, клянусь, я убью вас!

Рукавов отставил налитый стакан. Брови его были нахмурены.

– Слушайте, Заклятьин... Я не знаю, на чем вы там помешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова... Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю жизнь. Садитесь. Что случилось?

– Рукавов! Вы меня поражаете!

– Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?

– Рукавов! Берегитесь! Рукавов улыбнулся.

– Хорошо. Только скажите – от чего. Тогда, может быть, я и буду беречься.

Заклятьин скривил лицо и, взявшись руками за спинку стула, внятно отчеканил:

– Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной.

– Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что вы, Заклятьин, говорите, – ложь третьей категории.

Рукавов снова взялся за свой стакан и, размешивая сахар, бросил холодный взгляд на блед-

ное, искаженное злостью лицо Заклятыина.

– Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели однажды выходящим от моей жены в восемь часов утра.

– И это все? – сурово спросил Рукавов. – Стыдитесь! Извольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас, но вошел я к вам в восемь без четверти. Просто забыл накануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что Надежда Петровна спала в это время сном праведницы.

– Знаете ли вы, – злобно прошипел Заклятын, – что я нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний не дающую, но вы там называете мою жену на ты!

Рукавов пожал плечами:

– Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом настроении я назвал ее «ты» и теперь постоянно дразню ее этим. Мне было забавно, как она сердится.

– Рукавов! – потупившись, тихо сказал Заклятын. – Сегодня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.

Рукавов поднял одну бровь.

– Вы... можете поклясться в этом?

– Даю вам мое честное слово.

– Ох, эти женщины, – усмехнулся Рукавов, качая головой. – Никогда не знаешь, как с ними держаться...

Впрочем, вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому, что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольствовать о своих победах.

– Еще бы, – угрюмо сказал Заклятын. – Это так понятно! И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.

Рукавов пожевал губами.

– Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьезно? И вы отвечайте так же.

– Да.

– За что вы хотите меня убить?..

– Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой женщине – вы отняли ее!

Рукавов погрузился в задумчивость.

– Вот что, Заклятын... Я вам сейчас возражу, но не потому, что желаю сохранить свою жизнь... Я понимаю – слишком глупо для меня было бы плакать и восклицать, прячась за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце концов, жизнь – не такое уж важное кушанье. И на помощь я звать не буду... и из комнаты не выйду. Можете убить меня во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем я виноват?

– Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену. Голос Заклятыина звучал торжественно и громко.

– Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей воле.

– Если бы не вы – мы были бы с ней по-прежнему счастливы.

– А какая у вас гарантия – что не явился бы другой?

– Рукавов! Вы ее оскорбляете!

– Чем? Что вы, помилуйте... И в мыслях не имел. Только смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Говоря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я – человек, не блещущий никакими талантами и красотой, что я – самый заурядный человек. Не начнете же вы сейчас опровергать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломляющий, человек такого сорта, перед которым женщина устоять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят комплиментов!..

– Хорошо! – поморщась, перебил его муж. – Допустим, что вы самый обычный человек. Что же из этого следует?

– А то, что обычных людей тысячи. Не будете же вы всех их убивать.

– Не буду. Но они ведь и не любовники жены.

– Если один обычный человек – любовник, то почему и другой не мог быть любовником? Лотерея!

– В которой муж всегда проигрывает, – громко усмехнулся Заклятын.

– Утешьтесь! Если я женюсь – я тоже проиграю.

– А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм – так думать! Неужели не может быть семьи без измены?

Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и быстро заговорил:

– Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте меня примерами! Скажите мне: «Жена Петрова всю жизнь была верна мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня супружескую верность!» Сотни таких случаев есть... тысячи! Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже, что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим верным женам все свое состояние, умница Карпов доказывал нелепость верности, вельможа Григорьев тщетно ослеплял этих жен своим могуществом и великолепием... Заклятыин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки... А Сазонова-то ведь и не было!

– Какого... Сазонова? – машинально спросил Заклятыин.

– Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов существует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске!..

– Какой Сазонов?

– Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Сорок лет прожили они душа в душу, свято блюдя супружескую верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Заклятыин, вы не имеете права сказать: «Ах, это была идеально верная жена – мадам Васильева! За ней ухаживали десятки красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу...» – «Почему она осталась верна? – спрошу я вас. – Не потому ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену? Нет! Нет, Заклятыин! Просто – потому что Сазонов сидел в это время в Новочеркасске. Стоило ему только приехать в Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых – и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит только от приезда Сазонова из Новочеркаска?»

– Но в таком случае, – нахмурился Заклятыин, – мы возвращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно убивать, как бешеных собак!

– Берегись! Вас тоже должны будут убить.

– Меня? За что?

– Потому что вы тоже – Сазонов для какой-нибудь женщины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы никогда и не встретитесь с ней – тем лучше для ее мужа! Но вы – Сазонов.

II

Заклятыин оперся локтями о стол, положил голову на руки и застонал:

– Где же выход? Где выход?!

– Успокойтесь, – участливо сказал Рукавов, глядя его по плечу. – Хотите чаю?

– Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?..

– Да ведь чай-то пить все равно нужно, – улыбнулся Рукавов. – Он был мутноватый, но теперь отстоялся. Я вам налью, а?

– Ах ты, Господи... Ну, давайте!!

– Вам два куска сахара? Три?

– Три.

– Крепкий любите?

– Рукавов! Где же выход?

– У вас же был выход, – тихо усмехнулся Рукавов. – Когда вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как бешеную собаку.

– Нет, – серьезно сказал Заклятыин. – Я вас убивать не буду. Она больше виновата, чем вы.

– И она не виновата... Слабые, хрупкие, глупые, безвольные женщины! Мне их иногда до слез жалко... Привяжется сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на саможертвование. И своего, задушевного – ничего нет. Все от него идет, – все ее мысли, стремления, все от Са-

зонова. Все с его барского плеча. Охо-хо!..

Заклятыин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.

– Рукавов, – проскрежетал он. – Я страдаю. Научите, что мне делать!

Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи, а другой – стал ласково, как ребенка, гладить по коротко остриженной голове.

– Бедный вы мой... Ну, успокойтесь. Делать вам ничего не нужно. Жену я у вас заберу, потому что, если бы даже она и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье. Вы будете мучить ее ревностью, она вас – ненавидеть... Что хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с другими женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, интересный... Гораздо интереснее меня – клянусь вам, что говорю это совершенно серьезно... Всего-то моего и преимущества перед вами, что я – Сазонов, которого угораздило приехать из Новочеркасска. Лежите смирененько, милый. Ну, вот. Встретите вы еще хорошую, душевную женщину, которая приголубит вас по-настоящему...

Плечи Заклятыина судорожно передернулись.

– Я Надю никогда не забуду.

– Ничего-о, миленький... забудете, – мягко, простодушно протянул Рукавов. – Это сейчас, когда чувствуется вся острота обиды и разочарования, кажется, что горе такое уж большое, такое безысходное... А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну – убейте меня. Только что ж... Если хорошенько вдуматься – ведь это не поможет, не имеет никакого смысла... Злости против меня у вас нет, а раз нет злости – не нужно и преступление...

Сумерки обволакивали комнату.

В тихом воздухе долго звучали тихие слова:

– Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина – нехорошо. Это только женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека, – потому что у женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины – творцы красоты жизни, творцы ее смысла – должны считать свои сердечные раны такими же царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба в других случаях. Удержите ваше сердце от терзаний – мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он – неловкий слуга, не сумевший услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет – совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните... Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить меня... Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она умрет, и вы... Все умрем... И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли – новая жизнь пронесется над ними – и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали...

Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с печальными сумерками.

Заклятыин полежал еще немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив в темноте шляпу, ушел.

Золотой век

I

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так: – Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папи-

росу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел сразу – и отвечал:

– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами – встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.

– Что... пишу?

– Ну, вообще, – сочиняешь!

– Да я ничего и не сочиняю.

– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.

– На что слуха?

– Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?.. Музыкантом...

– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомянуть всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

– Я умею рисовать метки для белья.

– Не надо. На сцене играл?

– Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

– И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

– Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

– Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли – это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку: «Здоровье Кандыбина поправляется».

– Послушай, Стремглавов, – спросил я, приехав к нему, – почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

– Это так надо, – сказал Стремглавов. – Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

– А она знает – кто такой Кандыбин?

– Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

– А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

– Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

– Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

– Забудут. А я завтра пушу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого»... Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

– Можно писателем.

– «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

– А портрета еще не нужно?

– Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

«Вчера, – писала одна газета, – на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем: справедливо ли это? С одной стороны – Кандыбин, с другой – какой-то никому не ведомый капитан Ч*».

«Мы уверены, – писала другая газета, – что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли».

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.

– Скажите, – спросили они, – что побудило вас дать капитану пощечину?

– Да ведь вы читали, – сказал я. – Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

– Но ведь Айвазовский – художник! – изумленно воскликнул репортер.

– Все равно. Великие имена должны быть святыней, – строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

– Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

– Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом, это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

– А какую вещь я начал?

– Драму «Грани смерти».

– Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

– Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная-неутомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюренбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:

– Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

- Какой юбилей?
- Двадцатипятилетний.
- Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?
- Ладно, – сказал я. – Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.
- Ты рассуждаешь, как Толстой, – восхищенно вскричал Стремглавов.
- Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь:

– Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: Здравствуй, Кандыбин!!

– А, здравствуйте, – приветливо отвечал я, польщенный. – Как вы поживаете? Все целовали меня.

Преступление актрисы Марыськиной

Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую, увесистую тетрадь премьерше Любарской.

– Ого! – сказала премьерша.

Потом режиссер дал другую такую же тетрадь любовнику Закатову.

– Боже! – с ужасом в глазах вздохнул любовник. – Здесь фунта два! Не успею. Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта – не выучу.

«Дурак ты, дурак!», – подумала выходная актриса Марыськина.

– Это не роль, а библия! – вскричала Любарская и сделала вид, что сгибается под тяжестью полученной тетрадки.

«Дура ты, дура, – подумала Марыськина. – Оторвала бы для меня листков десять – я бы вам показала!»

Потом получили роли: старуха Ковригина, комик Лучинин-Кавказский, второй актер Талиев и вторая актриса Макдональдова.

Марыськина с аппетитом проглотила слюну и спросила, сдерживая рыдания:

– А мне?

– Есть и тебе, милочка, – улыбнулся режиссер. – Вот тебе ролька – пальчики проглотишь.

Между двумя его пальцами виднелась какая-то крохотная, измятая бумажка.

– Это такая роль?

– Такая.

– Да где она?

– Вот.

– Я ее и не вижу, – обиженно сказала Марыськина.

– Ничего, – вздохнул режиссер, – она маловата, но зато дает громадный материал для игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостья – во втором акте.

– А что я говорю?

– Вот что: «...в числе других гостей входит купчиха Полуянова. Целуется с хозяйкой... („с ней“ – указал режиссер на Любарскую)... говорит: „Наконец-то собралась к вам, милые мои...“ Солнцева: „Очень рада, садитесь“. – „Сяду и даже чашечку чаю выпью“. – „Сделайте одолжение!“ Полуянова садится, пьет чай».

– И это все? – с отвращением спросила Марыськина. – Хоть бы две странички дали...

– Миленькая! Да ведь тут игры масса! Погляди, быту сколько: «Наконец-то собралась к вам, милые мои...» Ведь это живое лицо! Купчиха во весь рост! А потом: «...Сяду и даже чашечку чаю

выпью!» Заметь, ей еще и не предлагали чай, а она уже сама заявляет – «выпью»! Вот оно где, темное купеческое царство гениального Островского: сяду, говорит, и даже чаю выпью. Ведь это тип! Это сама жизнь, перенесенная на подмостки! Я понимаю, если бы хозяйка там предложила ей: «Выпейте чаю, госпожа Полуянова». А то ведь нет! Этакая бесцеремонность: «Сяду и даже чаю выпью». Хе-хе! Ты бесцеремонность-то подчеркни!

Марыськина с болезненной grimасой прочла еще раз роль и сказала:

– А мне тип Полуяновой рисуется иначе: эта женщина хотя и выросла в купеческой среде, но она рвется к свету, рвется в другой мир... У нее есть идеалы, она даже влюблена в одного писателя, но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. И она, нежная, тонкочувствующая, рвется куда-то.

– Ладно, – равнодушно кивнул головой режиссер. – Пусть рвется. Это не важно. Тебе виднее...

– Я ее буду толковать немного экзальтированной, истеричкой...

– Толкуй! Дальше... «Роль слуги Дамиана»! Это вам, Аполлонов. «Горничная Катерина» – Рабынина-Вольская!

Марыськина отошла в угол в задумчивости...

* * *

...Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой (Любарская). Собираются гости, приходит комик Матадоров (Лучинин-Кавказский), с которым хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника Тиходумова (Закатов), изменившего ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная глубокого драматизма. Объяснение на первом плане; в глубине сцены – тихий разговор ничего не подозревающих гостей...

Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала руки и, читая какую-то записку, шептала:

– Неужели? О, негодяй!

В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое выражение, приветливо встретила пришедших.

Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой (Марыськиной), и когда суфлер сказал: «Ах, это вы... вот приятный сюрприз!» – хозяйка тоже обрадовалась и покорно повторила:

– Ах, неужели же это вы! Вот так приятный сюрприз!

Марыськина посмотрела вдаль и печально прошептала:

– Наконец-то собралась к вам, милые мои!

– Очень рада, – приветливо сказал суфлер. – Садитесь.

Хозяйка дома вполне согласилась с ним:

– Очень рада! Чрезвычайно. Отчего же вы не садитесь? Садитесь!

Марыськина истерически засмеялась и, теребя платок, сказала:

– Сяду, и даже чашечку чаю выпью!

Она опустила на диван, и сердце ее больно сжалось. «Все... – подумала она. – Все! Вот она и роль!..» И неожиданно сказала вслух:

– Да... что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым – там и напьюсь.

Солнцева недоумевающе взглянула на купчиху.

– Сделайте одолжение, – согласился гостеприимный суфлер.

– Пожалуйста! Сделайте одолжение... Я очень рада, – преувеличила Солнцева.

– Да... – сказала Марыськина. – Ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за границей, говорят, он не в ходу.

– Замолчите! – прошептал суфлер, меняя обращение с купчихой Полуяновой. – «Солнцева отходит к другим гостям».

– Что это вы, милая моя, такая бледная? – спросила вдруг Марыськина. – Неприятности?

– Да... – пролепетала Солнцева.

От приветливости суфлера не осталось и следа.

– Молчите! Почему вы, черт вас дерит, говорите слова, которых нет? «Солнцева отходит к другим гостям»! Солнцева! Отходите!

Солнцева, смотревшая на Марыськину с немым ужасом, напрягла свои творческие способности и сочинила:

– Извините, мне надо поздороваться с другими. Вам сейчас подадут чай.

– Успеете поздороваться, – печально прошептала Марыськина. – Ах, если бы вы знали, душечка... Я так несчастна! Мой муж – это грубое животное без сердца и нервов!

Марыськина приложила платок к глазам и истерически крикнула:

– Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком.

– Замолчишь ли ты, черт тебя возьми! – прошептал энергично суфлер. – Оштрафует тебя Николай Алексеич – будешь знать!

– Передо мной рисуется другая жизнь, – сказала Марыськина, ломая руки. – Я рвусь к свету! Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!

– Успокойтесь! – сказала Солнцева и повернула к публике свое бледное, искаженное ужасом лицо. – Извините... Я пойду к другим гостям.

Марыськина схватилась за голову.

– К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны. Агриппина Николаевна! Здесь перед вами страдает живой человек, и вы хотите променять его на каких-то пошляков... О, бож-же, как тяжело... Все знают только – ха-ха! – богатую купчиху Полуянову, а душу ее, ее разбитое сердце никто не хочет знать... Господи! Какое мучение!

– Она с ума сошла! – сказал вслух суфлер и, сложив книгу, в отчаянии провалился вниз.

– Пусть я не святая! – вскричала Марыськина, подходя к рампе. – Я женщина, и я люблю... Пусть! И знаете кого?

Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное лицо и прошипела с громадным драматическим подъемом:

– Я люблю вашего любовника, которого вы ждете! Он мой, и я никому его не отдам. Вам написали насчет баронессы – ложь! Я его люблю! Что, мадам, кусаете губы? Ха-ха! Купчиха Полуянова никого не стесняется – да! Я имею любовника, и фамилия его – Тиходумов.

– Вон со сцены! – прорезал из-за кулис режиссер, «Истерику бы, – подумала Марыськина. – Если уж чем выдвинуться, то истерикой».

Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали... Плач перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова:

– Пусть! Пусть... Я его вам... не отдам. Ты у меня его не возьмешь... змея!

Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом в два фунта, в фунт и четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у присутствующих при истерике, никому не приходили в голову.

И в то время, когда купчиха Полуянова билась в истерике, два гостя рассматривали картину, и один говорил другому вызубренные наизусть слова:

– А эта Солнцева богато живет... У нее шикарно!

– Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым.

– Кто говорит? Я об этом ничего не слышал... Никому не пришло в голову даже предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по направлению к Солнцевой:

– Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, почему ты предлагала мне чаю! Я видела через дверь, как твой сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Хаха! Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить своей жизни! Не вам, червям, бороться с ней! Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров! Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!

Марыськина вышла... и гром аплодисментов, низринувшись с галерки, разбился внизу, про-

катился по партеру и замер в снисходительно похлопавших первых рядах...

* * *

Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы, повернула в уборную и наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней.

– Вот твои вещи – их уже уложили. Тебе следовало двадцать восемь рублей, минус двадцать пять штрафа – три! На.

– Ладно, – сказала устало Марыськина. – Пусть... вещи на извозчика.

– Никифор! Выброси на извозчика ее вещи.

– Прощайте.

– Вон!

Сверх платья купчихи Полуяновой Марыськина натянула дряхлое, истасканное пальто, размазала рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышла, споткнувшись о порог.

Волчья шуба

Конспект:

Пианист Зоофилов взял на время у чиновника Трупакина волчью шубу... Пообещав вернуть шубу через неделю, Зоофилов не только не вернул ее, но вместо этого продал ее татарину, а деньги с приятелями пропил в трактире. Трупакин был чрезвычайно огорчен поступком Зоофилова.

I

В жестокий декабрьский мороз пианист Зоофилов сидел в комнате своего знакомого чиновника Трупакина и говорил ему так:

– Не можете ли вы, миленький, одолжить мне на неделю вашу волчью шубу... Мне нужно ехать на концерт в Чебурахинск, а пальтишко мое жидкое. До Чебурахинска на лошадях еще верст тридцать. Сделайте доброе дело – одолжите шубу на недельку.

– А вдруг она пропадет? Вдруг вы ее потеряете?

– Ну, что вы... Как можно!

– А вдруг мне самому понадобится?

– Да ведь у вас другая есть, новая.

Чиновник Трупакин прикусил сухими губами сизый ус, посмотрел в окно и сказал:

– Так-то оно так. Это верно. Добрые знакомые всегда должны помогать друг другу. Слава Богу – не звери же мы, в самом деле. Хорошо, Стефан Семеныч. Я вам дам шубу. Человек не собака, и замерзать ему невозможно...

Глаза пианиста заблестали радостью.

– Даете? Ну, вот – спасибо!

– Уж раз сказал, что дам – то дам. Отчего же... Ведь шубы от этого не убудет. Не правда ли?

– Конечно, конечно.

– Я и сам так думаю. Марья Семеновна! Чиновник Трупакин обратился к вошедшей жене:

– Вот, Мари, пианист наш замерзнуть в своей турне боится. Дай ему шубу волчью.

– И прекрасно, – сказала жена. – Все равно так лежит.

– Я и сам так думаю. А то что ж человека морозить – звери мы, что ли?

– Я вам очень, очень благодарен, Исай Петрович!

– Ну, какие там благодарности... Все мы должны помогать друг другу! Не дикари ж, в самом деле, не звери. Хе-хе! Слава Богу, крест на шее есть.

В кабинете зазвонил телефон.

– Алло! – сказал Трупакин, беря трубку. – Вы, Анна Спиридоновна? Как поживаете... Что? Спасибо. Что? Зоофилов у меня сейчас сидит... Да... Какой случай: морозы адские, а ему в кон-

церт ехать нужно. Так уж он у меня волчью шубу берет. Да и пусть. Лучше уж пусть она живую душу греет, чем даром лежит. Не дикари, слава Богу... Что? Прощайте.

Трупакин повесил трубку и доброжелательно взглянул на Зоофилова:

– Сегодня хотите забрать? Сейчас я вам это и устрою. Палашка! Послушай, Палашка, достань из сундука шубу и, завернув в простыню, отдай барину. Он, видишь ли ты, Палашка, попросил ее одолжить на время, потому что ехать барину нужно, а дедушка-мороз, хе-хе, кусается. Да почему, думаю себе, не дать? Сем-ка я выручу хорошего человечка.

Трупакин добродушно засмеялся, и морщинки веселой толпой сбежались около его глаз. Разогнав эту самовольную сходку, Трупакин покачал головой, вздохнул и промолвил:

– Ах, как было бы хорошо, если бы все люди помогали друг другу. Жилось бы слаще и теплее. Уходите? Ну, всех вам благ. Шубочку-то не забудьте захватить. Когда едете? Послезавтра? Ну-ну...

Зоофилов еще раз поблагодарил Трупакина в самых теплых выражениях и, захватив волчью шубу, ушел. А Трупакин решил съездить в клуб. Оделся, вышел и сел на извозчика.

– Ну что, едешь? – спросил извозчика, когда лошадь тронулась.

– Езжу.

– Это, брат, хорошо. Летом-то небось вашему брату легче...

– Да оно как будто послободнее.

– Зимой холодно ведь, чай?

– Да, холодно.

– То-то и оно. Бедному человеку, братец ты мой, зимой зарез.

– Верно. В самую точку будет сказать.

– Да-а, братяга. Тут ко мне вот один музыкант ходит. Такой, братец ты мой, что сплошная жалость возьмет на него глядеть. Морозы-то большие, а ему, слышь, ехать нужно музыкарить. Что ж ты думаешь – дал я ему шубу свою волчью. На, мил человек. Мне не жалко. Верно?

– Да-с.

– То-то и оно. Тут, брат, уж сквалыжничать нечего. Не людоеды, слава Богу. В груди-то тоже сердце есть. Не правда ли?

– Верно. Бедному человеку зачем не спомочь.

– То-то и оно. Дал я ему волчью шубу. На, носи. Сам, брат, Христос заповедал помогать страждущим. Не так ли?

Извозчик в ответ на это помолчал и потом шмыгнул носом так сильно, что лошадь побежала вскачь.

II

Провожать Зоофилова на вокзал собрались несколько приятелей.

– А ловко ты устроился, – сказал одобрительно актер Карабахский, похлопывая Зоофилова по спине.

– С чем устроился?

– Да с шубой. Ведь ты ее у Трупакина взял. Добрый старичок и очень обязательный.

– А ты откуда знаешь о шубе?

– Он же вчера в клубе вскользь сказал. Душа-парень, видно. Истый христианин. «Надо, говорит, ближним помогать. Мы, говорит, слава Богу, не тигры какие-нибудь». Добрейшей души старикан.

К беседовавшим друзьям подлетела, потирая руки, раскрасневшаяся от холода Манечка Белобородая.

– Едете? – сказала она, смотря на Зоофилова влюбленными глазами. И шепнула так, чтобы никто не слышал: – Не забудете? Не охладете?

– Манечка! Что ты...

– Положим, охладеть вам трудно. В крайнем случае трупакинская шуба вас согреет.

– Тру... пак...?

– Ну да. Я совершенно, совершенно случайно узнала, что вы были такой умница и выпросили у него шубу.

– Откуда же вы узнали? – угрюмо спросил Зоофилов. – От Трупакина?

– Да нет же! Это мне сказала сегодня подруга по курсу. Не знаю, кто ей это сообщил. Милый Трупакин! Если бы он был здесь, я бы его за это расцеловала!

Пришел проводить Зоофилова и Трупакин. Он был в отчаянии, что опоздал и успел только к третьему звонку.

Поезд тронулся. Стоя на площадке, Зоофилов посылал друзьям воздушные поцелуи и слышал, как Трупакин говорил окружающим:

– Как, думаю, молодого человека отпустить в подбитом ветром пальтишке?.. Хех-хе. Дал шубу. Волчью. Хорошая еще шубенка. Пусть, думаю, погрееется, бедовая голова. Слава Богу, не леопарды какие-нибудь. Человек не собака, и замерзать ему неподходящее дело.

Через час Зоофилов стал устраиваться на ночлег. Сквозь закрытую дверь купе он услышал разговор кондукторов:

– Куда же его посадить, ежели все занято? На голову, что ли?!

– Куда, куда... Идиётская голова! Ну, посади его в то купе, в котором господин в трупакинской шубе едет. Невелика птица – подвинется.

III

Чебурахинск был городишка маленький, но собственную газету имел.

Устроитель концерта через пять минут после приезда Зоофилова доброжелательно подмигнул ему и, вынув из кармана «Чебурахинский голос», показал отчеркнутое место:

«Мы счастливы приветствовать известного пианиста Зоофилова, посетившего наш богоспаемый город с целью дать концерт на пианино. Публика, конечно, подарит своей благосклонностью виртуоза, который приехал, даже невзирая на суровую температуру. Кстати, несколько черточек из жизни концертанта: рассказывают, что беззаботный артист собрался ехать в турне налегке, не имея теплого платья, и в самый последний момент положение было спасено другом талантливого артиста, Трупакиным, одолжившим ему волчью шубу. Только таким образом талантливый артист мог, как говорили древние, перейти через Рубикон»...

После концерта Зоофилов ужинал со своим импрессарио и с поклонниками.

Было много выпито... пили за всех: за Зоофилова, за искусство, за поклонников, за Бетховена...

– Спасибо за теплый прием, – сказал, утирая слезу, Зоофилов.

– Нет, – сказал подвыпивший импрессарио... – Давайте выпьем лучше за то, что согрело Зоофилова лучше нашего приема: за знаменитую трупакинскую шубу!

Зоофилов вскочил с места так порывисто, что опрокинул стул.

– Стойте! – закричал он. – Не могу больше!! Дайте мне татарина! Ради Бога! Где тут у вас татарин!

IV

– Алло! – сказал Трупакин, беря телефонную трубку. – Кто у телефона? Анна Спиридоновна? Мое почтение! Что? Как? Да, плохо. Никак я не могу, старый дурак, разочароваться в людях. А они и пользуются этим... Сижу я теперь и думаю: стоит ли делать людям добро. Что? А случилось то, что я по своей доброте одолжил на недельку этому несчастному Зоофилову хорошую волчью шубу, а он... что бы вы думали, что он сделал? Ни более ни менее, что продал ее татарину, а деньги пропил со своими распутными друзьями... Стоит ли после этого... Что? Прощайте.

Трупакин повесил трубку и, печально опустив голову, вышел в прихожую.

– Я ухожу, Палашка... Вот, брат Палашка, оплатили мне, старому дураку, за мое доверие. Волчья-то шуба – ау! Не-ет! Видно, добро-то нынче не в цене... Не люди пошли, а тигры пошли, господа!..

Выйдя на улицу и усевшись на извозчика, Трупакин втянул в себя воздух и сказал:

– А морозец-то здоровый!

– Да... Подковыривает.

– Бедному-то человеку, который без шубы, круто.

– Это уж и разговор нет.

– Да только, брат, нынче не человек пошел, а леопард. Ходил тут ко мне музыкант один – и дай да дай ему волчью шубу! Холодно, вишь, ему было... Ну-с, дал я ему шубу, и что ж бы ты, брат извозчик, думал...

Опора порядка

I

Вольнонаемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо, по-домашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды.

– Вот, – сказал он, тонко улыбнувшись сам себе в кривое зеркало. – Так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука – наша работа... Приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на десять Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так: я иду к адвокату Манькину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. (Ему такой, я слышал, нужен. А если я вотрюсь к нему – остальное сделано.) Итак, – письмоводитель. Спрашивается: как одеваются письмоводители? Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем: мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так! Теперь всякий за версту скажет: письмоводитель!

Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись зашагал по направлению к квартире адвоката Манькина.

– Так-то, – бормотал он сам себе под нос. – Без индейской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные, шельмы... Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Хе-хе!

У подъезда Манькина он смело нажал кнопку звонка; горничная впустила его в переднюю и спросила:

– Как о вас сказать?

– Скажите: Петр Сидоров. Ищет места письмоводителя.

– Подождите тут, в передней.

Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос:

– Там к вам шпик пришел, что под воротами допреж все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров, и хочу наниматься в письмоводители. Бородищу наклеил, подмазался – прямо умора.

– Сейчас я к нему выйду, – сказал Манькин. – Ты его где оставила, в передней?

– В передней.

– После посмотришь под диваном или за вешалкой – не сунул ли чего? Если найдешь, выброси.

– Как давеча?

– Ну, да! Учить тебя, что ли? Как обыкновенно. Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев покурившегося Макаронова, спросил:

– Ко мне?

– Так точно.

– А знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось...

– Да разве вы меня знаете? – с наружным удивлением воскликнул Макаронов.

– Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро, они глядят в окно: «Вон, говорят, папин шпик пришел... Девять часов, значит. Пора в гимназию собираться».

– Что вы, господин, – всплеснул руками Макаронов. – Какой же я шпик?! Это даже очень

обидно. Я вовсе письмоводитель – Петр Сидоров.

– Лизавета! – крикнул адвокат. – Дай мне пальто. Ну, что у вас в охранке... Все по-старому?

– Мне бы местечко письмоводителя... – сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката. – По письменной части.

Адвокат засмеялся:

– А простой вы, хороший народ, в сущности. Славные детишки. Ты что же сейчас: за мной, конечно?

– Местечка бы, – упрямо сказал Макаронов.

– Лизавета! Выпусти нас. Вышли вместе.

– Ну, я в эту сторону, – сказал адвокат. – А ты куда?

– Мне сюда. В обратную сторону.

Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Манькиным. Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом, и единственное, что тешило его, – это что адвокат его не замечает.

Адвокат приостановился и спросил, обернувшись вполоборота к Макаронову:

– Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?

– Ах, как это странно, что мы встретились, – с искусно разыгранным удивлением вскричал Макаронов. – Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно. К тетке зайти.

«Ловко это я про тетку вернул», – подумал, усмехаясь внутренне, Макаронов.

– Ладно уж. Пойдем рядом. А то, смотри, еще потеряешь меня...

– Нет ли у вас места письмоводителя? – спросил Макаронов.

– Ну и надоел же ты мне, ваше благородие, – нервно вскричал адвокат. – Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике.

– Поезжайте, – пожал плечами Макаронов. («Ага! Следы хочет замести... Понимаем-с».) А я тут к одному приятелю заверну.

Манькин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика.

– Эй, – закричал он, высовываясь. – Как вас... письмоводитель! Пойди-ка сюда. Хочешь, братец, мы экономию сделаем?

– Я вас не понимаю, – солидно возразил Макаронов.

– Чем нам на двух извозчиках трепаться – поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься. А расходы пополам. Идет?

Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать».

– Ужасно тяжело, знаете, быть без места, – сказал он с напускным равнодушием. – Чуть не голодал я, вдруг – вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Дай, думаю, зайду.

Адвокат вынул папиросу.

– Есть спичка?

– Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?

– Бомбы делаю еще, – подмигнул ему адвокат. Сердце Макаронова радостно забилося.

– Для чего? – спросил он, притворно зевая.

– Мало ли. Знакомым раздаю. Послушайте... У вас борода слева отклеилась. Поправьте. Да не так!.. Ну вот, еще хуже сделали. Давайте я вам ее поправлю. Ну теперь хорошо. Давно в охранном служите?

– Не понимаю, о чем вы говорите, – обиженно сказал Макаронов. – Жил я все время у дяди – дядя у меня мельник, а теперь места приехал искать... Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать или еще что?

– Отвяжись, братец. Надоел! Макаронов помолчал.

– А из чего бомбы делаете?

– Из манной крупы.

«Хитрит, – подумал Макаронов. – Скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет».

- Нет, серьезно, из чего?
- Заходи – рецептик дам.

II

Подъехали к большому дому.

– Мне сюда. Зайдешь со мной?

Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов.

Зашли к портному.

Манькин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвоката кармана лежавшие там письма и бумаги.

– Брось, – сказал ему адвокат, глядя в зеркало. – Ничего интересного. Как находишь – хорошо сидит жакет?

– Ничего, – сказал шпик, пряча руки в карманы брюк. – Тут только как будто морщит.

– Да, в самом деле морщит. А жилет как?

– В груди широковат, – внимательно оглядывая адвоката, сказал шпик.

– Спасибо, братец. Ну, значит, вы тут кое-что переделаете, а мы поедем.

После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу.

– Налево, к подъезду, – крикнул адвокат. – Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике.

– А вы скоро?

– Да тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера.

Адвокат скрылся в подъезде. Через пять минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвоката голова.

– Эй, ты... письмоводитель, как тебя? Поднимись сюда, в номер десятый на минутку.

– Ключет, – подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх.

В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, три дамы и гимназист. Адвокат тоже вышел и сказал:

– Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпииков. Просили показать. Вот он, mesdames. Хорош?

– А борода у него, что это... Привязная?

– Да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец, парик. Он на тебя широковат.

– Что, страшно быть шпииком? – спросила одна дама участливо.

– Нет ли места какого? – спросил, делая простодушное лицо, Макаронов. – Который месяц я без места.

– Насмотрелись, господа? – спросил адвокат. – Ну, можешь идти, братец. Спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой... Ты тут какие-то бумажки обронил. Забери их, забери... А теперь иди.

Когда адвокат вышел на улицу – Макаронова не было.

– А где этот фрукт, что со мной ездил? – спросил он извозчика.

– Да тут за каким-то бородастым побег.

– Этого еще недоставало! Не ждать же мне его тут на морозе.

Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова.

– Ты где же это шатаешься, братец? – строго прикрикнул Манькин. – Раз тебе поручили за мной следить – ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут! Поправь бороду. Другая сторона отклеилась. Эх, ты... На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь. Отдери ее лучше да спрячь, чтоб не потерялась. Вот так... Пригодится. Засунь ее дальше – из кармана торчит. Черт знает что! Извозчик! В ресторан «Слон».

Подъехали к ресторану.

– Ну, ты, сокровище, – спросил адвокат. – Ты, вероятно, тоже проголодался? Пойдем, что ли.

– У меня денег маловато, – робко сказал сконфуженный шпик.

– Ничего, пустое. Я угощу. После сочтемся. Ведь не последний же день вместе. А?

«Пойду-ка я с ним, – подумал Макаронов. – Подпою его да и выведаю, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается».

Было девять часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое: один мирно спал, свесив набок голову, другой заботливо поддерживал его за талию.

Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя.

– Вот, – сказал он ворчливо. – Привез вам сокровище. Получайте... Ваш?

– Будто наш.

– Ну, то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать... И как это он успел так быстро и основательно нарезать... Пстойте, осторожнее, осторожнее! Вы ему так голову расквасите. Берите под мышки! Пстойте... У него из кармана что-то выпало. Записки какие-то литографированные... Гм!.. Возьмите... Ах, чуть не забыл... У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте. Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду, – чтоб не опоздал. Извозчик, трогай!

На «Французской выставке за сто лет»

– Посмотрим, посмотрим... Признаться, не верю я этим французам.

– Почему?

– Так как-то... Кричат: «Искусство, искусство!» А что такое искусство, почему искусство? – никто не знает.

– Я вас немного не понимаю, – что вы хотите сказать словами: «Почему искусство»?

– Да так: я вот вас спрашиваю – почему искусство?

– То есть как – почему?

– Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.

– Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.

– Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете, что! Им же все равно.

– Давайте лучше рассматривать картины.

– Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.

– Что ж тут особенного рассматривать – вот я уже и рассмотрел.

– Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.

– Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощ. Интересно, как она называется?

– А какой номер?

– Сто двадцать седьмой.

– Сейчас... Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется «Лесная тишина». Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом... Он не может прямо и ясно написать: «Стол с яблоками» или «Плоды». Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: «Стол с апельсином». А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!

– Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.

– Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну... голая женщина – это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я ж говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется «новым искусством»! Новыми путями! Может, скажете – опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: «Вид с обрыва»! Нет-с, это не типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать.

Эх вы! Просвещенные мореплаватели!

– Это не англичане, а французы.

– Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги». Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют «Заседание педагогического совета»!

– А знаете – это мне нравится. Тут есть какая-то сатира... Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо...

– Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку можно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь сослал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчинец с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: «Моя мать»... Его мать! Да я б его... Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма и для декадентов и для недекадентов одинаковая! Эй, кто тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами – кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый – «Моя мать»? Мать с бородой? Юлия Пастрана? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?

– Что я скажу? Позвольте ваш каталог... Вы сейчас откуда?

– Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом – с академической выставки, которая...

– Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы, – ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.

Быт

Однажды, вскоре после того как я приехал в Петербург искать счастья (то было четыре года тому назад), мне вздумалось зайти закусить в один из самых больших и фешенебельных ресторанов.

Об этом ресторане до сих пор я знал только понаслышке. И вошел я в его монументальный огромный зал с некоторым трепетом.

И когда сел за столик, сразу на меня пахнуло суровостью и враждебностью незнакомого места. Было как-то холодно, страшно и неудобно... Официанты казались слишком необщительными, замкнутыми, метрдотель слишком величественным, а публика слишком враждебной и неприветливой.

«Господи! – подумал я. – Как мало в человеческих отношениях простоты, сердечности и уюта. Ведь они все такие же люди, как я; почему же они все так накрахмалены?! Так холодны? Чужды? Страшны?»

– Что прикажете? – сухо спросил метрдотель.

– Мне бы позавтракать.

– Простите, завтраков нет. Только до трех часов. А сейчас четверть четвертого.

– А вот те едят же, – смущенно кивнул я головой.

– Те заказали раньше, – ледяным тоном ответил метрдотель.

– Значит, что же выходит: что у вас мне не дадут есть?

– Почему же-с. Можно порционно. Но долго придется ждать: пока закажут, пока сделают.

– Тогда... ничего мне не надо, – сказал я, густо покраснев от сознания своего глупого положения. – Если у вас такие нелепые порядки – я уйду.

Я встал и, понурив голову, обескураженный, ушел, давая себе слово никогда больше в этот суровый ресторан не заглядывать.

* * *

Как это случилось – не знаю, но теперь это мой излюбленный ресторан.

Я в нем каждый день завтракаю, почти каждый день обедаю и часто ужинаю.

Швейцар на подъезде высаживает меня с извозчика и говорит:

– Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич! Снимая с меня пальто, другой швейцар замечает:

– Снежком-то вас как, Аркадий Тимофеевич, занесло... Погодка – прямо беда! А вас тут спрашивали Анатолий Яковлевич.

– Он ушел?

– Ушли-с. А Николай Николаевич здесь. Они с господином Чимарозовым сидят.

Я вхожу в зал.

Полный, вальяжный официант дает мне лучший столик, подсовывает карточку с тайной ласковостью, радуясь, что может вернуть такое словцо, говорит:

– Бульонерши, конечно? Традиционно?

– Традиционно, – улыбаюсь я.

И действительно традиционно. Все традиционно... Буфетчик у буфета, наливая мне рюмку лимонной водки, сообщает, что «были Николай Николаевич и о вас справлялись», не спрашивая, поливает шофруа из утки соусом кумберленд и, не спрашиваясь, выдавливает на икру пол-лимона.

А сбоку подходит француз-метрдетель и говорит, мило грассируя:

– Вот, Аркадий Тимофеевич, говорят: заграница, заграница! А вы посмотрите, какие мы получили мандарины из Сухума – в десять раз лучше заграничных! Я вам пришлю отведать.

И все, что окружает меня в этом ресторане, дышит таким уютом, таким теплом и прочной лаской, что чувствуешь себя как дома, как в своей собственной маленькой столовой.

Когда меня впервые оштрафовали за какую-то заметку, я пережил несколько очень тягостных, неприятных часов.

Так было странно и неудобно, когда утром пришел околоточный и, несмотря на то что я еще спал, потребовал, чтобы его провели ко мне.

– Да барин еще спит.

– Ну, все равно я подожду: посижу здесь, в приемной.

– Да он, может быть, еще часа два будет спать...

– Ну, что же делать. А я его должен подождать. Дело срочное.

А когда я, наскоро одевшись, вышел к нему, меня поразил его неприветливый, гранитный вид.

– Что такое?

– Здравствуйте. Тут вот с вас нужно штраф взыскать... По распоряжению администрации.

– Да что вы говорите! Какой штраф? За что?!

– А вот тут сказано: за статью «Триумф октябристов».

– Позвольте! Да статья совсем безобидная!

– Не знаю-с. Меня не касается. Мне приказано взыскать деньги нынче же.

– Ну... а если я не уплачу?

– Тогда я обязан доставить вас в участок на предмет ареста.

Боже ты мой, как сухо, как официально. Ни одной сердечной нотки... ни одного знака сочувствия.

Стоишь перед холодной гранитной стеной, которая не сдвинется, не пошевелится, хотя бы облить ее целыми ручьями слез человеческих.

– А завтра уплатить можно?

– Не могу-с. Циркуляр. Мы отсрочить не имеем права. И вспомнился мне тот величественный метрдетель, который категорически отказал в завтраке только потому, что было на пятнадцать минут больше трех.

Суровый, безжизненный, холодный гранит! Угрюмый, замкнутый в своем величии мавзолей!

* * *

Как это случилось, не знаю, но теперь я в полиции свой человек.

Околоточный входит ко мне утром в спальню (он милый человек, и я его не стесняюсь), потирает руки и делает несколько веских замечаний о погоде:

– Собачья погода. Снегом совсем запорошило. Теперь в наряде стоять – одна мука. Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!

– А! Мое почтение, Семен Иванович. Ну, что? Он улыбается.

– Традиционно!

Говорит он это вкусно-звучащее слово совсем так, будто бы за ним должен последовать «бульон-ерши».

Я уже не испытываю тягостного, неприятного чувства живого человека перед мертвой гранитной скалой. У нас тепло, дружба, уют.

– За что это они, Семен Иванович?

– А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот, видите?

– Господи, да за что же тут?

– За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так налегать... Знаете уж, что такая вещь бывает, – пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь.

– Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! «Полегче, полегче!» И так уж розовой водицей пишу. Так нет же, и это для них нецензурно.

– Да уж... тяжеленька ваша должность. Такой вы хороший человек, и так мне неприятно к вам с такими вещами приходиться... Ей-богу, Аркадий Тимофеевич.

– Ну, что делать... Стаканчик чаю, а?

– Нет, уж я папироску выкурю и побегу. Дома-то у меня такая неприятность, жена кипятком руку обварила.

– А вы тертый картофель приложите: чудесно действует. Или чернилами обваренное место помажьте.

– Делали уж; и чернилами и картофельную муку прикладывали.

– Ну, даст Бог, пройдет. А Афансий Петрович по-прежнему чертит?

– Да уж... горбатого могила исправит. Ну, я пойду. С деньгами как – традиционно? До завтра?

– Да, конечно. Я к Илье Константиновичу часа в три загляну. Всего хорошего.

В три часа я у Ильи Константиновича.

– А, господин анархист, – весело встречает он меня. – Традиционно? Садитесь! Я знаю, вы моих не курите, так я вам эти предложу, был Петр Матвеевич и забыл их у меня на столе. Курите контрабанду. Хе-хе.

– У Петра Матвеевича папироски хорошие, – соглашаюсь я, закуривая. – Марфу Илларионовну давно видели?

– Позавчера. В театре были. Потом поехали компанией ужинать и очень жалели, что вас не было.

– Да, да, очень жаль. Кстати, там у вас есть насчет меня предписание... четыреста рублей, так я...

– Знаю! Завтра, конечно, Аркадий Тимофеевич. А я те книжки, что вы мне дали, уже прочел. Следующий раз с Семеном Ивановичем их передам.

О «следующем разе» мы оба говорим так же хладнокровно, как о завтрашнем дне, который все равно, неизбежно наступит...

Однажды я, по обыкновению, разогнался в свой излюбленный ресторан, и вдруг швейцар остановил меня на пороге:

– Сегодня, Аркадий Тимофеевич, закрыто: по случаю начала ремонта.

Я заглянул в залу, и сердце мое сжалось: не было привычных столов, покрытых белоснежными скатертями, мягкого красного ковра и зелени трельяжей.

– Э, черт! Какого же дьявола вы не объявили раньше!

Однажды утром ко мне явился околоточный Семен Иванович.

Он обругал погоду и сообщил о нескольких новых штрихах в облике неуравновешенного Афанасия Петровича.

– Садитесь, – сказал я. – За какую статью? Сколько?

– Нисколько. Я зашел, чтобы вы подписали протокол по делу о столкновении моторов. Вы свидетелем были.

Чем-то чужим, неуютным пахло на меня... Будто бы взору моему вместо привычного вида трех рядов столов, покрытых скатертями и украшенных цветами, предстала суровая, чуждая картина голых стен и обнаженного от мягкого ковра пола.

И разговор на этот раз не вязался. Мы были выбиты из привычной колеи...

Когда нет быта, с его знакомым уютом, с его традициями – скучно жить, холодно жить...

Рассказ о колоколе

На случай, который я расскажу ниже, могут существовать только две точки зрения: автору можно поверить или не верить.

Автору очень хочется, чтобы ему поверили. Автор думает, что читателя тронет это желание, потому что обыкновенно всякому автору в глубокой степени безразлично – верит ему читатель или нет. Писатель палец о палец не ударит, чтобы заслужить безусловное доверие читателя.

Автор же нижеописанного – в отдельном абзаце постарается привести некоторые доказательства тому, что весь рассказ не выдумка, а действительный случай.

Именно – автор дает честное слово.

Глава I

Однажды, в конце великого поста, в наш город привезли новый медный колокол и повесили его на самом почетном месте в соборной колокольне.

О колоколе говорили, что он невелик, но звучит так прекрасно, что всякий слышавший умиляется душой и плачет от раскаяния, если совершил что-нибудь скверное.

Впрочем, и не удивительно, что про колокол ходили такие слухи: он был отлит на заводе по предсмертному завещанию и на средства одного маститого верующего беллетриста, весь век писавшего пасхальные и рождественские рассказы, герои которых раскаивались в своих преступлениях при первом звуке праздничных колоколов. Таким образом, писатель как бы воздвиг памятник своему кормильцу и поильцу – и отблагодарил его.

Глава II

Едва запели певчие в Великую ночь: «Христос воскрес из мертвых...», как колокол, управляемый опытной рукой пономаря, вздрогнул и залился негромким радостным звоном.

Семейство инспектора страхового общества Холмушина сидело в столовой в ожидании свяченого кулича, потому что погода была дождливая и никто, кроме прислуги, не рискнул пойти в церковь.

Услышав звук колокола, инспектор поднял голову и сказал, обращаясь к жене:

– Да! Забыл совсем тебе сказать: ведь я нахожусь в незаконной связи с гувернанткой наших детей, девицей Верой Кознаковой. Ты уж извини меня, пожалуйста!

Сидевшая тут же гувернантка прислушалась к звону колокола, вспыхнула до корней волос и возразила:

– Хотя это, конечно, и правда, но я должна сознаться, что, в сущности, не люблю вас, потому что вы старый и ваши уши поросли противным мохом. А вступила с вами в близкие отношения благодаря деньгам. Должна сознаться, что мне больше нравится ваш делопроизводитель Облаков, Василий Петрович. О, пощадите меня!

– Могу ли я вас обвинять, – пожал плечами жена Холмушина, – когда мой средний сын Петичка не мужний, а от доктора Верхоносова, с которым я встречалась во время оно в Москве.

– Очевидно, доктор Верхоносов был большой мошенник? – прислушиваясь к звуку колокола и покачивая головой, прошептал Петенька, гимназист четвертого класса.

– Почему?

– Вероятно, я в него удался: можете представить, в третьей четверти у меня поставлены две единицы, а я переправил их на четыре да и показал отцу.

– Дитё! – снисходительно улыбнулась старая нянька. – Сколько я у вас, господа вы мои, сахару перетаскала за все время, так это и пудами не сосчитать. Анадьсь банку с вареньем выела, а потом разбила да на Анюточку и свалила: будто она разбила.

– Ничего! – махнула рукой маленькая Аня. – За банку мне только два подзатыльника и попало, а того, что я вчера в папином кабинете фарфорового медведя разбила, – никто и не знает.

Инспектор встал, потянулся и сказал:

– Пойти разве в кабинете написать в правление нашего общества заявление, что я третьего дня застраховал безнадежно чахоточного, подсунув вместо него доктору для осмотра здоровяка, кондуктора конки.

– Как же вы пошлете это заявление, – возразила горничная Нюша, – если я вчера из коробки на вашем письменном столе все почтовые марки покрала.

– Жаль, – сказал инспектор. – Ну, все равно – поеду к полицейскому, заявлю ему, потому что это дело – уголовное.

Глава III

Инспектор оделся и вышел на улицу. Колокол звонил... Нищий подошел к нему и укоризненно сказал:

– Вы мне уже третий год даете то две, то три копейки при каждой встрече. Где у вас глаза-то были?

– А что?

– Да я в сто раз, может быть, богаче вас: у меня есть два дома на Московской улице.

Какой-то запыхавшийся человек с размаху налетел на них и торопливо спросил:

– Где тут принимают заявления о побеге с каторги?

– Пойдем вместе, – сказал инспектор. – Мне нужно заявить тоже об уголовном дельце.

– И я с вами, – привязался нищий. – Ведь я один-то дом нажил неправильным путем – обошел сиротку одну. Лет двадцать как это было – да уж теперь заодно заявить, что ли?

Все трое зашагали по оживленной многолюдной улице, по которой сновала одинаково настроенная публика. Кто шел на участок, кто к прокурору, а один спешил даже к любовнице, чтобы признаться ей, что любит жену больше, чем ее.

Все старательно обходили купца, стоявшего на коленях без шапки посреди улицы. Купец вопил:

– Покупатели! Ничего нет настоящего у меня в магазине – все фальшивое! Мыло, масло, табак, икра – даже хлеб! Как это вы терпели до сих пор – удивляюсь.

– Каяться вы все мастера, – возразил шедший мимо покупатель, – а того, что я тебе вчера фальшивую сторублевку подсунул, – этого ты небось не знаешь. Эй, господин, не знаете, какой адрес прокурора?

Глава IV

В участке было шумно и людно.

Пристав и несколько околоточных сортировали посетителей по группам – мошенников отдельно, грабителей отдельно, а мелких жуликов просто отпускали.

– Вы что? Ограбление? Что? Вексель подделали! Так чего же вы лезете? Ступайте домой, и без вас есть много поважнее. Это кто? Убийца? Ты, может, врешь! Свидетели есть? Господа! Ради Бога, не все сразу – всем будет место. Сударыня, куда вы лезете с вашим тайным притоном разврата?! Не держите его больше – и конец. Ты кто? Конокрад, говоришь? Паспорт! Вы что? Я сказал вам уже – уходите!

– Господин пристав! Как же так уходите? А что у меня два года фабрика фальшивых полтинников работает – это, по-вашему, пустяки?

– Ах ты, Господи! Сейчас только гравера со сторублевками выгнал, а тут с вашими полтинниками буду возиться.

– Да ведь то бумага, дрянь – вы сами рассудите. А тут металл! Работа по металлу! Уважьте!

– Ступайте, ступайте. Это что? Что это такое в конвертике? Больше не беру. Ни-ни!

Полицмейстер вышел из своего кабинета и крикнул:

– Это еще что за шум! Вы мешаете работать. Я как раз подсчитывал полученные от... Эй, гм! Кто там есть! Ковальченко, Седых! Это, наконец, невозможно! Бегите скорее к собору, возьмите товарищей, остановите звонаря и снимите этот несносный колокол. Да остерегайтесь, чтобы он не звякнул как-нибудь нечаянно.

Глава V

Колокол сняли...

Он долго лежал у задней стены соборной ограды; дожди его мочили, и от собственной тяжести он уже наполовину ушел в землю. Изредка мальчишки, ученики приходского училища, собирались около него поиграть, тщетно совали внутрь колокола ручонки с целью найти язык – язык давно уже, по распоряжению полицмейстера, был снят и употреблен на гнет для одной из бочек с кислой капустой, которую полицмейстер ежегодно изготавливал хозяйственным способом для надобностей нижних чинов пожарной команды.

Долго бы пришлось колоколу лежать в бездействии, уходя постепенно в мягкую землю, – но приехали однажды какие-то люди, взвалили его на ломовика, увезли и продали на завод, выделывавший медные пуговицы для форменных мундиров.

* * *

Теперь, если вы увидите чиновничий или полицейский мундир, плотно застегнутый на пуговицы, – блестящие серебряные пуговицы, – знайте, что под тонким слоем серебра скрывается медь.

Пуговицы хорошие, никогда сами собою не расстегиваются, а если об одну из них нечаянно звякнет орден на груди, то звук получается такой тихий, что его даже владелец ордена не слышит.

Святые души

Бывают такие случаи в жизни, в которых очень трудно признаться.

I

Сегодня утром я, развернув газету и пробегая от нечего делать отдел объявлений, наткнулся на такую публикацию:

«Натурщица – прекрасно сложена, великолепное тело, предлагает художникам услуги по позированию».

Хи-хи, – засмеялся я внутренне. – Знаем мы, какая ты натурщица. Такая же, как я художник...

Потом я призадумался. Поехать, что ли? Вообще я человек такой серьезный, что мне не мешало бы повести образ жизни немного полегкомысленней. Живут же другие люди, как бабочки, перепархивая с цветка на цветок. Самые умные, талантливые люди проводили время в том, что напропалую волочились за женщинами. Любовные истории Бенвенуто Челлини, фривольные похождения гениального Байрона, автора глубоких, незабываемых шедевров, которые останутся жить в веках.

– Извозчик!!

В глубине большого мрачного двора я отыскал квартиру номер седьмой и позвонил с некоторым замиранием сердца.

Дверь открыла угрюмая горничная – замкнутое в себе существо.

– Что угодно?

– Голубушка... Что, натурщица, вообще... здесь?

– Здесь. Вы художник? Рисовать?

– Да... я, вообще, иногда занимаюсь живописью. Вы скажите там... Что, вообще, мол, все будет как следует.

– Пожалуйста в гостиную.

Через минуту ко мне вошла прекрасно сложенная, красивая молодая женщина в голубом пеньюаре, который самым честным образом обрисовывал ее формы. Она протянула мне руку и приветливо сказала:

– Вы насчет позирования, да? Художник?

«Пора переходить на фривольный тон», – подумал я.

– Художник? Ну что вы! Хе-хе! Откуда вы могли догадаться, что я художник?

Она засмеялась.

– Вот тебе раз! А зачем бы вы тогда пришли, если не художник? В академии?

– Нет, не в академии, – вздохнул я. – Не попал.

– Значит, в частной мастерской. У кого? Я общительно погладил ее руку.

– Какая вы милая! А вот догадайтесь!

– Да как же можно догадаться... Мастерских много. Вы можете быть и у Сивачева, и у Гольдбергера, и у Цыгановича. Положим, у Цыгановича скульптура... Ну, еще кто есть?.. Перепалкин, Демидовский, Стремоухов... У Стремоухова, да? Вижу по вашим глазам, что угадала.

– Именно, у Стремоухова, – подтвердил я. – Конечно, у него.

Она оживилась.

– А! У Василия Эрастыча! Ну, как он поживает?

– Да ничего. Пить начал, говорят.

– Начал? Да он, кажется, лет двадцать, как пьет.

– Ну? Эх, Стремоухов, Стремоухов! А я и не знал. Думал сначала: вот скромник.

– Вы ему от меня кланяйтесь. Я его давно не видала... С тех пор, как он с меня «девушку со змеей» писал. Я ведь давно позирую.

– Да? Вы серьезно позируете? – печально спросил я.

– То есть как – серьезно? А как же можно иначе позировать?

– Я хотел сказать: не устаете?

– О нет! Привычка.

– И неужели совсем раздеваетесь?

– Позвольте... А то как же?

– Как же? Я вот и говорю: не холодно?

– О, я позирую только дома, а у меня всегда 16 градусов. Если хотите, мы сейчас можем поработать. Вам лицо, бюст или тело?

– Да, да! Конечно!! С удовольствием. Я думаю – тело. Без сомнения, тело.

– У вас ящик в передней?

– Какой... ящик?

– Или вы с папкой пришли? Карандаш?

– Ах, какая жалость! Ведь я забыл папку-то. И карандаш забыл.

Я помедлил немного и сказал, обращая мысленно взоры к своим патронам: Байрону и Бенвенуто Челлини:

– Ну, да это ничего, что с пустыми руками... Я...

– Конечно, ничего, – засмеялась молодая женщина. – Мы это сейчас устроим. Александр! Саша!

Дверь, ведущая в соседнюю комнату, скрипнула... Показалось добродушное лицо молодого блондина; в руке он держал палитру.

– Вот, познакомьтесь: мой муж. Он тоже художник. Саша, твой рассеянный коллега пришел меня писать и забыл дома не только краски и холст, но и карандаш и бумагу. Ох уж эта богема! Предложи ему что-нибудь...

Я испугался:

– Да что вы! Мне неловко... Очень приятно познакомиться... Я уж лучше домой сбегаю. Я тут... в трех шагах. Я... как это называется...

– Да зачем же? Доска есть, карандаши, кнопки, бумага. Впрочем, вы, может быть, маслом хотите?

– Маслом. Конечно, маслом.

– Так пожалуйста! У меня много холстов на подрамниках. По своей цене уступлю. Катя, принеси!

Эта проклятая Катя уже успела раздеться, без всякого стеснения, будто она одна была в комнате. Сложена она была действительно прекрасно, но я почти не смотрел на нее. Шагала она по комнате как ни в чем не бывало. Ни стыда у людей, ни совести.

Тяжесть легла мне на сердце и придавила его.

«Поколотит он меня, этот художественный назойливый болван, – подумал я печально. – Подумаешь, жрецы искусства!»

Катя притащила ящик с красками, холст и еще всякую утварь, в которой я совершенно не мог разобраться.

Муж ее развалился на диване и, глядя в потолок, закурил папироску, а она отошла к окну.

– Поставьте меня, – сказала эта бесстыдница.

– Сами становитесь, – досадливо проворчал я. Она засмеялась.

– Я же не знаю, какая вам нужна поза.

– Ну, станьте так.

Я показал ей такую позу, приняв которую она через минуту должна была замертво свалиться от усталости. Но эта Катя была выкована из стали. Она стала в позу и замерла...

II

– Что вы делаете? – удивленно сказал муж Саша. – Вы не из того конца тюбика выдавливаете краску.

– Вы уверены? – нагло засмеялся я. – Покойный профессор Якоби советовал выдавливать краску именно отсюда. Тут она свежее.

– Да ведь краска будет сохнуть!

– Ничего. Водой после размочим.

– Водой?.. Масляную краску?!

– Я говорю «водой» в широком смысле этого слова. Вообще жидкостью... Вот странная вещь, – перебил я сам себя. – Все краски у вас есть, а телесного цвета нет.

– Да зачем вам телесный цвет? Такого и не бывает.

– Вы так думаете? В... художественных письмах Александра Бенуа прямо указывается, что тело лучше всего писать телесным цветом!

– Позвольте... Да вы писали когда-нибудь масляными красками?

– Сколько раз! Раз десять, если не больше.

– И вы не знаете смешения красок?

– Я-то знаю, но вы, я вижу, не читали многотомного труда члена дрезденской академии искусств барона Фукса «Искусство не смешивать краски».

– Нет, этого я не читал.

– То-то и оно. А что же тут нет кисточки на конце? Одна ручка осталась и шишечка...

– Это муштабель. Неужели вы не знаете, что это такое?

– Я-то знаю, но вы, наверное, не читали «Записок живописца» Шиндлера-Барнай, в которых... Впрочем, не будем отрываться от работы.

– Подвигается? – спросил Саша.

– Да... понемногу. Тише едешь – дальше будешь, как говорится.

Саша встал и взглянул из-за моего плеча на холст.

– Гм!

– Что? Нравится?

– Это... очень... оригинально. Я бы сказал – даже не похоже.

– Бывают разные толкования, – успокоил я. – Золя сказал: «Жизнь должна преломляться сквозь призму мировоззрения художника».

– Так-то оно так... Но вы замечаете, что у нее грудь – на плече?

– Так на своем же, – резонно возразил я.

– Странный ракурс.

– Вы думаете? Этот? Я его сделаю пожелтее.

– При чем тут «желтее»? Ракурс от цвета не зависит.

– Не скажите. Покойный Куинджи утверждал противное.

– Гм! Может быть, может быть... Вы не находите, что на левой ноге один палец немного... лишний?..

– Где? Ну что вы! Раз, два, три, четыре, пять... шесть... А! Это тень. Это я тень так сделал... Впрочем, можно ее и стереть.

– Конечно, можно. Только вы напрасно все тело пишете индейской желтой.

«Вот осел-то, – подумал я. – Телесной краски, говорит, нету, а потом сам же к цвету придирается».

– Я вижу, – саркастически заметил я, – что вам просто моя работа не нравится.

– Помилуйте, – деликатно возразил Саша. – Я этого не говорю. Чувствуется искание... новых форм. Рисунок, правда, сбит, линия хромает, но... Теперь вообще ведь всюду рисунок упал. – И он с неожиданной откровенностью закончил: – Сказать вам откровенно: сколько я ни наблюдаю – живопись теперь падает. Мою жену часто приходят писать художники. Вот так же, как вы. И что же! У меня осталось несколько их карандашных рисунков, по которым вы смело можете сказать, что живописи в России нет. Мне это больно говорить, но это так! Поглядите-ка сюда!

Он вытащил из угла огромную папку и стал показывать мне лист за листом.

– Извольте видеть. С самого первого дня, как жена поместила объявление о своем позировании – к нам стали являться художники, но что это все за убожество, бездарность и беспомощность в рисунке! О колорите я уже не говорю! Полюбуйтесь! И эти люди – адепты русского искусства, призванные насаждать его, развивать художественный вкус толпы. Один молодец – вы видите – рисует левую руку на поларшина длиннее правой. И как рисует! Ни чувства формы, ни понятия о ракурсе! Так, ей-богу, рисуют гимназисты первого класса! У этого голова сидит не на шее, а на плече, живот спустился на ноги, а ноги – найдите-ка вы, где здесь колена? Вы его днем с огнем не сыщете. И ведь пишут не то что зеленые юноши! Большею частью люди на возрасте или даже старики, убеленные сединами. Как они учились? Каков их художественный багаж? Вы не поверите, как все это тяжело мне. Мы с женой искренно любим искусство, но разве это – искусство?!

Действительно, никогда мне не приходилось видеть большего количества уродов, нарисованных беспомощной рукой пьяного или ребенка: искривленные ноги, вздутые животы, глаза, вылезшие на лоб, и губы, тянущиеся наискось от уха к подбородку.

Бедная Катя!

Я бросил косой взгляд на свой этюд, вздрогнул и сказал с тайным ужасом:

– Ну, я пойду... Докончим это когда-нибудь... после...

Саша ушел в свою комнату. Катя закуталась в халатик, подошла к моему этюду и вдруг... залилась слезами.

– Что с вами, милая?! Что такое?

– Я не понимаю: зачем он меня успокаивает, зачем деликатничает!

– Кто?

– Саша. Я сама вижу, я все время, на всех рисунках вижу, какая я отвратительная, безобразная. А он говорит: «Нет, нет – ты красива, а только тебя не умеют рисовать». Ну, предположим, один не умеет, другой, третий, но почему же – все?!!

Замечательный человек

I

Однажды я зашел в маленькую, полутемную типографию с целью заказать себе визитные карточки. В конторе типографии находилось двое людей: конторщик и полный, рыжий господин с серьезным, озабоченным лицом.

– Меньше ста штук нельзя, – монотонно говорил конторщик. – Меньше ста штук нельзя. Нельзя меньше ста штук.

– Разве не все равно: сто или шесть штук? Куда мне сто? Мне и шести штук много.

– Шесть штук будут стоить то же, что и сто. Что же за расчет вам? Что же за расчет?.. Вам-то – какой расчет? – спрашивал печально и лениво конторщик.

– Ну ладно! Печатайте сто, только так: пятьдесят штук одного сорта и пятьдесят штук – другого.

– На разной бумаге?

– Нет – я говорю, разного сорта. На одних напечатайте так: «Светлейший князь Иван Иванович Голенищев-Кутузов», а на других просто: «граф Петр Петрович Шувалов». Ну там коронки разные поставьте, вензеля – как полагается.

Я с любопытством смотрел на этого представителя знаменитейшей дворянской русской фамилии и только немного недоумевал в душе: какая же из двух фамилий принадлежала озабоченному господину?

– Будьте добры напечатать мне сотню визитных карточек, – сказал я, приближаясь к конторщику, – моя фамилия – Александр Семенович Пустынский.

Незнакомый господин издал легкий звук, похожий на радостное икание.

– Пустынский?! Вы и есть знаменитый писатель Пустынский?

– Ну уж и знаменитый!.. – сконфузился я. – Так просто... пишу себе.

– Нет, нет! – захолопотал озабоченный господин. – Не оправдывайтесь! Вы – знаменитый писатель. Очень рад познакомиться!

– Вы меня смущаете, – улыбнулся я, пожимая его руку. – А как ваша фамилия: князь Голенищев-Кутузов или граф Шувалов?

– Перетыкин Иван моя фамилия – вот как! Не слышали? У меня еще деда повесили за участие в великой французской революции.

– Вы – Перетыкин?! А зачем же вы такие карточки заказывали?

Мне показалось, что он немного смутился.

– А?.. Это так... Маленькое пари... Шутка... Можно вас проводить? Нам, кажется, по пути?..

Мы вышли из типографии и зашагали по безлюдной улице.

– Пойдем налево, – сказал Перетыкин. – Там народу больше.

Мы свернули на шумный проспект. Навстречу нам шли два господина. Мой новый знакомый схватил меня под руку и почти прокричал на ухо:

– От Леонида Андреева писем давно не получали?

– Я? Почему бы мне получать от него письма? Мы даже не знакомы.

Мы молча зашагали дальше. Навстречу нам показались две дамы.

– Отчего не видел вас во вторник у Лины Кавальери? Она ждала, ждала вас!..

Проходившие дамы, заинтересованные, замедлили шаги и даже повернули в нашу сторону головы. Одна что-то шепнула другой.

– Зачем вы это спрашиваете? – удивился я. – Никогда моя нога не была в ее доме. Может быть, она ждала когонибудь другого?..

– Может быть, может быть, – устало, равнодушно пробормотал Перетыкин, но, завидев впереди какого-то знакомого, оживился и громким голосом дружелюбно закричал: – Заходите ко мне когда угодно, Пустынский! Для знаменитого писателя Пустынского у его приятеля Перетыкина

всегда найдется место и прибор за столом!

Я стал понимать вздорную, суетную натуру Перетыкина. Перетыкин начинал действовать мне на нервы.

Я промолчал, но он не унимался. Когда мимо нас проходил какой-то генерал с седыми подусниками и красными отворотами пальто, мой новый знакомый приветственно махнул ему рукой и крикнул:

– Здравствуй, Володя! Как поживаешь? Совсем забыл меня, лукавый царедворец!..

Генерал изумленно посмотрел на нас и медленно скрылся за углом.

– Знакомый! – объяснил Перетыкин. – Зайдем ко мне. У меня есть к вам большая просьба, которую я могу сказать только дома.

– Хорошо. Пожалуй, зайдем. Только – ненадолго, – согласился я с большой неохотой.

II

Он жил в двух комнатах, обставленных нелепо и странно. Одна из них вся была увешана какими-то картинами и фотографическими портретами с автографами.

– Вот мой музей, – сказал Перетыкин, подмигнув на стену. – Все лучшие люди страны дарили меня своим вниманием!..

Действительно, большинство портретов, с наиболее лестными автографами, принадлежало известным, популярным именам.

На портрете Чехова было в углу приписано:

«Человеку, который для меня дороже всех на свете – Ивану Перетыкину, на добрую обо мне, многим ему обязанному, память».

Лина Кавальери написала Перетыкину более легкомысленно:

«Моему amico Джиованни на память о том вакхическом вечере и ночи, о которых буду помнить всю жизнь. Bravo, Ваня!»

Немного удивили меня теплые, задушевные автографы на портретах Гоголя и Белинского и привела в решительное недоумение авторская надпись на портрете, изображавшем автора ее в гробу, со сложенными на груди руками.

– Садитесь, – сказал Перетыкин.

Постарался он посадить меня так, чтобы мне в глаза бросилось блюдо с разнообразными визитными карточками, на которых замелькали знакомые имена: Ф. И. Шаляпин, Лев Толстой, Леонид Андреев...

Даже, откуда-то снизу, выглянула скромная карточка с таким текстом:

«Густав Флобер – французский литератор».

Я улыбнулся про себя, вспомнив о «графе Шувалове» и «Светлейшем князе Голенищеве-Кутузове», и спросил:

– Какое же у вас ко мне есть дело?

Он взял с этажерки одну из моих книг и подсунул ее мне:

– Напишите что-нибудь. Такое, знаете: потрогательнее.

– Да зачем вам? Ведь мы с вами еле знакомы – что же я могу написать? Ну, написать вам: «На добрую память»?

Он задумчиво поджал губы.

– Суховато... Вы такое что-нибудь... потеплее.

Я пожал плечами, взял перо и написал на книге:

«Лучшему моему другу и вдохновителю, одному из первых людей, с гениальным проникновением открывших меня, – милому Ване Перетыкину. Пусть он вечно, вечно помнит своего Са-шу!»

Он прочел надпись и удовлетворенно потрепал меня по плечу. Потом сел около меня. Я молчал, наблюдая за его ухищрениями, которые видел насквозь. Ухищрения эти состояли в том, что Перетыкин вытягивал левую руку с бриллиантовым кольцом на пальце, обмахивался ею, будто бы изнемогая от жары, клал ее на мое колено, но все это было напрасно.

Я упорно не замечал кольца.

Тогда он сказал, как будто бы думая о чем-то постороннем:

– Плохие времена мы переживаем... Вера в народе стала падать...

– Да, ужасное безобразие!

– Народ не ценит своих святынь... Церкви подвергаются разграблениям... Драгоценные иконы ломаются и расхищаются...

– Да, ужасное безобразие!

– Недавно, например, обокрали икону... Унесли несколько бриллиантов громадной стоимости и величины. Я читал описание: размер бриллиантов приблизительно такой, как у меня на пальце...

– Школы нужны, – перебил я его на совершенно неподходящем для него месте.

Он вздохнул и, подумав немного, кивнул головой.

– Это верно. Нужны школы, а говорят, что денег нет. Как нет денег? Вводите налоги. Можно обложить все, главным образом предметы роскоши. Например, золотые и бриллиантовые вещи. Например, вот это кольцо... Вы знаете, сколько я за него заплат...

– Нет, что там налоги! Главное – режим, – опять перебил я его.

Я насквозь видел все его штуки: он лихорадочно, болезненно стремился похвастаться своим бриллиантовым кольцом, а я все время отбрасывал его на другой путь. Но он был неутомим.

– Вы говорите – режим? Режим, конечно, сыграл свою роль. Одни эти еврейские погромы, когда разорялись самые богатые еврейские фирмы и торговли. Ха-ха! Вы знаете, после погромов было не в редкость встретить на руке босяка вот такое кольцо, а ведь это кольцо, батенька, стоит...

– Босяки здесь ни при чем. Они сами бы...

Он схватил меня за руки и скороговоркой закончил:

–...Стоит две с половиной тысячи! Да-с! Небольшая вещица, а заплочено две с половиной тысячи!! Хе-ха!..

Пришлось подробно рассмотреть кольцо и убедиться в его стоимости.

Перетыкин вынул из кармана золотые часы и стал для чего-то заводить их.

Он упорно хотел, чтобы я заинтересовался этими часами, а я упорно не хотел интересоваться ими. Встал и сказал:

– Пойду. Кстати, каким это образом у вас на фотографическом портрете Пушкина его автограф?..

– Этот? Это я получил от него давно. Когда еще был мальчиком...

– Изумительно! – удивился я. – Да ведь Пушкин уже умер лет семьдесят тому назад.

Призадумавшись, он ответил:

– Да, действительно что-то странное. Впрочем, это, кажется, его сын подарил. Не помню. Давно было. Ну, ничего!

Я еще хотел спросить: как это покойник в гробу, со сложенными руками, мог дарить свои автографы на портретах, изображающих его в этой скорбной, печальной позе, – но не спросил и ушел.

Перетыкин проводил меня до ворот и, увидев проходившую мимо даму с господином, крикнул мне вдогонку:

– Когда будете проезжать Бельгию – привет и поцелуй от меня Метерлинку! До свидания, Пустынский! Напишите что-нибудь замечательное!!

Прохожие оглянулись.

III

Недавно я встретил на улице погребальную процессию. Сзади катафалка шли человек двадцать родственников, а за ними, немного поодаль, брел Перетыкин. Он часто подносил к красным глазам платок, заливался обильными слезами, чем растрогал меня до глубины души. Очевидно, у этого человека, кроме смешных, нелепых слабостей, было большое сердце.

Я подошел к нему и деликатно взял его под руку.
– Успокойтесь! Вы кого-нибудь потеряли? Это ужасно, но – что ж делать!
Он печально покачал головой.
– Не утешайте меня! Я все равно не успокоюсь!! Эта потеря незаменима.
– Кто же это умер?
– Кто? Мой лучший друг! Я все ночи напролет просиживал у его изголовья, но – увы! – ни дружба, ни медицина ничего не могли поделать... Он угас на моих руках. Последние его слова были: «Ничего! Все-таки я кое-что сделал для родной литературы!»
– А! Он был литератор? Как же его звали? Он укоризненно посмотрел на меня:
– Боже мой! И вы не знаете?! Вы не знаете, кого мы потеряли?! Кто умер? Достоевский умер! Наша гордость и близкая мне душа.
– Что за вздор! Достоевский умер лет двадцать тому назад! Я это знаю наверное!..
Он смущенно посмотрел на меня.
– Не... может... быть... Эй, как вас? Родственник! Как фамилия покойника?
– Достоевский! – ответил плачущий родственник.
– Ага! Вот видите!
– А кем он был при жизни? – спросил я.
– Он? Письмоводителем у мирового судьи! Совсем молодым человеком и помер.
Перетыкин вынул из кармана платок, тщательно утер глаза и равнодушно сказал мне:
– Пойдем куда-нибудь в ресторанчик. Дотащутся и без нас!..
Мимо нас прошли два офицера. Перетыкин проревел им вслед:
– Пустынский, плутишка! Не забудьте же воспользоваться той темой для рассказа, что я вам дал.
Я рассмеялся. Дал ему слово воспользоваться, и сделать это теперь же, не откладывая дела в долгий ящик.

Американец

В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.
Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестящие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебрал ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.
Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.
Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, ставив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.
– Драсти.
– Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.
– А вы откуда будете?
– На даче я. В Овсянкине. Оттуда.
– Верстов восемь будет отселева...
Он пылливо взглянул на усталого охотника и спросил:
– Ничего вам не требуется?
– А что?
– Да, может, что угодно вашей милости, так есть.
– Да ты кто такой?
– Арендатель, – солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.
– Эту землю арендуешь?
– Так точно.
– Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?
– Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло – ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.
– Да что ж ты тут... грибы собираешь, ягоды?

– Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.

– Вот чудак, – удивился Стрекачев. – Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?

– А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана, и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать.

Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места – один бурелом да сухостой.

– Так с чего ж ты живешь?

– Дачниками кормлюсь.

– Работаешь на них, что ли?

Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.

– Зачем мне на них работать! Они на меня работают.

– Врешь ты все, дядя, – недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.

– Нам врать нельзя, – возразил мужичонка. – Зачем врать! За это тоже не похвалят! Баб обожаєте?

– Что?

– Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.

– Ну?

– Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.

– Кого?!!

– А это мы вам сейчас скажем – кого... Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость. Долго что-то соображал.

– Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден, как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым – дачницам и Огрызкинским; у Маслобоевых-то вам, кроме губернанки, профиту никакого, потому сама худа как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоящие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все – да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки – мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?

– Черт тебя разберет, что ты говоришь, – рассердился охотник.

– Действительно, – согласился мужичонка – Вам не понятно, как вы с дальних дач, а наши Окрочделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик? Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.

– У кого?

– А у дачников.

– Вот у тех, что за рекой?

– Зачем у тех? Те ежели бы узнали – такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об Окрочделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.

– Да чем же ты кормишься, шут гороховый?! Мужичонка почесал затылок.

– Экой ты непонятный! Как да что... Посадишь барина в яму – ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотри, конешно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже – на всякий скус потрафют, – рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина... Мало ли...

– Ты что же, значит, – сообразил Стрекачев, – купальщиц на своей земле показываешь?

– Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.

– Вот каналья, – рассмеялся Стрекачев. – Как же ты дошел до этого?

– Да ведь это, господин, кому какие мозги от Бога дадены... Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить, гляжу: что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли? Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе... Эге-ге, вижу. Тут тебе и блонетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как, значит, я во всю фигуру на берегу объявился – они и подняли визг: «Убирайся, такой-сякой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.

– Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?

– Специально. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл – прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы... – живи не хочу!

Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и как будто вскользь спросил:

– А хорошо видно?

– Да уж ежели с биноклем, прямо вот – рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал, – памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?

– Ну, ты скажешь тоже, – ухмыльнулся конфузливо охотник. – А вдруг увидят оттуда?

– Никак это не возможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин... попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)... всего и разговору на рупь шестьдесят!

– Это еще что за расчет?!

– Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается – дамы замечательные, сами извольте взглянуть – рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак не возможно. Хучь они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что все равно его бы и не было...

– А ну-ка... ты... тово...

– Вот сюда, ваше благородие, пожалуйста, здесь две ступенечки вниз... Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться... Пивка не прикажете ли молоденького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то... Извольте взглянуть.

.....
Смеркалось...

Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:

– Сколько с меня?

– Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.

– Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.

– Помилуйте-с... Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас всегда идет, да Дрягина – я уж мелюзги и не считаю, – да Синяковы трое с бабушкой, да...

– Ну ладно, ладно... Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!

– Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!.. И, подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:

– А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши Окрочделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться!

Спиртная посуда

I крушение надежд

- Знаете, Илья Ильич, гляжу я на вас – и удивляюсь. Как вы это, доживши до сорока лет...
- Что вы! Мне пятьдесят восемь.
- Пятьдесят восемь?!! Это неслыханно! Никогда бы я не мог поверить – такой молоденький!.. Так вот я и говорю: как это вы, доживши до... сорока восьми лет, сумели сохранить такую красоту души, такую юность порывов и широту взглядов? В вас есть что-то такое рыцарское, такое благородное и мощное...
- Вы меня смущаете, право...
- О, какое это красивое смущение – признак скромной девичьей души! И потом, вы знаете, ваше умение говорить образными, надолго западающими в сердце фразами – как оно редко в наше время!
- Ну что вы, право!
- Ну вот, например, эта краткая, но отчеканенная, отшлифованная, как бриллиант, фразочка: «Ну, что вы, право». Сколько здесь рыцарской застенчивости, игривого глубокомыслия, детской скромности и умаления себя! А ведь фразочка – короче воробьиного носа. «В немногом многое», как говорил еще Герострат. Неудивительно, что беседа с вами освежает. Потом, что мне нравится – так это ваши детки, умные, скромные и такие способные-преспособные. Например, старшенький – Володя. Помилуйте! Ведь это образец! Кстати, что это его не видно...
- В тюрьме сидит, за растрату.
- Ага... Так, так... Ну, дай Бог, как говорится. Младшенький тоже достоин всякого удивления. Вся гимназия, как говорят, не могла на него надышаться...
- Теперь уже она может надышаться. Вчера его только выгнали из гимназии, за дебош.
- Ага... Ну, так о чем я бишь говорил? Да! Какая черта вашего характера кажется мне преобладающей? А такая: что вы готовы последним поделиться с ближним. Например: на прошлой неделе вы как-то вскользь сказали мне, что у вас есть бутылка водки. И что же! Приди я к вам сейчас и скажи вам: «Илья Ильич! У меня завтра обручение дочери и именины жены – уступите мне свою бутылочку» – да ведь вы и слова не возразите. Молча пойдете в свое заветное местечко...
- Нет, простите, водки я вам дать не могу.
- Это еще почему?
- Не такой это теперь продукт. Отец родной если будет умирать – и тому не дам. Так что уж вы того... Извините... Жену могу отдать, детей, а с бутылочкой этой самой не расстанусь.
- Очень мне нужен этот хлам – ваша жена и дети! А ято, дурак, перед ним, перед сквалыгой, скалдырником, разливаюсь. Только время даром потерял. И что это за преподлый народишко пошел!! Что? Руку на прощанье? Ногу не хочешь ли? Отойди, пока я тебя не треснул!..

II великосветский роман

- Баронесса! Вы знаете, что мое сердце...
- Довольно, князь! Ни слова об этом. Я люблю своего мужа и останусь ему верна.
- Ваш муж вам изменяет.
- Все равно! А я его люблю.
- Но если вы откажетесь быть моею, я застрелюсь!
- Стреляйтесь.
- А перед этим убью вас!
- От смерти не уйдешь.
- Имейте в виду, что вашим детям грозит опасность.
- Именно?
- Если вы не поедете сейчас ко мне, я принесу когданибудь вашим детям отравленных конфет – и малютки, покушав их, протянут ноги.

– О, как этот изверг меня мучает!.. Но.... будь что будет. Лучше лишиться горячо любимых детей, чем преступить супружеский долг.

– Ты поедешь ко мне, гадина!

– Никогда!

– А если я тебе скажу, что у меня в роскошной шифоньерке с инкрустациями стоит полбутылки водки с белой головкой?!!

– Князь! Замолчите! Я не имею права вас слушать...

– Настоящая, казенная водка! Подумайте: мы нальем ее в стаканчики толстого зеленого стекла и... С куском огурца на черном хлебе...

– Князь, поддержите меня, я слабею... О, я несчастная, горе мне! Едем!!

Через две недели весь большой свет был изумлен и взбудоражен слухом о связи баронессы с распутным князем...

.....

О проклятое зелье!

III

за столом богатого хлебосола в – будущем

– Рюмочку политуры!

– Что вы, я уже три выпил.

– Ну, еще одну. У меня ведь Козихинская, высший сорт... Некоторые, впрочем, предпочитают Синюхина и К°.

– К рыбе хорошо подавать темный столярный лак Кноля.

– Простите, не согласен. Рыба любит что-нибудь легонькое.

– Вы говорите о денатурате? Позвольте, я вам налью стаканчик.

– Не откажусь. А это что у вас в пузатой бутылочке?

– Младенцовка. Это я купил у одного доктора, который держал в банках разных младенцев – двухголовых и прочего фасона. Вот это вот – двухголовка, это – близнецовка. Это – сердченьянецка. Хотите?

– Нет, я специальных не уважаю. Если позволите, простого выпью.

– Вам какого? Цветочного, тройного? Я, признаться, своими одеколонами славлюсь.

Гость задумчиво:

– А ведь было время, когда одеколоном вытирали тело и душили платки.

– Дикари! Мало ли что раньше было... Вон говорят, что раньше политуру и лак не пили, а каким-то образом натирали ими деревянные вещи...

– Господи помилуй! Для чего ж это?

– Для блеску. Чтобы блестели вещи.

– Черт знает, что такое. И при этом, вероятно, носили в ноздре рыбью кость?

– Хуже! Вы знаете, что они делали с вежеталем, который мы пьем с кофе?

– Ну, ну?

– Им мазали голову.

– Тьфу!

Тайна зеленого сундука (Рождественский рассказ)

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда госпожа Постулатова, сидя в будуаре, говорила гувернантке:

– Никогда я не могла представить себе такого хорошего Рождества. Вы подумайте: напитков никаких нет, значит, останется больше денег и мы не залезем в долги, как в прошлые праздники.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда кухарка Постулатова, сидя в теплой кухне, говорила соседской горничной:

– Хорошее Рождество будет... Господа денег на пьянство не потратят, а сделают нам хорошие подарки. Слава те, Господи.

Ветер выл, как собака, и метель кружилась в бешеной пляске, когда дети Постулатовых, сидя в детской, тихо шептались друг с другом:

– Нынче папа никакого вина и водок не может купить – значит, эти деньги, которые останутся, пойдут нам на елку. Хорошо, если бы елку закатали побольше да игрушек бы закатали побольше.

Ветер выл, как тысяча бешеных собак, и метель кружилась в невероятной, сногшибательной пляске, когда глава дома Постулатов сидел одиноко в темном кабинете, в углу, и, сверкая зелеными глазами, думал тяжелую, мрачную думу.

Страшен был вид Постулатова.

«Нету нынче на праздниках никаких напитков – хорошо же! – думал он. – Кухарку и гувернантку изругаю, жене изменю, а ребятишек всех перепорю. Раз уж скверно, то пусть всем будет скверно».

Ветер за окном выл, как тысяча бешеных собак, да и метель держала себя не лучше.

* * *

Дверь скрипнула, и в кабинет вошла жена. Ласково спросила:

– Что ты тут в темноте сидишь, Алексашенька?

– Черташенька я тебе, а не Алексашенька! – горько ответил муж. – Возьму вот и повешусь на дверях!

– Господь с тобою! Кажется, все хорошо, надвигаются праздники, и праздники такие хорошие – будут без неприятностей... Я с тобой хотела как раз поговорить о подарках кухарке и гувернантке.

– Подарок? – заскрежетал зубами Постулатов. – Кухарке? Купить ей в подарок железную кочергу да и бить ее этой кочергой каждый день по морде.

– Алексаша! Такие выражения... Надо же выбирать...

– Не из чего, матушка, не из чего!

– Что же тебе кухарка плохого сделала?

– Да, знаю я... Поймает крысу да и врубит ее в котлеты. А в суп, наверное, плюет.

– Опомнись! Для чего ей это делать?

– А я почему знаю? Развращенное воображение. В чай, я уверен, мышьяк подсыпает.

– Зачем? Что ей за расчет? Ведь мышьяк денег стоит.

– Из подлости. А гувернантка – я знаю, – она губит моих детей. Она их потихоньку учит курить, а старшенького подговорила покуситься на мою жизнь.

– Для чего?! Что она, после тебя наследство получит, что ли?

– Садизм, матушка. Просто хочет насладиться моими предсмертными мучениями.

– Бог знает, что ты такое говоришь... – заплакала жена. – Ну, раз не хочешь сделать им подарки, что ж делать... Я из своих им куплю. Из тех, что ты мне на расходы дашь.

– Ничего я тебе на расходы не дам. Не заслужила, матушка! Как жена ты ниже всякой критики!

– Алексаша!!

– Чего там «Алексаша»! Ты лучше расскажи, почему все наши дети на меня не похожи? Я все понимаю! Не будет им за это елки!!

– Какой позор! – воскликнула жена и, рыдая, выбежала из комнаты.

«А ловко я ее допек! – подумал немного прояснившийся Постулатов. – Теперь еще только выругать кухарку, перепороть детишек – и все будет как следует». И заворочались во тьме тяжелые ленивые мысли: «Жаль, что у меня детишки такие послушные – ни к чему не придерешься. Хорошо, если бы кто-нибудь разбил какую-нибудь вещь, или насорил в комнате, или нагрубил мне. В кого они только удались, паршивцы? У других как у людей – ребенок и стакан разобьет, и кипятком из самовара руку обварит, и отца дураком обзовет, – а у меня... выродки какие-то. Вон у

Кретюхиных сынишка в мать за обедом вилку бросил... Вот это – ребенок! Это темперамент! Да я бы из такого ребенка такой лучины нащипал бы, таких перьев надрал бы, что он потом за версту от меня удирал бы. Вот что я с ним, подлецом, сделал бы. А от моих – ни шерсти, ни молока... Сидят у себя они в детской тихонько, смиреннько, не попрыгают в гостиной, не посмеются». Сердце его сжалось.

«А почему они не прыгают? Почему не смеются? Ребенок должен вести себя сообразно возрасту. А если он сидит тихо, значит, он, паршивец, делает нечто противное своему возрасту. А за это – драть! Неукоснительно – драть. Я им покажу, как серьезничать».

Он встал, сверкнул зелеными глазами и крадучись отправился в детскую.

А за окном ветер и метель вели себя ниже всякой критики...

* * *

– Вы чего тут сидите? – нахмурившись и обведя детей жестким взглядом, проворчал Постулатов.

– Мы ничего, папочка. Мы сидим тихо.

– Сидите тихо?!

Леденящий душу смех Постулатова прозвучал в детской, сливаясь с воем бури за окном.

– А разве дети должны сидеть тихо? Детское это дело? Сейчас же чтобы резвиться, прыгать и смеяться.

Ну?!!

Детки заплакали.

– Простите, папочка... Мы больше никогда не будем...

– Что? Плакать? Немедленно же резвитесь, свиненки этакие! Ну, ты! Или смейся, или я с тебя три шкуры спущу. Я вам пропишу елку!..

Прижавшись друг к другу, забившись в угол, дети с ужасом глядели на искаженное лицо отца...

– Ах, так? Такое отношение? Не хотите веселиться?! Ну, так вы сейчас отведаете ремня!! Эй, кто там?! Где мой кожаный ремень!! Агафья! Лизавета! Подать ремень!!

Столпившись в дверях, все домочадцы с ужасом взирали на разъяренного хозяина.

– Куда девался ремень? Агафья!

– Не знаю, барин... я и то найти его не могу!.. Уж не в зеленом ли дедушкином сундуке?..

– Подальше, дьяволы, постарались засунуть. Прочь!! Я сам его найду!

И ринулся Постулатов в полутемный чулан, в котором стоял знаменитый дедушкин зеленый сундук.

В каждом благоустроенном семействе имеется какой-нибудь баул, сундук или просто коробка, в которую годами складывается всякая дрянь: сплюснутая весенняя шляпка, два разрозненных тома «Нивы», испорченная мясорубка, засаленный галстук, бутылочки со старыми лекарствами, мужская сорочка с оторванными манжетами, пара граммофонных пластинок и изъеденная молью плюшевая кошка.

На письменных столах и туалетах тоже стоят маленькие коробочки, в которых годами копятся: шнурок от пенсне, полдюжата разнокалиберных пуговиц, поломанная запонка, английская булавка и позолоченная облезшая часовая цепочка.

Зеленый сундук Постулатовых отличался той же хаотичностью и разнообразием содержимого.

Лихорадочно рылся разъяренный Постулатов, отыскивая популярный в детской желтый кожаный ремень от сакvojа, рылся... как вдруг рука его наткнулась на что-то стеклянное.

«Дрянь какая-нибудь, пустая посуда», – подумал он и вытянул на свет Божий одну бутылку, другую, третью...

Оглядел их – и сердце его бешено заколотилось: в первых двух ярким топазом сверкнул французский коньяк, а в третьей тихо, мелодично булькала при малейшем сотрясении настоящая смирновская водка.

– Чудеса... – проворчал он дрогнувшим голосом и закричал: – Лизочка! Лиза! Иди сюда, голубушка!

Вошла заплаканная жена.

– Лизочек, каким эти образом в зеленом сундуке очутились коньяк и водка? Откуда это, милая?

Жена наморщила лоб:

– Действительно, как они попали в сундук? Ах, да! Это я весной засунула их сюда, перед Пасхой. Ты тогда купил больше чем нужно. А я сунула сюда, подальше от тебя, да и забыла.

Постулатов подошел к жене, нагнулся близко к ее лицу:

– А чьи это глазки?

– Лизины.

– А зачем они заплаканы?

– Потому что один дурачок ее обидел.

– А если дурачок их поцелует – они будут веселее?

– Барин, – сказала, входя, Агафья. – Вот и ремень. Он за шкахвом был.

– Нацепи его себе на нос, – засмеялся Постулатов. – Послушай, Агафьюшка. Ты, кажется, гусей хорошо жарить? Так вот изжарь к Рождеству. Потом, я давно хотел спросить: что ты такое кладешь в пирожки с ливером, что они так вкусно пахнут? Молодец ты у меня, Агафьище, замечательная баба! Можешь взять для своего мужа мой старый синий пиджак... Я его носить не буду.

Пошел в детскую легким, танцующим шагом.

– Марья Николаевна! Я доволен вашими занятиями с детьми и хотел бы чем-нибудь... Впрочем, это уже дело жены, хе-хе! А вы что, архаровцы, приумолкли? Чего ждете?

– Сечья ждем, – покорно вздохнул самый маленький и заплакал.

– Ишь чего захотели! А чего вы больше хотели бы: сечья или елку?

С решительностью, чуждой всяких колебаний и сомнений, все сразу определили свой вкус:

– Елку!

– Да будет так! – мелодично засмеялся отец, целуя младшего. – Кося, заведи граммофон!..

* * *

Тысячи собак за окном улеглись спать под ровное белое покрывало. Тысячами бриллиантов горела пелена снегов под кротким, тихим светом луны. Завтра – веселый Сочельник.

Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение...

Отец Марьи Михайловны

... А когда разговор перешел на другие темы, Гриняев сказал:

– Доброта и добро – не одно и то же.

– Почему? – возразил Капелюхин. – Доброта относится к добру так же, как телячья котлета к целому теленку. Другими словами: доброта – это маленький отросток добра.

– Ничего подобного, – в свою очередь возразила и Марья Михайловна. – Добро прекрасно, возвышенно, абсолютно и бесспорно, а доброта может быть вздорной, несправедливой, мелкой и односторонней.

– Не согласен! – замотал головой Капелюхин. – Добрый человек всегда и творит добро!..

– Хорошо, – перебил Гриняев. – В таком случае я приведу пример, из которого вы едва ли выпутаетесь... Скажем, путешествуете вы по какой-нибудь там пустыне Сахаре со своими двумя детьми и со слугой... И вдруг оба ваших мальчика заболевают какой-нибудь туземной лихорадкой... У вашего слуги есть вполне достаточный для спасения жизни детей запас хины, но слуга вдруг уперся и ни за что не хочет отдать этого лекарства. Выхода у вас, конечно, только два: или убить слугу и этим спасти двух детей, или махнуть на слугу рукой – и тогда дети ваши в мучениях умрут. Что бы вы сделали?..

– Я бы убила этого подлеца слугу и взяла бы его лекарство, – мужественно сказала Марья

Михайловна.

– А вы, Капелюхин? – спросил Гриняев. – Ведь пример-то сооружен для вас.

– Что бы сделал я? Ну, я бы пообещал слуге все свое состояние, пошел бы сам к нему слугой, стоял бы перед ним на коленях...

– Пример предполагает полную непреклонность слуги...

– Ну, тогда бы я... Да уж не знаю, что... Тогда бы я все предоставил воле Божьей. Значит, уж детям моим так суждено, чтобы умереть...

– Но ведь, если бы вы убили слугу и отняли у него лекарство – дети ваши выздоровели бы!..

При чем же тут «суждено»?

– Ну, я бы убежал в пустыню подальше и повесился бы там на первом дереве...

– А детей бросили бы больными, беспомощными, умирающими?

– Чего вы, собственно, от меня хотите? – нахмурившись, огрызнулся Капелюхин.

– Я просто хочу доказать вам, что доброта и добро – вещи совершенно разные. Все то, что вы предполагали сделать в моем примере с вашими детьми, – это типичная доброта!

– Что же в таком случае добро?

– А вот... Человек, понимающий, что такое добро, рассуждал бы так: на одной чашке весов лежат две жизни, на другой одна. Значит – колебаний никаких. И при этом – одна жизнь, жизнь скверная, злая, эгоистичная, следовательно, для Божьего мира отрицательная. Она не нужна. Ценной ее нужно спасти две жизни, которые лучше, моложе и, следовательно, имеют большее право на существование...

– И вы бы... – с легким трепетом не договорил Капелюхин.

– И я бы... Конечно! Преспокойно подкрался бы сзади к слуге, ткнул бы ему нож между лопаток, взял хину, вылечил детей, и на другой день – бодрые, освеженные сном – мы бы двинулись дальше.

– Ну, знаете ли...

– Почему вы возмущаетесь? Потому что вы обыкновенный добрый человек... А я человек недобрый – но координирующий все свои поступки с требованиями добра.

– И ничего бы у вас не дрогнуло в то время, как вы тыкали бы вашему слуге ножом в спину?!

– Ну, как сказать... Было бы неприятно, чувствовалась бы некоторая неловкость; но это – единственно от непривычки.

– Хорошее добро!.. Тьфу!

– Нечего вам плевать, добрый вы человек! Все дело в том, что я умею рассуждать, а вы – весь во власти сердца и нервов...

* * *

Марья Михайловна все это время сидела, свернувшись калачиком на диване, и молчала.

А когда все замолчали, вдруг заговорила:

– Теперь Рождество. И вспоминается мне золотое детство, и вспоминается мне то самое веселое и милое в моем детстве Рождество – когда у папы отнялись ноги и язык.

– У кого? – удивленно спросили все.

– У папы.

– У вашего?!

– Не у римского же. Конечно, у моего.

– Ну, это гадость!

– Что?

– Говорить так об отце. Если бы даже он был тиран, зверь, и то нельзя так говорить о родном отце!..

– Он не был ни тираном, ни зверем.

– В таком случае вы были скверной девчонкой?

– А вот я вам расскажу о своем отце, тогда и судите.

В будние дни отец все время был на службе и домой являлся только вечером, усталый, думающий лишь о постели.

Но перед праздниками, дня за два до Рождества, занятия у них прекращались, и отец являлся домой часов в двенадцать дня – до 28 декабря.

Надевал халат и принимался бродить по всем комнатам.

– Мариша! – вдруг раздавался его тонкий не по росту и сложению голос. – Почему это тут в углу валяется бумажка?!

– Не знаю, барин...

– Ах так-с. Вы не знаете? Интересно, кто же должен знать? На чьей это обязанности лежит: градского головы, брандмейстера или мещанского старосты? Значит, я должен убрать эту бумажку, да? Я у вас служу, да? Вы платите мне жалованье?

– Поехал, – слышался из другой комнаты голос старшей сестры.

До чуткого слуха отца долетало это слово.

– Ах, по-вашему, я «поехал», – бросался он в ту комнату, где сестра переписывала ноты. – Так-с. Это вы говорите отцу вашему или водовозу Никите? Тебя кто кормит, кто поит, кто обувает? Принц монакский, градской голова или брандмейстер? Ты что думаешь, что если учишься музыке, так выше всех? Отца можешь с грязью смешивать?

Из дверей выглядывала мать.

– Ну что ты пристал к девушке? Ей нужно к концерту готовиться, а ты жилы из нее выматываешь.

– Так-с. Мерси. Удостоился от супруги приветствия. Хм! Концерт... Что это еще за такие концерты-манцерты – кому это нужно? Выйдет такая вот орысина и начнет глотку драть – и чего, и что, спрашивается? Дома лучше нужно сидеть, чем хвосты трепать...

Он плотно усаживался на стул, показывая всем своим видом, что осенний дождик зарядил надолго, и продолжал:

– Воображаю, что это там за концерты такие хромоногие. Придут полтора дурака, скучно, холодно... И чего, и что, спрашивается?... Сидела бы ты дома и не рыпалась!

– Папа, – рыдала сестра. – Что тебе от меня надо?

– Это еще что? Слезы? Нечего сказать – устроили праздничек! В кои веки собрался отдохнуть – на тебе! Могу уж поблагодарить...

Через комнату пробегал, стараясь проскользнуть бочком, братишка Костя.

– Ты куда? Куда? Почему в комнате в шапке? Это конюшня тебе? Так ты бы шел к лошадям, а тут люди... Куда ты идешь?

– К товарищу, – робко лепетал Костя, стараясь прошмыгнуть в дверь.

– Нет, постой!.. Что это еще за товарищи? Откуда? Знаю я этих товарищей: испортят костюм, запачкают всего, учебники порвут... А тебе учебники кто покупает – товарищи? Или, может быть, здешний градской голова, или монакский король? И чего, и что мальчишка по улицам шатается? Сиди дома и не рыпайся...

Плачут уже двое: старшая сестра и Костя.

– Так-с. Благодарности достойно! Отцу бесплатный концерт устроили. Отдохнул на праздничках!

Шел потом на кухню, запахиваясь в оранжевый халат и поджав нижнюю небритую губу.

– Окорок запекаете? А ну, покажи. Это вы так запекли? Хорошее дело... Ну, что же, будем на праздниках сырой окорок есть. Ничего... желудочки-то луженые – вытерпят.

– Где же он сырой? – нетерпеливо говорила мать. – С одной стороны совсем пригорел.

– Пригорел? Так-с. Впрочем, нам наплевать... конечно... Ведь платил-то за окорок не я, а монакский посланник.

Теперь плакали уже четверо: к первым двум присоединились мать и кухарка...

На Рождество зажигалась елка.

– Вот вам елка, – говорит отец, поджигая губы. – Помните, что она мне не даром досталась, и поэтому вы обязаны веселиться... Котька, не смей подходить к елке, серебряную цепь порвешь! А бусы! Кто бусы рассыпал?! Что-о? Сами рассыпались? То есть как это сами? Живые они, что ли? Или их рассыпал брандмейстер? Кто без меня подходил к елке, признавайтесь! Кто отломал хвостик этой серебряной рыбке? Вы думаете, эта рыбка ни копейки не стоит? Монакский посланник мне ее подарил? Так-то вам, паршивцам, устраивать елки? И я тоже – дурак: «деточек порадовать, елочку устроить»! Осину нужно этим каторжникам, а не елку!.. Хм!.. Устроил! И чего, и что, спрашивается – бегал, хлопотал, деньги тратил... Сидел бы дома и не рыпался... Маруся – плакать? На елке плакать? Елка, значит, для того устраивается, чтобы на ней плакать? Хорошо-с... Так и запишем. И Котька ревет? Ладно же: вы мне устроили праздничек – я вам... В цирк вы нынче не пойдете!

– Да ведь билеты уже взяты! – говорила мать, хмуря нервное, хронически расстроенное лицо.

– Билеты можно продать. А то тоже... хм! (Отец усаживался довольно плотно на один из стульев.) Выдумали разные цирки-мырки – кому это нужно? Какие-то дураки на лошадях скачут, другие смотрят. И чего, и что, спрашивается? Сидите-ка дома и не рыпайтесь!

* * *

Мне было девять лет, когда однажды – это было перед Рождеством – отец кричал-кричал на Маришу да вдруг ка-ак хлопнется на диван! Подскочили к нему, перенесли на кровать, – а у него ноги отнялись и язык... Пришел доктор, успокоил мать, что все пройдет, а мать вышла к нам, говорит:

– Ну, дети, отца не беспокойте, он нездоров, а я вам елку сама нынчу устрою – увидите, как будет весело.

И действительно, никогда так весело и мило не было.

Правда, отец пытался звать нас поочередно к себе и знаками показывать, что ему и то не нравится, и это не нравится. Но знаками – ничего не выходило. Пробовал он и записочки нам писать вроде: «Котьку на горы не пускать. Что это за горы такие еще... Пусть зря не рыпается».

Но в записках уже не было того тягостного впечатления, того яда, какой получался в интонации слов. Написанные слова побледнели, потеряли краски, и мы относились к ним совершенно равнодушно... А в ядовитое мнение отца, что «порванный о гвоздь башлык, я, вероятно, получила от градского головы» – я просто завернула карамельки и пряник для дворницкого мальчишки. Да! Чудесное было это Рождество.

* * *

– Все-таки жестоко и грустно все это, – вздохнул добряк Капелюхин. – Мог же бы кто-нибудь из вас пойти и посидеть около кровати отца. Вы-то... сидели или нет?

– Нет, – простодушно ответила Марья Михайловна. – Он бы извел меня. Да вы знаете, что он выдумал? Чтобы мы, дети, поочередно чистили ему ваксой башмаки... Во-первых, у нас была прислуга для этого, а во-вторых, он все равно лежал раздетый и башмаки ему были не нужны.

– И вы чистили?

– Чистила. И однажды, помню, сидела одна на кухне, чистила-чистила тяжелый, неуклюжий отцовский башмак да вдруг взяла его и поцеловала!

Она грустно улыбнулась, опустила голову и с забытой на губах улыбкой задумалась – вероятно, об отце.

И это было так не в тоне рассказа, так неожиданно, что и все растерянно замолчали.

Надолго.

Родители первого сорта

Лениво просматривая старый номер газеты, в которую было завернуто собрание сочинений Пшебышевского, я прочел вслух заметку из хроники происшествий:

– «В выгребной яме дома № 7 по Московскому переулку найден труп младенца с отрезанной головой. Дознание выяснило, что преступление совершено матерью младенца крестьянкой Мценского уезда Авдотьей Межевых, желавшей избавиться от лишней обузы»...

Земский врач Кныш, сидевший у меня, прослушал заметку и сказал:

– Держу пари, что еврейка никогда не сделала бы такой штуки!

– Почему?

– Неужели вы не знаете, что нет на свете народа детолюбивее евреев?..

– Да, но я думаю – любовь в них пробуждается к детям, а не к тем бедным бесформенным комочкам мяса, еле-еле успевшим появиться на свет Божий.

– Ну, нет. Еврей любит своего ребенка до самозабвения в любой момент: при рождении, во все время роста его, любит его даже тогда, когда это уже верзила с окладистой бородой и с полдюжиной собственных детей, не менее горячо любимых. Да вот, хотите, я расскажу вам о трех этапах любви еврея к своему ребенку – этапах, которым я сам был свидетелем.

– Дело. А я вас за это угощу добрым стаканом вина.

– И это дело. Слушайте.

I

рождение ребенка

До сих пор я без тихой умильной улыбки не могу вспомнить об этом случае.

Был я врачом в маленьком, глухом, невероятно грязном городишке. Представьте себе глубокую осень, темные улицы, грязь по колена, отсутствие средств передвижения, ей-богу, Дантов ад красивее, наряднее и элегантнее. Он по крайней мере вымощен.

Однажды, когда пробило уже 11 часов, что по-тамошнему считается глубокою ночью, – ко мне постучались.

Я поморщился, но открыл дверь и впустил посетителя – худого бледного еврея, одетого в непромокаемый плащ и глубокие калоши.

– Что вам нужно?

– Ой, господин доктор, – ответил он с примесью мрачного юмора, почти всегда характеризующего бедных евреев. – Что мне нужно... Вы спросите – чего мне нужно... Мне все нужно. Но пока, если на минуточку отбросить все остальное – так мне нужно доктора.

– Заболел кто-нибудь?

– Нет. Но жена сегодня, кажется, не прочь родить.

– Так вы бы обратились к повивальной бабке...

– Господин доктор! Вы знаете, где она живет?

– Нет, не знаю.

– Так как же вы хотите, чтобы я знал? Она же ваш коллега, а не мой коллега... Так как же вы хотите, чтобы я ее знал? Какая теперь может быть бабка, когда собаку жалко на улицу поставить. Вы полюбуйте на эту погоду! Я рад, что еще до вас добрался...

– Хоть извозчик-то есть у вас?

– Господин доктор! Какой может быть извозчик? У нас на весь город четыре извозчика; так один пьян, у другого лошадь больная, третий уехал в уезд, а четвертого вообще нет на свете.

– Ну, да... однако, согласитесь сами, идти пешком в такую погоду...

– Господин доктор! Вы хотите, я буду плакать, хотите, я стану на колени, хотите...

– Ну ладно, ладно. А обратно вы меня проводите?

– Господин доктор! Я вас на руках понесу, если хотите! Я буду ложиться, если вам нужно перейти через лужу...

– Ну, ну, довольно. Жаль только, что у меня нет глубоких калош...

– Ой, какой же может быть об этом разговор?! Калоши? Натяните вам мои калоши! Дождь? Натяните вам мое непромокаемое пальто.

– А вы-то сами...

– Ну, на мне есть еще верблюжья куртка. Так, а если бы ее не было? Я бы пошел в рубашке, я голый пошел бы, но доктора бы я до своей жены привел и у меня бы родился ребенок!!!

Через пять минут я, сопровождаемый будущим отцом, закутанный в его клеенчатое пальто и обутый в его колоссальные калоши, уже шагал по вязкой невидимой грязи, по-над стенками невидимых домишек среди непроглядной темноты... Холодный дождь потоками обливал нас, а под ногами шипела, хрипела и чавкала вязкая черная грязь.

– Ой, как тут нехорошо, господин доктор... Дайте мне свою руку... Вот так! Это не лужа даже, а форменное несчастье...

– Слушайте! Да возьмите вы свой плащ... Ведь у меня под ним все равно пальто...

– Что значит – пальто? А пальто не может от дождя попортиться? Железное оно или что?

Я приостановился.

– Что? Калошу потеряли? Дайте я ее вам выниму. Тоже город!

Он был трогателен до слез в своем самоотречении... И вдруг среди непроглядной тьмы послышался чей-то кашель, шлепанье ног и голос:

– Моисей, это ты?

– Ой, Яша! Хорошо, что ты вышел навстречу... Ну, что Берточка?

– Ты прямо лопнешь со смеху: она уже родила! И ребенок здоровенький, и она здоровая, прямо замечательно...

Мой спутник издал радостный крик и сейчас же захлопотал около меня:

– Теперь уже ничего не нужно, господин доктор! Уже слава Богу! Ну, я возьму плащ этот и эти тоже калоши... Бывайте здоровы. И я уже побегу как сумасшедший! Хехе! Так она родила!

Я остался один среди тьмы и дождя. Шаги счастливого отца и неизвестного Яши быстро затихли, и только один торопливый вопрос донесся до меня:

– Мальчик? Девочка? Чего ж ты молчишь?!!

Я стоял среди мрака, обливаемый дождем, без калош, не зная, в какую сторону мне идти, и печально, меланхолически улыбался.

Святой эгоизм! О, если бы мой отец так же радовался моему рождению...

II ребенок растет

В прошлом году я встретился с одним знакомым оперным певцом, евреем, но тщательно скрывающим свое происхождение.

Он взял себе манеру говорить с московским растягиванием слов и вообще весь свой жизненный путь совершал в стиле богатого барина, аристократа, ради милого барского каприза попавшего на сцену.

– Что вы делали это лето, Борис Михайлович? – спросил я.

– Этого... м-да... Что я делал летом?.. Да так, почтеннейший, мало хорошего... Три недели провел в Ницце, поигрывал в Монте-Карло – скучища! Даже выигрыш не веселит. Потом мы с князем Голицыным объехали на автомобиле южную Италию. Вернулся в Россию, пожил немного на даче у своей царскосельской приятельницы графини Медем, а потом уехал в свое подмосковное имение Горбатово... Тощища!

– Так, так... это хорошо, – улыбнулся я. – Ну а как поживает ваш сынок Миша?

И моментально ленивый тон с барским растягиванием слов как рукой сняло:

– Ой, Миша! Это же прямо-таки замечательное существо, мой Миша! Ой! Это же не ребенок, а прямо феномен! Можете поражаться – но он уже на скрипочке играет! Скрипочку такую я ему купил!!

И сквозь холеное барское лицо международного растакуэра на меня глянуло другое – бледного еврея в непромокаемом пальто, который хотел отнести меня на руках к своему будущему ре-

бенку...

III ребенок вырос

На улице сгрудилась большая толпа.

Я не мог протиснуться к центру, приковавшему всеобщее внимание, но, когда кто-то громко сказал: «Доктора!

Нет ли здесь доктора?» – толпа почтительно расступилась передо мной.

– Что здесь такое?

– Да вот старый еврей – упал и лежит.

– Мертв?

– Нет, кажись, живой.

Я опустился около лежащего, ощупал его, исследовал, насколько это было удобно, и уверенно сказал:

– Обморок. От голода.

Еврея снесли в ближайшую аптеку. Я привел его в чувство, дал ему коньяку, молока, пару бисквитов и приступил к допросу.

– Сколько дней ничего не ели?

– Три дня.

– Отчего не работали?

– Кому я нужен, старый! Никто не берет. Тоже я работник – один смех.

– Семья есть?

– Сын.

– В Америке? – язвительно спросил я.

– Нет, здесь. В этом городе. Он зубной врач.

– Так. И допускает отца падать на улице в обморок от голода. Вы с ним в ссоре?

– Нет.

– Значит, он – негодяй?

– Ой, что вы говорите... Это замечательный человек!

– Он тоже нищенствует?

– Не дай Бог. Он снял себе очень миленькую квартирку...

– Вы у него просили помощи?

– Нет.

– Вы думаете, что отказал бы?

– Сохрани Боже! Он отдал бы мне последнее. Я расшвырял:

– Так в чем же дело, черт подери, наконец?! Он слабо улыбнулся сухими губами:

– Как же я мог бы брать у него какие-нибудь средства, если он сейчас составляет себе приличный кабинет?! Вы думаете, это легко? А что это за зубной врач без приличного кабинета? Пусть мое дитя тоже имеет себе кабинет...

И снова сквозь старое желтое лицо, изрезанное тысячью морщин, на меня глянуло другое лицо – бледное, молодое – лицо счастливого отца, который брался осенней ночью, в одной рубашке, на руках понести меня к ребенку, которого мы оба еще не знали – лишнему ненужному пришельцу в этот мир слез, скорби и печали...

Позитивы и негативы

I прежде – времена буколические

Приглашение:

- Петр Иванович, пожалуйста завтра к нам на блины.
- Ах, это вам будет беспокойство...
- Ну какое там беспокойство – одно удовольствие. Блинков поедим с икоркой, выпьем.
- Пожалуй...
- Не пожалуй, а непременно ждем. Обидите, если не придете.

* * *

За столом:

- Петр Иванович, еще блинков!
- Увольте, ей-богу, сыт.
- Ну еще парочку с зернистой.
- Что вы, довольны! Чуть не полтарелки икры наложили...
- Ничего, кушайте на здоровье. Коньячку или рябиновой?
- Ни того, ни другого. Ей-богу, не лезет.
- Ни-ни. И думать не смейте отказываться. А семга! Да ведь вы, разбойник, семги и не попробовали?
- Ей-богу, ел.
- Нет, нет, лукавите! Позвольте, я вам положу два кусочка...
- О Боже! Я лопну прямо... Надеюсь, больше ничего не будет?
- Уха еще и рябчики!
- Уморить вы нас хотите, дорогой хозяин!

* * *

Уход:

- До свиданья, Петр Иванович! Спасибо, что зашли.
- Теперь вы к нам, Семен Мироныч...
- Да уж и не знаю, выберемся ли?
- Ну, вот новости! Послезавтра же и приезжайте! Жену привозите, деток, свояченицу и брата Николая Мироныча.
- Осторожнее, тут темно... Я вам посвечу...
- О, не беспокойтесь!

II

теперь – собачьи времена

Приглашение:

- Петр Иванович, а я завтра думаю пожаловать к вам на блины...
- Ах, это нам будет такое беспокойство.
- Ну какое там беспокойство – накормите блинами, и конец. Блинков поедим у вас с икоркой, выпьем.
- С чем, с чем?..
- А? С икоркой, говорю.
- Вам еще каменный дом в придачу не потребуется ли? Хм! С икоркой! А вы знаете, что икорка теперь 12 рублей фунт?
- Что вы говорите! Как дешево! А я думал – 14.
- Мало что вы думали... Для кого дешево, а для кого и не дешево...
- Так мы все-таки придем.
- Собственно, зачем?
- Да вот... блинков у вас поедим, выпьем.
- Это чего ж такого вы выпить собираетесь?!

- Да что у вас найдется. Не побрезгуем вашим хлебом-солью.
- Вода из водопровода у нас найдется – вот что у нас найдется. Лучше уж не приходите.
- Нет, что вы! Обязательно придем.

* * *

За столом:

- Дорогой хозяин... еще блинков... Можно попросить?
- Увольте! Ведь, ей-богу, вы уже сыты.
- Ну еще парочку... с зернистой.
- Что вы делаете?! Довольно! Чуть не полтарелки себе икры навалили.
- Ничего, буду кушать на здоровье. Коньячку мне выпить или рябиновой?
- Ни того, ни другого. Ей-богу, вам уже не лезет, а вы все пьете. Не дам больше.
- Ни-ни. И думать не можете отказывать! А то голову сметаной вымажу. Позвольте... А семга?! Я про семгу забыл. Ни кусочка не попробовал.
- Ей-богу, вы уже ели.
- Нет, нет, лукавите. Позвольте, я себе положу два кусочка...
- Два?! А вы знаете, что каждый кусочек стоит копеек семьдесят...
- Ну и черт с ним, большая беда, подумаешь...
- Да, для вас беда не большая... потому что не вы платили. Едят, едят люди, ей-богу, не понимаю, как не лопнут!
- Да-а, с вашего угощения действительно лопнешь... Пригласили на блины, смотреть не на что.
- Кто вас приглашал? Сами навязались.
- Еще бы! Если бы мы вашего приглашения ждали – ноги бы с голоду протянули.
- И протягивайте, потеря небольшая...
- Что еще будет, кроме этих блинишек?
- Ничего не будет.
- Как так ничего? Бульон же должен быть какой-нибудь или уха там... Дичь тоже всякая полагается...
- Достаточно, и так дичь несли за столом. Ну-с, можно вставать из-за стола, дорогие гости. Дорогие – сами понимаете почему. В 35 рублей обошлось ваше совершенно неуместное посещение.
- Господи! 35 рублей истратил, а поел на двести.

* * *

Уход:

- Прощайте, дорогой хозяин.
- То есть как это прощайте? До свиданья, а не прощайте!
- Разве вы думаете еще раз нас пригласить?
- Нет-с, не пригласить, а я думаю сам к вам на блины приехать.
- Не стоит.
- То есть как же это так – не стоит?! Вот еще новости! Небось сами ко мне пришли, пили, ели – а мне нельзя?! Завтра же и приеду: жену привезу, детей, свояченицу и брата, Николая Миронича...
- Вы бы всю улицу еще притащили! Дворника уж забирайте, кухарку тоже – все равно!! Э, черт, какая тут темнота на лестнице... Хозяин! Ты бы хоть осветил.
- И так хорошо. Керосин-то ноне кусается, сами знаете.
- Да тут ногу еще сломаешь в этой тьме.
- И прекрасно! Туда вам и дорога.
- Ну, беспокойной вам ночи в таком случае...

– Всего нехорошего!..

* * *

Собацьи времена наступают, истинно говорю вам.

Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожалел, почему мама в свое время не отдала меня в композитору.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши – и все, все как есть перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо стонущих и бурно проклинаящих.

Но немые и бессильные мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой – не на пяти, а на одной линейке, – быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония – слабая, бледная в слове...

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкавшие прежде очи Петербургом, когда одичавшее население расползается по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные безглазые русла улиц, – тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола, пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул – это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует... но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может: предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим-тихим шепотом...

Переглянулись.

– Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

– Моя.

– Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

– О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

– Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

– Пять лет тому назад – как сейчас помню – заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки – крупная, зажаренная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой – половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлеба (был черный, был белый, честное

слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

– У наваги только одна косточка, посередине, трехугольная, – перебил, еле дыша, сосед.

– Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

– Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожа была поджарена, хрустящая такая и вся в сухарях, в сухарях – я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки – о, для аромата только, исключительно для аромата, – выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки – гам! А булка-то, знаете, мягкая французская такая, и ешь ее, ешь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

– Не доели?!!

– Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди еще был бифштекс по-гамбургски – не забывают этого. Знаете, что такое – по-гамбургски?

– Это не яичница ли сверху положена?

– Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого – поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка – помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мяса – гам!

– Неужели жареного картофеля не было? – простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

– В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также настроганый хрен, были капорцы – остренькие-остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный такими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже хрустят на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мяса, обмакнешь хлеб в подливку, да, зацепив все это вилок, вкуче с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

– Пива! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем – крепким пенным пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

– Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

– Не пивом! Не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое, бургундское, по три с полтиной бутылка... Нальешь в стопочку, поглядишь на свет – рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

– Господа! Во что мы превратились – позор! Как низко мы пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У вас отнято то, на что самый последний человек имеет право, – право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору – почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь, – вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

– Да. Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот – пусть ест!!

Бежим же, господа. Все на улице, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали, как уголья... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много; самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнушимися ногами... Лежали, обессиленные, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой – они сделали что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:

– А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей – такой, знаешь, маленький кусочек – я бы не отрезал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

– Нет, – шепнул сосед, – не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки.

Жадно слушали.

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

Трагедия русского писателя

Меня часто спрашивают:

– Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?

– Боюсь, – робко шепчу я.

– Вот чудак... Чего ж вы боитесь?

– Я писатель... И потому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.

– Эва! Да какая же это родная территория – Константинополь.

– Помилуйте – никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля – шофер кричит: «Пожалуйста, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел – со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь, слышишь:

Матреха, брось свои замашки,
Скорей тангу со мной пляши...

Подлинная черноземная Россия!

– Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?

– Тому есть примеры, – печально улыбнулся я.

– А именно?..

Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю –

О РУССКОМ ПИСАТЕЛЕ

Русский пароход покидал русские берега, отправляясь за границу.

Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:

– Прощай, моя бедная, истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась из глаз моих ты, моя старая, добрая, так любимая мною Россия! И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду

помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг мне – моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия!

Жена стояла тут же; слушала эти писательские слова – и плакала.

* * *

Прошел год.

У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому, уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем недурное «ординэр»...

Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэра» – сел за письменный стол, подумал и, тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.

– Что ты хочешь делать? – спросила жена.

– Хочу рассказ написать.

– О чем?

– О России.

– О че-ем?!

– Господи Боже ты мой! Глухая ты, что ли? О России!!!

– Calmez-vous, je vous en prie.⁷ Что ж ты можешь писать о России?

– Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге... Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерibasовской».

– Постой! Разве такая улица есть в Петербурге?

– А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности – Невскую улицу. Итак, «...Высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к „Медведю“. „Что, холодно, monsieur?“ – спросил метрдотель, подавая карточку. „Mais oui,⁸ – возразил молодой сей господин. – Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм!“»

– Послушай, – робко перебила жена, – разве есть такое слово – «замерзавец»?

– Ну да! Человек, который быстро замерзает – суть замерзавец. Пишу дальше: «Прошу вас очень, – сказал тот молодой господин. – Подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais⁹ и одну рюмку рабиновку».

– Что это такое – рабиновка?

– Это такое... du водка.

– А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка – жена Рабиновича.

– Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски!

И принялся грызть перо. Грыз до утра.

* * *

И еще год пронесся над писателем и его женой.

Писатель пополнел, округлел, завел свой auto,¹⁰ вообще, та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его – «сет селебр рюсс».¹¹

⁷ Успокойся, пожалуйста (фр.).

⁸ Да нет (фр.).

⁹ Свежей рыбы (фр.).

¹⁰ Автомобиль (фр.).

¹¹ Этого знаменитого русского (фр.).

Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни»... Знакомая мелодия навевала целый рой мыслей о России...

«О, нотр повр Рюсси!¹² – печально думал он. – Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссия».

Пришел. Сел. Написал.

«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль петербужьен!¹³

Один молодой господин ходил по одна улица по имени сей улица: Крещатик... Ему очень хотелось manger.¹⁴

Он заходишь на Конюшню, сесть на медведь и поехать в restaurant, где скажишь: garson, une tasse¹⁵ Рабинович и одна застегайчик avec¹⁶ тарелочка с ухами».

* * *

Я кончил.

Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяжелой историей.

Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:

– А что, ребятажь, нет ли у кого прикурить сигарки?

– Да, – ухмыльнулся мой собеседник. – Трудно вам уехать из русского города.

Хомут, натягиваемый клещами (Московское)

Москвич кротко сидел дома и терпеливо пил черемуховый чай с лакрицей вместо сахара, со жмыховой лепешкой вместо хлеба и с вазелином вместо масла. Постучались.

Вошел оруженосец из комиссариата.

– Так что, товарищ, пожалуйста по наряду на митинг. Ваша очередь слушать.

– Ишь ты, ловкий какой! Да я на прошлой неделе уже слушал!

– Ну что ж. А это новый наряд. Товарищ Троцкий будет говорить речь о задачах момента.

– Послушайте... ей-богу, я уже знаю, что он скажет. Будет призывать еще годика два потерпеть лишения, будет всех звать на красный фронт против польской белогвардейщины, против румынских империалистов, будет обещать на будущей неделе мировую революцию... Зачем же мне ходить, если я знаю?..

– Это меня не касаемо. А только приказано набрать 1640 штук, по числу мест, – я и набираю...

– Вот тут один товарищ рядом живет, Егоров ему фамилия, кажется, он давно не был. Вы бы к нему толкнулись.

– Нечего зря и толкаться. Вчера в Чека забрали за пропуск двух митингов. Так что ж... Записывать вас?

– У меня рука болит.

– Чай, не дрова рубить! Сиди, как дурак, и слушай!

– Понимаете, сыпь какая-то на ладони, боюсь застудить.

– Можете держать руку в кармане.

¹² О наша бедная Россия! (фр.).

¹³ Настоящая петербургская (фр.).

¹⁴ Есть, кушать (фр.).

¹⁵ Чашка (фр.).

¹⁶ С (фр.).

– А как же аплодировать? Ежели не аплодировать, то за это самое...

– Хлопай себя здоровой рукой по затылку – только всего и дела.

Хозяин помолчал. Потом будто вспомнил:

– А то еще в соседнем флигеле живет один такой: Пантелеев. До чего любит эти самые митинги! Лучше бы вы его забрали. Лют до митинга! Как митинг, так его и дома не удержишь. Рвется прямо.

– Схватились! Уже третий день на складе у нас лежит. Разменяли. Можете представить – зашнуровал на митинге!

– Послушайте... А вдруг я засну?

– В Чеке разбудят.

– Товарищ... Стаканчик денатуратцу – разрешите предложить?

– За это чувствительно благодарен! Ваше здоровье! А только ослобонить никак не возможно.

Верите совести: целый день гойдаю, как каторжный, все публику натягиваю на эти самые митинги, ну их... к этому самому! У всякого то жена рожает, то он по службе занят, то выйти не в чем. Масса белобилетчиков развелось! А один давеча, как дитя, плакал, в ногах валялся. «Дяденька, – говорит, – увольте! С души прет, – говорит, – от этого самого Троцкого. Ну что, – говорит, – хорошего, ежели я посреди речи о задачах Интернационала – в Ригу вдруг поеду?!» Он плачет, жена за ним в голос, дети вой подняли, инда меня слеза прошибла. Одначо – забрал. Потому обязанность такая. Раз ты свободный советский гражданин – слушай Троцкого, сволочь паршивая! На то тебе и свобода дадена, чтоб ты Троцкую барщину сполнял! Так записать вас?

– А, ч-черт!.. А что, не долго будет?

– Да нет, где там долго! Много ли – полтора-два часа. Черт с ними, идите, господин, не связывайтесь лучше! И мне, и вам покойнее. Речь Троцкого, речь Бухарина, речь венгерского какого-то холуя – да и все. Ну, потом, конечно, лезорюция собравшихся.

– Ну вот видите – еще и резолюция. Это так задержит...

– Контора задержит? Лезорюция?! Да она уже готовая, отпечатанная. Вот у меня и эндем-плярчик есть для справки.

Оруженосец отставил ружье, пошарил в разносной сумке и вынул серую бумажку.

Москвич прочел:

Мы, присутствовавшие на митинге тов. Троцкого, подавляющим большинством голосов вынесли полнейшее одобрение всей советской политике, как внутренней, так и внешней; кроме того, призываем красных товарищей на последний красный бой с белыми польскими паннами, выражаем согласие еще сколько влезет терпеть всяческие лишения для торжества III Интернационала и приветствуем также венгерского товарища Бела Куна! Да здравствует Троцкий, долой соглашателей, все на польских панов! Следует 1639 подписей.

Прочел хозяин. Вдохнул так глубоко, что на рубашке отскочила пуговица.

– Ну что же... Ехать так ехать, как сказал Распутин, когда Пуришкевич бросал его с моста в воду.

Контроль над производством

Один из краеугольных камней грядущего рая на земле – Третьего Интернационала – это контроль над производством.

Твердо знаю, во что эта штука выльется.

Писатель только что уселся за письменный стол, как ему доложили:

– Рабочие какие-то пришли.

– Пусть войдут. Что вам угодно, господа?

– Так что мы рабочий контроль над производством. Выборные.

– Контроль? Над каким производством?

– Над вашим.
– Какое же у меня производство? Я пишу рассказы, фельетоны. Это контролю не поддается.
– Все вы так говорите! Мы выборные от типографии и артели газетчиков, и мы будем контролировать ваше производство.
– Виноват... Как же вы будете осуществлять контроль?
– Очень просто. Вот мы усаживаемся около вас и... вы, собственно, что будете писать?
– Еще не знаю: темы нет.
– А вы придумайте.
– Хорошо, когда вы уйдете – придумаю.
– Нет, вы эти старые штуки оставьте. Придумайте сейчас.
– Но не могу же я сосредоточиться, когда две посторонних физиономии...
– Простите, мы вовсе не посторонние физиономии, а рабочий контроль над вашим производством! Ну?..
– Что «ну»?
– Думайте скорее.
– Поймите же вы, что всякое творчество – такая интимная вещь...
– Вот этого интимного никак не должно быть! Все должно делаться открыто на виду и под контролем.

Писатель задумался.

– О чем же вы призадумались, позвольте узнать?
– Не мешайте! Тему выдумываю.
– Ну вот и хорошо. Только скорей думайте! Ну! Придумали?
– Да что вы меня в шею гоните!
– На то мы и контроль, чтобы время зря не пропадало. Ну, живей, живей!..
– Поймите вы, что не могу я так сосредоточиться, когда вы каждую секунду с разговорами пристаёте.

Рабочий контроль притих и принялся с любопытством разглядывать лицо призадумавшегося писателя.

А писатель в это время тер голову, почесывая у себя за ухом, кричал и наконец вскочил в отчаянии:

– Да поймите же вы, что нельзя думать, когда четыре глаза уставились на тебя, как баран на новые ворота!

Рабочий контроль переглянулся.

– Замечаете, товарищ? Форменный саботаж! То ему не разговаривай, то не смотри на него, а то он еще, пожалуй, и дышать запретит! Небось когда нас не было – писал! Тогда можно было, а теперь нельзя? Под контролемто небось трудно! Когда все на виду, без обмана, – тогда и голова не работает?! Хорошо-с!.. Так мы и доложим куда следует!

Рабочий контроль встал и, оскорбленный до глубины души, топоча ногами, вышел.

От автора.

В доброе старое время подобные произведения кончались так:

«...На этом месте писатель проснулся, весь облитый холодным потом».

Увы! Я кончить так не могу.

Потому что – хотя мы и обливаемся холодным потом, но и на шестом году еще не проснулись.

Мурка

Несколько времени тому назад во всех газетах была напечатана статья советского знатока по финансам т. Ларина – о том, что в Москве на миллион жителей приходится около 120 000 советских барышень, служащих в советских учреждениях, а среди массы этих учреждений есть одно – под названием «Мурка»...

«Что это за учреждение и что оно обслуживает, – признается откровенно Ларин, – я так и не мог ни у кого добиться».

Есть в Москве Мурка, а что такое Мурка – и сам Ларин не знает.

А я недавно узнал. Один беженец из Москвы сжалился над моим мучительным недоумением и объяснил мне все.

– Что такое, наконец, Мурка? – спросил я со стоном. – Спать она не дает мне, проклятая!

– Ах, Мурка? Можете представить, никто этого не знает, а я знаю. И совершенно случайно узнал...

– Не тяните! Что есть – Мурка?

– Мурка? Это Мурашовская комиссия. Сокращенно.

– А что такое – Мурашов?

– Мой дядя.

– А кто ваш дядя?

– Судебный следователь.

– А какая это комиссия?

– Комиссия названа по имени дяди. Он был председателем комиссии по расследованию хищений на Курском вокзале.

– Расследовал?

– Не успел. На половине расследования его расстреляли по обвинению в сношениях с Антантой.

– А Мурка?

– Чего Мурка?

– Почему Мурка осталась?

– Мурка осталась потому, что тогда еще дело не было закончено. Потом оно закончилось несколько неожиданно: всех заподозренных в хищении расстреляли по подозрению в организации покушения на Володарского.

– А Мурка?

– А Мурка существует.

– Я не понимаю, что же она делает, если и родоначальника ее расстреляли?.. Теперь Мурка окрепла и живет самостоятельно. Здоровая сделалась – поперек себя шире.

– Видите ли, когда моего дядю Мурашова назначили на расследование, он сказал, что ему нужен секретарь. Дали. Жили они себе вдвоем, поживали, вели следствие, вдруг секретарь говорит: «Нужна мне машинистка». – «Нужна тебе машинистка? На тебе машинистку». Машинистка говорит: «Без сторожа нельзя». – «На тебе сторожа». Взяли сторожа. А дядя мой предобрый был. Одна дама просит: «Возьмите дочку, пусть у вас бумаги подшивает – совсем ей есть нечего». Взяли дочку. И стала Мурка расти, пухнуть и раздвигаться влево, вправо, вверх, вниз, вкривь и вкось...

Однажды захожу я, вижу – Муркой весь дом занят... Всюду на дверях дощечки: «Продовольственный отдел», «Просветительный отдел»...

– Позвольте... Неужели Мурка сама кормила и просвещала этих вокзальных хищников?!

– Что вы! Их к тому времени уже расстреляли... Для себя Мурка завела и продовольственный, и просветительный отдел, и топливный... К тому времени уже служило в Мурке около 70 барышень, а когда для этой оравы понадобились все отделы, пригласили на каждый отдел новый штат – и число служащих вместе с транспортным и библиотечным возросло до 124.

– Что ж... все они так и сидели сложа руки?

– Почему?

– Да ведь и дядю расстреляли, и вокзальных воров стреляли... Ведь Мурке, значит, уже нечего было делать?

– Как нечего? Что вы! Целый день работа кипела, сотни людей носились с бумагами вверх и вниз, телефон звенел, пишущие машинки шелкали... Не забывайте, что к тому времени всякий отдел обслуживало уже около полутора ста служащих в Мурке.

– А Мурка кого обслуживала?

– Служащих.
– Значит, Мурка обслуживала служащих, а служащие Мурку?
– Ну конечно. И все были сыты.
– А не приходило когда-нибудь начальству в голову выяснить: на кой черт нужна эта Мурка и чем она занимается?

– Приходило. Явился один такой хват из ревизоров, спрашивает: «Что это за учреждение?» Ему барышня резонно отвечает: «Мурка». – «А что такое – Мурка?» Та еще резоннее: «А черт его знает. Я всего семь месяцев служу. Все говорят – Мурка, и я говорю Мурка!» – «Ну, вот, например, что вы лично делаете?» – «Я? В отпускном отделе». – «Какие же вы товары отпускаете?» – «Не товары, а служащих в отпуск. Регулирую отпуска». – «И для этого целый отдел?!» – «Поми-луйте, у нас до 300 человек служащих!» – «А это что за комната?» – «Продовольственный отдел. Служащих кормим». – «А это – ряд комнат?» – «Топливный, просветительный, агитационный, кульминационный, – работы по горло». – «И все для служащих?» – «А как же! У нас их с будущего месяца будет около 500. Прямо не успеваешь». – «Так, значит, так-таки и не знаете, что такое Мурка?» – «Аллах его ведает! Был тут у нас секретарь, старожил, – тот, говорят, знал, – да его еще в прошлом году за сношение якобы с Деникиным по ветру пустили». – «Ну, а вы сами как лично думаете, что значит: „Мурка“?» – «Гм... Разное можно думать. Может быть – морская канализация?» – «Ну что вы! Тогда была бы Морка, или Морская канализация... И потом, какая канализация может быть на море?» Постоял еще, постоял, плюнул, надел шапку и ушел.

И до сих пор Мурка растет, ширится. Говорят, скоро под Сестрорецком две колонии открывает: для служащих-инвалидов и для детей служащих.

Помолчали мы.

– Вы помните, – спросил я, – песенку «Мурочка-Манюбочка»?..
– Еще бы, Сабинин пел.
– Так вот там есть слова:

Стала Мурка – содержанка
Заправила банка...

– Ну?
– Так разница в том, что заправила банка содержал Мурку на свои деньги, а Советская Россия содержит сотни Мурок – на народные!..

Алло!

... личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону – телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Цитата из этого рассказа.

Мышьяк при некоторых болезнях очень полезное средство; но если человека заставить проглотить столовую ложку мышьяку – оба бесцельно погибнут. И человек и мышьяк.

Трость очень полезная вещь, когда на нее опираются; но в ту минуту, когда тростью начинают молотить человека по спине – трость сразу теряет свои полезные свойства.

Что может быть прекраснее и умильнее ребенка; природа, кажется, пустила в ход все свое напряжение, чтобы создать чудесного, цветущего голубоглазого ребенка. Кто из нас не любил ребенка, не восхищался ребенком; но если кто-нибудь начнет швыряться из окна четвертого этажа ребятами в прохожих – прохожие отнесутся к этому с чувством омерзения и гадливости.

Я не могу себе представить ничего более полезного, чем иголка. А попробуйте ее проглотить? Этим я хочу только сказать, что хотя шилом не бреются и ручкой зонтика не извлекают попавших в глаз соринки, но разговаривать по телефону безо всякой нужды больше получаса – на это находятся охотники. И они не видят в этом ничего дурного.

* * *

Иногда ко мне по телефону звонит барышня. Я умышленно не называю ее имени, потому что у всякого человека есть своя барышня, которая ему звонит.

Характер такой барышни трудно описать. Она не обуреваема сильными страстями, не заражена большими пороками; она не глупа, кое-что читала. Если несколько сот таких барышень, подмешав к ним кавалеров, пустить в театр, – они образуют собою довольно сносную театральную толпу.

На улице они же образуют уличную толпу; в случае какой-нибудь эпидемии участвуют в смертности законным процентом, ропща на судьбу в каждом отдельном случае, но составляя в то же время в общем итоге «общественное мнение по поводу постигшего нашу дорогую родину бедствия».

Никто из них никогда не напишет «Евгения Онегина», не построит Исаакиевского собора, но удалять их за это из жизни нельзя – жизнь тогда бы совсем оскудела. В книге истории они вместе со своими кавалерами занимают очень видное место; они – та белая бумага, на которой так хорошо выделяются черные буквы исторических строк.

Если бы не они со своими кавалерами – театры бы пустовали, издатели модных книг разорались бы, а телефонистки на центральной станции ожирели бы от бездействия и тишины.

Барышни не дают спать телефонисткам. В количестве нескольких десятков тысяч они ежедневно настоятельно требуют соединить их с номером таким-то.

К сожалению, никто не может втолковать барышням, что личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону – телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Пусть кто-нибудь из читателей попробует втолковать это барышне, – она в тот же день позвонит ко мне по телефону и спросит: правда ли, что я написал это? Как я, вообще, поживаю? И правда ли, что на прошлой неделе меня видели с одной блондинкой?

* * *

– Вас просят к телефону!

– Кто просит?

– Они не говорят.

– Я, кажется, тысячу раз говорил, чтобы обязательно узнавали, кто звонит?

– Я и спрашивал. Они не говорят. Смеются. Ты, говорят, ничего не понимаешь.

– Ах ты, Господи! Алло! Кто у телефона?! Говорит барышня. Отвечает:

– О, боже, какой сердитый голос. Мы сегодня не в духе?

– Да нет, ничего. Это просто телефон хрипит, – говорю я с наружной вежливостью. – Что скажете хорошенького?

– Что? Кто хорошенькая? С каких это пор вы стали говорить комплименты?

– Это не комплимент.

– Да, да – знаем мы. Всякий мужчина, преподнося комплимент, говорит, что это не комплимент.

Чрезвычайно, чрезвычайно жаль, что она не видит моего лица.

Я молчу, а она спрашивает:

– Что вы говорите?

Что ей сказать? Бросаю единственную кость со своего скудного неприхотливого стола:

– Вы из дому говорите?

– Какой вы смешной! А то откуда же? Что бы такое ей еще сказать?

– А я думал, от Киндякиных.

– От Киндякиных? Гм! Вы только, кажется, и думаете, что о Киндякиных. Вам, вероятно, нравится m-me Киндякина? Я что-то о вас слышала!.. Ага...

Это она называет «интриговать». Потом будет говорить какому-нибудь из своих кавалеров:

– Я его вчера ужасно заинтриговала. Понурившись, я стою с телефонной трубкой у уха, гляжу на ворону, примостившуюся у края водосточной трубы, и впервые жалею, оскорбляя тем память своего покойного отца: «Зачем я не создан вороной?» Над ухом голос:

– Что вы там – заснули?

– Нет, не заснул.

Какой ужас, когда что-нибудь нужно сказать, а сказать нечего. И чем больше убеждаешься в этом, тем более тупеешь...

– Алло! Ну, что ж вы молчите? С вами ужасно трудно разговаривать по телефону. Расскажите, что вы подделываете?

Помедлив немного, я раздражаюсь таким каламбуром, услышав который всякий другой человек повесил бы трубку и убежал без оглядки:

– Что я подделываю? Преимущественно кредитные бумажки.

– Алло? Я вас не слышу!

– Кредитные бумажки!!!!

– Что – кредитные бумажки?

– Я. Подделываю.

– К чему вы это говорите?

– А вы спрашиваете, что я подделываю? Я не разобрал – два «д» у вас или одно. Вот и ответил.

Этот каламбур приводит ее в восхищение.

– Ах, вечно живой, вечно остроумный! И откуда у вас только это берется? Seriously, что у вас новенького?

Зубами прикусываю нижнюю губу; лишний раз убеждаюсь, что кровь у меня солоноватая, с металлическим вкусом.

– Как вампиры могут пить такую гадость?

– Что-о?

– Я говорю, что не понимаю: какой вкус находят вампиры в человеческой крови.

Она несколько не удивляется обороту разговора:

– А вы верите в вампиров?

Надо бы, конечно, сказать, что не верю, но так как мне все это совершенно безразлично, я вяло отвечаю:

– Верю.

– Ну как вам не стыдно! Вы культурный человек, а верите в вампиров. Ну, скажите: какие основания для этого вы имеете? Алло!

– Что?

– Я спрашиваю: какие у вас основания?

– На кого? – бессмысленно спрашиваю я, читая плакат сбоку телефона: «Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других».

– «На кого» не говорят. Говорят: для чего.

– Что «для чего»?

– Основания.

– Жизнь не ждет, – возражаю я, как мне кажется, довольно основательно.

– Нет, вы мне скажите, почему вы верите в вампиров? Что за косность?

– Интуиция.

Вероятно, она не знает этого слова, потому что говорит «а-а-а» и, как испугнутая птица, перепархивает на другой сук:

– Что у вас, вообще, слышно?

– Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других.

– У какого Нарановича?

– Портной. Вероятно, дамский.

– Не говорите пошлостей. Вы забываете, что разговариваете с барышней. Вообще, вы за последнее время ужасно испортились.

И вот мы стоим на расстоянии двух или трех верст друг от друга, приложив к уху по куску черного, выдолбленного внутри каучука. От меня к ней тянется тонкая претонкая проволока – единственное связующее нас звено.

Почему проволока так редко рвется? Хорошо, если бы какая-нибудь большая птица уселась на самое слабое место проволоки и... А ведь в самом деле – может же это случиться? Если положить потихоньку трубку на подоконник и уйти? А потом свалить все на «этот проклятый телефон». («Вечная история с этими проводами! Поговорить даже не дадут как следует!»)

Но нужно прервать беседу на моих словах. Пусть барышня думает, что я вне себя от досады, не успев рассказать начатое.

Я кричу:

– Алло! Вы слушаете? Я вам сейчас что-то расскажу – только между нами. Ладно? Даете слово?

– О, конечно, даю! Я умираю от любопытства!!

– Ну, смотрите. Вчера только что подхожу я к квартире Бакалеевых, вдруг выходит оттуда Шмагин – бледный, как смерть! Я...

Я кладу трубку на подоконник (если повесить ее, барышня может через минуту опять позвонить), – кладу трубку, облегченно вздыхаю и удаляюсь на цыпочках (громкие шаги слышны в трубку).

Воображаю, как она там беснуется у своего конца проволоки:

– Алло! Я вас слушаю. Почему вы молчите?! Ах ты, господи! Барышня! Это центральная? Почему вы нас разъединили?! Дайте номер 54–27.

А телефонистка, наверное, отвечает деревянным тоном:

– Или трубка снята или повреждение на линии. Милая телефонистка.

* * *

Однажды барышня позвонила ко мне рано утром; было холодно, но я согрелся под одеялом и думал, что никакие силы не сбросят меня с кровати.

Однако, когда зазвенел телефонный звонок, я, пролежав минуты три под оглушительный звон, наконец, дрожа от холода, вскочил и побежал к телефону, перепрыгивая с одной ноги на другую – пол холоден, как лед.

– Алло! Кто?

– Здравствуйте. Вы уже не спите? Однако рано вы поднимаетесь; я тоже уже проснулась. Ну, что у вас слышно?

Перепрыгивая с ноги на ногу, я давал вялые реплики и после десятиминутного разговора услышал успокаивающие душу слова:

– А я очень хорошо устроилась: лежу на оттоманке, около горящего камина – тепленько-претепленько. Педикюрша делает мне педикюр, а я пью кофе, рассматриваю журналы и говорю по телефону; телефон-то у меня тут же на столе. Я кстати и позвонила вам... Алло! Почему не отвечаете? Центральная!! Что это такое? Опять порча? Господи!

* * *

Вот я написал рассказ.

Десятки тысяч барышень, наверное, прочтут его. И если хотя бы десять барышень призадумаются над написанным и поймут, что я хотел сказать, – на свете станет жить немного легче.

* * *

Прошу другие газеты перепечатать.

Одиннадцать слонов

I

Схватив меня за руку, Стряпухин быстро спросил:

– В котором ухе звенит? Ну! Ну! Скорее!!

– У кого звенит в ухе? – удивился я.

– Да у меня! Ах ты, Господи! У меня же!! Скорее! Говори!

Я прислушался:

– В котором? Что-то я не слышу... А ты сам сразу не можешь разобрать?

– Да ты угадай, понимаешь? Угадай! Какой ты бестолковый!..

– Да угадать-то не трудно, – согласился я. – Если бы ушей было много – ну, тогда другое дело... А то два уха – это пустяки. Левое, что ли?

– Верно, молодец!

Я самодовольно улыбнулся.

– Еще бы! Я могу это – и вообще... многое другое... А зачем тебе нужно было, чтобы я угадал?..

– А как же! Такая примета есть... Я что-то задумал. Если ты угадал, значит, исполнится.

– А что ты задумал?

– Нельзя сказать. Если скажу – оно не исполнится.

– Откуда ты знаешь?

– Такая примета есть.

– Ну, тогда прощай, – проворчал я, немного обиженный. – Пойду домой.

– Уже уходишь? Да который теперь час?

– Не могу сказать, – упрямо ухмыльнулся я.

– Почему?

– Такая примета есть.

Его лицо выразило беспокойство.

– Неужели есть такая примета?

– Еще бы... Самая верная. Несчастье приносит.

– А ты знаешь, я ведь часто отвечал на вопрос: «Который час?».

– Ну вот, – улыбнулся я зловеще. – И пеняй сам на себя. Обязательно это к худу.

Он призадумался:

– Постой, постой... И верно ведь! Вчера у меня шапку украли в театре.

– Каракулевою? – спросил я.

– Нет, котиковую.

– Ну, тогда это ничего.

– А что?

– Примета такая есть. Пропажа котиковой шапки – в доме радость.

Он даже не спросил: в чьем доме радость – в его или воровском. Просиял.

– Я тоже с тобой выйду. Прислуга побежала за ворота – дай я тебе пальто подержу.

Я натянул с его помощью пальто, а когда он снял с вешалки свое, я сказал:

– Ты прости, но я тебе тем же услужить не могу.

– Почему?

– Такая примета есть: если гость хозяину пальто подает – в доме умереть должны.

Стряпухин отскочил от меня и наскоро натянул в углу сам на себя пальто.

Когда мы шагали по улице, он задумчиво сказал:

– Да, приметы есть удивительные. Есть счастливые, есть несчастливые. Но на днях я узнал удивительную штуку, которая приносит счастье и застраховывает от всяких неудач.

– Это еще что?

– Слоны. Одиннадцать слонов. Нужно купить одиннадцать штук от самого большого до самого маленького и держать их в доме. Поразительная примета.

- Что ж ты, уже купил их?
- Девять штук. Двух еще нет. Самых больших. Да они дорогие, большие-то. Рублей по тридцати... Кстати, ты не можешь одолжить мне пятьдесят рублей? Я бы завтра комплект уже имел.
- Что ты! Разве можно одалживать деньги в пятницу?! Есть такая приме...
- Да сегодня разве пятница? Нынче ведь четверг, – возразил он.
- Сначала я растерялся, а потом улыбнулся с видом превосходства.
- Я знаю, что четверг. Но ведь четверг – это у нас?
- Ну да.
- А в Индии-то что теперь? Пятница!
- Пятница, – машинально подтвердил он, приоткрыв от недоумения рот.
- Ну вот. А слоны-то ведь индийские?
- Какие слоны?
- Да которых ты собираешься покупать!
- Предположим.
- То-то и оно. Как же можно в пятницу деньги давать займы? Несчастье... Страшная примета есть.
- Он замолчал.

II

- Стряпухин исчез на долгое время. Но однажды пришел ко мне расстроенный, с явными признаками на лице и в костюме целого ряда жизненных неудач.
- Эге, – сочувственно встретил я его. – Твои дела, вижу, неважные. Как поживаешь?
 - Да, брат, плохо... У жены чахотка.
 - Гнусная вещь, – согласился я. – Впрочем, вези ее на юг. Теперь это легко поправить можно.
 - Да откуда же я денег-то возьму?
 - А у жены-то были ведь деньги... я знаю... Несколько тысконок.
 - Были да сплыли. На бирже проиграл.
 - Эх, ты, Фалалей! Ну, на службе возьми аванс.
 - Хватился! Со службы уволили. За биржевую игру. Вы, говорят, еще наши деньги проиграете, казенные.
 - Однако! А что же твой дядя какой-то? Помнишь, ты говорил: собирался умереть и тебе дом оставить.
 - Да и умер. Только не тот дядя, а другой. Вдовец с двумя детьми. Детей мне оставил... Прямо беда!
 - Так ты бы продал что-нибудь из обстановки... У тебя ведь обстановка хорошая, я помню, была...
 - Он тоскливым взглядом посмотрел на меня.
 - Продано, брат. Почти все. Кроме слонов.
 - Каких слонов? – удивился я.
 - Да тех, что я, помнишь, говорил.
 - А они дорогие?
 - Рублей полтора ста...
 - Так ты бы их и пустил в оборот. Это ведь жене месяц жизни в Крыму.
 - Стряпухин откинулся назад и всплеснул руками:
 - Что ты! Как же я могу их продать, когда они приносят счастье!

III

Я долго прохаживался по кабинету, бормоча себе под нос всякие рассуждения. Остановился перед Стряпухиным и сказал:

– Дурак ты, дурак, братец!

– Почему?

– Такая примета есть.

Он бледно, насильственно улынулся.

– Вот ты теперь уже и ругаешься. Ругаться-то легко.

– И ругаюсь! Обрати внимание: не было у тебя этих слонов – жена была здорова, деньги в банке лежали и служба была. Появились слоны, которые, ты говорил, счастье приносят, – и что же!

– А ведь верно! – охнул он, побледнев. – Я совсем не обратил на это внимания... Действительно... Знаешь, тут есть какой-то секрет. Может быть, не одиннадцать слонов нужно, а какое-нибудь другое количество?

Я кивнул головой:

– Весьма возможно... И может быть, нужно было не слонов покупать, а каких-нибудь верблюдов или зайцев.

– А в самом деле! – ахнул он, приоткрыв по своей привычке от изумления рот.

– И может быть, не покупать их, а украсть нужно было...

– Да, да!..

–...и держать не в доме, а в погребе.

Оба мы замолчали. Он поднял опущенную голову и несмело спросил:

– Ну, как ты думаешь – верблюда или зайца? Я пожал плечами.

– Конечно, верблюда.

– Почему?

– Примета такая есть.

– А сколько их надо?..

– Тридцать восемь штук.

– Ого! – с оттенком уважения в голосе пробормотал Стряпухин. – Вот это число! Что же их... покупать нужно?

– Украсть! Только украсть! И держать в погребе на бочке с огурцами. Такая примета есть.

Он внимательно разглядывал выражение лица моего, и в глазах его я прочел легкое колебание.

– Что это ты?.. – робко заметил он. – Не то говоришь серьезно... не то насмехаешься надо мной.

Я горячо воскликнул:

– Что ты, что ты! Я говорю совершенно серьезно. Слоны ведь тебе не помогли, а? Одиннадцать слонов мал мала меньше. Ведь не помогли? Так?

– Не помогли, – вздохнул он.

– Ну вот! Попробуем верблюдов. Тридцать восемь верблюдов! Не купим их, а сташим в магазине: это и дешевле и практичнее. Поставим в погреб и посмотрим – не повернется ли фортуна к тебе лицом? Если все будет по-прежнему плохо – верблюдов к черту, купим лисиц или лягушек, индийских болванчиков, крокодилов, черта, дьявола лысого купим! Попробуем покупать по семнадцать, по тридцать три, по шестьдесят штук, будем держать их под полом, на крыше, в печной трубе – все испробуем, все испытаем!! Как только тебе повезет – стоп! Вот, значит, скажем мы, это и есть настоящая примета!

– Да ты это... серьезно?

– А то как же, братец? Слоны твои провалились – нужно искать других путей. Какой-то немец-профессор сделал свыше девяти сот комбинаций лекарства, пока не наткнулся на настоящую. У нас будет девять тысяч комбинаций – но ничего! Ведь он открывал только новое лекарство, а мы ищем секрет счастья... Разрешить проблему счастья – какая это великая миссия!!

– Да ведь этак всю жизнь провозишься...

– А ты что же думал? И провозишься. Он устало опустил голову:

– Боже, как все это неопределенно... А может быть, вся штука в том, что слонов нужно не одиннадцать, а двенадцать. Прикупим еще одного...

– Может быть! Жаль, что это не ослы. Если бы ты имел одиннадцать ослов, то двенадцатого и прикупать бы не стоило.

С видом человека, окончательно запутавшегося в сложной тине жизни, он поднял на меня глаза:

– Почему?

IV

Уходя, он небрежно спросил, боясь выказать интерес к ответу и вызвать тем новые мои насмешки:

– Сколько, ты сказал, верблюдов?

– Тридцать восемь, – ехидно улыбнулся я. – Думаешь купить?

– Нет, не то. А вот нужно бы запомнить цифру тридцать восемь. Буду нынче в клубе, возьму карту лото с этой цифрой.

– Ага! Ты и этим занимаешься? Что же, везет?

– Пока нет.

И в глазах его светилось отчаяние.

– Почему? – допрашивал я безжалостно. – На какую, например, цифру ты вчера брал карту?

– Восемьдесят шесть. Счастливое число. Мой кузен Гриша на эту цифру в лотерею корову выиграл.

– Значит, и ты выиграл?!!

– Нет, – робко прошептал он, запуганный моим криком, моими оскорблениями, моей иронией.

Я схватил его за шиворот.

– Так как же ты, каналья, находишь это число счастливым?!

– Постой... Пусты! Я бы, может быть, и выиграл, а только, уходя из дому, забыл ключ и с дороги вернулся. А это считается очень нехорошо. Примета...

* * *

Рассказанную мною правдивую историю я считаю очень нравоучительной.

Тем не менее я уверен, что среди моих читателей найдется пара-другая людей, которые запомнят цифры 38 и 86.

И подумают они: «Что ты там себе ни говори, а мы на эти цифры возьмем карточку и сыграем в лото».

Так и быть, сообщу я для них еще одну, самую верную счастливую цифру: пятьдесят девять. Играйте на нее... Замечательная цифра.

А проиграете, – значит, покойника встретили или кошка дорогу перебежала.

Так вам и надо! Мне все равно вас не жаль.

Бельмесов

I

– Иван Демьяныч Бельмесов, – представила хозяйка.

Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности – сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на божий мир сухие, без блеска, глаза, тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова – шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все – и волосы, и лицо, и борода было выжжено, обесцвечено – солнцем не солнцем, а просто сам по себе человек уж уродился таким туск-

лым, невыразительным.

Первые слова его, обращенные ко мне, были такие:

– Фу, жара! Вы думаете, я как пишушь?

– Что такое?

– Вы думаете, как писать мою фамилию?

– Да как же: Бельмесов.

– Сколько «с»?

– Я полагаю – одно.

– Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмесов. В переводе – прекрасная обедня.

– Почему же русское окончание?

– Потому что я, все-таки, русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна, – обратился он, всплеснув руками, к хозяйке. – Я сейчас только с дачи, и у нас там, представьте, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где, бишь, они?.. Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!.. Что бы это значило? Мокрая...

Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь.

– Кой черт! Куда же они подевались? Я сам положил шесть штук. Гм!.. И в кармане мокро.

– Очень просто, – засмеялась хозяйка. – Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льду.

– Ах, как это жалко, – сказал Бельмесов, опечаленный. – А я-то думал вам показать.

Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: «Однако же, и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?»

Я спросил по возможности деликатно:

– У вас свое имение? Вы помещик?

– Где там, – махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах рукой. – Служу, государь мой. Состою на службе.

Очень у меня чесался язык спросить: «На какой?», – но не хотелось быть назойливым.

Я взглянул на часы, попрощался и ушел.

II

О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал.

– Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим – о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позакковыристее выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание... А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи... слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике – Щербакине?

– Нет, не слышали, – отозвался один из стариков. – А что?

– Да как же... Расскажу я вам такой случай: еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды, приблизительно, этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись и напившись чаю, на палубу, смотрю на берег, спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Хорошо-с. Проходит этак часа два. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег: «Чья земля?» Отвечают тамошние волжские пассажиры: «Помещика Щербакина». Ого, думаю. Эк тебя разбросало. Сел я обедать, съел, что полагалось, выпил две рюмки водки, пошел для моциону бродить по пароходу. Спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Что за черт, думаю. Очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю: «Богатый?» «Нет, говорят, так... средней руки». Что ж вы думаете? И ночью я спрашивал: «Чья земля?» – и на другой день утром –

все говорят: «Помещика Щербакина». И это у них называется «помещик средней руки»... Вот это – края! Какие же у них должны быть «помещики большой руки».

– Что ж, долго еще тянулись «земли помещика Щербакина»? – недоверчиво спросил я.

– Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы – тут скоро щербакинские земли и кончились.

– А вы долго на мели просидели? – спросил рыжий старик.

– Да сутки с лишним. Чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде – сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче...

– То есть, наоборот, – поправил рыжий.

– Ну да, то есть наоборот, которые мельче пароходы, тем труднее, а глубокие ничего... Да-с.

Вот вам и Ротшильд!

Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал:

– Ради бога! Откуда у нас появился этот осел? Марья Игнатьевна немного обиделась:

– Почему же осел? Человек как человек.

– Но ведь у него мозги чугунные.

– Не всем же быть писателями и сочинять рассказы, – сухо заметила она. – Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.

Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.

– Кто такой этот Бельмесов? – нетерпеливо спросил я.

– А как же! У нас же служит.

– Да кем? Что он делает?

– А как же. Инспектором у нас в уездном училище. Где я директором состою. Дока.

– Это он-то дока?

– Он. Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Любо-дорого посмотреть. Уж его не надуешь, не проведешь за нос. Ён, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене...

– Много бы я дал, чтобы посмотреть! – вырвалось у меня.

– В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены – приходите. Посторонним, правда, нельзя, но мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете – вам любопытно будет... Среди учеников такие типы встречаются... Умора! Смотрите, только нас не опишите! Хе-хе! Вот вам и адресок. Право, приезжайте завтра. Мы гласности не боимся.

III

За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеженакрахмаленный Бельмесов, Иван Демьяныч. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул.

Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым, стриженным головам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям: «Ничего, мол. Все на свете перемелется – мука будет. Бодритесь, детки...»

– Кувшинников, Иван, – сказал Бельмесов. – А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников... Вот так. Сколько будет пятью шесть, Кувшинников, а?

– Тридцать.

– Правильно, молодец. Ну, а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?

Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.

– Пять деревьев на шесть лошадей? Тоже тридцать.

– Правильно. Но тридцать – чего? Молчал Кувшинников.

– Ну, чего же – тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?

У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.

– Тридцать... лошадей.

– А куда же девались деревья? – иронически прищурился Бельмесов. – Нехорошо, тёзка, нехорошо... Было всего шесть лошадей, было пять деревьев и вдруг – на тебе! – тридцать лошадей и ни одного дерева... Куда же ты их дел?! С кашей съел или лодку себе из них сделал?

Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели.

Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьяныч продолжал:

– Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут двадцать четыре лошади? Ну, хорошо: я тебе дам одно дерево – сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников, Иван, а? Что ж ты молчишь, Иван, а? Печально, печально. Плохо твоё дело, Иван. Ступай, брат!

– Я знаю, – тоскливо промямлил Кувшинников. – Я учил.

– Верю, милый. Учил, но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждения. Садись, брат Иван. Кулебякин, Илья! Ну... ты нам скажешь, что такое дробь?

– Дробью называется часть какого-нибудь числа.

– Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?

– То дробь не такая, – улыбнулся бледными губами Кулебякин. – То другая.

– Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби? Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать: о простой или арифметической?.. И на мой утвердительный ответ, что о последней, – ты должен был ответить: «Арифметической дробью называется – и так далее»... Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?

– Простые бывают дроби, – вздохнул обескураженный Кулебякин, – а также десятичные.

– А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка?

– Больше нет, – развел руками Кулебякин, будто искренне сожалел, что не может удовлетворить еще какойнибудь дробью ненасытного экзаменатора.

– Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделяет – это как же? По-твоему, не дробь? Видишь ли что, мой милый... Ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка – нашего великого, разнообразного и могучего русского языка – ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин. Лысенко! Вот ты, Лысенко, Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле? Ты знаешь цепное правило?

– Знаю.

– Очень хорошо-с. Ну, а цепное исключение тебе известно?

Лысенко метнул в сторону товарищей испуганным глазом и, повесив голову, умолк.

– Ну, что же ты, Лысенко? Ведь говорят же: нет правила без исключений. Ну, вот ты мне и ответь, есть в цепном правиле цепное исключение?

* * *

Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу.

Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату:

– Ну как?.. Не говорил ли я, что дока? Так и хапает, так и режет. Орел! Да только жалко, не жилец он у нас... Переводят с повышением в Харьков. А жалко... Я уж не знаю, что мы без него и делать будем?.. Без орла-то!

Фат

Подслушивать – стыдно.

Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.

Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.

С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:

– Ну, вот видите... Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой... По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?

Бархатное контральто ответило:

– Да... В нем что-то есть.

– Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?

– Что вы, что вы! – возмутилось контральто. – Разве можно задавать такие вопросы?! А в третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!

– А я бы, знаете... изменила. Ей-богу. Чего там, – с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. – Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..

– О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!

– Да ну-у?..

– Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что-нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу!»

– Ну, понятие как понятие. Не хуже других. – И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:

– А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!

– А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын!

– Нет, не Синицын!

– А кто же? Ну, голубушка... Кто?

– Мукосеев.

– Ах, этот...

– Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона... Ну, можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»... Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.

– Нет, нет... ни за что!

– Что «ни за что»?

– Не изменю мужу. Тем более с ним.

– Почему же «тем более»?

– Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегаёт. Его любить, я думаю, одно мученье.

– Да ежели вы к нему отнесётесь благосклонно – он ни за какой юбкой не побежит.

– Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются...

– Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте...

– Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьёт, играет в карты...

– Милая моя! Да что же он должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек...

– И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает...

– Где оно там просвечивает... А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет...

Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:

– Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека... И в третьих, он фат!

– Он... фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?
– Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, – прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое – чуть не с кружевами... А вы говорите – не фат! Да я...

* * *

И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.

И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана...

Бритва в киселе

Глава I

Два раза в день из города Калиткина в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем.

В этот день линейка приняла только двух, незнакомых между собой, пассажиров: драматическую артистку Бронзову и литератора Ошмянского.

Полдороги оба, по русско-английской привычке, молчали, как убитые, ибо не были представлены друг другу.

Но с полдороги случилось маленькое происшествие: мрачный, сонный парень молниеносно сошел с ума... Ни с того, ни с сего он вдруг почувствовал прилив нечеловеческой энергии: встал на козлах, свистнул, гикнул и принялся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. Обезумевшие от ужаса лошади сделали отчаянный прыжок, понесли, свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила кверху, накренилась набок и, охваченная от такой тряски морской болезнью, выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу.

В это время молниеносное помешательство парня пришло к концу: он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в не оправдываемую обстоятельствами сонную задумчивость.

– Выпали? – осведомился он.

Литератор Ошмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая продранные на колене брюки. Бронзова вскочила на ноги и, энергично дернув Ошмянского за плечо, нетерпеливо сказала:

– Ну?!

– Что такое? – спросил Ошмянский, поднимая на нее медлительные ленивые глаза.

Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивы...

– Чего вы сидите?

– А что?

– Да делайте же что-нибудь!

– А что бы вы считали в данном случае уместным?

– О, Боже мой! Да я бы на вашем месте уже десять раз поколотила этого негодяя.

– За что?

– Боже ты мой! Вывалил нас, испортил вам костюм, я ушибла себе руку.

Облокотившись на придорожный камень, Ошмянский принял более удобную позу и, поглядывая на Бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью:

– Но ведь от того, что я поколочу этого безнадежного дурака, ваша рука сразу не заживет и дырка на моих брюках не затянется?

– Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расшиблись?

– О, нет, что вы!..

- Так чего же вы разлеглись на дороге?
- А я сейчас встану.
- От чего это, собственно, зависит?
- Я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла пять минут назад нашего возницу.
- Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель! Ошмянский заложил руки за голову, запрокинулся и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил:
- Клюквенный?
- Это неважно. Выплеснули вас на дорогу, как тарелку киселя, – вы и разлились, растеклись по пыли. Давайте руку... Ну – гоп!
- Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлой улыбкой и спросил:
- А теперь что?
- О Боже мой! Неужели вы так и смолчите этому негодяю?! Ну, если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его, – хоть выругайте!
- Сейчас, – вежливо согласился Ошмянский. Подошел к вознице и, свирепо нахмутив брови, сказал:
- Мерзавец. Понимаешь?
- Понимаю.
- Вот возьму, выдавлю тебе так вот, двумя пальцами, глаза и засуну их тебе в рот, чтобы ты впредь мог брать глаза в зубы. Свинья ты.
- И оставив оторопевшего возницу, Ошмянский отошел к Бронзовой.
- Уже.
- Видела. Вы это сделали так, будто не сердце срывали, а неприятный долг исполнили. Кисель!
- А вы – бритва.
- Ну – едем? Или вы еще тут, на дороге, с полчаса полежите? Поехали.

Глава II

В Святогорском монастыре гуляли. Потом пили чай. Потом сидели, освещенные луной, на веранде, с которой открывался вид верст на двадцать. Говорили...

Какая внутренняя душевная работа происходит в актрисе и литераторе, когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер, – это мало исследовано... Может быть, общность служения почти одному и тому же великому искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что когда литератор взял руку актрисы и три раза поцеловал ее, рука была отнята только минут через пять.

Глава III

На другой день Ошмянский пришел к Бронзовой в гостиницу «Бристоль», № 46, где она остановилась. Пили чай. Разговаривали долго и с толком о театре, литературе.

А когда Бронзова пожаловалась, что у нее болит около уха и что она, кажется, оцарапалась тогда благодаря тому дураку о камень, Ошмянский заявил, что он освидетельствует это лично.

Приподнял прядь волос, обнаружил маленькую царапину, которую немедленно же и поцеловал.

Действенность этого, неизвестного еще в медицине средства могла быть доказана хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины.

Когда Ошмянский ушел, Бронзова, закинув руки за голову, прошептала:

– Милый, милый, глупый, глупый! И засмеялась.

– И однако он, кажется, порядочная размазня... Женщина из него может веревки вить.

Закончила несколько неожиданно:

– А оно, пожалуй, и лучше.

Глава IV

Прошло две недели. Гостиница «Бристоль».

На доске с перечислением постояльцев против № 46 мелом написаны две фамилии: «Ошмянский. Бронзова».

Глава V

В августе оба уезжали в Петроград. В купе, под убаюкивающее покачивание вагона, произошёл разговор:

– Володя, – спросила Бронзова. – Ты меня любишь?

– Очень. А что?

– Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное... Будто маленькая комнатка в три аршина, в которой нельзя и шагнуть как следует... Только разгонишься и уже – стоп! Стена.

– Например, какая фамилия?

– Например, моя – Бронзова.

– Что же с этим поделать?..

– Есть выход: Бронзова-Ошмянская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подмалевка, а ценная картина...

– Я тебя не понимаю.

– Володя... Я хочу, чтобы ты на мне женился.

– Что за фантазия?.. Разве нам и так плохо?

Его ленивые, сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее.

– Если ты меня любишь, ты должен для меня сделать это...

– А ты не боишься, что это убьет нашу любовь?

– Настоящую любовь ничто не убьет.

– А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно это будет?

– Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ну, Кисель, милый Кися, говори: женишься на мне?

– Видишь ли, я лично против этого, я считаю это ненужным, но если ты так хочешь – женюсь.

– Вот сейчас ты не Кисель! Сейчас ты энергичный, умный мальчик.

Она поцеловала его, а вечером, причесывая на ночь волосы, счастливая, подумала: «Уж если я чего захочу – так то и будет. Милый, мой милый Кися...»

Глава VI

Бронзова впервые приехала к Ошмянскому в его петроградскую квартиру и пришла от нее в восторг:

– Всего три комнаты, а как мило, уютно...

Она под села к нему ближе, подкрепила силы поцелуем и, глядя его волосы, спросила:

– Володя... А когда же наша свадьба?

– Милая! Да когда угодно. Вот только получу из Калиткинской управы документы – и сейчас же.

– А без них нельзя?

– Глупенькая, кто же станет венчать без документов? Там паспорт, метрическое...

– А зачем они лежат там?

– Документы-то? Паспорт для перемены отослал, а метрическое у тетки.

– Значит, ты это сделаешь?

– Она еще спрашивает! Чье это ушко?

– Нашего домохозяина.

– Ах, ты, мышонок.....

.....

Глава VII

Снова сидела Бронзова у Ошмянского... Он целовал ее волосы, и у него на горячих губах таяли снежинки, запутавшиеся в волосах и не успевшие еще растаять. Потому что был уже декабрь.

– Володя...

– Да?

– Ну, что же с документами?

– С какими? Ах, да! Все собирался. Надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу.

– Спасибо, милый!.. Володя...

– Да?

– Ты хотел бы, чтобы мы вместе жили?

– Вместе? Это было бы хорошо.

– Хочешь ко мне переехать?

– Нет, что ты... Ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать...

– Володя... Ну, я к тебе перееду... Хочешь?

– Дурочка! Да ведь у меня еще теснее. Я пишу, ты разучиваешь роли, – оба мы будем друг другу мешать... Понимаешь, иногда хочется быть совершенно одному со своими мыслями.

Она притихла. Отвернулась и молчала – только плечи ее тихо вздрагивали.

– Катя! Ты плачешь? Глупая... Из-за чего, право?.. Это такой пустяк!

– М...не т-ак хо-те-лось...

– Ну хорошо, ну, будет по-твоему... Переезжай.

– Милый! Ты такой хороший, добрый...

И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка...

Глава VIII

Сидели в ресторане: Бронзова, Ошмянский и приятель, Тутыкин.

– Володя! Ну что, получил уже документы?

– Понимаешь, написал я все честь-честью – и до сих пор никакого ответа. Работы у них много, что ли?.. У нас теперь что? 14-е февраля? Ну, думаю, к концу месяца вышлют.

– Напиши им еще.

– Конечно, напишу.

Она посмотрела на него ласковым, любящим взглядом и сказала:

– А знаешь, что тебе очень пошло бы? Бархатная черная куртка. У тебя бледное матовое лицо, и куртка будет очень эффектна. Закажи. Хорошо?

– Да когда же я ее буду носить?

– Когда угодно! Ты ведь писатель – и имеешь право. В гости, в театр, в ресторан...

– Не слишком ли это будет бить на дешевый эффект?..

– Нет, нет! Володя... Я хочу!

– Ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу.

В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь:

– Совсем погибла эта размазня Ошмянский! Попал в лапы такой бабы, что она его в бараний рог скрутила.

– Красивая?

– Красивая. И острая, как бритва.

Глава IX

Когда Бронзова и Ошмянский вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно:

– Катя... Я тебя завезу к нам домой, а сам поеду...

– Куда же? Ведь клуб уже закрыт.

– А... видишь... Мне пописать хочется. Настроение нашло.

– Ну-у-у?

– Ах, да! Я тебе не говорил! Понимаешь, я снял две маленьких комнатки и иногда утром, иногда днем удаляюсь туда поработать. Тихо, хорошо.

– Володя! – всплеснула руками Бронзова. – Да ведь это выходит, что я выгнала тебя из твоей квартиры?

– Ну, что ты... Какой вздор! Просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь, писатели, преоригинальный народ! Я заеду сейчас с тобой к нам и заберу кое-что: письменный прибор, лампу и одеяло. Подушки там есть.

Глава X

– Володя! Заказал куртку?

– Да, был я у портного... Так мы ни до чего и не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон... и вообще.

– Ну, едем вместе! Сейчас мы это все и устроим! Эх ты, кисель мой ненаглядный... Документы уже получил?

– Написал снова. Боюсь, не затерялись ли они гденибудь. На почте, что ли?!

– Дома сегодня будешь?

– То есть где? У тебя? Да. Заеду чайку напиться. А потом к себе покачу: повесть нужно закончить... У себя же и заночую...

Глава XI

– Смотри, Володя, как кстати: мы собираемся к Тутыкиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Надень-ка ее. И я пойду переодеться.

Бронзова ушла, а Ошмянский взял куртку, положил ее на диван и потом, взяв перочинный нож, распорол под мышкой прореху вершка в два.

Сделав печальное лицо, пошел к Бронзовой.

– Чтоб его черти съели, этого портного! Сделал такой узкий рукав, что он под мышкой лопнул.

– Ну, давай я зашью.

– Стоит ли? Опять лопнет. Тем более что воротнички без отворотов у меня дома, а на этот воротничок – надеть трудно...

Глава XII

Ошмянский только что приготовил бумагу для рассказа и вывел заглавие, как в комнату постучались.

– Кто там?

Дверь скрипнула – вошла Бронзова. Она была очень бледна, только запавшие глаза горели мрачным, нехорошим огнем.

– Прости, что я врываюсь к тебе. Ведь эти комнаты, я знаю, ты снял специально для того, чтобы быть одному... Но – не бойся. Я пришла сюда в первый и последний раз...

– Катя! Что случилось?

– Что? – Она упала головой на спинку кресла и горько заплакала. – Что? – Улыбнулась печально сквозь слезы и пошутила: – Ты победил меня, Галилеянин...

– Катя! Чем?!.. Что ты говоришь?

– Ну, полно... Все равно я уйду уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов... Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я – бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право – руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни... Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую, аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное – но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому уйду!

– Катя, голубка! Что ты! Опомнись. Ну, поборани меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя? Не поступал, как ты хотела?

– Молчи!! Знаешь, как ты поступал? Я хотела, чтобы мы поженились – прошло одиннадцать месяцев – где это? Я хотела, чтобы мы жили вместе – ты согласился... Где это? Пустяк: мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке – носишь ты ее? Что вышло?! О, ты со всем соглашался, все с готовностью обещал. Но что вышло... Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках! Прочь! Не подходи ко мне!!! Ну?

Он протянул к ней руки, но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и – ушла. Навсегда.

Одну минуту он стоял ошеломленный. Потом потер голову, подошел к письменному столу и склонился над чистой бумагой.

Долго сидел так. Потом пробормотал что-то. Неясное, нечленораздельное бормотание скоро стало принимать форму определенных слов. И даже рифмованных...

«В один чудесный день,
Когда ложилась тень,
Ко мне пробрался кирасир...»

А потом это бормотание перешло в мелодичный свист, и Ошмянский с головой погрузился в работу...

Юмор для дураков

Это был солидный господин с легкой склонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись. – Писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

– О, помилуйте... – скромно возразил я.

– Нечего там скромничать. Расскажите мне какуюнибудь смешную штуку... Я это ужасно люблю.

– Позвольте... Что вы называете «смешной штукой»?

– Ну, что-нибудь такое... юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу – специалист, кажется! Ну, ну, не скромничайте!

– Видите ли... Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

– Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете... Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

– Ну, слушайте... Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца, и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» – ответил: «Я его видел в трактире... Он сидит там с пеной у рта». – «Сердится, что ли?» – «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штука» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

– Ну?

– Что «ну»?

– Что же дальше?

– Да это все.

– Что же отец... вернулся домой?

– Да это не важно. Вернулся – не вернулся... Все дело в ответе мальчика.

– А что, вы говорите, он ответил?

– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

– Ну?

– Видите ли... Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется, буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

– Фигуральное?

– Да.

– Взбесило?

– Да!

– Ну?

– Что еще такое – «ну»?

– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

– Ну да.

– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится... Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.

– Что-о?..

– Я говорю, трактиры. Если еще холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств – так трудновато... Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное автор имеет право на некоторое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-богу, уморил; папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится... А мать-то, мать-то! В каких дурах... О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

– Ну я вас прошу, расскажите еще что-нибудь...

– Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов... Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю и – что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколотая записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка догнать».

Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:

– Ну и что же? Догнал он похитителя или нет? Я вздохнул и начал терпеливо:

– Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

– Важнее?

– Да.

– Сколько он там написал, что пробежит в час?

– Пятнадцать верст.

– Это много считается?

– Порядочно.

– А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

– Не знаю.

– Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанах всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.

– Да.

– Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше, а?

– Да.

Мы помолчали.

– Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его? Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик да и отпереться от всего: «Знать не знаю, ведать не ведаю – никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».

– Да.

По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему обыкновению, щедро вознаградить меня смехом, неожиданно захохотал.

– Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он – где зонтик? Хвать-похвать, ан зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают. Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штук знаете? Ну, расскажите еще что-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький...

– Рассказать? – прищурился я. – Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, – и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка, с башмаком во рту...

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий, страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.

– О-ох, – визжал он тонким голосом. – Довольно. Ради Бога довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..

* * *

Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки, и влюбленные парочки; свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания»; молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице... Для чего и кому все это нужно? – я не понимал.

Теперь – понимаю.

Функельман и сын
(Рассказ матери)

Я еще с прошлого года стала замечать, что мой мальчик ходит бледный, задумчивый. А когда еврейский мальчик начинает задумываться – это уже плохо. Что вы думаете, мне обыск нужен, что ли, или что?

– Мотя, – говорю я ему, – Мотя, мальчик мой! Чего тебе так каламитно?

Так он поднимет на меня свои глаза и скажет:

– Что значит – каламитно! Ничего мне не каламитно!

– Мотя! Чего ты крутишь? Ведь я же вижу.

– Ой, – говорит, – отстань ты от меня, мама! У меня скоро экзамен на аттестат зрелости, а потом, у меня есть запросы.

Обрадовал! Когда у еврейского мальчика появляются запросы, так господин околоточный целую ночь не спит.

– Мотя! Зачем тебе запросы? Что, их на ноги наденешь, когда башмаков нет, или на хлеб намажешь вместо масла? «Запросы, запросы!» Отцу твоему сорок шестой год – он даже этих запросов и не нюхал. И плохо, ты думаешь, вышло? Пойди поищи другой такой галантерейный магазин, как у Якова Функельмана! Нужны ему твои запросы! Он даже картоночки маленькие по всему магазину развесил: «Цены без запроса!»

– Мама, не мешай мне! Я читаю.

– Он читает! Когда он читает, так уже мать родную слушать не может. Я через тебя, может, сорок две болячки в жизни имела, а ты нос в книжку всунул и думаешь, что умный, как раввин. Гениальный ребенок.

Вижу – мой Мотя все крутит и крутит.

– Что ты крутишь?

– Ничего я не кручу. Не мешай читать.

Что это он там такое читает? Ой! Разве сердце матери это камень – или что? Я же так и знала! «Записки Крапоткина»!

– Тебе очень нужно знать записки Крапоткина, да? Ты будешь больной, если ты их не прочтешь? Брось сейчас же!

– Мама, оставь, не трогай. Я же тебя не трогаю. Еще бы он родную мать тронул, шейгец паршивый! И так мне в сердце ударило, будто с камнем. Куда, вы думаете, я сейчас же побежала? Конечно, до отца.

– Яков! Что ты тут переключиваешь сорочки? Убежат они, что ли, от тебя – или что? Он должен обязательно сорочки переключивать...

– А что?

– Ты бы лучше на Мотю посмотрел.

– А что?

– Ему надо читать «Записки Крапоткина», да?

– А что?

– Яков! Ты мне не крути. Что ты мне крутишь! Скандала захотел, обыска у тебя не было, да?

– А что?

Это не человек, а дурак какой-то. Еще он мне должен голову крутить!

– Что тебе нужно, чтобы твой сын в тюрьме сидел? Тебе для него другого места нет? Надевайся, пойдем домой!

Вы думаете, что он делал, этот Мотя, когда мы пришли? Он читал себе «Записки Крапоткина».

– Мотья! – кричит Яков. – Брось книгу!

– А вы, – говорит, – ее подымете?

– Брось, или я тебя сию минуту по морде ударю. И как вы думаете, что ответил этот Мотя?

– Попробуй! А я отравлюсь. Это запросы называется!

– А, чтоб ты пропал! Тебе для матери книжку жалко. Тебя кто рожал – мать или Крапоткин?

– А что вы, – говорит Мотя, – думаете? Может, я, благодаря ему, второй раз на свете родился.

Ой, мое горе! Я заплакала, Яша заплакал, и Мотя тоже заплакал. Прямо маскарад!

Вышли мы с Яшей в спальню, смотрим друг на друга.

– Хороший мальчик, а? Ему еще в носе нужно ковырять, а он уже Крапоткина читает.

– Ну что же?

– Яша! Ты знаешь что? Нашего мальчика нужно спасти. Это невозможно.

Так Яша мне говорит:

– Что я его спасу? Как я его спасу? По морде ему дам? Так он отравится.

– Тебе сейчас – морда. Интеллигентный человек, а рассуждает как разбойник. Для своего ребенка головой пошевелить трудно. Думай!

Яков сел, стал думать. Я села, стала думать. Ум хорошо, а два еще лучше.

Думаем, думаем, хоть святых вон выноси.

– Яша!

– А что?

– Знаешь что? Нашего ребенка нужно отвлечь.

– Ой, какая ты умная – отвлечь! Чем я его отвлеку? По морде ему дам?

– Ты же другого не можешь! Для тебя Мотькина морда это идеал!.. Он ребенок живой – его чем-нибудь другим заинтересовать нужно... Нехай он влюбится – или что?

– Какая ты, подумаешь, гениальная женщина! А в кого?

– Ну, пусть он побывает в свете! Поведи его в кинематограф или еще куда! Что, ты не можешь повести его в ресторан?

– Нашла учителя! Что, я бывал когда-нибудь в ресторане? Даже не знаю, как там отворять дверей.

– Что ты крутишь? Что ты мне крутишь? Тебе это чужой ребенок? Это крапоткинское дитё, а не твое? Такой большой дурак и не может мальчика развлекать.

Так пошел он к Моте, стал крутить:

– Ну, Мотечка, не сердись на нас. Пойди с отцом немного пройдишь. Я ведь же тебя люблю – ты такой бледненький.

Ну, Мотька туда-сюда – стал крутить: то дайте ему главу дочитать, то у него ноги болят.

– Хороший ребенок! Книжку читать – ноги не болят, а с отцом пройтишь – откуда ноги взялись. Надевай картузик, Мотенька, ну же!

Похныкал мой Мотенька, покапризничал – пошел с папой.

Они только за двери – я сейчас же к нему в ящик... Боже ты мой! И как это у нас до сих пор обыска не было – не понимаю! За что только, извините, полиция деньги получает?.. И Крапоткины у него, и Бебели, и Мебели, и Малинины, и Буренины – прямо пороховой склад. Эрфуртских программ – так целых три штуки! Как у ребенка голова не лопнула от всего этого?!

Ой, как оно у меня в печке горело, если бы вы знали! Быка можно было зажарить.

В одиннадцать часов вечера вернулись Яша с Мотей, а на другое утро такой визг по дому пошел, как будто его резали.

– Где мои книги?! Кто имел право брать чужую собственность! Это насилие! Я протестуюсь!!

Функельманы, это верно, любят молчать, но когда они уже начинают кричать – так скандал выходит на всю улицу.

– Что ты кричишь, как дурак, – говорит Яков. – От этого книжка не появится обратно. Пойдем лучше контру сыграем.

– Не желаю я вашу контру, отдайте мне моего Энгельса и Каутского!

– Мотя, ты совсем сумасшедший! Я же тебе дам фору – будем играть на три рубля. Если выиграешь, покупай себе хоть десяток новых книг.

– Потому только, – говорит Мотя, – и пойду с тобой, чтобы свои книги вернуть.

Ушли они. Пришли вечером в половине двенадцатого.

– Ну что, Мотя? – спрашиваю. – Как твои дела?

– Хорошие дела, когда папаша играет, как маркер. Разве можно при такой форе кончать в последнем шаре? Конечно же, он выиграет. Я не успею подойти к биллиарду, как у него партия

сделана.

Ну, утром встали они, Мотя и говорит:

– Папаша, хочешь контру?

– А почему нет?

Ушли. Слава Богу! Бог всегда слушает еврейские молитвы. Уже Мотя о книжках и не вспоминает.

Раньше у него только и слышишь: «Классовые перегородки, добавочная стоимость, кооперативные начала...»

А теперь такие хорошие русские слова: «Красный по борту в лузу, фора, очко, алагер...» Прямо сердце радовалось.

Ну, пришли они в двенадцать часов ночи – оба веселые, легли спать.

Пиджаки в мелу, взяла я почистить – что-то торчит из кармана. Э, программа кинематографа! Хе-хе! После Эрфуртской программы это, знаете, недурно. Бог таки поворачивает ухо к еврейским молитвам!

Ну, так у них так и пошло: сегодня биллиард, завтра биллиард и послезавтра – тоже биллиард.

– Ну, – говорю я как-то, – слава Богу, Яша... Отвлек ты мальчика. Уже пусть он немного занимается. И ты свой магазин забросил.

– Рано, – говорит Яша. – Еще он еще вчера хотел открытку с видом на Маркса купить.

Ну, рано так рано.

Уже они кинематограф забросили, уже программки цирка у них в кармане.

Еще проходит неделя – кажется, довольно, мальчик отвлекся.

– Мотя, что же с экзаменом? Яша, что же с магазином?

– Еще не совсем хорошо, – говорит Яша, – подождем недельку. Ты думаешь, запросы так легко из человека выходят?!

Недельку так недельку. Уже у них по карманам не цирковая программа, а от кафешантана – ужасно бойкий этот Яша оказался...

– Ну, довольно, Яша, хватит! Гораздо бы лучше, чтобы Мотя за свои книги засел.

– Сегодня, – говорит Яша, – нельзя еще, мы одному человечку в одном месте быть обещали.

Сегодня одному человечку, завтра другому человечку... Вижу я, Яков мой крутить начинает. А один раз оба этих дурака в десять часов утра явились.

– Где вы были, шарлатаны?

– У товарища ночевали. Уже было поздно, и дождик шел, так мы остались.

Странный этот дождик, который на их улице шел, а на нашей улице не шел.

– Я, – говорит Яша, – спать лягу, у меня голова болит. И у Моти тоже голова болит; пусть и он ложится.

Так вы знаете что? Взяла я их костюмы, и там лежало в карманах такое, что ужас: у Мотьки – черепаховая шпилька, а у Яши – черный ажурный чулок.

Это тоже дождик?!

То Эрфуртская программа, потом кинематографическая, потом от цирка, потом от шантана, а теперь такая программа, что плюнуть хочется.

– Яша! Это что значит?

– Что? Чулок! Что ты, чулков не видала?

– Где же ты его взял?

– У коммивояжера для образца.

– А зачем же он надетый? А зачем ты пьяный? А зачем у Мотьки женская шпилька?

– Это тоже для образца.

– Что ты крутишь? Что ты мне крутишь? А отчего Мотька спать хочет? А отчего в твоей чековой книжке одни корешки? Ты с корешков жить будешь? Чтоб вас громом убило, паршивцев!

И теперь вот так оно и пошло: Мотька днем за биллиардом, а ночью его по шантанам черти таскают. Яшка днем за биллиардом, а ночью с Мотькой по шантанам бегают. Такая дружба, будто черт с веревкой их связал. Отец хоть изредка в магазин за деньгами приедет, а Мотька совсем ис-

чез! Приедет переменить воротничок – и опять назад.

Наш еврейский бог услышал еврейскую молитву, но только слишком; он сделал больше чем надо. Так Мотька отвлекся, что я день и ночь плачу.

Уже Мотька отца на биллиарде обыгрывает и фору ему дает, а этот старый осел на него не надыхается.

И так они оба отвлекаются, что плакать хочется. Уже и экзаменов нет, и магазина нет. Все они из дому ташут, а в дом ничего. Разве что иногда принесут в кармане кусок раздавленного ана-наса или половинку шелкового корсета. И уж они крутят, уж они крутят...

* * *

Вы извините меня, что я отнимаю время разговорами, но я у вас хотела одну вещь спросить... Тут никого нет поблизости? Слушайте! Нет ли у вас свободной Эфуртской программы или Крапоткина? Что вы знаете, утопающий за соломинку хватается, так я бы, может быть, попробовала бы... Вы знаете что? Положу Моте под подушку, может, он найдет и отвлечется немного... А тому старому ослу – сплошное ему горе – даже отвлекаться нечем! Он уже будет крутить, и крутить, и крутить до самой смерти...

Мать

I

Так как нас было только трое: я, жена и прислуга, а дачу жена наняла довольно большую, то одна комната – маленькая угловая – осталась пустой.

Я хотел обратить эту комнату в кабинет, но жена отсоветовала.

– Зачем тебе? Летом ты почти не занимаешься, ничего не пишешь, а если что-нибудь понадобится – письмо, телеграмму или записку, – это можно написать в спальне.

– Да зачем же этой комнате пустовать?

– У меня есть мысль: давай сдадим ее.

– Кому? – тревожно спросил я. – Женщине? Это будет возня, капризы, горячие утюги... Мужчине? Он, пожалуй, каналья, начнет за тобой ухаживать... А ты знаешь – взгляды мои на этот счет определенные...

– Что ты, милый! Ни мужчина, ни женщина в этой клетушке не уместится. Нам нужно взять мальчика или девочку. Я так люблю детей...

Мы оба давно мечтали о детях, но детей у нас, как назло, не было. То есть у меня где-то ребенок был, однако жена в нем не была совершенно заинтересована.

Поэтому мы жили скромно и мирно вдвоем, и лишь изредка в наших душах взметалась буря, и щемила нас тоска, когда мы встречали какую-нибудь няньку, влекущую колясочку, занятую толстым краснощеким ребенком.

О дети! Цветы придорожные, украшающие счастливым тяжелый путь горькой жизни... Почему вы так капризны и избегаете одних, принося радость другим?

– Ты права, милая, – сказал я, закусив губы, так как сердце мое больно ущемила тоска. – Ты права. Пусть это будет не наше дитя, но оно скрасит нам несколько месяцев одиночества.

В тот же день я поехал в город и сдал в газету объявление:

«Молодая бездетная чета, живущая на даче в превосходной здоровой местности, имеет лишнюю комнату, которую и предлагает мальчику или девочке, не имеющим возможности жить на даче с родителями. Условия – тридцать рублей на всем готовом. Любовное отношение, внимательный уход, вкусная, обильная пища. Адрес...»

Через три дня я получил ответ:

«Милостивые государи!

Я спешу откликнуться на ваше милое объявление. Не возьмете ли вы моего малютку Павлика, который в этом году лишен возможности подышать и порезвиться на свежем воздухе, так как дела задержат меня в городе на все лето. А свежий воздух так необходим бедному крошке. Он мальчик кроткий, не капризный и забот вам не доставит. Надеюсь, что и у вас его обижать не станут.

С уважением к вам Н. Завидонская».

В тот же день я телеграфировал:

«Согласен. Присылайте или привозите милого Павлика. Ждем».

II

Целое утро провели мы в хлопотах, устраивая маленькому гостю его гнездышко. Я купил кроватку, поставил у окна столик, развесил по стенам картинки, пол устлал ковром – и комнатка приняла прекрасный, сверкающий вид.

В обед получила телеграмма:

«Встречайте сегодня семичасовым. Сожалею, сама быть не могу; его привезет няня. Если ночью будет спать беспокойно, ничего – это от зубов. Ваша Завидонская».

Прочтя телеграмму, я свистнул.

– Э, черт возьми... Что это значит – от зубов? Если у этого парня прорезываются зубы, хо-роши мы будем. Он проорет целую ночь. Экая жалость, что мы не указали желаемого нам возраста. Я думал – мальчишка 8–10 лет, но если это годовалый младенец... благодарю покорно-с!

– Вот видишь! – с упреком сказала жена. – А ты купил ему кровать чуть не в два аршина длины. Как же его положить туда? Он свалится...

– Наплевать! – цинично сказал я (я уже стал разочаровываться в нашей затее). – Можно его веревками к кровати привязать. Но если этот чертенок будет орать...

Жена гневно сверкнула глазами.

– У тебя нет сердца! Не беспокойся... Если малютка станет плакать – я успокою его. Прижму к груди и тихотихо укачаю...

На жениной реснице повисла слезинка. Я задумчиво покачал головой и молча вышел.

К семи часам мы, приказав прислуге согреть молока, были уже на станции.

Время и стуча, подкатил поезд. Станция была крохотная, и пассажиров вышло из вагонов немного: священник, девица с саквояжем, какой-то парень с жилистой шеей и угловатыми движениями и толстая старуха с клеткой, в которой прыгала канарейка.

– Где же наш Павлик? – удивленно спросила жена, когда поезд засвистел и помчался дальше. – Значит, он не приехал? Гм... И няньки нет.

– А может, нянька вон та, – робко указал я, – с саквояжем?

– Что ты! А где же в таком случае Павлик?

– Может... она его... в сак... вояже?

– Не говори глупостей. Что это тебе, котенок, что ли? Толстая женщина с канарейкой, озира-ясь, подошла к нам и спросила:

– Не вы ли Павлика ждете?

– Мы, мы, – подхватила жена. – А что с ним? Уж не захворал ли он?

– Да вот же он!

– Где?

– Да вот же! Павлик, пойдись сюда, поздоровайся с господами.

Парень с жилистой шеей обернулся, подошел к нам, лениво переваливаясь на ходу, выплюнул громадную папиросу из левого угла рта и сказал надтреснутым, густым голосом:

– Драздуйде! Мама просила вам кланяться. Жена побледнела. Я сурово спросил:

– Это вы... Павлик?

– Э? Я. Да вы не бойтесь. Я денежки-то вперед за месяц привез. Маменька просила передать. Вот тут тридцать рублей. Только двух рублей не хватает. Я в городе подзакусил в буфете на станции да вот папиросок купил... Хи-хи...

– Нянька! – строго зашептал я, отведя в сторону толстую женщину. – Что это за безобразие? Какой это мальчик? Если я с таким мальчиком в лесу встречу, я ему безо всякого разговора сам отдам и деньги, и часы. Разве такие мальчики бывают?

Нянька умильно посмотрела мне в лицо и возразила:

– Да ведь он еще такое дитя... Совсем ребенок...

– Сколько ему? – отрывисто спросил я.

– Девятнадцатый годочек.

– Какого же дьявола его мать писала, что он от зубов спит беспокойно? Я думал, у него зубы режутся.

– Где там! Уже прорезались, – успокоительно сказала старуха. – А только у него часто зубы болят. Вы уж его не обижайте.

– Что вы! Посмею ли я, – прошептал я, в ужасе поглядывая на его могучие плечи. – Пусть уж месяц живет. А потом уж вы его ради Бога заберите...

– Ну, прощай, Павлик, – сказала нянька, целуя парня. – Мой поезд идет. Веди себя хорошо, не огорчай добрых господ, не простужайся. Смотрите, барыня, чтобы он налегке не выскакивал из дому; оно хотя время и летнее, да не мешает одеваться потеплее. Да... вот тебе, Павлик, канареечка. Повесь ее от старой няньки на память – пусть тебе поет... Прощайте, добрые господа. До свиданья.

III

Молча втроем – жена, я и наш питомец – побрели мы на дачу.

По дороге Павлик разговорился. Выражался он очень веско, определенно.

– На кой дьявол эта старушенция навязала мне канарейку? – прорычал он. – Брошу-ка я ее.

И с младенческим простодушием он не раздумывая размахнулся и забросил клетку с птицей в кусты.

– Зачем же птицу мучить? – возразила жена. – Выпустите ее лучше.

– Вы думаете? В самом деле – черт с ней.

Павлик поднял клетку, поискал неуклюжими пальцами дверцу и, не найдя ее, легким движением рук разодрал проволочную клетку на две части. Канарейка упала на дорогу и, подпрыгнув, улетела.

Мы молча зашагали дальше.

– А рыба в реке здесь есть? – спросил вдруг Павлик.

– Вы любите ловить рыбу?

Он неожиданно схватился руками за бока и захохотал.

– На сковородке люблю ловить! Я мастер есть рыбков.

Когда мы подходили к дому, он снова прервал молчание и спросил:

– И лес есть? И грибы есть?

– Собирать хотите?

– Кого-о? Тут девицы невинные должны, по-моему, за грибами шататься. Ха-ха!..

И снова он разразился хохотом.

Мы усадили его в саду, попросили минутку подождать, а сами вошли в дом. Жена заплакала:

– Что же это такое?

– Придумала! – злобно сказал я. – Ребеночка иметь захотелось?.. На груди своей его собиравась укачивать, если зубки заболят? Пойди-ка... укачай его...

– Куда же мы его денем? – спросила практичная жена, утирая слезы. – Ведь на той кроватке, если его и пополам сложить, он не уместится.

– Уступлю ему свою комнату, – мрачно сказал я. – А сам как-нибудь тут... на полу буду... или к тебе перейду...

– А вот я ему купила одеяльце... Другого-то нет.

– Отдай ему вместо носового платка. А укрывается пусть ковром. Ничего... не подойдет. Вошла прислуга.

– Я молочко-то разогрела...

– Спасибо, – сказал я. – Ты коньяку лучше к ужину подай.

У открытого окна показался Павлик.

– Это здорово – коньяк. Башковитый вы парень. А котлеты будут?

– Будут.

– А рыба будет?

– Будет.

– Здорово. Значит, мы сегодня двинем для ради первого знакомства.

– Вы можете двигать, – сухо сказала жена, – а ему я не позволю.

IV

На другой день пришло письмо от матери Павлика:

«Прошу сообщить мне, дорогие друзья, как живется у вас Павлику... Я очень беспокоюсь (он у меня один ведь), но приехать навестить его пока не могу. Здоров ли он? Как аппетит? Вы не смущайтесь, если он немного мешковат и застенчив... Он чужих боится, а тем более мужчин. К женщинам он идет скорее, потому что более привык, так как рос в женском обществе. Не надо его особенно кутать, но и без всего его не пускайте. У детей такая нежная организация, что и сам не знаешь, откуда что появляется. Пьет ли он молоко?»

С уважением к вам Н. Завидонская».

В тот же вечер я убедился, что мать Павлика была права: малютка «шел к женщинам скорее, чем к мужчинам». Когда я зашел за горячей водой на кухню, мне прежде всего бросилась в глаза массивная фигура Павлика. Он сидел, держа на коленях прислугу Настю, и, обвив руками Настину талию, взасос целовал ее шею и грудь. От этого Настя ежилась, взвизгивала и смеялась.

– Что ты делаешь? – бешено вскричал я. – Павлик! Убирайся отсюда!

Он выпучил глаза, всплеснул руками и захохотал.

– Вот оно что... Хо-хо! Не знал-с, не знал-с.

– Чего вы не знали? – грубо спросил я.

– Ревнуете-с? А еще женатый...

– Уходите отсюда и никогда больше не шатайтесь в кухне.

Вечером я писал его матери:

«Павлик ваш здоров, но скучает. Мы, признаться, не знали, что он такой крошка, иначе бы не взяли его к себе. Ведь оказалось, что Павлик ваш совсем младенец и даже только недавно отнятый от груди (сегодня мною); лучше бы его взять обратно, а? Мы бы и деньги вернули. Тем более что от молока он отказывается, а молоко с коньяком пьет постольку, поскольку в нем коньяк. Аппетит у него неважный... Вчера за весь день съел только гуся, двух жареных судаков и малюсенький бочоночек малосольных огурцов. Взяли бы вы его, а?»

Мать Павлика ответила телеграммой.

«Неужели трудно подержать мальчика до конца месяца? По тону вашего письма вижу, что вы чем-то недовольны. Странно... Если же он застенчивый ребенок, то это со временем пройдет. Я рада, что аппетит его неплох. Не скучает ли он по маме?»

Я пошел к «застенчивому ребенку». «Застенчивый ребенок» сидел в своей комнате, плавая в облаке табачного дыма, и доканчивал бутылку украденного им из буфета коньяку.

– Павлик! – сказал я. – Мама спрашивает: не скучаете ли вы по ней?

Он посмотрел на меня свинцовым взглядом:

– Какая мама?

– Да ваша же.

– А ну ее к черту!

– За что ж вы ее так?

– Дура! Куда она меня прислала? Тоска, чепуха. Девчоночек нет хороших. Настю – не трогай, того не трогай, этого не трогай... Другой бы давно уже за вашей женой приударил, однако я этого не делаю. Я, братец мой, товарищ хороший... Другой давно бы уже... Выпей, братец, со мной, черт с ними...

Я помолчал немного, размышляя.

– Ладно. Я пойду еще коньяку принесу. Выпьем, Павлик, выпьем, малютка.

Я принес свежую бутылку.

– А вот стакан ты, Павлик, сразу не выпьешь. Он улыбнулся:

– Выпью!

Действительно, он выпил.

– А другой не выпьешь?

– Вот дурак-то. Выпью!

– Ну ладно. Умница. Теперь третий попробуй. Ну что? Вкусно? Что? Спать хочешь? Ну спи, спи, проклятый малютка. Будешь ты у меня знать...

* * *

Я притащил с чердака огромную бельевую корзину, завернул Павлика в простыню и, согнув его надвое, засунул в корзину.

На голову ему положил записку:

«Прошу добрых людей усыновить бедного малютку. Бог не оставит вас. Крещен. Зовут Павликом».

Теперь этот несчастный подкидыш лежит в пустом вагоне товарного поезда и едет куда-то далеко-далеко на юг.

Боже, защитник слабых!.. Сохрани малютку...

Хвост женщины

Недавно мне показывали ручную гранату: очень невинный, простодушный на вид снаряд – этаким металлический цилиндрок с ручкой. Если случайно найти на улице такой цилиндрок, можно только пожать плечами и пробормотать словами крыловского петуха: «Куда оно? Какая вещь пустая»...

Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь рукой за ручку, да размахнетесь по-энергичнее, да бросите подальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от этих десяти человек останется человека три и то – неполных: или руки не будет хватать, или ноги.

Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненькими каблукками по тротуарным плитам, очень напоминает мне ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улыбается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять

эту женщину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и прошептать на ушко: «Ах, если бы ты была моей, птичка моя ты райская». Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разнести, разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие обрывки.

Страшная штука – женщина, и обращаться с ней нужно как с ручной гранатой.

* * *

Когда впервые моя уютная холостая квартирка огласилась ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай), мое сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сделались сразу уютнее, и почудилось, что единственное место для моего счастья – эти четыре комнаты, при условии, если в них совет гнездо Елена Александровна.

– О чем вы задумались? – тихо спросила она.

– Кажется, что я тебя люблю, – радостно и неуверенно сообщил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца. – А... ты?..

Как-то так случилось, что она меня поцеловала – это было вполне подходящим, уместным ответом.

– О чем же ты все-таки задумался? – спросила она, тихо перебирая волосы на моих висках.

– Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня, чтобы мы жили, как две птицы в тесном, но теплом гнезде.

– Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?

– Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну минуту, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз ты меня любишь – с мужем все должно быть кончено. Завтра же переезжай ко мне.

– Послушай... но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже должна взять с собой.

– Ребенок... Ах, да, ребенок!.. Кажется, Марусей зовут?

– Марусей.

– Хорошее имя. Такое... звучное! Маруся. Как это Пушкин сказал? «И нет красавицы, Марии равной»... Очень славные стишки.

– Так вот... Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я расстаться не могу.

– Конечно, конечно. Но, может быть, отец ее не отдаст?

– Нет, отдаст.

– Как же это так? – кротко упрекнул я. – Разве можно свою собственную дочь отдавать? Даже звери и те...

– Нет, он отдаст. Я знаю.

– Нехорошо, плохо. А может быть, он втайне страдать будет? Этак в глубине сердца. Похристиански ли это будет с нашей стороны?

– Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет лучше.

– Ты думаешь – лучше? А вот я курю сигары. Детям, говорят, это вредно. А отец не курит.

– Ну ты не будешь курить в этой комнате, где она, – вот и все.

– Ага. Значит, в другой курить?

– Ну да. Или в третьей.

– Или в третьей. Верно. Ну, что ж... – Я глубоко вздохнул. – Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое теплое гнездышко.

Две нежные руки ласковым кольцом обвилились вокруг моей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент невидимо, незримо – уселись пять женщин.

* * *

Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями превратили в будуар Елены Александровны, и испуганно зашептал:

– Послушай, Лена... Там кто-то сидит.

- Где сидит?
- А вот там, в столовой.
- Так это Маруся, вероятно, приехала.
- Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке. Сидит за столом и мешает что-то в кастрюльке. Лицо широкое, сама толстая. Мне страшно.
- Глупый, – засмеялась Елена Александровна. – Это няня Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.
- Ня... ня?... Какая ня... ня? Зачем ня... ня?
- Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?
- Ах, да... действительно. Этого я не предусмотрел. Впрочем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.
- Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская прислуга – такой ужас...
- Няня, значит?
- Няня.
- Сидит и что-то размешивает ложечкой.
- Кашку изготовила.
- Кашку?
- Ну, да чего ты так взбудоражился?
- Взбудоражился?
- Какой у тебя странный вид.
- Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал... Хи-хи... Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спальню. Выбежал оттуда испуганный.
- Лена!!!
- Что ты? Что случилось?
- Там... В спальне... Тоже какая-то худая, черная... стоит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в спальню. Наверное, воровка... Худая, ворчит что-то. Леночка, мне страшно.
- Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Уляша. Она и там у меня служила.
- Уляша. Там. Служила. Зачем?
- Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну посуди сам.
- Хорошо. Посудю. Нет, и... что я хотел сказать?... Уляша?
- Да.
- Хорошее имя. Пышное такое, Уляшня. Хи-хи... Служить, значит, будет? Так... Послушай: а что же нянька?
- Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Уляша для меня.
- Ага! Ну-ну.
- Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хотелось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок свои мысли.
- Пойду на кухню. Единственная свободная комната.

* * *

- Лена!!!
- Господи... Что там еще? Пожар?
- Тоже сидит!
- Кто сидит? Где сидит?
- Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит. Пришла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку держит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.
- Кто? Что за вздор?!
- Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-богу.
- На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна, там сидит.

– Николаевна? Ага... Хорошее имя. Уютное такое. Послушай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.

– Нет, ты решительное дитя!

– Решительное? Нет, нерешительное. Послушай, в ресторанчик бы...

– Кто? Ты и я? Хорошо-с. А няньку кто будет кормить? А Ульяну? А Марусе если котлеточку изжарить или яичко? А если моя сестра Катя к нам погостить приедет?! Кто же в ресторан целой семьей ходит?

– Катя? Хорошее имя – Катя. Закат солнца на реке напоминает. Хи-хи...

* * *

Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был неприятный, загнанный, вызывавший слезы.

Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и задумался: бедные мы оба с Никифором... Убежать куданибудь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете – Лена, в столовой – няня, в спальне – Маруся, в гостиной – Ульяша, в кухне – Николаевна. «Гнездышко»... Хотел я свить гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и конца ему не видно. Катя вон тоже приедет. Корабль сразу оброс ракушками и уже на дно тянет, тянет его собственная тяжесть. Эх, Лена, Лена!..

– Ну что, брат Никифор! – робко пробормотал я непослушным языком.

– Что прикажете? – вздохнул Никифор.

– Ну вот, брат, и устроились.

– Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: наверное, скоро расчет дадите.

– Никифор, Никифор... Есть ли участь завиднее твоей: получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь в руки свой чемоданчик, засвистишь, как птица, и порхнешь к другому, холостому барину. Заживете оба на славу. А я...

Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме мою руку и тихо пожал ее.

Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!.. Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий человек.

* * *

Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину, бойко стучащую каблучками по тротуару, вы думаете: «Какая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко».

А когда я смотрю на такую женщину, я вижу не только женщину – бледный, призрачный, тянется за ней хвост: маленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, черная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усеянной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несутся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузина Меря, Подстега Сидорова и Ведьма Ивановна... Матушка, матушка, пожалей своего бедного сына!..

* * *

Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная граната, мирно лежащая перед вами.

Возьмите ее, взмахните и подбросьте – на клочки разметется вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать, где ваша рука, где ваша нога!

О голове я уже и не говорю.

Новогодний тост (Монолог)

– Господа!

Предыдущий застольный оратор высказал такое пожелание: поздравляю, мол, вас с Новым

годом и желаю, чтобы в Новом году было все новое!

Так сказал предыдущий оратор.

Мысль, конечно, не новая... (Саня, налей мне, я хочу говорить.) Не новая. Скажу более: мысль, высказанная предыдущим оратором, стара, истасканна, как стоптанный башмак, – да простит мне предыдущий оратор это тривиальное выражение. Что? (Саня, налей мне еще – я буду говорить. Я хочу говорить.) И, вместе с тем, скажу я: почему нам не приветствовать старой, даже, может быть, пошлой – да простит мне предыдущий оратор – мысли, если эта мысль верна?! Что? Очень просто. (Саня, чего заснул? Налить бы надо, а ты спишь.) То-то и оно.

Я и говорю: пусть же в Новом году будет все новое, все молодое, все свежее. (Саня! Ну?) Конечно, всего не омолодишь... Вон у Сергея Христофорыча лысина во всю голову – что с ней сделаешь? Не сеять же на ней, извините, горох или какое-нибудь пшено. Что? Извините, я не настаиваю. Я только хочу сказать, что в природе чудес не бывает.

Но я настаиваю, что все больное, хилое должно отмереть. Верно? (Спасибо, Саня. Осторожнее... На скатерть!) Вон у Петра Васильевича вата в ушах, у Мелетии Семеновны за пазухой, а у предыдущего оратора вата, может быть, в голове – борись-ка с этим! (Не толкайся, Саня! Я должен нынче высказать все.)

Господа!

Да здравствует новое! Вот, например, у меня на салфетке дыра... К чему она? Куда она? Я прошу у хозяйки извинения, но так же нельзя! Я хочу утереть губы салфеткой, беру ее в руки – и что же? Рука попадает в эту дыру, и я вытираю губы незащищенной рукой. К чему же тогда салфетка? Фикция! Оптический обман... (Саня, Саня! Ты совсем не занимаешься физическим трудом – налей!) Мне вспомнился, господа, презабавный случай с одним английским пуделем... Нет, впрочем, это не то... Гм!..

Предыдущий оратор – глуп, но какой-то нерв уловил. Ты мне начинаешь нравиться, предыдущий оратор! «Все, – говорит, – в Новом году должно быть новое...» И верно!

У вас, например, – как вас там, Агния Львовна, что ли?.. – есть дети. Так? Что же это за дети? Это старые дети... Верно я говорю? К черту же их! В воду надо, в мешок, как котят. Надо новых. (Саня, не надо смеяться; надо плакать. Слезы очищают. Эх, господа!)

Я вам расскажу такую историю. У одного англичанина был пудель; и вот этот пудель... Впрочем, пардон – тут дамы... Я лучше продолжу свою мысль о новом. Все, все, все, все должно быть новое. Предыдущий оратор, может быть, не вылезал из приюта для безнадежных идиотов, но, господа! Ведь и устами паралитиков иногда глаголет истина. (Саша, Саша!..) Все новое!

Марья Кондратьевна! Я уже давно замечаю, что у вас – не при муже будет сказано – один и тот же возлюбленный. Второй год... Боже, Боже! Переменить! Пардон, пардон... Я ведь себя не предлагаю! Я говорю лишь ака... академически. Представьте себе: у одного англичанина была собака, пудель... Впрочем, к черту собаку... Чего она тут путается? (Саша, прогони!) Господа, не надо собак... Я ведь и против предыдущего оратора ничего не имею. Он жалкий, несчастный человек – его пожалеть надо. Саша, передай ему от меня копеечку.

Но сказано этим мозгляком хорошо! Верно! Все новое! Все. Простите, сударыня. Я, кажется, облил вам платье? Ничего. Новое купите. По этому поводу один англичанин, у которого был пудель, собака такая... Опять этот пудель? Да прогоните же, господа, ради Бога, собаку! Ну чего она тут под ногами путается? Даже обидно!

Прекратим же все это по случаю Нового года. Пусть все будет по-новому. (Спасибо, спасибо, Саня... Там уже край стакана – больше не войдет.) Все новое! Между нами, господа, есть взяточники, шулера – бросим это! Как сказал тот англичанин, у которого был пудель. У этого пуделя... Какой пудель?! Опять эта проклятая собака тут?! Да прогоните же, черт побери!! Предыдущий оратор, свинья – сделайся же ты, наконец, оратор, человеком! Начнем, наконец! Вот глядите на меня: у меня в руках бутылка старого вина, напротив меня висит старинная картина... Что же я делаю? Р-р-раз! Вот теперь после этого и должно быть: новое вино, новая картина!.. Что-о? Саня, Саня! Не, допускаяй! Не допускаяй, Саня!

Я еще про пуделя хочу. У одного англичанина...

Эх! Вывели... Вывели, как какое-нибудь ничтожное пятно на скатерти!

Грустно... чрезвычайно грустно! Ну, что ж... Пророков всегда гнали...

Роковой Воздуходуев

Наклонившись ко мне, сверкая черными глазами и страдальчески искривив рот, Воздуходуев прошептал:

– С ума ты сошел, что ли? Зачем ты познакомил свою жену со мной?!

– А почему же вас не познакомить? – спросил я удивленно.

Воздуходуев опустил в кресло и долго сидел так, с убитым видом.

– Эх! – простонал он. – Жалко женщину.

– Почему?

– Ведь ты ее любишь?

– Ну... конечно.

– И она тебя?

– Я думаю.

– Что ж ты теперь наделал!

– А что?!

– Прахом все пойдет. К чему? Кому это было нужно? И так в мире много слез и страданий...

Неужели еще добавлять надо?

– Бог знает, что ты говоришь, – нервно сказал я. – Какие страдания?

– Главное, ее жалко. Молодая, красивая, любит тебя (это очевидно) и... что ж теперь? Дернула тебя нелегкая познакомить нас...

– Да что с ней случится?!!

– Влюбится.

– В кого?

Он высокомерно, с оттенком легкого удивления поглядел на меня:

– Неужели ты не понимаешь? Ребенок маленький, да? В меня.

– Вот тебе раз! Да почему же она в тебя должна влюбиться?

Удивился он:

– Да как же не влюбиться? Все влюбляются. Ну рассуждай ты логично: если до сих пор не было ни одной встреченной мною женщины, которая в меня бы не влюбилась, то почему твоя жена должна быть исключением?

– Ну, может быть, она и будет исключением.

Он саркастически усмехнулся. Печально поглядел вдаль.

– Дитя ты, я вижу. О, как бы я хотел, чтобы твоя жена была исключением... Но – увы! Исключения попадают только в романах. Влюбится, брат, она. Влюбится. Тут уж ничего не поделаешь.

– Пожалел бы ты ее, – попросил я. Он пожал плечами.

– Зачем? Оттого, что я ее пожалею, чувства ее ко мне не изменятся. Ах! Зачем ты нас познакомил, зачем познакомил?! Какое безумие!

– Но, может быть... Если вы не будете встречаться...

– Да ведь она меня уже видела?

– Видела.

– Ну, так при чем тут «не встречаться»? Лицо мое вытянулось.

– Действительно... Втяпались мы в историю.

– Я ж говорю тебе!

Тяжелое молчание. Я тихо пролепетал:

– Воздуходуев!

– Ну?

– Если не ее, то меня пожалей.

В глазах Воздуходуева сверкнул жестокий огонек.

– Не пожалею. Пойми же ты, что я не господин, а раб своего обаяния, своего успеха. Это –

тяжелая цепь каторжника, и я должен влачить ее до самой смерти.

– Воздуходуев! Пожалей!

В голосе его сверкнул металл:

– Н-нет!

В комнату вошла молодая барышня, хрупкого вида блондинка с раз навсегда удивленными серыми глазами.

– Анна Лаврентьевна! – встал ей навстречу Воздуходуев. – Отчего вы не пришли ко мне?

– Я? К вам? Зачем?

– Женщина не должна спрашивать «Зачем?». Она должна идти к мужчине без силы и воли, будто спящая с открытыми глазами, будто сомнамбула.

– Что вы такое говорите, право? Как так я пойду к вам ни с того ни с сего?

– Слабеет, – шепнул мне Воздуходуев. – Последние усилия перед сдачей.

И отчеканил ей жестким, металлическим тоном:

– Я живу: Старомосковская, семь. Завтра в три четверти девятого. Слышите?

Анна Лаврентьевна бросила взгляд на меня, на Воздуходуева, на вино, которое мы пили, пожала плечами и вышла из комнаты.

– Видал? – нервно дернув уголком рта, спросил Воздуходуев. – Еще одна. И мне жалко ее. Барышня, дочь хороших родителей... А вот поди ж ты!

– Неужели придет?!

– Она-то? Побегит. Сначала, конечно, борьба с собой, колебания, слезы, но по мере приближения назначенного часа роковые для нее слова: «Воздуходуев, Старомосковская, семь» – эти роковые слова все громче и громче будут звучать в душе ее. Я вбил их, вколотил в ее душу – и ничто, никакая сила не спасет эту девушку.

– Воздуходуев! Ты безжалостен.

– Что ж делать. Мне ее жаль, но... Я думаю, Господь Бог сделал из меня какое-то орудие наказания и направляет это орудие против всех женщин. – Он горько, надтреснуто засмеялся. – Аттила, бич Божий.

– Ты меня поражаешь! В чем же разгадка твоего такого страшного обаяния, такого жуткого успеха у женщин?

– Отчасти наружность, – задумчиво прошептал он, поглаживая себя по впалой груди и хлопывая по острым коленям. – Ну, лицо, конечно, взгляд.

– У тебя синее лицо, – заметил я с оттенком почтительного удивления.

– Да. Брюнет. Частое бритье. Иногда это даже надоедает.

– Бритье?

– Женщины.

– Воздуходуев!.. Ну не надо губить мою жену, ну пожалуйста.

– Тссс! Не будем говорить об этом. Мне самому тяжело. Постой, я принесу из столовой другую бутылку. Эта суха, как блеск моих глаз.

Следующую бутылку пили молча. Я думал о своем неприветливом, суровом будущем, о своей любимой жене, которую должен потерять, – и тоска щемила мое сердце.

Воздуходуев, не произнося ни слова, только поглядывал на меня да потирал свой синий жесткий подбородок.

– Ах! – вздохнул я наконец. – Если бы я пользовался таким успехом...

Он странно поглядел на меня. Лицо его все мрачнело и мрачнело – с каждым выпитым стаканом.

– Ты бы хотел пользоваться таким же успехом?

– Ну конечно!

– У женщин?

– Да.

– Не пожелал бы я тебе этого.

– Беспокорно?

Он выпил залпом стакан вина, со стуком поставил его на стол, придвинулся, положил голову

ко мне на грудь и после тяжелой паузы сказал совершенно неожиданно:

– Мой успех у женщин! Хоть бы одна собака посмотрела на меня! Хоть бы кухарка какая-нибудь подарила меня любовью... Сколько я получил отказов! Сколько выдержал насмешек, издевательств... Били меня. Одной я этак-то сообщил свой адрес, по обыкновению гипнотизируя ее моим властным тоном, а она послушала меня, послушала да – хлоп! А сам я этак вот назначу час, дам адрес и сижу дома, как дурак: а вдруг, мол, явится.

– Никто не является? – сочувственно спросил я.

– Никто. Ни одна собака. Ведь я давеча при тебе бодрился, всякие ужасы о себе рассказывал, а ведь мне плакать хотелось. Я ведь и жене твоей успел шепнуть роковым тоном «Старомосковская, семь, жду в десять». А она поглядела на меня да и говорит: «Дурак вы, дурак, и уши холодные». Почему уши холодные? Не понимаю. Во всем этом есть какая-то загадка... И душа у меня хорошая, и наружностью я не урод – а вот поди ж ты! Не везет, умом меня тоже Бог не обидел. Наоборот, некоторые женщины находили меня даже изысканно-умным, остроумным. Одна баронесса говорила, что сложен я замечательно – прямо хоть сейчас лепи статую. Да что баронесса! Тут из-за меня две графини перецарапались. Так одна все время говорила, что вы, мол, едва только прикоснетесь к руке – я прямо умираю от какого-то жуткого, жгучего чувства страсти. А другая называла меня «барсом». Барс, говорит, ты этакий. Ей-богу. И как странно: только что я с ней познакомился, адреса даже своего не дал, а она сама вдруг: «Я, – говорит, – к вам приеду. Не гоните меня! Я буду вашей рабой, слугой, на коленях за вами поползу...» Смешные они все. Давеча и твоя жена. «От вас, – говорит, – исходит какой-то ток. У вас глаза холодные, и это меня волнует...»

После долгих усилий я уловил-таки взгляд Воздуходуева. И снова читалось в этом взгляде, что Воздуходуев уже устал от этого головокружительного успеха и что ему немного жаль взбалмошных, безвольных, как мухи к меду, льнущих к нему женщин...

С некоторыми людьми вино делает чудеса.

Семь часов вечера

Иногда мы, большие, взрослые люди, бородатые, усатые, суровые, с печатью важности на лице, вдруг ни с того, ни с сего становимся жалкими, беспомощными, готовыми расплакаться от того, что мама уехала в гости, а нянька ушла со двора, оставив нас в одиночестве в большой полумрачной комнате.

Жалко нам себя, тоскливо до слез, и кажется нам, что мы одиноки и заброшены в этом странно молчащем мире, ограниченном четырьмя сумрачными стенами.

Почему-то это бывает в сумерки праздничного дня, когда все домашние разбредаются в гости или на прогулку, а вы остались один и долго сидите так, без всякого дела. Забившись в темный угол комнаты и остановив пристальный взгляд на двух светло-серых четырехугольниках окон, сидите вы с застывшими, как холодная лава, мыслями – тихий, покорный и бесконечно одинокий.

Заметьте: в это время непременно где-то этажом выше робкие женские руки трогают клавиши рояля, и вы вливаете свою застывшую грусть в эти неуверенные звуки, и эти неуверенные звуки крепко сплетаются с вашей грустью. Мелодия почти не слышна. До вас доносится только отчетливый аккомпанемент, и от этого одиночество еще больше. Оно, впрочем, от всего больше – и от того, что улица за серыми окнами дремлет, молчаливая, и от того, что улица вдруг оглашается недоступной вашему сердцу речью двух неведомых вам пешеходов, отчетливо стучащих четырьмя ногами и двумя палками по заснувшим тротуарным плитам:

«...А что же Спирька на это сказал?»

– Вот еще, стану я считаться с мнением Спирьки, этого дурака, который...»

И снова вы застываете, одинокий, так и не узнав, что сказал Спирька и почему с мнением Спирьки не следует считаться? И никогда вы ничего больше не узнаете о Спирьке... Кто он? Чиновник, клубный шулер или просто веснушчатый, краснорукий гимназист выпускного класса?

Никому до вас нет дела. Интересы пешеходов поглощены Спирькой, все домашние ушли, а любимая женщина, наверное, забыла и думать о вас.

Сидите вы, согнувшись калачиком в углу дивана, сбоку или сверху у квартирантов робкие руки отбивают мерный, хватающий за сердце своей определенностью такт, а где-то внизу проходит еще одна пара и оставляет в ваших мыслях она расплывающийся след, как от брошенного в мертвую воду камня:

«– Нет, этого никогда не будет, Анисим Иванович...

– Почему же не будет, Катенька? Очень даже обидно это от вас слышать...

– Если бы я еще не знала, что вас...» И прошли.

Роман, драма, фарс проплыл мимо вас, а вы в стороне, вы никому не нужны, о вас все забыли... Жизнь идет стороной; вы почти как в могиле.

Конечно, можно встать, встряхнуться, надеть пальто, пойти к приятелю, вытащить его и побродить по улицам, оставляя, в свою очередь, в чужих открытых окнах обрывки волнующих вас слов:

«– Ты слишком мрачно глядишь на вещи.

– Это я-то?! Ну, знаешь ли... Ведь она его не любит, ее просто забавляет то, что...»

Конечно, можно самому превратиться в такого пешехода, вырваться из оцепенелых лап тихой печали и одиночества, но не хочется пошевелить рукой, не то что сдвинуться с места.

И сидишь, сидишь, а сердце обливается жалостью к самому себе:

– Забыли!.. Оставили!.. Никому нет до меня дела.

* * *

Я ли один переживаю это или бывает такое же настроение у банкиров, железнодорожных бухгалтеров, цирковых артистов и магазинных продавщиц, оставшихся по случаю праздничных сумерек дома?

О чем же вам-то грустить, далекие неизвестные товарищи по временному одиночеству? Или никакой тут причины и не нужно, а все дело в сумерках, звуках рояля и голосах пешеходов под окнами?

Вот и сегодня: сижу я в сладком оцепенении печали и жалости к самому себе, и рояль рококет басовыми нотами у верхних квартирантов, и неизвестные мне люди за окном переговариваются о далеких мне делах и интересах...

Все бросили меня, бедного, никому я не нужен, всеми забыт... Плакать хочется.

Даже горничная ушла куда-то. Наверное, подумала: брошу-ка я своего барина, на что он мне – у меня есть свои интересы, а мне до барина нет никакого дела. Пусть себе сидит на диване, как сыч.

Боже ж ты мой, как обидно!

В передней звонок.

О счастье! Неужели обо мне кто-нибудь вспомнил? Неужели я еще не старая кляча, всеми позабытая и оставленная?

Незнакомая барыня в лиловой шляпке входит в мой кабинет, садится на стул, долго осматривает меня при свете зажженных мною ламп.

– Вот вы какой! – говорит она, внимательно меня оглядывая. – Как странно: читаю вас несколько лет, а вижу в первый раз.

Бодрое настроение возвращается ко мне (я не забыт!).

– Читаете несколько лет, а видите в первый раз? Печально, если бы было наоборот, – усмехаюсь я.

– Вы и в жизни такой же веселый, как в ваших рассказах?

– А разве мои рассказы веселые?

– Помилуйте! Иногда, читая их, просто как сумасшедшая смеетесь.

– Вот не думал. Когда я пишу свои рассказы, я не подозреваю, что они могут рассмешить.

– Еще как! Вы знаете, почему я пришла к вам? Я пришла поблагодарить вас за хорошие минуты, которые вы доставили мне своими рассказами. Ах, вы так чудно, так чудно пишете...

Почему-то делается жаль уплывших сумерек, гулких шагов и голосов неведомых пешеходов,

и рояля, который тоже притих, будто сообразив, что он уже не в тоне сумерек и голосов за окном.

– Некоторые ваши рассказы я прямо наизусть знаю...

– Вы, право, избалуете меня... Ну, какой же рассказ запомнился вам?

– Я как-то не запоминаю заглавий. Одним словом, о чиновнике, который хотел учиться кататься на лошади, а потом упал с нее, и его родственники смеялись над ним и невеста тоже... отказалась выйти за него замуж.

– Позвольте, сударыня... Да у меня нет такого рассказа.

– Быть не может!

– Уверяю вас.

– Значит, я что-нибудь спутала. Ах, я, знаете, такая рассеянная! Совсем как та старушка в вашем рассказе, которая забыла надеть юбку да так и пошла по улице без юбки. Я страшно смеялась, когда читала этот рассказ.

– Сударыня! У меня и такого рассказа нет!

– Вы меня просто удивляете! Какие же у вас рассказы есть, если того нет, этого нет!.. Ну, есть у вас такой рассказ, как еврейка выколола в шутку сыну глаз, а потом повезла его к зубному доктору?

– Вроде этого: она не выколола сыну глаз, а просто у него заболел глаз; бедная мать в суматохе схватила не того ребенка, завернула его в платок и повезла на последние деньги в другой город к доктору, у которого эта роковая для матери ошибка и обнаружилась.

– Ну да, что-то вроде этого. Мы с сестрой так смеялись...

– Простите, но этот рассказ не смешной; это очень печальная история.

– Да? А мы с сестрой смеялись...

– Напрасно. Мы молчим.

– Я вам сейчас не помешала?

– Нет.

– Вам, наверное, надоели всякие поклонницы!..

– Нет, что вы! Ничего.

– И вы на меня не смотрите, как на сумасшедшую?..

– Почему же?..

– Вам нравится моя наружность?

– Хорошая наружность.

– Нет, серьезно! Или вы просто из вежливости говорите?

– Зачем же из вежливости?

– Ну вот, вы писатель... Скажите: можно было бы мною серьезно увлечься?

– Отчего же.

– А вдруг вы всем женщинам говорите одно и то же?

– Зачем же всем.

– Я вас видела недавно в театре, и вы мне безумно понравились. Я тогда же решила с вами познакомиться.

– Спасибо.

– В вас есть что-то притягательное. Садитесь сюда.

– Сейчас. В каком театре вы меня видели?

– Это не важно. Вы, наверное, очень избалованы женщинами?

– Нет.

– Вы меня не прогоните, если я еще раз приду? С вами так хорошо... Вы какой-то... особенный.

– Да, на это меня взять, – уныло соглашаюсь я.

– Я знакома еще и с другими писателями... С Белясовым.

– Не знаю Белясова.

– Серьезно? Странно. А он вас знает. Он вам страшно завидует. Говорил даже, что вы все ваши рассказы берете из какого-то английского журнала, но я не верю. Врет, я думаю.

– Белясов-то? Конечно, врет.

- Ну, вот видите. Просто завидует. А я вас люблю. Вас можно любить?
- Можно.
- Спасибо. Вы такой чуткий. Я пойду... Ах, как не хочется от вас уходить. Век бы сидела...

* * *

Ушла.

И сказал я сам себе: будь же счастлив, не тоскуй. Ты не одинок. Сейчас ты вкусил славу, любовь женщин и зависть коллег. Тобой зачитываются, в тебя влюбляются, тебе завидуют. Будь же счастлив!! Ну? Чего же ты стонешь?

Я погасил огни, упал ничком на диван, закусил зубами угол подушки, и одиночество, – уже грозное и суровое, как рыхлая могильная земля, осыпаясь, покрывает гроб, – осыпалось и покрыло меня.

Сумерки сгустились в ночь, рояль глухо забарабанил сухими аккордами, а с улицы донеслись два голоса:

- Эх, напьюсь же я нынче!
- С чего это такое?
- Манька опять к своему слесарю побежала. Прошли. Тишина. Вечер. Рояль. Опасно, если в такой вечер близко бритва лежит. Зарезаться можно.

Пылесос

Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело – с дураком или мошенником? – смело выбирайте мошенника.

Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.

Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия... – кто проникнет в тайны темной дурацкой психики?

Мошенник – математика, повинующаяся известным законам, дурак – лотерея, которая никаким законам и системам не повинуетя.

Самый типичный дурак – это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца.

Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных.

А подумайте – так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил, и пылинке бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно не отборное, пополам с разной дрянью – втрое дешевле... Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет!

Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу – на это не способен самый отъявленный мошенник.

Почти всякий из нас, читатели, – курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака.

Поэтому – долой дураков!

Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки, – как он чисто, ловко и аккуратно это делает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень... момент – и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью, потерявший форму комок.

И еще: видели ли вы, как работает так называемый «пылесос»?

Прекрасное, волшебное зрелище.

Как будто одаренный человеческим умом и энергией, нащупывает хобот аппарата залежи

пыли. Глядишь: только прикоснулся к ним – и уже сверкает белизной грязное, загаженное место... Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втянет аппарат своими могучими легкими.

И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля.

Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал:

– А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну...

– Каким образом?

– Да сказал, что видели вас в «Аквариуме» с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я – не дурак ведь – помучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.

– Кто же вас просил говорить об этом?

– Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, да я-то не дурак, слава Богу, хе-хе... Не выдал вас.

Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.

Я глядел на его работу и думал:

«Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков? Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился и дышать сделалось бы легче».

Эта мысль – придумать пылесос для дураков – гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался...

* * *

– Что я с ними буду делать, ты подумай! – плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. – На что они мне, эти проклятые пятьсот десятин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень, вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город – за двести верст.

Я потер рукой голову.

– Вот что... Садись за стол и пиши объявление в газеты...

Он сел.

– Ну?

– Пиши: «В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса; почва – песок и глина. Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При больших покупках – дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Каруд».

– Господи Иисусе, – ахнул мой друг. – Кто же может откликнуться на это предложение?.. Разве только круглый дурак.

– Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единственное место, где дураки соберутся в такую плотную компактную массу. Твоя земля – это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи... То-то хорошо дышать будет.

– Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко...

– Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!

– Ну так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.

– Ни за что! Пиши так: «Холодная бесснежная зима, жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности...» Есть?

– Есть. Да только уж и не знаю – выйдет ли что-нибудь из этого?

* * *

Вышло.

В «Контору по продаже земель в поселке Каруд» посыпались письменные запросы. Спраши-

вали:

«Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины, посустрее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть!»

Один господин писал:

«Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение „лихорадочная местность“? Не в смысле ли это „лихорадочной деятельности в этой местности“?»

Дама писала:

«Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина».

* * *

Через два месяца половина участков в поселке Каруд была распродана.
Пылесос работал всюю.

Фокус великого вино

Отдохнем от жизни. Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом – на бутылочке-то пыли сколькоросло – вековая пыль, благородная, – а теперь слушайте...

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину.

Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшись от земли мяч, взлетел на десять саженей вверх, стал на площадку у скалы – совершенно сухой и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и наконец лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения папироса делалась все больше и больше и наконец стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся – и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилок таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню – жарить... Повар положил его на сковородку, потом снял, сырого утыкал перьями, поводил ножом по горлу, отчего

цыпленок ожил и потом побежал по двору.

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернуть ручку назад – и пошло-поехало...

Передо мной – бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг – перо пошло в обратную сторону – будто соскабливая написанное, и, когда передо мной – чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары, – селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали и – укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца – давно пора, – вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину – вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова паука-кровопийцы об объявлении войны не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетает в еврейские перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! Замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну как не выпить на радо-

стях... С манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» – восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили...

.....
Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле – почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?

Люди, близкие к населению

Его превосходительство откинулось на спинку удобного кресла и сказала разнеженным голосом:

– Ах, вы знаете, какая прелесть это искусство!.. Вот я на днях был в Эрмитаже, такие там есть картинки, что пальчики оближешь: Рубенсы разные, Теннисы, голландцы и прочее в этом роде.

Секретарь подумал и сказал:

– Да, живопись – приятное времяпрепровождение.

– Что живопись? А музыка! Слушаешь какую-нибудь ораторию, и кажется тебе, что в небесах плаваешь... Возьмите Гуно, например, Берлиоза, Верди, да мало ли...

– Гуно – хороший композитор, – подтвердил секретарь. – Вообще, музыка – увлекательное занятие.

– А поэзия! Стихи возьмите. Что может быть возвышеннее?

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

И я понял в одно мгновенье...

Ну, дальше я не помню. Но, в общем, хорошо!

– Да-с. Стихи чрезвычайно приятные и освежительны для ума.

– А науки!.. – совсем разнежась, прошептало его превосходительство. – Климатология, техника, гидрография... Я прямо удивляюсь, отчего у нас так мало открытий в области науки, а также почти не слышно о художниках, музыкантах и поэтах?

– Они есть, ваше превосходительство, но гибнут в безвестности.

– Надо их открывать и... как это говорится, вытаскивать за уши на свет божий.

– Некому поручить, ваше превосходительство!

– Как некому? Надо поручить тем, кто стоит ближе всех к населению. Кто у нас стоит ближе всех к населению?

– Полиция, ваше превосходительство!

– И прекрасно! Это как раз по нашему департаменту. Пусть ищут, пусть шарят! Мы поставим искусство так высоко, что у него голова закружится.

– О-о, какая чудесная мысль! Ваше превосходительство, вы будете вторым Фуке!

– Почему вторым? Я могу быть и первым!

– Первый уже был. При Людовике XIV. При нем и благодаря ему расцвели Лафонтен, Мольер и др.

– А-а, приятно, приятно! Так вы распорядитесь циркулярчиком.

* * *

Губернатор пожевал губами, впал в глубокую задумчивость и затем еще раз перечитал полученную бумагу:

«2 февраля 1916 г. Второе делопроизводство департамента.

Принимая во внимание близость полиции к населению, особенно в сельских местностях, позволяющую ей точно знать все там происходящее и заслуживающее быть отмеченным, прошу ваше превосходительство поручить чинам подведомственной вам полиции в случае каких-либо открытий и изобретений, проявленного тем или иным лицом творчества или сделанных кем-либо ценных наблюдений, будет ли то в области сельского хозяйства или технологии, поэзии, живописи или музыки, техники в широком смысле или климатологии, – немедленно доводить до вашего сведения, и затем по проверке представленных вам сведений, особенно заслуживающих действительного внимания, сообщать безотлагательно в министерство внутренних дел по департаменту полиции».

Очнулся.

– Позвать Илью Ильича! Здравствуйте, Илья Ильич! Я тут получил одно предписание: узнавать, кто из населения занимается живописью, музыкой, поэзией или вообще какой-нибудь климатологией, и по выяснении лиц, занимающихся означенными предметами, сообщать об этом в департамент полиции. Так уж, пожалуйста, дайте ход этому распоряжению!

– Слушаю-с.

* * *

– Илья Ильич, вы вызывали исправника. Он ожидает в приемной.

– Ага, зовите его! Здравствуйте! Вот что, мой дорогой! Тут получилось предписание разыскивать, кто из жителей вашего района занимается поэзией, музыкой, живописью, вообще художествами, а также климатологией, и, по разыскании и выяснении их знания и прочего, сообщать об этом нам. Понимаете?

– Еще бы не понять? Будьте покойны, не скроются.

* * *

– Становые пристава все в сборе?

– Все, ваше высокородие!

Исправник вышел к приставам и произнес им такую речь:

– До сведения департамента дошло, что некоторые лица подведомственных вам районов занимаются живописью, музыкой, климатологией и прочими художествами. Предлагаю вам, господа, таковых лиц обнаруживать и, по снятии с них показаний, сообщать о результатах в установленном порядке. Прошу это распоряжение передать урядникам для сведения и исполнения.

* * *

Робко переступая затекшими ногами в тяжелых сапогах, слушали урядники четкую речь станового пристава:

– Ребята! До сведения начальства дошло, что тут некоторые из населения занимаются художеством – музыкой, пением и климатологией. Предписываю вам обнаруживать виновных и, по выяснении их художеств, направлять в стан. Предупреждаю: дело очень серьезное и потому никаких послаблений и смягчений не должно быть. Поняли?

– Поняли, ваше благородие! Они у нас почешутся. Всех переловим.

– Ну, вот то-то. Ступайте!

* * *

– Ты Иван Косолапов?
– Я, господин урядник!
– На гармонии, говорят, играешь?
– Это мы с нашим вдовольствием.
– А-а-а... «С вдовольствием»? Вот же тебе, паршивец!
– Господин урядник, за что же? Нешто уж и на гармонии нельзя?
– Вот ты у меня узнаешь «вдовольствие»! Я вас мерзавцев всех обнаружу. Ты у меня заиграешь! А климатологией занимаешься?
– Что вы, господин урядник? Нешто возможно? Мы, слава Богу, тоже не без понятия.
– А кто же у вас тут климатологией занимается?
– Надо быть Игнашка Кривой к этому делу причинен. Не то он конокрад, не то это самое.
– Взять Кривого. А тебя, Косолапов, буду держать до тех пор, пока всех сообщников не покажешь.

* * *

– Ты – Кривой?
– Так точно.
– Климатологией занимался?
– Зачем мне? Слава Богу, жена есть, детки...
– Нечего прикидываться! Я вас всех, дьяволов, переловлю! Песни пел?
– Так нешто я один. На лугу-то запрошлое воскресенье все пели: Петрушка Кондыба, Фома Хряк, Хромой Елизар, дядя Митяй да дядя Петряй...
– Стой, не таракхи! Дай записать... Эка, сколько народу набирается. Куда его и сажать? Ума не приложу.

* * *

Через две недели во второе делопроизводство департамента полиции стали поступать из провинции донесения:

«Согласно циркуляра от 2 февраля, лица, виновные в пении, живописи и климатологии, обнаружены, затем, после некоторого запираательства, изобличены и в настоящее время состоят под стражей впредь до вашего распоряжения».

* * *

Второй Фуке мирно спал, и грезилось ему, что второй Лафонтен читал ему свои басни, а второй Мольер разыгрывал перед ним «Проделки Скапена».

А Лафонтены и Мольеры, сидя по «холодным» и «кордегариям» необъятной матери-России, закаивались так прочно, как только может закаяться простой русский человек.

О гробах, тараканах и пустых внутри бабах

Как-то давно-давно мне рассказали забавный анекдот... Один еврей, не имеющий права жительства, пришел к царю и говорит:

- Ваше величество! Дайте мне, пожалуйста, право жительства!
- Но ведь ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники.
- Ну, так я ремесленник.
- Какой же ты ремесленник! Что ты умеешь делать?
- Укус умею делать.
- Подумаешь, какое ремесло, – усмехнулся скептически государь, – и я умею делать укус.

– И вы умеете? Ну, так вы тоже будете иметь право жительства!

Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты; настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли – не имеют права жительства.

Некоторое исключение представляет собой Константинополь: человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство «делать уксус» в той или другой форме – все-таки дает право на жизнь.

Вот мои встречи с такими «ремесленниками, имеющими право жительства», неунывающими, мужественными делателями «уксуса».

* * *

Они сидели на скамейке в саду Пти-Шан и дышали теплым весенним воздухом – бывший журналист, бывший поэт и бывш... чуть по привычке не сказал – бывшая сестра журналиста... Нет, сестра журналиста была настоящая... Дама большой красоты, изящества и тонкого шарма...

Всем трем я искренно обрадовался, и они обрадовались мне.

– Здорово, ребята! – приветствовал я эту тройку. – Что подельваете в Константинополе?

Все трое переглянулись и засмеялись.

– Что мы подельваем... Да вы не поймете, если мы скажем...

– Я не пойму? Да нет на свете профессии, которой бы я не понял!

– Я, например, – сказал журналист, – лежу в гробу.

– А я, – подхватил поэт, – хожу в женщине.

– А я, – деловито заявила журналистова сестра, – состою при зеленом таракане.

– Все три ремесла – довольно странные, – призадумался я. – Делать уксус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб?..

– Одна гадалка принаняла. У нее оккультный кабинет: лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов.

– А вот вы, который «ходит в женщине»? Каким ветром вас туда занесло?

– Не ветром, а голодом. Огромная баба из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить по Пере, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана.

– Поистине, – сказал я, – ваши профессии изумительны, но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане!

– Смейтесь, смейтесь... Однако зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себе, – зеленые. И поэтому я обязана иметь на правом плече большой зеленый бант: цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега, и вот я служу на записи в тараканий тотализатор. Просто, кажется?

– Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третья – при таракане состоит.

Отошел я от них и подумал:

«Ой крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит...»

Обыкновенная женщина

Звали эту женщину – Зоя, имя легкое, не имеющее веса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми лучами солнца, вызывающее мысль о светлых, коротко подстриженных кудрях и тонкой атласной коже с голубыми жилками; губки розовые, ножки маленькие, голосок, как серебряная ниточка.

Вот какое представление вызывает у меня имя – Зоя. А может быть, все это потому, что но-

сительница имени «Зоя» – была действительно такова по внешности.

Мы с ней жили вместе и, не могу сказать, чтобы жили плохо...

Но я никак не мог отделаться от мысли, что она не настоящий человек, втайне смотрел на нее, как на забавную игрушку, и однажды, когда она, наморщив лоб, спросила меня в упор:

– Скажи, ты уважаешь меня? – Я упал с оттоманки на диван и стал корчиться от невыносимого смеха отчасти утрированного, отчасти – настоящего.

– Чудак ты, человечина, – отвечал я ей, успокаивая. – На что тебе мое уважение? Ты бы ревели от муки и тоски, если бы я тебя уважал. Ну, за что тебя уважать, скажи на милость?

– За что?

Она немного растерялась.

– Как за что? Ну за то, что я... гм! Порядочный человек. За то, что я к тебе хорошо отношусь... Ну, за то, что я... тебе нравлюсь.

– Замечательный ты человечина! Разве за это уважают? За это любят.

– Так ты меня любишь?

– Ну конечно.

– Значит, я лучше всех?

– Помилуй, как так ты лучше всех? Не дай бог, если бы ты была лучше всех... Тогда все мужчины повлюблялись бы в тебя, и я уж никак не мог бы протолпиться к твоему сердцу... Нет, конечно, есть на свете женщины лучше тебя.

Она опечалилась... Опустила голову и сказала, растерянно разглаживая пальчиком шов диванной подушки:

– Вот тебе и раз... я этого от тебя не ожидала...

А я рассматривал ее близко-близко, как естествоиспытатель – редкого зверька, и мне было смешно-смешно.

– Ну, посуди сама! Голубь мой золотой: не может же быть, чтобы ты была лучше всех... Есть женщины лучше тебя? Есть. Красивее? Есть. Обаятельнее? Есть.

Она криво усмехнулась:

– Ну, в таком случае я счастливее тебя: ты, по-моему, самый умный, самый красивый, самый обаятельный...

– Ты так думаешь? А по-моему, я вот что: я человек 35 лет, шатен, лицо приятное, особых примет нет, ум не государственный, а так, для домашнего обихода, а что касается обаяния, то почему же, черт возьми, меня окружают десятки женщин, которым даже в голову не придет обратить на меня благосклонное внимание?

– Господи ты мой. Господи, какой вздор несет этот человек! Знаешь, какой ты? Я тебя опишу: у тебя глаза горят, как две звездочки, улыбка твоя туманит голову, а голос твой проникает в самое сердце и прямо переворачивает его. Знаешь, на кого ты похож? На серебряного тигра, вот на кого.

– Не видал таких. Они что ж, эти серебряные тигры, также носят визитку, темный галстук и по будним дням ходят на службу?

– Ты – глупый.

– Не скажу. Недалекий – пожалуй, но глупый – это уже крайность.

– Слушай, – прошелестела она мне на ухо, прижимаясь ко мне. – Я сказала тебе, какой ты...

– Ну?

– Теперь же скажи мне, какая я?

– Ты? Зовут тебя Зоя, ты ниже среднего женского роста, волосы у тебя очень хорошие, грудь немного полнее, чем бы следовало, а ноги немного короче, чем это требуется правилами женского сложения. Но и то и другое – следствие твоего роста. Таковы уж все маленькие женщины. Глаза красивые, но поставлены друг к другу ближе, чем следует. Ручка малюсенькая, но ногти, хотелось бы, чтобы были поуже.

Она встала и отшатнулась от меня, бледная, с широко раскрытыми, остановившимися глазами.

– Постой! И ты осмеливаешься говорить, что любишь меня?! Меня, с большой грудью, с ко-

роткими ногами, с широкими ногтями – ты говоришь, что любишь меня?!!

Она упала на диван, и слезы, как вешние воды с гор, хлынули из глаз ее.

А я сидел, задумчиво опершись подбородком о свою спокойную холодную руку, и внимательно рассматривал плачущую женщину.

И думал:

«Понять женщину легко, но объяснить ее трудно. Какое это нечеловеческое, выдуманное чьей-то разгоряченной фантазией существо! Что может быть общего между мной и ею, кроме физической близости и примитивных домашних интересов?»

А она рыдала, исходила слезами, изредка ударяясь головой о собственные, сложенные на спинке дивана руки:

– А я-то, глупая, думала все время, что мы созданы друг для друга!! Еще давеча, когда к чаю подали печенье и ты выбирал только соленое, то я подумала: Господи, как много между нами общего, хым... хым...

– Между нами – общее?! Что за ересь говоришь ты? С какой стороны мы похожи друг на друга? Я – большой, толстый, сильный, ты маленькая, хрупкая, закутанная в кружевные тряпки и ленты. Я дымлю папиросами, как фабричная труба. Ты задыхаешься от этого дыма, как моль от нафталина. Попробуй надеть на меня то, что носите вы: туфли на высоченных каблуках, паутинные панталоны, кофточку из кисеи, корсет. Я сделаю несколько шагов и последовательно: упаду, простужусь насмерть и задохнусь от корсета, одним словом – погибну. Ну, что же общего между нами? А попробуй надеть мужской костюм на хорошо сложенную женщину – и спереди и сзади это будет так нехудожественно, так неэстетично... Правда, худые женщины могут надевать мужской костюм, но это только тогда, когда у них нет ни груди, ни бедер, то есть когда они похожи на мужчину.

Она подняла на меня страдающие, заплаканные глаза...

– Это все пустяки, все внешние различия, а я говорю о духовном средстве.

– Увы, где оно?.. Мужчина почти всегда духовно и умственно превосходит женщину...

Ее глаза засверкали.

– Да?!! Ты так думаешь? А что, если я тебе скажу, что у нас в Киеве были муж и жена Тиняковы, и – знаешь ли ты это? – она окончила университет, была адвокатом, а он имел рыбную торговлю!! Вот тебе!

– Дитя ты мое неразумное, – засмеялся я, ласково, как ребенка, усаживая ее на колени. – Да ведь ты сама сейчас подчеркнула разницу между нами. Заметь, что я, мужчина, всегда говорю о правиле, а ты – бедная логикой, обыкновенная женщина, – сейчас же подносишь мне исключение. Бедная головушка! Все люди имеют на руках десять пальцев – и я говорю об этом... А ты видела в паноптикуме мальчишку с двенадцатью пальцами – и думаешь, что в этом мальчишке заключено опровержение всех моих теорий о десяти пальцах.

– Ну, конечно, – удивилась она. – Как же можно говорить о том, что правило – десять пальцев, когда (ты же сам говоришь!) существуют люди с двенадцатью пальцами.

Говоря это, она деловито бегала по комнате, уже забыв о своих горьких слезах, и деловито переставляла какие-то фарфоровые фигурки и какие-то цветы в вазочках. И вся она в своих туфельках на высоких каблуках, в нечеловеческом пеньюаре из кружев и ленточек, с золотистой подстриженной кудрявой головкой и еще не высохшими от слез глазами, с ее покровительственным тоном, которым она произнесла последние слова, – вся она, эта спокойно чирикающая птица, не ведающая надвигающейся грозы моего к ней равнодушия, – вся она, как вихрем, неожиданно закружила мое сердце.

Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая и неизбежная жалость, которая сильнее любви, – затопила меня всего.

«Вот я сейчас только решил в душе своей, что не люблю ее и прогоню от себя... А куда пойдет она, эта глупая, жалкая, нелепая пичуга, которая видит в моих глазах звезды, а в манере держаться – какого-то не существующего в природе серебристого тигра? Что она знает? Каким богам, кроме меня, она может молиться? Она, назвавшая меня вчера своим голубым сияющим принцем (и чина такого нет, прости ее Господи!)».

А она, постукивая каблукками, подошла ко мне, толкнула розовой ладонью в лоб и торжествующе сказала:

– Ага, задумался! Убедила я тебя? Такой большой – и так легко тебя переспорить...

Жалость, жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, одеревяневшее сердце.

Я привлек ее к себе и стал целовать. Никогда не целовал я ее более нежно и пламенно.

– Ой, оставь, – вдруг тихонько застонала она. – Больно.

– Что такое?!

– Вот видишь, какой ты большой и глупый... Я хотела тебе сделать сюрприз, а ты... Ну да! Что ты так смотришь? Через семь месяцев нас будет уже трое... Ты доволен?

* * *

Я долго не мог опомниться.

Потом нежно посадил ее к себе на колени и, разглядывая ее лицо с тем же напряженным любопытством, с каким вивисектор разглядывает кролика, спросил недоверчиво:

– Слушай, и ты не боишься?

– Чего?..

– Да вот этого... ребенка... Ведь роды вообще опасная штука.

– Бояться твоего ребенка? – мягко, непривычно мягко усмехнулась она. – Что ты, опомнись... Ведь это же твой ребенок.

– Послушай... Можно еще устроить все это...

– Нет!

Это прозвучало как выстрел. Последующее было мягче, шутивее:

– А ты прав: между мужчиной и женщиной большая разница...

– Почему?

– Да я думаю так: если бы детей должны были рожать не женщины, а мужчины, – они бежали бы от женщин, как от чумы...

– Нет, – серьезно возразил я. – Мы бы от женщин, конечно, не бегали. Но детей бы у нас не было – это факт.

– О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрее, мужественнее вас. И знаешь – это будет превесело: нас было двое – станет трое.

Потом она долго, испытующе поглядела на меня:

– Скажи, ты меня не прогонишь? Я смутился:

– С чего ты это взяла? Разве я говорил тебе о чемнибудь подобном?

– Ты не говорил, а подумал. Я это почувствовала.

– Когда?

– Когда переставляла цветы, а ты сидел тут на оттоманке и думал. Думал ты: на что она мне – прогоню-ка я ее.

Я промолчал, а про себя подумал другое: «Черт знает кто их сочинил, таких... Умом уверена, что люди о двенадцати пальцах, а чутьем знает то, что на секунду мелькнуло в темных глубинах моего мозга...»

– Ты опять задумался, но на этот раз хорошо. Вот теперь ты миляга.

Разгладила мои усы, поцеловала их кончики и в раздумье сказала:

– Пожалуй, что ты больше всего похож на зайца: у тебя такие же усики...

– Нет, уж извини: мне серебристый тигр больше по душе!..

– Ну, не надо плакать, – покровительственно хлопнула она меня по плечу. – Конечно, ты тигр серебряный, а усики из золота с бриллиантами.

Я глядел на нее и думал:

«Ну, кому она нужна, такая? Нет, нельзя ее прогнать. Пусть живет со мной».

– Ну, послушай... Ну, посуди сам: разве это не весело? Нас сейчас двое, а через семь месяцев будет трое.

* * *

И тут она ошиблась, как ошибалась во многом: через семь месяцев нас было по-прежнему двое – я и сын. Она умерла от родов.
Мне очень жалко ее.

Окружающие

Один человек решил жениться.

Мать.

– Я женюсь, – сказал он матери. Подумав немного, мать заплакала. Потом утерла слезы. Сказала:

– Деньгами много?

– Не знаю.

– Ну, хоть так, тряпками-то есть что-нибудь? Серебро тоже понадобится, посуда. А то потомхватишься – ни ложечки, ни салфеточки, ни тарелочки... Все покупать нужно. А купчишки теперь так дерут, что приступить ни к чему нет. Обстановку в гостиной, я думаю, переменить нужно, эта пообтрепалась так, что принять приличного человека стыдно. Перины есть? Пуховые? Не спрашивал?

И не спросила мать:

– А любит тебя твоя будущая жена?

Любовница.

– Я женюсь, – сказал он любовнице. Любовница побледнела:

– А как же я?

– Ты постарайся меня забыть.

– Я отравлюсь.

– Если ты меня хоть немножко любишь – ты не сделаешь этого.

– Я? Тебя? Люблю? Ну, знаешь ли, милый!.. Кстати, ко мне сегодня Сергей Иванович три раза по телефону звонил. Думаю весной поехать с ним на Кавказ.

Помолчав, спросила:

– Что ж она... богатая?

– Кажется.

И с облегченным сердцем подумала: «Ну, значит, он меня оставляет из-за денег. Кажется, что это не так обидно».

И не спросила любовница:

– А любит тебя твоя будущая жена?

Горничная.

– Я женюсь, – сказал он горничной.

– А как же я? Меня-то вы оставите? Или искать другое место?

– Почему же? Вы останетесь.

– Только имейте в виду, барин, что ежели вас двое, то жалование тоже другое. Во-первых, около женщины больше работы, а потом и мелкой стирки прибавится, то да сё. Не иначе, пять рублей прибавить нужно.

Даже в голову не пришло горничной задать своему барину простой человеческий вопрос:

– А любит вас ваша будущая жена?

Прохожий.

У прохожего было такое веселое, полупьяное, располагающее к себе лицо, что собиравшийся

жениться человек улыбнулся прохожему и сказал:

– А я, знаете, женюсь.

– И дурак.

Растерялся собиравшийся жениться.

– То есть?

– Да уж будьте покойны.

И, нырнув в толпу, не догадался спросить этот прохожий:

– А любит вас ваша будущая жена?

Друг.

– Я женюсь, – сказал он своему другу.

– Вот тебе раз!

После некоторого молчания сказал друг:

– А как же я? Значит, нашей дружбе крышка?

– Почему же? Мы по-прежнему останемся друзьями. И только тут задал друг вопрос, который не задавал никто:

– А любит тебя твоя будущая жена?

Взор человека, собиравшегося жениться, слегка затуманился.

– Не знаю. Думаю, что не особенно... Друг, что-то соображая, пожевал губами.

– Красивая?

– Очень.

– М-да... Н-да... Тогда конечно... В общем, я думаю: отчего бы тебе и не жениться?

– Я и женюсь.

– Женись, женись.

* * *

Холодно и неуютно живется нам на белом свете. Как тараканам за темным выступом остывшей печи.

Молодняк

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице, или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке – и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы – Мотька, Шаша и я – послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге – «знакоми домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуди на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта – они не придают значения никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия), умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас – веснушчатых и худосочных – красавцем.

Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли. Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех – еди-

нодушно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги – ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью с опасностью для фасада и тыла воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашиного отца – рыжебородого пьяницы – была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал, а так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас, на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий, красный,
Человек опасный...
Я на солнышке лежал.
Кверху бороду держал...

– Сволочи! – грозил снизу кулаком Шашин отец.

– А ну иди сюда, иди, – грозно говорил Мотька. – Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону – и наоборот. Чего там говорить – дело было беспроегрышное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет дружно, взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил в наборщики в типографию «Электрическое усердие». Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия» – что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказалось вакансий в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним – об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он удачно «определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотька постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьки.

И вдруг получилось сведение, что Мотька должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотькина мать, и в этом «сохранении содержания» видела бедная женщина последний лавр в победном венке завоевателя мира Мотьки.

* * *

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

– Такой, говорят, франт, – горделиво закончил Шаша, – такой франт, что пусти – вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку – и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым делом потребовали Мотю.

Ответ был самый аристократический:

– Мотя не принимает.

– Как не принимает? – удивились мы. – Чего не принимает?

– Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

– Может быть, он нездоров?.. – попытался смягчить удар деликатный Шаша.

– Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге...

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «Нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге впредь до выяснения не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, так униженно жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» – совсем как в романах.

– Ты куда? – спросил Шаша.

– В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!) А ты?

– А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

* * *

На другое утро – было солнечное воскресенье – Мотькина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объяснить и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей – и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первыми. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был действительно великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, пестрое, до крика элегантно, бряцающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов, он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравнивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом. Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнесите только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки сиятельному другу:

– Мотька! Вот, брат, здорово!..

– Здравствуйте, здравствуйте, господа, – солидно кивнул головой Мотька и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

– Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

– Послушай, Мотька... – начал я с робким восторгом в глазах.

– Прежде всего, дорогие друзья, – внушительно и веско сказал Мотька. – Мы уже взрослые, и поэтому «Мотьку» я считаю определенным «кельвыражансом»... хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч – так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здороваётся.оборот предприятия два миллиона. Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

– Пожалуйста, пожалуйста, – пробормотал Шаша. Стоял он согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину.

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

– Теперь опять стали носить цилиндры? – спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

– Да, носят, – снисходительно ответил Матвей Семеныч. – Двенадцать рублей.

– Славные брелочки. Подарки?

– Это еще не все. Часть дома. Все на кольце не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь – хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвей Семенович тоже тянет, что ему тоже не по себе... Но, наконец, он решил. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, – и начал:

– Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие и вообще... детство это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, добился до какого-нибудь там лучшего общества, до интеллигенции, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубей рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего – один достиг, другой не достиг, но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку, – все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особой фамильярности – я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение – вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен...

В этом месте Матвей Семенович взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

– О-ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

* * *

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем.

Это были последние слезы детства. Теперь – засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотья был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками, – он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга, – почему же мы так убивались, потеряв Мотью?..

А ведь – вспомнишь – как мы были одинаковы, как три желудя на дубовой ветке, когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны.

Увы! Желуди одинаковые, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного дубка сделают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...

Оккультные науки

предисловие

Большинство несведущих людей под словом оккультизм подразумевают столоверчение. Это не так.

Оккультизм очень сложная и хлопотливая вещь; это громадная область – от вызывания духов до получения, с помощью гипнотического внушения, наследства от совершенно постороннего

человека.

Мы не хотим хвастаться своей ученостью, но должны для полноты указать на такую область оккультизма, как учение йогов.

Ошеломлять так ошеломлять.

Учение йогов разделяется на хатха-йога, бхакти-йога, раджа-йога и жнани-йога.

Все это изложено в книгах индусского мудреца, носящего немного сложную, но звучную фамилию: Рамачарака.

Наш товарищ по перу, Рамачарака, очень аккуратно и внимательно изложил принципы учения йогов, и если эти принципы сложны и запутанны, то не наш товарищ Рамачарака тому виной.

Наша задача скромнее задач Рамачараки – мы дадим только общую схему оккультных наук в сжатой форме. И если кто-нибудь, прочтя наш труд, сумеет вызвать духа – пусть он и разделяется с ним, как знает.

Глава I из чего состоит человек

Средний читатель уверен, что все окружающие его состоят из мяса, костей, крови и мозга. О, как он глубоко заблуждается! Некоторые смотрят на человека еще примитивнее:

– Боже, как вы похудели: кожа да кости! Или:

– Как он растолстел: одно сало.

О, какой дикариный взгляд на сущность человека! Вот из чего состоит человек: 1) Тело как таковое.

2) Эфирное тело. 3) Астральное тело и 4) Мысленное тело.

1. Тело как таковое. – Для ознакомления с этим предметом лучше всего ощупать самого себя.

II. Двойник, или эфирное тело. – Это тело, после физического, – самое видное. Ледбитер говорит (вы, конечно, не знаете, кто такой Ледбитер, а мы знаем...), что «эфирный двойник» ясно виден ясновидящему – в виде светловатой массы пара, серо-красной, выходящей за пределы физического тела. Эта светловатая масса называется аурой. Имеется она даже у подрядчиков строительных работ, скаковых жокеев и клубных шулеров.

Когда человек здоров – аура его с легким голубоватым оттенком, в виде множества лучей, ровно расходящихся во все стороны. Но стоит человеку заболеть – лучи на заболевшей части тела становятся неправильными, пересекаются в беспорядке, поникают и перепутываются. В этом случае расчесывание перепутанной ауры гребенкой не рекомендуется.

III. Ланселен (его-то уж читатель знает) утверждает, что когда эфирное тело (двойник) отделяется от физического тела – оно всегда выходит с левой стороны, в уровень селезенки, под видом излучений. Каждый это может легко проверить на самом себе.

III. Астральное тело. – Оно тоньше и нежнее, чем эфирное. Чем человек умнее, интеллигентнее, тем его астральное тело нежнее.

Например, пишущему эти строки однажды пришлось увидеть свое астральное тело. И что же – он чуть не ослеп от блеска. Нежности оно было такой, что мясо цыпленка по сравнению с ним казалось куском чугуна.

Астральное тело, отделяясь от физического, по утверждению оккультистов, может появляться в других местах. Так, например, если ваше физическое тело занято на свидании с любимой женщиной, вы можете послать свое астральное тело в банкирскую контору для учета векселя или получения денег по чеку. Если же, возвратясь, астральное тело эти деньги зажилит, то, значит, оно где-нибудь материализовалось и пропило всю сумму в кабинете ресторана. При отделении астрального тела от физического физическое тело должно спать. Если же в ту комнату, где спит такое опустошенное тело, зайдет посторонний и начнет радостными криками будить спящего, – астральное тело обязано сломя голову мчаться назад и, прибежав, моментально впрыгнуть в человека.

Только тогда человек делается полным человеком и имеет право проснуться.

Оккультисты утверждают, что если астральное тело почему-нибудь к моменту пробуждения не вернется, то спящий умирает. Вообразите же себе изумление и досаду астрального тела, когда оно, разогнавшись, прибежит домой и вместо теплого футляра наткнется на холодный труп. Разочарованное, оно пойдет бродить около других людей, ехидно поджидая случая, когда кто-нибудь отпустит свое астральное тело погулять по местам не столь отдаленным... Тогда осиротевшее астральное тело влезает в живого спящего и, свернувшись там клубочком, станет поджидать своего коллегу.

И когда тот прибежит, запыхавшись, и полезет в спящее тело, оттуда выглянет наш первый астрал и, пряча смущенное лицо, проворчит:

– Ну, куда лезешь? Не видишь – место занято.

Иногда доходит до тяжелой сцены, кончающейся дракой.

IV. Мысленное тело. – Определение его оккультистами не совсем вразумительно («Это – орудие души на плане мысли, когда она покинула астральное тело»).

Мысленное тело (говорит Анни Безант) образуется под влиянием мысли, в особенности если последняя благообразна и возвышенна. Мысленное тело – яйцеобразное.

У дураков это тело такое маленькое, что его почти не видно. Да и немудрено.

Глава II проявление призрака

Призрак живых в древние времена назывался двутелесностью.

В своей книге «Cite de Dieu» святой Августин рассказывает, что «его отец, поевши у себя дома отравленного (!) сыра, лежал на постели в глубоком сне, и его не могли разбудить никаким способом... Спустя несколько дней он проснулся и рассказал о том, что испытывал во сне: он был лошадь и вместе с другими лошадьми возил солдатам припасы, которые называют рецийскими, потому что доставляют их из Реции».

К сожалению, вопрос об этих метаморфозах не разработан. Человек, скажем, поел отравленного сыра и превратился в лошадь, возящую рецийские припасы... Спрашивается: в какое животное превратился бы он и что возил бы он, поев отравленного мяса, или разложившихся фруктов, или сгнившей рыбы? Может быть, рыба сделала бы его ослом, возящим донецкий антрацит, а мясо – слонем, несущим на лобастой голове канака с молоточком...

Много необъяснимого и загадочного на свете.

Тот же доктор Ш. Ланселен утверждает, что призраки живых существуют и отделить от тела спящего его эфирный двойник не так уж трудно. Он говорит, что сам проделывал это сотни раз. Его рассказ об этом дышит искренним простодушием и несокрушимой деловитостью.

«У меня, – говорит он, – есть несколько специальных субъектов, годных для раздвоения, и я произвожу с ними такие опыты: усаживаю субъекта в кресло, сбоку которого стоит другое кресло – для призрака. После нескольких гипнотических пассивов субъект быстро засыпает и затем начинает излучать бледный свет, который быстро материализуется, сгущается, становясь призраком. Призрак помещается по левую сторону от субъекта на расстоянии 40–50 сантиметров. Субъект соединяется со своим призраком особым шнуром, толщиной в палец; шнур выходит из тела на уровне селезенки и служит для передачи от призрака субъекту и обратно чувствований и ощущений. Если быстро перерезать этот шнур – субъект может умереть».

Доктор Ш. Ланселен в своих опытах с выделением призраков дошел до такой развязности, что стал делать опыты над осязанием призраков, обонянием, вкусом, слухом и зрением... Одного призрака он даже взвесил. Призрак весил немного: что-то около полуфунта.

В некоторых опытах Ланселена много настоящего юмора. Например, он рассказывает, что однажды, усыпив со своим товарищем двух субъектов и выделив их призраки, он послал обоих призраков в другую комнату. Но, проходя в двери, призраки перепутались шнурами, соединяющими их с субъектами, и так как оба экспериментатора не видели в темноте этих шнуров, то после попытки распутать сцепившихся призраков запутали их еще больше. Призраки стали нервничать, дергаться в разные стороны, а спящие субъекты принялись издавать стоны и жаловаться на силь-

ную боль... «Насилу, – говорит деловитый Ш. Ланселен, – мы распутали их, обводя одного вокруг другого».

Все это, конечно, кажется чем-то диким, сверхъестественным, но если бы читатель дал себе труд проштудировать всю эту интересную книгу («Призрак живых» Дюрвиля – опыты Ш. Ланселена, книгоиздательство «Новый человек»), он вместе с нами был бы загипнотизирован серьезным спокойным тоном ученого, который безо всякой примеси шарлатанства рассказывает о вещах, от которых шевелятся волосы на голове.

Когда мы читаем беллетристические измышления о появлении призраков, вещающих загробным голосом какие-то странные слова, мы привыкли к тому, что всякий, кто присутствует при этом, или умирает от разрыва сердца или остается на всю жизнь седовласым стариком.

Не таков человек доктор Ланселен.

«В субботу (рассказывает он) 13 июня 1908 г. г-жа Ламбер (одна из пациенток доктора Ланселена) была у А. Около 8 часов вечера, проходя по темной гостиной, она увидела у камина немного блестящую туманную колонну, вышиною с человека среднего роста, с неясно обрисованными контурами. Испуганная (еще бы!), она быстро прошла в столовую и объявила, что видела призрак. Г-жа А. подошла к дверям гостиной и увидела ту же светящуюся колонну».

Кажется, после всего этого единственный нормальный выход – бросить квартиру на произвол судьбы и бежать куда глаза глядят... Так бы оно, вероятно, и было. Но тут замешался доктор Ланселен, автор книги «Призрак живых».

Приступает он к исследованию просто и деловито: в том месте, где появился призрак, он вешает несколько термометров и выясняет, что температура этого места выше на два градуса, чем температура в 2-х шагах. Усыпленная им ясновидящая г-жа Ламбер объясняет, что призрак этот – умерший отец г-жи А. и что он все время напрягает свои слабые силеньки, чтобы материализоваться и сообщить г-же А. что-то очень, по его мнению, важное. Повышение температуры и есть следствие его немощных усилий принять видимую внешность.

А г-жа А., в свою очередь, рассказывает:

«Вот уже два дня, как мы видим призрак покойного, который следует за нами или предшествует нам, куда бы мы ни шли – особенно в квартире; тут, если мы менее заняты, он возвращается к своей стоянке у камина и виден все время в форме блестящей колонны. Протягивая руку в эту колонну, мы всегда ощущаем сильную теплоту».

Появление этого призрака кончилось ничем – старичок так и не излил дочери своей наблещенной души. Теплоту израсходовал совершенно зря и, побродив еще немного за дочерью, мирно вернулся к своим астральным занятиям – бедный, бесхитростный, беспомощный старик.

А деловитый Ланселен снял развешанные термометры, составил протокол и снова вернулся к своим «призракам живых», измеряя их, взвешивая, пробуя на вкус.

Деловитость его доходит в некоторых вещах до того, что, например, глава III (стр. 121) носит название «Действие призрака на сернистый кальций».

Даже об этом подумал ничего не упускающий доктор Ш. Ланселен!

Глава III как приобрести личный магнетизм

Искусство дышать. Общее мнение таково, что дышать может всякий дурак. «И рыба дышит», – сказал Сенека. Однако дышать не так легко, как думают.

«Оккультные книги указывают на следующий способ дыхания: сперва выпустите воздух из легких, пока они не станут совершенно пустыми; затем станьте прямо, вдохните через нос и наполните сначала нижнюю часть легких; затем наполняйте среднюю часть легких, выгибая вперед нижние ребра, грудную кость и грудь. Тогда уже наполняйте верхушку легких, выдвигая верхнюю часть грудной клетки и поднимая грудь вместе с верхними шестью и семью парами ребер». (См. Хатха-йога. Рамачарака, стр. 93).

Рамачарака уверяет, что это наиболее простое и приближающееся к природе дыхание.

Однажды пишущий эти строки попробовал, сидя в театре, подышать минут пять по-

настоящему, по-йоговски.

Когда капельдинер выводил пишущего эти строки, слегка подталкивая в спину, он все время шептал со вздохами (вздохи были не йоговские): «И где это вы так успели набраться, господин?» Впрочем, в вопросе этом было больше истерического любопытства, чем укоризны...

Правду сказать, йогам дышать легко: забрался себе в джунгли, лег под бамбуком и дыши как угодно: поднимай грудь вместе с шестью ребрами или выгибай нижние ребра – ни одна собака, кроме близлежащего тигра, не осудит тебя.

А нам все время приходится быть на людях – не очень-то тут задышишь по-йоговски. Дыши, как все – как говорит пословица: «С волками жить, по-волчьи выть».

Другая книга (д-р Ридель, «Оккультные науки») идет еще дальше:

«Дышите, как было указано выше, и одновременно с этим двигайте руками взад и вперед, пока ладони не сойдутся у вашего лба; когда же легкие вполне расширены, задержите дыхание и начинайте двигать руками назад, вперед и в стороны, описывая круг. Выдыхайте сначала верхнюю часть легких, потом нижнюю. Это нужно делать десять раз».

Оно можно бы делать и больше, но к десятому разу обычно сбегаются окружающие и, уложив вас с компрессом на голове в кровать, посылают за доктором, священником и нотариусом.

Это, в свою очередь, вызывает ряд глубоких вздохов как у вас, так и у окружающих...

Нервная мускулатура. «Примите правильное положение и, повернув лицо к окну (?), возьмите лист писчей бумаги за нижний правый угол большим пальцем и двумя следующими пальцами правой руки, держа верхний край бумаги в горизонтальной линии по отношению к вашему глазу и оконной раме; держать бумагу сначала надо минут пять, пока не устанет рука. Повторяя это упражнение, можно достигнуть получаса. Затем кладите на бумагу несколько дробинок и следите, чтобы они не скатывались».

Если вы выдержите эти упражнения три месяца, то в начале четвертого вы делаете следующее упражнение: снимаете с окна шнурок от портьеры, прикрепляете его к дверному косяку и, просунув голову в петлю, пробуете так висеть, стараясь глубоко и часто дышать по способу Рамачараки.

Упражнение это (придуманное исключительно нами) имеет ту хорошую сторону, что уже никаких повторений не потребует.

Гимнастика глаз (по доктору М. Риделю).

«Станьте перед зеркалом, поставьте в середине его маленькую точку и пристально смотрите на нее; двигайте головой кругообразно, увеличивая постепенно радиус круга. Глаз принужден будет при этом вращаться с целью фиксировать точку. Упражняйтесь так время от времени по две, по три минуты в течение первых десяти – четырнадцати дней. Такое упражнение укрепляет глазные мускулы и дает вам возможность воспринимать зрением данный предмет со всех сторон.

В течение следующих десяти дней делайте круг больше, а движения быстрее, не теряя из виду точки, направо и налево, продолжая упражняться по десяти минут или более, если не чувствуете боли».

Если бы в вашей голове вместо мозга было молоко, то по истечении одного-двух дней этих упражнений молоко сбилось бы в превосходное сливочное масло. Но так как предполагается, что голова ваша наполнена нежным мозговым веществом – мы можем только по-братски пожалеть вас и протянуть руку помощи. Можем также дать вам совет: отыскать доктора Магнуса Риделя и, заведя его в темный уголок, поделиться с ним личным мнением по поводу его высоконаучной книги...

Упражнение для развития личного магнетизма (по М. Риделю).

«Возьмите стул, стоящий твердо на полу, и сядьте на него как можно глубже, не касаясь, однако, плечами до его спинки. Грудь вперед, а живот назад; плечи несколько откинуть и слегка опустить. Руки положить на бедра, касаясь локтями верха бедер. Большой палец поднять так, чтоб он представлял собой с другими вытянутыми пальцами латинское V. Ноги отдельно, носки на расстоянии пяти-шести дюймов, пятки – двух или трех, представляя собой тоже латинское V. Губы сомкнуть, зубы разжать; язык должен лежать на нижней части рта, касаясь кончиком нижней челюсти, несколько вогнуть, совершенно спокойно. Подбородок должен быть откинут назад для

придания независимого положения. Сидеть совершенно прямо без напряжения мускулов – лишь один позвоночный столб должен быть твердым, спиной к свету.

Теперь выберите какой-нибудь неяркий предмет, чтобы не рассеивались мысли, как, напр., копейка. Поместите этот предмет на расстоянии четырех-семи футов и на высоте глаз. Глядите на него упорно, не переставая и не моргая. В этом положении вы станете воспринимать, что посторонние мысли не оказывают на вас никакого влияния и вы находитесь, таким образом, в состоянии концентрации».

Лично мы того мнения, что копейка крайне неудачный предмет для концентрации мысли. Этот предмет скорее рассеивает мысли, чем концентрирует их.

– Копейка, – думаете вы, сидя перед этим «неярким предметом». – Гм... копейка... А вот будь у меня тысяча таких копеек, что бы я на них сделал! Купил бы новый галстук, отдал башмаки в починку, и еще осталось бы на кинематограф для меня и для моей Мурочки. А кстати: Мурочка уже не заходит три дня. Не бегают ли она к этому художнику? Вообще, эти художники!.. Недавно видел в «Эрмитаже» Рубенса. Что только этот человек мог написать! Кстати: написать. Давно не отвечал маме на письма...

Вот тебе и концентрация.

Ридель приводит еще много подобных упражнений, но мы не хотим приводить их, потому что в глубине нашей души все время сидит тайный страх: а что, если хоть один из наших читателей примется серьезно за все предлагаемые Риделем упражнения. Что скажет нам его любимая жена? Его родственники? Его осиротевшая собака?

* * *

Усвоив принципы личного магнетизма, вы можете гипнотизировать всех, кто подвернется вам под руку...

Глава IV

ГИПНОТИЗМ

Гипнотизмом называется ряд поступков, благодаря которым один засыпает по желанию и воле другого. Однако автор какой-либо книги, развернув которую читатель засыпает, не может быть назван гипнотизером.

Гипнотизеры, как известно, усыпляют четырьмя манипуляциями, а именно:

- 1) Поглаживание.
- 2) Истечение силы.
- 3) Возложение рук.
- 4) Дуновение.

Поглаживание без гипнотического сна вызывает у поглаживаемого субъекта возложение на лицо рук гипнотизера с большим истечением сил. Это возложение рук нимало не напоминает дуновение.

Из вышеизложенного видно, что перед опытом субъект должен обязательно погрузиться в сон. Иначе – получается неприятность.

Гипнотизировать не так трудно, как принято думать... Вы просто усаживаете человека на стул, делаете перед его лицом несколько пассов и приказываете:

– Спице.

После этого он засыпает. Вы его спрашиваете:

– Вы спите?

– Ну да, – отвечает гипнотизированный, – конечно, сплю. Что вы – не видите, что ли?

После этого начинаются опыты.

Вы берете чугунное пресс-папье, подносите к носу спящего и категорически, тоном, не допускающим возражений, говорите:

– Это – лампа.

– Нет, это не лампа, – говорит далее гипнотизер, – а кошка.

– Ну да, кошка, – спешит согласиться спящий. – Ясное дело – кошка. Где вы достали эту дрянь?

По нашему мнению, все дело в кротости и покладливости спящего. Человек этот настолько деликатен, что не хочет обижать гипнотизера. Кошка? Пусть будет кошка. Вы хотите, чтобы это пресс-папье было яблоком? Извольте. Я даже откушу кусочек промокательной бумаги, если это вам доставит некоторое удовольствие!

После того как гипнотизер натешился всласть над спящим, подсовывая ему одни предметы вместо других, гипнотизер может скомандовать:

– Проснитесь!

– Есть, – бодро откликается спящий... Хороший тон гипнотизма требует, чтобы спящий по пробуждении спросил: «Где я?», а потом принялся бы уверять, что он «ничего, ну решительно-таки ничего, вот тебе ни крошечки не помнит».

Гипнотизеры очень ценят таких воспитанных субъектов и платят им за сеанс большие деньги.

Впрочем, мы лично ценим только таких гипнотизеров, в действиях которых преобладает элемент юмора.

Например, д-р Северин рассказывает в своей книге о гипнотизме – об опытах английского гипнотизера Кеннеди.

«Кеннеди внушил нескольким мужчинам, что один из них – непослушный грудной ребенок, доведший до отчаяния своими криками няньку. Другому внушил, что он очень нетерпеливая нянька, третьему – что он мать.

Чтобы сделать комедию забавнее, он последних нарядил – одного в чепец, другого в фартук. Когда он сосчитал до трех, двое из находившихся под внушением – нянька и ребенок – серьезно принялись за исполнение своих ролей.

Ребенок, уже лежавший на полу, начал необыкновенно натурально кричать. Нянька бегала и искала (потом она их нашла) бутылку с молоком и пеленки. Дав ребенку молока, она взяла его на руки, но так как дитя не хотело успокоиться, завернула его в готовые пеленки и положила в громадную корзинку.

Но ничего не помогло. Дитя кричало все сильнее и сильнее, и нянька со злостью таскала корзинку по полу туда и сюда. Наступил момент появления матери. Было сделано внушение, и она появилась на сцену. Крупная перебранка между обеими сторонами. Мать берет ребенка на руки и начинает с ним ходить. Но дитя кажется слишком тяжелым и опять укладывается в корзинку, заменяющую колыбель. Однако крикуна ничем не успокоишь.

Наконец он надоел матери, та его отшлепала и отдала няньке.

Эта в отчаянии схватилась за бутылку, довольно похожую на ликерную, и дала ее ребенку; затем он с таким ожесточением начал с проклятиями дергать корзинку, что та перевернулась. Тут опять возгорелось недоразумение, обе стороны бросились друг на друга.

Внушение и удар в ладоши оператора, и все участвующие замерли на местах в живописных позах.

Другой раз Кеннеди среди добровольных зрителей заметил одного так называемого „просветленного“, который за спиной оператора строил гримасы, давая публике понять, что дело не совсем чисто. Публика уже начала испытывать враждебное настроение к оператору. Последний, обеспокоенный этим, обернулся назад и увидел виновника. Он попросил у одного из присутствующих палку, приложил ее к плечу и начал фиксировать взором этого, совершенно неподготовленного к такой неожиданности человека. Просветленного это поразило. Его противодействие было сломлено. Он начал дрожать, встал со стула, бросился к Кеннеди и коснулся концом носа палки, которая все еще была устремлена на него.

Кеннеди, проведя его при помощи палки на некоторое расстояние, одним ударом опустил ее, и субъект не мог сдвинуться с места. То был случай каталепсии, вызванной страхом. Затем Кеннеди обратился к пораженному собеседнику: „Вы мне оказали большую услугу, и я хотел бы быть вам признательным за это. Скажите мне ваше желание, и, если возможно, я исполню его“. Тот за-

хотел много денег. Кеннеди приказал принести стакан воды, подал его субъекту и сказал: „В этом стакане 240 золотых, если вы их высыпете в карман, не рассыпав, они все ваши“. Радость просветленного была необычайна, все лицо его засияло от восторга ввиду необычайной легкости задачи.

Он ловко опорожнил карман, придержал его края и другой рукой вылил стакан с предполагаемыми 240 золотыми. Публика разразилась хохотом.

Кеннеди пробудил его, и он поразился, не понимая, как он тут очутился, и сделал несколько шагов, чтобы уйти. Теперь он заметил, что что-то случилось с одной половиной брюк, видит лужу на полу, хватается за брюки, которые непонятно влажны, заезжает рукой в карман, и скандал (?) готов».

А вот опыт Кеннеди с одной старухой:

«— Я, — говорит Кеннеди, усыпив старуху, — сделаю вас опять молодой!

Вам 20 лет, вы певица и сейчас выступаете на сцене с исполнением веселой песенки!

— Невозможно! 20 лет — как я могу стать двадцатилетней! Ведь я — старуха!

— Через две минуты вам будет 20 лет, вы сейчас почувствуете превращение.

Она вся как-то подбирается и через две минуты начинает: — Как хорошо! Вот чудо-то! — Она поправляет косынку и улыбается: она уже уселась на постели. — Ах, вот и г-н директор! Чья очередь? — Далее она вступает в разговор с воображаемой подругой: — Пойдешь ты или я? Моя очередь или твоя? Одной надо выходить! Скорей! Ну хорошо, я иду! Дайте звонок, г-н директор! Я даже не знаю, какой у меня номер по программе! Ах, что тут! Не все ли равно? — Она изящно трижды кланяется воображаемой публике и выразительно поет. Затем протягивает руку, как будто что-то берет: — Какой прекрасный букет! Да еще в день моего рождения! — Затем она обращается к своей соседке и спрашивает: — Видишь букет?

— Через минуту вы будете пьяным кучером, — говорю я ей. Она протирает глаза, выпрямляется в кровати и начинает угощать воображаемую лошадь здоровыми ударами кнута: „Но, но, но, старая кляча! — Жест к вожжам. — Ты что же, ложиться? Но, но! Нет, так больше нельзя! Мальчишка, берегись! Смотри, смотри, чтобы тебя не переехали... Но, но, старая кляча! Ты уж, верно, чуешь овес! А я с самого утра еще ничего не пил! Ах, вот (взгляд влево), вот и вывеска!“

Я спрашиваю: „Ты угощаешь?“ — „Я не богач! Ну, изволь стаканчик, войдем! Стой, стой, старая стерва! Ну, поскорей, а то она удерет, и завяжется история с полицией! Человек, два стакана! — Она опоражнивает стакан. — А еще не нальешь? Еще разок. До свидания, до следующего раза!“ И всё это она произносит тоном, который сделал бы честь самому лучшему кучеру в мире.

— Теперь вы светская дама и едете в экипаже со своим слугою.

Она принимает важный, гордый и серьезный вид, откидывается назад, опирается на подушки, прикрывается старательно одеялом, торжественно скрещивает руки на груди и говорит серьезным, резким голосом: „Какая чудная погода! Жозеф, поезжайте к водопаду, но осторожнее! Ехать тихо!“ Она делает приветственные жесты рукой, с улыбкой раскланивается с разными лицами: „Какая масса народу!“ Так в этом положении, с этим же гордым, величественным выражением лица она пребывает две минуты и затем приказывает: „Поверните! Но осторожнее!“

Наконец я говорю: „Лошади испугались!“ А она на это: „Осторожнее, Жозеф! (Все еще прежним резким, размеренным тоном.) Держите лошадей! Я вылезу! Держите лошадей! Я вылезу, держите же их скорее! Я не могу понять, отчего такая невнимательность! Успокойте лошадей, держите их! Недурно, мы едем назад, но скорее, чем мы ехали сюда! Эта толпа их так испугала, я не понимаю, что вы не следите! Ведь вы можете быть виною несчастья! Я с вами никогда больше не поеду! Я вам откажу, если вы не будете лучше следить за лошадьми! Дайте вожжи!“

— Я превращаю вас в капрала!

— Боже мой, капралом! Но какого полка? Ведь я женщина!

— Я превращаю вас в мужчину и капрала! Все ваши люди ждут ваших приказаний, вы во главе отряда!

Ей надо всего минутку, чтобы подготовиться к новой роли, затем она выпрямляется и кричит: „Эй, ребята, рекруты! Смирно! Голову выше! Поднять ружья! Возьмите их в руки! Следите за командой! Марш рядами! Ружья к левому плечу! Вперед! Следить за рядом, не отставать! Держись прямо! Эй, ты там, держись лучше! Не то отправлю под арест! Раз, два, раз, два! Ты, осел, не

можешь слушать! Потряси еще раз у меня локтями, идиот! Настоящее несчастье иметь дело с этими болванами! Ничему их не научишь! Шагом марш! Довольно!“

Я говорю наконец:

– Скушайте этот апельсин, затем к вам прилетит ангел, он вас разбудит дуновением в глаза.

Она берет воображаемый апельсин, аккуратно очищает его от кожи, складывает ее на ночной столик, с аппетитом кушает одну-две дольки и вынимает носовой платок, предварительно выплюнув зерна, чтобы обтереть рот, и затем прячет платок. Потом она обращается с закрытыми глазами кверху, и ее лицо просветлевает, она открывает глаза и просыпается».

Сколько должна была проявить доброты и мягкости старушка, чтобы добросовестно проделать все, подсказанное гипнотизером, и ни разу не обидеть его отказом от роли кучера или капрала, дающего солдатам по зубам.

Да... Недаром говорят: старость почтенна.

Глава V спиритизм

Спиритизмом называется искусство довести деревянный стол до такого состояния, чтобы он заговорил.

Делается это так: несколько человек сговариваются «заглянуть нынче вечером в потусторонний мир»...

Вечером съезжаются в одно место, закрывают двери, гасят огни и, усевшись вокруг стола, соединяют свои руки в непрерывную цепь.

Главное сделано. Остальное – пустяки.

Дав столу оправиться от первого смущения, вступают с ним в задушевный разговор.

– Дух, ты здесь?

– Здесь, – отвечает смущенно столик, почесав ножкой воображаемый затылок.

– А зачем ты здесь, дух?

– Вот, ей-богу, странные люди, – недовольно бормочет столик. – Сами же собрались, вызвали меня, да сами же и спрашивают – зачем.

Он хмурит брови и неуверенно стучит ножкой семь раз.

– Дух! Зачем ты стукнул семь раз?

– Хотел и стукнул, – отвечает столик.

– Дух, кто ты такой? Как тебя зовут?

– Я царский истопник при дворе царя Алексея Михайловича. Зовут меня Петя.

– Дух Петя! Расскажи нам, что делается у вас на том свете.

«Ишь куда метнули», – ошарашенно думает Петя. Но ответ дает более деликатный:

– Нам запрещено говорить об этом. Нельзя. Мне тяжело.

– Почему тебе тяжело, дух Петя?

– Да все задают глупые вопросы, вот и тяжело.

После этого наступает на мгновение неловкое молчание...

Однако руководитель спиритического сеанса быстро овладевает собою и начинает приставать к духу с разными просьбами:

– Если ты здесь, дух Петя, то прояви себя.

– Как я вам себя еще проявлю, – уныло бормочет Петя.

– Ну, сделай что-нибудь.

Петя размахивается и дает подзатыльник ближайшему.

– Он меня коснулся! – радостно кричит ближайший. – Он меня тронул! Я уже тронутый.

– И я тронутая, – ревниво подхватывает дама. – Душечка дух! Брось что-нибудь на пол.

Дух вздыхает и покорно бросает на пол заранее приготовленную для этого случая гитару.

– Бросил! – радостно кричат все. – Он бросил на пол гитару.

«Что тут удивительного, – про себя недоумевает дух. – Неужели это так трудно? Неужели никто из них не мог бы этого сделать?»

– Дух, станцуй что-нибудь.

Очевидно, в царствование Алексея Михайловича весь народ был кротким и покладистым: услышав просьбу, Петя несколько раз притоптывает тяжелой ногой и смущенно смолкает.

«Отпустили бы они меня, – тоскливо думает призрак. – Ну чего там зря мучить?»

Пишущему эти строки приходилось несколько раз присутствовать на спиритических сеансах, и всегда его поражало одно: полное отсутствие фантазии как у духов, так и у спиритов: «Дух, разбросай по полу спички...» – «Извольте». Разбрасывает. «Дух, выбери из трех карт бубнового туза». – «Извольте». Выбирает, откидывает в сторонку.

А что дальше? Для чего спиритам эта карта? Повертят ее задумчиво и недоуменно в руках и снова сунут в колоду.

Нет существа с более бедной фантазией, чем вызванный дух. Все его поступки необычайно примитивны: то он коснется холодной рукой чьего-то колена, то постучит ногами, то сбросит на пол с этажерки книгу, то найдет в уголке кусочек бумажки и сомнет ее.

По-моему, раз дух вызван и если он сам ничего путного не придумает, отчего бы им не воспользоваться с утилитарной целью: поставить кофейную мельницу, чтобы дух смолот фунта два кофе, положить на стол неразрезанную книгу и костяной ножик (всегда такая лень самому разрезать книги...), поручить почистить картофель к ужину или перебрать ягоды для варенья.

И в хозяйстве прибыток, да и духу приятно, что он не зря коптит небо.

Для этого нужно только раз навсегда отрешиться от взгляда на духа как на существо особенное, чудесное; не надо глядеть на него, как пошехонцы на гоночный автомобиль... Нужно помнить, что дух такой же человек, как и мы, а если он сейчас находится на особом положении – ну что ж такое: никто из нас от этого не застрахован.

заключение

Читатель! Мы дали тебе в руки могучее и страшное оружие, раскрыв перед твоими глазами все тайны природы.

Читатель! Будь мудр и действуй этим оружием с толком. Не употребляй его во зло: если вызовешь духа, не обижай его, если загнипнотируешь знакомого – не вытаскивай из его кармана бумажник, пользуясь тем, что он в катаlepsии, и если тебе удастся извлечь из любимой женщины астральное тело – не давай волю своим рукам – помни, что оно эфирно и беспомощно.

Читатель! Старайся быть достойным нас, благородных оккультистов и йогов.

Прощай, читатель.

Уники

Петербург. Литейный проспект. 1920 год. В антикварную лавку входит гражданин самой свободной в мире страны и, в качестве завсегдатая лавки, обращается к хозяину, потирая руки, с видом покойного основателя Третьяковской галереи, забредшего в мастерскую художника:

– Ну-ну, посмотрим... Что у вас есть любопытного?

– Помилуйте. Вы пришли в самый счастливый момент: уник на уника и уника погоняет. Вот, например, как вам покажется сия штуkenция?

«Штуkenция» – передняя ножка от массивного деревянного кресла.

– Гм... да! А сколько бы вы за нее хотели?

– Восемьсот тысяч!

– Да в уме ли вы, батенька!.. В ней и пяти фунтов не будет.

– Помилуйте! Настоящий Луи Каторз.

– А на черта мне, что он Каторз. Не на стенке же вешать. Каторз не Каторз – все равно, обед буду сегодня подогреть.

– По какому это случаю вы сегодня обедаете?

– По двум случаям, батенька! Во-первых – моя серебряная свадьба, во-вторых, достал пол-

фунта чечевицы и дельфиньего жиру.

– А вдруг Чека пронюхает?

– Дудки-с! Мы это ночью все сварганим. Кстати, для жены ничего не найдется? В смысле мануфактуры?

– Ну, прямо-таки вы в счастливый момент попали. Извольте видеть – самый настоящий полосатый тик.

– С дачной террасы?

– Совсем напротив. С тюфячка. Тут на целое платье, ежели юбку до колен сделать. Дешевизна и изящество. И для вас кое-что есть. Поглядите-ка: настоящая сатиновая подкладка от настоящего драпового пальто-с! Да и драп же! Всем драпам драп.

– Да что же вы мне драп расхваливаете, когда тут только одна подкладка?!

– Об драпе даже поговорить приятно. А это точно, что сатин. Типичный брючный материал.

– А вот тут, смотрите, протерлось. Сошью брюки, ан – дырка.

– А вы на этом месте карманчик соорудите.

– На колене-то?!!

– А что же-с. Оригинальность, простота и изящество. Да и колесо – самое чуткое место.

Деньги тащить будут – сразу услышите.

– Тоже скажете! Это какой же карман нужен, ежели я, выходя из дому, меньше двенадцати фунтов денег и не беру. Съедобного ничего нет?

– Как не быть! Извольте видеть: настоящая «Метаморфоза» – Перль-де-неж!

– Что же это за съедобное: обыкновенная рисовая пудра!

– Чудак вы человек: сами же говорите – рисовая, и сами же говорите – несъедобная. Да еще в 18-м году из нее такое печенье некоторые штукари пекли...

– Ну, отложите. Возьму. Да, позвольте, что же вы ее на стол высыпаете?!

– А коробочка-с отдельно! Уник. Настоящий картон и буквочки позолоченные. Не я буду, если тысячонок восемьсот за нее не хвачу.

– Вот коробочку-то я и возьму. Жене свадебный подарок. Бижутри, как говорится.

– Бумажным отделом не интересуетесь? Рекомендовал бы: предобротная вещь!

– Это что? Меню ресторана «Вена»? Гм... Обед из пяти блюд с кофе – рубль. А ну, что ели 17 ноября 1913 года? «Бульон из курицы. Щи суточ. Пирожки. Осетрина порусски. Индейка, рябчики, ростбиф. Цветная капуста. Шарлотка с яблоками». Н-да... Взять жене почитать, что ли...

– Берите. Ведь я вам не как меню продаю... Вы на эту сторону плюньте. А обратная-с... ведь это бристолевский картон. Белизна и лак. На ней писать можно. Я вам только с точки зрения чистой поверхности продаю. И без Совнархоза сделочку завершим. Без взятия на учет.

Двести тысячонок ведь вас не разорят? А я вам в придачу зубочистку дам.

– Зачем мне? Все равно она безработная будет...

– Помилуйте, а перо! Кончик расщепите и пишите, как стальным.

– Да, вот, кстати, чтоб не забыть! Мне передавали, что у Шашина на Васильевском острове два стальных пера продаются № 86.

– Да правда ли? Может, старые, поломанные?

– Новехонькие. Ижицын ездил к нему смотреть № 86. Тисненные, сволочи, хорошенькие такие – глаз нельзя отвести. Вы не упускайте.

– Слушаю-с! Кроме – ничего не прикажете?

– Антрацит есть?

– Имеется. Сколько карат прикажете?

Этот рассказ написан мною вовсе не для того, чтобы рассмешить читателя для пищеварения после обеда.

Просто я, как добросовестный околоточный, протокол написал...

Находчивость на сцене

О своих первых шагах на сцене я рассказывал в другом месте. Но мои последующие шаги

должны быть (я так полагаю) также интересны для читателя. Вот один из таких шагов.

* * *

Я уже три недели как играю на сцене. Вид у меня импозантный, важный, и на всех не играющих на сцене я смотрю с высоты своего величия.

Сидел я однажды с актерами в винном погребе за бутылкой вина и шашлыком и поучал своих старших товарищей, как нужно толковать роль Хлестакова, не смущаясь тем, что задолго до меня мой коллега Гоголь гораздо тщательнее и тоньше объяснил актерам эту роль.

Худощавый молодой господин с белыми волосами и истощенным вечной насмешкой лицом подошел к нам и принялся дружески пожимать руки актерам:

– Здравствуйте, Гаррики!¹⁷ Нас познакомили.

– Вы тоже актер? – снисходительно спросил я.

– Что вы! – возразил он, оскаливая зубы. – Как это вы можете по первому впечатлению так дурно судить о человеке?! Я не актер, но в вашем деле кое-что понимаю. Вы давно на сцене?

Я погладил свои бритые щеки:

– Порядочно. Завтра будет три недели!

– Ого! Значит, через восемь дней можно уж и юбилей праздновать. Хе-хе... Воображаю, как вы волнуетесь на сцене!

– Кто? Я? Ни капельки.

– Ну да, знаем мы! Конечно, если роль вызубрили, да под суфлера идете, да окружены опытными товарищами – тогда ничего. А представьте себе: на сцене какая-нибудь неожиданность, что-нибудь такое, что не предусмотрено ни автором, ни режиссером, – воображаю вашу растерянную физиономию и трясущиеся колени...

– Ну, – усмехнулся я. – Меня не легко смутить.

– На сцене-то? Да бывают такие случаи, когда и Варламова¹⁸ с Давыдовым¹⁹ можно, что называется, угробить!

– Меня не угробите.

– Люблю скромных молодых людей! – вскричал он. Потом задумался, искоса на меня поглядывая. У меня было такое впечатление, что я действую ему на нервы...

– Что у вас идет завтра в театре?

– «Колесо жизни» Рахимова. Сам автор обещал завтра прийти посмотреть, как я играю Чешихина.

– Ах, вы играете Чешихина? И вы говорите, что вас невозможно на сцене смутить, сбить с толку?

– Да. По-моему, это гнилая задача.

Он зловеще улыбнулся. Протянул костлявую руку:

– Хотите заклад? На шесть бутылок кахетинского, на шесть шашлыков.

– Не хочу.

– Почему?!

– Мало. По десяти того и другого плюс кофе с бенедиктином.

– Молодой человек! Вы или далеко пойдете, или... плохо кончите. Согласен!

Таким образом состоялось это странное пари.

* * *

¹⁷ Гаррик Дейвид (1717–1779) – английский актер, прославившийся в пьесах Шекспира.

¹⁸ Варламов Константин Александрович (1849–1915) – русский актер.

¹⁹ Давыдов Владимир Николаевич (1849–1925) – русский актер.

Шел второй акт «Колеса жизни». У меня только что кончилась бурная сцена с любимой девушкой, которая заявила мне, что любит не меня, а другого.

– Кто этот другой? – спросил я крайне мрачно.

– Это вас не касается, – гордо ответила она, выходя за двери.

Свою роль я хорошо знал. После ухода любимой девушки я должен схватиться за голову, поскрежетать зубами, уткнуться головой в диванную подушку, а потом вынуть из кармана револьвер и приставить к виску. В этот момент хозяйка дома, которая тайно любит меня, а я ее не люблю – выбегает, хватая меня за руку и, рыдая на моей груди, признается в своем чувстве... Такие пьесы, скажу по секрету, играть не трудно, а еще легче – писать.

Я уже схватился за голову, уже, по авторскому замыслу, поскрежетал зубами и только что подскочил к дивану, чтобы «уткнуться головой в подушку» – как боковая дверь распахнулась, и худой молодец с белыми волосами – тот самый, который взял подряд как бы то ни было смутить меня на сцене, – этот самый парень вышел на первый план самым непринужденным образом.

С двух сторон я услышал два шипения: впереди – суфлера, из боковой кулисы – помощника режиссера. Из директорской ложи глянуло на нас остолбенелое лицо автора.

– Здравствуйте, Чешихин! – развязно сказал беловолосый, протягивая мне руку. – Не ожидали? Я на огонек завернул.

Впереди я слышал шипенье, сбоку за кулисой отчаянное проклятие.

– Здравствуй, Вася, – мрачно сказал я. – Только ты сейчас зашел не вовремя. Мне не до тебя. Может быть, завернешь в другой раз, а? Мне нужно быть одному...

– Ну, вот еще глупости! – засмеялся беловолосый нахал, развалившись на диване. – Посидим, поболтаем.

Публика ничего не замечала, но за кулисами зловещий шум все усиливался.

Я задумчиво прошелся по сцене.

– Вася! – сказал я значительно. – Ты знаешь Лидию Николаевну?

Он покосился на меня и, незаметно подмигнув, проронил:

– Конечно, знаю. Преаппетитная девчонка.

– А-а! – вскричал я в неожиданном порыве бешенства. – Так это, значит, ты тот, из-за которого она отказала мне?! (Суфлерская будка вдруг опустела, но я от этого почувствовал себя еще увереннее и легче.) Ты?! Отвечай, негодяй!

«Вася» поглядел испуганно на мои сжатые кулаки и сказал примирительным тоном:

– Бросьте... поговорим о чем-нибудь другом...

– О другом?! – заревел я, торжествующе поглядывая на автора, который метался в директорской ложе, как лошадь на пожаре. – О другом? Ты меня довел почти до смерти и теперь хочешь говорить о другом?! Отвечай! – Я бросился на него, стал ему коленом на грудь и стал колотить головой об спинку дивана. Отвечай – как у вас далеко зашло?!

«Вася» побледнел как смерть и прошептал:

– Пустите меня, медведь! Вы так задушите! Шуток не понимаете, что ли?

– Ты сейчас умрешь! – прорычал я. – Другой раз тебе будет неповадно!

Он глядел на меня умоляющими глазами.

Потом прошептал:

– Ну, я проиграл пари, какого черта вам еще нужно? Пустите, я уйду.

– Смерть тебе! – вскричал я со злобным торжеством – и так стукнул его голову о спинку дивана, что он крякнул и свалился на пол.

– Неужели я убил его?! – вскричал я, театрально заламывая руки. – Воды, воды этому несчастному!

Я схватил графин с водой и вылил щедрую струю на корчившееся тело «Васи». Он испуганно закричал.

– Очнулся! – обрадовался я. – А теперь иди, несчастный, и постарайся на свободе обдумать свое поведение!

Я взял его в охапку и почти вышвырнул в боковую дверь. Схватился за голову. Прислушался. По мягким звукам ударов и по заглушённым стонам за кулисами я понял, что передал неудач-

ливого Васю в верные руки.

– Итак, вот кто ее избранник! – вскричал я страдальчески. – Нет! Лучше смерть, чем такое сознание.

Дальше все пошло как по маслу: я вынул револьвер, приставил к виску, из средних дверей выбежала любящая женщина, упала на грудь – одним словом, я опять стал на рельсы, с которых меня попробовали стащить так неудачно.

«Колесо жизни» завертелось: в будке показался суфлер, в ложе – успокоенный автор.

* * *

После спектакля мне подали в уборную записку:

«Жрите сегодня ваше вино и шашлык без меня. Я все оплатил. Иду домой сохнуть и расправляться. Будьте вы прокляты!»

Роковой выигрыш

Больше всего меня злит то, что какой-нибудь читательбрюзга, прочтя нижеизложенное, сделает отталкивающую гримасу на лице и скажет противным, безапелляционным тоном:

– Не может быть такого случая в жизни! Читатель, конечно, способен спросить:

– А чем вы это докажете?

Чем я докажу? Чем я докажу, что такой случай возможен? О Боже мой! Да очень просто: такой случай возможен потому, что он был в действительности.

Надеюсь, другого доказательства не потребуется?

Прямо и честно глядя в читательские глаза, я категорически утверждаю: такой случай был в действительности, в августе месяце в одном из маленьких южных городков! Ну-с?

Да и что здесь такого необычного?.. Устраиваются на общедоступных гуляньях в городских садах лотереи? Устраиваются. Разыгрывается в этих лотереях в виде главной приманки живая корова? Разыгрывается. Может любой человек, купивший за четвертак билет, выиграть эту корову?

Может!

Ну вот и все. Корова – это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе и должна разыгрываться вся пьеса, или ни я, ни читатель ничего не понимаем в музыке.

* * *

В городском саду, раскинувшемся над широкой рекой, было устроено, по случаю престольного праздника, «большое народное гулянье с двумя оркестрами музыки, состязаниями на ловкость (бег в мешках, бег с яйцом и пр.), а также вниманию отзывчивой публики будет предложена лотерея-аллегри с множеством грандиозных призов, среди которых – живая корова, граммофон и мельхиоровый самовар».

Гулянье имело шумный успех, и лотерея торговала вовсю.

Писец конторы крахмальной фабрики Еня Плинтусов и мечта его полуголодной убогой жизни Настя Семерых пришли в сад в самый разгар веселья. Уже пробежали мимо них несколько городских дураков, путаясь ногами в мучных мешках, завязанных выше талии, что, в общем, должно было знаменовать собой увлечение отраслью благородного спорта – «бега в мешках». Уже пронеслась мимо них партия других городских дураков, с завязанными глазами, держа на вытянутой руке ложку с сырым яйцом (другая отрасль спорта: «бег с яйцом»); уже был сожжен блестящий фейерверк; уже половина лотерейных билетов была раскуплена...

И вдруг Настя прижала локоть своего спутника к своему локтю и сказала:

– А что, Еня, не попробовать ли нам в лотерею... Вдруг да что-нибудь выиграем!

Рыцарь Еня не прекословил.

– Настя! – сказал он. – Ваше желание – форменный закон для меня!

И ринулся к лотерейному колесу.

С видом Ротшильда бросил предпоследний полтинник, вернулся и, протягивая два билетика, свернутых в трубочку, предложил:

– Выбирайте. Один из них мой, другой ваш.

Настя, после долгого раздумья, выбрала один, развернула, пробормотала разочарованно: «Пустой!» – и бросила его на землю, а Еня Плинтусов, наоборот, издал радостный крик:

– Выиграл! – И тут же шепнул, глядя на Настю влюбленными глазами: – Если зеркало или духи – дарю их вам.

Вслед за тем он обернулся к киоску и спросил:

– Барышня! Номер 14 – что такое?

– 14? Позвольте... Это корова! Вы корову выиграли.

И все стали поздравлять счастливого Еню, и почувствовал Еня тут, что действительно бывают в жизни каждого человека моменты, которые не забываются, которые светят потом долго-долго ярким, прекрасным маяком, скрашивая темный, унылый человеческий путь.

И – таково страшное действие богатства и славы – даже Настя потускнела в глазах Ени, и пришло ему в голову, что другая девушка – не чета Насте – могла бы украсить его пышную жизнь.

– Скажите, – спросил Еня, когда буря восторгов и всеобщей зависти улеглась. – Я могу сейчас забрать свою корову?

– Пожалуйста. Может быть, продать ее хотите? Мы бы ее взяли обратно за 25 рублей.

Бешено засмеялся Еня.

– Так, так! Сами пишете, что «корова стоимостью свыше 150 рублей», а сами предлагаете 25?.. Нет-с, знаете... Позвольте мне мою корову, и больше никаких!

В одну руку он взял веревку, тянущуюся от рогов коровы, другой рукой схватил Настю за локоть и, сияя и дрожа от восторга, сказал:

– Пойдемте, Настенька, домой, больше нам здесь нечего делать...

Общество задумчивой коровы немного шокировало Настю, и она заметила несмело:

– Неужели вы с ней будете так... таскаться?

– А почему же? Животное как животное, да и не на кого ее же здесь оставить!

* * *

Еня Плинтусов даже в слабой степени не обладал чувством юмора. Поэтому он ни на одну минуту не почувствовал всей нелепости вышедшей из ворот городского сада группы: Еня, Настя, корова.

Наоборот, широкие, заманчивые перспективы богатства рисовались ему, а образ Насти все тускнел и тускнел...

Настя, нахмутив брови, пытливо взглянула на Еню, и ее нижняя губа задрожала...

– Слушайте, Еня... Значит, вы меня домой не проводите?

– Провожу. Отчего же вас не проводить?

– А... корова?

– Чем же корова вам мешает?

– И вы воображаете, что я через весь город пойду с такой погребальной процессией? Да меня подруги засмеют, мальчишки на нашей улице проходу не дадут!!

– Ну, хорошо... – после некоторого раздумья сказал Еня. – Сядем на извозчика. У меня еще осталось тридцать копеек.

– А... корова?

– А корову привяжем сзади. Настя вспыхнула.

– Я совершенно не знаю: за кого вы меня принимаете? Вы бы еще предложили мне сесть верхом на вашу корову!

– Вы думаете, это очень остроумно? – надменно спросил Еня. – Вообще, меня удивляет: у вашего отца четыре коровы, а вы одной даже боитесь, как черта.

– А вы не могли ее в саду до завтра оставить, что ли? Украли бы ее, что ли? Сокровище какое, подумаешь...

– Как угодно, – пожал плечами Еня, втайне чрезвычайно уязвленный. – Если вам моя корова не нравится...

– Значит, вы меня не провожаете?

– Куда ж я корову дену? Не в карман же спрятать!..

– Ах, так? И не надо. И одна дойду. Не смейте завтра к нам приходиться.

– Пожалуйста, – расшаркался обиженный Еня. – И послезавтра к вам не приду, и вообще могу не ходить, если так...

– Благо нашли себе подходящее общество!

И, сразив Еню этим убийственным сарказмом, бедная девушка зашагала по улице, низко опустив голову и чувствуя, что сердце ее разбито навсегда.

Еня несколько мгновений глядел вслед удаляющейся Насте.

Потом очнулся.

– Эй, ты, корова... Ну, пойдем, брат.

Пока Еня и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно, но едва они вышли на освещенную многолюдную Дворянскую, как Еня почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением, а один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу:

– Коровичий сын свою маму спать ведет.

– Вот я тебе дам по морде, так будешь знать, – сурово сказал Еня.

– А ну дай! Такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет?

Это была чистейшая бравада, но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью.

На половине Дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее: бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе, а Еня, с рассеянной миной, пошел сбоку, приняв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего...

Когда же поступательное движение коровы ослабевало и она мирно застывала у чьих-нибудь окон, Еня снова исподтишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше...

Вот Енина улица. Вот и домик, в котором Еня снимал у столяра комнату... И вдруг, как молния во тьме, голову Ени осветила мысль:

«А куда я сейчас дену корову?»

Сарая для нее не было. Привязать во дворе – могут украсть, тем более что калитка не запирается.

«Вот что я сделаю, – решил Еня после долгого и напряженного раздумья. – Я ее потихоньку введу в свою комнату, а завтра все это устроим. Может же она одну ночь простоять в комнате...»

Потихоньку открыл дверь в сени счастливый обладатель коровы и осторожно потянул меланхолическое животное за собой:

– Эй, ты. Иди сюда, что ли... Да тиш-ше! Ч-черт! Хозяева спят, а она копытами стучит, как лошадь.

Может быть, весь мир нашел бы этот поступок Ени удивительным, вздорным и ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени да, пожалуй, коровы: потому что Еня чувствовал, что другого выхода не представлялось, а корова была совершенно равнодушна к перемене своей службы и к своему новому месту жительства.

Введенная в комнату, она апатично остановилась у Ениной кровати и тотчас же стала жевать угол подушки.

– Кш!! Ишь ты, проклятая, – подушку грызет! Ты что... есть, может, хочешь? или пить?

Еня налил в тазик воды и подсунул его под самую морду коровы. Потом крадучись вышел во двор, обломал несколько веток с деревьев и, вернувшись, заботливо сунул их в тазик же...

– На, ты! Как тебя... Васька! Ешь! Тубо!

Корова сунула морду в тазик, лизнула языком ветку и вдруг, подняв голову, замычала довольно густо и громко.

– Цыц ты, проклятая! – ахнул растерявшийся Еня. – Молчи, чтоб тебя... Вот анафема!..

За спиной Ени тихо скрипнула дверь. В комнату заглянул раздетый человек, закутанный в одеяло, и, увидев все происходящее в комнате, с тихим криком ужаса отступил назад.

– Это вы, Иван Назарыч? – шепотом спросил Еня. – Входите, не бойтесь... У меня корова.

– Еня, с ума вы сошли, что ли? Откуда она у вас?

– Выиграл в лотерею. Ешь, Васька, ешь!.. Тубо!

– Да как же можно корову в комнате держать? – недовольно заметил жилец, усаживаясь на кровать. – Узнают хозяева – из квартиры выгонят.

– Так это до завтра только. Переночует, а потом сделаем что-нибудь с ней.

«М-м-му-у!» – заревела корова, будто соглашаясь с хозяином.

– А, нету на тебя угомону, проклятая!! Цыц! Дайте одеяло, Иван Назарыч, я ей голову закутаю. Постой. Ну, ты! Что я с ней сделаю – одеяло жует! У-у, черт!

Еня отбросил одеяло и хватил изо всей силы кулаком корову между глаз... «М-мму-у-у!..»

– Ей-богу, – сказал жилец, – сейчас явится хозяин и прогонит вас вместе с коровой.

– Так что же мне делать?! – простонал Еня, приходя в некоторое отчаяние. – Ну, посоветуйте.

– Да что ж тут советовать... А вдруг она будет кричать целую ночь. Знаете что? Зарежьте ее.

– То есть... как это зарезать?

– Да очень просто. А завтра мясо можно продать мясникам.

Можно было сказать с уверенностью, что мыслительные способности гостя в лучшем случае стояли на одном уровне с мыслительными способностями хозяина.

Еня тупо поглядел на жильца и сказал, после некоторого колебания:

– А что же мне за расчет?

– Ну как же! В ней мяса пудов двадцать... По пяти рублей пуд продадите – и то сто рублей. Да шкура, да то, да се... А за живую вам все равно не больше дадут.

– Серьезно? А чем же я ее зарезу? Есть столовый нож и тот тупой. Ножницы еще есть – больше ничего.

– Что ж, если ножницы вонзить ей в глаз, чтобы дошло до мозга...

– А вдруг она... станет защищаться... Подымет крик...

– Положим, это верно. Может, отравить ее, если...

– Ну, вы тоже скажете... Сонного порошка ей вкатить бы, чтоб заснула, да откуда его сейчас возьмешь?..

«Му-у-у-у!» – заревела корова, поглядывая глупыми круглыми глазами на потолок.

За стеной послышалась возня. Кто-то рычал, ругался, отплеывался от сна. Потом послышалось шарканье босых ног, дверь в Енину комнату распахнулась, и перед смятенным Еней предстал сонный, растрепанный хозяин.

Он взглянул на корову, на Еню, заскрипел зубами и, не вдаваясь ни в какие расспросы, уронил сильное и краткое:

– Вон!

– Позвольте вам объяснить, Алексей Фомич...

– Вон! Чтобы духу твоего сейчас же не было. Я покажу вам, как безобразие заводить!

– То, что я вам и говорил, – сказал жилец таким тоном, будто все устроилось как нужно; закутался в свое одеяло и пошел спать.

* * *

Была глухая, темная летняя ночь, когда Еня очутился на улице с коровой, чемоданом и одеялом с подушкой, навьюченными на корову (первая осязательная польза, приносимая Ене этим неудачным выигрышем).

– Ну, ты, проклятая! – сказал Еня сонным голосом. – Иди, что ли! Не стоять же тут...

Тихо побрели...

Маленькие окраинные домики кончились, раскинулась пустынная степь, ограниченная с одной стороны каким-то плетеным забором.

– Тепло, в сущности, – пробормотал Еня, чувствуя, что он падает от усталости. – Посплю здесь у изгороди, а корову к руке привяжу.

И заснул Еня – это удивительное игральное замышловатой судьбы.

* * *

– Эй, господин! – раздался над ним чей-то голос. Было яркое, солнечное утро.

Еня открыл глаза и потянулся.

– Господин! – сказал мужичонка, пошевелив его носком сапога. – Как же это возможно, чтобы руку к дереву привязывать. Это к чему ж такое?

Вздвигнув как ужаленный, вскочил Еня на ноги и издал болезненный крик: другой конец привязанной к руке веревки был наглухо прикреплен к низкорослому, корявому дереву.

Суеверный человек предположил бы, что за ночь корова чудесной силой превратилась в дерево, но Еня был просто глупо-практичным юношей.

Всхлипнул и завопил:

– Украла!!

.....

– Постойте, – сказал участковый пристав. – Что вы мне все говорите – украла да украла, корова да корова!.. А какая корова?

– Как какая? Обыкновенная.

– Да какой масти-то?

– Такая, знаете... Коричневая. Но есть, конечно, и белые места.

– Где?

– Морда, кажется, белая. Или нет! Сбоку белое... На спине тоже... Хвост такой же тоже... бледный. Вообще, знаете, как обыкновенно бывают коровы.

– Нет-с! – решительно сказал пристав, отодвигая бумагу. – По таким спутанным приметам я разыскивать не могу. Мало ли коров на свете!

И побрел бедный Еня на свой крахмальный завод... Все тело ломило от неудобного ночлега, а впереди предстоял от бухгалтера выговор, так как был уже первый час дня...

И призадумался Еня над тщетой всего земного: вчера у Ени было все: корова, жилище и любимая девушка, а сегодня все потеряно: и корова, и жилище, и любимая девушка.

Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все – ее слепые, покорные рабы.

Белая ворона

Он занимался кристаллографией. Ни до него, ни после него я не видел ни одного живого человека, который бы занимался кристаллографией. Поэтому мне трудно судить – имела ли какая-нибудь внутренняя связь между свойствами его характера и кристаллографией, или свойства эти не находились под влиянием избранной им профессии.

Он был плечистый молодой человек с белокурыми волосами, розовыми полными губами и такими ясными прозрачными глазами, что в них даже неловко было заглядывать: будто подсматриваешь в открытые окна чужой квартиры, в которой все жизненные эмоции происходят при полном освещении.

Его можно было расспрашивать о чем угодно – он не имел ни тайн, ни темных пятен в своей жизни, пятен, которые, как леопардовая шкура, украшают все грешное человечество.

Я считаю его дураком, и поэтому все наше знакомство произошло по-дурацки: сидел я однажды вечером в своей комнате (квартира состояла из ряда комнат, сдаваемых плутоватым хозяином), сидел мирно, занимался, – вдруг слышу за стеной топот ног, какие-то крики, рев и стоны...

Я почувствовал, что за стеной происходит что-то ужасное. Сердце мое дрогнуло, я вскочил, выбежал из комнаты и распахнул соседнюю дверь.

Посредине комнаты стоял плечистый молодец, задрапированный красным одеялом, с диванной подушкой, нахлобученной на голову, и топал ногами, издавая ревушие звуки, приплясывая и

изгибаясь самым странным образом.

При стуке отворенной двери он обернулся ко мне и, сделав таинственное лицо, предостерег:

– Не подходите близко. Оно ко мне привыкло, а вас может испугаться. Оно всю дорогу плакало, а теперь утихло... – И добавил с гордой самонадеянностью: – Это потому, что я нашел верное средство, как его развлечь. Оно смотрит и молчит.

– Кто «оно»? – испуганно спросил я.

– Оно, ребенок. Я нашел его на улице и притащил домой.

Действительно, на диване, обложенное подушками, лежало крохотное существо и большими, остановившимися глазами разглядывало своего увеселителя...

– Что за вздор? Где вы его нашли? Почему вы обыкновенного человеческого ребенка называете «оно»?!

– А я не знаю еще – мальчик оно или девочка. А нашел я его тут в переулке, где ни одной живой души. Орало оно, будто его режут. Я и взял.

– Так вы бы его лучше в полицейский участок доставили.

– Ну, вот! Что он, убил кого, что ли? Прехорошенький ребеночек! А? Вы не находите?

Он с беспокойством любящего отца посмотрел на меня.

В это время ребенок открыл рот и во всю мочь легких заорал.

Его покровитель снова затопал ногами, заплясал, помахивая одеялом и выкидывая самые причудливые коленца.

Наконец, усталый, приостановился и, отдышавшись, спросил:

– Не думаете ли вы, что он голоден? Что «такие» едят?

– Вот «такие»? Я думаю, все их меню заключается в материнском молоке.

– Гм! История. А где его, спрашивается, достать, молока этого?

Мы недоумевающе посмотрели друг на друга, но наши размышления немедленно же были прерваны стуком в дверь.

Вошла прехорошенькая девушка и, бросив на меня косой взгляд, сказала:

– Алеша, я принесла вам взятую у вас книгу лекций профес... Это еще что такое?

– Ребеночек. На улице нашел. Правда, милый?

Девушка приняла в ребенке деятельное участие: поцеловала его, поправила пеленки и обратила вопросительный взгляд на Алешу.

– Почему он кричит? – строго спросила она.

– Не знаю. Я его ничем не обидел. Вероятно, он голоден.

– Почему же вы ничего не предпринимаете?

– Что же я могу предпринять?! Вот этот господин – он, кажется, понимает толк в этих делах – советует покормить грудью. Не можем же мы с ним, согласитесь сами...

В это время его взор упал на юную, очевидно, только этой весной расцветшую грудь девушки, и лицо его озарилось радостью.

– Послушайте, Наташа... Не могли бы вы... А?

– Что такое? – удивленно спросила девушка.

– Не могли бы вы... покормить его грудью? А мы пока вышли бы в соседнюю комнату...

Мы не будем смотреть.

Наташа вспыхнула до корней волос и сердито сказала:

– Послушайте... Всяким шуткам есть границы... Я не ожидала от вас...

– Я не понимаю, что тут обидного? – удивился Алеша. – Ребенку нужна женская грудь, я и подумал...

– Вы или дурак, или нахал, – чуть не плача, сказала девушка, отошла к стене и уткнулась лицом в угол.

– Чего она ругается? – изумленно спросил меня Алеша. – Вот вы – человек опытный... Что тут обидного, если девушка покормит...

Я отскочил в другой угол и, пряча лицо в платок, затрясся.

Потом позвал его:

– Пойдите-ка сюда... Скажите, сколько вам лет?

- Двадцать два. А что?
- Чем вы занимаетесь?
- Кристаллографией...
- И вы думаете, что эта девушка может покормить ребенка?..
- Да что ж ей... жалко, что ли?

Содрогание моих плеч сделалось до того явным, что юная парочка могла обидеться. Я махнул рукой, выскочил из комнаты, побежал к себе, упал на кровать, уткнул лицо в подушку и поспешно открыл все клапаны своей смешливости. Иначе меня бы разорвало, как детский воздушный шар, к которому приложили горящую папироску...

За стеной был слышен крупный разговор. Потом все утихло, хлопнула дверь, и по коридору раздались шаги двух пар ног.

Очевидно, хозяин и гостя, помирившись, пошли пристраивать куда-нибудь в более надежные руки свое сокровище.

* * *

Вторично я увидел Алешу недели через две. Он зашел ко мне очень расстроенный.

- Я пришел к вам посоветоваться.
- Что-нибудь случилось? – спросил я, заражаясь его озабоченным видом.
- Да! Скажите, что бы вы сделали, если бы вас поцеловала чужая дама?
- Красивая? – с цинизмом, присущим опытности, спросил я.
- Она красивая, но я не думаю, чтобы это в данном случае играло роль.
- Конечно, это деталь, – сдерживая улыбку, согласился я. – Но в таких делах иногда подобная пустяковая деталь важнее главного!
- Ну да! А в случае со мной главное-то и есть самое ужасное. Она оказалась – замужем!
- Я присвистнул:
- Значит, вы целовались, а муж увидел?!
- Не то. Во-первых, не «мы целовались», а она меня поцеловала. Во-вторых, муж ничего и не знает.
- Так что же вас тревожит?
- Видите ли... Это в моей жизни первый случай. И я не знаю, как поступить? Жениться на ней – невозможно. Вызвать на дуэль мужа – за что? Чем же он виноват? Ах! Это случилось со мной в первый раз в жизни. Запутанно и неприятно. И потом – если она замужем – чего ради ей целоваться с чужими?!
- Алеша!
- Ну?..
- Чем вы занимались всю вашу жизнь?
- Я же говорил вам: кристаллографией.
- Мой вам дружеский совет: займитесь хоть ботаникой... Все-таки это хоть немного расширит ваш кругозор. А то – кристаллография... она действительно...
- Вы шутите, а мне вся эта история так неприятна, так неприятна...
- Гм... А с Наташей помирились?
- Да, – пробормотал он, вспыхнув. – Она мне объяснила, и я понял, какой я дурак.
- Алешенька, милый!.. – завопил я. – Можно вас поцеловать?
- Он застенчиво улыбнулся и, вероятно, вспомнив по ассоциации о предприимчивой даме, сказал:
- Вам – можно.
- Я поцеловал его, успокоил, как мог, и отпустил с миром.

* * *

Через несколько дней после этого разговора он робко вошел ко мне, поглядел в угол и осве-

домился:

– Скажите мне: как на вас действует сирень?

Я уже привык к таинственным извивам его свежей, благоухающей мысли. Поэтому, не удивляясь, ответил:

– Я люблю сирень. Это растение из семейства многолетних действует на меня благотворно.

– Если бы не сирень – ничего бы этого не случилось, – опутив глаза вниз, пробормотал он. – Это «многолетнее» растение, как вы называете его – ужасно!

– А что?

– Мы сидели на скамейке в саду. Разговаривали. Я объяснял ей разницу между сталактитом и сталагмитом – да вдруг – поцеловал!!

– Алеша! Опомнитесь! Вы? Поцеловали? Кого?

– Ее. Наташу. – И, извиняясь, добавил: – Очень сирень пахла. Голова кружилась. Не зная свойств этого многолетнего растения – не могу даже разобраться: виноват я или нет... Вот я и хотел знать ваше мнение...

– Когда свадьба? – лаконически осведомился я.

– Через месяц. Однако как вы догадались?! Она меня... любит!..

– Да что вы говорите?! Какое совпадение! А помните, я прошлый раз говорил вам, что ботаника все-таки выше вашей кристаллографии? О зоологии и физиологии я уже не говорю.

– Да... – задумчиво проговорил он, глядя в окно светлым, чистым взглядом. – Если бы не сирень – я бы так никогда и не узнал, что она меня любит.

* * *

Он сидел задумчивый, углубленный в свои новые, такие странные и сладкие переживания, а я глядел на него, и мысли – мысли мудрого циника – копошились в моей голове.

«Да, братец... Теперь ты узнаешь жизнь... Узнаешь, как и зачем целуются женщины... Узнаешь на собственных детях, каким способом их кормить, а впоследствии узнаешь, может быть, почему жены целуют не только своих мужей, но и чужих молодых человек. Мир твоему праху, белая ворона!..»

О МАЛЕНЬКИХ – ДЛЯ БОЛЬШИХ Рассказы

Вечером

Посвящаю Лиде Терентьевой

Подперев руками голову, я углубился в «Историю французской революции» и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибежали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

– Дядя!

– Что тебе, Лидочка?

– Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

– Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов. Она долго смотрит на меня.

– Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

– А зачем?

– Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

– Серым?

– Да. Это патологический термин.

– А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое «а зачем» она может задавать тысячу раз.

– Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:

– Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

– Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

– И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос «История революции» бледнеет.

– У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это не хорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

– Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи. Ну, слушай... Ты про Красную

Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо:

– Первый раз слышу.

– Ну, слушай... Жила-была Красная Шапочка...

– Виноват... Не можешь ли ты указать точно ее местожительство? Для уяснения, при развитии фабулы.

– А зачем?

– Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает.

– В этом... В Симферополе.

– Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

–...Взяла она маслицо и лепешечку и пошла через лес к бабушке...

– Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

– Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!

– По-латыни – Lurus.

– Что?

– Я спрашиваю: большой волк?

– Вот такой. И говорит ей... Она морщит нос и рычит:

– Красная Шапочка... Куда ты идешь?

– Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку.

Она страдальчески закусывает губу:

– Я больше не буду рассказывать сказки. Мне стыдно.

– Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик...

– А где он жил? – ехидно спрашивает она.

– Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки.

Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: «Папаша... яблоки имеют лапки?» – «Нет, милый». – «Ну, значит я жабу слопал!»

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.

– Ай! Съел жабу?

– Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

Минут через двадцать знакомое дерганье за пиджак, легкое царапание ногтем – и шепотом:

– Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся так смешно...

– Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.

– Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые... груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка и спрашивает: «Мама! Груши имеют лапки?» – «Нет, детка». – «Ну, значит, я курицу слопала!»

– Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:

– Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

– Лида! Знаешь ты, что это – плагиат? Стыдись! Чтобы замять разговор, она просит:

– Покажи картинки.

– Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?

– Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке:

– Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

– Хорошо-о... Теперь дай ты мне книгу – я твоего жениха найду.

– Ты хочешь сказать: невесту?

– Ну, невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу, перелистывает...

– Пойди сюда, дядя, – неуверенно подзывает она. – Вот твоя невеста...

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы.

– Э, нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

– Лида, Лидочка... Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

– Я не могу... найти... для тебя... страшную... невесту. Пожав плечами, сажусь за революцию; углубляюсь в чтение.

Тишина... Оглядываюсь.

С непросохшими глазами, Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы...

Дети

I

Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.

Найти настоящий путь к детскому сердцу – очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонн, гувернанток и нянек.

Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад...

* * *

Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонаправных мальчиков от 8 до 11 лет.

В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:

– Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим

тебя одного?

Я добродушно ответил:

– Если ты опасаясь, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, – то опасения твои преувеличены более чем на половину.

– Дело не в том... А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.

– Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия: как это так за ними присматривают?

– Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно... Ты такой милый!..

– Милый-то я милый... А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?

– Я скажу им... О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.

Были призваны дети. Три благонаправных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.

– Вот, дети, – сказал отец, – с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайте его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня – не год же, черт возьми!

Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.

II

Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.

До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.

– Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко, и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?

Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.

– Мы... не умеем... стоять... на головах.

– Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об том с похвалой. Вот так, смотрите!

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову. Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.

Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.

Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.

– Дети! – сказал я внушительно. – Я вам запрещаю – слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!

Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.

Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением...

За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: «Папа, мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще уменье в лежачем положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: «7 руб. 50 коп.»

Повторяю – это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками.

Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!

III

– Будем жить в свое удовольствие, – предложил я детям. – Что вы любите больше всего?
– Курить! – сказал Ваня.
– Купаться вечером в речке! – сказал Гришка.
– Стрелять из ружья! – сказал Леля.
– Почему же вы, отвратительные дьяволята, – фамильярно спросил я, – любите все это?
– Потому что нам запрещают, – ответил Ваня, вынимая из кармана, папироску. – Хотите курить?

– Сколько тебе лет?
– Десять.
– А где ты взял папиросы?
– Утащил у папы.
– Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил – будем курить их. А выйдут – я угощу вас своими.

Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.

Поговорили о домовых, живших на конюшне.

Потом беседа прекратилась. Молчали...

– Скажи ему! – шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке. – Скажи ты ему!..

– Пусть лучше Ваня скажет, – шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка. – Ванька, скажи ему.
– Стыдно, – прошептал Ваня. Речь, очевидно, шла обо мне.
– О чем вы, детки, хотите мне сказать? – осведомился я.
– Об вашей любовнице, – хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка. – Об тете Лизе.
– Что вы врете, скверные мальчишки? – смутился я. – Какая она моя любовница?
– А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.

Меня разобрал смех.

– Да как же вы это видели?

– А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!..»

– Дура! – сказал, усмехаясь, маленький Лелька. Мы помолчали.

– Что же вы хотели мне сказать о ней?

– Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастливым человеком будете.

– А чем же она плохая? – спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.
– Как вам сказать... Слякоть она!
– Не женитесь! – предостерег Гришка.
– Почему же, молодые друзья?
– Она мышей боится.
– Только всего?
– А мало? – пожал плечами маленький Лелька. – Визжит, как шумашедшая. А я крысу за хвост могу держать!
– Вчера мы поймали двух крыс. Убили, – улыбнулся Гришка.
Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке, и ловко перевел разговор на разбойников.
О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.
Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.
– Есть хочу, – сказал неожиданно Лелька.
– Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?
Милые дети отвечали согласным хором:
– Ухи.
– А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?
– На огороде. Украсть.
– Почему же украсть лучше, чем попросить?
– Веселее, – сказал Гришка. – Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!!
Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.

IV

Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ошипывал сташенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.
Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.
Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания взглядом глядел мне в лицо.
Неожиданно Ванька расхохотался:
– Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?
– Хи-хи! – запищал голый Гришка. – Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.
– А все Михаил Петрович, – сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.
– Мы вас не выдадим!
– Можно называть вас Мишей? – спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. – Ой, горячо!..
– Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?
– Превосхитительно!
Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.
– Давайте ночевать тут, – предложил кто-то.
– Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, – возразил я.
– Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.
– Не простудимся?
– Нет, – оживился Ванька. – Накажи меня Бог, не простудимся!!!
– Ванька! – предостерег Лелька. – Божишься? А что немка говорила?
– Божиться и клясться нехорошо, – сказал я. – В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы... Например: «Клянусь своей бородой!» «Тысяча громов»... «Проклятие неба!»

– Тысяча небов! – проревел Гришка. – Пойдем собирать сухие ветки для костра. Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший. Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защebetали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.

V

Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие...

Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно – с прямой целью отвертеться от утомительного снятия и надевания штанов при купании.

Лица всех трех загорели, голоса от ночевки на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:

– Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!

К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении? Дети успокаивали меня, как могли:

– Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!

– Тысяча громов! – хвастливо кричал Ванька. – А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!

– Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.

– Ничего, Миша! – успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. – Зато хорошо пожили!

Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.

Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.

Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:

– Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сблизюсь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу... Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?

– Тебя! – хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.

– Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?

– Пойдем, – сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.

– Было ли вам эти три дня весело?

– Ого!!

Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.

Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:

– Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?

– Да! – сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. – Клянусь своей бородой! Пошел бы.

Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.

Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:

– Хохочет... Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура.

Индийская хитрость

После звонка прошло уж минут десять, все уже сидели за партами, а учитель географии не

являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых – именно тех, которые и не разворачивали вчера истрепанный учебник географии... Сладкая надежда: а вдруг не придет совсем?

Учитель пришел на двенадцатой минуте.

Подсолнухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул деланно испуганным голосом:

– Слава Богу! Наконец-то вы пришли! А мы тут так всполошились – не случилось ли с вами чего?

– Глупости... Что со мной случится...

– Отчего вы такой бледный, Алексан Ваныч?

– Не знаю... У меня бессонница.

– А к моему отцу раз таракан в ухо заполз.

– Ну и что же?

– Да ничего.

– При чем тут таракан?

– Я к тому, что он тоже две ночи не спал.

– Кто, таракан? – пошутил учитель. Весь класс заискивающе засмеялся.

«Только бы не спросил, – подумали самые отчаянные бездельники, – а то можно смеяться хоть до вечера».

– Не таракан, а мой папаша, Алексан Ваныч. Мой папаша, Алексан Ваныч, три пуда одной рукой подымает.

– Передай ему мои искренние поздравления...

– Я ему советовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо этого служит в банке директором – прямо смешно.

Так как учитель уже развернул журнал и разговор грозил иссякнуть, толстый хохол Нечипоренко решил «подбросить дров на огонь»:

– Я бы на вашем месте, Алексан Ваныч, сказал этому Подсолнухину, что он сам не понимает, что говорит. Директор банка – это личность уважаемая, а борец в цирке...

– Нечипоренко! – сказал учитель, погрозив ему карандашом. – Это к делу не относится. Сиди и молчи.

Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с очень тугой головой, решил, что и ему нужно посторонним разговором оттянуть несколько минут.

Натужился и среди тишины молвил свое слово:

– Молчание – знак согласия.

– Что? – изумился учитель.

– Я говорю, молчание – знак согласия.

– Ну так что же?

– Да ничего.

– Ты это к чему сказал?

– Вы, Алексан Ваныч, сказали Нечипоренке «молчи»! Я и говорю: молчание – знак согласия.

– Очень кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, когда придет твоя очередь говорить?

– Гм! Кхи! – закашлялся Карташевич.

–...когда я спрошу у тебя урок. Хорошо? Карташевич не видел в этом ничего хорошего, но принужден был согласиться, сдерживая свой гудящий бас:

– Горожо.

– Карташевич через двух мальчиков перепрыгивает, – счел уместным сообщить Нечипоренко.

– А мне это зачем знать?

– Не знаю... извините... Я думал, может, интересно...

– Вот что, Нечипоренко. Ты, брат, хитрый, но я еще хитрее... Если ты скажешь еще что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу...

– «К отцу, весь издрогнув, малютка приник», – продекламировал невпопад Карташевич.

– Карташевич! Ступай прииникни к печке. Вы сегодня с ума сошли, что ли? Дежурный! Что на сегодня готовили?

– Вятскую губернию.

– А-а... Хорошо-с. Прекрасная губерния. Ну... спросим мы... Кого бы нам спросить?

Он посмотрел на притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Иванович посоветовал бы спросить Нечипоренку, Патваканов – Блимберга, Сураджев – Патваканова, и все вместе они искренно посоветовали бы вообще никого не спрашивать.

– Спросим мы...

Худощавый мечтательный Челноков поймал рассеянный взгляд учителя, опустил голову, но сейчас же поднял ее и не менее рассеянно взглянул на учителя.

«Ого! – подумал он. – Глядит на Блимберга. А ну-ка, Блимберг, раскошелив...»

– Челноков!

Челноков бодро вскочил, захлопнув под партой какую-то книгу, и сказал:

– Здесь!

– Ну? Неужели здесь? – изумился учитель. – Вот поразительно! А ну-ка, что ты нам скажешь о Вятской губернии?

– Кхе! Кха! Хррр...

– Что это с тобой? Ты кашляешь?

– Да, кашляю, – обрадовался Челноков.

– Бедненький... Ты, вероятно, простудился?

– Да... вероятно...

– Вероятно! Может быть, твоему здоровью угрожает опасность?

– Угрожает... – машинально ответил Челноков.

– Боже мой, какой ужас! Может быть, даже жизни угрожает опасность?

Челноков сделал жалобную гримасу и открыл было уже рот, но учитель опустил голову в журнал и сказал совершенно другим, прежним тоном:

– Ну-с... Расскажи нам, что тебе известно о Вятской губернии.

– Вятская губерния, – сказал Челноков, – отличается своими размерами. Это одна из самых больших губерний России... По своей площади она занимает место равное... Мексике и штату Виргиния... Мексика одна из самых богатых и плодородных стран Америки, населена мексиканцами, которые ведут стычки и битвы с гверильясами. Последние иногда входят в соглашение с индейскими племенами шавниев и гуронов, и горе тому мексиканцу, который...

– Постой, – сказал учитель, выглядывая из-за журнала. – Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?

– Не в Вятской губернии, а в Мексике.

– А Мексика где?

– В Америке.

– А Вятская губерния?

– В... Рос... сии.

– Так ты мне о Вятской губернии и говори.

– Кгм! Почва Вятской губернии имеет мало чернозему, климат там суровый и потому хлебопашество идет с трудом. Рожь, пшеница и овес – вот что главным образом может произрастать в этой почве. Тут мы не встретим ни кактусов, ни алоэ, ни цепких лиан, которые, перекидываясь с дерева на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую чащу, которую с трудом одолевает томагавк отважного пионера Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под немолчные крики обезьян, разноцветных попугаев, оглашающих воздух...

– Что?!

– Оглашающих, я говорю, воздух.

– Кто и чем оглашает воздух?

– Попугаи... криками...

– Одного из них я слышу. К сожалению, о Вятской губернии он ничего не рассказывает.

– Я, Алексан Ваньч, о Вятской губернии и рассказываю... Народонаселение Вятской губер-

нии состоит из великороссов. Главное их занятие хлебопашество и охота. Охотятся за пушным зверем – волками, медведями и зайцами, потому что других зверей в Вятской губернии нет... Нет ни хитрых гибких леопардов, ни ягуаров, ни громадных свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих льяносах, пока меткая стрела индейца или пуля из карабина скваттера...

– Кого-о?

– Скваттера.

– Это что за кушанье?

– Это не кушанье, Алексан Ваньч, а такие... знаете... американские помещики...

– И они живут в Вятской губернии?!

– Нет... Я – к слову пришлось...

– Челноков, Челноков!.. Хотел я тебе поставить пятерку, но – к слову пришлось и поставлю двойку. Нечипоренко!

– Тут!

– Я тебя об этом не спрашиваю. Говори о Вятской губернии.

– Кхе!

– Ну? – поощрил учитель.

И вдруг – все сердца екнули – в коридоре бешено прозвенел звонок на большую перемену.

– Экая жалость! – отчаянно вздохнул Нечипоренко. – А я хотел ответить урок на пятерку.

Как раз сегодня выучил!..

– Это верно? – спросил учитель.

– Верно.

– Ну, так я тебе поставлю... тоже двойку, потому что ты отнял у меня полчаса.

Человек за ширмой

I

– Небось, теперь-то на меня никто не обращает внимания, а когда я к вечеру буду мертвым – тогда, небось, заплачут. Может быть, если бы они знали, что я задумал, так задержали бы меня, извинились... Но лучше нет! Пусть смерть... Надоели эти вечные попреки, притеснения из-за какого-нибудь лишнего яблока или из-за разбитой чашки. Прощайте! Вспомните когда-нибудь раба божьего Михаила. Недолго я и прожил на белом свете – всего восемь годочков!

План у Мишки был такой: залезть за ширмы около печки в комнате тети Аси и там умереть. Это решение твердо созрело в голове Мишки.

Жизнь его была не красна. Вчера его оставили без желе за разбитую чашку, а сегодня мать так толкнула его за разлитые духи в золотом флаконе, что он отлетел шагов на пять. Правда, мать толкнула его еле-еле, но так приятно страдать: он уже нарочно, движимый не внешней силой, а внутренними побуждениями, сам по себе полетел к шкафу, упал на спину и, полежав немного, стукнулся головой о низ шкафа.

Подумал:

«Пусть убивают!».

Эта мысль вызвала жалость к самому себе, жалость вызвала судорогу в горле, а судорога вылилась в резкий хриплый плач, полный предсмертной тоски и страдания.

– Пожалуйста, не притворяйся, – сердито сказала мать. – Убирайся отсюда!

Она схватила его за руку и, несмотря на то, что он в последней конвульсивной борьбе цеплялся руками и ногами за кресло, стол и дверной косяк, вынесла его в другую комнату.

Униженный и оскорбленный, он долго лежал на диване, придумывая самые страшные кары своим суровым родителям...

Вот горит их дом. Мать мечется по улице, размахивая руками, и кричит: «Духи, духи! Спасите мои заграничные духи в золотом флаконе». Мишка знает, как спасти эту драгоценность, но

он не делает этого. Наоборот, скрещивает руки и, не двигаясь с места, раздражается грубым, оскорбительным смехом: «Духи тебе? А когда я нечаянно разлил полфлакона, ты сейчас же толкаться?..» Или может быть так, что он находит на улице деньги... сто рублей. Все начинают льстить, подмазываться к нему, выпрашивать деньги, а он только скрещивает руки и раздражается изредка оскорбительным смехом... Хорошо, если бы у него был какой-нибудь ручной зверь – леопард или пантера... Когда кто-нибудь ударит или толкнет Мишку, пантера бросается на обидчика и терзает его. А Мишка будет смотреть на это, скрестив руки, холодный, как скала... А что, если бы на нем ночью выросли какие-нибудь такие иголки, как у ежа?.. Когда его не трогают, чтоб они были незаметны, а как только кто-нибудь замахнет, иголки приподымаются и – трах! Обидчик так и напорется на них. Узнала бы нынче маменька, как драться. И за что? За что? Он всегда был хорошим сыном: остерегался бегать по детской в одном башмаке, потому что этот поступок по поверью, распространенному в детской, грозил смертью матери... Никогда не смотрел на лежащую маленькую сестренку со стороны изголовья – чтобы она не была косая... Мало ли что он делал для поддержания благополучия в их доме. И вот теперь...

Интересно, что скажут все, когда найдут в тетиной комнате за ширмой маленький труп... Подыметесь визг, оханье и плач. Прибежит мать: «Пустите меня к нему! Это я виновата!» – «Да уж поздно!» – подумает его труп и совсем, навсегда умрет...

Мишка встал и пошел в темную комнату тети, придерживая рукой сердце, готовое разорваться от тоски и уныния...

Зашел за ширмы и присел, но сейчас же, решив, что эта поза для покойника не подходяща, улегся на ковре. Были сумерки; от низа ширмы вкусно пахло пылью, и тишину нарушали чьи-то заглушенные двойными рамами далекие крики с улицы:

– Алексей Иваныч!.. Что ж вы, подлец вы этакий, обе пары уволокли... Алексей Ива-а-аныч! Отдайте, мерзавец паршивый, хучь одну пару!

«Кричат... – подумал Мишка. – Если бы они знали, что тут человек помирает, так не покричали бы».

Тут же у него явилась смутная, бесформенная мысль, мимолетный вопрос: «Отчего ж в сущности он умирает? Просто так – никто не умирает... Умирают от болезней».

Он нажал себе кулаком живот. Там что-то зловеще заурчало.

«Вот оно, – подумал Мишка, – чахотка. Ну и пусть! И пусть. Все равно».

В какой позе его должны найти? Что-нибудь поэффектнее, поживописнее. Ему вспомнилась картинка из «Нивы», изображавшая убитого запорожца в степи. Запорожец лежит навзничь, широко раскинув богатырские руки и разбросав ноги. Голова немного склонена набок и глаза закрыты.

Поза была найдена.

Мишка лег на спину, разбросал руки, ноги и стал понемногу умирать...

II

Но ему помешали.

Послышались шаги, чьи-то голоса и разговор тети Аси с знакомым офицером Кондрат Григорьевичем.

– Только на одну минутку, – говорила тетя Ася, входя. – А потом я вас сейчас же выгоню.

– Настасья Петровна! Десять минут... Мы так с вами редко видимся, и то все на людях... Я с ума схожу.

Мишка, лежа за ширмами, похолодел. Офицер сходит с ума!.. Это должно быть ужасно. Когда сходят с ума, начинают прыгать по комнате, рвать книги, валяться по полу и кусать всех за ноги! Что, если сумасшедший найдет Мишку за ширмами?..

– Вы говорите вздор, Кондрат Григорыч, – совершенно спокойно, к Мишкиному удивлению, сказала тетя. – Не понимаю, почему вам сходит с ума?

– Ах, Настасья Петровна... Вы жестокая, злая женщина.

«Ого! – подумал Мишка. – Это она-то злая? Ты бы мою маму попробовал – она б тебе пока-

зала».

– Почему ж я злая? Вот уж этого я не нахожу.

– Не находите? А мучить, терзать человека – это вы находите?

«Как она там его терзает?»

Мишка не понимал этих слов, потому что в комнате все было спокойно: он не слышал ни возни, ни шума, ни стонов – этих необходимых спутников терзания.

Он потихоньку заглянул в нижнее отверстие ширмы – ничего подобного. Никого не терзали... Тетя преспокойно сидела на кушетке, а офицер стоял около нее, опустив голову, и крутил рукой какую-то баночку на туалетном столике.

«Вот уронишь еще баночку – она тебе задаст», – злорадно подумал Мишка, вспомнив сегодняшней случай с флаконом.

– Я вас терзаю? Чем же я вас терзаю, Кондрат Григорьевич?

– Чем? И вы не догадываетесь?

Тетя взяла зеркальце, висевшее у нее на длинной цепочке, и стала ловко крутить, так что и цепочка и зеркальце слились в один сверкающий круг.

«Вот-то здорово! – подумал Мишка. – Надо бы потом попробовать».

О своей смерти он стал понемногу забывать; другие планы зародились в его голове... Можно взять коробочку от кнопок, привязать ее к веревочке и тоже так вертеть – еще почище теткинго верчения будет.

III

К его удивлению, офицер совершенно не обращал внимания на ловкий прием с бешено мелькавшим зеркальцем. Офицер сложил руки на груди и, звенящим шепотом произнес:

– И вы не догадываетесь?!

– Нет, – сказала тетя, кладя зеркальце на колени.

– Так знайте же, что я люблю вас больше всего на свете!

«Вот оно... Уже начал с ума сходить, – подумал со страхом Мишка. – На колени стал. С чего, спрашивается?»

– Я день и ночь о вас думаю... Ваш образ все время стоит передо мной. Скажите же... А вы... А ты? Любишь меня?

«Вот еще, – поморщился за ширмой Мишка, – на „ты“ говорит. Что же она ему, горничная, что ли?»

– Ну, скажи мне! Я буду тебя на руках носить, я не позволю на тебя пылинке сесть...

«Что-о такое?! – изумленно подумал Мишка. – Что он такое собирается делать?»

– Ну, скажи – любишь? Одно слово... Да?

– Да, – прошептала тетя, закрывая лицо руками.

– Одного меня? – навязчиво сказал офицер, беря ее руки. – Одного меня? Больше никого?

Мишка, распростертый в темном уголку за ширмами, не верил своим ушам.

«Только его? Вот тебе раз!.. А его, Мишку? А папу, маму? Хорошо же... Пусть-ка она теперь подойдет к нему с поцелуями – он ее отбреет».

– А теперь уходите, – сказала тетя, вставая. – Мы и так тут засиделись. Неловко.

– Настя! – сказал офицер, прикладывая руки к груди. – Сокровище мое! Я за тебя жизнью готов пожертвовать.

Этот ход Мишке понравился. Он чрезвычайно любил все героическое, пахнущее кровью, а слова офицера нарисовали в Мишкином мозгу чрезвычайно яркую, потрясающую картину: у офицера связаны сзади руки, он стоит на площади на коленях, и палач, одетый в красное, ходит с топором. «Настя! – говорит мужественный офицер. – Сейчас я буду жертвовать за тебя жизнью...» Тетя плачет: «Ну, жертвуй, что ж делать». Трах! И голова падает с плеч, а палач по Мишкиному шаблону в таких случаях скрещивает руки на груди и хохочет оскорбительным смехом.

Мишка был честным, прямолинейным мальчиком и иначе дальнейшей судьбы офицера не представлял.

– Ах, – сказала тетя, – мне так стыдно... Неужели я когда-нибудь буду вашей женой...

– О, – сказал офицер. – Это такое счастье! Подумай – мы женаты, у нас дети...

«Гм... – подумал Мишка, – дети... Странно, что у тети до сих пор детей не было».

Его удивило, что он до сих пор не замечал этого... У мамы есть дети, у полковницы на верхней площадке есть дети, а одна тетя без детей.

«Наверно, – подумал Мишка, – без мужа их не бывает. Нельзя. Некому кормить».

– Иди, иди, милый.

– Иду. О, радость моя! Один только поцелуй!..

– Нет, нет, ни за что...

– Только один! И я уйду.

– Нет, нет! Ради Бога...

«Чего там ломаться, – подумал Мишка. – Поцеловалась бы уж. Будто трудно... Сестренку Трусью целый день ведь лижет».

– Один поцелуй! Умоляю. Я за него полжизни отдам!

Мишка видел: офицер протянул руки и схватил тетю за затылок, а она запрокинула голову, и оба стали чмокаться.

Мишке сделалось немного неловко. Черт знает что такое. Целуются, будто маленькие. Разве напугать их для смеху: высунуть голову и прорычать густым голосом, как дворник: «Вы чего тут делаете?!»

Но тетя уже оторвалась от офицера и убежала.

IV

Оставшись в одиночестве, обреченный на смерть Мишка встал и прислушался к шуму из соседних комнат.

«Ложки звякают, чай пьют... Небось, меня не позовут. Хоть с голоду подыхай...»

– Миша! – раздался голос матери. – Мишутка! Где ты? Иди пить чай.

Мишка вышел в коридор, принял обиженный вид и боком, озираясь, как волчонок, подошел к матери. «Сейчас будет извиняться», – подумал он.

– Где ты был, Мишутка? Садись чай пить. Тебе с молоком?

«Эх, – подумал добросердечный Миша. – Ну и Бог с ней! Если она забыла, так и я забуду. Все ж таки она меня кормит, обувает».

Он задумался о чем-то и вдруг неожиданно громко сказал:

– Мама, поцелуй-ка меня!

– Ах ты, поцелуйка. Ну, иди сюда.

Мишка поцеловался и, идя на свое место, в недоумении вздернул плечами:

«Что тут особенного? Не понимаю... Полжизни... Прямо – умора!»

О детях

(Материалы для психологии)

У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей.

Мысли их идут по какому-то *своему* пути; от образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью.

Вот несколько пустика, которые запомнились мне.

I

Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала:

– Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать... И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахара. Боль-

ших бочек. Понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-толстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар – величиной с лошадь...

– Да что это, в самом деле, у тебя, – нетерпеливо перебил я. – Все такое громадное: озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук...

Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами:

– А как же бы ты думал. Ведь он же слон?

– Ну, так что?

– И потому что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная ложечка, или кусочек сахара.

Я промолчал, но про себя подумал: «Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку – психологию девочки».

II

Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил:

– Как ты думаешь: как меня зовут? Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза:

– Я думаю – Андрей Иванович.

На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ.

III

Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать.

Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп.

Я вздрогнул и открыл глаза.

Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал. Так мы долго молча смотрели друг на друга. Наконец он с любопытством спросил:

– Что ты лопаешь?

Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем: бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевывал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал:

– Что ты лопаешь? Можно ли не любить детей?

Смерть африканского охотника

I

общие рассуждения скала

Мой друг, моральный воспитатель и наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом:

– Знаете, как бы я нарисовал картину «Жизнь»? По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена... Люди с безумно выкатившимися глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение, бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы – одного за другим... Одного за другим! Впереди ее – пустые отверстые могилы; сзади – наполненные, засыпанные могилы. И кучка живых людей у края видит прошлое: могилы, могилы и могилы. А остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы. Все.

Я вспоминаю эту ненаписанную картину и, пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает, а поступок дикий и для детского возраста неслыханный: у основания большой желтой скалы, на берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте – я закопал в песке, я похоронил одного англичанина и одного француза...

Мир праху вашему – краснобаи и обманщики!

Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо и, сплюснув нос, вижу оставшееся позади: моего отца, индейца Вапити и негра Башелико. А за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены.

Это все главные действующие лица той истории, которая окончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу.

* * *

Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время: как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези?..

Меня, десятилетнего пионера в душе, местожительство отца не удовлетворяло.

А занятие? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром.

Конечно, я ничего не имел против торговли... но вопрос: чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью, вымененной у туземцев на безделушки, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником... Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом (негроторговцы так называют негров).

Но мыло! Но свечи! Но пилёный сахар!

Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря, у подножия одинокой скалы, мечтал...

Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище: скованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, гиней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осыпанной драгоценными камнями утвари...

Грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром, ром без конца...

Я, спрятавшись в одном мне известном углублении на верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим: мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь: не примазаться ли к ним? Хорошо поехать вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, пограбить мимо идущих «купцов», сцепиться на бордаж с английским бригам, дорого продавая свою жизнь, потому что встреча с англичанами – верный галстук на шею.

С другой стороны, можно к пиратам и не примазываться. Другая комбинация не менее заманчива: вырыть сундук с дублонами, притащить к отцу, а потом купить на «вырученные деньги» фургон, в которых ездят южно-африканские боэры, оружия, припасов, нанять нескольких охотников для компании да и двинуться на африканские алмазные поля.

Положим, отец и мать забракуют Африку! Но Боже ты мой! Остается прекрасная Северная Америка с бизонами, бесконечными прериями, мексиканскими вакери и раскрашенными индейцами. Ради такой благодати стоило бы рискнуть скальпами – ха-ха!

Солнце накаливает морской песок у моих ног, тени постепенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодке под облюбованной мною скалой, книга за книгой поглощаю двух своих любимцев: Луи Буссенара и капитана Майн Рида.

«...Расположившись под тенью гигантского баобаба, путешественники с удовольствием вдыхали вкусный аромат жарившейся над костром передней ноги слона. Негр Геркулес сорвал несколько плодов хлебного дерева и присоединил их к вкусному жаркому. Основательно позавтракав и запив жаркое несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом, наши

путешественники, и т. д.».

Я глотаю слюну и шепчу, обуреваемый завистью:

– Умеют же жить люди! Ну-с... позавтракаем и мы. Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и – начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт: не приближается ли пиратское судно?

А тени все длиннее и длиннее...

Пора и в свой блокгауз на Ремесленной улице.

Я думаю, – скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселина сохранилась, и на дне ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом – там все по-прежнему, а мне уже тридцать два года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом:

– Гляди-ка! А ведь у тебя тоже появился седой волос.

II

первое разочарование

Не знаю, кто из нас был большим ребенком, – я или мой отец.

Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю Святую неделю и, может быть (в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну), останется и до мая.

Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду.

Подумаешь, зверинец! Какие там звери? Небось, и агути нет, и гну, и анаконды – матери вод, не говоря уж о жирафах, пеккари и муравьедах.

– Понимаешь – львы есть! Тигры! Крокодил! Удав! Укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. Вот это, брат, штука! Индеец там есть – стрелок, и негр.

– А что негр делает? – спросил я с побледневшим от восторга лицом.

– Да уж что-нибудь делает, – неопределенно промямлил отец. – Даром держать не будут.

– Какого племени?

– Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный, как ни поверни. На первый день Пасхи пойдем – увидишь.

Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачовую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто оценит симфонию звуков хриплого аристона, хлопанья бича и потрясающего рева льва?

Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех запахов: львиной клетки, конского навоза и пороха?..

Эх, очерствели мы!..

Однако когда я опомнился, многое в зверинце перестало мне нравиться. Во-первых – негр.

Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию: негра в красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен. А этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты, и вообще относился ко всем очень заискивающе.

В-третьих – тяжелое впечатление произвел на меня Ва-пити, – индеец, стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями, как петух, но... где же скальпы? Где ожерелье из зубов серого медведя-гризли?

Нет, все это не то.

И потом: человек стреляет из лука – во что? – в черный кружок, нарисованный на деревянной доске.

И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги, бледнолицые!

– Стыдись, Ва-пити, краснокожая собака! – хотел сказать я ему. – Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали твоего мустанга. Другой порядочный индеец не стал бы раздумывать, а вlepил бы сразу парочку стрел в физионо-

мию вон тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель вигвама и угон мустанга не обошлись без его содействия.

Увы! Ва-пити забыл заветы своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланялся на аплодисменты и ушел. Прощай, трусливая собака!

Чем дальше, тем больше падало мое настроение: худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязаный шерстяной платок.

Живой удав – и он стерпел это, не обвинил негодницу своими смертоносными кольцами? Не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны?! Червяк ты несчастный, а не удав!

Лев! Царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком выносящийся из густых зарослей и, как гром небесный, обрушивающийся на спину антилопы... Лев, гроза чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал через обруч! Становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар! Гиена становилась передними ногами ему на круп!..

Да будь я на месте этого льва, я так ткнул бы этого укротителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не подошел.

И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь...

Прошу не осуждать меня за кровожадность... Я рассуждал, так сказать, академически.

Всякий должен делать свое дело: индеец снимать скальп, негр – есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев – терзать без разбору того, другого и третьего, потому что читатель должен понять: пить-есть всякому надо.

Теперь я и сам недоумеваю: что я надеялся увидеть, явившись в зверинец? Пару львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки не успевшего удрать матроса? Индейца, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда обезумевших от ужаса зрителей? Негра, разложившего костер из выломанных досок слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина?

Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое меня бы удовлетворило...

А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном:

– Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра. Повеселимся.

Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я – из любви к приключениям, он – из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности.

– Да-с. Пригласил. Интересные люди.

С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе Шалыпина.

Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо.

III

второе разочарование смерть

Удар за ударом!

Индеец Ва-пити и негр Башелико явились к нам в серых пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше.

Они по примеру хозяина зверинца христосовались с отцом и мамой.

Негр – каннибал – христосовался!

Краснокожая собака – Ва-пити, которого засмеяли бы индейские скво (бабы), – христосовался!

Боже, Боже! Они ели кулич. После жареного миссионера – кулич! А грозный индеец Ва-пити мирно съел три крашеных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим и зеленым цветом. Это – вместо раскраски в цвета войны...

Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки свыше меры, затянул «Виют витры, виют буйны», а индеец ему подтягивал!!

А негр танцевал с теткой польку-мазурку... Правда, при этом ел ее, но только глазами...

И в это время играл не тамтам, а торбан под умелой рукой отца.

А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал забыв своих львов и слонов.

Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты. Долго брел, грустно брел.

Вот и моя скала, вот и расселина – мое пище- и книгохранилище.

Я вынул Буссенара, Майн Рида и уселся у подножия скалы. Перелистал книги... в последний раз.

И со страниц на меня глядели индейцы, поющие: «Виют витры, виют буйны», глядели негры, танцующие польку-мазурку под звуки хохлацкого торбана, львы прыгали через обруч и слоны стреляли хоботом из пистолета...

Я вздохнул.

Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство...

Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томики француза Буссенара и англичанина капитана Майн Рида, засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем другим взглядом... Пиратов не было и не могло быть; не должно быть.

Мальчик умер.

Вместо него – родился юноша.

В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями.

Детвора

Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов, – рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете. Рубрика эта – «Наши дети».

Соль острот «наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился и как ребята делаются постепенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение.

Обыкновенно остроты «наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу:

– Бабушка, ты видела Лысую гору?

– Нет, милый.

– А как же папа говорил вчера, ты сушая ведьма? Или:

– Володя, поцелуй маму, – говорит папа. – Поблаговари ее за обед.

– А почему, – говорит Володя, – вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?

Или совсем просто:

– Дядя, ты лысый дурак?

– Что ты, Лизочка!

– Ну да. Мама, ты же сама вчера сказала папе, что дядя – лысый дурак.

Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть «дурным тоном литературы». Таков сюжет «наши дети».

Поэтому я и хочу рассказать сейчас историю о «наших детях».

От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены у чиновника Плешихина осталось немного денег.

Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал:

«Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной!»

Зашел в магазин.

– Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьми-девяти лет!

Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке: собака перебирала ногами, а жокей качался назад и вперед и натягивал вожжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова.

Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь.

Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился...

О чем они там совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки, о сюрпризах, гадают, кому какие достанутся подарки... Обуреваемы любопытством – будет ли елка... О золотое детство!

Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.

– Я все-таки, – говорил Ванька, – стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть! Картонажами ее увешать хотят – пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность: мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну... можно даже попрыгать вокруг елки и съесть пару леденцов.

– А по-моему, просто, – сказал прямолинейный Вова, – нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска...

– Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика...

– И смешно, и противно, – усмехнулся Вова, – как это они нынче устраивали елку: заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я, нарочно, спросил, что там делается, тетя Нина ответила: «Там маме шьют новое платье!..» Секрет полишинели!..

Все засмеялись.

– Братцы! – умоляюще сказал добросердечный Ванька. – Во всяком случае, ради Бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести – без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте это и вы: порадуем стариков.

Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал.

– Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!

Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке.

– Очень мило! – сказал Ваня, захлопав в ладоши. – Как живой! Спасибо, папочка.

– Тебе это нравится?

– Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться? Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило.

– Ваничка!!

– Что такое?

– Милый мой! Ну, я тебя люблю – ну, будь же и ты со мной откровенен... Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?

Ванька смущенно опустил голову.

– Видишь ли, папа... Если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений (о, конечно, я не о себе говорю и не о Вова – о присутствующих не говорят). По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпичная кукла, без носа и без глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову; а там, где за него все уже представлено мастером, договорено механиком, – там уму его и фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из вида и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.

Понурился, молча, слушал сына чиновник Плешихин.

– Так... Та-ак! И елка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?

– Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать!.. Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны...

Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись.

Потом круто повернулся к сыну и сказал:

– Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.

На губах Ваньки промелькнула страдальческая гримаса.

– Пожалуйста! На твоей стороне сила – я знаю! И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать, – нужнее и важнее не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудности такого аргумента при споре, как сечение, драка... Это общее место. И если хочешь – я даже тебя понимаю и оправдываю... Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настроение подавленное, сердитое, скверное... Нужно на ком-нибудь сорвать злость – на мне или на другом – все равно! Ну что ж, раз мне выпало на долю стать объектом твоего дурного настроения – я покоряюсь и, добавлю, даже не сержусь. «Понять, – сказал философ, – значит простить».

Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.

– Что с тобой, папа? Что ты делаешь?

– Секи ты меня, что уж там! – сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал.

Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное – ни более ни менее как сонное видение чиновника Плешихина...

Заснул чиновник – и пригрезилось.

И, однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими – как умные детишки отсталого чиновника...

Пошли, Господь, всем нам смерть за пять минут до этого.

Сережкин рубль

как его заработал

Звали этого маленького продувного человечка: Сережка Морщинкин, но он сам был не особенно в этом уверен... Колебания его отражались даже на обложках истрепанных тетрадок, на которых иногда было написано вкривь и вкось:

«Сергей Мортчинкин».

То:

«Сергей Мортчинкен».

Эта неустанная, суровая борьба с буквой «щ» не мешала Сережке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались.

Писались стихи по совершенно новому способу... Таковы, например, были Сережкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой:

До соседей вдруг донесся слух.
Что в доме номер три, в кух
Не, горел большой огонь,
Который едва-едва потушили.
Кухарку называли дурой Милли
Он раз, чтобы она смотрела лучше.

За эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобеденного сладкого, отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчицья лошадь написала бы не хуже.

Сережка долго плакал в сенях за дверью, твердо решив убежать к индейцам, но через полчаса его хитрый, изобретательный умишко заработал в другом направлении... Он прокрался в детскую, заперся там и после долгой утомительной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой.

– Что это? – спросил дядя.

– Стихи.

– Твои? Хорошие?

– Да, это уж, брат, почище тех будут, – важно сказал Сережка. – Самые лучшие стихи.

Дядя засмеялся:

– А ну, прочти-ка.

Сережка взобрался с ногами на диван, принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной, и, сипло откашлявшись, прочел:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая...
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, синем кушачке...
Ему больно и смешно,
А мать грозит ему в окно.

– Гм... – сказал дядя. – Немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?

– Уж сейчас и списал, – возразил Сережка, ерзая по дивану и пытаясь стать на голову. – На вас разве угодишь?

Дядя был в великолепном настроении. Он схватил Сережку, перевернул его, привел в обычное положение и сказал:

– Так как все поэты получают за стихи деньги – получай. Вот тебе рубль.

От восторга Сережка даже побледнел:

– Это... мне? И я могу сделать что хочу?

– Что тебе угодно. Хоть дом купи или пару лошадей. В эту ночь Сережке спалось очень плохо – рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного мальчишку несколько раз.

делка

Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в девять часов. Выбрался он из дому в восьмом часу и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями...

Зайдя за угол, он вынул рубль, повертел его в руках и сказал сам себе:

– Интересно, сколько получится денег, если я его разменяю?

Зашел в ближайшую лавочку. Разменял.

Действительно, по количеству – монет оказалась целая уйма – чуть ли не в семь раз больше... но качество их было очень низкое – маленькие, потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль.

«Скверные денежки, – решил Сережка. – Их тут столько, что не мудрено одну монетку и потерять... Разменяю-ка я их обратно».

Он зашел в другую лавчонку с самым озабоченным видом.

– Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.

– Извольте-с.

Новая мысль озарила Сережкину голову.

– А может... У вас бумажный есть?

– Рублевок не имеется. Есть трехрублевки.

– Ну, дайте трехрублевку.

– Это за рубль-то! Проходите, молодой человек. Опять в Сережкином кармане очутился тол-

стый, тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой:

«Даже лучше. Новее того. А много можно на него сделать: купить акварельных красок... или пойти два раза в цирк на французскую борьбу. – При этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы. – А то можно закупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок – ничего – живешь-то ведь один раз».

В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и так сжал его, что Сережка взвизгнул.

– Смерть приготовишкам! – прорычал зловеющий голос. – Смерть Морщинкину.

По голосу Сережка сразу узнал третьеклассника Тарарыкина, первого силача третьего и даже четвертого класса – драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей первых трех классов.

– Пусти, Тарарыкин, – прохрипел Сережка, беспомощно извиваясь в железной руке дикого Тарарыкина.

– Скажи: «пустите, дяденька».

– Пустите, дяденька.

Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.

– Эх, ты, Морщинка – тараканья личинка. Хочешь так: ты ударь меня по спине, как хочешь, десять раз, а я тебя всего один раз. Идет?

Но многодумная голова Сережки работала уже в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему.

– Слушай, Тарарыкин, – сказал он после долгого раздумья. – Хочешь получить рубль?

– За что? – оживился вечно голодный, прожорливый третьеклассник.

– За то, что я тебя нарочно для примера поколочу при всех на большой перемене.

– А тебе это зачем?

– Чтоб меня все боялись. Будут все говорить: раз он Тарарыкина вздул, значит, с малым связываться опасно. А ты получишь рубль... Можешь на борьбу пойти... красок купить коробку...

– Нет, я лучше пирогов куплю по три копейки тридцать три штуки.

– Как хочешь. Идет?

В Тарарыкине боролись два чувства: самолюбие первого силача и желание получить рубль.

– Что ж, брат... А если я тебе поддамся, так меня уж всякий и будет колотить?

– Зачем? – возразил сообразительный Сережка. – Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пироги-то... Ведь ты их целый месяц есть будешь.

– Неделю. Эх, Морщинка – собачья начинка, соглашаться, что ли?

Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.

– Эх! – застонал Тарарыкин. – Пропадай моя славушка, до свиданья-с, моя силушка. Согласен.

И, размахнувшись, шлепнул Сережку ладонью по спине.

– Чего же ты дерешься?

– Так ведь чудак же: это в последний раз. Потом уж ты меня колошматить будешь.

И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов брюк...

драка

Ликующе прозвенел звонок на большую перемену, и широкая волна серых гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг, крики и веселая суматоха.

Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязание Мухина и Сивачева, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами, без помощи рук.

– Попробуй, Тарарыкин, – предложил Сивачев.

В это время юркий Сережка Морщинкин пробрался между ног взрослых учеников, просунул свой нос вперед и пропищал самым вызывающим образом:

- Куда этому тарарышке прыгнуть – у него сейчас и ноги отваялятся!
- Ты-ы! – угрожающе зарычал Тарарыкин. – Знай, с кем говоришь! Котлету из тебя сделаю!
- Котлету! Ах ты, кухарка свинячья!
- Отойди лучше, Морщинка, – получишь по затылку!
- Очень я тебя боялся! – лихо захохотал Сережка. – Попробуй-ка тронь только!
- Да и трону, – проворчал Тарарыкин.
- А ну, тронь!
- А что ж ты думаешь – не трону?

Сережка стал в боевую позу плечом к плечу с громадным Тарарыкиным и, задрвав голову, сказал иронически:

- Тронь только – кто тебя у меня отнимать будет? Кругом засмеялись.
- Ай да Морщинка! Смотри, Тарарыкин, не струсь!

– Ну, что ж ты, Тартарарыка, небось только на маленьких силач. До меня-то и дотронуться боишься.

– Я? Тебя? Боюсь? На ж тебе, получай! Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.

– Съел?

– Это, брат, мне ничего, а вот ты попробуй! Сережка взмахнул маленьким кулачком и – о чудо!

К ужасу и изумлению всех присутствующих, верзила Тарарыкин отлетел шагов на пять. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин «переиграл», но простодушная публика не заметила этого.

– Ого! Ай да Сережка!

Тарарыкин с трудом встал, сделал преувеличенно страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к Сережке.

– А-а, так ты так-то!

– Да-с. Вот так! – нахально сказал Сережка. – На-ка еще, брат!

Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и, насев на него, принялся обрабатывать толстую тарарыкинскую спину своими кулачками.

Все были изумлены до чрезвычайности.

Когда избитый, стонущий Тарарыкин поднялся, все обступили его:

– Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?

– Кто ж его знал, – отвечал добросовестный Тарарыкин. – Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки – железо. Когда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну.

– Больно?

– Попробуй-ка. Завяжись сам с ним. Ну его к богу. Я его теперь и не трону больше...

после победы

Тарарыкин честно заработал деньги. Сережка сделался героем дня. Весть, что он поколотил Тарарыкина и что тот, как пригостишка, плакал (последнее было уже прибавлено восторженными поклонниками), – эта весть потрясла всех. Результаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться.

К упоенному славой Сережке подошел первоклассник Мелешкин и принес ему горькую жалобу:

- Морщинкин! Ильяшенко дерется – дай ему хорошенько, чтобы не заносился.
- Ладно! – нахмурился Сережка. – Я это устрою. А что мне за это будет?
- Булку дам с ветчиной и четыре шоколадины в серебряной бумажке.
- Тащи.

Потом подошел Португалов:

– Здравствуй, Сережка. Сердишься?

– А то нет! Свинья ты! Жалко было цветных карандашей, что ли? Обожди! Попадешься ты мне на нашей улице!

Португалов побледнел и, похлопав Сережку по плечу, сказал:

– Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко.

Три второклассника подошли вслед за Португаловым и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы. Получили снисходительное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было, но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.

– Ты что, упражнялся? – спросил Гукасов.

– Упражнялся, – сказал Сережка.

В конце концов Сережка, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу.

Проходил второклассник Кочерыгин, уплетая булку с икрой.

– Стой! – крикнул Сережка. – Отдай булку!

– Ишь ты какой! А я-то?

– Отдай, все равно отниму!

Кочерыгин захныкал, но, вспомнив о Тарарыкине, вздохнул, откусил еще кусочек булки и протянул ее Сережке.

– На, подавись!

– То-то. Ты смотри у меня. Я до вас тут до всех доберусь.

В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку, он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, но он, как добросовестный недалекий малый, считал своим долгом играть роль до конца.

– Боишься? – спросил заносчиво Сережка.

– Еще бы. Я и не знал, что ты такой здоровый.

И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль... А что, если... Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил пойти напролом... Насытившись славой, он пожалел о рубле, а так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал:

– Отдавай рубль!

– Что ты! – удивился Тарарыкин. – Ведь мы же условились...

– Отдавай! Все равно отниму!

– Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых – попробуй-ка.

На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Сережкиному адресу.

И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но... Тарарыкин опомнился:

– Ты... вот как!

Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловещее красноватое пятно засияло под глазом; оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет.

И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава... Сережка лежал избитый, в пыли и прахе, а мстительный Кочерыгин, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы; подошел Португалов, ткнул его в спину кулаком и сказал:

– Вот тебе цветные карандаши. Поросенок! Уныло, печально возвращался хитроумный Сережка домой; губа вспухла, щека вспухла, на лбу была царапина, рубль пропал бесследно, дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное...

Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок... он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать... Но в передней его ждал последний удар.

Дядя поймал его за руку и сердито сказал:

– Ты что же это, мошенник, обманул меня? Это твои стихи? Списал у Пушкина да и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома – о цирке и зверинце забудь, а во-вторых – возврати-ка мне мой рубль.

Сердце Сережки упало...

Экзаменационная задача

Когда учитель громко продиктовал задачу, все записали ее и учитель, вынув часы, заявил, что дает на решение задачи двадцать минут, – Семен Панталыкин провел испешренной чернильными пятнами ладонью по круглой головенке и сказал сам себе:

– Если я не решу эту задачу – я погиб...

У фантазера и мечтателя Семена Панталыкина была манера – преувеличивать все события, все жизненные явления и вообще смотреть на вещи чрезвычайно мрачно.

Встречал ли он мальчика больше себя ростом, который, выдвинув вперед плечо и правую ногу и оглядевшись – нет ли кого поблизости, – ехидно спрашивал: «Ты чего задаешься, говядина несчастная?» – Семен Панталыкин бледнел и, видя уже своими духовными очами призрак витающей над ним смерти, тихо шептал:

– Я погиб.

Вызывал ли его к доске учитель, опрокидывал ли он дома на чистую скатерть стакан с чаем – он всегда говорил сам себе эту похоронную фразу:

– Я погиб.

Вся гибель кончалась парой затрецин в первом случае, двойкой – во втором и высылкой из-за чайного стола – в третьем.

Но так внушительно, так мрачно звучала эта похоронная фраза: «Я погиб», что Семен Панталыкин всюду совал ее.

Фраза, впрочем, была украдена из какого-то романа Майн Рида, где герои, влезши на дерево по случаю наводнения и ожидая нападения индейцев – с одной стороны, и острых когтей притаившегося в листве дерева ягуара – с другой, – все в один голос решили:

– Мы погибли.

Для более точной характеристики их положения необходимо указать, что в воде около дерева плавали кайманы, а одна сторона дерева дымилась, будучи подожженной молнией.

.....
Приблизительно в таком же положении чувствовал себя Панталыкин Семен, когда ему не только подсунули чрезвычайно трудную задачу, но еще дали на решение ее всего-навсего двадцать минут.

Задача была следующая.

«Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в пункт Б, причем один из них делал в час четыре версты, а другой пять. Спрашивается, насколько один крестьянин придет раньше другого в пункт Б, если второй вышел позже первого на четверть часа, а от пункта А до пункта Б такое же расстояние в верстах, сколько получится, если два виноторговца продали третьему такое количество бочек вина, которое дало первому прибыли сто двадцать рублей, второму восемьдесят, а всего бочка вина приносит прибыли сорок рублей».

Прочтя эту задачу, Панталыкин Семен сказал сам себе:

– Такую задачу в двадцать минут! Я погиб.

Потеряв минуты три на очинку карандаша и на наиболее точный перегиб листа линованной бумаги, на которой он собирался развернуть свои математические способности, Панталыкин Семен сделал над собой усилие и погрузился в обдумывание задачи.

Первым долгом ему пришла в голову мысль: что это за крестьяне такие: «первый» и «второй»? Эта сухая номенклатура ничего не говорит ни его уму, ни его сердцу. Неужели нельзя было назвать крестьян простыми человеческими именами? Конечно, Иваном или Василием их можно и не называть (инстинктивно он чувствовал прозаичность, будничность этих имен), но почему бы их не окрестить – одного Вильямом, другого Рудольфом?

И сразу же, как только Панталыкин перекрестил «первого» и «второго» в Рудольфа и Вильяма, оба сделались ему понятными и близкими. Он уже видел умственным взором белую полосу от шляпы, выделявшуюся на лбу Вильяма, лицо которого загорело от жгучих лучей солнца... А Рудольф представлялся ему широкоплечим мужественным человеком, одетым в синие парусиновые штаны и кожаную куртку из меха речного бобра.

И вот – шагают они оба, один на четверть часа впереди другого...

Панталыкину пришел на ум такой вопрос: знакомы ли они друг с другом, эти два мужественных пешехода? Вероятно, знакомы, если попали в одну и ту же задачу... Но если знакомы – почему они не сговорились идти вместе? Вместе, конечно, веселее, а что один делает в час на версту больше другого, то это вздор; более быстрый мог бы деликатно, понемногу сдерживать свои широкие шаги, а медлительный мог бы и прибавить немного шагу.

Кроме того, и безопаснее вдвоем идти – разбойники ли нападут или дикий зверь...

Возник еще один интересный вопрос: были у них ружья или нет? Пускаясь в дорогу, лучше всего захватить ружья, которые даже в пункте Б могли бы пригодиться в случае нападения городских бандитов – отрепья глухих кварталов. Впрочем, может быть, пункт Б – маленький городок, где нет бандитов... Вот опять же – написали: пункт А, пункт Б... Что это за названия?

Панталыкин Семен никак не может представить себе городов или сел, в которых живут, борются и страдают люди под сухими бездушными литерами. Почему не назвать один город Санта-Фе, а другой – Мельбурном?

И едва только пункт А получил название Санта-Фе, а пункт Б был преобразован в столицу Австралии – как оба города сделались понятными и ясными... Улицы сразу застроились домами причудливой экзотической архитектуры, из труб пошел дым, по тротуарам задвигались люди, а по мостовым забегали лошади, неся на своих спинах всадников – диких, приехавших в город за боевыми припасами вакэро и испанцев – владельцев далеких гауциенд...

Вот в какой город стремились оба пешехода – Рудольф и Вильям...

Очень жаль, что в задаче не упомянута цель их путешествия. Что случилось такое, что заставило их бросить свои дома и спешить сломя голову в этот страшный, наполненный пьяницами, карточными игроками и убийцами Санта-Фе?

И еще – интересный вопрос: почему Рудольф и Вильям не воспользовались лошадьми, а пошли пешком? Хотели ли они идти по следам, оставленным кавалькадой гверильяссов, или просто прошлой ночью у их лошадей таинственным незнакомцем были перерезаны поджилки, дабы они не могли его преследовать – его, знавшего тайну бриллиантов Красного Носорога?..

Все это очень странно... То, что Рудольф вышел на четверть часа позже Вильяма, доказывает, что этот честный скваттер не особенно доверял Вильяму и в данном случае решил просто проследить этого сорвиголову, к которому вот уже три дня подряд пробирается ночью на взмыленной лошади креол в плаще.

...Подперев ручонкой, измазанной в мелу и чернилах, свою буйную, мечтательную, отуманенную образами голову – сидит Панталыкин Семен.

И постепенно вся задача, ее тайный смысл вырисовывается в его мозгу.

* * *

Задача:

...Солнце еще не успело позолотить верхушек тамарин-довых деревьев, еще яркие тропические птицы дремали в своих гнездах, еще черные лебеди не выплывали из зарослей австралийской кувшинки и желтоцвета, – когда Вильям Блокер, головорез, наводивший панику на все побережье Симпсон-Крика, крадучись шел по еле заметной лесной тропинке... Делал он только четыре версты в час – более быстрой ходьбе мешала больная нога, подстреленная вчера его таинственным недругом, спрятавшимся за стволом широколиственной магнолии.

– Каррамба! – бормотал Вильям. – Если бы у старого Билля была сейчас его лошаденка... Но... пусть меня разорвет, если я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки. Не пройдет и трех лун.

А сзади него в это время крался, припадая к земле, скваттер Рудольф Каутерс, и его мужественные брови мрачно хмурились, когда он рассматривал, припав к земле, след сапога Вильяма, отчетливо отпечатанный на влажной траве австралийского леса.

– Я бы мог делать и пять верст в час (кстати, почему не «миль» или «ярдов»?), – шептал скваттер, – но я хочу выследить эту старую лисицу.

А Блокер уже слышал сзади себя шорох и, прыгнув за дерево, оказавшееся эвкалиптом, притаился...

Увидев ползшего по траве Рудольфа, он приложился и выстрелил.

И, схватившись рукой за грудь, перевернулся честный скваттер.

– Хо-хо! – захохотал Вильям. – Меткий выстрел. День не пропал даром, и старый Билль доволен собой.

.....
– Ну, двадцать минут прошло, – раздался, как гром в ясный погожий день, голос учителя арифметики. – Ну что, все решили. Ну ты, Панталыкин Семен, покажи: какой из крестьян первый пришел в пункт Б?

И чуть не сказал бедный Панталыкин, что, конечно, в Санта-Фе первым пришел негодяй Блокер, потому что скваттер Каутерс лежит с простреленной грудью и предсмертной мукой на лице, лежит одинокий в пустыне, в тени ядовитого австралийского «змеинового дерева»...

Но ничего этого не сказал он. Прохрипел только: «Не решил... не успел...»

И тут же увидел, как жирная двойка ехидной гадюкой зазмеилась в журнальной клеточке против его фамилии.

– Я погиб, – прошептал Панталыкин Семен. – На второй год остаюсь в классе. Отец выдерет, ружья не получу, «Вокруг света» мама не выпишет...

И представилось Панталыкину, что сидит он на развалине «змеинового дерева»... Внизу бужет разлившаяся после дождя вода, в воде щелкают зубами кайманы, а в густой листве прячется ягуар, который скоро прыгнет на него, потому что огонь, охвативший дерево, уже подбирается к разъяренному зверю...

– Я погиб...

Страшный Мальчик

Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед Страшным Мальчиком.

Широким полем расстилается умиленное детство – безмятежное купанье с десятком других мальчишек в Хрустальной бухте, шатанье по Историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день, «большая перемена» в саду под акациями, змеившими золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке «Родное Слово» Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по тридцати, сорока раз повторялось с достойным лучшей участи упорством: «Нитка тонка, а Ока широка» или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма: «Не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише», переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый, сладкий сердцу запах непрветренного класса – запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весенним солнышком, по протоптаным среди густой грязи, полупросохшим, упругим тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной улицы и, наконец, – среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт кулак, венчающий худую, жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Мальчика.

Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная кличка сократила его на «Ваньку Аптекаренка», а я в пугливом, кротком сердце моем окрестил его: Страшный Мальчик.

Действительно, в этом мальчике было что-то страшное: жил он в местах совершенно неис-

следованных – в нагорной части Цыганской Слободки; носились слухи, что у него были родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие, пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посередине самым вкусным образом.

Пространство между фуражкой и башмаками заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которую охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой, а на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепанные внизу, что Страшный Мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население.

Психология Страшного Мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений: увидев не понравившегося ему человека, или двух, или трех, он кричал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву.

Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар головой в живот валил второго; третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами... Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот – и так далее.

Если же на него нападали пятнадцать, двадцать человек, то сваленный на землю Страшный Мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы заметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями.

Вот что это был за человек – Аптекаренко. Ну, не прав ли я был, назвав его в сердце своем Страшным Мальчиком?

Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купания на «Хрусталке», или бродил с товарищем по Историческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда по неведомым делам, – все время налет тайного, неосознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас где-то бродит Аптекаренко в поисках своих жертв... Вдруг он поймает меня и избьет меня вконец – «пустит юшку», по его живописному выражению.

Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда находились...

Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, Аптекаренко холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы:

– Ты чего на нашей улице задавался? Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном:

– Я... не задавался.

– А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?

– Я не отнял их. Он их проиграл.

– А кто ему по морде дал?

– Так он же не хотел отдавать.

– Мальчиков на нашей улице нельзя бить, – заметил Аптекаренко и, по своему обыкновению, с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения: со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул «под вздох», отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:

– А ты... – Это относилось ко мне, замершему при виде Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи. –...А ты что? Может, тоже хочешь получить?

– Нет, – пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибоцера на Аптекаренка. – За что

же... Я ничего.

Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник, у самого моего глаза.

– Я до тебя давно добираюсь... Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать!

«Все знает проклятый мальчишка», – подумал я. И спросил, осмелев:

– А на что они тебе... Ведь это не твои.

– Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана – лучше бы тебе и на свет не родиться.

Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе.

Страшно жить на свете маленькому человеку.

* * *

Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил купаться на камни в Хрустальную бухту. Ходил он всегда один, несмотря на то, что все окружающие мальчишки ненавидели его и желали ему зла.

Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания.

А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым, изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказа:

– Братцы! А ну, покажем ему «рака».

В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала – так хорошо проклятый Аптекаренок умел делать «рака».

Столпившиеся, темные, поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец... И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками:

– Рак! Рак!

– Смотри, рак! Черт знает, какой огромный! Ну и штука же!

– Вот так рачище!.. Гляди, гляди – аршина полтора будет.

Мужичище – какой-нибудь булочник при пекарне или грузчик в гавани – конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубину «колодца».

А Аптекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги, и, будто повисев в воздухе полсекунды, обрушивался в самый центр «колодца».

Целый фонтан – нечто вроде смерча – взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды.

Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, а мужик – одетый и после «рака» начинал напоминать вытасченного из воды утопленника.

Как не разбивался Аптекаренок в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты – мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после «рака» Аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках «сухарей», которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка.

* * *

Пятнадцати лет отроду мы все начали «страдать».

Это – совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой частой фразой при встрече двух «фрайеров» (тоже южное аргю) было:

- Дрястуй, Сережка. За кем ты стрядаешь?
- За Маней Огневой. А ты?
- А я еще ни за кем.
- Ври больше. Что же ты, дрюгу боишься сказать, что ли ча?
- Да мне Катя Капитанаки очень привлекает.
- Врешь?
- Накарай мне Господь.
- Ну, значит, ты за ней стрядаешь.

Уличенный в сердечной слабости, «страдалец за Катей Капитанаки» конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения погибает трехэтажное ругательство.

После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц.

Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра (необъяснимый шик), а блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши табаком довольно едко.

Страшный Юноша, Аптекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом:

- Ты чиво тут делаешь, на нашей улице?
- Гуляю... – ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.
- Чиво ж ты гуляешь?
- Да так себе.
- Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.
- А ты за кем стрядаешь?
- Да ни за кем.
- Ври!
- Накарай меня Госп...
- Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улице. За кем стрядаешь?

И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою сладкую тайну:

- За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.
- Ну, это можно.

Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужественное сердце.

Помолчав, спросил:

- А ты знаешь, за кем я стрядаю?
- Нет, Аптекаренок, – ласково сказал я.
- Кому Аптекаренок, а тебе дяденька, – полушутливо, полусердито проворчал он. – Я, братец ты мой, стрядаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я страдал (произносить «я» вместо «а» – был тоже своего рода шик) за Маруськой Королькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то...

Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.

- Видал? А так ничего, гуляй. Что ж... всякому страдать приятно.

Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.

12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым,

смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати слышался голос:

– Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?

Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого. Я с недоумением поглядел на него и спросил:

– Вы это мне?

– Так-то, не узнавать старых друзей? погоди, попадешься ты на нашей улице – узнаешь, что такое Ванька Аптекаренок.

– Аптекарев?!

Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.

Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.

– Милый Аптекаренок? Офицер?

– Да.

– Ранен?

– Да. – И, в свою очередь: – Писатель?

– Да.

– Не ранен?

– Нет.

– То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера вздул?

– Еще бы. А за что ты тогда «до меня добирался»?

– А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.

– Почему?

– Потому что мне самому хотелось воровать.

– Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь...

– Да, брат, – усмехнулся он. – И вообразить не можешь.

– А что?

– Да вот, гляди.

И показал из-под одеяла короткий обрубок.

– Где это тебя так?

– Батарей брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого... Меньше.

Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутой назад рукой слепо бросался на пятрах – и промолчал. Бедный Страшный Мальчик!

* * *

Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо:

– За кем теперь страдаешь?

И такая жалость по ушедшем сладком детстве, по книжке «Родное Слово» Ушинского, по «большой перемене» в саду под акациями, по украденным пучкам сирени, – такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.

Блины Доди

Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно как-то стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год – он для всех Додя и больше ничего.

И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой «Додя», будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом:

– Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?

И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую остролюбопытную область жизни взрослых людей: «Дмитрий Михайлович!..» О, тогда и он докажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.

– Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку! Это нехорошо.

– О, не отгалкивайте меня, Евгения (это вместо Женички-то!) Петровна.

Однако все это в будущем. А пока Доде – шестой год, и никто, кроме матери и отца, не знает, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных родителей).

Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но грани этого характера выступают довольно резко: он любит все приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему неприятному; в восторге от всего сладкого; ненавидит горькое, любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти... С восторгом измазывается грязью и пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию; очень возмущается, когда его наказывают, но и противоположное ощущение – ласки близких ему людей – вызывает в нем отвращение.

Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофанович, не спускавший с дамы застывшего в полном восторге взора. И было так: молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную «соломку» и стал рассеянно откусывать кусок за куском, а дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев.

Додея отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борющегося с волнами, извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дозируемого человека:

– Пусс... ти, Дура! Ос... ставь, дура!

Ему страшно хотелось освободиться от «дуры» и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доде страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печально похрустывая земляничной сололкой, с бешеной завистью поглядывали друг на друга.

Так слепо и нелепо распределяет природа дары свои.

Однако справедливость требует отметить, что молодой человек в конце концов добился от Нины Борисовны таких же ласк, которые получил и Додея. Только молодой человек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал: «Оставь, дура», а тихо, безропотно, с оттенком даже одобрения покорился своей вековечной мужской участи...

Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть еще одна черта: он – страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не высказывает ее. Но увидев, например, какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос: «Хочу, чтобы дом был мой». Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городского, – Додея, шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: «Хочу, чтобы лошадь была моя; чтобы снег был мой; чтобы городской был мой».

Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значения. Однажды, когда Додина мать сказала отцу: «А, знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени», – Додея сейчас же прошептал себе под нос: «Хочу, чтобы у меня были камни в печени».

Славный, бескорыстный ребенок.

* * *

Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему:

– Завтра у нас будут блины... – Додея не преминул подумать: «Хочу, чтобы блины были мои», – и спросил вслух:

– А что такое блины?

– Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?

Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребенка протекший год – это что-то такое громадное, монументальное, что как Монблан заслоняет от его глаз предыдущие четыре года. И с годами эти монбланы все уменьшаются и уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок, увенчанный каменной плитой да покосившимся крестом.

Год жизни наглухо заслонил от Додя прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься? Может, это народ такой – блины? Ничего в конце концов неизвестно.

Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Додя смотрел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь делать блины, – искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, вымазанной мукой. Этого показалось ему мало:

– Я люблю тебя, Марья, – признался он дрожащим голосом.

– Ну, ну. Ишь какой ладный мальчущечка.

– Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду?

Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине, а Додя вихрем помчался в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на край плиты.

И снова дипломатичная Марья сделала вид, что не заметила награбленного добра. Только сказала ласково:

– А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.

– А блины-то... будут?

– А для чего же опару ставлю!

– Ну, то-то.

Уходя, подкрепил на всякий случай:

– Ты красивая, Марья.

* * *

Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении...

Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра... Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота – эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом. («Гм!.. Соленое».)

А впереди еще блины – это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот.

«Посмотрим, посмотрим, – думает Додя, бродя вокруг стола. – Что это там у них за блины такие...»

Собираются гости...

Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с большими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений.

Сбивает его с толку поведение гостей.

– Анна Петровна – семги! – настойчиво говорит мама.

– Ах, что вы, душечка, – ахает Анна Петровна. – Это много! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем!

«Дура», – решает Додя.

– Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?

– Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью. «Дурак!» – удивляется про себя Додя.

– Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!.. «Врешь, – усмехнулся Додя. – Он ел больше всех.

Я видел».

– Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем. «Сумасшедшая какая-то, – вздыхает

Додя. – Хочу, чтоб сардинки были мои...»

Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в печени, берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры.

«Ишь ты, – думает Додя. – Наверное, боится побольше-то взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени. Рохла».

Подают знаменитые долгожданные блины.

Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в тарелку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько плачет.

– Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?..

– Бли... ны...

– Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?

– Такие... круглые...

– Господи... Так что же из этого? Обрежу тебе их по краям, – будут четырехугольные...

– И со сметаной...

– Так можно без сметаны, чудачина ты!

– Так они тестяные!

– А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?

– И... не сладкие.

– Хочешь, я тебе сахаром посыплю?

Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят понять, эти тупоголовые дураки, что Додя блины просто не нравятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровывается взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не успокоить.

Плачет Додя.

Боже! Как это все красиво, чудесно началось, – все, начиная от опары и вкусного блинного чада – и как все это пошло, обыденно кончилось: Додю выслали из-за стола.

* * *

Гости разошлись.

Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от дремоты тельце и ласково шепчет:

– Ну ты... блиноед африканский... Наплакался? – И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в другую плоскость: – А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мразича оскорбление действием.

И, подымая отяжелевшие веки, с усилием шепчет обуреваемый приобретательским инстинктом Додя:

– Хочу, чтобы мне было оскорбление действием. Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка пахнет всепроникающим блинным чадом...

Инквизиция

Я гляжу на них сверху вниз...

И не потому чтобы я их презирал, а просто я выше их, хотя и сижу в кресле: Лиля высотой не более аршина, Котька – вершка на два выше.

Каждый из них опирается обеими руками о мое колено и оба не мигая глядят в мои бегающие глаза.

– Я у Шуры книжку видел, – сообщает Котька и умолкает, ожидая, чтобы я спросил: «Какую?»

– Какую?

– Называется: «Мальчик у Христа на елке».

– Мда-а, – неопределенно мычу я. Молчание.

Лиля решает поддержать брата:

– А я стихи новые знаю.

И замирает вся, напрягается, трепетно ожидая одного только словечка: «Какие?»

– Какие?

Обыкновенно около нее нужно работать целый час, чтобы вытянуть хоть какие-нибудь стишочки.

Но тут она, как обильный весенний дождик по крыше – прорывается сразу:

– У нашей елки

Иголки – колки.

В дверную шелку

Мы видим елку...

Звезда, хлопушки.

Орехи, пушки.

Все. Вчера в журнале читала.

– Так-с, – снова мямлю я. – Стишки хоть куда. А это знаешь: «Зима. Крестьянин торжествуя...»?

Но такой оборот разговора обоим невыгоден.

– Мы это знаем. Слушай, дядя... А бывают елки выше потолка?

– Бывают.

– А как же тогда?

– Делают дырку в потолке и просовывают конец в верхний этаж. Если там живут не дураки – они убирают просунутый конец игрушками, золочеными орехами и веселятся напропалую.

Котька отворачивает плутоватую мордочку в сторону и задает многозначительный вопрос:

– А кто живет этажом ниже нас – у них есть дети?

– Не знаю. Кажется, там старик какой-то.

– Жаль. А знаешь что, – неопределенно говорит Котька, – я на Рождество буду слушаться.

– И я! И я! – ревниво кричит Лиля.

– Важное кушанье! – пожимаю я плечами. – Вы всегда должны слушаться. А нет – я сдеру с вас шкуру, набью ее ватой, и уж эти-то детки будут сидеть тихо.

Котька приподнимает одну ногу, осматривает ботинок, который у него в полном порядке, и, казалось бы, бесцельно сообщает:

– У наших соседей, говорят, нынче елка будет.

– Не соседей, а соседей.

– Ну, пусть соседей. Но елка-то все-таки будет. Положение создается тягостное.

– Елки... – мычу я. – Елки... Гм!.. Тоже, знаете, и от елок иногда радости мало. Вон, у одних моих знакомых тоже так-то устроили елку, а свечка одна горела, горела, потом покосилась да кийсейную гардину и подожгла... Как порох вспыхнул дом! Восемь человек сгорело.

– Елку нужно посередине ставить. Рази к окну ставят, – замечает многоопытная Лиля.

– Посередине... – горько усмехаюсь я. – Оно и посередине бывает тоже не сладко. В одном тоже вот... знакомом доме... У Петровых... Петровы были у меня такие... знакомые... Так у них – поставили елку посередине, а она стояла, стояла да как бухнет на пол, так одну девочку напололам! Голова к роялю отлетела, ноги к дверям.

К моему удивлению этот ужасный случай не производит никакого впечатления. Будто не живой ребенок погиб, а муху на стене прихлопнули.

– Подставку нужно делать больше и тяжелее – тогда и не упадет елка, – деловито сипит Котька.

– На подставке одной далеко не уедешь, – возражаю я. – Главная опасность – это хлопушки. Знал я такую одну семью... как бишь их? Да! Тоже Петровы. Так вот один из мальчуганов взял хлопушку, поднес к глазам, дернул где следует – бац! Глаз пополам и ухо на ниточке!

Мы все трое замолкаем и думаем – каждый о своем.

– А вот я тоже знала семью, – вдруг начинает задумчиво и тихо, опустив голову, Лиля. –

Ихняя фамилия была Курицыхины. И тоже, когда было Рождество, так ихний папа говорит: «Не будет вам завтра елки!» Они завтра тоже легли спать днем, и ихний папа тоже лег спать днем... Нет, перед вечером, когда бы была зажгита елка, если б он сделал. Так они тогда легли. Ну, легли все и спят, потому елки нет, делать нечего. А воры видят, что все спят, забрались и все покрали, что было, чего и не было – все взяли. Ну, проснулись, понятно, и плакали все.

– Это, наверное, был такой случай? – спрашиваю я, делая встревоженное лицо.

– Д... да, – не совсем убежденно отвечает Лиля.

– Значит, если я не устрою елки, к нам тоже заберутся воры?

– Заберутся, – таинственно шепчут оба.

– А если вы не ляжете спать в это время?

– Нет, мы ляжем!!

Дольше терзать их жалко. И так на лицах застыла мучительная гримаса трепетного ожидания, а глаза выражают то страх, то надежду, то уныние и разочарование.

Не желая, однако, сразу сдать позицию, я задаю преглупый вопрос:

– А вы какую бы хотели елку: зеленого цвета или розового?

– Зеленую...

– Ну, раз зеленую – тогда можно. А розовую уж никак бы нельзя.

* * *

Как щедры дети: поцелуи, которыми меня осыпают, совсем не заслужены.

Нянька

I

Будучи принципиальным противником строго обоснованных, хорошо разработанных планов, Мишка Саматоха перелез невысокую решетку дачного сада без всякой определенной цели.

Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы; если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы ограбить, – Мишка Саматоха и от грабежа бы не отказался. Отчего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать «блатокаю» награбленное и напиться так, «чтобы чертям было тошно».

Последняя фраза служила мерилom всех поступков Саматохи... Пил он, развратничал и дрался всегда с таким расчетом, чтобы «чертям было тошно». Иногда и его били, и опять-таки били так, что «чертям было тошно».

Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благовоспитанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают.

Мишка Саматоха сам добровольно отрекся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей и поставил себе целью все время держать их в состоянии хронической тошноты.

И действительно, Мишкиным чертям жилось несладко.

II

Так как Саматоха был голоден, то усилие, затраченное на преодоление дачной ограды, утомило его.

В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Саматоха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал, тяжело дыша, глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймленную свежей зеленью.

Согревшись и отдохнув, Саматоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку:

Родила, меня ты, мама,
По какой такой причине?
Ведь меня поглотит яма
По кончине, по кончине...

Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками кустов Саматоху, остановилась в глубокой задумчивости.

Так как ей были видны только Саматохины ноги, она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности, и после некоторого колебания бесстрашно спросила:

– Чьи это ноги?

Отодвинув ветку, Саматоха наклонился вперед и стал в свою очередь рассматривать девочку.

– Тебе чего нужно? – сурово спросил он, сообразив, что появление девочки и ее громкий голосок могут разрушить все его пиратские планы.

– Это твои... ножки? – опять спросила девочка, из вежливости смягчив смысл первого вопроса.

– Мои.

– А что ты тут делаешь?

– Кадрель танцую, – придавая своему голосу выражение глубокой иронии, отвечал Саматоха.

– А чего же ты сидишь?

Чтобы не напугать зря ребенка, Саматоха проворчал:

– Не просижу места. Отдохну да и пойду.

– Устал? – сочувственно сказала девочка, подходя ближе.

– Здорово устал. Аж чертям тошно.

Девочка потопталась на месте около Саматохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнакомыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Саматохе руку:

– Позвольте представиться: Вера.

Саматоха брезгливо пожал ее крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу:

– Позвольте представить: Марфушка. Она не живая, не бойтесь. Тряпичная.

– Ну? – с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду девочке удивился Саматоха. – Ишь ты, стерва какая.

Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны паклю.

«Что с нее толку! – скептически думал Саматоха. – Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки, да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься».

– Смотри, какая у нее в боке дырка, – показала Вера.

– Кто же это ее пришил? – спросил Саматоха на своем родном языке.

– Не пришил, а сшил, – поправила Вера. – Няня сшила. А ну, поправь-ка ей бок. Я не могу.

– Эх ты, козьявка! – сказал Саматоха, беря в руки куклу.

Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил.

III

Издали донеслись чьи-то голоса. Саматоха бросил куклу и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и прошептал:

– Кто это?

– Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе...

– Ну?! А нянька?
– Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверно, к своему приказчику побежала.
– К какому приказчику?
– Не знаю. У нее есть какой-то приказчик!
– Любовник, что ли?
– Нет, приказчик. Слушай...
– Ну?
– А как тебя зовут?
– Михайлой, – ответил Саматоха крайне неохотно.
– А меня Вера.
«Пожалуй, тут будет фарт», – подумал Саматоха, смягчаясь.
– Эй, ты! Хошь, я тебе гаданье покажу, а?
– А ну, покажи, – взвизгнула восторженно девочка.
– Ну, ладно. Дай-кось руку... Ну вот, видишь – ладошка. Во... Видишь, вон загибинка. Так по этой загибинке можно сказать, когда кто именинник.
– А ну-ка! Ни за что не угадаешь.
Саматоха сделал вид, что напряженно рассматривает ручку девочки.
– Гм! Сдается мне по этой загибинке, что ты именинница семнадцатого сентября. Верно?
– Вер-р-р-но! – завизжала Вера, прыгая около Саматохи в бешеном восторге. – А ну-ка, на еще руку, скажи, когда мама именинница?
– Эх, ты, дядя! Нешто по твоей руке угадаешь? Тут, брат, мамина рука требуется.
– Да мама сказала: в шесть часов приедет... Ты подождешь?
– Там видно будет.
Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданьем окончательно самыми крепкими узами приковал девочку к Саматохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан.
– Давайте еще играть... Ты прячь куклу, а я ее буду искать. Ладно?
– Нет, – возразил рассудительный Саматоха. – Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто меня угощаешь. Идет?
План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек, с усами, будет как всамделишный гость, и она будет его угощать!
– Ну, пойдем, пойдем, пойдем!
– Слушай ты, клоп. А у вас там никого дома нет?
– Нет, нет, не бойся, вот чудак! Я одна. Знаешь, будем так: ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю!
Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты.

IV

Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подперла рукой щеку и затараторила:
– Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи: «Благодарю вас, котлеты замечательные».
– Да ведь котлет нет, – возразил практический Миша.
– Да это не надо... Это ведь игра такая. Ну, Миша, говори!
– Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я всамделишные кушанья буду есть. Буфет-то открыт? Всамделишно когда, так веселее. Э?
Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет.
– Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится: ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца вареные.
– Ну что ж делать – тащи. А попить-то нечего?

- Нечего. Есть тут, да такое горькое, что ужас. Ты, небось, и пить-то не будешь. Водка.
- Тащи сюда, поросенок! Мы все это по-настоящему разделаем. Без обману.

V

Закутавшись салфеткой (полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок), Вера сидела напротив Саматохи и деятельно угощала его:

– Пожалуйста, кушайте. Не стесняйтесь, будьте как дома. Ах, уж эти кухарки, опять пережарила пирог, чистое наказание.

Она помолчала, выжидая реплики.

– Ну?

– Что, ну?

– Что ж ты не говоришь?

– А что я буду говорить?

– Ты говори: «Благодарю вас, пирог замечательный».

В угоду ей проголодавшийся Саматоха, запихивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил:

– Благодарю вас... пирог знаменитый!

– Нет: замечательный!

– Ну да. Замечательный.

– Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов изба не строится.

– Благодарю вас, водка замечательная.

– Ах, курица опять пережарена. Эти кухарки – чистое наказание.

– Благодарю вас, курица замечательная, – прогудел Саматоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии.

– В этом году лето жаркое, – заметила хозяйка.

– Благодарю вас, лето замечательное. Я еще баночку выпью.

– Нельзя так, – строго сказала девочка. – Я сама должна предложить... Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку... Не стесняйтесь. Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах, уж эти кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю.

Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка, не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он вне всяких правил игры сунул в карман серебряную вилку и ложку.

– Ну, достаточно, – сказал он. – Сыт.

– Ах, вы так мало ели!.. Скушайте еще кусочек.

– Ну, будет там канитель тянуть, довольно. Я так налопался, что чертям тошно.

– Миша, Миша, – горестно воскликнула девочка, с укоризной глядя на своего друга. – Разве так говорят? Надо сказать: «Нет уж, увольте, премного благодарен. Разрешите закурить?»

– Ну, ладно, ладно... Увольте, много благодарен. Дайка папироску.

Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар.

– Вот эти сигары я покупал в Берлине, – сказала она басом. – Крепковатые, да я других не курю.

– Мерси вам, – сказал Саматоха, оглядывая следующую комнату, дверь в которую была открыта.

Глядя на Саматоху снизу вверх и скроив самое лукавое лицо, Вера сказала:

– Миша! Знаешь во что давай играть?

– Во что?

– В разбойников.

VI

Это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойни-

ков? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его ремесла.

– Как же мы будем играть?

– Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь, а я будто кричу: ох, забирайте все мои деньги и драгоценности, только не убивайте Марфушку.

– Какую Марфушку?

– Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи.

– Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник.

– Какой пассажир?

– Ну... этот вот... которого грабят. Он не должен сначала прятаться.

– Да ты ничего не понимаешь, – вскричала хозяйка. – Я должна спрятаться.

Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и традиций, но Саматоха и не брался быть их блюстителем.

– Ну ладно, ты прячься. Только нет ли у тебя какогонибудь кольца или брошки?..

– Зачем?

– А чтоб я мог у тебя отнять.

– Так это можно нарочно... будто отнимаешь.

– Нет, я так не хочу, – решительно отказался капризный Саматоха.

– Ах ты Господи! Чистое с тобой наказание! Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат.

– Сережек нет ли? – ласково спросил Саматоха, стремясь, очевидно, обставить игру со сказочной роскошью.

VII

Игра была превеселая.

Верочка прыгала вокруг Саматохи и кричала:

– Пошел вон! Не смей трогать Марфушку! Возьми лучше мои драгоценности, только не убивай ее. Постой, где же у тебя нож?

Саматоха привычным жестом полез за пазуху, но сейчас же сконфузился и пожал плечами.

– Можно и без ножа. Нарочно ж...

– Нет, я тебе лучше принесу из столовой.

– Только серебряный! – крикнул ей вдогонку Саматоха.

Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Саматоха сказал:

– А теперь я тебя как будто запроу в тюрьму.

– Что ты, Миша! – возразила на это девочка, хорошо, очевидно, изучившая, кроме светского этикета, и разбойничьи нравы. – Почему же меня в тюрьму! Ведь ты разбойник – тебя и надо в тюрьму.

Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил:

– Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню.

– Это другое дело. Ванная – будто б башня... Хорошо? Когда он поднял ее на руки и понес, она, барахтаясь, зацепилась рукой за карман его брюк.

– Смотри-ка Миша, что это у тебя в кармане? Ложка?! Это чья?

– Это брат, моя ложка.

– Нет, это наша. Видишь, вон, вензель. Ты, наверное, нечаянно ее положил, да? Думал, платок?

– Нечаянно, нечаянно! Ну, садись-ка, брат, сюда.

– Постой! Ты мне и руки свяжи, будто бы чтоб я не убежала.

– Экая фартовая девчонка, – умилился Саматоха. – Все-то она знает. Ну, давай свои лапки!

Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в передней чье-то летнее пальто, неторопливо вышел. По улице шагал с самым рассеянным видом. Прошло несколько дней.

Мишка Саматоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек младен-

цев, летящих откуда-то резиновых мячей и целой кучи детворы, копошившейся на траве.

Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребенка к другому.

Под громадным деревом сидела бонна, углубившаяся в книгу, а в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кукла размером больше хозяйки – длинноволосое, розовощеое создание парижской мастерской, одетое в голубое платье с кружевами.

Увидев куклу, Саматоха нацелился, сделал стойку и вдруг как молния прыгнул, схватил куклу и унесся в глубь парка на глазах изумленных детей и нянек.

Потом послышались крики и вообще началась невероятная суматоха.

Минут двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след.

Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и, скрытый деревьями, довольно рассмеялся.

– Ловко, – сказал он. – Поди-кось, догони.

Потом вынул замусленный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки.

– Эко, черт! Когда нужно, так и нет, – озабоченно проворчал он.

Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги.

Саматоха оторвал его, крикнул и, прислонившись к забору, принялся писать что-то.

Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукле за пояс.

На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством Саматохи.

Читать можно было так:

«Многоуважаемая Вера! С дозволения начальства. Очень прошу не обижаться, что я ушел тогда. Было нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся – засыпался бы я. А ты девочка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу тебя получить... бинокли у капельдинере в... сью куклу, мною для тебя найденную на улице... Можешь не благодарить... Артисты среди акта на аплодисменты не выходя т... Уважаемого тобой Мишу С. А. Ложку-то я забыл тогда вернуть! Прощ.»

– Вот он где, ребята! Держи его! Вот ты узнаешь, как кукол воровать, паршивец!.. Стой... не уйдешь!.. Собачье мясо!..

Саматоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой:

– Свяжись только с бабой – вечно в какую-нибудь историю втяпаешься.

В ожидании ужина

Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я вижу ярче всего себя – крохотного ребенка с бледным серьезным личиком и робким тихим голоском – за беседой с пришедшими к родителям гостями.

Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе впечатление сухого унылого самума, мертвящего все живое.

Большой, широкий гость с твердыми руками и жесткой, пахнущей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ленивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скучающие взоры на меня...

– Ну-с, молодой человек, – с небрежной развязностью спрашивал он. – Как мы живем?

Первое время я относился к такому вопросу очень серьезно... Мне казалось, что если такой большой гость задает этот вопрос, – значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен.

И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал:

– Ничего себе, благодарю вас. Живу себе помаленьку.

– Так-с, так-с. Это хорошо. А ты не шалишь? Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой вопрос утвердительного ответа. Конечно, я отвечал отрицательно:

– Нет, не шалю.

– Тэк-с, тэк-с. Ну, молодец.

Постояв надо мной минуту в тупом раздумье (что бы еще спросить?), он поворачивался к родителям и начинал говорить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, отделяющий его от ужина:

– А он у вас совсем мужчина!

– Да, растет так, что прямо и незаметно. Ведь ему уже девятый год.

– Что вы говорите?! – восклицал гость с таким изумлением, как будто бы он узнал, что мне восемьдесят лет. – Вот уж никак не предполагал!

– Да, да, представьте.

Первое время моему самолюбию очень льстило, что все обращали такое лихорадочное внимание на меня; но скоро я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами гостеприимства: родители очень боялись, чтобы гости в ожидании ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели показать, что они пришли только ради ужина и что им мой возраст да и я сам так же интересны, как прошлогодний снег.

И все же после первого гостя передо мной – скромно забившимся в темный уголок за роялем – выросла другой гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на щеках (эти особенности гостей прежде всего запоминались мною благодаря многочисленным фальшивым поцелуям и объятиям):

– А, вы тут, молодой человек. Ну что – мечтаешь все?

– Нет, – робко шептал я. – Так... сижу.

– Так... сидишь?! Ха-ха! Это очень мило! Он «так сидит». Ну, сиди. Маму любишь?

– Люблю...

– Правильно.

Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же вспомнив, что до желанного ужина добрых десять минут, – раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал:

– Ну, как наши дела?

– Ничего себе, спасибо.

– Учишься?..

– Учусь.

Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачивалось к родителям – оно совершенно преображалось: восторг был написан на этом лице...

– Прямо замечательный мальчик! Я спрашиваю: учишься? А он, представьте: учусь, – говорит. Сколько ему?

– Девятый.

Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой костер из сырых веток.

– Неужели девятый? А я думал – семь.

– Время-то как идет!

– И не говорите! Только в позапрошлом году был седьмой год, а теперь уже девятый.

Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно приподнималось, как у кошки, услышавшей царапанье крысы под полом: в соседней комнате, накрывая на стол, лязгнули ножом о тарелку.

– Дети очень быстро растут.

– Да, он потому такой и худенький. Это от роста.

– Вырастешь – большой будешь, – делает меткое замечание рыжий гость, продвигаясь поближе к дверям, ведущим в столовую.

Выходит горничная; шепчет что-то матери; все вздрагивают, как от электрического тока, но в силу законов гостеприимства не показывают вида, что готовы сорваться и побежать в столовую.

Наоборот, у всех простодушные лица, и игра в спокойствие достигает апогея:

– Вы его в гимназию думаете или в реальное?

– Не знаю еще... Реальное, я думаю, лучше.

– О, безусловно! Реальное – это такая прелесть. Если вы хотите его счастья, я позволю дать вам такой совет...

– Пожалуйста, господа, закусить, – раздается голос отца из столовой.

И вот – ужас! – совет, от которого зависит все мое счастье, так и не дается благожелательным гостем. Он подскакивает, будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывается и говорит:

– Ну зачем это, право! Такое беспокойство вам, ейбогу.

На всех лицах как будто отражается невидимое солнце; все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тоской давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы сшибить ударом кулака и, перепрыгнув через них, на крыльях ветра помчаться в столовую; у всех лица, помимо воли, растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в берега только после первого куса отправленной в рот семги...

Подумать только, что все это, все эти неуловимые для грубого глаза штрихи я подметил в детстве, только в моем нежном восприимчивом детстве, когда все так важно, так значительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что казалось раньше достойным пристального внимания, – теперь сделалось обычным, ординарным.

Чистая, нежная пленка, на которой раньше отражался каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно оставить на этой пленке заметный чувствительный след.

* * *

Вот странно: почему, бишь, это я вспомнил сейчас все рассказанное выше...

Что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить маленького тихого мальчика с худым бледным личиком, вытащить всех этих черных и рыжих гостей с колючими бородами и широкими твердыми руками – всех этих больших, скучающих людей, которые, тупо уставившись на меня, спрашивали в тоскливом ожидании заветного ужина:

– Ну, как мы живем? Почему я все это вспомнил? Ах, да!

Дело вот в чем: сейчас я стою – большой взрослый человек – перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома и спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах:

– Ну, как мы живем?

Со взрослыми у меня разговоры все исчерпаны, ужин будет только через полчаса, а ждать его так тоскливо...

– Маму свою любишь?..

Косьма Медичи²⁰

Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького «художественно-комиссионного» магазина и, взглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина.

Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из «Мертвых душ».

«...Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха (тут, на витрине, было полдюжины таких лимонов

²⁰ Намеренно искаженное автором имя одного из богатейших флорентийских меценатов – Козимо Медичи Старшего (1389–1464).

в банке из-под варенья), отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка совершенно пожелтевшая, – а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».

Это, если вы помните, было у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого, крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте, посредине... Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве: «Проводник».

Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта: резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать.

Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его:

– Зачем вы рекламируете калоши «Проводник»?

– Где? – удивился он. – Это? Помилуйте. Да это картина. Мы это продаем.

– Как продаете? Да кому ж это нужно...

– Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски!

В торгашеском азарте он снял с витрины господина, указующего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это произведение к самому моему носу.

– Вот она, картинка-то. Купите, господин.

Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Билибинным, Ре-Ми, Александром Бенуа, – и рассмеялся.

– А в самом деле, не купить ли?

Раз наступает такая дикариная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вигвамов хорош будет и юркий господин, сующий под нос обаятельно сверкающую калошу.

В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленом пиджачке в обтяжку и соломенной шляпеканотье...

Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил:

– Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуки? Занятно!

– Купите! Замечательная вещь, – захопотал хозяин, почуяв настоящего покупателя. – Настоящая олеография! Это не то что масляные краски... Те – пожухнут и почернеют... А это – тряпкой с мылом мойте – сам черт не возьмет!

– Цена? – уронил покровитель искусства, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уника для своей галереи...

– Четыре тысячи.

– Ого! И трех предовольно будет. Достаточно, что вы прошлый раз содрали с меня за женскую головку «Дюбек лимонный» – шесть тысяч.

– Та ж больше. И потом на картон наклеена – возьмите это во внимание!

– Ну, заверните. А фигур нет?

– То есть скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь: «Диана с луком».

– Садит, что ли?

– Чего?

– Лук-то.

– Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин сделал ударение на первом слоге) – настоящий, неподдельный гипс! Вещь – алебастровая!..

Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой удалился, я сделал серьезное лицо и спросил:

– Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств – не Косьма Медичис?

– Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Они тут у портного в мастерах служат и огромные деньги нынче вырабатывают: до восьмисот тысяч в месяц! Известно, девать некуда, вот они в валюту все перегоняют – вещи покупают. И опять же искусство любят.

И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репиными, Обри, Бердслеями, Ропсами, Билибинными и Александрями Бенуа.

Шире дорогу! Новый Любим Торцов²¹ идет!

Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги «Дюбек лимонный», в другой – «Покупайте калоши „Проводник“»!

Ars longa, vita brevis!²²

Люди – братья

Их было трое: бывший шулер, бывший артист императорских театров – знаменитый актер и третий – бывший полицейский пристав 2-го участка Александро-Невской части.

Сначала было так: бывший шулер сидел за столиком в ресторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а актер и пристав порознь бродили между публикой, занявшей все столы, и искали себе свободного местечка. Наконец бывший пристав не выдержал: подошел к бывшему шулеру и, вежливо поклонившись, спросил:

– Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите, ни одного свободного места!

– Скажите! – сочувственно покачал головой бывший шулер. – Сделайте одолжение, садитесь! Буду очень рад. Только не заказывайте кефали – жестковата. – При этом бывший шулер вздохнул: – Эх, как у Донона жарили судачков обернуар!

Лицо бывшего пристава вдруг озарилось тихой радостью.

– Позвольте! Да вы разве петербуржец?!

– Я-то?.. Да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо. Если не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по поводу какого-то недоразумения в Экономическом клубе?..

– Да Господи ж! Конечно! Знаете, я сейчас чуть не плачу от радости!.. Слово родного встретил. Да позвольте вас просто по-русски...

Знаменитый актер, бывший артист императорских театров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и сказал:

– А не уделите ли вы мне местечка за вашим столом?

– Вам?! – радостно вскричал бывший шулер. – Да вам самое почтеннейшее место надо уступить. Здравствуйте, Василий Николаевич!

– Виноват!.. Почему вы меня знаете? Вы разве петербуржец?

– Да как же, Господи! И господин бывший пристав петербуржец из Александро-Невской части, и я перебургец из Экономического клуба, и вы.

– Позвольте... Мне ваше лицо знакомо!!

– Еще бы! По клубу же! Вы меня еще – дело прошлое – били сломанной спинкой от стула за якобы накладку.

– Стойте! – восторженно крикнул пристав. – Да ведь я же по этому поводу и протокол составлял!!

– Ну конечно! Вы меня еще выслали из столицы на два года без права въезда! Чудесные времена были!

– Да ведь и я вас, господин пристав, припоминаю, – обрадовался актер. – Вы меня целую ночь в участке продержали!!

– А вы помните, за что? – засмеялся пристав.

– Черт его упомнит! Я, признаться, так часто попадал в участки, что все эти отдельные случаи слились в один яркий сверкающий круг.

– Вы тогда на пари разделись голым и полезли на памятник Александра Третьего на Знаменской площади.

– Господи! – простонал актер, схватившись за голову. – Слова-то какие: Александр Третий, Знаменская площадь, Экономический клуб... А позвольте вас, милые петербуржцы...

²¹ Любим Торцов – герой комедии А. Н. Островского «Бедность не порок», малообразованный, промотавшийся купец, не лишенный тем не менее стремления к культуре.

²² Искусство долговечно, жизнь коротка (лат.).

Все трое обнялись и, сверкая слезинками на покрасневших от волнения глазах, расцеловались.

– О, Боже, Боже, – свесил голову на грудь бывший шулер, – какие воспоминания!.. Сколько было тогда веселой, чисто столичной суматохи, когда вы меня били... Где-то теперь спинка от стула, которой вы... А, чай, теперь от тех стульев и помина не осталось?

– Да, – вздохнул бывший пристав. – Все растащили, все погубили, мерзавцы... А мой участок, помните?

– Это второй-то? – усмехнулся актер. – Как отчий дом помню: восемнадцать ступенек в два марша, длинный коридор, налево ваш кабинет. Портрет государя висел. Ведь вот было такое время: вы – полицейский пристав, я – голый, пьяный актер, снятый с царского памятника, а ведь мы уважали друг друга. Вы ко мне вежливо, с объяснением... Помню, папироску мне предложили и искренне огорчились, что я слабых не курю...

– Помните шулера Афонькина? – спросил бывший шулер.

– Очень хороший был человек.

– Помню, как же. Замечательный. Я ведь и его бил тоже.

– Пресимпатичная личность. В карты, бывало, не садись играть – зверь, а вне карт – он тебе и особенный салат-омар состряпает, и «Сильву» на рояли изобразит, и наизусть лермонтовского «Демона» продекламирует.

– Помню, – кивнул головой пристав. – Я и его высылал. Его в Приказчиьем сильно тогда подсвечниками обработали.

– Милые подсвечники, – прошептал лирически актер, – где-то вы теперь?.. Разворовали вас новые вандалы! Ведь вот времена были: и электричество горело, а около играющих всегда подсвечники ставили.

– Традиция, – задумчиво сказал бывший шулер, разглаживая шрам на лбу. – А позвольте, дорогие друзья, почествовать вас бутылочкой «Абрашки»...

Радостные пили «Абрау». Пожимали друг другу руки и любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза.

Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим приставом выпили на «ты».

Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, а знаменитый актер простирали над ними руки и утешал:

– Петербуржцы! Не плачьте! И для нас когда-нибудь небо будет в алмазах! И мы вернемся на свои места!.. Ибо все мы, вместе взятые, – тот ансамбль, без которого немислима живая жизнь!!

Володька

Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.

– Что это за фрукт? – осведомился я.

– Это? Это мой камердинер, секретарь, конфиден и наперсник. Имя ему Володька. Ты чего тут торчишь?

– Да я уже все поделал.

– Ну, черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановился?

– Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и константинопольским – ощутительная разница, – подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.

– Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры?!

Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:

– Каркнул ворон: «Никогда!»

– Ого! – рассмеялся я. – Мы даже Эдгара По знаем... А ну дальше.

Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:

Адский дух или тварь земная, произнес я, замирая, –
Ты – пророк! И раз уж Дьявол или вихрей буйный спор
Занесли тебя, крылатый, в дом мой, ужасом объятый,
В этот дом, куда проклятый Рок обрушил свой топор,
Говорит: пройдет ли рана, что нанес его топор?
Каркнул Ворон: «Never more».

- Оч-чень хорошо, – подзадорил я. – А дальше?
- Дальше? – удивился Володька. – Да дальше ничего нет.
- Как нет? А это:

Если так, то вон, Нечистый!
В царство ночи вновь умчись ты!

- Это вы мне говорите? – деловито спросил Володька. – Чтоб я ушел?
- Зачем тебе. Это дальше По говорил ворону.
- Дальше ничего нет, – упрямо повторил Володька.
- Он у меня и историю знает, – сказал с своеобразной гордостью приятель.
- Ахни-ка, Володька!

Володька был мальчик покладистый. Не заставляя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:

–...Способствовал тому, что мало-помалу она стала ученицей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора...

– Пстой; пстой! Почему ты с середины начинаешь? Что значит «способствовал»? Кто способствовал?

– Я не знаю кто. Там выше ничего нет.

– Какой странный мальчик, – удивился я. – Еще какие-нибудь науки знаешь?

– Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при ненормально повышенных сопротивлениях в малом кругу кровообращения: при эмфиземе, при срачивающих плеврите и пневмонии, при ателектазе, при кифосколиозе...

– Черт знает что такое! – даже закачался я на стуле, ошеломленный.

– Н-да-с, – усмехнулся мой приятель, – но эта материя суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли:

– Это которое на обороте «Восточные облака»?

– Во-во.

И Володька начал, ритмично покачиваясь:

Нам были так сладко желанны они,
Мы ждали еще, о, еще упоенья
В минувшие дни.
Нам грустно, нам больно, когда вспоминаем
Минувшие дни.

И как мы над трупом ребенка рыдаем,
И муке сказать не умеем: «Усни».
Так в скорбную мы красоту обращаем –
Минувшие...

Я не мог выдержать больше. Я вскочил.

– Черт вас подери – почему вы меня дурачите этим вундеркиндом! В чем дело, объясните

просто и честно?!

– В чем дело? – хладнокровно усмехнулся приятель. – Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка? А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник скупает у букиниста старые книги, учебники – издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на заvertку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в обрывке Шелли, или в «Истории государства Российского», или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая... Так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька! Что сегодня было?

Но Кочубей богат и горд
Не золотом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей!.. И то сказать...

Дальше оторвано.

– Так-с. Это, значит, Пушкин пошел в оборот.

У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель, беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:

– А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паскале» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полтаве»!

– То не в Золя была, – деловито возразил Володька. – То была скумбрия в этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась!

Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни Володька...

Может быть, удивлен будет читатель? Его дело.

Разговор в школе

Посвящаю Ариадне Румановой

Нельзя сказать чтобы это были два враждующих лагеря. Нет – это были просто два противоположных лагеря. Два непонимающих друг друга лагеря. Два снисходительно относящихся друг к другу лагеря.

Один лагерь заключался в высокой бледной учительнице «школы для мальчиков и девочек», другой лагерь был числом побольше. Раскинулся он двумя десятками стриженных или украшенных скудными косичками головок, склоненных над ветхими партами... Все головы, как единообразно вывихнутые, скривились на левую сторону, все языки были прикушены маленькими мышинными зубенками, а у Рюхина Андрея от излишка внимания даже тонкая нитка слюны из угла рта выползла.

Скрип грифелей, запах полувысохших чернил и вздохи, вздохи – то облегчения, то натуги и напряжения – вот чем наполнялась большая полутемная комната.

А за открытым окном, вызолоченные до половины солнцем, качаются старые акации, а какая-то задорная суетливая пичуга раскричалась в зелени так, что за нее делается страшно – вдруг разрыв сердца! А издали, с реки, доносятся крики купающихся мальчишек, а лучи солнца, ласковые, теплые, как рука матери, проводящая по головке своего любимца, лучи солнца льются с синего неба. Хорошо, черт возьми! Завизжать бы что-нибудь, захрюкать и камнем вылететь из пыльной комнаты тихого училища – побежать по сонной от зноя улице, выделявая ногами самые неожиданные курбеты.

Но нельзя. Нужно учиться.

Неожиданно среди общей творческой работы Кругликову Капитону приходит в голову сокрушительный вопрос:

«А зачем, в сущности, учиться? Действительно ли это нужно?»

Кругликов Капитон – человек смелый и за словом в карман не лезет.

– А зачем мы учимся? – спрашивает он, в упор глядя на прохаживающуюся по классу учительницу.

Глаза его округлились, выпуклились, отчасти от любопытства, отчасти от ужаса, что он осмелился задать такой жуткий вопрос.

– Чудак, ей-богу, ты человек, – усмехается учительница, проводя мягкой ладонью по его голове против шерсти. – Как зачем? Чтобы быть умными, образованными, чтобы отдавать себе отчет в окружающем.

– А если не учиться?

– Тогда и культуры никакой не будет.

– Это какой еще культуры?

– Ну... так тебе трудно сказать. Я лучше всего объясню на примере. Если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке...

– Я была, – раздается тонкий писк у самой стены.

Все изумленно оборачиваются на эту отважную путешественницу. Что такое? Откуда?

Очевидно, в школах водится особый школьный бесенок, который вертится между партами, толкает под руку и выкидывает, вообще, всякие кренделя, которые потом сваливает на ни в чем не повинных учеников... Очевидно, это он дернул Наталью Пашкову за жиденскую косичку, подтолкнул в бок, шепнул: «Скажи, что была, скажи!»

Она и сказала.

– Стыдно врать, Наталья Пашкова. Ну когда ты была в Нью-Йорке? С кем?

Наталья рада бы сквозь землю провалиться: действительно – черт ее дернул сказать это, но слово, что воробей: вылетит – не поймает.

– Была... ей-богу, была... Позавчера... с папой. Ложь, сплошная ложь: и папы у нее нет, и позавчера она была, как и сегодня, в школе, и до Нью-Йорка три недели езды.

Наталья Пашкова легко, без усилий, разоблачается всем классом и, плачущая, растерянная, окруженная общим молчаливым презрением, – погружается в ничтожество.

– Так вот, дети, если бы кто-нибудь из вас был бы в Нью-Йорке, он бы увидел огромные многоэтажные дома, сотни несущихся вагонов трамвая, электричество, подъемные машины, и все это – благодаря культуре. Благодаря тому, что пришли образованные люди. А знаете, сколько лет этому городу? Лет сто – полтора – не больше!!

– А что было раньше там? – спросил Рюхин Андрей, выгибая натруженную работой спину так, что она громко затрещала: будто орехи кто-нибудь просыпал.

– Раньше? А вот вы сравните, что было раньше: раньше был непроходимый лес, перепутанный лианами. В лесу – разное дикое зверье, пантеры, волки; лес переходил в дикие луга, по которым бродили огромные олени, бизоны, дикие лошади... А кроме того, в лесах и на лугах бродили индейцы, которые были страшнее диких зверей – убивали друг друга и белых и снимали с них скальпы. Вот вы теперь и сравните, что лучше: дикие поля и леса со зверьем, индейцами, без домов и электричества или – широкие улицы, трамваи, электричество и полное отсутствие диких индейцев?!

Учительница одним духом выпалила эту тираду и победоносно оглядела всю свою команду: что, мол, съели?

– Вот видите, господа... И разберите сами: что лучше – культура или такое житье? Ну, вот ты, Кругликов Капитон... Скажи ты: когда, значит, лучше жилось – тогда или теперь?

Кругликов Капитон встал и, после минутного колебания, пробубнил, как майский жук:

– Тогда лучше.

– Что?! Да ты сам посуди, чудак: раньше было плохо, никаких удобств, всюду звери, индейцы, а теперь дома, трамваи, подъемные машины... Ну? Когда же лучше – тогда или теперь?

– Тогда.

– Ах ты Господи... Ну вот ты, Полторацкий, – скажи ты: когда было лучше – раньше или теперь?

Полторацкий недоверчиво, исподлобья глянул на учительницу (а вдруг единицу вкатит) и

уверенно сказал:

– Раньше лучше было.

– О Бог мой!! Слизняков, Гавриил!

– Лучше было. Раньше.

– Прежде всего – не раннее, а раньше. Да что вы, господа, – затмение у вас в голове, что ли? Тут вам и дома, и электричество...

– А на что дома? – цинично спросил толстый Фитюков.

– Как на что? А где же спать?

– А у костра? Завернулся в одеяло и спи сколько влезет. Или в повозку залезь! Повозки такие были. А то подумай: дома!

И он поглядел на учительницу не менее победоносно, чем до этого смотрела она.

– Но ведь электричества нет, темно, страшно... Семен Заволдаев снисходительно поглядел на разгорячившуюся учительницу...

– Темно? А костер вам на что? Лесу много – жги сколько влезет. А днем и так себе светло.

– А вдруг зверь подберется.

– Часового с ружьем нужно выставлять, вот и не подберется. Дело известное.

– А индейцы подберутся сзади, схватят часового да на вас...

– С индейцами можно подружиться. Есть хорошие племена, приличные...

– Делаварское племя есть, – поддержал кто-то сзади. – Они белых любят. В крайнем случае можно на мустанге ускакать.

Стриженные головы сдвинулись ближе, будто чем-то объединенные, – и голоса затрещали, как сотня воробьев на ветках акации.

– А у городе у вашем одного швейцара на лифте раздавило... Вот вам и город.

– А у городе мальчик недавно под трамвай попал!

– Да просто у городе у вашем скучно – вот и все, – отрубил Слизняков Гавриил.

– Скверные вы мальчишки – просто вам не приходилось быть в лесу среди диких зверей – вот и все.

– А я была, – пискнула Наталья Пашкова, которую не оставлял в покое школьный бес.

– Врет она, – загудели ревнивые голоса. – Что ты все врешь да врешь. Ну, если ты была – почему тебя звери не съели, ну, говори!

– Станут они всякую заваль лопать, – язвительно пробормотал Кругликов Капитон.

– Кругликов!

– А чего же она... Вы же сами говорили, что врать – грех. Врет, ей-богу, все время.

– Не врать, а лгать. Однако послушайте: вы, очевидно, меня не поняли... Ну как же можно говорить, что раньше было лучше, когда теперь есть и хлеб, и масло, и сахар, и пирожное, а раньше этого ничего не было.

– Пирожное!!

Удар был очень силен и меток, но Кругликов Капитон быстро от него оправился:

– А плоды разные: финики, бананы – вы не считаете?! И покупать не нужно – ешь сколько влезет. Хлебное дерево тоже есть – сами же говорили... сахарный тростник. Убил себе бизона, навялил мяса и гуляй себе, как барин.

– Речки там тоже есть, – поддержал сбоку опытный рыболов. – Загни булавку да лови рыбу сколько твоей душеньке угодно.

Учительница прижимала обе руки к груди, бегала от одного к другому, кричала, волновалась, описывала все прелести городской безопасной жизни, но все ее слова отбрасывались упруго и ловко, как мячик. Оба лагеря совершенно не понимали друг друга. Культура явно трещала по всем швам, энергично осажженная, атакованная индейцами, кострами, пантерами и баобабами...

– Просто вы все скверные мальчишки, – пробормотала уничтоженная учительница, лишней раз щегольнув нелогичностью, столь свойственной ее слабому полу. – Просто вам нравятся дикие игры, стрельба из ружья – вот и все. Вот мы спросим девочек... Клавдия Кошкина – что ты нам скажешь? Когда лучше было – тогда или теперь?

Ответ был ударом грома при ясном небе.

- Тогда, – качнув огрызком косички, сказала веснушчатая, бледнолицая Кошкина.
- Ну почему? Ну, скажи ты мне – почему, почему?..
- Травка тогда была... я люблю... Цветы были.
- И обернулась к Кругликову – признанному специалисту по дикой, первобытной жизни:
- Цветы-то были?
- Сколько влезет было цветов, – оживился специалист, – огромные были – тропические. Здоровенные, пахнут тебе – рви сколько влезет.
- А в городе черта пухлого найдешь ты цветы. Паршивенькая роза рубль стоит.
- Посрамленная, уничтоженная учительница заметалась в последнем предсмертном усилии:
- Ну, вот пусть нам Катя Иваненко скажет... Катя! Когда было лучше?
- Тогда.
- Почему?!!
- Бизончики были, – нежно проворковала крохотная девочка, умильно склонив светлую голову набок.
- Какие бизончики?.. Да ты их когда-нибудь видела?
- Скажи – видела! – шепнула подталкиваемая бесом Пашкова.
- Я их не видела, – призналась простодушная Катя Иваненко. – А только они, наверное, хорошенькие... – И, совсем закрыв глаза, простонала: – Бизончики такие... Мохнатенькие, с мордочками. Я бы его на руки взяла и в мордочку поцеловала...
- Кругликов – специалист по дикой жизни – дипломатически промолчал насчет неосуществимости такого буколического намерения сентиментальной Иваненко, а учительница нахмурила брови и сказала срывающимся голосом:
- Ну хорошо же! Если вы такие – не желаю с вами разговаривать. Кончайте решение задачи, а кто не решит – пусть тут сидит хоть до вечера.
- И снова наступила тишина.
- И все решили задачу, кроме бедной, чистой сердцем Катерины Иваненко: бизон все время стоял между ее глазами и грифельной доской...
- Сидела маленькая до сумерок.

Деловая жизнь

- Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик – не наклонится ли какое дельце.
- На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал:
- Здравствуйте, господин писатель! Не узнаете меня?
- Как не узнаю, – с вялой вежливостью возразил я. – Очень даже хорошо узнаю. Как поживаете?
- Дела разные ломаю. А вы?
- Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться.
- Лиры есть?
- Немножко есть, – хлопнул я себя по карману. Лицо моего собеседника выразило напряженное внимание.
- Гм... Что мне для вас придумать?.. Гм... Есть у меня одно дельце, да. Впрочем, поделюсь с вами. Скажите, вы знаете, сколько весит баран?
- Какой баран? – удивился я.
- Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?
- А черт его знает! Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов.
- Как же вы не знаете веса барана! – с упреком сказал незнакомец.
- Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях, когда будет свободное время...

– Ну так знайте же, что средний баран весит три пуда.
Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие.
– Смотрите-ка, кто бы мог подозревать!
– Да, да. Три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? Пятьдесят пиастров!
– Да, вообще сейчас жизнь очень запуталась, – неопределенно заметил я.
– Ну, для умного человека жизнь проста, как палец. Итак, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Кады-Кее? Десять лир. Итак, вот вам дело: вы даете двадцать лир и я двадцать лир. Я покупаю двух овец, режу их...

– Не надо их резать, – сентиментально заметил я, – они такие хорошенькие.
– А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши двадцать лир вы будете иметь шесть пудов овечьего мяса. По розничной цене – шестьдесят лир. Да шкура в вашу пользу, да рога.

Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это, очевидно, была местная порода.

Я кивнул головой с видом знатока:

– Очень хорошее дельце. А когда прикажете внести деньги?
– Да хоть сейчас: чем скорей, так лучше. Сколько тут у вас? Ровно двадцать? Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны будут уже у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?

– Не знаю, удобно ли это. Вдруг ни с того, ни с сего бараны заходят на квартиру... Да еще моя хозяйка против этих посторонних визитов... Нет, лучше их просто зарежьте. Только не мучьте. Хорошо?

Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон, и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом.

С тех пор прошло восемь дней. Пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли.

Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось.

Иногда по ночам меня мучит совесть: прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что, если они по дороге сбежали от него? А что, если перед смертью они вступили с ним в борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бедного компаньона?

Вчера со мной произошел удивительный случай: иду по улице, вдруг вижу – мой компаньон навстречу.

Я радостно кинулся к нему:

– Здравствуйте, голубчик! Ну, что слышно с баранами?

Он удивленно взглянул на меня:

– Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю.

– Ка-а-ак?... Да ведь мы же вместе хотели зарабатывать на баранах!

– Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один.

И, отстранив меня, он пошел дальше.

«Однако какое удивительное сходство!.. – бормотал я себе под нос, провожая его взглядом. – То же лицо, тот же голос и даже на баранах зарабатывает, как и тот!»

Много тайн хранит в себе чарующий, загадочный Восток!

Русское искусство

– Вы?

– Я.

– Глазам своим не верю.

– Таким хорошеньким глазам не верить – это преступление.

Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину, – для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком.

Таков я и есть.

Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений.

– Слушайте, Простодушный. Очень хочется вас видеть. Ведь вы – мой старый милый Петербург. Приходите чайку выпить.

– А где вы живете?

Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.

Но не таков городишко Константинополь! На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности.

– Где я живу? Позвольте. Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, дайте мне лучше карандаш и бумажку, я вам нарисую.

Отчасти делается понятна густая толпа, толкущаяся на Пере: это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османды.

Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт – Токатлиан: это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец.

Рисуются две параллельных линии – Пера. Потом квадратик – Токатлиан. Потом...

– Вот вам, – говорит актриса, чертя карандашом по бумаге, – эта штучка – Токатлиан. От этой штучки вы идите налево, сворачивайте на эту штучку, потом огибаете эту штучку – и тут второй дом – где я живу. Номер двадцать два. Третий этаж, квартира барона К.

Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.

На другой день вечером, когда я собрался в гости к актрисе, зашел знакомый:

– Куда вы?

– Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в эту штучку, потом в другую. Квартира барона К.

– Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете в такое аристократическое место – и в пиджаке?

– Не фрак же надевать!

– А почему бы и нет? Вечером в гостях фрак – самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь за-граница!

– Фрак так фрак, – согласился я.

Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фракной сорочки, отправился на Перу – танцевать от излюбленной русской печки.

Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, то это только половина дела. Другая половина – найти номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер помещается между двадцать девятым и четырнадцатым, а шестнадцатый скромно заткнулся между сто двадцать седьмым и девятнадцатым.

Вероятно, это происходит оттого, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему более по душе.

Искомый номер двадцать два был сравнительно приличен: между двадцать четвертым и тринадцатым.

На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.

– Что угодно?

– Анна Николаевна здесь живет?

– Какая?

– Русская. Беженка.

– Ах, это вы к Аннушке! Аннушка, тебя кто-то спрашивает!

Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке.

Первые слова ее были такие:

– Чего тебя, ирода, черти-то по парадным носят?! Не мог через черный ход приттить!

– Виноват, – растерялся я, – вы сказали...

– Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня! Я его допрежь того в Петербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотепа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.

– Ну, садись, кум, коль пришел. Самовар, чать, простыл, по стакашку еще нацедить возможное дело.

– А я вижу, вы с гран-коклет перешли на характерные, – уныло заметил я, вертя в руках огромную ложку с дырочками.

– Чаво? Я, стал-быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забижают.

– На своих харчах? – деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.

– Хозяйские и отсыпное хозяйское.

– И доход от мясной и зеленой имеете?

– Законный процент (в последнем слове она сделала ударение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда осталось. Я б разогрела.

Вошла хозяйка:

– Аннушка, самовар поставь. Во мне заговорил джентльмен.

– Позвольте, я поставлю, – предложил я, кашлянув в кулак. – Я мигом. Стриженная девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать уголь и куда налить воды.

– Кто это такой, Аннушка? – спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.

– Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.

– Вы давно знакомы?

– С Петербурга, – скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу. – Аннушка в моих пьесах играла.

– Как... играла... Почему... в ваших?..

– А кто тебя за язык тянет, эфиеп, – с досадой пробормотала Аннушка. – Места только лишишься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня... Ихняя фамилия – Простодушный.

– Что ж вы тут, господа, пожалуйста в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады.

– Видала? – заносчиво сказал я, подмигивая. – А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются и к столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший когда-то Третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с гадуном и сказал:

– Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское.

Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое – кухарка, швейцар и я. Хозяин побежал в лавку за закуской и вином. Хозяйка раздувала на кухне самовар.

Аргонавты и золотое руно

С тех пор как осенью 1920 года пароход покинул берег Крыма, и до самого Константинополя они так и ходили нераздельно вместе – впереди толстый, рыжебородый, со сложенными на груди руками, а за ним, немного сзади, двое: худощавый брюнет с усиками и седенький, маленький. Этот вечный треугольник углом вперед напоминал стадо летящих журавлей.

Только один раз я увидел их не в комбинации треугольника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь о перила, и поплеывали в тихую воду Черного моря с таким усердием, будто кто-нибудь дал им поручение – так или иначе, а повысить уровень черноморской воды.

Я подошел и бесцельно облокотился рядом.

– Ну что, юноша, – обратился вдруг ко мне седенький. – Как делишки?

– Ничего себе, юноша, – приветливо ответил я. – Дряннь делишки.

– Что думаете делать в Константинополе?

– А черт его знает. Что придется.

– Так нельзя, – наставительно отозвался черноусый мужчина. – Надо заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на константинопольском берегу растерянным дураком. Вот мы выработали себе по плану – и спокойны.

– Прекрасное правило, – пришел я в истинное восхищение. – Какие же ваши планы?

Седенький подарил морскую гладь искусным полновесным плевком и, поглядев на удаляющиеся с глаз плоды своего рта, процедил сквозь энергично сжатые губы:

– Газету буду издавать.

– Ого! Где?

– Что значит – где? В Константинополе. Я думаю сразу ахнуть и утреннюю и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Вообще Константинополь – золотое дно!

– Дно-то дно, – с некоторым сомнением согласился я. – Только золотое ли?

– Будьте покойны, – вмешался черноусый. – На этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать. Впрочем, мои планы скромнее.

И две стороны треугольника сейчас же поддержали третью:

– Да, его планы скромнее.

– Журнал будет издавать? – попытался догадаться я.

– Ну что там ваш журнал! Чепуха. Нет, мне пришла в голову свежая мыслишка. Только вы никому из других пассажиров не сообщайте. Узнают – сразу перехватят.

Я твердо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу.

– Так знайте: я решил открыть в Константинополе русский ресторан.

– Гм... Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Константинополе, но... мне кажется, что... там в этом направлении кое-что сделано.

– Черта с два сделано! Разве эти головотяпы сумеют? Нет, у меня все будет особенное: оркестр из живых венгерцев, метрдотель – типичный француз, швейцар – швейцарец с алебардой, а вся прислуга – негры!

– И вы всю эту штуку назовете русским рестораном?

– Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская! Щи буду закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать. На всю Турцию звон сделаю.

– Но ведь для этого дела нужны большие деньги!

– Я знаю, тысяч десять лир. Но это самое легкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека – в компании с ним и обтяпаем.

Молчавший доселе бородач вдруг захохотал, подарил морскую гладь сложным плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу.

– Нет, это все скучная материя – дела, расчеты, выкладки. Вот у меня план так план. Знаете что я буду делать?

– А Бог вас знает.

– То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложу руки буду сидеть. Валюту везу. Ловко, а!

– Замечательно.

– Да-а. Узнает теперь этот Константинополишка Никанора Сырцова! Ей-бо, право! Палец о палец не ударю. Сложу руки и буду сидеть. Поработали и буде. Ежели встречу там где – шампане-ей до краев налью. Да просто заходи в лучший готель и спроси Никанора Сырцова – там я и буду. А може, я в Васькиной газете публиковаться буду: «Такой-то Никанор Гаврилов Сырцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской». А в кабаке мы с тобой будем ходить только в Петькин: пусть нам негры да венгерцы дурака ломают. Поддержим приятеля, хе-хе! Хай живе Украина!

Журавлиный треугольник отделился от перил, взмахнул крыльями и плавно понесся в трюм на предмет насыщения своих пернатых желудков.

Пока все беженство кое-как утрясалось, пока я лично устраивался – никто из журавлиного треугольника не попался мне на глаза.

Но однажды, когда я скромно ужинал в уголке шумного ресторана, ко мне подлетел головной журавль – Никанор Сырцов.

– Друг! – завопил он. – Говорил, шампансеей налью – налью! Пойдем до кабинету. Какие цыгане – пальчики оближешь! Как зальются – так или на отцовскую могилу хочется бежать, или кому-нибудь по портрету заехать. Благороднейшие люди.

Он сцепился со мной на бордаж, после долгой битвы победил меня и, взяв на буксир, отшвартовал «до кабинету», который оказался холодной, дымной, накуренной комнатой, наполненной людьми. В руках у них были гитары, на плечах – линялые кунтуши, на лицах скука непроходимая.

– Эх, брат! – воскликнул Сырцов, становясь в позу. – Люблю я тебя, а за что, и сам не знаю. Хороший человек, чтоб ты сдох! Веришь совести – вторую тысячу пропиваю!.. А ну, вы, конокрады, ушкварьте: «Две гитары за стеной»!

Пел Сырцов, рыдал Сырцов в промежутках, и снова плясал Сырцов, оделяя всех алчущих и жаждущих бокалами шампанского и лирами.

– Во, брат! – кричал он, путаясь неверными ногами в странном танце. – Это я называю жить сложа руки! Вот она, брат, это и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!

Последний призыв Никанора цыгане приняли вяло и вместо поджога только хлопали бокал за бокалом, зевая, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам Сырцов не мог точно указать, какой предмет обречен им на сжигание.

– Постой, – попытался я остановить пляшущего Никанора. – Расскажи мне лучше – что поделывают твои приятели? Открыли ресторан? Издают газету?..

– А черт их знает. Я восьмой день дома не был – так что мне газета! На нос мне ее, что ли?

* * *

Шел я однажды вечером по Пти-Шан.

Около знаменитого ресторана «Георгия Карпыча» раздался нечеловеческий вопль:

– Интер-р-есная газета «Пресс дю суар»!1 Купите, господин!

Я пригляделся: вопил издатель из журавлиного треугольника.

Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров.

– Что же это вы чужую газету продаете, – участливо спросил я. – А своя где?

– Дело, это... налаживается, – нерешительно промямлил он. – Еще месяц, два и этого... С разрешением дьявольски трудно!..

– А что ваш приятель, как его дело с рестораном?

– Пожалуйте! Тут за углом, второй дом, вывеска. Навестите, он будет рад.

1 «Вечерняя газета» (фр.).

«Слава Богу, – подумал я, идя по указанному адресу, – хоть один устроился».

Этот последний, увидав меня, действительно обрадовался.

Подошел к моему столику, обмахнул его салфеткой, вынул из кармана карточку и сказал:

– Вот приятная встреча! Что прикажете? Водочки с закуской, горячего или просто чашку кофе?

– Вы что тут, в компании? Нашли дурака-грека с деньгами?

– Нет, собственно, он нашел меня, дурака. Или, вернее, я его, конечно, нашел, ну, так вот... Гм!.. Пока служу. У него, впрочем, действительно есть большие деньги. Я только... этого. Не заинтересован.

– А венгерцев и негров нет?

Он отвернулся к окну и стал салфеткой протирать заплаканное стекло.

– И швейцар ваш без алебарды, обезоруженный, в опорках...

– Шутить изволите. Может, винца прикажете? Хорошее

есть.....

Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами.

Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я иногда видел дремлющего с салфеткой в руках у стены смелого инициатора дела, построенного на венгерцах, неграх, швейцарах и алебардах.

И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны:

– «Пресс дю суар»!

Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушно:

– А что же ваша собственная газета?

– Наверное, скоро разрешится.

– Ну, а что ваш приятель, Никанор Сырцов? По-прежнему сидит сложа руки?

– Сложа-то сложа. Только не сидит, а лежит. От голодного тифа или что-то вроде – помер.

Все деньги на цыган да на разные глупости проухал. У меня в конце концов по пяти пиастров перехватывал. Да мне тоже, знаете, их взять неоткуда. Вот тебе и «сложка руки»! Много их, таких дураков.

И когда он говорил это – у него было каменное неподвижное лицо, как у старых боксеров, которых другие боксеры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо делается навсегда непробиваемым.

Жестокий это боксер – Константинополь. Каменеет лицо от его ударов.

Оккультные тайны Востока

Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прошептала:

– Пойдемте к хироманту!

– Чего-о-о?

– Я говорю вам – идите к хироманту! Этот оккультизм такая прелесть. И вам просто нужно пойти к хироманту! Эти хироманты в Константинополе такие замечательные!

– Ни за что не пойду, – увесисто возразил я. – Ноги моей не будет... или, вернее, руки моей не будет у хироманта.

– Ну, а если я вас поцелую, – пойдете?

Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную деловую почву, он начинает меня сразу интересовать.

– Солидное предложение, – задумчиво сказал я. – А когда пойти?

– Сегодня же. Сейчас.

– Аванс будет?

Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами.

Пошел.

* * *

Римские патриции, которым надоедало жить, перед тем, как принять яд, пробовали его на своих рабах.

Если раб умирал легко и безболезненно, патриций спокойно следовал его примеру.

Я решил поступить по этому испытанному принципу: посмотреть сначала, как гадают другому, а потом уже и самому шагнуть за таинственную завесу будущего.

Около русского посольства всегда толчется масса праздной публики.

Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого человека в военной шинели без погон, подошел, попросил прикурить и прямо приступил к делу.

– Бывали вы когда-нибудь у хироманта? – спросил я.

– Не бывал. А что?

– Вы сейчас ничего не делаете?

– Буквально ничего. Третий месяц ищу работы.

– Так пойдём к хироманту. Это будет стоить две лиры.

– Что вы, милый! Две лиры!!! Откуда я их возьму? У меня нет и пятнадцати пиастров!

– Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство две лиры. Только при условии: чтоб я присутствовал при гадании!

Молодой человек зарумянился, неизвестно почему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал:

– Ну, что ж... Пойдём.

Хиромант принял нас очень любезно.

– Хиромантия, – приветливо заявил он, – очень точная наука. Это не то что какие-нибудь там бобы или кофейная гуща. Садитесь.

На столе лежал человеческий череп. Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил:

– Ваш череп?

– Конечно, мой. А то чей же.

– Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?

– Помилуйте! Это череп одного халдейского мага из Мемфиса.

– А вы говорите – ваш. Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка сему молодому человеку.

Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту правую руку, но тот отстранил ее и сказал:

– Левую.

– Да разве не все равно, что правая, что левая?

– Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо мной ваша левая рука... Ну, что ж я вам скажу?... Вам пятьдесят два года.

– Будет, – мягко возразил мой «патрицианский раб». – Пока только двадцать четыре.

– Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже немного за пятьдесят. Затем проживете вы до... до... Черт знает, что такое?!

– А что? – заинтересовался я.

– Никогда я не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли, до каких пор вы проживете, судя по этой совершенно бесспорной линии?!

– Ну?

– До двухсот сорока лет!!

– Порядочно!! – завистливо крикнул я.

– Не ошибаетесь ли вы? – медовым голосом заметил обладатель замечательной руки.

– Я голову готов прозакладывать! Он наклонился над рукой еще ниже.

– Нет, эти линии!!! Что-то из ряда вон выходящее!!! Вот смотрите – сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола: один около тридцати лет, другой около сорока.

– Позвольте, – робко возразила коронованная особа. – Сорок и тридцать лет – это уже семьдесят. А вы говорили, что мне и всего-то пятьдесят два.

– Я не знаю, ничего не знаю, – в отчаянии кричал хиромант, хватаясь за голову. – Это первый случай в моей пятнадцатилетней практике! Ваша проклятая рука меня с ума сведет!!

Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом.

– А что случилось? – участливо спросил я.

– А то и случилось, – со стоном вскричал хиромант, – что когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками!! Тут сам черт ничего не разберет! Умерщвлен, а сидит. Разговаривает!!! Привели вы мне клиента – нечего сказать!!

– Были вы умерщвлены на первом троне? – строго спросил я.

– Ей-богу, нет. Видите ли... Я служил капитаном в Марковском полку, а что касается престола...

– Да ведь эта линия – вот она! – в бешенстве вскричал хиромант, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь. – Вот один престол, вот другой престол! А это вот что? Что это? Ясно:

умерщвлен чужими руками!

– Да вы не волнуйтесь, – примирительно сказал я. – Вы же сами сказали, что его величество проживет двести сорок лет. Чего же тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрет по-настоящему, так сказать – начисто.

– Отчего он умрет?.. Позвольте-ка вашу руку. Хиромант ястребиным взором впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице.

– Ну, что? – нетерпеливо спросил я.

– Я так и думал, что будет какая-нибудь гадость, – в отчаянии застонал хиромант.

– Именно?

– Вы знаете, отчего он умрет? От родов. Мы на минуту оцепенели.

– Не ошибаетесь ли вы? Если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст, который...

– «Который, который»!! Ничего не который! Я не мальчишка, чтобы меня дурачить, и вы не мальчишка, чтобы я мог вам врать. Я честно говорю только то, что вижу, а вижу я такое, что и этого молодого человека и меня надо отправить в сумасшедший дом!! Это сам дьявол написал на вашей ладони эти антихристовы письмена!

– Ну уж и дьявол, – смущенно пробормотал молодой человек. – Это считается одной из самых солидных фирм: Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, триста сорок пять.

Мы оба выпучили на него глаза.

– Господа, не сердитесь на меня... Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. А левая, конечно... Я и сам не знаю, что они на ней вытиснули...

– Кто-о? – взревел хиромант.

– Опять же Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, триста сорок пять. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвало кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как представитель фабрики искусственных конеч...

Череп халдейского мудреца полетел мимо моего плеча и, кляцнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковых свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей.

– Бежим, – шепнул я капитану, – а то он так озверел, что убить может.

Бежали, схватившись за руки, по узкому грязному переулку. Отдышались.

– Легко отделались, – одобрительно засмеялся я. – Скажите, кой черт поддел вас не признаться сразу, что ваша левая лапа резиновая, как галоша «Проводник»?

– Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете, когда пять дней подряд питаешься одними бубликами... А теперь, конечно, сам понимаю, что ухнули мои две лирочки.

– Ну, нет, – великодушно сказал я. – Вам, ваше величество, еще двести пятнадцать лет жить осталось, так уж денежки-то, ой-ой как нужны. Получайте.

* * *

Встретил даму. Ту самую.

– Ну что, были?

– Конечно, был. Аванс отработал честно.

– Ну, что же? – с лихорадочным любопытством спросила ода. – Что же он вам сказал?

– А вы верите всему, что они предсказывают? – лукаво спросил я.

– Ну, конечно.

– Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев.

До чего эти женщины суеверны, до чего доверчивы.

Мой первый дебют

Между корью и сценой существует огромное сходство: тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть.

Но между корью и сценой существует и огромная разница: в то время как корью переболеешь только раз в жизни – и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизлечимым.

Более счастливые люди отделяются редкими припадками вроде перемежающейся лихорадки, выступая три-четыре раза в год на клубных сценах в любительских спектаклях; все же неудачники – люди с более хрупкими организмами – заболевают прочно и навсегда.

Три симптома этой тяжелой болезни: 1) исчезновение растительности на лице, 2) маниакальное стремление к сманиванию чужих жен и 3) бредовая склонность к взятию у окружающих денег без отдачи.

* * *

Гулял я всю свою жизнь без забот и огорчений по прекрасному белому свету, резвился, как птичка, и вдруг однажды будто злокачественным ветром меня прохватило.

Встречаю в ресторане одну знакомую даму – очень недурную драматическую артистку.

– Что это, – спрашиваю, – у вас такое лицо расстроенное?

– Ах, не поверите! – уныло вздохнула она. – Никак второго любовника не могу найти...

«Мессалина!» – подумал я с отвращением. Вслух резко спросил:

– А разве вам одного мало?

– Конечно, мало. Как же можно одним любовником обойтись? Послушайте... может, вы на послезавтра согласитесь взять роль второго любовника?

– Мое сердце занято! – угрюмо пробормотал я.

– При чем тут ваше сердце?

– При том, что я не могу разбрасываться, как многие другие, для которых нравственность...

Она упала локтями и головой на стол и заколыхалась от душившего ее смеха.

– Сударыня! Если вы способны смеяться над моим первым благоуханным чувством... над девушкой, которой вы даже, не знаете, то... то...

– Да позвольте, – сказала она, утирая выступившие слезы. – Вы когда-нибудь играли на сцене?

Не кто иной, как черт, дернул меня развязно сказать:

– Ого! Сколько раз! Я могу повторять, как и Савина: «Сцена – моя жизнь».

– Ну?... Так вы знаете, что такое на театральном жаргоне «любовник»?

– Еще бы! Это такие... которые... Одним словом, любовники. Я ведь давеча думал, что вы о вашей личной жизни говорите...

Она встала с видом разгневанной королевы:

– Вы нахал! Неужели вы думаете, что я могу в личной жизни иметь двух любовников?!

Это неопределенное возмущение я понял впоследствии, когда простак сообщил мне, что у нее на этом амплу было и четыре человека.

– В наказание за то, что вы так плохо обо мне подумали, извольте выручить нас, пока не приехал Румянцев, – вы сыграете Вязигина в «После крушения» и Крутобедрова в «Ласточкином гнезде». Вы играли Вязигина?

Ее пренебрежительный тон так задел меня, что я бодро отвечал:

– Сколько раз!

– Ну и очень мило. Нынче вечером я пришлю роль. Репетиция завтра в одиннадцать.

Очевидно, в моей душе преобладает женское начало: сначала сделаю, а потом только подумаю: что я наделал!

* * *

Роль была небольшая, но привела меня в полное уныние.

Когда читаешь всю пьесу, то все обстоит благополучно: знаешь, кто тебе говорит, почему говорит и что говорит.

А в роли эти необходимые элементы отсутствовали. Никакой дьявол не может понять такого,

например, разговора:

Явление 6

Ард. В экипажах и пешком. А княжна Мэри.

Ард. Этого несчастья.

Спасибо, я вам очень обязан.

Ард. Его нужно пить.

Это вы так о ней выражаетесь...

Ард. Капризам.

В таком случае я способен переступить все границы.

Гриб. Две чечетки. Надо быть во фраке.

Кто эти «Ард.» и «Гриб.»? Родственники мои, враги, старые камердинеры или светские молодые люди?..

Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побежал к одному своему другу, который отличался тем, что все знал. Это был человек, у которого слово «нет» отсутствовало в лексиконе.

– Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?

– Знаю.

– Что же? Скажи, голубчик!

– Только нахальство! Если ты вооружишься невероятной, нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожалуй, похлопают.

– По ком? – боязливо спросил я.

– До тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только помни: нахальство, нахальство и еще раз оно же.

Ушел я успокоенный.

На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К нему все относились с тихим обожанием. Простак даже шепнул мне:

– Ах, как подает! Чудо!

Я удивленно посмотрел на суфлера: он ничего никому не подавал, просто читал по тетради. Однако мне не хотелось уронить себя:

– Это что за подача! Вот мне в Рязани подавали – так с ума сойти можно.

Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением заметил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога в ногу.

Актер, игравший старого графа, прислушался к словам суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл десять тысяч, вдруг кокетливо добавил:

– Ах, я ни за что не выйду замуж!

– Это не ваши слова, – сонно заметил суфлер. – Дочка, вы говорите: «Ах, я ни за что не выйду замуж».

Дочка рабски повторила это тяжелое решение. В путанице и неразберихе я был не особенно заметен, как незаметен обломок спички в куче старых окурков.

* * *

– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, когда парикмахер спросил, какой мне нужен парик.

– Видите ли... Я вам сейчас объясню... Представьте себе человека избалованного, легкомысленного, но у которого случаются минуты задумчивости и недовольства собой, минуты, когда человек будто поднимается и парит сам над собой, уносясь в те небесные глубины...

– Понимаю-с, – сказал парикмахер, тряхнув волосами, – блондинистый городской паричок.

– А? Во-во! Только чтоб он на глаза не съехал.

– Помилуйте! А лак на что? Да и вошьем.

– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, усаживаясь в вечер спектакля перед зеркалом гримироваться.

Увы!.. Нахальства было много, а красок еще больше. И куда, на какое место какая краска – я совершенно не постигал.

Вздыхнул, мужественно нарисовал себе огромные брови, нарумянил щеки – задумался.

Вся гримировальная задача для новичка состоит только в том, чтобы сделаться на себя непохожим.

«Эх! Приклеить бы седую бороду – вот бы ловко! Пойди-ка тогда, узнай. Но раз по смыслу роли нельзя бороды – ограничимся усами».

Усы очень мило выделялись на багровом фоне щек.

* * *

В первом акте я должен выбежать из боковых дверей в белом теннисном костюме. Перед выходом мне сунули в руку какую-то плетеную штуку вроде выбивалки для ковров, но я решил, что эта подробность только стеснит мои первые шаги, и бросил плетенку за кулисами.

– А вот и я! – весело вскричал я, выскочив на что-то ослепительно яркое, с огромной зияющей дырой впереди.

– А, здравствуйте, – пропищала инженеру. – Слушайте, тут пчела летает, я бою-юсь. Дайте вашу ракетку – я ее убью!..

Я добросовестно, как это делалось на репетициях, протянул ей пустую руку.

Она, видимо, растерялась.

– Позвольте... А где же ракетка?

– Какая ракетка? (Побольше наглости! Как можно больше нахальства!) Ракетка? А я, знаете, нынче именинник, так я ее зажег. Здорово взлетела. Ну, как поживаете?

– Сошло! – пробормотал я, после краткого диалога вылетая за кулисы. – До седьмого явления можно и закурить.

* * *

– Вам выходить! – прошипел помощник режиссера.

– Знаю, не учите, – солидно возразил я, поглаживая рукой непривычные усы.

И вдруг... сердце мое похолодело: один плохо приклеенный ус так и остался между моими пальцами.

– Вам выходить!!!

Я быстро сорвал другой ус, зажал его в кулак и выскочил на сцену.

Первые мои слова должны быть такие:

– Граф отказал, мамаша.

Я решил видоизменить эту фразу:

– А я, мамаша, уже успел побриться. Идет? Не правда ли, моложе стал?

Усы в кулаке стесняли меня. Я положил их на стол и сказал:

– Это вам на память. Вделайте в медальон. Пусть это утешит вас в том, что граф отказал.

– Он осмелился?! – охнула мать моя, смахнув незаметно мой подарок на пол. – Где же совесть после этого?

Сошла и эта сцена. Я в душе поблагодарил своего всезнающего друга.

* * *

В третьем акте мои первые слова были:

– Он сейчас идет сюда.

После этого должен был войти старый граф, но в стройном театральном механизме что-то испортилось. Граф не шел.

Как я после узнал, он в этот момент был занят тем, что жена била его в уборной зонтиком за какую-то обнаруженную интрижку с театральной портнихой.

– Он сейчас придет, мамаша, не волнуйтесь, – сказал я, покойно усаживаясь в кресло.

Мы подождали. На сцене секунды кажутся десятками минут.

– Он, уверяю вас, придет сейчас! – заорал я во все горло, желая дать знать за кулисы о беспорядке. Граф не шел.

– Что это, мамаша, вы взволнованы? – спросил я заботливо. – Я вам принесу сейчас воды.

Вылетел за кулисы и зашипел:

– Где граф, черт его дерит?!!

– Ради Бога, – подскочил помощник, – протяните еще минутку: он приклеивает оторванную бороду.

Я пожал плечами и вернулся.

– Нет воды, – грубо сказал я. – Ну и водопроводец наш!

Мы еще посидели...

– Мамаша! – нерешительно сказал я. – Есть ли у вас присутствие духа? Я вам хочу сообщить нечто ужасное...

Она удивленно и растерянно поглядела на меня.

– Дело в том, что когда я вышел за водой, то мимоходом узнал ужасную новость, мамаша. Автомобиль графа по дороге наскочил на трамвай, и графа принесли в переднюю с проломленной головой и переломанными ногами... Кончается!

Я уже махнул рукой на появление графа и только решил как-нибудь протянуть до тех пор, пока кто-нибудь догадается спустить занавес.

Мы помолчали.

– Да... – неопределенно, протянул я. – Жизнь не ждет. Вообще, эти трамваи... Вот я вам сейчас расскажу историю, как у меня в трамвае вытянули часы. История длинная... так минут на десять, на пятнадцать, но ничего. Надо вам сказать, мамаша, что есть у меня один приятель – Васька. Живет он на Рождественской. С сестрой. Сестра у него красавица, пышная такая – еще за нее сватался Григорьев, тот самый, который...

– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – вдруг вошел изуродованный мною граф, с достоинством останавливаясь в дверях.

– А, граф, – вскочил я. – Ну, как ваше здоровье? Как голова?

– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – строго повторил граф, игнорируя меня.

– Я рад, что вы дешево отделались, – с удовольствием заметил я.

Он поглядел на меня, как на сумасшедшего, заморгал и вдруг сказал:

– Простите, Анна Никаноровна, но я должен сказать вашему сыну два слова.

Он вытащил меня за кулисы и сказал:

– Вы что?! Идиот или помешанный? Почему вы говорите слова, которых нет в пьесе?

– Потому что надо выходить вовремя. Я вас чуть не похоронил, а вы лезете. Хоть бы голову догадались тряпкой завязать.

– Выходите! – прорычал режиссер.

* * *

Могу с гордостью сказать, что в этот дебютный день я покорила всех своей находчивостью.

В четвертом акте, где героиня на моих глазах стреляется, она сунула руку в ящик стола и... не нашла револьвера.

Она опустила голову на руки, и когда я подошел к ней утешить ее, она прошептала:

– Нет револьвера: что делать?

– Умрите от разрыва сердца. Я вам сейчас что-то сообщу.

Я отошел от нее, схватился за голову и протонал:

– Лидия! Будьте мужественны! Я колебался, но теперь решил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу сестренку и отравилась сама.

– Ах! – вскрикнула Лидия и, мертвая, шлепнулась на пол.

* * *

Нас вызывали.

Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не перед занавесом, а в камере судьи – за издевательство над беззащитной публикой.

Индейка с каштанами

Жена заглянула в кабинет и сказала мужу:

– Василь Николаич, там твой племянник, Степа, пришел...

– А зачем?

– Да так, говорит, поздравить хочу.

– А ну его к черту.

– Ну, все-таки неловко – твой же родственник. Ты выйди, поздоровайся. Ну, дай ему рубля три, в виде подарка.

– А ты сама не можешь его принять?

– Здравствуйте! Я и то, я и се, я и туда, я и сюда, я и за индейкой присматривай, я и твоих племянников принимай?..

– Да, кстати, что же будет с индейкой?

– Это уж как ты хочешь. И сегодня гостей на индейку позвал, и завтра гостей на индейку позвал! А индейка одна. Не разорваться же ей... Распорядился – нечего сказать!!

– А нельзя половину сегодня подать, половину завтра?

– Еще что выдумай! На весь город засмеют. Кто же это к столу пол-индейки подает?

– Гм... да... Каверзная штука. Ну, где твой этот дурацкий Степа – давай его сюда!

– Какой он мой?! Твой же родственник. В передней сидит. Позвать?

– Зови. Я его постараюсь сплавить до приезда гостей.

В кабинет вошел племянник, Степа, – существо, совсем не напоминающее распространенный тип легкомысленных, расточительных, элегантных племянников, пользующихся родственной слабостью богатого дяди.

Был Степа высоким, скуластым молодцом, с громадным зубастым ртом, искательными, навсегда испуганными глазами и такой впалой грудью, что, ходи Степа голым, – в этой впадине в дождливое время всегда бы застаивалась вода.

Руки из рукавов пиджака и ноги из брюк торчали вершка на три больше, чем это допустил бы легкомысленный племянник из великосветского романа, а карманы пиджака так оттопыривались, будто Степа целый год таскал в каждом из карманов по большому астраханскому арбузу. Брюки на коленях тоже были чудовищно вздуты, как сочленения на индусском бамбуке.

Бровей не было. Зато волосы на лбу спускались так низко, что являлось подозрение: не взползли ли брови в один из периодов изумленности Степы кверху и не смешались ли там раз навсегда с головными волосами? В ущельи, между щекой и крылом носа, пряталась огромная розовая бородавка, будто конфузясь блестящего общества верхней волосатой губы и широких мощных ноздрей...

Таков был этот бедный родственник Степа.

– Ну, здравствуй, Степа, – приветствовал его дядя. – Как поживаешь?

– Благодарю, хорошо. Поздравляю с праздником и желаю всего, всего... этого самого.

– Ага, ну-ну. А ты, Степа, тово... Гм! Как это говорится... Ты, Степа, не мог бы мне где-нибудь индейки достать, а?

– Сегодня? Где же ее нынче, дядюшка, достать. Ведь первый день Рождества. Все закрыто.

– Ага... Закрыто... Вот, брат Степан, история у меня случилась: индейка-то у нас одна, а я и на сегодня и на завтра позвал гостей именно на индейку. Черт меня дернул, а?

– Да, положение ваше ужасное, – покорно согласился Степа. – А вы сегодня скажите, что

больны...

– Кой черт поверит, когда я уже у обедни был.

– А вы скажите, что кухарка пережарила индейку.

– А если они из сочувствия на кухню полезут смотреть, что тогда?.. Нет, надо так, чтобы индейку они видели, но только ее не ели. А завтра разогреем, и будет она опять, как живая.

– Так пусть кто-нибудь из гостей скажет, что уже сыты и что индейку резать не надо...

Дядя, закусив верхнюю губу, задумчиво глядел на племянника и вдруг весь засветился радостью...

– Степа, голубчик! Оставайся обедать. Ты ж ведь родственник, ты – свой, тебя стесняться нечего – поддержи, Степа, а? Подними ты свой голос против индейки.

– Да удобно ли мне, дядюшка... Вид-то у меня такой... не фельтикультяпный.

– Ну вот! Я тебя, брат, за почетного гостя выдам, ухаживать за тобой буду. А когда в самом конце обеда подадут индейку – ты и рявкни, этак посолоннее: «Ну зачем ее резать зря, все равно никто есть не будет, все сыты – уберите ее».

– Дядюшка, да ведь меня хамом про себя назовут.

– Ну, большая важность. Не вслух же. А может быть, и просто скажут: оригинал. Я, конечно, буду упрашивать тебя, настаивать, а ты упрись, да еще поторопи, чтобы унесли индейку, а то, неровен час, кто-нибудь и соблазнится. Это, действительно, номер! Да ты чего стоишь, Степа? Присядь. Садись, Степанеско!

– Дядюшка, вы мне в этом году денег не давайте, – сказал Степа, критически и с явным презрением оглядывая свои заскорюзлые сапоги. – А вы мне лучше ботинки свои какие-нибудь дайте. А то я совсем тово...

– Ну, конечно, Степан! Какие там могут быть разговоры... Я тебе, Степандряс, замечательные ботинки отхвачу!.. Хе-хе... А ты, брат, не дура, Степанадзе... И как это я раньше не замечал?... Решительно – не дурак.

* * *

Когда гости усаживались за стол, Василий Николаевич представил Степу:

– А вот, господа, мой родственник и друг Стефан Феодорович! Большой оригинал, но человек бывалый. Садитесь, Стефан Феодорович, вот тут. Водочки прикажете или наливочки?

Степа приятно улыбнулся, потер огромные костлявые руки одну о другую и хлопнул большую рюмку водки.

– У меня есть знакомый генерал, – заявил он довольно громко, – так этот генерал водку закусывает яблоком!

– Это какой генерал, – заискивающе спросил дядя, – у которого вы, Стефан Феодорович, ребенка крестили?

– Нет, то – другой. То мелюзга, простой генералмайор... А вот в Европе, знаете, – совсем нет генералов! Ей-бо право.

– А вы там были? – покосился на него сосед.

– Конечно, был. Я, вообще, каждый год куда-нибудь. В опере бываю часто. Вообще не понимаю, как можно жить без развлечений.

Две рюмки и сознание, что какие бы слова он ни говорил, – дядя не оборвет его – все это приятно возбуждало Степу.

– Да-с, господа, – сказал он, с дикой энергией прожевывая бутерброд с паюсной икрой. – Вообще, знаете, Митюков такая личность, которая себя еще покажет. Конечно, Митюков, может быть, с виду неказист, но Митюкова нужно знать! Беречь нужно Митюкова.

– Стефан Феодорович, – ласково сказал дядя, – возьмите еще пирожок к супу.

– Благодарствуйте. Вот англичане совсем, например, супу не едят... А возьмите, например, мадам, они вас по уху съездят – дверей не найдете. Честное слово.

Худо ли, хорошо ли, но Степа завладел разговором.

Он рассказал, как у них в дровяном складе, где он служил, отдавило приказчику ногу доской,

как на их улице поймали жулика, как в него, в Степу, влюбилась барышня, и закончил очень уверенно:

– Нет-с, что там говорить! Митюкова еще не знают! Но Митюков еще себя покажет. О Митюкове еще будут говорить, и еще много кому испортит крови Митюков! Да что толковать – у Митюкова, конечно, есть свои завистники, но... Митюков умственно топчет их ногами.

– Позвольте... да этот Митюков... – начала одна дама.

– Ну?

– Кто он такой, этот замечательный Митюков?

– Митюков? Я.

– А-а... А я думала – кто.

– Митюкова трудно раскусить, но если уж вы раскусили...

В это время как раз и подали индейку. Все жадно втянули ноздрями лакомый запах, а Степа встал, всплеснул руками и сказал самым великосветским образом:

– Еще и индейка? Нет, это с ума сойти можно! Этак вы нас всех насмерть закормите. Ведь все уже сыты, не правда ли, господа?! Не стоит ее и начинать, индейку. Не правда ли?

Все пробормотали что-то очень невнятное.

– Ну да! – вскричал Степа. – То же самое я и говорю. Не стоит ее и начинать! Унесите ее, ей-богу.

– А, может быть, скушаете по кусочку, – нерешительно сказал хозяин, играя длинным ножом. – Индеечка будто хорошая... С каштанами.

Длинный Степа вдруг перегнулся пополам и приблизил лицо почти к самой индейке.

– Вы говорите, с каштанами?! – странно прохрипел он.

Губы его вдруг увлажнились слюной, а глаза сверкнули такой голодной истерической жадностью, что хозяин взял блюдо и с фальшивой улыбкой сказал:

– Ну, если все отказываются – придется унести.

– С каштанами?! – простонал Степа, полузакрыв глаза. – Ну, раз с каштанами, тогда я... не откажусь съесть кусочек.

Нож дрогнул в руке хозяина... Повис над индейкой... Была слабая надежда, что Степа скажет: нет, я пошутил – унесите!

Но не такой человек был Степа, чтобы шутить в подобном случае... Стараясь не встречаться взором с глазами дяди, он скомандовал:

– Вот мне, пожалуйста... От грудки отрежьте и эту ножку...

– Пожалуйста, пожалуйста – сделайте одолжение, – дрогнувшим голосом сказал хозяин.

– Тогда уж, раз вы начинаете – и мне кусочек, – подхватила соседка Степы, не зная, что такое Митюков.

– И мне! И мне!..

А когда (через две минуты) на блюде лежал унылый индейкин остов, хозяин встал и решительно сказал Степе:

– Ах, да! Я и забыл: вас генерал к телефону вызывал. Пойдем, я вам покажу телефон... Извините, господа.

Степа покорно встал и, как приговоренный к смерти за палачом, покорно последовал за дядей, догрызая индюшачью ногу...

Пока они шли по столовой, хозяин говорил одним тоном, но едва дверь кабинета за ними закрылась – тон его переменялся.

Вышло, приблизительно, так:

– Ах, Стефан Феодорович, этот генерал без вас жить не может... Да оно, положим, вас все любят. У вас такой тонкий своеобразный ум, что... Что ж ты, мерзавец этакий, а? Говорил, что будешь отказываться, а сам первый и полез на индейку, а? Это что ж такое? Рыбой я тебя не кормил? Супом и котлетами не кормил? Думал, до горла ты набит, ухаживал за тобой, как за первым человеком, а ты вон какая свинья? Уже все гости, было, отказались, а ты тут, каналья, вот так и выскочил, а?

Степа шел за ним, прижимая костлявую руку к груди, и говорил плачущим голосом:

– Дядечка, но ведь вы не предупредили, что индейка с каштанами будет! Зачем вы умолчали? А я этих каштанов с индейкой никогда и не ел... Поймите, дядечка, что это не я, а каштаны погубили индейку. Я уж совсем было отказался, вдруг слышу: каштаны! каштаны!

– Вон, негодяй! Больше и носу ко мне не показывай.

Дядя выхватил из Степиной руки обгрызанную ногу и злобно шлепнул ею Степу по щеке:

– Чтоб духом твоим у меня не пахло!!

– Дядя, вы насчет же ботинок говорили...

– Что-о-о-о?! Марина, проводи барина! Пальто ему!

* * *

Втянув шею в плечи, стараясь защитить от холода ветхим, коротким воротничком осеннего пальто свои большие оттопыренные уши, шел по улице Степа. Снег, лежавший раньше толстым спокойным пластом, вдруг затанцевал и стал, как юркий бес, вертеться вокруг печального Степы... Руки, не прикрытые короткими рукавами пальто, мерзли, ноги мерзли, шея мерзла...

Он шел, уткнув нос в грудь, как журавль, натываясь на прохожих, и молчал, а о чем думал – неизвестно.

ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ САТИРИКОНЦЕВ: ЮЖАКИНА, САНДЕРСА, МИФАСОВА И КРЫСАКОВА

Повесть

...И в то же время мы устраивали «сатириконские балы», ухитряясь в неделю записывать декоративные полотна во всю величину Дворянского собрания, устраивали вечера, юмористические лекции, выставки карикатур, совершали «образовательные» экспедиции за границу и выпускали книги.

Поверит ли кто-нибудь, что нами за эти пять лет, совместно с М. Г. Корнфельдом, было выпущено на рынок свыше двух миллионов книг.

Не верится? Увы... Цифра эта точна.

Это уже сделано. Это позади.

А если бы пять лет тому назад пришел какой-нибудь провидец и сказал бы: «Господа! Вы должны за пять лет сделать следующее:

1. Составить 300 номеров журнала.

2. Выпустить 2 000 000 книг.

3. Писать пьесы, декорации к ним, устраивать выставки, балы, над которыми возни 2–3 месяца, колесить по Европе, негодовать, возмущаться, бороться с цензурой и сверх всего этого – обязательно сохранять хорошее, ровное расположение духа, без которого „веселая“ работа невысмыслима».

Если бы все это сказал нам пять лет тому назад провидец, каждый из нас выслушал бы его, молча повернулся спиной, выбрал бы по крепкой, прочной веревке – и сразу освободился бы и от книг, и от журнала, и от всего другого. Теперь все это позади. Хорошо!

А. Т. Аверченко. Мы за пять лет.

1913 г.

I. Введение

О пользе путешествий. – Кто такой Крысаков. – Душевные и телесные свойства Мифасова. – Кое-что о Сандерсе. – Я. – Наш слуга Митя

Как часто случалось нам останавливаться в восторге и восхищении, с раскрытым сердцем

перед чудесами природы, созданной всемогущими руками Творца!

Некоторые восторженные простоватые натуры раскрывают даже при этом рот, и на закрытие его соглашаются только при усиленных уговорах или после применения физического насилия.

Спрашивается: каким же образом можем мы получать наслаждение от созерцания природы во всем ее буйном размахе и многообразии?

Ответ один: путешествуя.

Да! Путешествие – очень полезное препровождение времени. Оно расширяет кругозор и облагораживает человека... Один мой приятель, живя безвыездно в России, приводил всех в ужас огрубением своего нрава: он беспрестанно и виртуозно ругался самыми отчаянными словами, не подозревая, что существует кроме брани и обыкновенный разговорный язык.

Однажды поехал он за границу. Объездил Германию, Францию, Италию и Испанию. Вернулся... и что же! После возвращения этот человек стал ругаться и поносить встречных не только по-русски, но и на немецком, французском, итальянском и испанском языках.

Такое поведение вызвало всеобщее изумление, и дела его поправились.

Даже небольшие путешествия облагораживают и развивают человека. Это можно видеть на примере обыкновенных учеников. Ежедневные краткие их путешествия в училище делают из них образованных людей, которые никогда не заблудятся в лесу, несмотря на то, что главная его составная часть – буква «Б».²³

А открытие Америки? Была ли бы она открыта, если бы Колумб не путешествовал? Конечно, нет. А неоткрытие Америки вызвало бы экономические неурядицы. Европейские герцоги и принцы, не встречая богатых американок, впадали бы в бедность и вымидали, а американки, не подозревая о существовании материка, битком набитого гербами, титулами и высокопоставленными их носителями – быстро разбогатели бы до того, что денег девать было некуда, ценность их упала, и экономический кризис, этот бич народов, обрушился бы от одного океана до другого на этот замечательный материк.

А что может быть прекраснее путешествия в тропическую страну, например Африку? Я читал об одном англичанине, который задумал исследовать берега таинственной Танганайки; он взял с собой палатку, носильщиков, верблюдов и чемоданы. На берегу таинственной Танганайки он наткнулся на такое прожорливое племя, что оно съело, помимо англичанина, верблюдов и носильщиков, – даже чемоданы и съедобные части палатки.

Даже в этом трагическом случае можно наблюдать пользу и культурное значение путешествий: невежественные дикари приняли чрезвычайно цивилизованный вид, украсив уши своих жен коробками из-под консервов, а королю нахлобучив на голову, вместо короны, керосиновую кухню.

Это пустяк, конечно. Но это – первый шаг в обширную область культуры.

Я мог бы еще сотнями примеров доказать пользу и значение путешествий, но не хочу ломиться в открытую дверь. Это только гимназисты в классных сочинениях на тему «о пользе путешествий» измышляют, как бы поосновательнее доказать, что дважды два – четыре.

1

Четверо нас (кроме слуги Мити) единогласно решили совершить путешествие в Западную Европу. Цели и стремления у нас были разные: кое-кто хотел просто «расширить кругозор», кое-кто мечтал по возвращении «принести пользу дорогой России», у одного явилось скромное желание «просто поболтаться», а слуге Мите рисовалась единственная заманчивая перспектива, между нами говоря, довольно убогая: утереть, по возвращении, своим коллегам нос.

В этом месте я считаю необходимым сказать несколько слов о каждом из четырех участников экспедиции, потому что читателю впоследствии придется неоднократно сталкиваться на страницах этой книги со всеми четырьмя, не считая слуги Мити.

²³ Здесь игра слов, основанная на старом написании слова «лес» – через букву «ять». Эта буква, совпадавшая по звуку с «е», была упразднена послереволюционной орфографической реформой.

Крысаков (псевдоним). Его всецело можно причислить к категории «оптовых» людей, если существует такая категория. Он много ест, много спит, еще больше работает, а еще больше лентяйничает, хохочет без умолку, в глубине сердца чрезвычайно деликатен, но на ногу наступить себе не позволит. При необходимости полезет в драку или в огонь, без необходимости – провалится на диване неделю, читая какую-нибудь «Эволюцию эстетики» или «Собрание светских анекдотов на предмет веселья». Иногда не прочь, ради курьеза, соврать, но, уличенный, не спорит, а вместо этого бросается на уличителя и начинает его щекотать и тормошить, заискивающе хихикая. В жизни неприхотлив. Спокойно доликает поданную чашку кофе – пивом, размешивает его с сахаром, а если тут же стоит молоко, то и молоко переливается в чашку. Пепел, упавший случайно в эту бурду, размешивается ложечкой для того, «чтобы не было заметно». Любит задавать официантам нелепые, бессмысленные вопросы. Раздеваясь у ресторанной вешалки, обязательно осведомится: приходил ли Жюль Верн? И чрезвычайно счастлив, если получит ответ:

– Полчаса как ушли.

Беззаботность и лень его иногда доходят до героизма. Когда мы выехали из России, то, начиная от Берлина, у него постепенно стали отваливаться пуговицы от всех частей одежды. Постепенно же он заменял их булавками, иголками и главным образом замысловатой комбинацией из спичек и проволоки от лимонадных бутылок. Чтобы панталоны его сидели как следует, ему приходилось надменно выпячивать вперед живот и беспрестанно, с кажущейся беззаботностью, засовывать руки в карманы.

Положение его ухудшалось с каждым днем. Хотя еще стояла прекрасная весна, но крысаковские пуговицы, вероятно, совершенно созрели, потому что падали сами собою, без посторонней помощи.

В Венеции наступил крах. Когда мы собрались идти обедать в какое-то «Капелла Неро», Крысаков сел в своем номере на кровать и тоскливо сказал:

– Идите, а я посижу.

– Что ты, крысенок, – участливо спросил я, – болен?

– Нет.

– Тебя кто-нибудь обидел?

– Нет.

– А что же?

– У меня не осталось ни одной...

– Лирь?

– Пуговицы.

– Купи другой костюм.

– Да у меня есть костюм.

– Где же он?

– В чемодане.

– Так чего ж ты, чудак, грустишь? Достань его, переоденься и пойдем.

– Не могу. Потерял ключ.

– Взломай!

– Попробуйте! Он из крокодиловой кожи.

Из угла вытащили огромный, чудовищно распухший чемодан и с озверением набросились на него. Схватили сначала за ручки – отлетели. Схватили за ремни – ремни лопнули.

– Раскрывайте ему челюсти, – хлопотливо советовал художник Мифасов, лежа на постели. – Засуньте ему палку в пасть.

После получасовой борьбы чудовище сдалось. Замок застонал, крякнул, крышки разжались, и душа его полетела к небу.

Первое, что лежало на самом верху, – было зимнее пальто, под ним галоши, ящик из-под красок и шелковый цилиндр, доверху наполненный мелом, зубным порошком и зубными щетками.

– Вот они! – сказал радостно Крысаков. – А я их с самого Вержболова искал. А это что? Ваза для кистей... Зачем же я, черт возьми, взял вазу для кистей?

– Лучше бы ты, – сказал Сандерс, – взял стеклянный футляр для каминных часов или стенную полку для книг.

– Братцы! – восторженно сказал Крысаков, вынимая какую-то часть туалета. – Пуговиц, пуговиц-то сколько!.. Прямо в глазах рябит...

Он переоделся и, схватив свой чемодан, похожий на животное с распоротым брюхом, из которого вывалились внутренности, оттащил его в угол.

– Жалко его, – растроганно сказал он, выпрямляясь, – я так люблю животных...

– Что это у тебя сейчас упало?

– Ах, черт возьми! Пуговица.

Так он и ездил с нами – веселый, неприхотливый, пускавшийся иногда среди шумных бульваров в пляс, любующийся на красоту мира и таскавший за обрывок ручки свой ужасный полураскрытый чемодан, из которого изредка вываливался то тюбик краски, то ботинок, то фаянсовая пепельница, то рукав сорочки, радостно подпрыгивавший на неровностях тротуара.

Второй член нашей экспедиции – Мифасов (псевдоним) был молодцом совсем другого склада. Я не встречал человека рассудительнее, осмотрительнее и осведомленнее его. Этот юноша все видел, все знает – ни природа, ни техника не являются для него книгой тайн. Ему 25 лет, но по спокойному достоинству его манер и мудрости суждений – ему можно дать 50. По внешности и костюму он – полная противоположность бедняге Крысакову. Все у него зашито, прилажено, манжеты аккуратно высовываются из рукавов, не прячась внутрь и не вылезая за четверть аршина, воротничок рассудительно подпирает щеки, и шея подвязана настоящим галстуком, а не подкладкой от рукава старого сюртука (излюбленная манера Крысакова одеваться шикарно).

Осведомленность Мифасова приводила нас в изумление.

Уже спустя несколько часов после отъезда из Петрограда этот энциклопедический словарь, эта справочная машина заработала.

– Мы будем проезжать через Вильно? – спросил Крысаков.

– Что вы! – поднял плечи Мифасов. – Где наша дорога, а где Вильно. Совсем противоположная сторона. Неужели вы даже этого не знаете?

В глазах его светилась ласковая укоризна. Мы проезжали через Вильно.

– Мифасов! – сказал я, наклоняясь к нему (он лежа читал книгу). – Ты говорил, что Вильно в стороне, а между тем мы его сейчас проехали.

Он скользнул по мне взглядом, сомкнул глаза и захрапел.

Перед Нюрнбергом он долго и подробно рассказывал о красоте замка Барбароссы и потом, по нашей просьбе, сообщил старинное предание о знаменитом тысячелетнем дубе, посаженном во дворе замка графиней Брунгильдой. Притихшие, очарованные, слушали мы прекрасную легенду о Брунгильде.

В одном только Мифасов, рассказывая это, оказался прав – он действительно рассказывал легенду: потому что дерево, как выяснилось, посадила не Брунгильда, а Кунигунда – и не дуб, а липу, которая, по сравнению с тысячелетним дубом, была сущей девчонкой.

По этому поводу Мифасов саркастически заметил:

– Нам не нужно было ехать через Вильно. Тогда бы все оказалось в порядке.

Свободное время Мифасов распределял аккуратно на две половины. Первая – безжалостно хлопывалась на чистку ногтей, вторая – на боязнь заболеть. Между нами была та разница, что мы любили жизнь, а осторожный Мифасов боялся смерти. Каждое утро он брал зеркало, засматривал себе в горло, ощупывал тело и с сомнением качал головой.

– Что? – спрашивал его порывистый Крысаков. – Еще нет чахотки? Сибирская язва привилась? Дифтерит разыгрывается?

– Не овайте упосей, – невнятно бормотал Мифасов, ощупывая язык.

– Что?

– Я говорю: не говорите глупостей!

– Смотрите на меня! – восторженно кричал Крысаков, вертясь перед своим другом. – Вот я становлюсь в позу, и вы можете дотронуться до любой части моего тела, а я вам буду говорить.

– Что?

– Увидите!

Мифасов деликатно дотрагивался до его груди.

– Плеврит!

Дотрагивался Мифасов до живота.

– Аппендицит!

До рук.

– Подагра! До носа.

– Полипы! До горла.

– Катар горла!

Мифасов пожимал плечами:

– И вы думаете, это хорошо?

Мы бессовестно эксплуатировали осторожного Мифасова во время завтраков или обедов.

Если креветки были особенно аппетитны и Мифасов протягивал к ним руку, Крысаков рассеянно, вскользь говорил:

– Безобидная ведь штука на вид, а какая опасная! Креветки, говорят, самый энергичный распространитель тифа.

– Ну? Почему же вы мне раньше не сказали; я уже 2 штуки съел.

– Ну, две-то не опасно, – подхватывал я успокоительно. – Вот три, четыре – это уже риск.

Подавали фрукты.

– Холера нынче гуляет – ужас! – сообщал таинственно Крысаков, набивая рот сливами. – Как они рискуют сейчас подавать фрукты?!

– Да, пожалуй, еще и немые, – говорил я с отвращением, захватывая последнюю охапку вишен.

Оставалась пара абрикос.

– Мифасов, кушайте абрикосы. Вы ведь не из трусливого десятка. Правда, по статистике, абрикосы – наиболее питательная почва для вибрионов...

– Я не боюсь! – возражал Мифасов. – Только мне не хочется.

– Почему же? Скушайте. Вот ликеров – этого не пейте. От них бывают почечные камни...

В чем Мифасов – в противоположность своей обычной осторожности – был безумно смел, расточителен и стремителен – это в.....²⁴ это был прекраснейший человек и галантный мужчина.

В наших скитаниях за границей он восхищал всех иностранцев своим своеобразным шиком в разговоре на чужом языке и чистотой произношения.

Правда, багаж слов у него был так невелик, что свободно мог поместиться в узелке на одном из углов носового платка. Но эти немногие слова произносились им так, что мы зеленели от зависти.

Этот человек сразу умел ориентироваться во всякой стране.

В Германии, входя в ресторан, он первым долгом оглядывался и очертя голову бросал эффектное «Кельнер!», в Италии: «Камерьере!» и во Франции: «Гарсон!»

Когда же перечисленные люди подбегали к нему и спрашивали, чего желает герр, сеньор или мсье – он бледнел, как спирт, неосторожно вызвавший страшного духа, и начинал вертеть руками и чертить воздух пальцами, графически изображая тарелку, вилку, курицу или рыбу, пылающую на огне.

Сжалившись над несчастным, мы сейчас же устраивали ему своего рода подписку, собирали с каждого по десятку слов и подносили ему фразу, которую он тотчас же и тратил на свои надобности.

Третьим в нашей компании был Сандерс (псевдоним) – человек, у которого хватило энергии только на то, чтобы родиться, и совершенно ее не хватало, чтобы продолжать жить. Его нельзя было назвать ленивым, как Мифасова или меня, как нельзя назвать ленивыми часы, которые идут, но в то же время регулярно отстают каждый час на двадцать минут.

²⁴ Цензуровано Мифасовым.

Я полагаю, что хотя ему в действительности и 26 лет, но он тянул эти годы лет сорок, потому что так нудно влачиться по жизненной дороге можно, только отставая на двадцать минут в час.

От слова до слова он делал промежутки, в которые мы успевали поговорить друг с другом а part, а между двумя фразами мы отыскивали номер в гостинице, умывались и, приведя себя в порядок, спускались к обеду.

Плетясь сзади за нами, он задерживал всю процессию, потому что, подняв для шага ногу, погружался в раздумье: стоит ли вообще ставить ее на тротуар? И только убедившись, что это неизбежно, со вздохом опускал ногу; в это время ее подруга уже висела в воздухе, слабо колеблясь от весеннего ветерка и вызывая у обладателя тяжелое сомнение: хорошо ли будет, если и эта нога опустится на тротуар?

Кто бывал в Париже, тот знает, что такое – движение толпы на главных бульварах. Это – вихрь, стремительный водопад, воды которого бурно несутся по ущелью, составленному из двух рядов громадных домов, несутся, чтобы потом разлиться в речки, ручейки и озера на более второстепенных улицах, переулках и площадях.

И вот, если бы кто-нибудь хотел найти в этом бешеном потоке Сандерса – ему было бы очень легко это сделать: стоило только влезть на любую крышу и посмотреть вниз... Потому что среди бешеного потока людей маячила только одна неподвижная точка – голова задумавшегося Сандерса, подобно торчащему из воды камню, вокруг которого еще больше бурлит и пенится сердитая стремнина.

Однажды я сказал ему с упреком:

– Знаете что? Вы даже ходите и работаете из-за лени.

– Как?

– Потому что вам лень лежать. Он задумчиво возразил:

– Это пара...

Я побежал к себе в номер, взял папиросу и, вернувшись, заметил, что не опоздал:

– ...докс, – закончил он.

Сандерс – человек небольшого роста, с сонными голубыми глазами и такими большими усами, что Крысаков однажды сказал:

– Вы знаете, когда Сандерс разговаривает, когда он цедит свои словечки, то часть их застревает у него в усах, а ночью, когда Сандерс спит, эти слова постепенно выбираются из чаши и вылетают. Когда я спал с ним в одной комнате, мне часто приходилось наблюдать, как вылетают эти застрявшие в усах слова.

Сандерс проямлил:

– Я брежу. Очень про...

– Ну, ладно, ладно... сто? Да? Вы, хотели сказать: «просто»? После договорите. Пойдем.

При его медлительности у него есть одна чрезвычайная страсть: спорить.

Для того, чтобы доказать свою правоту в споре на тему, что от царь-колокола до царь-пушки не триста, а восемьсот шагов, он способен взять свой чемоданчик, уложиться и, ни слова никому не говоря, поехать в Москву. Если он вернется ночью, то, не смущаясь этим, пойдет к давно забывшему этот спор оппоненту, разбудит его и торжествующе сообщит:

– А что? Кто был прав?

Таков Сандерс. Забыл сказать: его большие голубые глаза прикрываются громадными веками, которые непоседливый Крысаков называет шторами:

– Ну, господи! Нечего ему дрыхнуть! Давайте подыдем ему шторы – пусть посмотрит в окошечки. Интересно, где у него шнурочек от этих штор. Вероятно, в ухе. За ухо дернешь – шторы и взовьются кверху.

Крысаков очень дружен с Сандерсом. Иногда остановит посреди улицы задумчивого Сандерса, снимет ему котелок и, не стесняясь прохожих, благоговейно поцелует в начинающее лысеть темя.

– Зачем? – хладнокровно осведомится Сандерс.

– Инженер вы. Люблю я чивой-то инженеров... Четвертый из нашей шумливой, громоздкой компании – я.

Из всех четырех лучший характер у меня. Я не так бесшабашен, как Крысаков, не особенно рассудителен и сух, чем иногда грешит Мифасов; делаю все быстро, энергично, выгодно отличаюсь этим свойством от Сандерса. При всем том, при наших спорах и столкновениях – в словах моих столько логики, а в голосе столько убедительности, что всякий сразу чувствует, какой он жалкий, негодный, бесталанный дурак, ввязавшись со мной в спор.

Я не теряю пуговицы, как Крысаков, не даю авторитетных справок о Кунигунде и ее дубе, не еду в Москву из-за всякого пустяка... Но при случае буду веселиться и плясать, как Крысаков, буду в обращении обворожителен, как Мифасов, буду методичен и аккуратен, как Сандерс.

Я не писал бы о себе всего этого, если бы все это не было единогласно признано моими друзьями и знакомыми.

Даже мать моя – и та говорит, что никогда она не встречала человека лучше меня...

Будет справедливым, если я скажу несколько слов и о слуге Мите – этом замечательном слуге.

Мите уже девятнадцать лет, но он до сих пор не может управлять как следует своими телодвижениями.

Обыкновенная походка его напоминает грохот обвалившегося шкапа со стеклянной посудой. Желая пошевелить руками, он приводит их в такое бешеное движение, что оно грозит опасностью прежде всего самому Мите. Рассчитывая перешагнуть одну ступеньку лестницы, он, неожиданно для себя, взлетает на самый верх площадки; однажды при мне он, желая чинно поклониться знакомому, так мотнул головой, что зубы его лязгнули и шапка сама слетела, описав эффектный полукруг. Митя бросился к шапке таким стремительным прыжком, что перескочил через нее, обернулся, опять бросился на нее, перескочил, и только в третий раз она далась ему в руки. Вероятно, если человека заставить носить до двадцати лет свинцовые башмаки, а потом снять их, – он также будет перехватывать в своих телодвижениях и прыжках.

Почему это происходит с Митей – неизвестно.

О своей наружности он мнения очень определенного. Стоит ему только увидеть какое-нибудь зеркало, как он подходит к нему и на несколько минут застывает в немом восхищении. Его неприхотливая натура выносит даже созерцание самого себя в крышку от коробки с ваксой или в доньшко подстаканника. Он кивает себе дружески головой, подмигивает, и рот его распускается в такую широчайшую улыбку, что углы губ сходятся где-то на затылке.

У Крысакова и у меня установилась такая система обращения с ним: при встрече – обязательно выбрать, упрекнуть или распечь неизвестно за что.

Качества этой системы строго проверены, потому что Митя всегда в чем-нибудь виноват.

Иногда, еще будучи у себя в кабинете, я слышу приближающийся стук, грохот и топот. Вваливается Митя, зацепившись одним дюжим плечом за дверь, другим за шкаф.

Он не попадался мне на глаза дня три, и я не знаю за ним никакой вины; тем не менее, подымаю глаза и строго говорю:

– Ты что же это, а? Ты смотри у меня!

– Извините, Аркадий Тимофеевич.

– «Извините»... я тебя так извиню, что ты своих не узнаешь. Я не допущу этого безобразия!!! Я научу тебя!

Молодой мальчишка, а ведет себя черт знает как! Если еще один раз я узнаю...

– Больше не буду! Я немножко.

– Что немножко?

– Да выпил тут с Егором. И откуда вы все узнаете?

– Я, братец, все знаю. Ты у меня узнаешь, как пьянствовать! От меня, брат, не скроешься.

У Крысакова манера обращения с Митей еще более простая. Встретив его в передней, он сердито кричит одно слово:

– Опять?!!

– Простите, Алексей Александрович, не буду больше. Мы ведь не на деньги играли, а на спички.

– Я тебе покажу спички! Ишь ты, картежник выискался.

Митя никогда не оставляет своего хозяина в затруднении: на всякий самый необоснованный окрик и угрозу – он сейчас же подставляет готовую вину.

Кроме карт и вина, слабость Мити – женщины. Если не ошибаюсь, система ухаживать у него пассивная – он начинает хныкать, стонать и плакать, пока терпение его возлюбленной не лопнет, и она не подарит его своей благосклонностью.

Однажды желание отличиться перед любимой женщиной толкнуло его на рискованный шаг.

Он явился ко мне в кабинет, положил на стол какуюто бумажку и сказал:

– Стихи принесли.

– Кто принес?

– Молодой человек.

– Какой он собою?

– Красивый такой блондин, высокий... Говорит, «очень хорошие стихи»!

– Ладно, – согласился я, разворачивая стихи. – Ему лучше знать. Посмотрим.

Вы, Лукерья Николаевна,
Выглядите очень славно.
Ваши щеки, как малина,
Я люблю вас, очень сильно –
Вот стихи на память вам,
Досвиданица, мадам.

– Когда он придет еще раз, скажи ему, Митя: «досвиданьца, мадам». Ступай.

На другой день, войдя в переднюю, я увидел Митю. Машинально я закричал сердито обычное:

– Ты что же это, а? Как ты смел?

– Что, Аркадий Тимофеевич?

– «Что»?! Будто не знаешь?!

– Больше не буду. Я думал, может, сгодятся для журнала. Я еще одно написал и больше не буду.

– Что написал?

– Да одни еще стишки.

И широкая виноватая улыбка перерезала его лицо на две половины.

Когда мы объявили ему, что он едет с нами за границу – радости его не было пределов.

– Только вот что, – серьезно сказал Крысаков. – Отвечай мне... Ты наш слуга?

– Слуга.

– И должен исполнять все то, что тебе прикажут?

– Да-с.

– Так вот – я приказываю тебе изучить до отъезда немецкий язык. Через неделю мы едем.

Ступай!

Сейчас же Крысаков и забыл об этом распоряжении. Но Митя за день перед отъездом явился к нам и сказал:

– Готово.

– Что готово?

– Немецкий язык.

– Какой?

– Коммензи мейн либер фрейлен, их либези, данке, зицен-зи, гиб мир эйн кусс.

– Все?

– Все.

– Проваливай.

Думал ли Митя, что за границей его постигнет такая страшная, никем не предугаданная судьба.

Краткое описание Европы. – Статистические данные. – Флора. – Фауна. – Климат. – Мои беседы с путешественниками

Начиная описание нашего путешествия, я полагаю, будет нелишне дать краткий обзор места наших будущих подвигов...

Европа лежит между 36-й и 71-й параллелями Северного полушария. Мы собственными глазами видели это.

Берега Европы омывают два океана сразу: Северный Ледовитый и Атлантический. Не знаю, как омывает Европу Ледовитый океан, но Атлантический – особой тщательностью в возложенной на него работе не отличается – грязи на берегу сколько угодно.

Относительно общей фигуры Европы во всех учебниках географии говорится одно и то же:

«Фигура Европы не представляет никакой правильности... Но если срезать три самых больших полуострова – Скандинавию, Бретань и Ютландию, то окажется, что форма материка – прямоугольный треугольник».

Это очень наглядно. Можно то же сказать при описании фигуры жирафы: «если срезать у нее шею и ноги, то получится обыкновенный прямоугольный треугольник».

Конечно, если вздорное самолюбие европейцев завлечет их так далеко, что из желания жить в прямоугольном треугольнике они отрежут от материка упомянутые полуострова – я готов признать на будущее время эту форму типичной для Европы.

Пока же об этом говорить преждевременно...

Народонаселение Европы достигает 400 миллионов людей.

Здесь нелишне будет привести (кажется, это всегда делается в подобных случаях) несколько наглядных статистических данных.

1) Если бы все народонаселение Европы поставить друг на друга, то высота этой пирамиды была бы свыше 300 000 верст. Мы знаем, что от Москвы до Петрограда 600 верст, следовательно, все народонаселение Европы уложилось бы 500 раз, немного менее ста раз на версту.

2) Если у каждого европейца выдернуть из головы только по одному волоску, то количество собранных волос, посаженных в землю, займет пространство величиной в 4 ½ акра. Чтобы скосить этот «урожай», потребуется работа 2 7/8 косарей в течение 9 суток!

3) Наиболее наглядным является такой статистический пример: если бы кто-нибудь захотел лично познакомиться со всем народонаселением Европы, то, считая полторы секунды на каждое рукопожатие, этому человеку пришлось бы затратить на знакомство (считая восьмичасовой рабочий день) около 600 лет. Средняя продолжительность человеческой жизни 68 лет, т. е., другими словами, для этого опыта потребовалось бы 8,9 человека. Во что бы превратились правые руки этих тружеников?

Откуда же взялось такое количество людей?

Детские учебники географии отвечают на этот вопрос довольно точно:

«Потому что Европа лежит в умеренном климате, способствующем наибольшему развитию и напряжению человеческих способностей».

Всю эту ораву в 400 миллионов человек приходится одевать и кормить. Отсюда выросла промышленность и сельское хозяйство.

Промышленность распределяется так: в России – главным образом добывающая, за границей – обрабатывающая. Я до сих пор не могу забыть, как хозяин римского отеля обсчитал меня на 60 лир, добытых в России.

Фауна Европы очень бедна: в городах – собаки, лошади, автомобили; за городом – гуси, коровы, автомобили. В одной России до сих пор водятся медведи, и то вожаками, на цепи.

Флора Европы богаче – растет почти все, от апельсин и морковки до процентов на банковские ссуды. Особое внимание уделяется винограду, потому что всякая страна гордится каким-нибудь вином, кроме Англии, которая никаких вин не имеет. Оттого-то, вероятно с горя, англичане такие горькие пьяницы.

Первенство в отношении вин надо, конечно, отдать Франции. Оттого-то во Франции и пьют

так много.

Впрочем, немцы качеством своих вин не уступают французам, и поэтому пьянство немцев вошло в поговорку.

В России виноделие стоит на очень низкой ступени. Поэтому ли или по другой причине, но встречаешь трезвого русского чрезвычайно редко.

Справедливо будет упомянуть еще об испанцах. Отношение их к вину таково, что даже свои лучшие города они прозвали «Хересом» и «Малагой». Не думаю, чтоб кто-нибудь из испанцев отважился на это в трезвом виде. В этом отношении португальцы гораздо скромнее: хотя и поглощают свой портвейн и мадеру в неимоверном количестве, но города носят приличные названия: Оporto, Мадейра и т. д.

В том же учебнике географии, автор которого безуспешно пытался срезать все европейские полуострова, сказано:

«В Америке, где пьют довольно много, трезвость европейцев вошла в поговорку».

Климат Европы разнообразный: есть много европейцев, которые с трудом излечивались от солнечного удара для того, чтобы через шесть месяцев замерзнуть самым неизлечимым образом. Ученые связывают климат Европы с какими-то воздушными течениями, то холодными, то теплыми. К сожалению, холодные течения появляются всегда зимой, а теплые летом, что никого утешить и утешить не может.

Площадь, занимаемая Европой, равняется 9 миллионам верст, т. е. на каждую квадратную версту приходится 44 ½ человека. Таким образом в Европе абсолютно невозможно заблудиться в безлюдном месте. Скорее есть риск быть зарезанным этими 44 ½ людьми, с целью получить лишний клочок свободной земли.

Начиная описание нашего путешествия, я должен оговориться, что нам удалось объехать лишь небольшую часть 9 миллионов верст и увидеть только ничтожный процент 400 миллионов народонаселения. Но это неважно. Если самоубийца хочет определить сорт дерева, на котором ему предстоит повеситься, он не будет изучать каждый листок в отдельности.

Перед отъездом я попытался собрать кое-какие справки о тех странах, которые нам предстояло проезжать.

Мои попытки ни к чему не привели, хотя я и беседовал с людьми, уже бывавшими за границей.

Я пробовал подробно расспрашивать их, выпытывать, тянул из них клещами каждое слово, думая, что человек, побывавший за границей, сразу должен ошеломить меня целым каскадом метких наблюдений, оригинальных характеристик и тонких штришков, которые дали бы мне самое полное представление о «загранице».

Пробовали вы беседовать с таким, обычного сорта, путешественником?

В ы. Ну, расскажите же, милый, рассказывайте поскорее – как там и что, за границей?

О н (холодно). Да что ж... Ничего. Очень мило.

В ы. Ну, как вообще, там... люди, жизнь?

О н. Да, жизнь ничего себе. В некоторых местах хорошая, в некоторых плохая. В Париже трудно через улицу переходить. Задают. А то – ничего.

В ы. Ага! Так, так!.. Ну, а Эйфелеву башню... видели? Какое впечатление?

О н. Большая. Длинная такая, предлинная. Я еще и в Италии был.

В ы. Ну, что в Италии?! Расскажите!!!

О н (зевая). Да так как-то... Дожди. А в общем, ничего.

В ы. Колизей видели?

О н. Ко... Колизей? Позвольте... гм... Сдается мне, что видел. Да, пожалуй, видел я и Колизей.

В ы. Ну, а что произвело там на вас, в Италии, самое яркое впечатление?

О н. Улицы там какие-то странные...

В ы. Чем же странные...

О н. Да так какие-то... То широкие, то узкие... Вообще, знаете, Италия!

В ы (обрадовавшись). Лихорадочно. Ага! Что Италия?! Что Италия!

О н. Гостиницы скверные, рестораны. Альберго, поихнему. Ну, впрочем, есть и хорошие...

Попробуйте беседовать с этим бревном час, два часа – ничего он вам путного не скажет. Вытянете вы из него клещами, с помощью хитрости, неожиданных уловок и ошеломляющих вопросов, только то, что в Германии хорошее пиво, что горы в Швейцарии «очень большие, чрезвычайно большие», что «Вена веселый город, а Берлин скучный город», что в Венеции его поразило обилие каналов, такое обилие, которого ему нигде не приходилось встречать...

Да пожалуй еще, если он расщедрится, то сообщит вам, что Париж – это город моды, роскоши и кокоток, а в Испании в гостиницах двери не запираются.

И потом внезапно замолчит, как граммофон, в механизм которого сунули зонтик...

Или начнет такой путешественник нести отчаянный вздор. Долго плачется на то, что, будучи в Страсбурге, целый день разыскивал прославленный Кельнский собор, а никакого Кельнского собора и нет... Куда он девался – неизвестно.

У некоторых путешественников есть другая манера – все отрицать, всякое установившееся мнение, сложившуюся репутацию – переворачивать кверху ногами...

В ы. Говорят, итальянки очень красивы?

О н. Чепуха! Не верьте. Толстые, неуклюжие и – удивительно – почему-то на одну ногу прихрамывают. Одни разговоры о прославленной красоте итальянок!

Ошибочно думать, что этот глупец изучил итальянских женщин со всех сторон, во всех деталях. Просто был он в Риме два дня, все это время проторчал в грязном кабачке на окраине, и прислуживала ему одна-единственная итальянка, толстая, неуклюжая, прихрамывающая на одну ногу.

В ы. А в Испании, небось, жарко?

О н. Вздор! Дожди вечно жарят такие, что ужас. Без непромокаемого пальто не показывайся. (Два часа. От поезда до поезда – случайно шел дождь).

В ы. А француженки – очень интересны?

О н. Ну, что вы! Накрашены, потерты и при первом же знакомстве папироску клячат.

Вышеизложенные характеристики посторонних путешественников приведены для того, чтобы подчеркнуть: а сатириконцы (и Митя) не такие, а сатириконцы (и Митя) будут вдумчиво, внимательно и своеобразно подходить к укладу заграничной жизни и постараются осветить в ней такие стороны, что все раскроют удивленно глаза и ахнут.

Германия вообще

Один немец спросил меня:

– Нравится вам наша Германия?

– О, да, – сказал я.

– Чем же?

– Я видел у вас, в телеграфной конторе, около окошечка телеграфиста сбоку маленький выступ с желобками; в эти желобки кладут на минутку свои сигары те лица, которые подают телеграммы и руки которых заняты. При этом над каждым желобком стоят цифры – 1, 2, 3, 4, 5 – чтобы владелец сигары не перепутал ее с чужой сигарой.

– Только-то? – сухо спросил мой собеседник. – Это все то, что нравится?

– Только. Он обиделся.

Но я был искренен: никак не мог придумать – чем еще Германия могла мне понравиться.

Немцы чистоплотны, – но англичане еще чистоплотнее.

Немцы вежливы,²⁵ – но итальянцы гораздо вежливее.

Немцы веселы, – французы, однако, веселее.

Немцы милосердны,²⁶ – нет народа милосерднее русских – в частности, славян – вообще.

²⁵ Настоящая книга написана до войны с немцами.

²⁶ До войны мы, русские, все думали это...

Немцы честны,²⁷ – но кто же может поставить это кому-нибудь в заслугу? Это пассивное качество, а не активное.

Ни один огурец не сделал в течение своей жизни ни одной подлости или мошенничества; следовательно, огурец следует назвать честным? Отнюдь. Честность его просто следствие недостатка воображения.

Большинство немцев честны по той же причине – по недостатку воображения.

Не то хорошо, что немцы честны, а то плохо, что все остальные народы, исключая французов и англичан, отъявленные мошенники.

Когда в России встречаешься с французской или английской честностью – это производит крайне выгодное впечатление.

Однажды в Харькове я зашел в английский магазин купить шляпу.

– Сколько стоит эта шляпа? – спросил я.

– Десять рублей, – сказал хозяин.

– Хорошо, заверните. Вот вам 25 рублей – позвольте сдачу.

– Пожалуйста.

– Позвольте!.. Мне нужно сдачи 15 рублей, а вы даете 18. Вы ошиблись в мою пользу.

– Нет, не ошибся. Дело в том, что шляпа стоит всего 7 рублей, и я не могу взять за нее больше...

– А почему же вы сказали раньше – 10.

– Я думал, вы будете торговаться – русские всегда торгуются. Я бы и сбросил 3 рубля. Но раз вы не торгуетесь – не могу же я взять за нее больше...

Вот я рассказал этот эпизод. Но если бы русские купцы не были такими мошенниками – мне и в голову бы не пришло восхищаться поступком иностранца-шляпника.

* * *

Немецкая аккуратность, немецкая методичность – это все выводит настоящего русского из себя.

В Берлине мы зашли однажды в какой-то музей военных трофеев.

Подожли в первой зале к монументальному сторожу и спросили:

– А где тут знамена?

Он оглядел нас и стал со вкусом медленно чеканить:

– Знамена есть налево; знамена есть направо; знамена есть впереди; знамена есть в нижнем этаже; знамена есть в верхнем этаже; знамена есть в среднем этаже. Какие именно знамена хотели бы вы видеть?

В одной немецкой гостинице я наблюдал следующий факт: какой-то человек постучал в дверь первого номера и сказал:

– Очень прошу извинения – не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу.

После этого он постучал во второй номер:

– Очень прошу извинения – не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу. Я уже спрашивал в первом номере – его нет.

То же самое он повторил в третьем, четвертом и пятом номере. В шестом уже добавлял: я искал господина Шульца в первом номере, я искал господина Шульца во втором номере, в третьем и в четвертом, я искал господина Шульца также в пятом – его там не было. Нет ли у вас господина Шульца, необходимого мне по мануфактурному делу?

У нас в России после этого монолога открылась бы дверь третьего или четвертого номера и сапог полетел бы в голову незадачливого мануфактурщика.

А в немецкой гостинице голоса отвечали из-за дверей:

– Я очень сожалею, но у меня в пятом номере нет в гостях господина Шульца, необходимого

²⁷ До войны мы, русские, все думали это...

вам по мануфактурному делу; но нет ли господина Шульца в номере шестом?

Все немецкие двери украшены надписями: «выход», будто кто-нибудь без этой надписи воспользуется дверью, как машинкой для раздавливания орехов, или, уцепившись за дверную ручку, будет кататься взад и вперед. Надписи, украшающие стены уборных в немецких вагонах, – это целая литература: «просят нажать кнопку», «просят бросать сюда ненужную бумагу», под стаканом надпись «стакан», под графином «графин», «благоволите повернуть ручку», в «эту пепельницу покорнейше просят бросать окурки сигар, а также других табачных изделий».

Одним словом, всюду – битте-дритте, как говорил Крысаков.

Существует и немецкая любовь к изящному: в Берлине большинство автомобилей раскрашено разноцветными розочками; всякая вещь, которая поддается позолоте, – золотится; не поддается позолоте – ее украсят розочкой...

Наряд немецкой женщины – это целая симфония. На голове зеленая шляпа с желтым пером и красной розочкой. Юбка голубая, обшита внизу оранжевыми полосками. Только кофточка отличается скромным фиолетовым цветом, но одета она так, что грудь делается плоской, а спина пузырится, как волдырь на обваренном месте; башмаки хотя из грубой кожи, но зато большие; чулки прекрасной верблюжьей шерсти.

Из этих элементов составляется вся немецкая женщина, из женщин – толпа на главных улицах, толпа дает физиономию всему Берлину, а Берлин – Германии.

Немецкий мужчина – это вторая сторона вышеописанной физиономии. Средний немецкий мужчина не имеет ни страданий, ни сомнений, ни очень возвышенных, ни очень низменных чувств.

Он любит прежде всего себя, за то, что никогда не доставлял сам себе ненужных страданий; потом семью, потому что дети не огорчают его, а жена не изменяет, по недостатку темперамента или поклонников; наконец, любит родину, потому что она заботится о нем, пишет на каждых дверях «выход» и устраивает удобные перенумерованные желобки для сигар у телеграфных окошечек.

Он спокоен за себя, за семью и за родину.

Спокойствие дает ему возможность веселиться, и он действительно каждый день веселится, но не утром или днем – когда нужно устраивать свое благосостояние, – а вечером.

Как он веселится?

За столом в любимой пивной собирается каждый день одна и та же компания: Фриц Штумпе, Яков Миллер, Иоганн Миткраут и Адольф Гроссшток.

Целый вечер взрывы хохота несутся со стороны стола, занятого веселыми собутыльниками.

– Эге, – думает зритель в отдалении, – наверное, что-нибудь забавное рассказывают. Прислушаюсь-ка...

Прислушивается...

– Герр Штумпе! Отчего вы сегодня молчите? Не бьет ли вас ваша жена?

Взрыв гомерического хохота следует за этими словами.

– Ох, – говорит Иоганн Миткраут, задыхаясь от смеха. – Вечно этот Миллер придумает какую-нибудь штуку. А? «Не бьет ли», говорит, «вас ваша жена?» Ха-ха-ха!

– Хо-хо-хо!

Всеобщий восторг пьянит толстую голову Миллера; надо сказать что-нибудь еще, чтобы закрепить за собой славу присяжного весельчака и юмориста.

– Герр Штумпе! Говорят, что вы уже целый год не носите ваших сбережений в ваш банк?

– Почему? – недоумевает простоватый Штумпе.

– Потому что весь ваш бюджет уходит на покупку ваших зонтиков, которые ломает о вашу спину ваша жена.

Будто скала обрушилась – такой хохот потрясает стены пивной.

– Хо-хо-хо! – стонет басом изнемогающий Гроссшток.

– Хи-хи-хи, – октавой выше заливается, нагнув к столу голову, совершенно измученный Миткраут.

– Хе-хе-хе!

– Хо-хо-хо!!

– Э, – думает Штумпе, – дай-ка и я что-нибудь отмочу. Тоже когда-то острили не хуже.

– Вы, герр Миллер, кажется, купили вашего нового мопса? – спрашивает Штумпе, обводя компанию взглядом, который ясно говорит: «слушайте, слушайте! Сейчас я выкину штуку еще позабористее».

– Да, герр Штумпе. Не хотите ли вы на нем покататься верхом? – подмигивает неистощимый Миллер, вызывая долгий хохот.

– Нет, герр Миллер. Но теперь нам опасно прийти в ваш дом есть ваш обед.

– Почему? – хором спрашивают все, затаив дыхание.

– Потому что вы можете угостить нас вашими сосисками из вашего мопса.

– Хо-хо-хо!!!

– Хи-хи!

– Хо-хо. Кххх... Рррр. Однако этот Штумпе тоже с язычком! Хо-хо... Так как вы говорите? «Колбаса из мопса?» Ну, и чудак же! Вам бы попробовать написать что-нибудь в «Lustige Blatter»...

Так они веселятся до двух часов ночи. Потом каждый платит за себя и все мирно возвращаются под теплое крылышко жены.

– Сегодня мы прямо помирали от хохоту, – говорит длинный Гроссшток, накрываясь перинной и почесывая живот. – Этот чудила Штумпе такую штуку выкинул! «Накорми-ка нас, говорит, герр Миллер, собачьими колбасами». Все со смеху полопались.

Человек за бортом

Сейчас я буду писать о том, что наполовину испортило наше путешествие, о том, что повергло нас в чрезвычайное уныние и благодаря чему мы потеряли человека, который доставлял нам немало хороших веселых минут.

Одним словом – я расскажу об инциденте с Митей.

Митя, пожив несколько дней в Берлине, начал уже приобретать некоторый навык в языке и стал понемногу отставать от неряшливой привычки путать: «бутер» и «брудер», «шинкен» и «тринкен».

Уже лицо его приняло выражение некоторого превосходства над нами, а разговор – тон легкого снисхождения к нашим словам и шуткам.

Уже он, отправляясь куда-нибудь с Крысаковым и надев яркий галстук и старую панаму, пытался изредка принимать вид барина, путешествующего со слугой, так как шел он впереди, заложив руки в карманы и насвистывая марш, в то время как безропотный Крысаков, неся в одной руке ящик с красками, в другой – фотографический аппарат, скромно плелся сзади.

Мы не могли налюбоваться на него, когда он, проходя по Фридрихштрассе, бросал влюбленный взгляд на свое отражение, затем задевал плечом пробегавшую мимо горничную с покупками и говорил густым, как из пустой бочки, голосом:

– Пардон!

Горничная испуганно оглядывалась, а он пускал ей в след самый лучший излюбленный прием своего несложного донжуанства:

– Гиб мир эйн кусс.

И все-таки то, что случилось с Митей, было для нас совсем неожиданно. Постараюсь восстановить весь инцидент в полном объеме, как он выяснился потом из расспросов, справок и сопоставлений.

Прошло уже несколько дней после нашего приезда в Берлин.

Так как ясные дни были для нас очень дороги, то мы, выбрав одно туманное, дождливое утро, решили посвятить его Вертгейму. Кто из бывших в Берлине не знает этого колоссального сарая, этого апофеоза немецкой промышленности, этого живого памятника берлинской дешевизны, удобства и безвкусицы?

– Митя! – сказали мы, поднявшись в башмачное отделение. – Этот магазин очень велик, и

тут легко заблудиться и потеряться. Ты парень, может быть, и неглупый, да только не на немецкой почве. Поэтому сядь вот тут за столиком в ресторанном отделении, попроси стакан чаю и жди нас.

– Слушаю-с, – сказал он, смотря в потолок. – Ой-ой, как тут высоко...

– Митя! – строго крикнул Крысаков. – Опять?!

– Что, Алексей Александрыч?

– «Что»... Будто я не знаю. Я тебя насквозь вижу!

– Простите... И откуда вы все знаете? Я всего только одну кружечку выпью. Мюнхенского. Чаю не хочется. Удивительно – только подумаешь, а вы уже знаете.

– Ну, ладно. Только одну кружечку, не больше.

Мы оставили его за столиком, ушли в бельевое отделение – и больше его не видели. Вернулись, нашли столик пустым, обегали все этажи, но так как у Вертгейма миллион закоулков – пришлось махнуть на поиски рукой, надеясь на то, что каким-нибудь образом добрался Митя до нашей гостиницы и ждет нас в номере.

Увы! Его не было там; он не пришел и вечером; не пришел на другой день. Мы заявили полиции, сделали публикацию в трех берлинских газетах – о Мите не было ни слуху, ни духу. А на третий день нам уже нужно было ехать дальше, в Дрезден. Мы оставили консулу некоторые распоряжения, немного денег и, полные мрачных предчувствий и грусти – уехали. Что же делал Митя?

Оставшись один, он выпил кружку пива, потом еще одну, и еще; мир показался ему светлым, радостным, а люди добрыми и благожелательными.

– Пока мои хозяева вернутся – пойду-ка я полюбуюсь на магазин. Я думаю, они не рассердятся.

Он нацарапал карандашом на мраморном столике (мы не заметили тогда этой надписи):

«Немножко я погуляю пока звините скоро завернусь пейте хорош, пиво Советую. Прият, опетита. Ваш слу. Митя».

После этого Митя принялся бродить по галереям, спускаясь с каких-то лестниц, подымаясь куда-то на лифте и заглядывая во все закоулки.

Не прошло и получаса, как Митя должен был убедиться, что он заблудился. Он искал ресторан – ресторан как в воду канул.

Он остановил какого-то покупателя, с целью спросить, где ресторан, но тут же вспомнил, что не знает, как по-немецки ресторан...

Хмель выскочил из головы, и Митя почувствовал, что тонет.

У него было два выхода: или найти нас, или отправиться в гостиницу; но второе было не исполнимо – он не знал названия гостиницы.

Всему виной было его неуместное франтовство. Предусмотрительный Крысаков по приезде в Берлин заставил Сандерса изготовить следующий плакат на немецком языке для ношения на груди:

«Добрые туземцы! То, на чем навешен этот плакат, принадлежит нам, четверем чужестранцам, и называется слугой Митей. Если он потеряется – доставьте этого человека Отель Бангоф, № 26. Просят обращаться ласково; от жестокого обращения хиреет».

Плакат был составлен очень мило, наглядно, но, как я сказал выше, в Митю вселился бес франтовства: он категорически отказался от вывешивания на груди плаката.

– Почему же? – увещевал его Крысаков. – Хочешь, мы сделаем приписку, как в скверах: «волос не рвать, на велосипедах по нем не ездить».

Митя отказался – и теперь жестоко платился за это.

Долго бродил он, усталый, измученный, по разным лестницам и отделениям. Теперь он желал только одного: найти выход на улицу.

Но это было не так-то легко. Митя, шатаясь от усталости, ходил между чуждыми ему людьми, наполнявшими магазин, и призрак голодной смерти рисовался ему в чужом городе, в громадном магазине, среди чужих, не понимавших его людей.

Один раз он остановил покупательницу и попытался навести справки о выходе:

– Мейн герр! Битте цаллен. Их либе зи. Ниценский запас немецких слов, имевшийся в его

распоряжении, связывал его мысль; и весь разговор его, волей-неволей, должен был вращаться в сфере ресторанных или сердечных представлений.

Дама изумленно посмотрела на растрепанного Митю, пробормотала что-то и нырнула в толпу.

– Гм... – печально подумал Митя. – Не понимает. Он обратился к господину:

– Где выход, а? Такой, знаете? Дверь, дверь! Понимаете?

– Was?

– Я говорю, выход. Гиб мир эйн кусс. Битте цаллен. Цузамен.

Господин задрожал от страха и убежал.

Бродил Митя так до вечера; покупатели стали редеть, зажглись огни... Мучимый голодом Митя заметил около одной покупательницы на стуле коробку конфет; потихоньку стащил ее, забрался в укромный уголок чемоданного отделения, съел добычу – и сон сморил его.

Только утром нашли его; он спал, положив под голову пустую раздавленную коробку из-под конфет, и на лице его были видны следы ночных слез. Бедный Митя...

Вот что последовало за этим: сердобольные продавщицы накормили его, одна из них поговорила с ним по-русски, выяснила положение, но так как нашего адреса Митя не знал, то дальнейший путь его жизни резко разошелся с нашим.

Мы уехали в Дрезден, а Митя, поддержанный вертгеймовскими продавщицами, которые были очарованы его простодушным немецким разговором и веселостью нрава, Митя открыл торговлю: стал продавать газеты, спички и букетики цветов – одним словом, все то, сбыт чего не требовал знания тонкостей немецкого диалекта.

Только на обратном пути в Россию отыскиали мы через вертгеймовских продавщиц нашего Митю; он сначала встретил нас презрительно, потом обрушился на нас с упреками, а в конце концов расплакался и признался, что хотя богатство и прельщает его, но родину он не забывает и, вернувшись, сделает для нее все, что может.

Тироль

Инсбрук. – Пернатые. – Тяжелый разговор. – О немецком остроумии. – Теория приливов и отливов. – Сандерс болен. – Еще одна теория. – В Штейнах. – Зловещее место. – Ссора с Крысаковым. – Отъезд в Фаркартен

Инсбрук – столица Тироля. Правильнее, Инсбрук – мировая столица скуки, самодовольно-мелкого прозябания, сытости и сентиментальной тирольской глупости.

Приехав в Инсбрук, мы первым делом на вокзале наткнулись на существо, которое во всяком нормальном здравомыслящем русском должно было вызвать смешанное чувство изумления и веселья.

Это был краснощекий, туполицый, голоногий тиролец, с ног до головы убранный разноцветными лентами и утыканный перьями, точно петух, которого кухарка начала ощипывать и, не окончив, побежала в мелочную лавочку за бутылкой прованского масла.

Голова этого дюжего парня была украшена какой-то бумажной короной, а за ушами торчали два пучка цветов.

Он что-то мурлыкал и приплясывал.

– Если бы не перья, – сказал Крысаков, – я мог бы предположить, что это человек.

– Больше того, – поддержал Мифасов. – Это похоже на девушку. Смотрите, сколько на ней лент.

В это время откуда-то вынырнул еще десяток людей, разукрашенных подобным же странным образом.

– Боже ты мой! Вероятно, где-нибудь поблизости лопнул сумасшедший дом и содержимое его вытекло на потеху мальчишек и на страх взрослым.

Но сейчас же мы заметили, что странная компания не только не пугала аборигенов, но даже

не останавливала на себе ничего мимолетного внимания. Взрослые тирольцы, тирольки и маленькие тирольчата проходили мимо не оглядываясь, и только некоторые раскланивались с предводителем группы.

– Сандерс, – сказал Крысаков, – узнай, что с ними случилось? Не надо ли им чего?

Если судить о немецком языке по Сандерсову разговору – можно вывести заключение, что нет на свете языка длиннее, сложнее и утомительнее.

Сандерсу нужно было сказать только две фразы: «Кто вы такие? Почему так странно одеты?»

Он подошел к предводителю тирольцев из семейства ленточных, понурился и пробормотал что-то.

Тиролоц ему ответил. Сандерс покачал головой с безнадежным видом и сказал такую длинную фразу, что два поезда успели уйти и один подкатил к вокзалу. Тиролоц хлопнул себя по бедрам, прищелкнул пальцами и стал что-то объяснять, перепрыгивая с ноги на ногу. Объяснения тирольца не могли вырвать Сандерса из бездны уныния, угнетенности и сомнения. Он собрался с духом и размотал с невидимой катушки такую длинную фразу, что тиролоц начал линять. Он потерял два пера с короны и одно с плеча, и, не заметив убытка, высказал Сандерсу такое количество слов, что в них должно было заключаться географическое описание Тироля, характеристика нравов народонаселения и перечисление главнейших видов флоры и фауны. Утешило ли это Сандерса? Разъяснило ли ему что-нибудь? Нет! Он потрогал зеленую пуговицу на толстом животе тирольца и вытянул из себя длинную, как осенняя ночь, фразу.

И только получив обоснованный ответ на это, отошел он от тирольца, переваливаясь, как объевшаяся утка.

– Ну?! – спросил нетерпеливый Крысаков.

– Обыкновенные тирольцы. Ферейн. Возвращаются после воскресной экскурсии.

– Скрытный народец, – подмигнул Крысаков. – Трудненько было вам вытянуть у этого оболтуса столь краткие сведения.

– Нет, ничего, – пожал плечами Сандерс. – Я только спросил, кто они такие, а он ответил...

– Тошнит меня от этих тирольцев, – признался Крысаков. – Чистенькие, куцые, кругозор ограничен горами и собственным недомыслием, благонравно ухаживают за тирольками и благонравно женятся. Здесь не бывает сцен ревности, убийств, измен и сильных душевных движений, как в сторону благородства, так и в сторону подлости. Шесть дней благонравно трудятся, седьмой день благонравно пляшут в какой-нибудь таверне. Кстати, как невероятно сладок и противен их дефрегер! Брр! Самодовольно пляшут и самодовольно остряют. Вы знаете, что такое ихние остроути? Вообще немецкое остроумие! В Берлине один господин с гордостью говорил, что немецкие дети не чета нашим. Они смелы, находчивы, сообразительны и в ответах не смущаются, а отвечают метко и остроумно. Мы сделали даже опыт... Встретили какого-то известного своей находчивостью знакомого господину школьника и вступили с ним в беседу. «Что ты любишь больше всего на свете?» – «Свою прекрасную родину». – «Неужели? А я думал, что больше всего тебе должно нравиться заехать в ухо мальчишке, который обидел бы тебя!» – «О нет. Вступать в драку стыдно. Лучше сообщить о нехорошем поступке мальчика его родителям, которые скажут ему, что он их огорчил, и ему станет стыдно». – «Та-ак... И, наверное, по воскресеньям вы собираетесь в школе и поете духовные псалмы?» – «О, да. Это лучший наш отдых в свободное время». – «Видите, – сказал мне господин, когда мы отошли. – Преострый мальчуган. За словом в карман не лезет». – «Может быть, может быть». И тут только я заметил, что мой господин тоже немецкий дуралей. Кстати о немцах. Меня томит жажда. Не выпить ли нам пива?

В этих случаях инициатива всегда принадлежала Крысакову. И удивительно, что мы – поднимавшие бесконечные споры по поводу выбора номера в гостинице или места в вагоне – в этом случае никогда не возражали и не спорили.

– Вы хотите выпить? Пойдем.

– А вы разве не хотите?

Все мы сразу делались чрезвычайно предупредительны к Крысакову, оставляя в забвении собственное желание и настроение.

- При чем тут мы? Раз вы хотите – пойдем.
- Да мне неудобно, что вы из-за меня идете.
- Ну, вот глупости. Отчего вам и не доставить удовольствия.

Иногда от меня исходило предложение «кой-чего перекусить». И в этом случае – наша дружба разыгрывалась в полном блеске.

- Отчего же вы не обедали вместе с нами?
- Я тогда не хотел, а теперь хочу.
- Эх, ну что с вами делать. Придется пойти с вами.
- Вы можете посидеть. Я скоро закушу.
- Да чего там... Вы не спешите. Я тоже чего-нибудь глотну.

Покорные желанию Крысакова, мы уселись, и нам подали четыре кружки прекрасного пенистого пива. Крысаков отхлебнул и благодушно сказал:

- Не люблю я, чивой-то, Тироля. Отчего у них, братцы, колени голые? Что это за обычай?

После недолгого раздумья я нерешительно сказал:

- Я думаю – это в целях сохранения тирольской нравственности...
- При чем тут нравственность?

– А как же? Местность у них гористая, мужчины же при объяснении девицам в любви обязательно становятся на колени.

- Ну?!
- Ну, а в гористой местности на голые колени не очень-то встанешь...
- Это вздор! Нет ничего нелепее ваших теорий.
- А у вас никаких теорий и вообще-то нет.
- Вы думаете? А моя теория причины приливов и отливов? Это не мысль, а молния!
- Воображаю!

– Вы знаете, господа? По-моему – на земном шаре не хватает воды. Все дело в том, что два противоположных берега океана можно сравнить с головой и ногами спящего человека, прикрытого коротким одеялом – океаном. Теперь: если натянуть короткое одеяло на голову, обнажаются ноги, натянуть на ноги – обнажается голова. Так и океан – если тут прилив, там должен быть отлив. Понятно?

- Садитесь! Два!
- Не два, а четыре.
- Идея. Кельнер! Еще четыре кружки.

– Я не хочу пива, – неожиданно сказал Сандерс, глядя на нас помутневшими глазами. – Мне нездоровится.

Мы засуетились, а больше всех Крысаков:

- Ну, вот! Говорил я, что вам не нужно было есть яиц утром.
- Да при чем тут яйца?

Крысаков не медик, но у него своя стройная система распознавания болезней и лечения их; кроме того, у него собственное, ни у кого не заимствованное представление о человеческом организме.

– Как при чем яйца? У вас еще вчера была немного повышена температура. Крутые яйца при повышении температуры являются бродильным ферментом и, давя на печень, производят отлив крови от сердца.

– Вот-то чепуха. Крысаков рассвирепел:
– «Чепуха»? Сначала не слушаете меня, а потом – чепуха?! Говорил я вчера, чтобы вы взяли холодную ванну? Говорил?

– Говорили.
– Ну, вот. А вы не взяли. У меня, батенька, отец доктор.
– Наверное, прекрасный доктор, – вежливо поддержал я. – Я думаю, тысяча его бывших больных возносят на том свете за него молитвы.

– Сандерс! Сейчас же в постель! Мы поднимемся на фуникулере на гору, посидим с полчасика и потом займемся вами.

Опечаленные, поднимались мы по головоломной дороге в хрупком вагончике на вершину горы.

Крысаков рассеянно смотрел на зеленеющий скат, сбегавший к серебряной реке, и несколько раз бормотал про себя:

– Да, несомненно... Типичный брюшной тиф. Без впрыскивания кокаина не обойтись. Гм...
Ножные ванны.

Его красивое лицо с орлиным носом было сумрачно.

Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я спросил:

– Интересно, какой силой этот вагончик поднимается в гору.

– Очень просто, – пожал плечами Мифасов. – Один вагончик ползет вверх, другой вниз. Тот, который ползет вниз, подымает своей тяжестью первый, то есть идущий вверх.

– Я не техник, – возразил я, – но здравый смысл подсказывает, что это не так. По твоей теории выходит, что вагон, ползущий вниз, должен быть всегда в несколько раз тяжелее ползущего вверх.

– Он и тяжелее.

– А как же тогда следующая очередь, когда тяжелый должен ползти вверх, а легкий вниз?

– Очевидно, переключают какую-нибудь тяжесть.

– Как же переключать, когда вагончики ни разу не сходятся вместе внизу или вверху.

– Ну, это уже дело техники. Я говорю только то, что знаю наверное.

– А я думаю, что тяга электрическая...

– Что?! Ха-ха! Ну и скажет же, ей-богу.

Немного спустя выяснилось, что тяга, действительно, электрическая.

– Ну что? – безжалостно спросил я Мифасова. – Кто был прав?

– Что? Ну, милый мой – мне, вообще, ни тепло, ни холодно, какая там тяга. Вообще, не приставай ко мне.

Через час Сандерс с термометром под мышкой сидел, окруженный нами, и говорил:

– Ну, ребятки, плохо мне. Ужасно не хотелось бы умереть в Тироле.

Сердца наши разрывались от тоски и жалости.

– Подумайте, господа, – сказал я. – Четыре иностранца, сыны бедной России, заброшены судьбой в далекую тирольскую дыру. И вот один умирает... Как раз тот самый, который хоть и не спеша, но разговаривал по-немецки. Остаемся мы... Трое... Надо его хоронить, обычаев мы не знаем, положение отчаянное. Идем в лесок, срубаем дерево, выдалбливаем гробик и кладем туда Сандерса... И вот тирольцы видят странную, щемящую душу процессию. Три весельчака, понуриив головы, в черных шапках, плетутся за гробом четвертого, влекомого равнодушной ко всему тирольской лошадей... Это сатириконцы хоронят своего товарища... Опустили гроб в могилу... «Прощай, товарищ! Недолго ты прожил среди нас... Спи спокойно...»

Крысаков всхлипнул, Мифасов сделал вид, что рассеянно глядит в окно; он махнул перед лицом рукой, будто сгоняя с него назойливую муху. Было тихо... Только слышалось тяжелое дыхание Сандерса.

– Да... вернемся мы втроем... Первый раз втроем! Придем в свои комнаты. У стены сиротливо лежит чемоданчик Сандерса. Он ему уже не нужен! «А что, господа, – скажет тихо Крысаков, – ведь в этом чемоданчике лежат деньжонки, которые Сандерсу уже не нужны. Не поделиться ли нам? Жаль, что он такого маленького роста, а то бы можно было и одежкой его воспользоваться...»

– Я бы пива выпил, – неожиданно сказал больной. Поднялась буря протестов.

Решили сделать так: мы с Мифасовым уезжаем немедленно прямо в Штейнах, до которого час езды, а Крысаков остается с больным в Инсбруке.

– Я его вылечу! – сурово обещал Крысаков.

– Он на меня все время кричит, – пожаловался больной. – В Дрездене чуть не поколотил меня...

– Как же вас не бить? Представьте себе, господа, я ему говорю: у вас ангина, вам нужно есть для очищения горла орехи, а он не хочет.

С тяжелым сердцем уехали мы с Мифасовым, оставив за своей спиной эту странную пару.

Крупный дождь... ветер гнул деревья, шумел, метался и выл в тесных горах. У подножия одной из них приютился Штейнах.

До сих пор мы все не можем выяснить, почему, по каким соображениям дремлющий Сандерс включил Штейнах в наш маршрут. После громадного, чудовищного Берлина, веселого красивого Мюнхена – эта таинственная дыра с вымершим населением в несколько десятков человек – показалась нам тюрьмой, тем более, что горы со всех сторон окружили ее, стеснили ее, сдавили ее.

Помню крохотный вокзал, у которого поезд приостановился на одну минуту, помню черный, как вакса, вечер, мокрую от дождя землю и абсолютное страшное безмолвие.

Мы выползли со своими чемоданами, постояли минут пять и наконец в ужасе завыли:

– Треге-е-ер!!

– Здесь нет трегеров, – ответил нам откуда-то с неба неизвестно чей голос.

– О, черт возьми! Изво-о-озчик!!

– Здесь нет извозчиков, – ответил тот же беспощадный голос с неба.

– Швейцар из гостиницы!!

– Швейцаров нет.

– Дайте нам какого-нибудь человека. И прозвучало похоронное:

– Здесь нет людей.

– Да вы-то кто? Не человек?

– Я начальник здешней станции.

– Где вы?

– Наверху. Во втором этаже.

– Посоветуйте, как нам найти гостиницу?

– Идите прямо.

– Да тут забор!

– Идите влево.

– Тут тоже забор!

Проклятый начальник станции неожиданно замолчал, будто ему заткнули платком рот.

– Эй, вы-ы! Как вас!! Тут забо-о-ры!

Дождь обливал нас сверху, грязь хлюпала внизу под ногами... Молча взвалили мы на плечи чемоданы, перелезли через забор и наткнулись на какую-то дверь.

– Это что?

– Гостиница.

Так мы приехали в Штейнах. Приезд был невеселый, житье наше печальное и отъезд угрюмый.

Все мы ко дню отъезда перессорились в самых разнообразных комбинациях: Крысаков с Сандерсом, я с Сандерсом, Сандерс с Мифасовым.

Вообще, должен признаться, к стыду нашему, что ссорились мы частенько. При этом ссора кого-нибудь из нас с товарищем вызывала необычайное повышение симпатии в поссорившемся – к остальным. Другими словами, если X разрывал отношение с Y, то к Z он относился настолько повышенно нежнее, насколько это чувство расходовалось раньше на Y.

Ничто в мире не пропадает, и ничто вновь не появляется.

Самая тяжелая ссора случилась в Берлине, когда Крысаков оказался на одной стороне, а мы трое – на другой.

Впечатлительный Крысаков выносил такое положение вещей только сутки... На другое утро он взял свой незакрывающийся чемодан, ящик с красками и, скорбно понурившись, сказал Мите (единственному, с кем отношения были хороши):

– Митя! Проведи меня до вокзала... Я уезжаю. Что уж там... Пожили! Эх, эх...

Я не выдержал:

– Вы с ума сошли! Куда вы уезжаете?

Он опустил на чемодан и, ни на кого не глядя, под журчание Митиных слез сказал:

– Уеду... Что ж, и без меня проживете. Не бойтесь, я поезду не бросаю... Только эти четыре

дня, что вы проживете в Берлине, – я посижу в том благословенном местечке, которое приглядел еще давеча.

– Какое местечко! Что вы задумали?!

– Такое... Я думаю, там будет тихо... Ни криков, ни попреков. Посижу там один. Может, когда меня не будет, вы поймете.

– Ну, слушайте, это черт знает что! Какое там вы местечко выбрали, не зная языка, с вашим «битте-дритте»? Мы вас не пустим!

– Нет уж, что уж там. Митенька, бери чемодан. Тебе не тяжело, милый Митя... дорогой Митечка?

По принятому обыкновению, вся любовь и приязнь изливалась теперь на единственного человека, который был с ним в хороших отношениях, – на Митю.

– Извини меня, Митенька, что я тебя затрудняю... Может быть, мне самому лучше понести чемодан, а ты, Митя, отдохни.

Вокзал был в двух шагах, и поэтому берлинцы могли любоваться диковинной, нелепой процессией: впереди шагал плачущий, растроганный слуга с чемоданом, сзади барин с видом погребальной лошади, нагруженный ящиком для красок, а сбоку бежали три друга, умоляя непреклонного Крысакова одуматься, уговаривая и успокаивая его.

– Нет уж... не уговаривайте. Уеду... Не поминайте лихом!

– Ну, куда? куда вы едете? В какое местечко?

– Сейчас узнаете.

Он подошел к билетному окошечку и грустно сказал кассиру:

– Битте-дритте, эйн билет! В Фаркартен!

– Куда? – ахнули мы.

– В Фаркартен. Это, вероятно, такое местечко под Берлином. Я тут на доске прочел. С указательным пальцем. Туда и поеду. Уж вы не удерживайте. Раз я облюбовал.

– Вы знаете, что такое фаркартен? – зловеще спросил Сандерс.

– А что? Может быть, очень болотистое место?

– Нет. Фаркартен значит – «дорожные билеты».

– Митечка! – сказал Крысаков, помолчав: – Бери-ка, тащи назад чемодан. Битте-дритте!

Мы подхватили его под руки и с заискивающим смехом повлекли обратно.

К сожалению, впоследствии частенько случалось, что у каждого из нас поочередно мутился разум, и он, забыв дружбу, «собирался в Фаркартен»...

Заканчивая эту главу, искренно хочу крикнуть:

– Да здравствует дружба! Долой проклятый Фаркартен!

Венеция

1

Город лени и музыки. – Cartolina postale. – Способ Крысакова. – Способ Мифасова. – Способ Сандерса. – Демократия и аристократия. – Пир с нищенкой. – Сандерс втягивается в лихорадку. – Лечение

Мы в Венеции.

Если бы какой-нибудь гениальный писатель обладал таким совершенным пером, что дал бы читателю, не видевшему Венеции, настоящее о ней представление, – такой писатель принес бы много несчастья и тоски читателям. Потому что узнать, *что такое Венеция*, и не увидеть ее, это сделаться навеки отравленным, до самой смерти неудовлетворенным.

Когда я приехал в Венецию, я подумал:

«Ведь миллионы людей живут и умирают, не видя Венеции. Если бы они знали то, чего они лишены, жизнь их потеряла бы краски, и тоска по далекой невыразимой красоте иссушила бы сердце».

Я пишу эти строки в холодном угрюмом Петрограде, но стоит мне только закрыть глаза, как я до последних мелочей вижу Венецию. Она врезалась в память неизгладимо, я по ней тоскую и мечтаю, как о далекой прекрасной любовнице, свидание с которой сделает меня снова счастливым.

Я закрываю глаза...

Мягкий густой вечерний воздух, нежащий, как прикосновение, невыразимая истома во всем теле; хочется встать в гондоле и закричать от полноты настоящего наслаждения и счастья. Но не встаешь... Наоборот, развалившись на уютных подушках, погружаешься в блаженную неподвижность и всем телом, всеми органами, всеми порами впитываешь в себя ленивый, теплый, сладкий воздух, сладкую песню, лениво доносящуюся издалека, и молчишь, молчишь... Черная густая вода тихо журчит за гондолой, нежно плещет весло ленивого парня на корме и таинственно молчат сбежавшиеся к воде старые-престарые дома, среди которых скользит тихая лениво-проворная гондола. Узенький канал кончился... Над головой мелькнул еще видимый изгиб мостика – и мы выносимся на широкий canale grande. Здесь широкое, пышное небо черным бархатом разметалось над нами и застыло, усеянное редкими сверкающими осколками-звездами. И внизу плещется черная теплая, слепая вода, и плывет далеко по каналу нежная, сладострастная серенада оттуда, где целый сноп огней, фонариков собрал полчища гондол, как свеча собирает мотыльков. Какие-то фигуры мелькают на огненном фоне и изредка песню прорезает смех и веселый говор.

Замерла посреди канала большая, изукрашенная фонариками, барка. На ней море огня, а все остальное зачернено ночью. Десятки гондол сползли к огню, окружили его и, притихшие, почти невидимые, колышутся. Изредка багровый свет на барке выхватит из темноты резной нос гондолы, блеснет на металле и погаснет.

Тихо колышутся гондолы; сладко нежит песня; все необычно; рядом с нашей гондолой трется о ее борт чужая, за ней еще одна, а остальные тонут, невидимые... Боже мой, как хорошо! Пусть все это искусственное, пусть барка принадлежит корыстолюбивому антрепренеру, а у певцов, наверно, грязные руки, а какие-то подозрительные молодцы с ухватками кошек или разбойников ползают по бортам ваших гондол, собирая за пение сольди и лиры...

Все равно, не убить им этой Божьей красоты, пышного теплого неба и теплой воды, которая, как добрая нянька-колыбель – качает нашу гондолу. Пусть певцы нахальны и жадны, а немцы, самодовольно развалившиеся на подушках гондол, скупы до омерзения. Я все же нашел красоту, и ее у меня не отнять – я крепко прижал ее к моему сердцу. Боже, как далеко от меня Россия, Петроград, холод, грабежи, грязные участки, глупые октябристы, мой журнал, корректуры, цензурный комитет и немолчный телефон!..

Поют... Тихо постукивают гондолы боками одна о другую. Качаются.

Хорошо, когда усталого баюкают.

А утром другая – томительно-сладкая жизнь; зазвучит все по-другому... засверкает ослепительное солнце, четко вырежется на голубом небе кружево белых дворцов и легких мостиков, зазвучит музыкальная брань гондольеров, польется с неба золотой зной, и замелькают всюду живые, проворные, как обезьяны, и ленивые, как черепахи, итальянцы, наполняя жгучий воздух немолчным жужжаньем..

Ах, эти итальянцы... Над ними можно смеяться, но не любить их нельзя.

Уличная толпа сплошь состоит из беспардонных лгунов, мелких мошенников и попрошаек, но это такая веселая живая толпа, плутовство их так по-дикарски примитивно и неопасно, что не сердишься, а только добродушно смеешься и отмахиваешься!

– Cartolina postale.

– No, ignore.

– Cartolina postale!!

– No, no!

– Cartolina postale!!

– Не надо, тебе говорят!!

– Русски! Очень кароши cartolina... Molto bene.

– Русски, а? Купаться! Шеловек! Берешь cartolina postale?

– Убирайся к черту! Алевузан, пока тебе не попало.

– Господин, купаться, а? – заискивающе лепечет этот разбойничьего вида детина, стараясь прельстить вас бессмысленными русскими словами, Бог весть когда и где перехваченными у проезжих forestieri russo.

Я сначала недоумевал – чем живут эти люди, от которых все отворачиваются, товар которых находится в полном презрении и его никто не покупает?

Но скоро нашел; именно тогда, когда этот парень шел за мной несколько улиц, переходил мостики, дожидался меня у дверей магазинов, ресторана и, в конце концов, *заставил* купить эти намазанные глаза венецианские открытки.

– Ну, черт с тобой, – сердито сказал я. – Грабь меня!

– О, руссо... очень карашо! Крапь.

– Именно – грабь и провались в преисподнюю. Ведь ты, братец, мошенник?

– Купаться, – подтвердил он, подмигивая. Замечательно, что венецианцы знают одно только это русское слово и употребляют его в самых разнообразных случаях.

У Крысакова, по обыкновению, своя манера обращаться с этими надоедливymi комарами.

Он мерно шагает, не обращая ни малейшего внимания на приставаания грязнорукого, темнолицего молодца, нагруженного пачками открыток и альбомов. Тот распинается, немолчно выхватывает свой товар, забегает спереди и сбоку, заглядывает Крысакову в лицо – Крысаков с каменным, сонным лицом шагает, как автомат. И вдруг, среди этой болтовни и упрашиваний Крысаков неожиданно оборачивается к преследователю, раскрывает сомкнутый рот и издает неожиданно такой пронзительный нечеловеческий крик, что итальянец в смертельном ужасе, как бомба, отлетает шагов на двадцать. У Крысакова опять спокойное каменное лицо, и он равнодушно продолжает свой путь.

Мифасов, наоборот, враг таких эксцентричностей. Разговор его с этими паразитами – образец логики и внушительности.

– Cartolina poslale! – в десятый раз ревет продавец.

– Милый мой, – оборачивается к нему Мифасов. – Ведь мы уже тебе сказали, что нам не надо твоих открыток, зачем же ты пристаешь? Когда нам будет нужно, мы сами купим, а пока – настойчивость твоя останется без всякого результата.

У каждого свой характер. Сандерс и здесь остается Сандерсом.

– Carrrrrtolina postale!!!

Сандерс останавливается и начинает аккуратно пересматривать все открытки. Он берет каждую и медленно подносит ее к близоруким глазам. Пять, десять, двадцать минут...

– Нет, брат. Плохие открыточки.

Умиравший от скуки итальянец рад, наконец, когда эта пытка кончается, хватается за бракованные открытки и удирает в какую-нибудь щель, чтобы прийти в себя и собраться с духом.

Когда мы подъезжали к Германии, Крысаков лаконично сказал:

– Тут пьют пиво.

И мы, покорные обычаям приютившей нас страны, принялись поглощать в неимоверном количестве этот национальный напиток.

В Венеции, едва мы переоделись после дороги и спустились на еще не остывшую от дневного зноя пьяцетту, Крысаков потянул носом воздух и сказал:

– Жареным пахнет. Вы спросите, что здесь пьют? Вино. Кьянти.

И началось царство кьянти. Добросовестность наша в этом случае стояла вне сомнений. Мы решились есть и пить во всякой стране только то, чем эта страна славится.

Поэтому в Германии выработался свой шаблон.

– Четыре кружки пива, бульон «мит ай», шницель и братвурст мит краут.

К этому заказу Крысаков неизменно прибавлял единственную немецкую фразу, которую он сам сочинил и которой оперировал в самых разнообразных случаях:

– Битте-дритте.

Он был ошеломляющим среди скучных немцев, со своим сияющим лицом, костюмом, осунувшимся от отсутствия пуговиц, чемоданом, распухшим, как дохлый слон, внутри которого ско-

пились газы, и неизменным припевом ко всем нашим распоряжениям:

– Битте-дритте.

Ехал он в Европу с самым независимым видом, обещая поддержать нас в смысле языка, но в Германии ему не пришлось этого сделать, так как он знал только французский язык, в Италии его французского языка итальянцы не понимали, а во Франции французы вполне присоединились в этом смысле к итальянцам.

Так он и остался со своим загадочным:

– Битте-дритте.

Начиная с Венеции, мы разбились на две резкие группы: Мифасов и Сандерс – благомыслящая, умеренная группа, я с Крысаковым – бесшабашная разгульная пара, неприхотливая и небрезгливая до последней степени. Мы якшались с подонками населения, пили ужасное грошовое вино, ели каких-то пауков, каракатиц и разных морских чудовищ, пожирали червяков, похожих на макароны, и макароны, очень смахивавшие на червяков, а Мифасов и Сандерс, обедая в приличных дорогих ресторанах, лишь изредка ходили за нами, наблюдая издали за нашими поступками.

Однажды мы затащили их в такую остерию, что Мифасов, прежде чем сесть на скамью, открыл ее осторожно газетой.

– Ну, ребята, – оскалил зубы Крысаков. – Покушаем, ха-ха, покушаем... Женщина! Синьора хозяйка! Дайте нам вон этих штучек и этих... Эту рыбку зажарьте да макарон закатите по-смешнее. Да къянти не забудьте, лучшее, что есть в вашем погребе.

Нам подали стряпню, о которой лучше не говорить, и вино, о котором нужно сказать только то, что хотя бутылка и была покрыта паутиной, но, вероятно, в этом погребе паук содержался на определенном жалованьи – так все было нехорошо сделано.

– А вы что же, милые? – радушно обратился Крысаков к Мифасову и Сандерсу. – Кушайте, угощайтесь.

– Я сыт, – осторожно сказал Мифасов, – и, кроме того, сейчас иду в ресторан.

Бедному Сандерсу очень хотелось заслужить наше расположение; он принял молодецкий вид, наложил себе на тарелку немного кушанья и, осмотрев его, спросил:

– Это что? Рыба или мясо?

– Бог его знает. Среднее между рыбой и мясом. Земноводное. Во всяком случае, оно уже умерло, и вы его не жалейте.

Наши друзья смотрели на нас с отвращением, мы на них с презрением...

Утолили голод прекрасно, хотя на тарелке осталась целая гора макарон; в остерию зашла нищенка, увидела, что мы оставили недоеденным лакомое блюдо, и попросила разрешения докончить его.

Мы радушно усадили ее между застывшим Мифасовым и Крысаковым, налили ей винца, чокнулись и выпили за благополучие красавицы Венеции.

Без хвастовства могу сказать, что мы двое чувствовали себя вполне в своей тарелке, отличаясь этим от макарон, быстро перешедших с тарелки в желудок нашей соседки.

– Что, миленькие мои, – язвительно спросил Крысаков, когда мы вышли. – Вы ведь привыкли «спускаться к обеду, когда ударит гонг»? Здесь это проще: трахнет один гость другого бутылкой по голове – вот тебе и гонг. Можешь обедать с чехлом от чемодана на плечах вместо смокинга...

Сандерс и Мифасов нас презирали, не скрываясь – это было ясно.

– Вы заболете от такой пищи! – предупредил Сандерс.

Он угадал: на другой день я был болен легкой лихорадкой, но, к несчастью, заболел и Сандерс, который питался «по гонгу». Этим блестяще опровергалась его теория.

И опять Крысаков трогательно, как сестра милосердия, ухаживал за нами. Сочинял нам разные лекарства, натирал нас вином и коньяком, отделяя для себя известный процент этих медикаментов в виде гонорара; совал нам под мышку термометры, вскакивал ночью и, встревоженный, прибегал к нам, чтобы пробудить нас от крепкого сна; мне рекомендовал холодную ванну, а Сандерсу горячую, хотя симптомы были у нас совершенно одинаковые...

Купанье на Лидо. – «Русским языком я тебе говорю!» – Гондолы. – Паразиты. – Собор св. Марка. – Перепроизводство дождей. – Школа св. Маргариты. – Снова и снова Сандерс болен. – Как мы купались

Через два дня Крысаков нашел нас совершенно здоровыми и повез на Лидо купаться.

И опять на долгое время погрузился я в состояние тихого восторга. Небо, какого нет нигде, вода, которой нет нигде, и берег, которого нет нигде.

Милые, милые итальянцы!.. Они не стыдливы и просты, как первые люди в раю. И удивительно, как сатириконцы быстро ко всему приспособляются: едва мы разделись и натянули на себя «трусички» величиной в носовой платок – как сразу почувствовали себя маленькими детьми, которых нянька полощет в ванне. Похлопывая себя по груди и бокам, ринулись мы на песок, не стесняясь присутствием дам, зарылись в него, выскочили, огласили воздух победным криком и обрушились в воду, подняв такое волнение, что, вероятно, не одно судно, паруса которых мелькали вдали, перевернулось и пошло ко дну.

Мужчины и дамы, полоскавшиеся около, смотрели на нас с некоторым удивлением. Эта обуглившаяся от солнца публика долго любовалась на наши белые, как молоко, северные тела, причем один из ротозеев соблезнующе сказал:

– Это недолго. Через три дня почернеете.

– О, милые! – возразил Крысаков. – Мы пожираем таких же пауков и спрутов, каких пожирете вы, пьем ваше кьянти, готовы петь и плясать по-вашему целый день, разделись голые, как вы сейчас, не стесняясь дам, – почему же нам и не сделаться такими же черными, как вы?

Мы упали животами на песок и, надвинув на затылки панамы, подставили свои плечи и ноги под жгучий каскад горячего, как кипяток, солнца.

Крысаков, впрочем, нашел в себе силы доползти до Сандерса, приподнять его панаму и нежно поцеловать в темя.

– Зачем? – лениво спросил Сандерс.

– Инженер. Люблю инженеров. И мы погрузились в нирвану.

Когда мы одевались, я услышал в соседней кабинке странный диалог.

Незнакомый сиплый голос говорил:

– Русским языком я тебе говорю или нет: принеси мне лампадочку вермутцу позабористее.

Голос слуги при кабинках – старого, выжженного солнцем итальянца-старика в матроске (я его видел раньше) отвечал:

– Нон каписко.

– Не каписко! Чертова голова! Не каписко, а вермут. Ну? Русским языком я тебе, кажется, говорю: вермут принеси, понимаешь? винца!

– Нон каписко.

– Да ты с ума сошел? Кажется, русским языком я тебе говорю... и т. д.

– Слушайте! – крикнул я. – Вы русский?

– Да, конечно! Кажется, русским языком говоришь этому ослу...

– На них это не действует... Скажите ему по-итальянски...

– Да я не умею.

– Как-нибудь... «прего, синьоре камерьере, дате мио гляччио вермута...» Только ударение на «у» ставьте. А то не поймет.

– Ага! Мерси. Эй ты, смейся паяччио! Дате мио, как говорится, вермута. Да живо!

– Субито, синьоре, – обрадовался итальянец.

– То-то, брат. Морген фри.

Мы оделись, уселись на пароход и покатали в Венецию, свежие, безоблачно радостные, голодные, как волки зимой.

Это были прекрасные дни. Долгими часами бродили мы по закоулкам среди старых величавых дворцов, любуясь небом, прислушиваясь к мрачной тишине узеньких каналов, которую ред-

ко-редко когда нарушит тяжело нагруженная кирпичом или овощами лодка. В лодке – итальянец и, конечно, он спит, прикрыв шляпой бронзовое лицо и щедро подставляя под солнце бронзовые руки и ноги...

По всей Венеции разлит сладкий яд невыразимой лени и медлительности... Уличного шума нет, потому что нет грохота экипажей и криков извозчиков. А венецианские гондольеры, в большинстве случаев, молчаливы и сосредоточенны. Жизнь – вечный медленный праздник. Публика шагает не спеша, останавливаясь на каждом шагу, гондолы ползут лениво, потому что спешить некуда и пассажир все равно дремлет, изредка поднимая отяжелевшие от истомы веки и скользя ленивым взглядом по облупившимся фасадам примолкших дворцов и покосившимся причалам, которые зыбкой линией отражаются в черной воде уснувшего канала...

На пьяцете, у берега большого канала, жизнь шумнее. Здесь десятки черных гондол мерно качают своими благородными, прекрасной формы носами, а лодочники, как стая разбойников, притаившись, стерегут проходящего форестьера, растерянного и сбитого с толку необычностью всего окружающего.

Стоит только показаться иностранцу, как поднимается невероятный крик десятков хриплых глоток:

– Гондола, гондола, гондола!

Выйдя из гостиницы (тут же на пьяцете), я подхожу к берегу и делаю знак. С радостным воем гондольер прыгает в гондолу и, как птица, подлетает ко мне. Сейчас же откуда-то из-за угла дома вылетают: 1) здоровенный парень, роль которого – посадить меня, поддержав двумя пальцами под локоть; 2) другой здоровенный парень, по профессии придерживатель гондолы у берега какой-то палочкой, – хотя гондола и сама знает, как вести себя в этом случае; 3) нищий, – по профессии пожелатель доброго пути, и 4) мальчишка-зритель, который вместе с остальными тремя потребует у вас сольди за то, что вы привлекли этой церемонией его внимание.

Я сажусь; поднимается радостный вой, маханье шапками и пожелания счастья, будто бы я уезжаю в Африку охотиться на слонов, а не в ресторанчик через две улицы.

При этом все изнемогают от работы: парень, который подсаживал меня двумя пальцами, утирает пот с лица, охает и, тяжело дыша, придерживает рукой готовое разорваться сердце; парень, уцепившийся тоненькой палочкой за борт гондолы, стонет от натуги, кряхтит и всем своим видом показывает, что если в Италии и существуют каторжные работы, то только здесь, в этом месте; нищий желает вам таких благ и рассыпается в таких изысканных комплиментах, что не дать ему – преступно; а ротозей-мальчишка вдруг бросается в самую середину этого каторжного труда и немедленно принимает в нем деятельное участие: поддерживает под локоть того парня, который поддерживал меня.

Если вдуматься в происшествие, то только всего и случилось, что я сел в лодку... Но сколько потрачено энергии, слов, споров, советов и пожеланий. Четыре руки с четырьмя шляпами протягиваются ко мне, и четверо тружеников, получив деньги, дают клятвенное уверение, что теперь, после моего благородного поступка, обо мне позаботятся и святая Мария, и Петр, и Варфоломей!

Я говорю гондольеру адрес, мы отчаливаем, тихо скользим по густой воде и, после получасовой езды, подплываем к самому ресторану. Кто-то на берегу приветствует меня радостными кликами. Кто это? Ба! Уже знакомые мне: придерживатель гондолы, подсаживатель под руку, пожелатель счастья и мальчишка поддерживатель поддерживателя под руку.

Они объясняют мне, что слышали сказанный мною гондольеру адрес и почли долгом прийти сюда, чтобы не оставить доброго синьора в безвыходном положении. Опять кипит работа: один придерживает гондолу, другой суетливо призывает благословение на мою голову, третий меня придерживает под руку, а четвертый поддерживает третьего.

Милая, голодная, веселая, мелко-жульническая и бесконечно-красивая даже в этом жульничестве Италия!

Нас обманывали на каждом шагу, но так мелко, так дешево, что мы только посмеивались.

У собора св. Марка целая туча гидов. Показывают собор, показывают могилу какого-то знаменитого дожа, настолько знаменитого, что потом в каждой церкви нам показывали могилу, где

лежали настоящие, подлинные останки этого удивительного дожа.

Однажды я не вытерпел и спросил:

– Вы говорите, что это настоящая могила, в которой лежит настоящее, подлинное тело дожа Марка Х?

– Си, сеньоре, только у нас!

– Странно... я до вас был в семи церквах и в каждой мне показывали настоящее трупохранилище Марка Х.

– Они вам показывали? – презрительно возразил проводник. – Хотел бы я посмотреть ихнего дожа! Воображаю... Вероятно, что-нибудь курам на смех. Туда же... лезут со своими дожами. У нас, сеньор, такой дождь Марко Х похоронен, что пальчики оближете.

У меня осталось смутное впечатление, что в прежние времена трупы знаменитых дождей заготавливались оптовым способом на одной из немецких фабрик и потом рассылались во все церкви, чтобы никому не было обидно...

Когда мы осмотрели собор св. Марка, гид, показывавший нам собор, опустил голову, отошел поодаль и задумался: «Что бы еще такое показать?»

Вспомнил. Показал то место, где Барбаросса стоял перед папой на коленях. Место было самое обыкновенное. Задумался. Вспомнил. Показал то место, где сидел папа.

– Ну, довольно, – сказали мы. – Все!

– Нет! – остановился гид.

Задумался. Вспомнил. Показал то место, на котором Барбаросса не стоял. Мы внимательно осмотрели указанное место. Понравилось.

– Я сейчас вам покажу мраморную колонну, отнятую у турок.

– Не надо, – сухо сказали мы.

– Покажу то место, где стояли кардиналы, когда Барбаросса...

– Не надо!

Он призадумался.

– Хотите, может быть, красивую сеньору? Очень скромная, молодая, а?

– Пойди к черту!

– Открыток не надо ли? Вот хорошие есть. Эй, Джузеппе! Иди сюда, вот господам нужно открытки.

– К дьяволу! Ничего нам не нужно.

– Ага! Я знаю, что вам показать... Хотите видеть школу святой Елизаветы?

– Это интересно, – сказал Крысаков, обращаясь к нам. – Мне очень хотелось бы видеть, как у них поставлено учение... Ведите!

Мы последовали за гидом.

Он привел нас в какое-то помещение, одна часть которого была занята венецианским стеклом, а другая – несколькими десятками рабочих, копавшихся над какимито мраморными статуэтками и мозаикой.

– Вот, – сказал гид, подмигивая хозяину, – эти господа хотят что-нибудь купить.

– Это что такое? – сурово спросил Мифасов.

– Школа святой Елизаветы!

– Это такая же школа, как ты честный человек. Ах ты, мошенник! Какая это школа?! Разве такие школы бывают?

– Я не понял сеньоров, – сказал гид, сверкая зубами... – Школу желаете? Пожалуйста, я проведу вас в школу. Школу святой Маргариты! Сеньоры останутся довольны.

Он повел нас, треща, как попугай, приплясывая и беспрестанно оборачиваясь...

Привел... Среди десятка манекенов сидели и плели кружева несколько прехорошеньких девушек.

– Вот, – сказал гид. – Настоящие венецианские кружева.

Меня удивило, что никто из нас не рассердился.

Наоборот, все подошли к красавицам и с захватывающим интересом стали следить за их работой.

Крысаков настолько заинтересовался проворством маленьких ручек, что взял одну из них и поцеловал.

– Нет, – сказал гид. – Я только хотел предложить вам купить кружева.

В другом углу Сандерс внимательно рассматривал плетенье, остановив работу самым примитивным способом: взял обе руки работницы в свои.

– Мифасов! – печально сказал я. – Только мы с тобой и отличаемся суровой нравственностью и закаленным сердцем.

– Да, да... Послушай... Тебе не нужен тот цветочек, что торчит в твоей петлице? Дай мне. Я приколю его к груди той, вон, высокой, черной...

– Боже, – подумал я с отвращением. – Эти люди, как тигры, набросились на беззащитных девушек...

Глубокое чувство сожаления охватило меня. Я нежнопокровительственно обвил талию ближайшей работницы и шепнул:

– Не бойтесь! Я не подпущу их к вам.

– Пойдем, синьоры, – сказал гид, лицо которого вытянулось. – Я вижу, что вы ничего не купите...

Действительно, мы вышли из «школы Маргариты», не купив даже аршина кружев.

– Все-таки, – задумчиво сказал Крысаков. – у них школьное дело обставлено недурно.

Когда наступил назначенный заранее день нашего отъезда из Венеции, мы с Сандерсом снова заболели.

Поезд уходил в пять часов вечера, и мы аккуратно пролежали до 4 ½ часов вечера.

– Теперь уже на поезд не успеешь? – осторожно спросил Сандерс.

– Нет. Пока соберемся, пока гондола доползет...

– Ну, значит, можно вставать. Господи! Какое счастье еще один денек пожить в Венеции!

Мы вскочили, оделись и пошли бродить.

На другой день печаль разрывала наши сердца – нужно было уезжать.

Мы обошли все уголки, простились с Венецией, но... случилась непредвиденная вещь: в три часа дня заболел Мифасов.

– Плохо мне что-то, – сказал он. – Знаю, что нынче обязательно нужно ехать, но не могу встать.

– Гм... Ну, ты полежи, а мы поедem на Лидо купаться. Все равно уж, раз остались...

– И я с вами...

– С ума вы сошли! Смотрите-ка! У него лихорадка, а он – купаться!

Укутали Мифасова, пошли завтракать, побродили по переулкам и поехали на Лидо.

Разделись, легли на песок. Вдруг Крысаков поднялся на локтях и, глядя в воду, неуверенно сказал:

– Гм! Если бы Мифасов сейчас не лежал в Венеции в жестокой лихорадке, я бы подумал, что это он!

– А, это вы братцы, – пролепетал Мифасов, сконфуженно потирая тощую грудь. – А мне сделалось этого, знаете... как его? лучше! Да, сделалось лучше – я и приехал.

Признаться ли? Все мы втайне были благодарны за его ловкий прием. Пожить еще один день в Венеции! Этот Мифасов всегда придумает что-нибудь остроумное.

И в последний раз вошли мы в лазурные воды Лидо...

У всякого была своя манера купаться. Сандерс заплывал так далеко, что я, теряя его из вида, начинал подумывать о приискании, по возвращении в Россию, нового секретаря.

Крысаков, повертевшись в воде две минуты и наглотавшись соленой воды, вполне удовлетворенный, выбегал на берег и принимался за разные гадости: бросал в нас песком, завязывал узлы на рубашках и носился, как сорвавшийся с цепи слон, по всему побережью.

Мифасов входил в воду с таким лицом, что будто бы он уже махнул рукой на жизнь и что морская пучина – близкая его могила. Валился на полуаршинной глубине во весь свой длинный рост и, выпучив в безумном паническом ужасе глаза, размахивал бешено руками с видом человека, решившегося дорого продать жизнь.

Со стороны казалось, что это человек среди океана борется с гигантским волнением и тонет, одинокий... На самом деле стоило ему только протянуть руку, чтобы она коснулась берега.

В первый раз, когда я увидел его полный отчаяния взгляд и бешеные спазматические движения на полуаршинной глубине, то, обеспокоенный, спросил:

- Боже мой! Что это ты делаешь?
- Плаваю! – прохрипел этот лихой малый.
- Где? Ведь тут глубины не больше двух футов.
- Что ты! Я ведь ногами до самого дна достаю.

Я не хотел ему говорить, что этого же результата он достигает на любой городской улице, где воды нет. Но, взглянув на его покрытое предсмертным потом лицо и отчаянный лихой взгляд – промолчал.

Может быть, кто-нибудь спросит, как плаваю я?

Боже мой! Да конечно – превосходно.

Флоренция

Мнение путеводителя. – Испорченный механизм Мифасова. – Фьезоле. – Катанье в странном экипаже. – Человек, перещеголявший Сандерса. – Мы растерялись. – Поиски. – Остроумный плакат. – Опять Фьезоле

В путеводителе – о Флоренции сказано:

– Этот город можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.

А о Венеции в том же путеводителе сказано:

– Этот город считается самым красивым из всех итальянских городов.

К Риму составитель путеводителя относится так:

– Рим можно назвать самым красивым из всех итальянских городов.

Можно сказать с уверенностью, что жена составителя путеводителя в своей семейной жизни была не особенно счастлива. Каждую встретившуюся женщину увлекающийся супруг находил «лучше всех».

Венеция – царица, а Флоренция – ее красивая фрейлина, поддерживающая царственный шлейф. В Венеции нужно наслаждаться жизнью, во Флоренции – отдыхать от жизни.

Благородным спокойствием обвеяна Флоренция.

Улицы без крика и гомона, роскошная зелень недвижно дремлет около белых дворцов, а солнце гораздо ласковее, нежнее, чем в пылкой Венеции.

Едва мы умылись в гостинице и переоделись, я спросил:

- Что хотел бы каждый из вас сейчас сделать?
- Меня интересует, – нерешительно сказал Мифасов, – постановка их школьного дела.

Крысаков пожал плечами и взглянул на часы:

– Поздно! Они уже, наверно, кончили свои кружевные дела. Меня интересует – едят ли здесь что-нибудь? Я хочу есть.

– А вы, Сандерс, чего хотите?

Он вздохнул, поглядел в окно, передвинул ногой чемодан и сказал:

– Я...

Мы терпеливо подождали.

– Ну, ладно! Выскажетесь по дороге. Некогда.

– Надо, господа, ехать во Фьезоле, – предложил Мифасов. – Полчаса езды на трамвае. Там прекрасно. Красивое местоположение, зелень.

Совет Мифасова поставил нас в затруднительное положение. За час перед этим я заглядывал в путеводитель и нашел такие сведения: «Фьезоле, полчаса езды от Флоренции в трамвае; прекрасное местоположение, масса зелени».

Но раз это же самое утверждал Мифасов, я усомнился: нет ли ошибки в путеводителе? По-

тому что не было большего неудачника в подобных случаях, чем Мифасов. У него была прекрасная память, но какая-то негативная: все запоминалось наоборот.

– Может быть, Фьезоле не около Флоренции, а около Рима? – спросил, колеблясь, я.

– Нет, здесь.

– Может быть, это какая-нибудь скверная дыра? Не спутал ли ты, Коленька... А? Ну-ка, вспомни.

– Нет, там хорошо.

И что же... Не успел трамвай доехать до места назначения, как мы убедились, что это Фьезоле и что оно действительно прекрасно.

– Тут есть, господа, остатки древнего цирка. Можно взять лошадок и съездить посмотреть. Близко.

– Коля, – осторожно сказал Крысаков, – может быть, это не цирк, а театр, а? И не старый, а новый? Ну-ка вспомни-ка. Может, до него далеко? Может, тут не лошадки возят, а мулы или верблюды?

В механизме Мифасова что-то испортилось: цирк был действительно древний и находился он близехонько.

Когда я сравниваю себя с товарищами, мне прежде всего бросается в глаза разница нашей духовной организации. Попробуйте спросить меня, что осталось в моей памяти от Флоренции и Нюрнберга? Я отвечу в первом случае: красивая грусть, которой проникнуто было все; во втором случае: идиллическое настроение на фоне суровых, тесно сдвинувшихся зданий, в окна которых, казалось, грозно глядят прошлые, серые века, закованные в латы и отягощенные доспехами. А спросите о Флоренции и Нюрнберге моих товарищей. От всего Нюрнберга уцелел толстый немец Герцог, хозяин кабачка, в котором нас угостили несравненными кровавыми колбасами, братвурстом и изумительным пивом. Я до сих пор не могу забыть ни этих колбас, ни этого пива... Флоренция? Фьезоле? О, конечно, при этом слове у моих друзей засверкают глаза и польются воспоминания:

– Помните кьянти? Нигде во всей Италии нам не давали такой прелести! А асти? Нигде нет такого! А мартаделла, а гарганзола!! А какая-то курица, приготовленная таинственно и чудесно. Ах, Фьезоле, Фьезоле!..

Действительно, должен сознаться, что ни этого вина, ни этих чудесных кушаний забыть нельзя. Ах, Фьезоле, Фьезоле!

После этого чудесного пира мы, ласковые и разнеженные, вышли из увитого зеленью дворика крохотного ресторана и бодро зашагали, полные искренней любви друг к другу. Крысаков не преминул снять с Сандерса шляпу и нежно поцеловать его в темя.

– Почему? – спросил сонно Сандерс.

– Славный вы человек. Дай Бог вам всего такого... Идя сзади под руку с Мифасовым, я шепнул ему:

– В сущности, они хорошие ребята, не правда ли?

– Превосходные. В них есть что-то такое... Он споткнулся, но я дружески поддержал его.

– Стойте! – закричал Крысаков. – Экипаж! Поедем на нем. Эй, ты! Свободен?

Это был большой, черный, поместительный экипаж, влекомый парой лошадей, которых вел под уздцы парень в грязном, темном костюме.

– А флорентийцы, как и венецианцы, – люди одного вкуса. Все у них выдержано в черных тонах. Садитесь, господа! Фу ты, как неудобно...

Кучер что-то закричал и стал прыгать и кривляться около экипажа.

– Что он делает?

– Наверное, какая-нибудь секта. Эти итальянцы, вообще...

– Может быть, он занят? Спросите его по-французски.

По-французски возница не понимал.

– Свободен? – спросил Мифасов. – Либро? Э? Твоя экипажа свободна есть? Либро?

Экипаж оказался свободен и, тем не менее, возница очень не хотел, чтобы мы садились. Он кричал и бесновался...

– Покажите этому флорентийскому ослу пять лир. Может быть, это его успокоит.

Мы показали смятую бумажку и победоносно полезли в экипаж.

Возница застонал, всплеснул руками, вскочил на облучок, ударил по лошадям – и экипаж поспекал, бешено подпрыгивая на каменистой мостовой.

Прохожие, встречаясь с нами, взмахивали руками и кричали что-то нам вслед; мальчишки бежали за нами, приплясывая и оглашая воздух немолчными воплями.

– Какое приветливое народонаселение, – сказал Мифасов удовлетворенно. – Вообще итальянцы всегда хорошо относятся к иностранцам.

– А может быть, они принимают нас за каких-нибудь должностных лиц? – спросил честолобивый Крысаков.

– Ну, знаете... Мы больше смахиваем на конокрадов.

– О, черт. Ударился головой о верх! Знаете, я думаю, этот экипаж не создан для быстрой езды.

В справедливости слов Крысакова мы не замедлили убедиться через две минуты. Навстречу нам очень медленно подвигался такой же самый экипаж. Возница степенно вел четырех лошадей под уздцы, а сзади шагали погруженные в задумчивость люди. В экипаже был только один пассажир, и тот не сидел, а лежал, чинно сложив на груди руки.

– Посмотрите-ка, что это?

– Д-а-а... Гм!..

– Знаете что? Тут уж нам недалеко; пройдемся пешком.

– Идея! А то мы совсем без движения...

– Растволстеешь, – согласился Крысаков, поспешно прыгивая с нашего странного экипажа.

Домой мы добрались молча. Говорить не хотелось.

Уезжали на другой день утром. Во Флоренции нам удалось видеть самого медлительного человека в мире. Сандерс казался перед ним человеком-молнией.

Наша гостиница была около самого вокзала, через дорогу. Портье сказал, что он довезет наши вещи на тележке, а мы можем пойти вперед, брать билеты. До поезда оставалось двадцать пять минут. Мы взяли билеты, просмотрели юмористические журналы; до поезда осталось десять минут. Выпили бутылку вина, проверили билеты, проверили время отхода – осталось три минуты.

– Проклятое животное! Мы опоздали. Не украл ли он наши вещи?

– Пусть кто-нибудь побежит за ним.

– А вдруг он сейчас откуда-нибудь вынырнет?

– Как же мы поедем без одного. Нам разлучаться нельзя.

– Теперь уж не разлучимся.

– Почему?

– А вот... наш поезд... тронулся.

Когда хвост поезда скрылся где-то за горизонтом, послышалось тихое пение, и портье, мурлыча популярную канцонетту и толкая впереди тележку с нашими вещами, показался из-за угла. Он подвигался популярным среди нас «шагом Сандерса» со скоростью десяти ругательств спутника в минуту.

Остановился... Вытер лицо красным платком, закурил сигару, пожал руку знакомому факкино и, заметив в углу нашу молчаливую группу, благодушно спросил:

– Опоздали? Поезд ушел?

– Ушел.

– Та-ак.

– Ну, что новенького в Риме? – спросил, сдерживая себя, Крысаков.

– О, я, синьоры, к сожалению, не был там.

– Неужели? Я думал, вы сейчас туда заезжали по дороге. Благополучно ли вы переправились через неприступное ущелье, отделяющее гостиницу от вокзала?

– О, синьоры, дорога совершенно прямая.

– Знаете, кто вы такой, синьор портье? Идиот, грязное животное, негодяй и бригад!

К французскому языку он относился совершенно равнодушно, что было видно из того, что

лицо его оставалось сонным, и под градом ругательств он сладко затягивался отвратительной сигарой.

– По-итальянски бы его, – свирепо сказал я.

– Ладно. Кто будет?

– Говорите вы. А мы будем составлять фразы.

Каждый из нас знал по несколько итальянских ругательств, но это было плохое, разрозненное издание. Приходилось собирать у каждого по несколько слов, систематизировать и потом уже в готовом виде подносить их Крысакову для передачи по адресу.

Мы расселись на своих чемоданах, и фабрика заработала. Мы с Мифасовым произносили слова, Сандерс их склеивал, а Крысаков громовым голосом бросал уже готовый фабрикат в лицо обвиняемому.

Обвиняемый присел на пустую тележку, надвинул шапчонку на глаза и закрыл лицо руками.

Когда мы с Мифасовым опустошили себя, оказалось, что негодяй заснул.

– Пойдем жаловаться хозяину гостиницы.

Они ушли, а я остался около вещей. Прошло очень много времени; я видел, как ушел второй поезд на Рим, и узнал, что следующий уходит только через три часа. Велел факкино отнести вещи в багаж, а сам пошел бродить по городу, чтобы протянуть время до поезда. Обиженный, покинутый, плотно позавтракал. За час до отхода поезда вернулся на вокзал. Никого не было. Потом оказалось, что Сандерс, Крысаков и Мифасов пришли после моего ухода на вокзал. Увидели, что меня нет, и отправились искать меня по городу. Зашли по дороге в альберго, хорошо позавтракали. Потом опять искали. А я пришел на вокзал, никого не нашел и, встревоженный, отправился на поиски. Искал долго, устал... Зашел в ресторан пообедать. В это время потерянные друзья опять навестили вокзал, не нашли меня и снова пустились в поиски; заглядывали в рестораны, остерии; в одной решили пообедать. А поезда приходили из Рима, уходили в Рим, сновали туда и сюда, не дожидаясь несчастной, расплзшейся по всему городу компании. Группа «Мифасов, Сандерс и Крысаков» устроила заседание, по поводу потерявшейся группы «Южакин», и решила поставить поиски на самую широкую ногу: город был разбит на районы; на углах улиц поставлена была цепь сторожевых (Мифасов); член этой человеколюбивой экспедиции Сандерс был командирован на вокзал со специальным поручением: наклеить в багажном отделении на мой чемодан глубокомысленный плакат:

«Если вы придете на вокзал, забирайте вещи и идите в гостиницу „Палермо“, где мы ночуем. А если не придете на вокзал, мы вечером – в шантанчике у Рынка Свиньи, туда прямо и идите».

Ниже приписка карандашом:

«Впрочем, что я за дурак: если вы не придете на вокзал, как же вы узнаете, что мы вечером у Рынка Свиньи? Тогда, ведь, вы не будете знать, где мы. В таком случае, поезжайте в „Палермо“ и вечером просто ложитесь спать. Крысаков кланяется».

– А, ну вас, – подумал я. – Не люблю людей, делающих ложные шаги. К черту ваш Рынок Свиньи! Поеду-ка я лучше на Фьезоле, в этот милый кабачок.

Потом я выяснил, что мои спутники к концу вечера растеряли друг друга и каждый очутился в одиночестве. Это произошло потому, что Крысаков, вместо того чтобы ждать Сандерса в условленном месте, решил пойти ему навстречу; Сандерс, наоборот, решил зайти по дороге за Мифасовым, а Мифасов отправился к Крысакову, не нашел его, полетел на вокзал, – и четыре человека весь день бродили в одиночестве по флорентийским улицам. Каждый из них был раздражен глупостью других и, не желая их видеть, решил провести вечер в одиночестве.

Поэтому Крысаков был чрезвычайно изумлен, обнаружив меня на Фьезоле, в излюбленном ресторанчике, а Сандерс и Мифасов, появившиеся почти в одно время за нашими спинами, сочли это каким-то колдовством.

Сначала, усевшись, мы сделали кое-какую попытку разобраться в происшедшем, но это оказалось таким сложным, что все махнули рукой, дали клятву не разлучаться и... курица по-итальянски, выплывшая из ароматной струи асти, смягчила ожесточившиеся сердца.

Рим

Сандерс сокрушается. – Старина. – Я стараюсь перещеголять гида. – Колизей. – Сандерс в катакомбах. – Музей. – Тяжелая жизнь. – Художественное чутье. – Дорогая палка. – Уна лира

Рим не на всех нас произвел одинаковое впечатление. Когда мы осмотрели его как следует, Сандерс засунул руки в карманы и спросил:

– Это вот и есть Рим?

– Да.

– Это такой Рим?

– Ну, конечно. А что?

– Гм, да... – протянул он, ехидно усмехаясь. – Так вот он, значит, какой Рим...

– Да, такой. Вам он не нравится?

– О, помилуйте! Что вы! Как же может Рим не нравиться? Смею ли я...

Свесив голову, он долго повторял:

– Да-с, да-с... Вот оно как! Рим... Хи-хи. А я-то думал...

– Что вы думали?

– Ничего, ничего. Городок-с... Городочек-с! Хи-хи. Мы пробовали рассеять его огорчение.

– Он, правда, немножко староват... Но зато...

– Да, да... Староват. Но зато он и скучноват. Он и грязноват. Он и жуликоват. Хи-хи!

В этом смысле я резко разошелся с Сандерсом. Рим покорило мое сердце. Я не мог думать без миленького о том, что каждому встречному камню, каждому обломку колонны – две, три тысячи лет от роду. Тысячелетние памятники стояли скромно на всех углах, в количестве, превышающем фанарные столбы в любом губернском городе.

А всякая вещь, насчитывавшая пятьсот, шестьсот лет, не ставилась ни во что, как девчонка, замешавшаяся в торжественную процессию взрослых.

Я долго бродил с гидом по Форуму, среди печальных обломков старины, и в ушах моих звенели диковинные цифры:

– Две тысячи лет, две с половиной! Около трех тысяч лет...

Когда мы брели усталые по сонным от жары улицам, я остановился около мраморного, позеленевшего от воды и лет фонтана и сказал:

– О! Вот тоже штучка. Я думаю, не из новых.

Гид пожал плечами, сплюнул в струю воды и возразил:

– Дрянь! Всего-то восемьсот лет.

На углу меня заинтересовала чья-то бронзовая статуя.

– Господин, – сказал гид, – если мы будем останавливаться около таких пустыков – у нас не хватит недели.

– Вы это считаете пустыком?

– О, Господи ж! Поставлен в прошлом столетии.

– Однако, – сказал я. – Как же вы терпите эту ужасную новую ярко-позолоченную конную статую Виктора-Эммануила?

– О, ведь это вещь временная. Этот памятник еще не готов.

– Почему?

– Он будет готов через шестьсот – семьсот лет, когда позолота слезет. Тогда это будет благороднейшее старинное произведение искусства.

– Странный обычай. У нас, в России, таким способом заготавливают только огурцы впрок. Раз он не готов – не нужно было его открывать...

– Закрытыми такие вещи нельзя держать, – возразил гид. – Тогда позолота и в тысячу лет не слезет.

Я проникся культом старины даже гораздо раньше, чем этого мог ожидать гид.

В сумерки он зашел ко мне в гостиницу и предложил, лукаво ухмыляясь:

– Не желает ли господин посмотреть тут один шантанчик?

– Старый? – спросил я.

– О, нет, совершенно новый, недавно отремонтированный.

– Так что ж вы мне его предлагаете! Еще если лет восемьсот, девятьсот...

– О, тогда господину нужно пойти в кафе Греко.

– Старое?

– О, да. Еще в восемнадцатом веке...

– Только-то? Нет, мой дорогой. Я полагаю – его можно будет посещать лет через триста... и то с большой натяжкой...

Я имею основание думать, что гид почувствовал ко мне тайное почтение. Он поклонился и сказал:

– В таком случае, не посмотрите ли вы завтра собор святого Петра?

– О, – равнодушно пожимая плечами, промямлил я. – Вы говорите – святого? Это, вероятно, что-нибудь уже после Рождества Христова?

– Да, но...

– Знаете что? Отложим это до будущего приезда. Всетаки будет годиком больше, а?

– Ну, я знаю, что господину нужно... Он завтра утром посмотрит Колизей и термы Каракаллы.

– Ну что ж, – сказал я. – Я полагаю, что это меня позабавит.

На другой день утром автомобиль в двадцать минут доставил нас прямо к Колизею. Был прекрасный жаркий день.

Лицо гида сияло гордостью и торжеством.

– Вот-с! Извольте видеть.

– А где же Колизей? Гид побледнел:

– Как... где?.. Вот он, перед вами!

– Такой маленький? Тут повернуться негде.

– Что вы, господин! – жалобно вскричал гид. – Он громаден! Это одно из величайших зданий мира. Пожалуйте, я вам сейчас покажу ямы, где содержались звери до представления и откуда их выпускали на христиан.

– Там сейчас никого нет? – осторожно спросил положительный Мифасов.

– О, синьор, конечно. Вам со мной нечего бояться. Вот видите, остатки этих громадных стен; все они были облицованы белым мрамором – такую работу могли сделать только рабы.

– А где же мрамор?

– Монахи утащили в Ватикан. Весь Ватикан построен из награбленного отсюда мрамора.

– Ага! – сказал Сандерс, – око за око... Сначала звери в Колизее драли христиан, потом христиане ободрали Колизей.

– О, – сказал гид, – христианство погубило красоту Рима. Это была месть язычеству. Лучшие памятники разграблены и уничтожены Ватиканом. Вам еще нужно взглянуть на бани Каракаллы и на катакомбы.

Добросовестный гид потащил нас куда-то в сторону, и мы наткнулись на грандиозные развалины, на стенах которых еще кое-где сохранилась живопись, а на полу – чудесная мозаика.

Мы, притихшие, очарованные, долго стояли перед этим потрясающим памятником рабства и изнеженности, над которым несколько тысячелетий пронеслись, как опустошительный ураган, пощадив только то немногое, что могло дать представление нам, узкогрудым потомкам, о мощном размахе предков.

И мне захотелось остаться тут одному, опуститься на обломок колонны и погрузиться в сладкие мечты о безвозвратно минувшем прошлом. Так хотелось, чтобы никого около меня не было, ни гида, ни Сандерса, с его сонным видом и вечным стремлением завязать спор по всякому ничтожному поводу, ни размашистого громогласного Крысакова, ни самоуверенного кокетливого Мифасова, которому до седой старины такое же дело, как и ей до него.

В это время ко мне приблизился Мифасов и сказал тихонько:

– Вот она, старина-то!.. Так хочется побыть одному, без этого хохотуна Крысакова, без вяло-

го дремлющего Сандерса, которому, в сущности, наплевать на всякую старину... Так хочется посидеть часик совсем одному.

За моей спиной послышался шепот Сандерса:

– Вас не смешат, Крысаков, эти два дурака, которые, вместо того чтобы замереть от восторга, шепчутся о чемто? Как бы мне хотелось, чтобы никого из них не было!.. Сесть бы в уголочке да помечтать.

– Да, да, – сказал Крысаков. – Мне тоже. Чтобы никого не было!.. Ну, разве только вы, – деликатно добавил он.

Были мы в катакомбах. Сырой, холодный воздух, зловещий шорох наших ног, огонек свечи, освещающий пространство в ладонь величиной, и тяжелое смутное настроение, которое еще больше усиливали вопросы Сандерса, неожиданно вступившего в полосу разговорчивости в этом неподходящем месте.

– Почему тут так темно? – осведомился он у монаха.

– Катакомбы.

– Ну, я понимаю – катакомбы! А все-таки могло быть светлее. Тут никто не живет?

– Конечно, нет. Здесь хоронили мучеников, а в последнее время – пап.

– Чьих? – бессмысленно спросил Сандерс, отколупывая пальцем кусок воска от свечи.

– Римских.

– Ага! Теперь уже, вероятно, нет древних христиан? Времени-то, слава Богу, прошло немало.

– Ради Бога, довольно! – сурово перебил Крысаков. – Теперь я понимаю, почему Сандерс так редко разговаривает... У него есть солидные основания.

Большую часть времени, проведенного в Риме, мы тратили на хождение по музеям и картинным галереям.

Я подозреваю, что с музеями у нас с самого начала вышло недоразумение: художники боялись показаться мне и Сандерсу людьми некультурными, не интересующимися искусством и потому, едва успев приехать в город, уже неслись с искаженными тоской лицами во все картинные галереи города; мы, не желая показать себя перед художниками людьми отсталыми, равнодушными к их профессии, носились за ними.

Сколько мы видели картинных галерей? Сколько музеев обежали мы за все время наших скитаний по Европе? Какое количество картин больших и маленьких промелькнуло перед нашими утомленными глазами? Берлин, Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг, Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя, Париж... Всюду целое море полотна – зеленого, красного, розового, старинного и нового...

В Ватикане Сандерс заснул в музее за дверью, а в другом музее – забыл его название – мы так разошлись, что, поднимаясь все выше и выше, попали в большую комнату, уставленную столами, за которыми сидели несколько живых стариков. Мы тупо осмотрели их, постояли добросовестно около портрета Виктора-Эммануила и потом потащились обратно, шатаясь от усталости.

– Вот столб какой-то, – указал Мифасов, когда мы спускались по темной лестнице.

– Старинный?

– Бог его знает! Спокойнее будет, если осмотрим. Осмотрели столб. Как говорится, ничего особенного.

Начиная с Мюнхена, мы, по приезде в каждый город, усвоили привычку робко спрашивать у обывателей:

– Нет ли тут каких-нибудь музеев или картинных галерей?

И если музеи были, Крысаков решительно надевал шляпу и с суровой складкой у углов рта с видом подвижника говорил:

– Ну, ничего не поделаешь... Надо идти. Остальные трое безропотно надевали шляпы и шагали за ним, угрюмо опустив головы.

– Может быть, он закрыт? – шептал Сандерс, с надеждой поглядывая на Крысакова.

– Глупости! Почему бы ему быть закрытым?

– Ремонт... Или по случаю пожара.

– Вздор! Пойдем. Я вам покажу тут такого Луку Кранаха, что даже ахнете.

Как люди деликатные, мы с Сандерсом ахали.

– Смотри, Сандерс – Кранах!

– Да, да! Лука. Изумительно.

Крысаков и Мифасов распознавали художников и их картины по общепринятой системе; у Сандерса же была своя система – очень дикая, но, к общему изумлению, довольно верная. Например, Рубенса он узнавал по цвету женских колен, а какого-то французского художника единственно по тому признаку, что на всякой его картине в центре была нарисована белая лошадь. И действительно – в десятке разбросанных картин было заключено десять лошадей, и все белые, и каждая в центре.

Я с завистью смотрел на трех друзей, которые издали безошибочно, по одним им известным признакам, узнавали среди десятков – какого-нибудь Гверчино, Зурбарана или Луку Кранаха.

В конце концов, я придумал следующий практичный и простой способ конкурировать с ними: когда они застывали в изумлении перед какой-нибудь картиной, я потихоньку прокрадывался в следующую комнату, прочитывал подписи под картинами, возвращался и потом, шествуя в хвосте в эту следующую комнату, говорил, выглядывая из-за спин товарищей:

– А! Что это? Если не ошибаюсь, эта старина Лауренс? Похоже на его письмо...

– Да, это Лауренс, – неохотно соглашался Крысаков.

– Еще бы! Я думаю. А этот, вот в углу висит – убейте меня, если это не Берн-Джонс. Сразу можно узнать этого дьявольского виртуоза! Ну конечно. Да тут, если я не ошибаюсь, и Гэнсборо, и Рейнольдс!

Сандерс, Мифасов и Крысаков изредка ошибались. Я никогда не ошибался.

– Смотрите! – говорил Крысаков. – Ведь это Коро! Его сразу можно узнать.

Я читал на дощечке: «Ван-Хиггинс, Голландская школа».

– Неужели? А ведь совсем Коро!.. Не правда ли, Мифасов?

– Да! – подтверждал Мифасов, очень ревниво относившийся к поддержанию их профессионального престижа. – Ну, Добиньи, конечно, вы сразу узнали?

– Это не Добиньи, – поправлял я. – Это Курбе.

– Ну, Курбе! Их часто смешивают.

– У Курбе всегда толстое дерево сбоку, – авторитетно замечал дремавший Сандерс.

И мы шли дальше, пробегая одним взглядом десятки картин, лениво волоча усталые ноги и судорожным движением выпрямляя изредка натруженные спины и затылки.

Когда уже все было осмотрено, несносный проныра Крысаков неожиданно говорил:

– А вот тут есть еще один закоулочек – мы в нем не были.

– Ну, какой там закоулочек... Стоит ли? Я уверен, там ничего путного нет.

– Нет, Сандерс, – так нельзя. Нужно все осматривать...

– Милые мои! Отпустите вы меня...

– Что вы! Там целых два Фрагонара.

– Два?.. Эх! Ну, идем!!

Всюду нам сопутствовала компания англичанок. Англичанки все, как на подбор, были старые – ни одной молоденькой, ни одной красивой.

За все время мы видели несколько сот англичанок – все они были старые, отвратительные. Я уверен, что в Англии есть много и молодых, но они на континенте не показываются. Их, вероятно, держат где-нибудь взаперти, выдерживают в каком-то погребе, дожидаясь, пока они постареют. А когда они готовы – их выпускают на континент большими партиями. Ездят они всюду по Куковскому маршруту, сопровождаемые длинными, иссохшими от времени англичанами; забавно видеть, как Куковский проводник набивает чудовищно-громадный автомобиль этим старым мясом, хватая леди и джентльменов за шиворот и пропихивая их ногой в затруднительных местах. Ничего, довольны.

И бродят они, несчастные, подобно нам, застывая с видом загипнотизированных кроликов перед какой-нибудь «головой старика» или «туманным вечером в Нидерландах».

Это позор и несчастье – изучать сокровища искусства таким образом. Что у меня осталось в памяти? Несколько Рубенсов, два-три Рембрандта, полдюжины Бёклинов, и кое-что испанское: поразительные Хулоага, Англада и Саролла-Бастила. А сколько я видел? Зеленые, желтые пейза-

жи, розовые тела, разные девушки с кошкой, девушки без кошек и кошки без девушек; цветы, сырая рыба рядом с персиками и вечный святой Себастьян, которого не изображал только тот, кто вместо живописи занимался другими делами. Потом было много каких-то уродливых облупленных картин с детской перспективой и кривыми телами.

Корректный Мифасов считал необходимым восхищаться и этими облупленными обрывками старины; а хронический протестант Сандерс в таких случаях ввязывался в ожесточенный спор:

– Замечательно! Ах, как это замечательно! Крысаков! Посмотрите, какой это чудесный тон! И как проштудировано!

– Да, действительно... тон, – деликатно подтверждал Крысаков.

– Послушайте, – начинал Сандерс, как бык, потупив голову и озираясь. – Неужели эта ерунда вам нравится?

– Милый мой, это не ерунда!

– Это не ерунда? Вы посмотрите, как нарисовано! Теперь гимназист пятнадцати лет нарисует лучше.

– Вы забываете исторические перспективы.

– Тогда при чем здесь «тон», «проштудировано»? Изумляйтесь исторически – и этого будет довольно.

– Вы варвар!

– А вы сноб!

– Ах, так? Надеюсь, наши отношения...

– Ну, поехала! – кривился Крысаков. – «Не осенний мелкий дождичек»...

И Крысаков, и Мифасов, как авгуры, упорно охраняли своих богов, а мы, честные, откровенные люди без традиций – не церемонились. Впрочем, однажды, изловив Крысакова в темном уголку, я путем вопросов довел до его сознания, что Боттичелли не так уж хорош, чтобы захлебываться перед ним. На сцену, правда, выступила историческая перспектива, но я налег – и Крысаков сдался. Это меня тронуло, и я, помню, очень расхвалил какую-то незначительную картинку, которая ему понравилась.

Он очень любил живопись, но под конец нашего путешествия, если по приезде в новый город в нем не оказывалось музея, Крысаков оживлялся, шутил и вообще начинал чувствовать себя превосходно.

К концу нашего путешествия мы с Крысаковым оказались обладателями очень драгоценных предметов: я – палки, он – фотографического аппарата. Эти две вещи мы вывезли из России, и на месте они стоили: палка – рубль, аппарат – двенадцать рублей.

Мы с ними нигде не расставались, и поэтому при входе во всякий музей или галерею у нас их отбирали, а потом взыскивали за хранение.

В Риме я решил бросить эту дрянную рублевую палку, но она уже стояла около пятидесяти лир, – было жаль. В Неаполе цена ее возросла до семидесяти лир, начиная от Генуи – до ста, а после Парижа – потеря ее совершенно бы меня разорила. Эта палка и сейчас находится у меня. Любопытные долго ее осматривают и очень удивляются, что такая неказистая на вид вещь обошлась мне около двухсот франков. А крысаковский аппарат к концу путешествия разорил своего хозяина, потому что, как верная собака, таскался за ним в самые неподходящие места.

Рим в отношении поборов – самый корыстолюбивый город. Там за все берут лиру: пойдете ли вы в Колизей, захотите ли взглянуть на картинную галерею, на памятник или даже на собственные часы.

В Ватикане с нас брали просто за Ватикан (лира!), за картинную галерею Ватикана (лира!), за левую сторону галереи (лира!), за правую (тоже!), за Сикстинскую капеллу (лира!) и еще за какой-то закоулочек, где стоит подсвечник – ту же лиру.

Немудрено, что самый захудалый папский кардинал имеет возможность носить бархатную шапку.

Все это сделано на наши лиры.

Извиняюсь за это лирическое отступление, но оно необходимо для того, чтобы пристыдить некоторых итальянцев, если они прочтут эту книгу.

Неаполь

1

Неаполитанцы. – Случай с монетой. – Город нищих. – Неаполитанский купец. – Первое появление Габриэля. – Аквариум. – Позиллипо. – Тарантелла. – Мы разрываем с Габриэлем. – Кафekonцерт. – Ресторанная тактика. – Помпея. – Гривуазность Габриэля. – Самая богатая страна

В путеводителе сказано, что Неаполь один из самых больших городов Италии – в нем свыше полумиллиона жителей.

Я думаю, путеводитель сказал на этот раз правду, потому что уже на вокзале я насчитал очень много народу.

Неаполитанцы у нас, в России, известны своими оркестрами. Мифасов сообщил нам некоторые сведения об оригинальном подразделении этого народа на группы: весь Неаполь делится на так называемые оркестры, а оркестры делятся на отдельных жителей, мужчин (игра на гитаре и пение) и женщин (пение и танцы).

Конечно, Сандерс не преминул вступить с ним в бесконечный спор, оспаривая правильность этого простого и ясного подразделения. Мне оно понравилось.

Стремление неаполитанца надуть туриста возведено в культ. В Венеции и Риме это делается спешно, по-любительски, без установленных приемов и твердой организации. Неаполь же может похвастаться серьезным и добросовестным отношением к своему делу.

Один мой знакомый рассказывал следующий случай из неаполитанской жизни...

Сидел он однажды в кафе и пил кофе. Народу было мало – несколько итальянцев за мороженым и одинокий турист-англичанин, мирно пивший в углу кофе. Выпив его, англичанин вынул портмоне, стал рыться в нем и при этом нечаянно выронил золотую монету. Никто не трогался с места. Только один слуга прошел в этот момент мимо, обремененный подносом с новыми порциями мороженого.

Англичанин позвал других слуг, попросил поднять монету, но – монета как в воду канула. Все слуги искали ее на глазах у англичанина – утаить было невозможно, монета не могла куда-нибудь закатиться, потому что щелей в полу не было.

И тем не менее монета исчезла.

Выругавшись, англичанин расплатился и ушел.

Тогда мой знакомый подозвал к себе человека, несшего в момент потери громадный поднос, и потихоньку сказал:

– Послушайте, камерьере... Я не буду поднимать истории – расскажите мне, как вы это сделали?

– Что я сделал?

– Ну, вот... Укр... присвоили себе монету. Каким это образом?

– Господин ошибается. Я никакой монеты и не видел, – возразил итальянец, скаля зубы.

– Послушайте... я же прекрасно видел, как она упала, как вы, проходя, наступили на нее ногой и как она сейчас же исчезла...

– Не знаю, о чем синьор говорит.

– О, черт возьми! Я ведь не полицейский, и мне все равно, но, если вы не расскажете, я заявлю обо всем хозяину кафе.

– В таком случае, – усмехнулся слуга, – дело это очень простое. Срединка моей подметки была смазана клеем. Я увидел, как монета упала, и сию же секунду наступил на нее. Вот и все.

– Послушайте... Но ведь не могли же вы сегодня, когда смазывали подметку сапога, предвидеть, что кто-нибудь уронит золотую монету?

– О, сударь, золотая, серебряная – это все равно, – возразил добрый слуга, – и падают они, конечно, не так часто, но подметки – все мы смазываем с утра *на всякий случай*.

Это ли не организация?

И, вместе с тем, нет итальянца ленивее, чем неаполитанец. Целыми днями валяются они на набережной, в узких кривых переулках и между мраморных колонн домов. Вероятно, лежат и мечтают: как бы почуднее надуть туриста?

Но трудно собраться с мыслями, когда солнце так приятно поджаривает оборванца, а море дышит в самое лицо вкусным соленым запахом.

Много ли ему нужно? На целый день оборванцу заработать, найти или украсть пару сольди. На эту пышную сумму он по заходе солнца купит в грязной, шумной обжорной улице, сплошь заставленной громадными чанами с кипящей снедью – какую-нибудь жареную рыбку или тарелочку макарон, и тут же съест все это бок о бок с таким же оборванным любителем *dolce far niente*. Жаркий климат много еды не требует, и в пище все очень умеренны.

Все жизненные потребности до смешного невелики.

Проезжая по рынку – одно из самых интересных живописных зрелищ Неаполя, – я видел такого рода купцов: около корзиночки, сооруженной из щепочек и наполненной двумя крохотными жалкими полудохлыми рыбками, сидит продавец и пронзительным голосом выкликает свой товар. Сколько могут стоить эти рыбки величиной с ладонь – в Неаполе, в этом рыбном царстве? Нужно добавить, что грязная простоволосая женщина, которая закупит оптом весь запас этого товара, будет торговаться до седьмого пота, хватая несчастных рыбок, подбрасывая их, перевертывая, нюхая и, вообще, стараясь выжать из флегматичного купца все, что можно.

Большинство неаполитанских промышленников – это «купец, продающий пару рыбок».

Часто мы встречали целую длинную процессию: два дюжих итальянца везут крохотную тележку, на которой стоит обыкновенная шарманка. Третий, мускулистый мужчина, гордо идет сбоку, положив одну руку на шарманку (очевидно, это настоящий владелец ее), а еще два здоровяка подталкивают тележку сзади.

В сущности, эту тележку могла бы повезти вскачь обыкновенная кошка; но пять верзил присосались к шарманке, как пиявки, и каждый всеми силами старается доказать, что он честным трудом зарабатывает свой хлеб.

Шарманка останавливается... Двое начинают вертеть ручку, меняясь с видом полного изнеможения каждые две минуты; один горланит какое-нибудь «*sole mio*», а остальные двое энергично собирают у слушателей деньги.

Соберут копеек десять, покроют чехлом шарманочку и поплетутся дальше, придерживая, подпихивая и таща тележку, точно русские многострадальные бурлаки по берегу Волги баржу тянут.

Ленивые... Если у итальянца чешется затылок, он не почешет его до того случая, когда встретится со знакомым и снимет шляпу; тогда заодно и почешется.

Вся нечеловеческая энергия целиком, как в громадных коллекторах, собралась в продавцах открыток и разносчиках газет.

Только в Неаполе возможен такой прямо-таки невероятный способ распространения газет.

Газетчик, опережая вас, вдруг ловко подбрасывает вам под ноги какую-нибудь «Миланскую газету» или «*Ropolo Romano*» с таким расчетом, чтобы вы с разгону наступили ногой на газету... Тогда газетчик поднимает крик и взыскивает деньги за якобы испорченную вашей ногой газету.

Добродушные туземцы, зная этот способ, остерегаются и ставят ногу с разбором, а форестьеры всегда попадаются.

Никаким промыслом не брезгуют оборванные юнцы, если можно получить несколько центезимов.

Один итальянский мальчишка, пробегая мимо меня, вдруг остановился и указал мне на проходившего жирного патера.

– Ну? Что?

– Патер.

– Прекрасно. Что же дальше?

– Это патер. Господин мне даст что-нибудь?

– За что?!

– За то, что я указал господину патера.

Таких указателей патеров в Неаполе несметное количество.

Едва мы приехали и, оставив вещи в гостинице, отправились купаться, как перед нами выросла фигура молодца самого подозрительного вида, с грязными руками и бегающими вороватыми глазами.

Этот человек на все время нашего пребывания в Неаполе сделался нашей тенью, нашим эхом, нашим вторым я.

Увидев, что он отделился от группы людей не менее подозрительных, мы инстинктивно сдвинулись ближе и вынули руки из карманов, но грязный парень сказал:

– Господа путешественники! Я могу предложить себя в качестве гида. Хорошо знаю город, могу показать самое интересное.

– Не надо! – хором ответили мы.

– Могу показать вам Везувий, повезти вас на Позилиппо и порекомендовать самый лучший кафешантан в городе.

– Не надо!

– В таком случае, я знаю, что заинтересует молодых путешественников (он засмеялся с самым развратным видом) – тарантелла!

– А-а, тарантелла, – заинтересовались мы. – Это любопытно. Посмотрим...

– Где господа остановились? «Эксцельсиор»? Тут за углом! Знаю. Я сегодня вечером зайду. Сейчас купаться? Знаю! Пойдемте, я вас провожу.

– Да не надо, – сказали мы. – Зачем же? Купальня ведь в двух шагах.

– Нет, что вы! Я вам помогу. Разве можно? Вот тут купальня. Видите – вот она. А это вот будка, где продают билеты! Здравствуйте, мамарелла! Вам, конечно, нужны билеты? Вот этим господам нужны билеты! Дайте им билеты! Они очень нуждаются в билетах! Пожалуйста, три билета. Вот они платят вам деньги. Позвольте, я заплачу. Нет, нет, не беспокойтесь. Вот их деньги, мамарелла. Сдачи! А, вот сдача. Получите сдачу, синьоры. Это сдача. Позвольте, я проведу вас в купальню. Это вот называется купальня. Это тут раздеваются, а там вот купаются, видите, где вода. Прислужник! Вот эти господа хотят выкупаться. Это прислужник, господа. Не бойтесь, господа – он славный малый. А то вон пароход идет. Здесь вот раздевайтесь. Позвольте, я вам расстегну жилет – вам неудобно. Я вам расшнурую ботинки. Сядьте на стул, а ножку свою поставьте мне на колено. Прислужник! Эти господа будут купаться. Они добрые, хорошие господа. Надо, чтобы им было хорошо купаться. Позвольте, я галстук развяжу.

– Ради Бога, нам ничего не нужно! Мы все сами сделаем.

– Позвольте, я разверну вам простыню.

– Ничего, ничего не надо. Мы сами все сделаем – вернитесь к своим повседневным делам.

– Так я вас тут около купальни подожду...

Он ушел с глубоким сожалением. «Вернулся к своим повседневным делам», по выражению Мифасова.

Но, очевидно, кроме нас – у него никаких повседневных дел не было. Вообще, этот человек произвел, в конце концов, на нас такое впечатление, что до нашего приезда у него никаких дел не было, что все его существование на этой планете приспособлено исключительно к нашему появлению в Неаполе и что после нашего отъезда он, исполнив свое земное предназначение, вернется к небытию.

Когда мы вышли, он ждал нас у входа, задремав на закатном солнышке.

Мы хотели потихоньку пройти мимо, но он очнулся, вскочил, рассыпался в извинениях и завертелся, как мельница.

– Господа искупались и идут в гостиницу? Я провожу их в гостиницу.

– Не надо! Нам тут два шага. Мы знаем, где гостиница.

Он замотал головой и, отстраняя попавшегося нам навстречу прохожего, понесся на всех парах.

– Я вас провожу! Пустите, прохожий, этих господ. Они идут к себе в гостиницу, не преграждайте им пути. Они в гостинице, вероятно, освежившись купаньем, будут пить чай или вино, не

так ли?

– Прованское масло! – отвечал Сандерс. – Пустите нас, или я задушу вас, как котенка.

– Ха-ха-ха! Господин очень веселый, он шутит. Итальянцы тоже веселые. Эввива, руссо! Швейцар! Вот эти господа пришли в вашу гостиницу, они тут остановились. Это хорошие господа, и ты, швейцар, относись к ним внимательно. Не нужно ли вам разложить ваши чемоданы, ваши вещи? Что? К черту? О, господин большой весельчак. Имею честь кланяться. До вечера!

Стоя внизу, в пролете лестницы, он долго посылал нам приветственные знаки и махал грязным платком.

Через час я вышел на улицу с целью побриться. Первое лицо, которое я увидел около гостиницы, был Габриэль, наш знакомец.

– Что вы тут делаете? – изумленно спросил я.

– Ожидая. Может быть, синьорам что-нибудь понадобится.

– Ничего не надо. Как дойти до парикмахерской: налево или направо?

– О, я, конечно, провожу вас! Пойдемте, я знаю, где парикмахерская. О, действительно, хорошо было бы, если бы Габриэль не знал, где парикмахерская.

– Не надо провожать меня. Я просто возьму извозчика.

– Извозчика? Сейчас!

Он исчез, и через полминуты ко мне подкатил экипаж. Я взглянул на извозчика... Это был Габриэль.

– Как?! Разве вы и извозчик?!

– Я все, господин. Все, что вам понадобится.

– Я хочу акробата, – пошутил я.

Габриэль камнем скатился на мостовую, положил бич и, хлопнув в ладоши, стал на голову. Еле уговорил я его усестись на козлы.

В тот же день мы с Сандерсом отправились в знаменитый неаполитанский аквариум.

Человек, продававший билеты, попросил на чай, человек, отбиравший билеты, попросил на чай же, и сторож при рыбах попросил тоже на чай за то, что он палочкой пошевелил какого-то гада.

Аквариум действительно был чудесный. Громадные омары и крабы медленно шевелились за стеклом, беззвучно перебирая чудовищными клешнями... Отвратительные осьминоги такого вида, который только и может пригрезиться в ночных кошмарах, смотрели на нас страшным неподвижным взглядом, присосавшись к стеклу и медленно втягивая и вытягивая тошнотворные лапы, покрытые, как маленькими белыми блюдами, присосками.

Какие-то толстые рыбы с презрительно отвисшей нижней губой, точно сытые бюрократы, еле шевелили плавниками в тупой дремоте... Стаи ярких рыбок стрелой неслись по воде, моментально, как по команде, поворачивались и так же стройно неслись в другую сторону. Одна суетливая рыба чрезвычайно напомнила нам провинциальную сплетницу: она бестолку шныряла от одной группы к другой, подсматривала, что делают омары, и, взмахнув возмущенно плавниками, неслась сейчас же к угрям, рассказывала о виденном, и, махнув хвостом, летела уже к сонному крабу, донося на поведение угрей. Всюду она вынюхивала, шпионила и подслушивала. И еще потому была она похожа на человеческую сплетницу, что имела рот узенький, собранный в ниточку, глазки остренькие, а на голове нечто вроде природного капора.

В то время, как я за ней наблюдал, Сандерс задумчиво стоял около другого стеклянного ящика, изредка вертя головой во все стороны.

– Вот чудачки! – сказал он. – Насыпали песку и поставили пустой ящик.

Сторож, услышав это, по выражению лиц заметил наше недоумение и, хлопнув Сандерса ободряюще по плечу, исчез.

Через минуту он явился с длинной палкой. Сунул ее в пустую вазу и – вдруг песок зашевелился, разорвался на десяток кусков, и каждый кусок песку оказался плоской рыбой, – до смешного точно – сотворенной мудрой природой под цвет и вид настоящего песка.

– Мимикрия! Защитный цвет. До сих пор я видел это только у бабочек.

Так как мы не были одарены свойством мимикрии и не могли слиться с окружающей нас об-

становкой, то сторож, вернувшись, без труда отыскал нас и потребовал на чай за то, что пошевелил палкой.

Осьминог, присосавшись к стене, смотрел, как мы расплачивались, и в его страшных выпученных глазах тоже ясно читалось всеобщее, как эпидемия, желание получить с форестьера на чай.

– А вот, – сказал я Сандерсу, – посмотрите-ка, какие хорошие раковины. Если бы на каждой из них было еще написано: «Привет из Ялты» – совсем они были бы настоящими раковинами.

– А вот это так называемая чернильная рыба, – сказал Сандерс, – кстати, надо будет нынче вечером написать домой письмо.

Сандерс никогда ни в чем не хотел от меня отставать. Стоило только состричь мне, как острил и он.

– Однако, – ледяным тоном сказал я. – Атмосфера начинает сгущаться. Пожмите осьминогам лапы и пойдем отсюда.

Конечно, Габриэль уже дожидался при выходе. И, конечно, он уговорил нас ехать на Позиллиппо.

Мы не жалели, что поехали. Чудесная живописная дорога... С одной стороны обрывистый берег моря, с другой – непрерывный многоверстный ряд домишек, населенный ужасающей беднотой. Но все это так красиво, грязные растрепанные дети, ленивые прохожие, тяжелые простоволосые простолюдинки, перебрасывающиеся из окна с соседкой тихими односложными словами, или перебегающие дорогу с фьяской вина под мышкой, живописное тряпье, развешанное на стенах и окнах домишек, обрывок песни, донесшейся слева, запах свежей рыбы, донесшийся справа, клуб золотой от заходящего солнца пыли впереди и крики мальчишек, бегущих сзади за экипажем в чаянии получить что-нибудь с ошалелого иностранца...

Позиллиппо... Ресторан с верандой на громадной высоте, над морем. Вдали выгнулась из воды мощная спина Капри – место невольного заточения Максима Горького.²⁸

Чисто физическое, животное чувство довольства охватило нас, когда мы, потребовав вина и музыки, погрузились в созерцание тихого синего моря, теплого неба и осколка бледно-розовой луны в чистой прозрачной высоте.

Нежная, сладкая итальянская песня, тихий рокот двух гитар, теплота наступающего вече...

– Cartolina postale!!

– О, чтоб тебя черти забрали! Что такое?

– Cartolina postale...

– Провались ты с ними вместе! Даже сюда забрался, каналья.

– Возьмите. Хорошие карточки.

– Отстань, тебе говорят.

– Тогда, знаете что? Я вас познакомлю с барышней... Синьоритта беллиссима! Рариссима! Чрезвычайно честная девушка, но вы сами понимаете... Отец бедный...

– Не надо.

– Уверяю вас – красавица...

Сандерс сделал вид, что заинтересовался. Стал участливо расспрашивать:

– Неужели красавица?

– О, mio Dio!..

– И вы говорите – честная девушка?

– Чрезвычайно честная.

– Ну что вы говорите?! Это неслыханно! А отец бедный?

– О, очень бедный!

– Неужели? Что же это он так... Работы нет?

– Нет. Так хотите – поедем?

– Вы говорите – красавица?

– Да, очень. Но бедность – сами понимаете...

– Ничего, ничего. И очень красивая, вы говорите?

²⁸ Написано в 1912 году. (Авт.)

– О, да.

– Она, может быть, просто хорошенькая... Или действительно – красавица?

– Настоящая!

– Так, так... Ну, ступайте! Нам ничего не надо.

– Синьоры! Это вас ни к чему не обязывает, – отчаянно возопил продавец открыток, видя, что добыча ускользает. – Вы только можете посмотреть! Право, поедем.

Но в это время Габриэль, подойдя к веранде, услышал его слова и налетел на него, как коршун, – изгнав беднягу в одну минуту.

Смысл его протеста был такой, что, дескать, эти хорошие господа принадлежат ему, он их нашел, честно около них кормится и никому другому не позволит переходить себе дорогу.

Они спорили, будто два гуртовщика о стаде баранов.

Впрочем, мы их умиротворили, выслав остатки вина и мартаделлы; вся компания продавцов открыток и просто ротозеев, под предводительством Габриэля, уселась на ступеньках и стала пировать, издавая в нашу честь восторженные крики и произнося заздравные тосты.

Я заметил, что Сандерс был на верху блаженства: около нас гремела специально нанятая нами музыка, пели для нас певцы, внизу пировала восторженная чернь под командой нашего первого министра... Я подозреваю: не чувствовал ли Сандерс себя в этот момент королем среди своего доброго народа?

Вечером каналья Габриэль действительно повез нас «смотреть тарантеллу».

В этот вечер изучение неаполитанского быта ни на шаг не подвинулось вперед.

Мы были бессовестно обмануты.

Вас, – путешественников, которые когда-нибудь попадут в Неаполь, – хочу я предупредить, что такое «тарантелла», которую так усиленно рекомендуют нечестные гиды...

Нас (меня и Сандерса) ввели в большую круглую комнату, стены и потолок которой были покрыты зеркалами. Вокруг стен диваны, посередине комнаты круглое бархатное возвышение – все это аляповатое, ужасающе грубое.

– Садитесь, господа, – загадочно ухмыляясь, сказал Габриэль, и сейчас же засуетился, обращаясь к тучной женщине, на лице которой была написана целая книга былых преступлений и порока. – Вот эти господа, мамарелла, очень желают видеть тарантеллу, им нужно показать тарантеллу... Ах, да покажите же этим добрым господам вашу тарантеллу. Это прекрасные и хорошие господа, и им надлежит посмотреть тарантеллу.

«Мамарелла» хлопнула в жирные ладони, и тотчас же шесть женщин выбежали из боковых дверей.

Были они в том, «в чем», по русской поговорке, «мать родила», и даже еще меньше, принимая во внимание, что какая-нибудь из них в свое время родилась в сорочке. Одним словом, были они абсолютно, безусловно и радикально голы.

С заученными жестами дефилировала эта армия перед нами, а мы сидели с Сандерсом, опечаленные этим обманом, оскорбленные в нашей скромности.

– Нравится? – спросила торжествующим тоном бесхитростная мамарелла.

Бедняге и в голову не могло прийти, что ее «тарантелла» могла в ком-нибудь не вызвать одушевления.

– Гм, да... – смущенно сказал Сандерс. – Вещь забавноватая. Недурно, как говорится, задумано. Женщины?

– Конечно. Вы же видите.

– Так, так... Гм... Не холодно?

Пансион мамареллы, привыкший к скотской разнузданности немцев и к шумному поведению галантных французов – был изумлен нашей сдержанностью; все поглядывали на нас с недоумением.

– Протанцуйте им, деточки, – скомандовала мамарелла. – Пусть посмотрят вашу тарантеллу.

Она взяла в руки бубен, и шесть женщин закружились, заплясали; откормленные торсы сотрясались от движений, и вообще, все это было крайне предосудительно.

– Помпейские позы! – скомандовала мамарелла, уловив на нашем лице определенное выра-

жение холодности и осуждения.

Но и помпейские позы не развеселили нас. Женщины становились в неприличные сладострастные позы с таким деловым, небрежным от частых повторений видом, как утомленный приказчик мануфактурного магазина к концу вечера показывает надоевшим покупательницам куски товара.

На сцену вдруг появился дожидавшийся где-то неподалеку Габриэль.

– О!.. А почему господа так скромно сидят? Почему они не приласкают этих красавиц? Смотрите, какие красоточки. Вот эта или эта... Или вот эта! Настоящая богиня. А эта! Красавица, а? Не нравится? Пошла вон. Тогда, может, эта? Украшение Неаполя, знаменитая красав... Не надо? Ну ты, лошадь, отойди, не мешайся тут. А вот эта... Что вы о ней скажете, синьоры?..

Он с деланным восторгом хлопал женщину по плечам, трепал по щекам, отгонял равнодушно «первых красавиц» и «богинь», а красавицы и богини с таким же холодным видом шептались около нас, ожидая нашего одобрения и благосклонности.

– Пойдем! – сказал Сандерс.

– Что вы, синьоры! Куда? Неужели вам не нравится?!

– Не нравится? Мы в восторге! Это прямо что-то феерическое... Когда-нибудь после... гм... на днях... Мы уж, так сказать, к вам денька на три. А теперь – прощайте.

Мы, угрюмые, замкнутые, спускались по лестнице, а Габриэль вертелся около нас, юлил и заглядывал в наши лица, стараясь отгадать впечатление.

– Видишь вот эту улицу? – обратился к нему Сандерс. – И вот эту улицу?.. Ты иди по этой, а мы по этой... И если ты еще к нам пристанешь – мы дадим тебе по хорошей зуботычине.

Он захныкал, завертелся, засакал, но мы были непреклонны. Отношения были прерваны навсегда.

Я уверен, что настоящим неаполитанцам никогда бы в голову не пришло пойти на тарантеллу и «помпейские позы». Все это создано для туристов и ими же поддерживается. Для них же весь Неаполь принял облик какого-то громадного дома разврата.

Пусть иностранец попробует пройтись в сумерки по Неаполю. Из-за каждого угла, из каждой подворотни, буквально на каждом шагу к нему подойдет гнусного вида незнакомец и тихо, но назойливо предложит «красивую синьору», «обольстительную синьору» или даже рогащину (девочку).

Эти поставщики осаждали нас, как мухи варенье.

– Что такое?

– Синьоры... берусь показать вам одну прекрасную даму. Познакомлю даже... тут сейчас за углом. Пойдем...

– К ней? К даме? Явиться одетому по-дорожному – что вы! Это неудобно.

– Ничего! Я ручаюсь вам – можно.

– Ну, что вы... И потом неловко же являться в чужой дом, не будучи знакомыми.

– Пустяки! С ней нечего – хи-хи – церемониться.

– Ну, вам-то нечего – вы, конечно, хорошо знакомы... По праву старой дружбы можете и без смокинга. А нам неудобно.

– Но я вам ручаюсь...

– Милостивый государь! Мы знаем правила хорошего тона и не хотим делать бестактности. Мы уверены, что дама будет шокирована нашим бесцеремонным вторжением. Она примет нас за сумасшедших.

...Итальянский кафе-концерт – зрелище, полное интереса и разных неожиданностей.

Действие происходит больше в публике, чем на сцене. Весь зал подпевает, притоптывает, вступает с певицей в разговоры, бешено аплодирует или бешено свищет.

Если певица не нравится – петь ей не дадут. Понравится – измучают повторениями.

У всех душа нараспашку. Подстерегают всякого удобного случая, чтобы выкинуть коленце, посмеяться или посмешить публику. Зал набит порохом, взрывающимся от малейшей искры.

Всякого вновь входящего зрителя сидящая публика приветствует единогласным доброжелательным:

– А-а-а!..

Приветствуемый, гордый всеобщим вниманием, пробирается на свое место и через минуту присоединяет уже свой голос к новому приветствию:

– А-а-а!

Выходит на сцену толстая немка... берет несколько хриплых нот.

Музыкальная публика этого не переносит:

– Баста. Баста!!

– Баста!!!

Немка, не смущаясь, тянет дальше.

И тогда гром невероятных по шуму и длительности аплодисментов обрушивается сверху, перекатывается и растет, как весенний гром.

Петь невозможно. Виден только раскрытый рот, растерянные глаза. Забракovaná певица исчезает под гомерический свист.

Когда мы покупали билеты, перед нами вынырнул Габриэль.

– А-а, синьоры идут сюда! Сейчас, сейчас! Кассир! Выдайте этим хорошим господам билеты... Они желают иметь билеты. Это мои знакомые господа – дайте им лучшие билеты. Вот сдача. Вот билеты. Красивые красные билетки. Я вас тут подожду. Когда выйдете – поедem в одно местечко.

– Отстаньте, – сурово сказали мы. – Не смейте нас дожидаться – мы все равно не поедem с вами. Напрасно только потеряете время. И ни чентезима не получите и потеряете время.

– О, добрые господа! Зачем вы обижаете Габриэля? Он бедный человек и подождет вас.

Конечно, когда мы через три часа вышли – бедный человек ждал нас.

– Пройдемся, господа, – сказал Крысаков. – Прелестная ночь.

– Пожалуйте! – подкатил Габриэль. – Тут как раз четыре места. Я вас ждал.

– Убирайся к дьяволу! Мы тебе сказали, что ты не нужен? Отъезжай! Мы хотим идти пешком...

Мы зашагали по озаренному луной тротуару, а Габриэль шагом потянулся за нами.

Узкие улицы, еще сохранившие в каменных стенах и мостовой теплоту солнца, накалившего их днем, – нежились и дремали под луной... И везде нам приходилось шагать через груды беспорядочно разметавшихся тел. Весь голодный, нищенский Неаполь спит на улицах... это красиво и жутко. Будто весь город, все дома вывернуты наизнанку.

Аршина два макарон днем и аршина два тротуарной плиты ночью – весь обиход оборванного гражданина прекрасной Италии. Господь Бог хорошо обеспечил этих бездельников...

Странные жуткие улицы.

Какой-нибудь англичанин верхом на осле медленно пробирается среди этой беспорядочной гекатомбы спящих и пожирающих макароны тел, медленно пробирается, напоминая смешную пародию на Штуковскую картину «Бог войны».

– Зайдем в ресторан, господа. Закусим.

Когда мы взбирались по лестнице ресторана, Габриэль крикнул:

– Я подожду вас, синьоры!

– Убирайся к черту!

– Синьоры только крикнут – и я уже тут как тут.

В итальянских ресторанах средней руки у нас своя линия поведения, выработанная общими усилиями хитроумного Сандерса и изобретательного Крысакова.

Дело в том, что рестораторы и слуги – невероятные бестии, жадные, трусливые, нахальные, только и помышляющие о том, как бы надуть бедного путешественника, подсунув ему вместо асти – помои, заменив заказанное кушанье отвратительным месивом и приписав к счету процентов пятьдесят.

Поэтому мы, являясь в ресторан, с места в карьер подчеркиваем – с кем им придется иметь дело.

– Почему на скатерти пятно? – яростно кричит Крысаков, свирепо вращая глазами. – Что? Где? Вот оно! Если вы вытираете сапоги скатертью, так можете сунуть ее в карман, а не подсовы-

вать нам!! Это что?? Это что?! Вода? А графин? Его когда мыли? Такие графины на стол ставят?! Позвать метрдотеля! Хозяина сюда! Как же вы нас накормите, если у вас так обращаются с гостями!! На ножах ржавчина! Ложки погнуты! Одна ножка стола короче других!! А? Позовите сюда полицию... Мы консулу пожалуемся!!! Все ваше гнусное заведение по косточкам разнесем!!!

Все обитатели ресторана мечутся около нас в паническом ужасе.

– Будет, – деловито говорит Мифасов. – Довольно. Теперь они подготовлены...

Мы сразу успокаивались.

И, действительно – после этого за нами ухаживали, как за принцами. Подавали лучшее вино, прекрасное кушанье, и счет предъявлялся потом такой честный и скромный, что всякий не отказался бы выдать за него собственную дочь.

– Хорошо ли поужинали, синьоры? Габриэль ждет вас – и лошадка его тоже ждет добрых великодушных синьоров... Какие-то господа сейчас нанимали нас, но мы с лошадкой отказались.

– Вы знаете, что? – дрожа от негодования, вскричал Мифасов. – Я думаю, что нам придется из-за этого проклятого человека уехать из Неаполя раньше времени. Вы подумайте, если он умрет с голоду, мы будем виновниками его смерти... Потому что он не пьет, не ест и ездит за нами с утра до ночи. Он ничего не зарабатывает, не получает ни от нас, ни от других пассажиров, которым он из-за нас отказывает! Что привязало его к нам? Какую несбыточную мечту лелеет он, привязавшись к нам, как пиявка к бескровному железу. Постойте! Я ему сейчас скажу все как следует!

– Не надо! Самое лучшее не обращать на него внимания... Представим себе, что его нет.

Мы пошли дальше, весело беседуя, а Габриэль плелся за нами на своей лошаденке, изредка окликая нас, лъстя и заискивая.

С этого вечера мы стали прикидываться, что совершенно не замечаем его, не слышим его голоса и не видим тела. Он вертелся около нас, предлагал, клянчил, а мы продолжали начатую беседу и смотрели сквозь него, как сквозь оконное стекло, равнодушным, неостанавливающимся взглядом.

Утром возник спор, ехать ли в Помпею и на Везувий или только в одну Помпею.

– На что нам Везувий? – говорил Сандерс. – Обыкновенная гора с дырой посередине. Ни красоты, ни смысла. Тем более что она ведь и не дымится.

– Тогда, значит, и Траянову арку не нужно было смотреть: обыкновенная арка, с дырой посередине и тоже не дымится.

– Это не то. Не можем же мы рассматривать все интересные предметы только с двух сторон: дымятся они или не дымятся. А вулкан должен дымиться. Это его профессия. Если же он этого не делает – не стоит и смотреть на лодыря.

– Господа! Кто за Везувий, – сказал Крысаков, – пусть подымет руки.

Было так жарко, что никто и не пошевелился. Даже сам Крысаков – поклонник вулканов – помахал рукой, но поднять ее не имел силы.

Везувий провалился.

Гид, нанятый через контору гостиницы, повез нас в Помпею.

Конечно, почти всю дорогу за нами ехал Габриэль, взывая к нам, предлагая освободить нас от гида и суля различные диковинные уголки в Помпее, о которых гид и не слыхивал.

Пустые угрюмые развалины Помпеи производят тягостное, хватающее за душу впечатление. Стоят одинокие пустые, как глазницы черепа, примолкшие дома, облитые жестоким, палящим глаза солнцем... В каждом закоулке, в каждом крошечном мозаичном дворике притаились тысячелетия, перед которыми такими смешными, жалкими кажутся наши «завтра», «на той неделе» и «в позапрошлом году».

Останавливает внимание и углубляет мысль не главное, не вся улица или дом, а какой-нибудь трогательный по жизненности пустяк: камень, лежащий посреди узкой улицы на повороте и служивший помпейским гражданам для перехода в грязную погоду с одной стороны улицы на другую; какой-нибудь каменный прилавок с углублением посередине для вина – в том домишке, который когда-то был винной лавкой.

Это дает такое до жгучести яркое представление о прошлой повседневной жизни! Так хочется закрыть глаза, задуматься и представить толстого, обрюзгшего продавца вина, разгульных по-

купателей, толпящихся в лавчонке, стук сандалий промелькнувшей мимо женщины; стан ее лениво изгибается от тяжести кувшина с водой, и черные глаза щурятся от солнца, разбивающего золотые лучи о белый мрамор стен...

Спит мертвая теперь, высохшая, изглоданная временем, как мумия, Помпея – скелет, открытый через две тысячи лет.

Только проворные изумрудные ящерицы быстро и бесшумно скользят среди расщелин стены, покрытой тысячелетней пылью, да болтливый, жадный, вертлявый гид оглашает немолчной трескотней мертвые, как раскрытый гроб, улицы.

Вот посреди улицы фонтан... Бронзовый фавн с раскрытым ртом, из которого когда-то лилась вода. Гид обращает наше внимание: нижняя губа и часть щеки фавна совершенно стерты; на мраморе водоема видна большая глубокая впадина – будто оттиск руки в мягком тесте. Это – следы миллионов прикосновений уст жаждущих помпеян – на лице бронзового фавна, и миллионы прикосновений рук, опиравшихся на мраморный край водоема, в то время когда губы сливались с бронзовыми губами фавна...

В Риме, в соборе св. Петра, большой палец бронзовой статуи Петра наполовину стерт поцелуями верующих; в какой-то другой церкви мраморная статуя популярного святого имеет странный вид – одна нога обута в бронзовый башмак. Зачем? Мрамор очень непрочный материал для поцелуев. Надолго его не хватит.

Этот стертый рот фавна и большой палец св. Петра дают такое ясное представление о времени, мере и числе, что сжимаешься, делаешься маленьким-маленьким и чувствуешь себя песчинкой, подхваченной могучим самумом, рядом с миллионами других песчинок, увлекаемых в общую мировую могилу...

– Что он вам показывает какого-то дурацкого фавна. Пойдем со мной, добрые, великодушные синьоры!.. Я вам покажу такие пикантные фрески, что вы ахнете. Только мужчинам их показывают, дорогие, прекрасные синьоры!

Из-за расщелины стены показывается орошенная обильным потом плутоватая физиономия Габриэля.

– Что он вам показывает? Все какую-то чепуху... А я вам, синьоры, мог бы показать неприличную статую фавна.

Наш гид настроен серьезно, академично, мошенник же Габриэль, наоборот, весь погряз в эротике, и вне гривуазности и сала – никакого смысла жизни не видит.

Гид отгоняет его, но он увязывается за нами и, следуя сзади, с сардонической улыбкой выслушивает объяснения гида.

– Вот тут, в этом доме, при раскопках нашли мать и ребенка, которые теперь находятся в здешнем музее. Мать, засыпаемая лавой, не нашла в себе силы выбраться из дома – так и застыла, прижав к груди ребенка...

– А неприличную собаку видели, синьоры? – вмешивается Габриэль. – Вот-то штука... Хи-хи...

Никто ему не отвечает.

В каком-то доме мы, наконец, к превеликому восторгу Габриэля, натываемся на висящий на стене деревянный футляр, в виде шкапчика...

Его открывают... Если в античные времена эта фреска красовалась без всякого прикрытия – античная публика имела о стыдливости и пристойности особое представление.

Габриэль корчится от циничного смеха; наш гид снисходительно подмигивает, обращая наше внимание на некоторые детали.

Человек, который показывает эту непристойность, просит на чай; тот человек, который впустил нас в дом, – тоже просит на чай; и тот человек, который пропустил нас в какие-то ворота, – взял на чай.

В помпейском музее брали с нас за вход в каждую дверь; неизвестный человек указал пальцем на иссохшее тело помпейца, лежащее под стеклом, сказал:

– Это тело помпейца.

И протянул руку за подающим.

Я указал ему на Крысакова и сказал:

– Это тело Крысакова.

После чего, в свою очередь, протянул ему руку за подаванием.

Он ничего мне не заплатил, хотя мои сведения были ценнее его сведений: я знал, что его помпеец – помпеец, а он не знал, что мой Крысаков – Крысаков.

Возвращаясь обратно на станцию, мы наткнулись на громадные штабели лавы, сложенной здесь после раскопок; на несколько верст тянулись эти штабели.

Вышел из хижины человек, взял несколько кусков лавы в орех величиной и роздал нам на память. Потом попросил уплатить ему за это.

– Сколько? – серьезно спросил Мифасов.

– О, это сколько будет вам угодно!..

– Нет – так нельзя. Всякая вещь должна быть оплачена ее стоимостью. Во сколько вы цените врученные нам кусочки?

– Если синьоры дадут мне лиру – я буду доволен.

– Сандерс! Уплатите ему лиру.

Мифасов оглядел необозримое пространство, покрытое лавой, и завистливо сказал:

– Какая богатая страна – Италия!

– Почему?

– Четыре кусочка лавы, общим весом в четверть фунта – стоят одну лиру. Сколько же должно стоить все, что тут лежит? Интересно высчитать.

Возвращались усталые.

– Видели в музее сохранившиеся зерна пшеницы, кусочки почерневшего хлеба и даже остатки какого-то кушанья... Это изумительно!

– Понимаю, – подмигнул Крысаков, – просто вы проголодались и потому сворачиваете все на съестное. Вон, кстати, и ресторанчик.

Первый стакан кьянти приободрил нас.

– Милое винцо! Смотрите, господа, что это Сандерс такой задумчивый? Сандерс! Что с вами?

Он рассеянно поднял опущенные глаза и сказал:

– Приблизительно около двенадцати с половиной миллиардов пудов на общую сумму девятьсот миллиардов рублей.

– Чего?!!

– Лавы. Тут.

2

Розовая черепаха. – Максим Горький. – Итальянская толпа. – Старик. – Тяжелое путешествие. – Последнее мошенничество. – Опять Габриэль

На Капри пароход отходил утром.

Так как весь Неаполь пропитан звуками музыки и пения, то и на пароходе оказался целый оркестр.

Хорошо живется бездельничающему туристу. Сидит он, развалившись под тентом, а ему играют неаполитанские канцонетты, пляшут перед ним, охлаждаются пересохшее от жары горло какой-то лимонной дрянью со льдом – и за все это лиры, лиры, лиры...

Тут же у ног пресмыкается продавец черепаховых изделий и кораллов.

Крысаков, осажденный продавцом, пробует притвориться глухим, но когда это не помогает, прибегает к странному способу: он берет нитку кораллов, осматривает их и пренебрежительно говорит:

– Ну, милый мой, какая же это черепаха!.. Ничего общего.

– Да это, синьор, не черепаха. Это кораллы.

– Что? Не слышу. Ты можешь мне клясться хоть отцом родным – я не поверю, что это черепаха. Разве розовые черепахи бывают?

– Но это не черепаха! Я и не говорю, что это черепаха. Это кораллы.

– Что? Не слышу. А это что? Коралл? Почему же он в форме гребенки?.. Ты, братец, изогнулся; ну разве бывает коралл прозрачный, коричневого цвета. Это что-то среднее между янтарем и агатом. Что? Не слышу!

Продавец орет Крысакову в самое ухо:

– Это и есть, господин, черепаха! Настоящий черепаховый гребень.

– Врешь, врешь! Он на коралл ни капельки не похож. Как не стыдно?! Господа, разве это коралл?

– Конечно, не коралл, – в один голос поддерживаем мы.

– Ну, вот видишь. Ты уж думаешь, если мы иностранцы, русские, – так и ничего не понимаем. У нас, братец, за такие штуки в полицию тянут. Ступайте, чужеземец.

Скрипки заливаются, солнце печет, винт оставляет сзади на чудесном лазурном зеркале воды – длинную вспаханную борозду.

У «голубой пещеры» пароход останавливается. Туча лодок подлетает к пароходу, лодочники разбирают пассажиров, и мы, улегшись на дно лодки, вползаем в пещеру.

За то, что пещера, действительно, голубая – с нас берет по лире главный лодочник, берут простые лодочники и потом еще взыскивают в пользу какого-то акционерного общества, которое эксплуатирует голубую пещеру.

Туристы нисколько не напоминают баранов, потому что баранов стригут два раза в год, а туристов – каждый день.

Я не сказал о цели нашей поездки на Капри – мы ехали к Максиму Горькому.

Я бы мог многое рассказать об этом чудесном, интереснейшем человеке нашего времени, об этой кристальной душе, узнав которую, нельзя не полюбить крепко и надолго; я бы мог рассказать о его жизни, так непохожей теперь на печенье булок в пекарне, о его мастерском увлекательном разговоре, о детском смехе и везлобии, с которым он рассказывает о попытках компатриотов в гороховых пальто залучить его на родину; бедные гороховые пальто потратились на дорогу, приехали, организовали слежку, но все это было так глупо устроено, что веселые итальянцы за животы хватались от смеху. Так ни с чем и уехали компатриоты; разве что только русский престиж среди итальянцев подняли.

Я бы мог рассказать о той исключительной приветливости и радушии, с которыми мы были встречены писателем...

Но, щадя его скромность, пропущу все это.

А вот нижеизложенное имеет некоторое отношение к этой книге...

Мы говорили о Неаполе.

– О, видите ли, – сказал Горький, – есть два Неаполя. Один Неаполь туристов: жадный, плутоватый, испорченный и распутный; другой – просто Неаполь. Этот чудесен. И неаполитанцы тоже бывают разные... К сожалению, иностранца встречают только отбросы, специально живущие на счет туристов, обирающие их. Будьте уверены, что настоящий неаполитанец с глубоким отвращением относится ко всем этим «тарантеллам», ко всему тому, что специально создано для нездорового спроса форестьера. Нужно пожить между итальянцами, чтобы узнать их. Они добры, великодушны, горячи и неизменно веселы. Я вам расскажу сейчас один случай, очень характеризующий славных неаполитанцев...

Пришло в Неаполь однажды какое-то русское судно. Матрос, отпросившись на берег, стал бродить по городу, дивясь на незнакомую обстановку, пока не наткнулся на кинематограф. Бедняге вятичу или костромичу, взятому от сохи, никогда не приходилось видеть раньше кинематографа, и он решил посмотреть. Купил билет, сел. Просмотрел всю программу – пришел в такой восторг, что остался снова ее смотреть... Билета с него второй раз не спросили, но покосились... Просмотрел второй раз программу... Восхищение его было так велико, что он остался и на третий раз. Тут уж хозяин не выдержал – потребовал, чтобы матросик взял второй билет. Матросик заспорил и, по незнанию ли итальянского языка или по чему другому – но дал хозяину зуботычину. Поднялся крик – матросика схватили и потащили в полицию.

Итальянская толпа любопытна до истерики. Увидели, что ведут чужеземца в полицию, заин-

тересовались:

– За что? Что сделал?

Хозяин кинематографа рассказал; «смотрел, дескать, человек программу два раза, да еще хотел и в третий раз смотреть. А деньги за билет уплатить отказался, да, кроме того, когда его стали выводить – вступил в драку».

Посмотрели неаполитанцы на матросика.

– Знаете что, – обращаются к полицейским и хозяину. – Отпустите вы его.

– Как так, отпустите?

– Ну, чего там... Бедный человек, видит кинематограф впервые, обрадовался, что дорвался, – за что его в полицию?

– В самом деле, отпустите его.

Толпа загудела – сначала просительно, потом – не просительно.

– Отпустите этого человека! Отпустите его! – гудела вся улица.

Итальянская толпа шутить не любит. Просят, значит, надо сделать.

– Ну, Бог с тобой, – согласился кинематографщик. – Ступай! Отпустите его, я ничего против него не имею.

Торжествующая толпа бросилась качать кинематографщика, полицейских; потом устроила овацию матросику, подхватила его на руки и с веселым пеньем и плясками повела в ближайший кинематограф.

Ввалились, просмотрели программу, подхватили опять матросика на руки и с той же восторженностью повлекли в другой кинематограф, оттуда в третий, четвертый, и так до самого вечера, пока несчастный матросик не взмолился:

– Братцы, отпустите меня! Тошнит меня от него...

Вот и вся история. Но сколько в ней неожиданности, добродушия и милой шутки. Ко всякому поводу придерется неаполитанец, чтобы погорланить, повеселиться и поплясать.

До сих пор не могу сказать точно, – какое впечатление произвели мы на Максима Горького.

Говорю это потому, что знаю – порознь каждый из нас сносный человек, но все мы in cogroge – представляем собою потрясающее зрелище. Человек с самыми крепкими нервами выносит пребывание в нашей компании не больше двух-трех часов. Шутки и веселье хороши, как приправа, но если устроить человеку обед из трех блюд: на первое соль, на второе горчица и на третье уксус – он на половине обеда взвояет и сбежит.

Однажды ехали мы из Петрограда в Москву – Крысаков, Мифасов и я. В четырехместное купе к нам сел какой-то сумрачный старик. Он начал сурово прислушиваться к нашему разговору... Постепенно морщины на его лице стали разглаживаться, через пять минут он стал усмехаться, а через полчаса хохотал как сумасшедший, радуясь, что попал в такую хорошую компанию. В начале второго часа смех его заменился легкой, немного усталой усмешкой, в середине второго часа усмешка сбежала с лица, и весь он осунулся, со страхом поглядывая на нашу компанию, а к исходу второго часа – схватил свои вещи и в ужасе убежал отыскивать другое купе.

Мы же были свежи и бодры, как втянувшиеся в алкоголь пьяницы, которых и бутылка рому не свалит с ног.

.....
На другой день мы решили сами (безо всякой просьбы со стороны Горького) покинуть Капри и вернуться на родину – в Неаполь.

Пароход отходил в 4 часа дня, но был другой способ добраться до Неаполя – на лодке.

Мы с Крысаковым сначала колебались в выборе, но когда Мифасов и Сандерс подали голоса за пароход – мы решили ехать на лодке.

Минусы были таковы: 30 верст по палящей жаре. Если не будет ветра – на веслах 6–7 часов езды (на пароходе 1 ½ часа), если же будет ветер, то будет и качка. Цена – на пароходе 8 лир, на лодке 30.

Облив Сандерса и Мифасова потоком холодных, ядовитых, презрительных слов и замечаний, мы вдвоем сели в 10 часов утра и поехали.

Ветер оказался таков: не настолько сильный, чтобы надуть паруса, и не настолько слабый,

чтобы не было качки.

Поэтому мы стояли на месте, и нас качало. Я немедленно подружился с лодочниками. Откупорил бутылку кьянти, угостил этих добрых людей, эти добрые люди угостили меня какой-то колбасой с хлебом, и потом я с этими добрыми людьми принялся горланить неаполитанские песни.

Что в это время делалось с Крысаковым – говорить не буду; он частенько наклонялся за борт, и не знаю, что заставляло его вести себя так – проклятая качка, которой он не переносил, или наше энергичное, но нестройное пение.

А сверху палило презестокое, обваривавшее нас, как раков, солнце, а внизу колыхалась изумрудная вода, и вялый парус ласково трепал Крысакова по лицу.

Бедняга частенько наклонялся за борт, и мы из деликатности отворачивались, рассматривая какую-нибудь чайку и заглушая его стоны визгливым пением «Bella Napoli» и «Sole mio».

Приехали мы на полчаса (они выехали в 4 часа!) позднее Сандерса и Мифасова. То есть приехал я почти один, потому что от большого могучего Крысакова осталась одна оболочка, которую я, как плед, перекинул через руку, выходя из лодки.

Нужно было три дня, чтобы набить эту опустевшую оболочку пищей и чтобы эта оболочка приняла некоторое подобие контуров прежнего Крысакова.

Очнувшись, он протянул мне слабую руку, и первые слова его были таковы:

– Теперь вы можете представить, как я вас люблю, если согласился, ради вас, на такую штуку!

– Спасибо, – добродушно сказал я. – Обещаю вам, что первую попавшуюся картинную галерею исхожу с вами вдоль и поперек...

Прощай, прекрасный Неаполь!.. Мы уезжаем.

Заключительный неаполитанский аккорд был таков: собираясь ехать на пристань, мы с Сандерсом наняли извозчика; сели, тронулись.

Меланхоличный Сандерс, бродя рассеянным взором по окружающему, увидел на стекле таксометра нашего извозчика какую-то маленькую прилипшую бумажечку, в полтинник величиной; от скуки он стал пальцем соскабливать ее. Бумажечка сейчас же отклеилась и – о чудо! Под ней на таксометре красовалась цифра – 2 лиры!

Мы только что тронулись, и поэтому с нас могло следовать не более двадцати центезимов...

– Стой! – заорали мы. – Это что такое? Откуда у тебя две лиры?

Извозчик сразу прикинулся не понимающим по-французски (в Италии почти все говорят довольно внятно по-французски) и стал что-то объяснять нам, спорить, кричать.

Бедняга не знал нашей системы. Мы сразу подняли такой вой и крик, что сбежалось пол-Неаполя.

– В полицию! – ревел я. – К консулу! Телеграмму посланнику!! Разбойники!..

– Стреляйте в него, – кричал Сандерс. – Где ваш ножик? Нас грабят!! Перережьте ему горло!

Извозчик обрел неожиданный дар французской речи. Подобострастно вскочил, низко кланяясь, перевел механизм таксометра, и мы, сразу заговорив обыкновенными спокойными голосами, двинулись под восторженные клики собравшейся толпы.

Больше всех был в восторге наш возница. Он смотрел на нас с восхищением, оборачивался, хлопал меня по коленке и говорил:

– Добрый синьор руссо – умный, понимающий человек. Он прекрасный чудесный путешественник, и пусть он не сердится на Беппо. Ну, вышла маленькая ошибочка – чего там... Хе-хе.

Мы приехали на пристань.

Правду говорит пословица: «кто на море не бывал, тот горя не видал», – пароход задержался с погрузкой, и нам пришлось ожидать четыре часа.

Всякий развлекался как хотел: Крысаков ел, Сандерс спал, а мы с Мифасовым бросали в воду серебряные монеты. Несколько юрких мальчишек бросались за ними с пристани, ныряли и доставали со дна. Были изумительные искусники.

Какой-то немец тоже бросал монеты, но, как человек экономный, не желающий даром тратить денег, он – или забрасывал монету за двадцать метров от намеченного ныряльщиками места или старался попасть ныряльщикам в голову...

Прогудел уже второй гудок, и в это время на пристани показался Габриэль. Он долго отыскивал нас глазами, а найдя – закричал, заплясал и стал посылать нам воздушные поцелуи.

– А что, господа, – сказал Мифасов. – Может быть, он всюду увязывался за нами не из-за выгоды, не из-за денег, а просто потому, что искренно полюбил нас. А мы не понимали его, гнали, унижали и не замечали.

Это было совершенно новое освещение поступков Габриэля. Мы наскоро сложились, завернули в бумагу несколько лир и бросили это сооружение Габриэлю.

И за этим последовал не дождь, а целый ливень воздушных поцелуев... с обеих сторон.

– Прощай, Габриэль! Кланяйся иссохшему Помпейскому человеку! Поцелуй от нас мартаделлу.

Бедный, милый Габриэль!.. Прощай. Ты ведь никогда, никогда, вероятно, не узнаешь, что я, где-то в далекой России, вспоминаю о тебе в книге, написанной непонятным тебе, кроме слова «купаться», языком и напечатанной непонятными буквами.

На пароходе из Неаполя в Геную

– А братья есть у вас?

– О, да. Семь миллионов, три миллиона и четырнадцать с половиной.

– Простите... что вы такое говорите?

– В этих суммах выражается состояние каждого из них! Трое.

– А матушка ваша... жива?

– Нет. Скончалась. Позвольте... дайте вспомнить... Да! Двадцать восемь тысяч долларов было истрачено на ее похороны.

– Вероятно, ваша семья сильно горевала?

– Еще бы! Приостановка дела на четыре дня дала по конторе убытку около четырехсот тысяч... А когда умерла бабка Стивенсон, их горе не стоило и сотняги тысяч. Вот вы и смекните.

– Да? Какое бессердечие... Смотрите, что за чудесное облако направо от нашего парохода!..

– Будущий атмосферный осадок. Если бы его перегнать на сушу, да спустить на пшеницу – ого!

– А что?

– А то, что за него всякий неглупый сельский хозяин пару сотен отвалит.

Это было мое первое знакомство и первый разговор с мистером Джошуа Перкинсом. Он казался самым обыкновенным американцем: одетый в брюки отвратительного американского фасона и ботинки, похожие больше на лошадиные копыта, он шатался по всему пароходу без пиджака и жилета, с засученными рукавами, распевал пронзительным, фальшивым голосом ужасные американские песенки и презирал всех так откровенно и беззаботно, что все полюбили его.

Только ко мне он благоволил, потому что при первой встрече я выказал себя еще большим американцем, чем он: выйдя после обеда на палубу и заметив, что мистер Перкинс развалился на занятом мною *longue chaise'e*, я подошел и, лениво зевнув, опустился к нему на колени.

Он забился подо мной, завыл и, сбросив меня, в бешенстве вскочил на ноги.

– Простите, – заметил я, – но я сел на свое место. Вот карточка с моим именем на спинке.

Он захохотал и, пересев на соседний стул, вступил со мной в вышеприведенный разговор.

После замечания относительно облака он посвистал немного и спросил:

– Женаты?

– Был.

– Жена?

– Умерла.

– От чего?

– О, это тяжелая история... Она сгорела на моих глазах от лопнувшей бутылки с бензином.

– А!

В глазах его засветился живой интерес к моим словам.

– Тяжелая история?

– Да. Очень.

– Хотите дело?

–?..

– Я, вероятно, не говорил вам, что у меня в Нью-Йорке есть две газеты... Опишите вашу историю погуще – у вас есть литературное имя – я смогу заплатить вам по полдоллара за строчку.

– Нет. Не хочу.

– Почему? Мне просто хочется утереть такой штукой нос этому зазнавшемуся каналье Чарли Пегготу. Он изо дня в день пичкает своих читателей историями о вырытых трупах и взбесившихся животных – этот мошенник Пеггот...

– Я не могу принять вашего предложения, – сухо отвечал я.

Он похлопал меня по плечу.

– Молодец! Я, признаться, хотел испытать вас – настоящий вы мужчина или нет. Вы сразу раскусили меня. Действительно, полдоллара за строчку – это сор. All right! Я заплачу вам доллар.

– Не находите ли вы, – угрюмо возразил я, – что покойница, дорогая сердцу мужа, – плохое средство для утирания носов зазнавшимся Чарли Пегготам.

Джошуа Перкинс смутился и крепко пожал мою руку.

– Простите, если я не так выразился. Конечно, утирание носа Пегготу вашей... дорогой покойницей... это скорее метафорический оборот...

– Ничего. Прекратим этот разговор. Вы давно путешествуете по Европе?

– Третий месяц.

– Что же вас тут больше всего интересует?

– Искусство.

– Значит – музеи, картинные галереи, да?

– Да. Есть изумительные вещи. Говорят, тут за одного Рубенса отвалили около двух миллионов?

– Да.

– Вот это приемная вещь!

– Что это такое – приемная?

– Вещь, которую не стыдно повесить в приемной. А, откровенно говоря, все эти Луки Кранаци да Паоло Веронезе – ведь это так... для кабинета или в другую какую комнату... а?

Он нерешительно заглянул в мое непроницаемое лицо.

– А? как вы думаете?

– Да... Это правда. Кранахом Пегготу носа не утрешь!

– Вы думаете? Это, пожалуй, верно. Можете представить, у него в буфетной комнате, в дверцах буфета, вделаны четыре настоящих Фрагонара!

– Шикарно! Надеюсь, вы утерли нос этому зазнавшемуся выскочке?

Джошуа подмигнул мне:

– Собираюсь. Да так, что он и не ожидает! Хе-хе! Мы оба долго смеялись.

– Небось, – предположил я, – обмемблируете свою квартиру египетскими мумиями? Они стоят бешеных денег. А живот ей выдолбить, да устроить там погребец для ликеров... То-то позеленеет ваш Пеггот.

– Нет, это почище мумий. Вы знаете, я подыскиваю себе старинный замок!

– Для чего?

– Жить в нем. Буду приезжать месяца на три в год, да и жить в нем. Не правда ли, комфортабельно?

– Нашли что-нибудь подходящее?

– Нет. Есть или простые развалины, или хорошие замки, но не продают. Я приторговывал замок Барбароссы в Нюрнберге... Нет, говорят, нельзя. – Почему? – неизвестно!

– Как же вы думаете устроиться?

– Я уже говорил с архитектором. Он обещал выстроить новый, но как бы старый. Как вы думаете?

Я подумал немного и сказал решительно:

– Нет, это не то.

– Ну, что вы говорите!..

– В старых замках обыкновенно есть прекрасные галереи портретов, где так сладостно-жутко и страшно по ночам, когда желтая луна тускло светит в разбитые, затканые паутиной окна...

– О, за этим дело не станет. Любой антикварий развесит за гроши целую галерею!.. Стекла, если их разбить...

– Пожалуй. Но где летучие мыши, гнездящиеся под потолком полуразрушенной башни, где треск ветхой мебели, шорохи под полом и завывание ветра в трубе громадного, веками закопченного камина?

– Да, это так. Гм...

Джошуа поднял ноги, положил их на перила палубы и, осмотрев свои похожие на лошадиные копыта башмаки, спросил:

– А вы не знаете, как их разводят?

– Кого?

– Летучих мышей.

– Кто же их разводит... Сами разводятся. Черт их знает как. Пустите одну пару для завода, а там видно будет. Остальное, конечно, пустяки. Камин можно закоптить порохом, под полом поставить несколько аппаратов, которые трещали бы при ходьбе, ветер в трубе прекрасно имитируется парой органных труб, вековая пыль в нежилых комнатах оседает в три дня, если десяток дюжин рабочих будет посменно шаркать пыльными сапогами... Все это не так трудно. И устройте вы такое помещенье, что утрете нос самому Барбароссе... Одного только у вас не будет.

– Ого!

– Да-с. Не будет у вас старого зловещего привидения, которое бродило бы по ночам, пугая обитателей замка.

– Да ведь привидений-то вообще нет.

– Ну, это смотря где. Конечно, в вашем нью-йоркском небоскребе ему не ужиться, а в старых замках их целые гнезда.

– Может быть и у меня заведется...

– Не-ет, дорогой мой... На имитацию его не подловишь. Оно, как тесто на муке, замешивается на легенде, на каком-нибудь старинном, злодеянии. А старинного злодеяния вам за миллион не устроить.

Джошуа был огорошен искренно и серьезно.

– Наловить их в развалинах да напустить ко мне...

– Убегут. Главное дело – легенды нет. Злодеяния нет.

– Есть дело! – сказал Джошуа, хлопнув меня по колену. – Вы писатель? Так придумайте мне легенду. Легенду старинного замка Джошуа Перкинса.

– Да что ж тут можно придумать? Есть определенные американские легенды: железнодорожные короли Дженкинс и Бридж, имея две параллельные железнодорожные линии, конкурировали в ценах на перевозку скота из места, где его было много, в места, где его было мало. Дженкинс спустил цены за перевозку до минимума, а Бридж, по американскому обычаю, захотел «утереть нос» Дженкинсу и назначил цены себе в громадный убыток. Что же делает умный Дженкинс? Он начинает сам покупать скот и отправлять его за гроши по дороге своего конкурента, кладя в карман огромные прибыли, чем и разоряет его. Вот вам и легенда. А что из нее сделаешь? Если даже Бридж повесился, то и тогда что он скажет Дженкинсу, явившись к нему темной страшной ночью – в качестве привидения? «Дженкинс, Дженкинс, – скажет он только, – зачем ты отправлял скот по моей дороге?» – «Да ведь и ты, голубчик, – основательно возразит ему Дженкинс, – спустил цены так, что хоть ложись да помирай. Не надо было зарываться». Нет. Такой легенды никакой замок не выдержит.

Джошуа сосредоточился, что-то припоминая.

– А вот у меня дед скончался при крайне таинственных обстоятельствах.

– Именно?

- Его повесили в Канзасе за кражу лошадей... Я скептически пожал плечами:
- Уж и легенда! Да махните рукой на привидение. Живите так.
- Это не то. Не комфортабельно. Впрочем, я поговорю с архитектором.
- Вам бы жениться лучше, – посоветовал я.
- О, это очень трудная вещь – брак. У меня есть две девушки на примете – не знаю, на какой из них остановиться.
- А какая между ними разница?
- Хлебный элеватор.
- Удивляюсь я вам, американцам... Все вы сводите на деньги да на элеваторы. Могли бы хоть тут последовать влечению сердца. Каковы они собою?
- Одна миниатюрная, небольшого роста, килограммов около пятидесяти весу, другая высокая, хорошо развитая девушка.
- Килограммов в семьдесят?
- Да, около этого. Вот вы тут и посоветуйте!..
- И советовать нечего. Женитесь на той, которая весит больше.
- Он с сомнением посмотрел на меня – не смеюсь ли я.
- Однако... Это, мне кажется, несколько меркантильный взгляд...
- Ничуть! – горячо возразил я. – Вы подумайте. Что такое жена? Это нечто такое, что дороже всего человеку. И если этого дорогого, прекрасного будет на двадцать процентов больше, то не ясно ли, даже не умеющему считать, что от этого счастье обладания любимым существом подымеется на такое же количество процентов. Он снисходительно пожал плечами:
- Эти европейцы неисправимые идеалисты. Впрочем... Пароход наш уже подходит к Генуе... Мы сейчас расстанемся. Я совершенно незаметно провел с вами два часа сорок семь минут. Очень рад. Не откажитесь принять от меня на память эту любопытную вещицу!
- Джошуа вынул из бумажника зубочистку и благоговейно протянул ее мне.
- Это что такое?
- Это замечательные зубочистки. Их всего у меня три, и каждая обошлась мне в 300 долларов.
- Из чего же они сделаны? – изумился я. Он самодовольно улыбнулся:
- Из пера на шляпе Наполеона Первого, на той самой шляпе, в которой он был на Аркольском мосту. Мне было очень трудно достать эту вещь!
- Джошуа Перкинс пожал мне руку, надел пиджак, засвистал фальшиво и зашагал за носильщиком.
- Я подошел к борту парохода, бросил наполеоновскую зубочистку в воду и стал смотреть на закат...

Генуя

Генуя знаменита своим Campo Santo; Campo Santo знаменито мраморными памятниками; памятники знамениты своей скульптурой, а так как скульптура эта – невероятная пошлятина, то о Генуе и говорить не стоит.

Впрочем, есть люди, которые с умилением взирают на такие, например, скульптурные мотивы:

1) Мраморный детина, в мешковатом сюртуке, брюках старого покроя и громадных ботинках, стоит у чайницы, долженствующей, по мысли скульптора, изображать могилу отца детины; детина, положив под мышку котелок, плачет. Ангел, сидя на чайнице, тычет в нос безутешному молодцу какую-то ветку.

2) Огромный барельеф: внизу на крышке гроба стоит ангел и передает, вытянув руки, парящему наверху ангелу – покойника, с безмолвной просьбой распорядиться им по своему усмотрению.

3) Безногая смерть тащит упирающуюся девицу в склеп.

4) А вот девица, судьба которой лучше – ее просто два ангела ведут под руки к вечному бла-

женству.

5) Целая композиция: мраморный хозяин умирает на мраморной кровати, окруженный домо-чадцами; налево господин в мраморном галстуке не то утешает, не то щекочет пальцем даму, возведшую глаза горе.

Всюду невероятное смешение старомодных сюртуков и панталон с ангельскими крыльями, ангельскими хитонами, ангельскими факелами в руках.

Ангельское терпение нужно, чтобы пересмотреть всю эту бессмыслицу.

Во время нашего путешествия по этому бесконечному морю испорченного мрамора произошел странный инцидент.

Именно: Крысаков, который задержался около стучащейся в райские двери девицы, вдруг догнал нас бледный и в ужасе зашептал:

– Со мной что то случилось...

– Что такое?

– Сколько кьянти выпили мы за завтраком? – спросил Крысаков, дрожа от страха.

– Сколько каждому хотелось – ни на каплю больше. А что случилось?

– Дело в том – я не знаю, что со мной сделалось, но я сразу стал понимать по-итальянски.

– Как так? Почему?

– Видите ли, около той «девушки у врат» стоит публика. Вдруг кто-то из них заговорил – и я сразу чувствую, что понимаю все, что он говорит!

– Какой вздор! Этого не может быть.

– Уверю вас! Другой ему ответил – и что же! Я чувствую, что понял и ответ.

– Тут что-то неладно... Пойдем к ним! Мы подошли.

– Слышите, слышите? Я прекрасно сейчас понимаю, о чем они говорят... О том, что такой сюжет они уже встречали в Риме... Хотите, я вам буду переводить?

– Не стоит. Это излишне.

– По... почему?

– Потому что они говорят по-русски. Мифасов оглядел фигуру смущенного Крысакова и уронил великолепное:

– Удивительно, как вы еще понимаете по-русски.

Страшный путь

Путь из Генуи в Ниццу был ужасен. Отвратительные, грязные вагоны, копоть, духота.

Все мы грязные, немые – и умыться негде.

Едим ветчину, разрывая ее пальцами, и пьем кьянти из апельсиновых шкурок и свернутых в трубочку визитных карточек.

Солнце склонялось к закату. Все мы сидели злые, мрачные и все время поглядывали подстерегающими взорами друг на друга, только и ожидая удобного случая к чему-нибудь придраться.

В вагоне сразу стемнело.

– Удивительно, как на юге быстро наступает ночь, – заметил Мифасов. – Не успеешь оглянуться, как уже и стемнело.

– Удивительно, как вы все знаете, – саркастически заметил Сандерс.

– В вас меня удивляет обратное, – возразил Мифасов.

Вдруг в вагоне стало проясняться, и опять дневной свет ворвался в окно.

– Удивительно, – захихикал Сандерс, – как на юге быстро светлеет.

Поезд опять нырнул в туннель.

– Удивительно, – сказал Крысаков, – как на юге быстро темнеет...

– Черт возьми, – проворчал Сандерс, – как быстро время летит. Сегодня только выехали, и уже прошло три денечка.

– Опять темнеет! Четвертая ночка!

– А вот уже и рассвет... Четвертый денечек. С добрым утром, господа.

Угрюмо озираясь, сидел затравленный Мифасов.

Чем дальше, тем туннели попадались чаще, и до границы мы проехали их не меньше сотни.

Когда, по выражению Крысакова, «наступила ночка», я вдруг почувствовал, что какое-то тяжелое тело навалилось на меня и стало колотить меня по спине. Я с силой ущипнул неизвестное тело за руку, оно взвизгнуло и отпрыгнуло.

Поезд вылетел из туннеля – все смирно сидели на своих местах, апатично поглядывая друг на друга.

– Хорошо же, – подумал я.

Едва только поезд нырнул в следующий туннель, как я вскочил и стал бешено колотить кулаками, куда попало.

– Ой, кто это? Черрт!

Опять светло... Все сидят на своих местах, подозрительно поглядывая друг на друга.

– Кто это дерется? Что за свинство, – спросил сонный Сандерс.

– Действительно, – подхватил я, – безобразие! Вести себя не умеют.

Тьма хлынула в окна. И опять поднялась в вагоне невероятная возня, рев, крики и протесты.

– Стойте! – раздался могучий голос Крысакова. – Я поймал того, который нас бьет. Держу его за руку... Нет, голубчик, не вырвешься!

Засиял свет и – мы увидели бьющегося в Крысаковских руках Сандерса.

Все набросились на него с упреками, но я заметил, как змеилась хитрая улыбочка на губах Мифасова.

От Монте-Карло к нам в купе подсели две француженки.

Одна из них обвела нас веселым взглядом и вдруг нахлобучила Крысакову на нос его шляпу.

– Ура! – гаркнул Крысаков из-под шляпы. – Отселе, значит, начинается Франция!

Ницца

Ницца – небольшой городок, утыканный пальмами.

Мы попали в него в такое время, когда все приезжее народонаселение состояло из шести человек: нас четырех и тех двух француженок, которых мы встретили в вагоне.

У бедняжек, очевидно, в сезоне были такие плохие дела, что уехать было не на что, и поэтому они влачили вдвоем жалкое существование, надеясь на случай.

Но случай не подвертывался, потому что кроме нас никого не было, а наши принципы удерживали нас от легкомысленных поступков и преступного общения с женщинами.

Нам не нужно было тратить много времени, чтобы заметить, что вся Ницца живет только нами и для нас; все гостиницы были закрыты, кроме одной, в которой жили мы; все извозчики бездельничали, кроме двух, которые возили нас, магазины отпирались для нас, музыка по праздникам на площади гремела для нас, и только легкомысленные бабочки, кружившиеся около нас, были вне этого распорядка – спрос на женскую привязанность стоял до смешного низко.

Когда мы уезжали, было такое впечатление, что душа Ниццы отлетает и тело сейчас замрет в последней агонии.

В Париж! В Париж!

Париж

Тоска по родине. – Мы четверо. – Призрак голода. – Муки. – 14 июля. – Лирическое отступление. – Деньги отыскиваются. – Последние усилия. – Драка. – Победа. – В Россию. – Последнее merci...

Наиболее остро это началось с Парижа.

Первым был пойман Мифасов: пойман на месте преступления в то время, когда, сидя в маленьком кафе на бульваре Мишель и увидя нас, пытался со сконфуженным видом спрятать в карман клочок бумаги.

– Погодите! – строго сказал Крысаков. – Дайте-ка сюда. Ну, конечно, я так и подозревал.

Это был обрывок русской газеты.

– А наше слово? Наше слово – не читать русских газет, не вспоминать о России, не пить русской водки?..

Опустив голову, смущенно шаркал ногой по цементному полу Мифасов.

Вторым попался Сандерс.

Однажды идя по улице впереди него и неожиданно оглянувшись, мы заметили, что он отмахнулся два раза от какого-то попрошайки, а потом вдруг остановился, прислушался к его словам, и лицо его, как будто очарованное сладкой музыкой, распустилось в блаженную улыбку.

– О! – сказал Сандерс, – вы говорите – вы русский! Неужели? Не обманываете ли вы меня?

– Русский! Ей-богу! Поверьте, третий день уже хожу – ни шиша...

– Как? Как вы сказали? «Ни шиша?» О, это очень мило! Какое образное русское слово! Это очень хорошо, что вы русский. Это благородно с вашей стороны!

– Обносился, оборвался я, как босявка... Склонив голову набок, Сандерс сладко слушал...

– О, что за язык! «Босявка»... «оборвался»... Почему никто из товарищей моих не говорит так по-русски? Давно я не слышал от них русского слова. Все стараются французить... Русский! Я желаю вас выручить, русский. Вот вам пять франков.

Крысакова однажды поймали ночью уже на лестнице в то время, когда он, крадучись, со своим распухшим, больным чемоданом пробирался к выходу...

– Неужели, господа, вы не можете потерпеть несколько дней? – возмущался я, – до нашего срока отпуска – двух месяцев – осталось всего шесть суток.

Но в тот же вечер я сам, подойдя к открытому окну, увидел на небе нашу русскую добродушную луну. И мне захотелось, как собаке, положить лапы на подоконник, вытянуть кверху голову, да как завывать!.. Завывать от тоски по нашей несчастной, милой родине...

В предыдущих очерках я уделял наибольшее внимание этнографическим описаниям; Париж настолько всем известен, что я считаю себя вправе заняться, главным образом, путешественниками – Мифасовым, Крысаковым, Сандерсом и мною.

Всякий, конечно, был верен себе: Сандерс однажды задремал с булкой в руках, остановившись на полпути между прилавком и нашим столиком; он же, заспорив как-то о том: какой из двух путей, ведущих к Лувру, ближе, – встал в шесть часов утра и пошел проверять тот и другой путь; среди сна все трое были разбужены и оповещены о том, какой хороший, умный человек Сандерс и как он всегда бывает прав.

Всякий, конечно, был верен себе: Мифасов после обеда потащил нас в кафе-шантан Марини; он же возмущился бешеными ценами на места в этом учреждении; он же предложил поехать в какой-нибудь из маленьких шантанчиков на Севастопольском бульваре, утверждая, что хотя это далеко, но зато дешевизна тамошних кабачков баснословная, он же, в ответ на наши сомнения, сказал, что ему приходилось бывать там и что спорить с ним, опытным кутилой, глупо. «За свои слова я ручаюсь головой». По приезде на место выяснилось, что цены в кафе-концерте на Севастопольском бульваре выше цен Марини на 40 %.

Всякий, конечно, был верен себе: шокируя Мифасова и Сандерса, мы с Крысаковым присаживались за столиком в третьеклассном кафе, требовали пива, а потом Крысаков мчался к тележке, развозившей всякую снедь, покупал на 10 су паштета из телячьей печенки, на 3 су хлеба, и мы устраивали такой пир, что все с восхищением глядели на нас, кроме Мифасова и Сандерса.

– Кушайте, – добродушно угощал Крысаков, похлопывая ладонью по своему паштету. – Битте-дритте.

Должен заметить, что паштетом питались и наши антагонисты – Мифасов и Сандерс. Должен заметить, что и насыщение паштетами за 10 су и хлебом за 3 су, и возмущение ценами шантана – все это имело под собой основательную почву: дело в том, что мы разорились.

Кто был виноват в этом? Что было причиной этому: склонность ли Мифасова к фешенебельным ресторанам, «обедам под гонг», страсть ли Сандерса к эффектным одеждам, покупка ли массы оружия, которое всякий из нас приобрел для защиты жизни от могущих посягнуть на нее врагов? Вероятно, все вместе повредило нам.

Правда, мы ждали солидного перевода на Лионский кредит, и перевод этот должен был получиться в Париже 12 июля. Но 12 июля банки были закрыты потому, что через два дня предстояло огромное празднование 14 июля – день взятия Бастилии; 13 июля банки не открывались потому, что оставался всего один день до 14-го; 14-го праздновали Бастилию; 15-го отпраздновали первый день после взятия Бастилии, а 16-го была какая-то генеральная проверка всех банковских касс; так как 17-го было воскресенье – то мы, очутившись 11-го без денег – могли ожидать их получения только 18-го.

Грозный призрак голода протянул к нам свои костлявые, когтистые лапы.

Первые признаки бедствия выяснились неожиданно: 11 июля, после роскошного завтрака в ресторане на Итальянском бульваре, мы взяли мотор и полетели в Булонский лес.

Сандерс был задумчив. Вдруг на полдороге он хлопнул ладонью по доске мотора и с несвойственной ему энергией воскликнул:

– Стойте! Сколько показывает таксометр?

– 6 франков 50.

– Мотор! Назад!

– Что случилось?

И, как гробовой молоток, прозвучали слова Сандерса:

– У нас всего 8 франков... (общественными суммами заведовал Сандерс).

Раздались крики ужаса; мотор повернули, и он, как вестник бедствия, полетел со страшным ревом и плачем в город.

– Стойте! До дому версты полторы. Дойдем пешком, – предложил благоразумный Крысаков. – Шоферу нужно, конечно, заплатить полным рублем, но на чай, ввиду исключительности положения, не давать; пусть каждый пожмет ему руку; это все, чем мы можем располагать.

Все с чувством пожали шоферу руку и поплелись домой.

Вечером прибегли к паштету с пивом, а утром на другой день Мифасов засел за большую композицию «Голодающие в Индии».

– Как жаль, что нет с нами Мити, – заметил Крысаков. – Его можно бы послать собирать милостыню. Самим нам неудобно, а он мог бы поработать на бедных хозяев.

– Бедный Митя! – вздохнул Мифасов. – Он, вероятно, умирает от голоду в Берлине, мы – в Париже. О, жизнь! Ты шутишь иногда жестоко, и твоя улыбка напоминает часто гримасу смерти.

Сандерс обошел кругом Крысакова и, щелкнув зубами, сказал:

– Думал ли я, что рагу из Крысакова будет казаться мне таким заманчивым?!

Крысаков, взволнованный, встал, поцеловал Сандерса в темя и выбежал из нашей комнаты в свою.

Потом вернулся, положил на стол золотой и сурово сказал:

– Последний! Прятал на похороны. Берите! Радостный крик сотряс наши груди.

– Беру в кассу, – сказал Сандерс. – Что мы сделаем на эти деньги?

– Тут я на углу видел один ресторанчик... – несмело заметил Мифасов.

«Голодающие» на его рисунке сразу пополнили. Он приделал им животы, округлил щеки, прибавил мяса на руках и ногах и сказал:

– Произведения художника есть продукт его настроения. Налево за углом, вход с бульвара. Обед два франка с вином!!

– Bravo, Мифасов! Он заслуживает качанья. В первую же хорошую качку на море вы будете вознаграждены! За угол, господа, за угол!!

Было 13-е число. Весь Париж наряжался, украшался, обвешивался разноцветными лампочками; на улицах строили эстрады для музыкантов, драпируя их материей национального цвета. Уже приближался вечер, и пылкие французы не могли дожидаться завтрашнего дня, зажгли кое-где иллюминацию и плясали на улице под теплым небом, под звуки скрипок и флейт.

А мы сидели в комнате Мифасова без лампы, озаренные светом луны, и тоска – этот спутник сирых и голодных – сжимала наши сердца, которые теперь переместились вниз и свили себе гнездо в желудке.

Недоконченный этюд «Голодающие в Индии», снова реставрированный в сторону худобы и

нищенства, – смутно белел на столе своими страшными скелетообразными фигурами.

– Мама, мама, – прошептал я. – Знаешь ли ты, что испытывает твой сын, твой милый первенец?

– Постойте, – сказал Мифасов, очевидно, после долгой борьбы с собой. – У меня есть тоже мать, и я не хочу, чтобы ее сын терпел какие-нибудь лишения. В тот день, когда голод подкрадывался к нам – у меня были запрятанные 50 франков. Я спрятал их на крайний случай... на самый крайний случай, когда мы начнем питаться кожей чемоданов и безвредными сортами масляных красок!.. Но больше я мучиться не в силах. Музыка играет так хорошо, и улицы оживлены, наполнены веселыми лицами... сотни прекрасных дочерей Франции освещают площади светом своих глаз, их мелодичный смех заставляет сжиматься сердца сладко и мучи...

– По 12 с половиной франков, – сказал Сандерс. – Господи! Умываться, бриться! Черт возьми! Да здравствует Бастилия!

И мы, как подтаявшая льдина с горы, низринулись с лестницы на улицу.

Какое-то безумие охватило Париж. Все улицы были наполнены народом, звуки труб и барабанов прорезали волны человеческого смеха, тысячи цветных фонариков кокетливо прятались в темной зелени деревьев, и теплое летнее небо разукрасилось на этот раз особенно роскошными блистающими звездами, которые весело перемигивались, глядя на темные силуэты пляшущих, пьющих и поющих людей.

Милый, прекрасный Париж!..

Как танцуют на улице? Играют оркестры?!

Невероятным кажется такое веселье русскому человеку.

Бедная, темная Русь!.. Когда же ты весело запляшешь и запоешь, не оглядываясь и не ежась к сторонке?

Когда твои юноши и девушки беззаботно сплетутся руками и пойдут танцевать и выделывать беззаботные скачки?

Желтые, красные, зеленые ленты серпантина взвиваются над толпой и обвивают намеченную жертву, какуюнибудь черномазую модистку или простоволосую девицу, ошалевшую от музыки и веселья.

На двести тысяч разбросает сегодня щедрый Париж бумажных лент – целую бумажную фабрику, миллион сгорит на фейерверке и десятки миллионов проест и пропьет простолюдин, праздную свой национальный праздник.

Сандерс тоже не дремлет. Он нагрузился серпантином, какими-то флажками, бумажными чертями и сам, вертлявый, как черт, носится по площади, вступая с девицами в кокетливые битвы и расточая всюду улыбки; элегантный Мифасов взобрался верхом на карусельного слона и летит на нем с видом завязанного авантюриста. Мы с Крысаковым скромно пляшем посреди маленькой кучки поклонников, вполне одобряющих этот способ нашего уважения к французам. Писк, крики, трубный звук и рев карусельных органов.

А на другое утро Сандерс, найдя у себя в кармане обрывок серпантина, скорбно говорил:

– Вот если бы таких обрывков побольше, склеить бы их, свернуть опять в спираль, сложить в рулон и продать за 50 сантимов; двадцать таких штучек изготовить – вот тебе и 10 франков.

Крысаков вдруг открыл рот и заревел.

– Что с вами?

– Голос пробую. Что, если пойти нынче по кафе и попробовать петь русские национальные песни; франков десять, я думаю, наберешь.

– Да вы умеете петь такие песни?

– Еще бы!

И он фальшиво, гнусавым голосом запел:

Матчиш прелестный танец –
Шальной и жгучий...
Привез его испанец –
Брюнет могучий.

– Если бы были гири, – скромно предложил я. – Я мог бы на какой-нибудь площади показать работу гириями... Мускулы у меня хорошие.

– Неужели вы бы это сделали? – странным, дрогнувшим голосом спросил Сандерс.

Я вздохнул:

– Сделал бы.

– Гм, – прошептал он, смахивая слезу. – Значит, дело действительно серьезно. Вот что, господа! Мифасов берег деньги на случай питания масляными красками и кожей чемоданов. Я заглянул дальше; на самый крайний, на крайний случай, – слышите? – когда среди нас начнет свирепствовать цинга и тиф – я припрятал кровные 30 франков. Вот они!

– Bravo! – крикнул, оживившись, Крысаков. – у меня как раз цинга!

– А у меня тиф! Мифасов сказал:

– Тут... на углу... я...

– Пойдем.

Грохот восьми ног по лестнице разбудил тишину нашего мирного пансиона.

Когда мы были в «Кабачке мертвецов» и Сандерс, уходя, сказал шутовскому привратнику этого кабака, где слуги поносили гостей, как могли: «Прощайте, сударь!», тот ответил ему привычным, заученным тоном: «Прощайте, туберкулезный!»

Конечно, это была шаблонная шутка, имевшая успех в этом заведении, но сердце мое сжалось: что, если в самом деле слабым здоровьем Сандерс заболит с голодухи и умрет?..

Последние десять франков ухлопали мы на это кошунственное жилище мертвых, будто бы для того придя сюда, чтобы привыкнуть постепенно к неизбежному концу.

– Удивляюсь я вам, – сказал мне Крысаков. – Человек вы умный, а не догадались сделать того, что сделал каждый из нас! Припрятать деньжонок про запас. Вот теперь и голодай. До открытия банков два дня, а я уже завтра с утра начинаю питаться верблюжьим хлебом.

– Чем?

– Верблюжьим хлебом. В Зоологическом саду верблюдов кормят. Я пробовал – ничего. Жестко, но дешево. Хлебец стоит су.

– Ну, – принужденно засмеялся я. – у вас, вероятно, у кого-нибудь найдется еще несколько припрятанных франков – «уже на самый крайний случай – чумы или смерти».

– Я отдал все! – возмутился Мифасов. – Запасы имеют свои границы.

– И я.

– И я!

– Я тоже все отдал, – признался я. – Натура я простодушная, без хитрости, я не позволю утаивать что-нибудь от товарищей, «на крайний случай». А тут – чем я вам помогу? Не этой же бесполезной теперь бумажонкой, которая не дороже обрывка газеты, раз все меняльные учреждения закрыты.

И я, вынув из кармана русскую сторублевку, пренебрежительно бросил ее наземь.

– В Олимпию, – взревел Крысаков. – В Олимпию – в это царство женщин! Я знаю – там меняют всякие деньги!

Как нам ни противно было очутиться в этом царстве кокоток и разгула – пришлось пойти.

Меняли деньги... Крысаков был очень вежлив, но его «битте-дритте» звучало так сухо, что все блестящие ночные бабочки отлетали от него, как мотыльки от электрического фонаря, ударившись о твердое стекло.

В тот момент, когда, наконец, для французов красные, а для нас черные дни – кончились и наступили будни, мы получили пачку разноцветных кредиток и золота.

И в тот же момент в один истерический крик слились четыре голоса:

– В Россию!

– Домой!

– В Петроград!

– К маме!

Но кто проследит пути судьбы нашей? Кто мог бы предсказать нам, что именно в день отъ-

езда случится такой яркий потрясающий факт, который до сих пор вызывает в нас *трех* смешанное чувство ужаса, восторга и удивления?!

Милый, веселый, неприхотливый Крысаков... Ты заслуживаешь пера не скромного юмориста с однотонными красками на палитре, а, по крайней мере, могучего орлиного пера Виктора Гюго или героического размаха автора «Трех мушкетеров».

Постараюсь быть просто протокольным – иногда протокол действует сильнее всего.

Было раннее утро. Крысаков накануне вечером сговорился с нами идти в Центральный рынок поглазеть на «чрево Парижа», но, конечно, каждый из нас придерживался совершенно новой оригинальной поговорки: «вечер утра мудренее». Вечером можно было строить какие угодно мудрые, увлекательные планы, а утром – владычествовал один тупой, бессмысленный стимул: спать!

Крысаков собрался один. Жил он в другом пансионе с женой, приехавшей из Ниццы; с утра обыкновенно заходил к нам и не расставался до вечера.

В шесть часов утра хозяйка пансиона видела жильца, который на цыпочках, стараясь не шуметь, пробирался к выходу с вещами (ящик для красок и этюдник); в девять часов утра та же хозяйка заметила жену жильца, выходящую из своей комнаты с картонкой в руках. Хозяйка преградила ей путь и сказала:

– Прежде чем тайком съезжать, милые мои, – надо бы уплатить денежки.

– С чего вы взяли, что мы съезжаем? – удивилась жена Крысакова. – Я еду к модистке, а муж поехал на этюды, на рынок.

– На этюды? Все вы, русские, мошенники. И ваш муж мошенник.

– Не больше, чем ваш муж, – вежливо ответила жена нашего друга.

Затем произошло вот что: хозяйка раскричалась, толкнула квартирантку в грудь, отобрала ключ от комнаты, несмотря на уверения, что деньги лежат в комнате и могут быть заплачены сейчас, а потом квартирантка была изгнана из коридора и поселилась она в помещении гораздо меньшем, чем раньше, – именно на уличной тумбочке у парадных дверей, где она, плача, просидела до двух часов дня.

Она не знала, где найти мужа, который в это время, ничего не подозревая, весело завтракал с нами на полученные из Лионского кредита денежки.

Позавтракав, он вспомнил о семейном очаге, поехал домой и наткнулся на плачущую жену на тумбочке.

Наскоро расспросив ее, вошел побледневший Крысаков в зал пансиона, где за общим табльд'от сидело около двадцати человек аборигенов.

Мирно завтракали ветчиной и какой-то зеленью.

– Где хозяин? – спросил Крысаков.

– Я.

– Почему ваша жена безо всякого повода позволила себе толкнуть в грудь мою жену?

– О, – возразил хозяин, пренебрежительно махнув рукой. – Вы русские?

– Да.

– Так ведь русских всегда бьют. Русские привыкли, чтобы их били.

Привычному человеку, конечно, не особенно больно, когда его бьют. Но непривычный француз, получив удар кулаком в живот, заревел, как бык, и обрушился на маленький столик с цветочным горшком.

Несколько французов вскочили и бросились на славного, веселого, кроткого Крысакова.

Крысаков повел могучими плечами, ударил ногой по громадному столу, и все слилось в одну ужасающую симфонию звона разбитой посуды, стона раненых и яростного крика взбешенного Крысакова.

Вот подите ж: глупые разные «Земщины» и «Колоколы» с истинно дурацким постоянством из номера в номер уверяют десяток своих читателей, что сатириконцы – это жида (?!) без всякого национального чувства и достоинства.

А Крысаков безрассудно, без всякого колебания, полез один на двадцать человек именно за одну нотку в голосе хозяина, которая показалась ему безмерно горькой и обидной.

И вот когда заживевший в свободах француз поднял, по примеру всероссийского городового, руку на русского – в голове должно помутиться и рассудок должен отойти в сторону...

– Мерзавцы, – гремел голос нашего товарища. – Русских бьют? Не так ли вот? Или, может быть, этак?

Двое пытались уползти от него в дверь, один выскочил в раскрытое окно; какой-то глупец схватил палку, взбежал по винтовой лестнице в углу комнаты и пытался поразить оттуда всесокрушающего Крысакова; но тот схватил палку, стащил ее вместе с обладателем с лестницы и, задав ему солидную трепку, бросил палку под ноги двум последним удиравшим противникам.

Поломанные стулья, разбитая посуда, хрустящим ковром покрывавшая пол, и посередине Крысаков с мужественно поднятыми руками и ногой на животе лежащего без чувств хозяина...

Момент – и он забился в шести дюжих руках... Три полисмена схватили его, приглашенные расторопной хозяйкой пансиона.

– Полиция? – сказал Крысаков. – Сдаюсь. Это уже закон!

Но когда его привели в участок и комиссар предложил в резкой форме снять шляпу, Крысаков с любопытством спросил:

– А почему вы в шляпе?

Полисмен сзади ударом ладони сбил с Крысакова шляпу, но Крысаков повернулся и в один момент посбивал с полисменов кепи (по своей теории – «иногда и русские бьют»).

Нужно ли говорить еще что-нибудь?

Личное задержание, штраф, убытки за поломанную посуду и поврежденных французов – одним словом, мы уехали вдвоем с Сандерсом, оставив Крысакову для подкрепления Мифасова.

Потом они передавали нам, что русский консул, к которому Крысаков обратился за заступничеством, сказал:

– Знаете что? Не стоит поднимать истории... Заплатите им штраф и убытки. Правда, они первые оскорбили вашу жену... Но если бы недалеко были наши броненосцы, я бы говорил с ними. А так, что я могу сказать?! Что мы можем сказать?

Жалкое, забитое существо этот консул.

Нам говорили опытные люди, что если русский человек хочет найти серьезное заступничество – он должен обратиться к английскому консулу.

И вот мы едем в Россию.

В Вержболове поздоровались с жандармом, а Сандерс, изнемогая, остановил носильщика и сказал:

– Я хочу услышать от тебя хоть одно русское слово. Истосковался. Скажи мне его, это слово, вот тебе за это целковый.

– Мерси, – ответил расторопный носильщик. Пахло щами.

КОНЕЦ

ШУТКА МЕЦЕНАТА Юмористический роман

Часть I куколка

Глава I его величество скучает

– Должен вам сказать, что вы все – смертельно мне надоели.

– Меценат! Полечите печень.

– Совет не глупый. Только знаешь, Мотылек, какое лучшее лекарство от печени?

– Догадываюсь: всех нас разогнать.

– Вот видишь, почему я так глупо привязан к вам: вы понимаете меня с полуслова. Другим бы нужно было разжевывать, а вы хватаете все на лету.

– Ну, что ж... разгоните нас. А через два-три дня приползете к нам, как угрюмый крокодил с перебитыми лапами, начнете хныкать – и снова все пойдет по-старому.

– Ты, Мотылек, циничен, но не глуп.

– О, на вашем общем фоне не трудно выделиться.

– Цинизмом?

– Умом.

– Меня интересует один вопрос: любите вы меня или нет?

– Попробуйте разориться – увидите!

– Это опасный опыт: разориться не штука, а потом, если увижу, что вы все свиньи, любящие только из-за денег, – опять-то разбогатеть будет уже трудно!

– Я вас люблю, Меценат.

– Спасибо, Кузя. Ты так ленив, что эти четыре слова, выдвленные безо всякого принуждения, я ценю на вес золота.

В большой беспорядочной, странно обставленной комнате, со стенами, увешанными коврами, оружием и картинами, – беседовали трое.

Хозяин, по прозванию Меценат, – огромный, грузный человек с копной полуседых волос в голове, с черными, ярко блестящими из-под густых бровей глазами, с чувственными пухлыми красными губами – полулежал в позе отдыхающего льва на широкой оттоманке, обложенный массой подушек.

У его ног на ковре, опершись рукой о края оттоманки, сидел Мотылек – молодой человек с лицом, покрытым прихотливой сетью морщин и складок, так что лицо его во время разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью. Одет он был с вычурной элегантностью, резко отличаясь этим от неряшливого Мецената, щеголявшего ботинками с растянутыми резинками по бокам и бархатным черным пиджаком, обильно посыпанным сигарным пеплом.

Третий – тот, кого называли Кузей, – бесцветный молодец с жиденькими усишками и вылинявшими голубыми глазами – сидел боком в кресле, перекинув ноги через его ручку, и ел апельсин, не очищая его, а просто откусывая зубами кожуру и выплевывая на ковер.

– Хотите, сыграем в шахматы? – нерешительно предложил Кузя.

– С тобой? Да ведь ты, Кузя, в пять минут меня распластает, как раздавленную лягушку. Что за интерес?!

– Фу, какой вы сегодня тяжелый! Ну, Мотылек прочтет вам свои стихи. Он, кажется, захватил с собой свежий номер «Вершин».

– Неужели Мотылек способен читать мне свои стихи? Что я ему сделал плохого?

– Меценат! С вами сегодня разговаривать – будто жевать промокательную бумагу.

В комнату вошла толстая старуха с сухо поджатыми губами, остановилась среди комнаты, обвела ироническим взглядом компанию и, пряча руки под фартуком, усмехнулась:

– Вместо, чтоб дело какое делать – с утра языки чешете. И что это за компания такая – не понимаю!

– А-а, – радостно закричал Мотылек, – Кальвия Криспинилла! *Magistra libidinium Neronis!*

– А чтоб у тебя язык присох, бесстыдник! Эткими словами старуху обзываешь! Боря! Я тебя на руках нянчила, а ты им позволяешь такое! Нешто можно?

– Мотылек, не приставай к ней. И что у нее общего, скажи, пожалуйста, с Кальвией Криспиниллой?

– Ну, как же. Не краснейте, Меценат, но я пронюхал, что она ведет регистрацию всех ваших сердечных увлечений. *Magistra libidinium Neronis!*

– Гм... А каким способом ты будешь с лестницы спускаться, если я переведу ей по-русски эту латынь?..

– Тесс! Я сам переведу. Досточтимая Анна Матвеевна! «*Magistra libidinium Neronis*» – по-нашему, «женщина, украшенная добродетелями». А чем сегодня покормите нас, звезда незакатная?

- Неужто уже есть захотел?
- Дайте ему маринованного щенка по-китайски, – посоветовал Кузя. – Как ваше здоровье, Анна Матвеевна?
- А! И ты здесь. И уж с утра апельсин жрешь. Проворный. А зачем шкурки на пол бросаешь?
- Что вы, Анна Матвеевна! Я, собственно, бросал их не на пол, а наоборот, в потолок... но земное притяжение... сами понимаете! Деваться некуда.
- Эко, язык у человека без костей. Боря, чего заказать на завтрак?
- Анна Матвеевна! – простонал Меценат, зарывая кудлатую голову в подушки. – Неужели опять яйца всмятку, котлеты, цыплята? Надоело! Тоска. Мрак. Знаете что? Дайте нам свежей икорки, семги, коньяку да сварите нам уху, что ли... И также – знаете что? Тащите все это сюда. Мы расстелим на ковре скатерть и устроим этакий пикничок.
- В гостиной-то? На ковре? Безобразия какое!
- Анна Матвеевна! – сказал Мотылек, поднимаясь с ковра и приставляя палец к носу. – Мы призваны в мир разрушать традиции и создавать новые пути.
- Ты не смей старухе такие слова говорить. То-то ты весь в морщины пошел. Взять бы уютю хороший да разгладить.
- Боже вас сохрани, – лениво сказал Кузя, вытирая апельсиновый сок на пальцах подкладкой пиджака, – его морщины нельзя разглаживать.
- Почему? – с любопытством осведомился Меценат, предвидя новую игру вялого Кузиноного ума.
- А как же! Знаете, кто такой Мотылек? Это «Человек-мухоловка». В летний зной – незаменимо! Гений по ловле мух! Сидит он, расправив морщины, и ждет. Мухи и рассядутся у него на лице. Вдруг – трах! Сожмет сразу лицо – мух двадцать в складках и застрянут. Сидит потом и привлекает их, полураздавленных, из морщин, бросая в пепельницу.
- Тьфу! – негодуяще плюнула старуха, скрываясь за дверью.
- Громкий смех заглушил стук сердито захлопнутой двери.

Глава II первое развлечение

Не успел смех угаснуть, как послышался топот быстрых ног и, крутясь, точно степной вихрь, влетел высокий, атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой.

Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе, бурно дыша.

– Вот и Телохранилителя черт принес, – скорбно заметил Кузя. – Прощай теперь две трети завтрака.

– Удивительно, – промямлил Мотылек, – у этого Новаковича физическая организация и моральные эмоции, как у черкасского быка, но насчет свежей икры и мартелевского коньяку – деликатнейшее чутье испанской ищейки.

– Так-то вы меня принимаете, лизоблюды?! – загремел Новакович, схватывая своими страшными руками тщедушного Кузю и усаживая его на высокий книжный шкаф. – А я все стараюсь, ночей для вас не сплю!..

– Телохранилитель, – жалобно попросил Кузя. – Сними меня, я больше не буду.

– Сиди!

– Телохранилитель! Я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня. У тебя тело греческого бога...

Новакович самодовольно усмехнулся и, как перышко, снял Кузю со шкафа.

– Тело греческого бога, – добавил Кузя, прячась за кресло, – а мозги, как греческая губка.

Раздался писк мыши в могучих кошачьих лапах – снова Кузя, как птичка, вспорхнул на шкаф.

– Меценат! – прогремел Новакович. – Вы скучаете?

- Очень. Ты ж видишь. У этих двух слизняков нет никакой фантазии.
- Меценат! Можете заплатить за хорошее развлечение 25 рублей?
- Потом.
- Нет, эти денежки – мои кровные. Предварительные расходы. Надо вам сказать, ребята, что нынче утром выхожу я из дому, сажусь в экипаж...
- В трамвай!.. – как эхо отозвался с высоты Кузя.
- Ну, в трамвай, это не важно. Подкатываю к ресторану...
- ...называемому харчевней, – поправил Кузя.
- Что? Ну, такое, знаете... Кафе одно тут. Вроде ресторана. Сажусь, заказываю бутылочку шипучего...
- ...квасу, – безжалостно закончил Кузя.
- Что-о? – грозно заревел Новакович.
- Сними меня – тогда ври, сколько хочешь. Слова не скажу.
- Сиди, бледнолицая собака. Ну, ребята, долго ли, коротко ли – не важно, но познакомился я в этом кафе с одним молодым человеком... Ароматнейший фрукт! Бриллиантовая капля росы на весеннем листочке! Девственная почва. Представьте – стихи пишет!! А? Каков подлец?! Будто миру мало одного Мотылька, пятнающего своими стихирами наш и без того грязный земной шарик!
- Телохранитель! – прошипел, как разъяренный индюк, Мотылек. – Не смей ругать мою землю. В Писании о тебе сказано: из земли ты взят, в землю и вернешься. И чем скорее, тем лучше.
- Ага! Не любишь беспристрастной критики?! Кстати, вы знаете, какие стихи мастачит мой новый знакомый? Я запомнил только четыре строчки:

В степи – избушка.
Кругом – трава,
В избе – старушка
Скрипит едва!..

- Каково? Запомните, чтоб цитировать. Я его с собой привел.
- Кого?!
- Этого самого. Внизу ждет. Я ему сказал, что это очень аристократический дом, где нужно долго докладывать.
- В скучающих глазах Мецената загорелось, как спичка на ветре, ленивое любопытство.
- Веди его сюда, Новакович. Если он действительно забавный – пусть кормится. Нет – сплавим.
- Двадцать пять рублей, – хищно сказал Новакович, – я на него потратил. Ей-богу, имея вас в виду! Верните, Меценат.
- Возьми там. В ящике стола. Вы, дьяволы, для меня хоть бы раз что-нибудь бесплатно сделали.
- Ах, милый Меценат. Жить-то ведь надо. Хорошо вам, когда сделал в чековой книжке закорючку – и сто обедов с шампанским в брюхе. А мы народ трудящийся.
- Когда он прятал вынутые из ящика деньги, Мотылек сказал, поглаживая жилетный карман:
- Телохранитель! Ты теперь обязан из этих денег внести четыре рубля за мои часы в ломбарде. Иначе я испорчу твоего протеже. Все ему выболтаю – как ты его Меценату продаешь. Меценат удивился:
- Опять деньги на часы? Да ведь ты у меня вчера взял на выкуп часов?!
- Не донес! Одной бедной старушке дал.
- Не той ли, что скрипит в избушке, а кругом трава?
- Нет, моя старушка городская.
- Как теперь быстро стареют женщины, – печально сказал Кузя сверху. – В двадцать два года – уже старушка.
- Мотылек покраснел:

– Молчи там, сорока на крыше!

Вышедший во время этого разговора Новакович вернулся, таща за руку так разрекламированную им «бриллиантовую каплю росы».

Глава III куколка

Это был застенчивый юноша, белокурый, голубоглазый, как херувим, с пухлыми розовыми губами и нежными шелковистыми усиками, чуть-чуть видневшимися над верхней губой. Одет он был скромно, но прилично, в синий, строгого покроя костюм, в лаковые ботинки с серыми гетрами и с серой перчаткой на левой руке.

– Вот он – тот, о котором я говорил. Замечательный поэт! Наша будущая гордость! Байрон в юности. А это вот тот аристократический дом, о котором я вам рассказывал. Немного чопорно, но ребята все аховые. Тот, что на диване, – хозяин дома – Меценат, а этот низший организм у его ног – Мотылек. Он – секретарь журнала «Вершины» и может быть полезен вам своими связями.

– Очень приятно, – робко пролепетал юноша, тряся пухлую Меценатову руку с длинными холеными ногтями. – Я очень, очень рад. Новакович много о вас говорил хорошего. Моя фамилия – Шелковников. Имя мое – Валентин. Отчество – Николаевич...

– Бабушку мою звали Аглая, – в тон ему сказал Кузя, свешивая голову с вершины шкафа. – Мопсика ее звали – Филька. Меня зовут Кузя. Познакомьтесь и со мной тоже и, если можете, – снимите меня со шкафа.

Шелковников с изумлением поглядел наверх и только теперь заметил Кузю, беспомощно болтавшего ногами.

– Простите, – смущенно воскликнул он. – Я вас и не заметил. Очень приятно. Моя фамилия Шелковников. Мое имя...

– И так далее, – сказал Кузя. – Снимете меня или нет?

– Не трогайте его, – схватил Шелковникова за руку Новакович. – Это я наказал его за грубость нрава. Пусть сидит.

Вошла Анна Матвеевна с приборами на подносе, с двумя бутылками коньяку и скатертью под мышкой.

– Этого еще откуда достали, – ворчливо сказала она, оглядывая новоприбывшего. – Ишь ты, какой чистенький да ладный. И как это вас мамаша сюда отпустила?

Заметив, что гость окончательно смутился, Меценат попытался ободрить его:

– Не обращайтесь на нее внимания – это моя старая Анна Матвеевна. Она вечно ворчит, но предобрая.

Юноша вежливо поклонился, чуть-чуть прищелкнув каблуком, и почел нужным представиться старухе:

– Очень рад. Моя фамилия Шелковников, мое имя...

– Уху сварили, Кальвия Криспинилловна? – осведомился Мотылек, оттирая плечом нового гостя. – Знаешь, Телохранитель, у нас сегодня пикник в этой комнате. На ковре будем уху есть. Ловко?

– Взять бы хорошую палку... – добродушно проворчала старуха, – да и... А вы чего же, сударь, стоите? Присели бы. А лучше всего, скажу я вам, не путайтесь вы с ними. Они – враги человеческие! А на вас посмотреть – так одно удовольствие. Словно куколка какая.

– Ур-ра! – заревел Новакович. – Устами этой пышной матроны глаголет сама истина. Гениально сказано: «Куколка»! Мы сейчас окрестим вас этим именем. Да здравствует Куколка! Меня зовите Телохранителем, ибо я в наших похождениях охраняю патриция Мецената от физической опасности, а то птичье чучело на шкафу называется Кузя.

– Снимите меня, – попросил Кузя, обрадованный, что вспомнили и о нем.

– Сиди! Там наверху воздух чище. Дыши горным воздухом!

Новокрещеный Куколка, оглушенный всеми этими спорами и криками, не знал, в какую сторону поворачиваться, кого слушать...

Меценат ему показался самым уравновешенным, самым спокойным. Поэтому он деликатно протискался бочком сквозь заполнивших всю комнату Мотылька и Телохраниителя, придвинул к Меценату стул и сел, осведомившись с наружно независимым видом:

– Как поживаете?

– Благодарю вас, – вежливо отвечал Меценат, пряча в седеющие усы улыбку полных и красных губ. – Скучаю немножко.

– А вы бы искусством занялись. Поэзией, что ли?

– Хорошо, займусь, – согласился покладистый Меценат. – Завтра же.

– Я еще молодой, но очень люблю поэзию. Это как музыка... Правда?

– Совершеннейшая правда.

– Скажите, это ваша фамилия такая – Меценат?

– Фамилия, фамилия, – подскочил Мотылек, протискиваясь между разговаривающими и фамильярно присаживаясь на оттоманку. – Наш хозяин сам родом из римлян. Происходит из знаменитого угасшего рода. В нем умер Нерон, и слава Богу, что умер. А то бы, согласитесь сами, неприятно было попасть в его сад в виде смоляного факела. А теперь это – какое прекрасное угасание! А? И от всей былой роскоши осталась только Кальвия Криспинилла – *Magistra libidinum Neronis*.

– Это... латынь? – простодушно спросил Куколка.

– Испанский, но не важно. Скажите, вы не родственник одного очень талантливого поэта – Шелковникова?

– Нет... Не знаю... А что он писал?

– Ну, как же! У него чудные стихи. Одни мы даже заучили наизусть. Как это?..

В степи – избушка, Кругом – трава, В избе – старушка Скрипит едва.

Чудесно! Кованный стих.

– Позвольте, – расцвел как маковый цвет Куколка. – Да ведь это же мои стихи!.. Откуда вы их знаете? Ведь я их даже не печатал!

– Помилуйте! По всему Петербургу в рукописных списках ходят. Неужели это ваши?! Да что вы говорите? Позвольте мне пожать вашу руку!.. Это чудно! Какая простота и какая чисто пушкинская сжатость!.. Кузя, тебе нравится?

– Я в форменном восторге, – сказал сверху Кузя, позевывая. – Кисть большого мастера. Ни одного лишнего слова: «В степи – избушка!» Всего три слова, а передо мной рисуется степь, поросшая ковылем и ароматными травами, далекая, бескрайняя... И маленькой точкой на этой беспредельной равнине маячит покосившаяся серая избушка с нахлобученной на самые двери крышей...

И Кузя замолчал, погружившись в задумчивость. На самом деле он был так ленив, что ему не хотелось лишний раз повернуть языком. Впрочем, немного потрудился: поднял голову и подмигнул, предоставляя дальнейшее подвижному Мотыльку.

Мотылек сложил свое гуттаперчевое лицо в гармонику и пылко продолжал:

– А это: «Кругом – трава!» Трава, и больше ничего. Стоп. Точка. Но я чувствую аромат этой травы, жужжание тысячи насекомых. Посмотрим дальше... «В избе – старушка». И верно! А где же ей быть? Не скакать же по траве, как козленку. Не такие ее годы. И действительно поэт тут же веско подкрепляет это соображение: «Скрипит едва». Кругом пустыня, одинокая старость – какой это, в сущности, ужас! Что ей остается? Скрипеть!

Меценат опустил голову и закрыл рукой лицо с целью скрыть предательский смех, а Куколка ясным взором восторженно оглядывал всю компанию и поддакивал:

– Да, да!.. Я вижу, вы поняли мой замысел.

– Мотылек! – сказал расставшийся окончательно со своей тоской Меценат. – Ты должен устроить эти стихи в какой-нибудь журнал.

– Обязательно устрою. За такие стихи всякая редакция зубами схватится.

Новакович отвел Куколку в сторону и спросил шепотом:

– Ну, как вам нравится общество, в которое я вас ввел?

– Чудесное общество. Они все такие тонкие, понимающие...

– Еще не то будет. Вы коньяк пьете?

– Да... собственно, не пью...

– Ага! Ну, значит, выпьете. Анна Матвеевна! Надеюсь, икорка у вас на льду стояла?

– Для тебя еще буду на лед ставить!..

– Анна Матвеевна! Не забывайте, что я знал вашего папу.

– Врешь ты все, – проворчала скептическая старуха. – Он уж лет тридцать будет как помер.

– Ну, что ж. А мне уже под пятьдесят. Вы не смотрите, что я такой моложавый. Это я в спирту сохранился. Боже, как быстро жизнь мчится! Как сейчас помню вашего отца... Веселый был старик! Мы с ним часто рыбу удили...

– Да, неужто ж, верно, знал отца?! – зацепилась на удочку старуха. – Нешто ты тоже зарайский?

– Я-то? Всю жизнь. Еще, помню, у вашего папы коровка была... серенькая такая...

– Бурая.

– Во-во. Серовато-бурая. Хорошее молоко давала. Старик часто меня угощал. «Сережа, говорит, ты мне первый друг. Жалко, говорит, что моя дочка Анюта уже замуж вышла. А то был бы ты мне зятем».

– Скажете тоже! – застыдилась Анна Матвеевна, расстилая на ковре скатерть.

У Новаковича была странная натура: он мог так нахально рассказывать о самых невероятных вещах, способен был так просто и самоуверенно лгать, что одним своим тоном мог поколебать недоверие самого скептического слушателя.

Почему-то из всей компании нянька Мецената отдавала предпочтение именно Новаковичу и даже изредка высыпала ему в карман целую сахарницу колотого сахара, который он ел, уверяя всех, что сахар придает крепость костям.

Приятелям он рассказывал:

– Отчего я такой сильный? Исключительно от сахара. Да еще сырую морковь ем, как заяц. Поэтому медный пятак мне согнуть в трубку ничего не стоит.

– Ну, вот тебе пятак – согни его.

– Зачем же его портить, – хладнокровно говорил Новакович, опуская пятак в карман, – он мне на трамвай пригодится.

– Экий ты, братец. Ну, вот тебе еще пятак – согни.

– Вот спасибо. На первый пятак я проеду только туда, а на второй смогу вернуться обратно.

И второй пятак находил упокоение вместе с первым в широком кармане студенческих брюк Новаковича.

Куколка сидел притихший, широко раскрытыми глазами глядя на приготовления к завтраку, которые никак не вязались с «чопорным аристократическим домом», как характеризовал квартиру Мецената Новакович.

– Почему эта старуха накрывает завтрак на полу? – робко шепнул он Новаковичу.

– О, это странная история, – с готовностью объяснил Новакович. – у нее была семья из восьмидесяти двух человек, и все они один за другим умирали, и всех их она видела мертвыми на столе! И поэтому с тех пор стол, по ее понятиям, – святое место, которое не должно оскверняться икрой и коньяком!..

– Как это удивительно! – воскликнул Куколка. – Помоему, вот сюжет для жуткой баллады в стиле Жуковского.

– И очень просто! Вы бы записали, чтоб не забыть.

– Ей-богу, запишу.

Когда все, кроме забытого Кузи, улеглись на ковер спинами вверх и принялись за коньяк с икрой, Кузя взвыл:

– Телохранилитель! Сними или я прыгну вниз и сломаю ногу.

– Какие у меня мозги?

– Замечательные! Галилей, Коперник, Ньютон и Эдисон – причудливо соединились в твоей черепной коробке.

– Не люблю грубой лести, сиди.

Видя, что яства и пития исчезают с поражающей быстротой, Кузя решил помочь себе сам: лег на верхушку шкафа и, открыв его дверцы, принялся сбрасывать огромные томы «Словаря» с верхних полок – на пол.

Меценат равнодушно поглядывал на такое варварское обращение с его библиотекой, а Новакович и Мотылек тихо хихикали, ерзая животами по ковру.

Когда груда сброшенных книг оказалась достаточной – Кузя повис на шкафу и сполз вниз, приветствуемый кошунственными словами Мотылька:

– Сошествие Святого Духа на апостолов.

Икру ели столовыми ложками из объемистой миски, коньяк пили из чашек, потому что наливание в рюмки отнимало, по словам Новаковича, массу времени. Меценат был щедр, как король, и радушно потчевал Куколку, чуть ли не вмазывая ему в рот полные ложки икры.

Подвыпивший Куколка болтал без умолку:

– Я раньше не верил в себя, а теперь, с сегодняшнего дня верю! Я напишу целую книгу и посвящу ее господину Меценату!

– Пиши, старик, пиши, – поддакивал Мотылек. – Мы тебя не покинем! Здорово это у тебя вышло о старушке:

В лесу старушка
Сидит в кадлушке,
Скрипит избушка...

– Позвольте... Вы перепутали...

– Не важно! Главное – музыка стиха.

– А что, Куколка? – спросил Новакович. – Что, если переложить эти стихи на музыку? Я бы и переложил.

– Да разве вы композитор?

– Я-то? Вы оперу «Майская ночь» слышали?

– Но ведь это вещь Римского-Корсакова?!

– Вот я и говорю – знаете «Майскую ночь» Римского-Корсакова? Так я могу написать в десять раз лучше!

– А вы в шахматы играете? – осведомился Кузя.

– Очень плохо.

– То-то и оно. Я вам могу дать вперед коня и пешку.

– Неужели вы так хорошо играете?

– Замечательно! – скромно заявил Кузя.

– Он может играть с вами партию, не только не глядя на доску, но даже не спрашивая, какой ход вы сделали.

– Да как же это так? – изумился Куколка.

– Догадывается. О, это прехитрая бестия. Мотылек нашел нужным сказать и свое слово:

– Читали мои стихи?

– А вы тоже... поэт?

– Гм... конечно, не такой, как вы, однако половина моих стихов попала во все гимназические хрестоматии.

Один Меценат молчал, но видно было, что он искренно наслаждался беседой, изредка расширяя ноздри, будто вдыхая аромат невероятного простодушия, наивности и доверчивости Куколки.

После ухи Меценат поднял чашку за здоровье своего юного гостя и попросил Мотылька:

– Сыграй нам Шопена.

Желание Мецената всегда для всех было законом. Мотылек вскочил, сел за рояль и запел очень приятным голосом:

В степи стоит себе избушка,

Кругом трава, трава, трава...
Живет себе в избе старушка.
И хоть скрипит себе едва,
Но, в руки взяв вина стакан,
Танцует все канкан, канкан...

– У меня немножко не так... – попытался нерешительно протестовать Куколка.

– Я знаю, но по музыке нельзя иначе.

Развеселившийся Меценат велел подать шампанского, и все с бокалами в руках спели застольную песню все о той же безропотной старушке.

Ушел Куколка, очарованный обществом, крепко потрясая всем руки и обещая, что он «никогда, никогда не забудет этого чудного дня и что он, если позволят, будет приходить часто-часто»...

Когда амфитрион и его веселые клеветы остались одни, Новакович стал посреди комнаты, засунул руки в Карманы и вызывающе сказал:

– Ну??!!

– Этот человек действительно стоит 25 рублей, – тоном специалиста определил Меценат. – Его нужно прикормить здесь.

– Хотите, я для смеху напечатаю его стихи в журнале? – предложил Мотылек.

– Надо сделать больше, – подхватил Кузя. – Мы должны сделать из него знаменитость. Я завтра дам в свою газету о нем заметку.

– Одну? Нужно дать ряд заметок. А потом мы устроим вечер его произведений!

Таким образом – однажды в сумерки была организована эта противоестественная издательская кампания, направленная против святой простоты доверчивого, наивного, глуповатого юноши...

Глава IV вообще о меценате

Странный господин этот Меценат. По существу, неплохой человек, он с ранней юности был заедаем скукой, и эта болезнь вела его жизнь по самым причудливым, прихотливым путям.

Богатство избавляло его от прозы добывания средств к существованию, и поэтому неистощимый запас дремавшей в нем энергии и пылкой фантазии он направлял в самые неожиданные стороны.

Много путешествовал, но без толку. Приехав в любую страну, он не знакомился с ней, как все другие путешественники, не осматривал музеев и достопримечательностей, а, осев где-нибудь в трущобном кабачке, заводил знакомства с рыбаками, с матросами, дружился с этим полуоборванным людом и, угостив шумную компанию, потом с наслаждением созерцал их бурные споры, ссоры и потасовки.

Горячо любил всякую живую жизнь, но как-то так случалось, что искал он ее не там, где нужно.

Писал очень недурные рассказы, но не печатал их. Прекрасно импровизировал на рояле, но тут же забывал свои творения.

Временами целые дни валялся на диване с «Историей французской революции» или «Похождениями Рокамболя» в вялых руках, а потом вдруг на него напала дикая энергия и он носился с компанией своих приспешников из подозрительных трактиров в первоклассные рестораны и обратно, шумя, втягивая в свою орбиту массу постороннего народа, инсценируя ссоры, столкновения и разрешая их гомерическим пьянством.

И потом после двух-трех таких бурных дней снова тихо опускался на дно, как безгласный труп утопленника...

Он был женат, и это, пожалуй, можно назвать самой большой нелепостью его жизни... Зачем он женился?

Ответ можно было найти один: Меценат пылко, истерически любил всякую красоту – в красках ли, в звуке, в шелесте спелой ржи или в текучей изменчивости подвижного лица прекрасной женщины.

Поэтому встреча с Верой Антоновной и решила его бестолковую судьбу.

Она была прекрасна – высокая пышная брюнетка с мраморным телом и глазами, как две звезды освещавшими матово-бледное лицо. Такой соблазнительной ножки и трепетных гибких рук Меценат не встречал за всю свою жизнь, и поэтому он решил вопрос просто:

– Или эта женщина будет моей, или я умру.

Из того, что он не умер, ясно для читателя решение этой дилеммы в его пользу.

Эта роскошная красавица была невероятно ленива, ум ее и тело были всегда в дремлющем состоянии; поэтому, когда Меценат впервые ее поцеловал, она, полуразбуженная, недоумевающе осведомилась:

– Чего это вы там возитесь около моего лица? Такой вопрос еще больше привел его в восхищение:

– О, прекрасная мраморная статуя! Это я вас поцеловал.

– Здравствуйте! Была охота. Неужели это вам доставляет удовольствие?

– Слушайте, – пылко сказал Меценат. – Мне бы очень хотелось, чтобы вы вышли за меня замуж! Я вижу, вы любите спокойную малоподвижную жизнь – я дам вам ее! Я настолько богат, что могу окружить вас чисто восточной роскошью, полной неги, лени и наслаждений!

– А? – переспросила она музыкальным, но сонным голосом. – Простите, я не расслышала.

И добавила с очаровательной простотой:

– Я, кажется, задремала... Повторите, что вы сказали.

Меценат повторил, разукрасив свое предложение пышными цветами своей дикой иступленной фантазии.

– Жениться на мне хотите, что ли? – кратко сформулировала она поток его красноречия.

– Да, да, божественная статуя Киприды!..

– А вы не будете меня... тормозить?..

– О, нет. После медового месяца – полная свобода.

– Слушайте... только, по-моему, женитьба – это такая возня... Портнихи, какие-то документы, обручение. Вы человек очень приятный, но... нельзя ли без этого?

– Без... чего?

– Без того, чтобы меня тормозили.

– Вот что... У вас завтра найдется полчаса свободного времени?

– Увы, я уж чувствую, что это будут «несвободные полчаса времени». Чем вы хотите меня занять?

– Я все устрою раньше. Ваше дело только – заехать в церковь обвенчаться.

– Неужели это можно так просто? – поглядела она на него, приятно удивленная.

– Да, да – только полчаса. А потом мы с вами поедem путешествовать.

– Только поедem куда-нибудь подальше. Хорошо? В вагоне экспресса так удобно. А вылезешь – бррр... Носильщики, суета, толпа на вокзале... В отеле нужно устраиваться... Что вы так на меня смотрите? Послушайте! Неужели я вам нравлюсь такая?

– Больше, чем когда-либо! Да ведь это клад – спящая красавица! По крайней мере, лень помешает вам говорить и делать глупости...

– А? Что вы говорите?

Он пылко целовал ее, а она, сложив классически изящные руки на прекрасных коленях, погрузилась в сладкую дремоту...

После свадьбы Меценат сделал все по желанию Веры Антоновны: полтора месяца они носились в экспрессах по всей Европе – он пылкий влюбленный, она в состоянии сладкой неподвижности и полудремоты... Никогда еще в мире не было большего контраста между бешено мчавшимся экспрессом и этим роскошным неподвижным телом, безмятежно покоящимся в его железных недрах.

Через полтора месяца эта удивительная пара вернулась, и Меценат любовно устроил жену на

отдельной квартире, потому что, как объяснила она, «так меньше беспокойства».

Жили они дружно, потому что Меценат, насытившись первым пылом страсти, не докучал ей своими посещениями, снова погрузившись в мир Мотыльков, Телохраниителей и пикников с ухой на дорогом персидском ковре в своей дикой гостиной... Перебесился, благосклонно объясняла нянька, преклонявшаяся перед Меценатом.

Глава V о клеветках мецената

Эту странную коллекцию «развратных молодых людей, впоследствии разбойников» – как называл своих клеветок Меценат, пользуясь ремаркой Шиллера, – он составлял постепенно...

Первым к нему пристал Кузя.

Однажды Меценат сидел в задней комнате темного кафе, играя с незнакомым унылым старцем в шахматы.

Кузя, ленивый репортер одной плохо читаемой газетки, сидел тут же и, хлопая отяжелевшими веками, следил за игрой...

После одного из ходов унылого старика Кузя посоветовал:

– Возьмите у него коня.

– Что вы, милый мой! Да ведь тогда он делает королю и королеве «вилку» и забирает королеву.

– Ах, да!.. – сконфуженно сказал Кузя.

Через два-три хода Кузя снова дал преглупый совет:

– Двиньте этой пешкой, двиньте!

– Да ведь тогда король открывается.

– Ах да!..

– То-то вот «ах да!» – добродушно сказал Меценат, делая старичку мат. – Гнилой вы игрок, я вижу. Хотите, сыграем, я вам дам вперед королеву.

– Не знаю уж, как и быть... – нерешительно пробормотал Кузя. – Уж больно я плохо играю. По рублику разве одну партию.

Сыграли. Кузя выиграл с большим трудом и усилиями. Сыграли вторую партию. Эту Кузя выиграл легче.

– Нет, королеву вперед мне трудно, – признался Меценат. – Хотите коня?

– Давайте коня, – после некоторого колебания согласился Кузя и... выиграл и эту партию.

– Желаете ли на квит без форы? – предложил Меценат, совершенно обескураженный таким странным случаем.

– Желая, – коротко согласился Кузя и... выиграл. На седьмой партии уже Кузя давал Меценату вперед коня – и к концу игры толстый бумажник Мецената значительно похудел.

– А вы ловкий парень, – рассмеялся Меценат, кончая игру.

– Да, я ловкий, – согласился Кузя. – А вам наука: не играйте так азартно с незнакомыми.

– Ну, теперь, я надеюсь, мы не будем незнакомы, – любезно сказал восхищенный его цинизмом Меценат. – Пойдем, я угощу вас ужином.

– Нет, лучше я угощу. Я совершенно вас обыграл.

– О, у меня дома еще много денег.

И, увидев, как Кузя, не вынимая правой руки из кармана, пытался одной левой зажечь спичку о коробку, лежавшую на столе, воскликнул с неподдельным восторгом:

– Послушайте! Вы почти так же ленивы, как моя жена.

– Шахматный ум, – лаконически пояснил Кузя. – В обычной жизни дремлет.

– Вы шахматами только и живете?

– Нет, я репортер в «Голосе Утра». Если вас кто-нибудь ночью ограбит – позвоните ко мне. Я опишу это так, что сам преступник будет плакать, как дитя.

После ужина Меценат затащил Кузю к себе, и до утра за рюмками шартреза оба с приятностью проспорили об Эдгаре По, о лучших способах обнаруживать преступления и о красоте дон-

ских казачек.

Оба были энциклопедисты.

Встреча с Новаковичем произошла при более трагических обстоятельствах.

В 3 часа ночи в трактире «Иордань» – месте, наименее всего подходившем по своему характеру к этому кроткому библейскому наименованию, – карманный вор Гриша с пылом объяснял заинтересованному Меценату сложные приемы своего ремесла, демонстрируя способ ощупывания «пассажира», расстегивания пуговиц и извлечения бумажника.

Меценат не брезговал и таким обществом, потому что, как сказано было выше, любил «живую жизнь во всех ее проявлениях», а карманный вор Гриша был яркой личностью и специалистом в своей опасной профессии.

Поэтому Меценат забавлялся новинкой, как дитя, и, когда Гриша, показывая некоторые позиции правой и левой руки, ловко вытащил Меценатовы золотые часы уже не с целью демонстрации, а с корыстолюбивыми намерениями, Меценат тут же, повторяя Гришины пассы, незаметно извлек из Гришина галстука бриллиантовую булавку, после чего оба, хохоча, как дети, вернули друг другу вещи по принадлежности.

– А вы тоже ловкий, – отпустил Гриша галантный комплимент. – Вам бы подучиться, могли бы с нами вместе работать.

Тут же он, окликнутый товарищем, отошел на минуту от польщенного Мецената, а к Меценату приблизился кроткий, елейного вида мужчина с ласковыми глазами и предложил:

– Не хотите ли перекинуться в картишки? Тут, в задней комнате. Пойдем, господин, много выиграть можете, ежели повезет.

«Шулер, – мелькнуло в голове Мецената, – любопытно с ним сразиться...»

– Ну, что ж, пойдем, – благодушно согласился он вслух.

И уже собрался идти, как к столу приблизился огромный плечистый студент в узкой порыве тужурке – мирно уплетавший до этого объемистое блюдо сосисок с пивом за соседним столом, – приблизился и сказал спокойно, но увесисто:

– Нет, вы с ним не пойдете играть в карты.

– Почему? – с любопытством осведомился Меценат.

– Потому что...

– Послушайте, молодой человек... – кротко сказал елейный игрок. – Вы лучше бы не мешались не в свое дело, а?

– А ты, голубчик, лучше отойди, – не менее кротко посоветовал атлетический студент.

У «голубчика» лицо мгновенно изменилось, елейность слетела, как шелуха, и бешеный волк с горящими, как угли, глазами ощерился и защелкал зубами.

– Ну, ну, брось, – спокойно, но серьезно сказал студент. – Отойди. А! Чер-р-рт!

Последующее произошло так быстро, что Меценат не успел бы сосчитать до трех: елейный человек сделал неуловимое движение рукой, и в ней вдруг сверкнул, будто бы схваченный в воздухе короткий финский нож. Он так и застыл на весу, потому что студент, сделав не менее неуловимое движение, уже держал руку «игрока» с ножом немного повыше локтя.

Студент стоял очень спокойно, а «игрок» вдруг побледнел, и рука его задрожала мелкой дрожью...

– Видишь, чудак... я ж предупреждал.

– Как вы думаете, – спросил студент, глядя на Мецената открытым ясным взглядом, – сломать ему руку или просто выкинуть его?

– Неужели можно сломать? – заинтересовался Меценат, более, впрочем, академически, как любитель спорта.

– О, пустяки. Один резкий поворот наружу и... Нож со звоном выпал из посиневшей руки «игрока».

– Отпустите, – угрюмо сказал он, корчась от боли. – Я уйду.

– Иди, милый, иди с Богом. Нечего тебе тут делать. Пойди займись чем-нибудь другим.

Когда они остались одни, Меценат спросил:

– Кто это такой?

– О, страшная скотина. Тот первый, с которым вы сидели давеча, очень приличный малый. Обыкновенный вор. В крайнем случае, лишились бы бумажника – и все, а этот... и табаком глаза засыплет, и ножичком ткнет при удобном случае, не задумываясь. А мы еще не знакомы: студент Новакович.

Вернувшийся Гриша, узнав, в чем дело, в полной мере подтвердил слова Новаковича:

– У нас его тоже не любят... Мы на «мокрое дело» никак не пойдем, а ему это – все равно как «Отче наш» прочитать. Чуть что – сейчас за «перо»,²⁹ нехороший человек, наши его избегают... Разрешите пощупать ваши мускулы? – вежливо отнесся он к Новаковичу.

– Сделайте одолжение. Вишь ты, они у меня какие. Это от сахара, да еще моркови ел я много.

Тут же он самым простым убежденным голосом рассказал новым знакомым такую невероятную, неправдоподобную историю, что и Меценат и Гриша до упаду смеялись.

С этого дня Новакович сделался неизменным спутником, а иногда и телохранителем Мецената во всех авантюрах благодушного скучающего богача.

Позднее всех прилетел на Меценатов огонек беззаботный поэт Паша Круглянский, прозванный Мотыльком, потому что первое время, являясь в компанию даже в десять часов утра, он неизменно говорил извиняющимся тоном:

– А я к вам на огонек зашел.

Впервые обнаружил его Меценат у витрины большого книжного магазина.

Мотылек стоял, собирая свое морщинистое лицо в чудовищные складки и снова распуская их, и вполголоса ругался:

– Ослы! Подлецы! Скоты несусразные. Черти.

– Кто это «ослы»? – ввязался Меценат в его телеграфический монолог.

– Издатели, – доверчиво пояснил Мотылек. – Что они выпускают? Что печатают? Разве это стихи?

– А вы, собственно, какие стихи предпочитаете?

– Свои. Вот послушайте...

И, прислонившись спиной к витрине, Мотылек принялся с пафосом декламировать какую-то элегическую балладу.

– Правда, хорошо?

– Очень. Кстати, хотите привести в порядок мою библиотеку?

– А у вас большая?

– Тысячи три томов.

– Пойдем! – решительно сказал Мотылек, хватая Мецената за руку.

– Да не сейчас, чудак. Это успеется. Сейчас время завтрака.

– Пойдем завтракать! – не менее бурно ухватился за эту мысль, а равно и за руку Мецената Мотылек. – Только вот что...

Он выпустил Меценатову руку, вынул тощее портмоне и принялся задумчиво пересчитывать серебряную мелочь.

– Гм! Хватит ли на двух, а?

– С моими хватит, – успокоил его Меценат. – В общем, у нас с вами тысячи полторы наберется. – И повлек огуленного Мотылька за собой.

С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался Меценат. Нельзя сказать, чтобы клеветы были корыстолюбивы, но все они рассуждали вполне справедливо, что, если бы им вздумалось тянуться в расходах за Меценатом, каждый из них лопнул бы через два дня, а расстаться из-за этих пустяков с Меценатом никому и в голову не приходило – очень уж они привязались к Меценату, более того, полюбили Мецената.

Впрочем, Меценат, субсидируя их наличными, хорошо знал, что часть его денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия.

²⁹ «Перо» – на воровском жаргоне – нож.

– Справедливое распределение между населением благ земных, – говорил он иногда, посмеиваясь.

Несмотря на всякие шуточки и подтрунивания, эта банда очень уважала Мецената, и все по молчаливому уговору обращались к нему на «вы», в то время как Меценат ласково, бесцеремонно всех называл на «ты».

Между собой «клеветы Мецената», как они сами себя величали, жили дружно, только Новакович изводил Кузю, играя с ним, как огромный дог со щенком, да Кузя иногда любил «топить Мотылька», что выражалось в следующем: декламирует Мотылек перед всем обществом свои новые стихи или рассказы. Кончит – и несколько секунд перед аплодисментами царит восхищенное молчание.

– Н-да-с, н-да-с, н-да-с, – скучающе говорит Кузя. – Хороший рассказец, очень славный. Только я его уже читал у другого писателя раньше.

– У кого ты читал?.. – полусмущенно, полусердито допрашивает Мотылек.

– У этого, как его... забыл фамилию. И фабула та же, и даже выражения одинаковые.

– Нет, так нельзя, – стонет возмущенный Мотылек. – Ты обязан указать, где ты читал!!

– Да это не важно. Чего ты волнуешься. Я где-то в немецком журнале читал...

– Да ведь ты не знаешь немецкого языка!

– А ты знаешь?

– Я-то знаю.

– Ну, вот, значит, ты и «воспользовался». А мне переводил один знакомый. Ну, прямо-таки у тебя слово в слово, что и там. Знакомого Семен Семенычем зовут, – заканчивал Кузя, заимствуя этот прием «достоверности» у Новаковича.

Мотылька такая неуловимая туманная клевета расстраивала почти до слез. В самом деле – пойди проверь: «Твердо знаю, что читал то же самое в немецком журнале, а в каком – не помню».

Однако в глубине души тот же Кузя признавал большой литературный талант Мотылька, и они часто с Меценатом в интимной беседе горевали, что их столь одаренный приятель не может добиться известности. Вот каковы были люди, организовавшие шутку в «титанических размерах», по словам одного из них, избрав целью этой шутки глуповатого, наивного, как дитя, но самоуверенного в своем простодушии юношу...

Глава VI

меценат и его клеветы продолжают развлекаться

Несколько дней спустя после первого появления Куколки можно было наблюдать в знаменитой квартире Мецената мирную семейную картину: сам Меценат, облаченный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины, и под его проворными гибкими пальцами эта груда принимала постепенно полное подобие сидящего тут же в гордой позе Мотылька.

В другом углу обнаженный до пояса могучий Новакович тренировался гантелями, широко разбрасывая свои страшные, опутанные, как веревками, мускулами руки, ритмично сгибаясь то в одну, то в другую сторону...

– Телохранитель! – воззвал Меценат, округляя большим пальцем лоб глиняного Мотылька. – У меня руки в глине, а, как назло, щека зачесалась. Почеши, голубчик.

– Которая? – деловито приблизился к нему Телохранитель. – Эта, что ли?

Он почесал Меценатову щеку и, склонив голову на сторону, уперев руки в бока, принялся разглядывать произведение Мецената.

– Морщин маловато, – критически заметил он. – Еще бы десяточек подсыпать.

– Довольно, довольно! – испуганно закричал Мотылек. – Ты рад из меня старика сделать!

– Ну, какой же ты старик! У тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обойщику перетянуть.

– Отстань, черт.

– Мотылек!

– А?

– Сколько парикмахер берет с тебя за бритье?

– Что значит – сколько? Обыкновенную плату: 15 копеек.

– Да ведь работы-то ему какая уйма! Сначала должен выкосить все бугорки и пригорки, потом, перекрестившись, спуститься в мрачные ущелья твоих морщин и там, внизу, во тьме, спотыкаясь, почти ощупью бедняга должен выкорчевать все пеньки и корни.

– Ну, поехал. Глупо.

– Был у меня, братцы, приятель, – начал, сев верхом на стул, Новакович одну из своих идиотских историй, которые он всегда рассказывал с видом полной достоверности. – И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы. А дело его молодое – очень ему хотелось каких-нибудь усишек. И придумал он вещь неглупую: выдрал с затылка сотни две волосков вместе с луковицами, потом сел у зеркала, вооружился увеличительным стеклом, иголкой и – пошла работа! Иголкой ткнет в верхнюю губу и сейчас же туда волос с луковицей ткнет и луковицу в дырочку посадит. Прямо будто виноградные черенки сажал.

– Врешь ты все, Телохранитель.

– Не такой я человек, чтобы врать – эта история потом наделала в сферах много шума. Посадил он, стал каждое утро водичкой поливать. И что ж вы думаете – ведь принялась растительность! Но только ужас был в том, что растительность эта, новенькая-то, не лежала на губе, как у других, под углом в 45 градусов, а торчала перпендикулярно, потому что он луковицы торчмя вгонял. Очень терзался бедняга.

Меценат, выслушав эту историю, рассмеялся, а Мотылек возмущенно воскликнул:

– Телохранитель! Всякому вранью есть границы.

– Ты думаешь, я вру? А если я тебе назову фамилию этого человека – Седлаков Петр Егорыч, – тоже, значит, вру? Он жил на Кирочной, а теперь переехал не знаю куда. Можешь сходить к нему. Эта история подробно описана в одном немецком жур... А! Кузя! Откуда Бог несет?

Кузя влетел, бодро помахивая пачкой свежих газет.

– Вот, друзья, какова сила печати! Не только Куколку – берусь Анну Матвеевну всероссийской знаменитостью сделать.

– А что?

– Вот! Заметка первая – в «Столичном Утре». «На днях в роскошном особняке известного Мецената и покровителя искусств (это я вам так польстил, Меценат) в присутствии избранной литературно-артистической публики (Мотылек, цени, это я о тебе так!) впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников. Он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление...»

Одобрительный смех встретил эту заметку.

– Это не все, господа! Вот литературная хроника «Новостей Дня»: «В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды – поэта Шелковникова. По мощности, силе и скульптурной лепке стиха произведения его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мей и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта».

– Ай да старушка в избушке верхом на пушке! – воскликнул Мотылек, злорадно приплясывая. – Смеху теперь будет на весь Петербург.

– И, наконец, последняя заметка, – самодовольно улыбаясь, сказал Кузя. – «Нам сообщают, что Академией наук возбужден вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта В. Шелковникова, произведения которого наделали столько шуму». Все!!

– Кузя! Да как же редакторы газет могли напечатать такую галиматью?

– Э, что такое редакторы, – цинично рассмеялся Кузя. – Они по горло сидят в большой политике, и их сухому сердцу позиция Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства... Признаться, в своей газетке я заметочку сам подсунул, в чужих – приятелей из репортеров подговорил... Сейчас у «Давыдки» стон стоит от хохоту. Там уже балладу сложили насчет скрипучей старушки, признаться, очень неприличную.

– Интересно бы сейчас увидеть Куколку... Вот, поди, именинником ходит!

– А ведь он, ребята, по своей глупости все это всерьез примет!
– Портрет свой у Дациаро выставит!
– Фабриканты выпускают папиросы «Куколка». Громкий смех веселой компании заглушил робкий стук в дверь.

Только чуткий Меценат расслышал:

– Стучат, что ли? Кто там? Входите!

Вошел он... Куколка. Элегантный, дышащий свежестью молодости.

Оглядел всю компанию своими мягкими лучистыми глазами и кротко улыбнулся.

– Я вам помешал, господа? Вы почему-то очень громко смеялись?

– Это я о своем отце рассказывал, – нашелся Телохранитель, – понимаете, он был до того высок ростом, что, когда ему приходилось высморкаться в платок, он на колени становился.

– Как странно, – удивился Куколка. – Зачем же это он так?

– А вот спросите! Глеб Иваныч его звали. Куколка помедлил немного, потом глаза его засияли небесным светом, и он тихо сказал:

– Господа... я, может быть, глуп и неловок, я сам сознаю это... И ненаходчив тоже. Но я сейчас пришел сказать вам, что... *таких людей, как вы*, я встречаю первый раз в своей жизни!!!

Это горячее восклицание Куколки было так двусмысленно, что все опасливо переглянулись.

– Неужели сорвалось? – испуганно пробормотал Мотылек на ухо Меценату. – Неужели догадался?

– Куколка, – сухо сказал Кузя. – Мы не понимаем – что вы хотите сказать этими словами? Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта...

– Я знаю, знаю! – в экстазе воскликнул Куколка. – Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам, я встречаю впервые в жизни! До встречи и знакомства с вами все другие, даже друзья мои, – только бессмысленно трещали мне в уши, говорили мне хорошие слова, а вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной! Вы мне дали крылья, и я, до сих пор скромно ползавший, как червяк, по пыльной земле, теперь чувствую себя таким сильным, таким... мощным, что кажется мне – несколько взмахов этими сильными новыми крыльями, и я взлечу к самим небесам!!

– Куколка, не улетайте от нас, – сентиментально попросил Новакович.

– О нет! Вы для меня теперь самые родные, и я вас никогда не покину!! Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает и который я буду вдыхать одной грудью с вами. До встречи с вами я был мелок и вял – теперь я будто окреп и вырос! Друзья! Я, конечно, знаю, что в ваших газетных заметках обо мне много дружеского преувеличения, многого я еще не заслужил... Но, друзья! Я сделаю все, чтобы оправдать эти ваши даже преувеличенные надежды на меня! Теперь у меня появился смысл и цель работы, и я клянусь вам, что наступит время, когда вы сами будете гордиться мной, и скажете вы тогда: «Да, это мы поддержали первые робкие шаги Куколки и это благодаря нам он сделался тем человеком, который и свою долю внес в благородный улей русского искусства...» И когда румяный Феб взметнет свою золотую колесницу к солнцу...

– Коньяк-то... дома будете хлестать али куда пойдете? – деловито спросила Анна Матвеевна, незаметно вошедшая во время пылкого монолога Куколки. – Ежели дома, то я послала бы за коньяком... Что было старого запаса – как губки высосали!

– Кальвия Криспинилла! – завопил Мотылек. – Как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст Куколки!..

– Анна Матвеевна! – высокопарно сказал Новакович. – Вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире в муках рождался истинный, Божьей милостью поэт!..

И прозаично dokonчил шепотом:

– Нет ли у вас сахарцу, многоуважаемая? Я бы пожевал сладенького.

– Бестолковый вы народ, как погляжу я на вас, – проворчала Анна Матвеевна, доставая из кармана горсть сахара и суя в руку Новаковича. – А ты чего, сударь, с ними разговариваешь? Погубят они тебя. Плюнул бы на них да пошел бы прочь, в хорошую чистую компанию.

– Имею честь кланяться, – ласково приветствовал ее Куколка. – Как ваше здоровье, дорогая

Анна Матвеевна?

– Здравствуй, здравствуй, голубчик! – благосклонно кивнула ему головой нянька. – Какое там наше старушечье здоровье. С ногами что-то нехорошо. Не то ревматизм, не то что другое.

– Муравьиным спиртом советую натереть, – авторитетно посоветовал Куколка.

– Как приятно видеть, – тонко усмехаясь, сказал Меценат, – сочетание в одном лице Эскулапа с Аполлоном. Куколка, будем пить коньяк?

– Я... собственно, не пью...

– Но выпьете. Выпьем за появление на свет нового поэта, большой успех которого я провижу духовными очами!

– О, как вы все добры ко мне! – чуть не со слезами воскликнул Куколка, поворачиваясь во все стороны. – О, какая сладкая вещь – дружба!

– То-то и оно! Кальвия Криспинилловна – распорядитесь.

– Какая я тебе Кальвия, – огрызнулась старуха. – И то это за человек? В морщинах весь, а ругается.

– Да морщины-то, может, и породили во мне скепсис, мамаша. Будь я такой красавчик, как Куколка... О-о! Тогда бы я покори́л весь мир.

Глава VII

мотылек показывает зубы

Когда на столе появился коньяк и закуска, Мотылек первую рюмку выпил за успех Куколки.

– Куколка! – воскликнул Кузя. – Хотите, я научу вас играть в шахматы? Это разовьет точность мысли и способность к комбинациям, что никогда не помешает такому поэту, как вы.

– Да ведь я уже играю в шахматы, – с сияющей улыбкой признался Куколка. – Только плохо.

– «Знаем мы, как вы плохо играете». Новакович дружески посоветовал:

– Куколка, раз вы теперь входите в известность – вам бы сняться нужно. Будете дарить поклонникам свои портреты.

– Да я уже и снялся. Позавчера. У Буассона и Эглер. Они обещали, что портреты будут превосходные.

Все значительно переглянулись, а Меценат одобрил:

– Молодец. Не зевай. Действительно, надо ковать железо, пока горячо. Фрак бы вам тоже нужно. Для публичных выступлений.

– Вчера заказал у Анри. Хороший будет фрак.

– Ну и Куколка же! Вот голова! Обо всем подумал.

– Я и книжку своих стихов собрал, – застенчиво признался Куколка. – Вдруг найдется издатель, а книжка уже и готова.

– Что это за человек, – чуть не захлебнулся коньяком Мотылек. – Только что-нибудь подумает, а он уже все предвидел и все сделал. В одном теле и Аполлон и Наполеон.

– Господа, – воскликнул Меценат. – Я предлагаю устроить пышный праздник коронавания Куколки в поэты! Устроим это у меня, и тогда можно будет пригласить и Яблоньку. Я сначала думал снять отдельный кабинет в какой-нибудь таверне, но в таверну Яблонька не пойдет.

– Праздник с Яблонькой?! – пришел в восторг Кузя. – Да это же будет великолепно!

– Кто это – Яблонька? – с любопытством спросил Куколка.

Новакович заметно удивился:

– Яблонька-то? Если вы не знаете Яблоньки – вам не знакома подлинная красота мира, вы не поймете понастоящему смысла в шелесте изумрудной травы, вы не поймете музыки журчания лесного ручья, пения птицы и стрекотания кузнечика – одним словом, в Яблоньке вся красота мира видимого и невидимого...

– Послушайте, Новакович, – радостно сказал Куколка, – да ведь вы тоже поэт!

Раздался общий смех, который окрасил мужественные ланиты Новаковича в ярко-багровый цвет. Он смущенно пробормотал:

– Не обращайтесь на них внимания, Куколка. Они бывают иногда утомительно глупы. Они ни-

чего не знают.

– Нет, мы многое знаем. Я, например, знаю способ, с помощью которого физическое напряжение мускулов путем перегонки превращается в букет дорогих, привозимых из Ниццы белых роз и гвоздик!

– Кузя! На шкаф посажу!

– Ты меня можешь засунуть даже в карман... Но тогда у тебя в кармане, как говорил один древний мудрец, будет больше ума, чем в голове!

Меценат заинтересовался:

– Да как же это можно, Кузя: перегонять человеческую мускульную силу в цветы?

– Ах, вы не знаете, Меценат? А как вы назовете это, если человек вопреки своим спортивным принципам напяливает на голову черную маску, поступает инкогнито в цирковой чемпионат, кладет на лопатки несколько идиотов, получает за это деньги и вместо того, чтобы сшить себе новый костюм, посылает Яблоньке букет роскошных белых роз в день ее рождения?! Так сказать: цветок цветку.

Новакович сидел, опустив голову, угрюмый, совершенно раздавленный ядовитым рассказом Кузи.

Меценат внимательно глядел на Новаковича и вдруг покачал своей мудрой беспутной седеющей головой. В глазах его на один миг мелькнула чисто отеческая ласка.

– Телохраниитель! Я и не знал о твоих подвигах на арене! На кой черт ты это сделал? Превосходно мог бы взять деньги у меня. Тем более – для Яблоньки.

– Вы знаете, Меценат, – тихо сказал Новакович, – я залезаю в ваш карман без всякой церемонии слишком часто и знаю, что вы выше этих пустяков, но я хотел сделать Яблоньке приятное на собственные заработанные деньги.

Кузя захихикал:

– Как заработанные? Как? На этих белоснежных лепестках сверкала не роса, а капли борцовского пота, выдавленного из несчастных «чемпионов Африки и Европы» твоими медвежьими нельсонами...

– Кузя! Ты можешь об этом больше не говорить? – нахмурился, сказал Новакович.

– И верно! – увесисто подкрепил Меценат. – Где замешана Яблонька – клеветы должны безмолвствовать.

Кузя вдруг завопил:

– Шапки долой перед святой красотой!! Телохраниитель, я люблю тебя.

– Я был бы счастлив познакомиться с этой достойной девицей, – жеманно заявил Куколка.

– Я думаю! Губа-то у вас не дура. Я того мнения, Меценат, что Яблонька должна короновать нашего поэта собственными руками... А?

– Конечно, впрочем, я разработаю подробный ритуал всего празднества. Куколка! Куда же вы?

– А мне нужно спешить... Я должен обработать одно мое стихотворение...

– Неужели такое же, как о старушке в избушке?! – восторженно ахнул Кузя.

– Нет, в другом роде. Однако неужели, господа, вам так понравилась «Печаль старушки»?

– О, это вещь высокого напряжения. То, что немцы называют: «Шлягер»! Я ее недавно декламировал в одном доме – так все чуть с ума не сошли!

– Ей-богу? – расцвел Куколка. – И за что вы все так меня любите, не понимаю!

– За талант, батенька, исключительно за талант! За редким растением и уход особенный.

– Спасибо. Хотите, я свои новые стихи посвящу вам?

– О, достоин ли я такой чести, – сказал Кузя таким жалобно-уничижительным тоном, что Новакович отвернулся и прыснул в кулак.

А Куколка, ничего не подозревая, обводил всех ясным доверчивым взглядом, и сияла в этом взгляде ласка и собачья любовь к каждому из них.

– Жалко мне с вами расставаться, но ничего не поделаешь: искусство выше всего. Зайду только проститься с уважаемой Анной Матвеевной и помчусь домой. До свидания, мои хорошие.

Он вышел. Все помолчали. Потом Новакович почесал затылок и сказал:

– Меценат! Каков экземпляр, а? Это я его нашел. И за такого человека я получил всего 25 рублей. То есть так продешевить могу только я. Нет, не гожусь я в торговцы живым товаром.

– Послушайте-ка, господа, – и Меценат озабоченно обвел взглядом клеветов. – Шутка наша хороша, конечно... Она забавна, тонка и остроумна. Но как мы из нее в конце концов выпутаемся?! Представьте себе, что этот бездарный идиот вдруг действительно каким-нибудь чудом выпустит книжку своих стихов. Что тогда? Ведь скандал будет на весь мир?!

Мотылек, сидевший до этого в глубокой задумчивости, вдруг вскочил и, собрав свое лицо в такие складки, что они оказались трепетавшим клубком судорожно извивавшихся змей, вдруг прошипел с самой настоящей злобой в голосе:

– И пусть! И пусть! Я давно уже жажду такого звонкого мирового скандала! Ведь подобного болвана, как эта Куколка, в сто лет не отыщешь! И какой самоуверенный болван! Пусть будет скандал! Так и надо! Так и надо!

– Чего ты, – даже отшатнулся от него Кузя. – Смотрите, взбесился человек! Лицо-то у тебя – будто черт лапой смял. Эй, морщины! Вольно! Марш по местам!

– Я давно, давно поджидал такого случая!! Обратите внимание на меня! Я пишу, творю вещи кровью моего мозга, изливаю лучшие свои чувства, щедро бросаю в тупую толпу целые пригоршни подлинных бриллиантов – и что же?! Я, как слизняк, пребываю во тьме, в неизвестности! Критика даже не замечает меня, публика глотает мои произведения, как гиппопотам – апельсины или как та гоголевская свинья, которая съела мимоходом цыпленка и сама этого не заметила!! Так я же тоже плюю на них на всех! Более того! Я хватаю эту Куколку и швыряю ее им всем в гиппопотамью морду!! Натте, натте вам! Вот достойный вас поэт. Смакуйте его, жуйте вашими беззубыми челюстями! Эввива, поэт Шелковников! Кузя!! Друг ты мне или нет? Так пиши еще о Шелковникове, звони, ори на весь мир – я буду тебе помогать! Я буду читать лекции о новом поэте Шелковникове, устрою целый ряд докладов, лекций, рефератов – и когда толпа, как стадо, ринется к его ногам, я плюну им в лицо и крикну: «Вот ваш бард! Я, как Диоген с фонарем, отыскал самое бездарное и самоуверенное, что есть в мире, и, хохоча, склонил ваши воловьши шеи перед этим апофеозом пошлости! Кланяйтесь ему, кланяйтесь, скоты!»

Он упал в кресло и, закрыв лицо руками, погрузился в молчание.

Остальные трое, ошеломленные этой неожиданной бешеной вспышкой, стояли вокруг него, не зная, что сказать. Они хорошо знали Мотылька, но сейчас на них глянуло совсем другое, новое лицо этого беззаботного человека.

Когда же молчание сделалось невыносимым, Кузя решил смягчить общее настроение.

– Здорово! – усмехнулся он. – Мы-то в простоте душевной думали, что «игра с Куколкой» – просто новенькая забава скучающей части русского мыслящего общества, а Мотылек – вишь ты, дай Бог ему здоровья – взял да и подвел под эту дурацкую историю прочный идеологический фундамент... Умная голова – наш Мотылек!

Меценат засвистел, подошел к неоконченному бюсту Мотылька и, оглядывая свое произведение, сказал:

– Попробую сделать тебе такое лицо, которое я видел сейчас, и назову это произведение: «Ярость».

– Трудно это, Меценат! – подхватил Новакович. – Для морщин на лице места не хватит.

Все шутили, но... в глубине души были очень удивлены. Чрезвычайно.

Впервые веселый Мотылек повернулся ко всем столь неожиданной стороной своей разнообразной натуры.

Глава VIII о яблоньке и ее физических и душевных свойствах

У Мецената и его клеветов была непонятная страсть: награждать всех, кто с ними соприкасался, прозвищами. Этим как будто вносился какой-то корректив в ту слепую случайность, благодаря которой человек всю жизнь таскает на своих плечах имя, выбранное не по собственному вкусу или вкусу других, а взятое черт знает откуда: почему этот элегантный, одетый с иголки

парень именуется Иван Петрович Кубарев, а не Виктор Аполлоныч Гвоздецкий, почему та пышная черноволосая красавица называется Людмила Акимовна, когда по всяким соображениям гораздо более подходило бы ей пышное черноволосое имя: Вера Владимировна?

Бессознательно, но, вероятно, именно поэтому «клеветы» крестили всех окружающих по своему.

Самой удачной, меткой кличкой у компании считалось Полторажида – кличка, которую прицепили к невероятно длинному рыжему унылому еврею-портному, часто освежавшему несложный гардероб клеветов.

И совсем уж несправедливо звучала «Кальвия Криспинилла» – *Magistra libidinum Neronis*, как окрестили добрую русскую няньку Анну Матвеевну... В ее характере ничего не было общего с «профессоршей Неронова разврата», хотя Мотылек и божился, что она не только снисходительно относится к объектам Меценатовых сердечных увлечений, но даже сортирует их на «стоящих» и «не стоящих» и ведет с ними по телефону длинные беседы принципиального свойства.

Одной из удачных кличек считалась также сокращенное «Яблонька», или официальное – «Яблонька в цвету», потому что это поэтическое название вполне соответствовало внешности Нины Иконниковой.

Высокая гибкая блондинка с огромными синими глазами, любовно озиравшими весь Божий мир, с пышной короной белокурых, нежных, как шелковая паутина, волос, вся белая, ароматная, будто пахнувшая яблочным цветом, с высокой грудью и круглыми плечами, упругая, здоровая и свежая, как только что вылупившееся яичко. Походка у нее была изумительная: идет и вся вздрагивает, будто невидимые волны пробегают по телу, будто спелый колос волнуется от налетевшего теплого летнего ветерка...

Однажды некий экспансивный прохожий не выдержал: остановился посреди улицы, сложил молитвенно руки и пылко воскликнул:

– Боже мой! И пошлет же Господь в мир такую красоту!

Она несколько не была шокирована этим восклицанием; приостановилась и, мило улыбнувшись, поблагодарила:

– Спасибо вам за ласковое слово. Мне приятнее всего, что в вашем комплименте дважды встречается слово «Бог». Значит, что вы хороший человек.

И пошла дальше как ни в чем не бывало, прямая и гибкая, как молодой тополь, по-прежнему приветливо улыбаясь синему небу.

Первым познакомился с Яблонькой Мотылек. Этот расторопный поэт однажды долго шел за ней по боковой аллее Летнего сада и потом, восхищенный, потеряв над собой власть, как он вообще всегда терял власть над своим бурным темпераментом, вдруг подошел к ней и вступил в разговор.

– Куда вы идете? – порывисто спросил он.

– В библиотеку. Книгу менять.

– И я пойду с вами.

– Вы тоже идете книгу менять? – спросила она просто, без всякой иронии.

– Нет... я этого... Давно собирался абонироваться... Да представьте себе, не знаю, как это сделать. Это сложно?

– Совершенно не сложно, – мило рассмеялась она. – Пойдемте, я вам это устрою.

Мотылек бурно зашагал за ней, но, когда оба предстали перед прилавком, на котором лежали толстые каталоги, Мотылек вдруг ощутил, что он оступился и летит вниз головой в глубокую пропасть: он сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а плата за абонемент в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз.

– Вот вам бланк, – сказала будущая Яблонька, – обязательно напишите ответы на вопросы и здесь подпишитесь.

Чтобы отсрочить окончательно гибель и позор, Мотылек долго возился над маленьким листком, собирал и распускал свои знаменитые морщины, раза два даже смахнул тайком пот со лба, каллиграфически выписал свою фамилию, сделал росчерк – роковой час расплаты придвинулся вплотную.

– Ну, что ж вы? – поощряла его Яблонька. – Теперь остается только заплатить и выбрать книгу по каталогу.

Мотылек тоскливо поглядел на ее свежие губы, поскреб яростно холодными пальцами затылок и вдруг брякнул:

– Послушайте... Можно вас отозвать в сторону на два слова?

– Что случилось? Пожалуйста. Они отошли в сторону.

– Милая девушка! Видели вы еще когда-нибудь такого мерзавца, как я?

Ее губы дрогнули, и глаза немного затуманились...

– Что вы такое говорите... Разве можно так?

– Мерзавец! – в экстазе воскликнул Мотылек. – Форменный подлец! Слушайте же, как кается Мотылек! Слушай весь православный народ! Книга мне была нужна? По морде мне нужно было хлопнуть несколько раз этой книгой! Ведь это я к вам просто пристал давеча в Летнем саду – пристал, как самый последний уличный нахал!! А вы, святая душа, – даже не догадались! Вы, как Красная Шапочка, доверчиво разговорились с Серым Волком...

– Да вы не похожи на Серого Волка, – рассмеялась одними лучистыми синими глазами Яблонька. – У вас доброе лицо. А я боюсь только пьяных. И то я одного пьяного однажды вечером устыдила. С ними только нужно побольше простой примитивной логики. Подходит он ко мне вечером на Владимирской улице и говорит: «Пойдем со мной, барышня». Конечно, можно было бы позвать городского – в двух шагах стоял, – но мне жалко сделалось этого пьяненького. «Куда же, – я говорю, – мне с вами идти?» – «Пойдем поужинать». – «Смотрите-ка, – говорю, – какая жалость... А я уже поужинала!» – «Да что вы, – опечалился он. – Экая жалость! Ну, вина выпьем, что ли?» – «Вина мне нельзя! Доктор строго запретил». Призадумался: «Как же быть?» – «Уж я и не знаю». – «Что ж мне с вами делать все-таки? А может быть, бокальчик бы одолели? Попытались бы, а?» – «Да нет уж, и пытаться не стоит». Совсем он сбился с толку. «Что ж мне с вами делать?» – «Да уж придется, верно, махнуть на меня рукой. А вы бы спать лучше пошли... а? Вон у вас вид какой усталый. Небось заработались». Всхлипнул он, утер мокрые усы и говорит: «А что вы думаете – и пойду! Никто меня не понимает, а вы поняли! Главное теперь – спать». Снял котелок, поклонился – и разошлись мы в наилучшем расположении духа.

– Вот вы какая! – восхитился Мотылек. – Вам бы с Меценатом познакомиться – он бы вас очень оценил.

– Кто этот Меценат?

– Кто?! А вот кто: у вас два рубля есть?

– Есть.

– Дайте мне на несколько минут. Вот спасибо. Теперь я беру вашу книгу – что там у вас? Новая книга Локка. Меценат, наверное, не читал. А вы возьмите свеженькую – и пойдем.

– Куда? – засмеялась Яблонька.

– Я вам долг отдам. Я, миленькая моя, человек честный. Ну, живо, живо!

– Да куда вы меня тащите, сумасшедший человек! Но Мотылек уже запыхал, задергался, как он пылал и дергался всегда... Взял Яблоньку под руку, озабоченно собрал в дорогу все свои морщины и повлек сбитую с толку Яблоньку на улицу.

– Вы очень странный человек, – робко успела пролепетать Яблонька.

– Да уж и не говорите. Кончу я жизнь или знаменитым поэтом или в сумасшедшем доме... Девушка! Любите ли вы красоту мира? Она во всем: в плакучей иве, склонившейся над тихо плывущей рекой, в угрюмой прямизне петербургской улицы, в новом интересном человеке, а человек этот... Девушка!! Что может быть интереснее Мецената? Нашего доброго мудрого благородного Мецената – этого ленивого льва с львиной гривой на львиной шкуре, льва, наполовину бросившего свою прекрасную львицу – ради красоты, свободы и созерцательности!

– Я вас не совсем понимаю, – мягко возражала Яблонька, пытаясь освободить свою руку.

– И не надо! Сейчас не понимаете – потом поймете! Скоро поймете. Даже сейчас! Вот мы уже у Меценатова подъезда. Эй, швейцар! Немедленно же вызовите из второго номера хозяина – скажите, по очень важному, спешному делу. Живо!

– Вы очень странный, – покачала головой Яблонька. – Очень; но вы не страшный. Только за-

чем Меценат? Может быть, он занят сейчас чем-нибудь, а вы его отрываете. Не лучше ли в другой раз?

– Ни-ни! Да вот уже его шаги. Видите, как он мягко спускается – как старый добрый лев. А за ним слышен тяжкий бег буйвола – это, конечно, Телохранитель.

Меценат, а за ним Новакович, оба без шапок, выскочили на улицу и, увидев около Мотылька белокурую красавицу, замерли, молчаливые, удивленные.

– Меценат! Я вас сейчас же, сейчас, прямо-таки вот немедленно познакомлю, но... дайте мне сначала два рубля. Вот вам за это книга. Вы абонированы! Локка книга. Читайте ее, она интересная. Ведь книга интересная? – стремительно обратился он к Яблоньке.

– Интересная, – спокойно улыбнулась она, разглядывая странную группу: Мецената в засыпанном пеплом бархатном пиджаке и выглядывающего из-за его плеча мощного студента Новаковича.

– Скорей два рубля, Меценат! Спасибо! Вот вам, благодетельная фея, мой долг, а теперь можно и познакомить вас. Это Меценат. Правда, чудный? А тот пещерный медведь сзади – Телохранитель. Новакович! Дай тете ручку и шаркни ножкой. Господа! Эта девушка – лучшая в столице. Я с ней заговорил на улице, как мерзавец, а она ответила мне, как святая. А красота какая! Хотите, мы будем на вас молиться? Лампадку зажжем! Песнопение для вас сочиним. Телохранитель! Подбери глаза – а то на мостовую рассыплешь. Меценат! Видите, как я вас люблю! Увидел воплощение красоты, и первая моя мысль – о Меценате!.. «Меценат! – подумал я. – Ты будешь бедный, если не увидишь ее хоть издали!» А Новакович, светлая девушка, тоже хороший – двумя руками девять пудов выжимает.

– Мотылек с ума сошел, – усмехнулся первый пришедший в себя Меценат. – Позвольте узнать ваше имя?

– Нина Иконникова.

– А вы знаете, как я вас назвал, когда вы так вот стояли, белая, ласковая, около этого корявого пня? Подумал я: Яблонька в цвету!

– Гип, гип, ура, Яблонька! – заорал Мотылек на всю улицу.

– Вы не обидитесь, – улыбаясь, спросил Меценат, – если я предложу вам зайти к нам отдохнуть от трескотни Мотылька. Они оба люди, которые могут с непривычки ошеломить, но публика, в общем, не страшная.

– Я должна спешить домой, – ответила, подумав, Яблонька, – но, если вы не будете меня задерживать, я минут десять посижу.

– Яблонька, – сказал Новакович, выдвигаясь вперед. – За то, что вы нас сразу поняли и доверились и идете к нам – я отныне даю присягу быть вашим рыцарем, защищать вас от всяких невзгод, а если кто-нибудь посмеет что-нибудь лишнее – оторву голову и суну ему под мышку. Господа! Дорогу Яблоньке!

И, когда Яблонька шагнула на площадку Меценатовой квартиры, Новакович одним движением снял с себя тужурку и почтительно подбросил ее под ножки Яблоньки.

– «И жители восторженно встречали ее, – неизвестно откуда процитировал Новакович, – и расстилали плащи перед ней, чтобы ее нежной стопы не коснулась грубая земля».

– У вас сзади рукав рубашки разорвался, – заботливо заметила Яблонька, осматривая рукав Новаковича. – Если у вас найдется нитка и иголка – я зашью.

– Вот девушка!.. Если бы я был достоин – я поцеловал бы край ее платья, – вздохнул Новакович, толкнув Мотылька плечом.

Яблонька вступила в знаменитую гостиную Мецената и с любопытством огляделась.

– Уютно у вас, а только странно. И солнца мало. Отчего портьеры задернуты? А для пепла полагается пепельница, а не ковер и не плечи бархатного пиджака. Где у вас щетка? Я вас почищу немного...

Яблонька посидела самую чуточку, скушала одну грушу, поправила висящую криво картину и уже надевала перед зеркалом воздушную шляпку, собираясь уходить, как в дверях показалась Анна Матвеевна.

– Экое чудо у нас, – охнула она, разглядывая Яблоньку. – Вы бы, барышня, подальше от них

были! Это ведь сущие разбойники – обидят они вас.

– Меня, бабушка, невозможно обидеть, – рассмеялась Яблонька. – Я в Бога верю и всех людей люблю. Какие же они разбойники? Странные немного, но милые.

– Эткими милыми в пекле все дорожки вымощены. Как звать-то вас?

– Яблонька, – высочил сбоку Мотылек.

– Яблонька и есть. До чего ж ладная девушка. Хоть бы вы их, барышня, усовестили, чтоб коньячища этого не лакали спозаранку...

– Анна Матвеевна! Да ведь мы по рюмочке!

– Знаю, что по рюмочке. В этакую рюмочку тебя и поп при святом крещении окунал. Скушать чего не хотите ли, сударыня?

– Нет, спасибо, мне идти надо... Буду в этих местах – зайду еще посмотреть, как вы тут живете. А коньяк лучше не пейте. Хорошо?

– Сократимся, – усмехнулся Меценат. – А если вам нужны какие-нибудь книги – так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь, разбрасывайте – у нас это принято.

Яблонька ушла, звонко поцеловав Анну Матвеевну на прощание.

После ее ухода нянька подошла к креслу, грузно уселась в него и, посмотрев на победоносно переглядывавшихся клеветов, строго сказала:

– Ну, ребята... Не пара она вам. Не по плечу себе дерево рубите.

– Кальвия, – возразил Мотылек, обнимая ее седую голову. – Где же это видано, чтобы Мотыльки да рубили Яблоньки? Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат, буду порхать – вот так!

Он вспрыгнул на оттоманку, перемахнул на стол, оттуда обрушился на плечи Новаковича и наконец, тяжело дыша, сполз с Новаковича на пол.

– Мотылек, – сказал размягченный Меценат. – За то, что ты сегодня вспомнил, подумал обо мне – я дарю тебе изумрудную булавку для галстука. Она тебе нравилась.

– А я, – торжественно подхватил Новакович, – никогда больше не позволю Кузе говорить, что все твои произведения читал у чужих авторов в немецких журналах!! Ты совершенно оригинальный писатель, Мотылек!

– А я, – проворчала нянька, – оборву тебе уши, если ты будешь бросать мне на ковер апельсиновую шелуху.

– Кальвия! Я вас так люблю, что отныне буду есть апельсины вместе с кожурой.

И все впоследствии не исполнили своих обещаний, кроме Мецената, булавка которого навсегда украсила тощую грудь Мотылька как память о Яблоньке, изредка, как скупой петербургский луч, заглядывавшей в темную Меценатову гостиную.

Часть II чертова кукла

Глава IX в кавказском кабачке

В уютном, увешанном восточными коврами и уставленном по стенам тахтами отдельном кабинете кавказского погребка на Караванной улице заседала небольшая, но очень дружная компания под главным председательством и руководством Мецената.

Кроме него были: Кузя, Новакович и великолепная Вера Антоновна, которая, как это ни странно, но выехала в свет из-за своей лени.

Сегодня как раз был день ее рождения, и Меценат, созвав с утра своих клеветов, предложил отпраздновать этот замечательный, с его точки зрения, день в квартире Веры Антоновны. Но, когда ей сообщили об этом по телефону, она вдруг высказала чрезвычайную, столь не свойственную ей энергию, заявив, что лично прибудет к Меценату для обсуждения этого сложного вопроса.

Приехала и, устало щури звездоподобные глаза, заявила:

– Послушайте, в уме ли вы?! Ведь это сколько хлопот, возни?.. Да ведь я после праздника буду три дня лежать совершенно разбитая! Неужели вы не знаете, что быть гостеприимной хозяйкой – это нечеловеческий труд! Пожалейте же меня – не приезжайте. Ну, не стыдно ли вам так мучить меня; я ведь красивая и добрая...

Мотылек застонал:

– Кто же, кто вас мучит, Принцесса?! Кто это осмелится, Великолепная (две клички Веры Антоновны, которыми наделили ее неугомонные клеветы при молчаливом одобрении Мецената)?! Укажите мне такого мучителя – и я объем мясо с его костей! Разве мы вас не понимаем?! Действительно – адская работа: встретить каждого гостя отдельно, да скажи ему, подлецу, несколько ласковых слов, да еще, пожалуй, придется ему подкладывать кушанья на тарелку?! А предлагать вино? А приказать переменить приборы?! Да ведь еще же меню сочинять придется! Нам ли с вами такая тяжесть под силу?..

– Да, да, Мотылек! Вот видите, вы меня поняли!

И, когда вся компания покатила со смеху, Вера Антоновна обвела всех недоумевающими глазами и, дернув Мотылька за ухо, сказала:

– Что это? Вы, кажется, издевались сейчас надо мной, Мотылек? Кузя! Пойдите поближе ко мне... Вы единственный, который меня понимает.

– Этот поймет! – засмеялся Новакович. – Вам бы, Принцесса, за него нужно было выйти замуж, а не за Мецената. Был вчера такой случай: захожу я к Кузе, а он лежит в кровати и стонет... «Что с тобой, Кузя?» – «Ах, Телохраниль, испытывал ли ты когда-нибудь мучительную жажду? Я вот уже целый час терзаюсь!» – «Так ты бы воды выпил, чудак!» – «А где же возьмешь, воду-то?» – «Да вот же графин, на умывальнике стоит, в десяти шагах от тебя!» – «Это, – говорит, – не вода». – «А что же это такое?» – «Перекись водорода». Потом стал стонать, как издыхающая лошадь. «Что с тобой?» – «Совсем, – говорит, – я расхворался. А тут из окна дует. Телохраниль, – говорит, – передвинь мою кровать к умывальнику». Ну, и я передвинул кровать к умывальнику вместе с ним... И что же вы думаете? Едва он очутился на таком расстоянии от графина, что мог достать рукой, как схватывает его – и ну глотать жидкость, как ожившая лошадь!..

– Неужели перекись водорода пил? – удивился Меценат.

– Какое! Простая вода в графине была.

– При чем же тут перекись?

– А видите, в чем дело: скажи он мне, чтоб я дал ему воды, я бы из принципа не дал. Не люблю поощрять его гомерическую лень. Вот он и выдумал историю с окном, из которого дует, и с перекисью. Да это еще не все! Прохаживаюсь я по комнате, ругаю его последними словами, вдруг – хлоп! Сапог мой цепляется за гвоздь, высунувшийся из деревянного пола, и распарывается мой старый добрый сапог!! «Кузя! – кричу я. – У тебя тут гвоздь из пола вылез!!» А он мне: «Знаю!» – говорит. «Так чего ж ты его не вытащишь или не вобьешь обратно?» – «А зачем? Я уже привык к этому гвоздю и всегда инстинктивно обхожу его. А посторонние пусть не шляются зря!» Взял я угольные щипцы, вбил гвоздь по шляпку и этими же щипцами отколотил Кузю.

– Грубый у тебя нрав, Новакович, – вяло возразил Кузя. – Как ты не понимаешь, что гвоздь торчал вне моего фарватера, который ведет от кровати к умывальнику и от умывальника к зеркалу. Глупый ты! Ведь гвоздь-то торчал не на моей проезжей дороге!

– Как это вам понравится, Принцесса?!

– Что такое? – медленно подняла на него свои огромные сонные глаза Принцесса.

– Да вот история с Кузей!

– А я, простите, не слышала, замечталась. Кузя! О вас тут рассказывали какую-то историю? Вы здесь самый симпатичный, Кузя. Принесите мне платок из ридикюля. Он в передней.

– Сейчас, – с готовностью откликнулся Кузя, не двигаясь с места. – Вы твердо помните, что ридикюль в передней?..

– Ну да.

– А где именно положили вы ридикюль в передней? На подзеркальнике или на диване?

– Не помню, да вы посмотрите и там, и там.

– У вас какого цвета ридикюль? – допрашивал Кузя, потонув по-прежнему в мягком кресле.

– Ах, ты, Господи! Да ведь не сто же там ридикульей?!

– Я к тому спрашиваю, чтоб вас долго не задерживать поисками. А то, может, он завалился за диван, так в полутьме сразу и не найду... Кроме того... Ах, вот он!

Он взял ридикуль из рук уже вернувшегося из экспедиции в переднюю Новаковича и любезно протянул его Принцессе.

– Спасибо, Кузя. Вы милый.

– Вот дура горничная, – заметил будто вскользь Новакович. – Забыла в передней ведро с мыльной водой, а чье-то пальто упало с вешалки да одним рукавом в ведро и попало. Мо-окрое!

– А какого цвета пальто? – ухмыляясь, спросил Мотылек.

– Серенькое, кажется.

– Так это ж мое! – испуганно закричал Кузя и, как заяц, помчался в переднюю.

– Действительно ты видел пальто в ведре?

– Ничего подобного. Просто хотел, чтобы Кузя размял себе ноги. Это ему наказание за ридикуль!

Вошла Анна Матвеевна, расцеловалась с Принцессой, села напротив, поглядела на нее, укоризненно покачала головой и вступила с Принцессой в обычную для них обеих беседу:

– Где дети?

– Какие дети? – удивилась Принцесса.

– Как какие? Твои!

– Да у меня, нянечка, нет детей.

– А почему нет?

– Не знаю, нянечка. Бог не посылает.

– «Бог не посылает». Леня все твоя проклятая. И в кого ты такая уродилась?!

– В кого? В Венеру Милосскую, – подсказал Мотылек.

– В Кузю, – поправил Новакович. – Впрочем, это одно и то же: если Кузе оборвать руки – получится форменная Венера Милосская для бедных.

– Ах, милые мои, – сказала старая нянька, пригорюнившись. – То есть до чего мне хочется ребеночка нянчить – сказать даже невозможно.

– Да, – грустно улыбнулся Меценат. – Этого товара не держим. Так как же, господа, насчет сегодняшнего торжества?

Мотылек выручил:

– Да очень просто! На Караванной есть превосходный кавказский кабачок с восточными кабинетами. Пойдем туда – чудное винцо!

– А тебе бы только винцо, бесстыдник, – упрекнула нянька.

– Я не виноват, пышная Кальвия. У меня мамка была пьяница. У нее даже два сорта молока было: левая грудь – бургундское, правая – бордосское.

– Тьфу! – негодуя сплюнула Анна Матвеевна. – С вами поговоришь – только нагретишь. В постный день оскоромишься.

Решили идти на Караванную. Мотылек заявил, что он еще должен заехать в редакцию своего журнала, устроить редактору скандал, после чего не замедлит явиться; а все прочие с гамом и шумом, резко выделяясь на сонном фоне невозмутимой статуарной Принцессы, зашагали по улице, и, когда ввалились в кабачок, изо всех занятых кабинетов высунулись обеспокоенные шумом головы.

Вера Антоновна выбрала самый уютный уголок, окружила себя подушками и замерла, как изумрудная ящерица на горячем солнце, откинув на спинку дивана свою великолепную голову.

– Что вы будете кушать, Ваше Высочество? – спросил Меценат, нежно целуя ее руку. – Есть шашлык карский, есть обыкновенный.

– А какая разница? – осведомилось дремлющее Ее Высочество.

– Обыкновенный шашлык маленькими кусочками, на вертеле, карский – большим куском.

– Так его еще резать надо? Лучше тогда обыкновенный!

– И мне! – присоединился Кузя.

Через двадцать минут приехал Мотылек. Губы его дрожали, и глаза метали гневные молнии.

Число морщин на лбу возросло в угрожающей лицу прогрессии.

– Подлецы! – закричал он еще с порога. – Подлые рабы!

– Что случилось, Мотылек? – беспокойно глянул ему в глаза Меценат. – Ты чем-то расстроен?

– Ах, Меценат! Вы представить себе не можете, что за олух наш редактор! Я уже три года секретарь журнала и считаю, что приобрел себе известный вес и положение... Сдаю в набор свое стихотворение «Тайна жемчужной устрицы», помните, еще оно вам очень понравилось, вдруг он мне заявляет: «По техническим условиям не может быть напечатано!» – «Это что еще за технические условия?!» – «Размер велик! 160 строк». – «Да ведь стихотворение хорошее?!» – «Замечательное». – «Так чего ж его не напечатать?!» Он опять: «Потому что длинное!» – «Но ведь хорошее?» – «Хорошее». – «Так почему не напечатаете?» – «Размер велик». Взыл я. «У Пушкина, – говорю, – поэмы были на две тысячи строк! Вы бы и Пушкина не напечатали?!» – «Нет, – говорит, – не напечатал бы». Ну, знаете, Меценат... Насчет себя бы я еще мог простить, но – Пушкин! Озверел я. «Да вы знаете, кто такой. Пушкин?!» – «А вы знаете, что такое технические условия?» Я ему Пушкиным по голове, а он мне техническими условиями по ногам. Встал я и говорю: «Сегодня мой приятель Новакович о Кузин гвоздь сапог разорвал!» – «А мне, – говорит, – какое дело?» – «А такое, что – не почините ли?» – «Что я вам, сапожник, что ли?» Я и говорю: «Конечно, сапожник!» Крик у нас был на всю редакцию. «Вы, – говорит, – невоспитанный молодой человек!» – «А вы воспитанный в цирке старый осел, умеющий скакать только по ограниченной арене!» Забрал свои рукописи, хлопнул дверью и ушел.

– Промочи горло, Мотылек, – посоветовал Новакович. – Хочешь, я пойду отдую твоего редактора?

– Нет, я ему лучшую свинью подложил! Иду к вам, встречаю нашу знаменитую Куколку. «Что с вами, Мотылек?» – «Куколка! Вы, как человек тонких эмоций, как Божьей милостью поэт, меня поймете!» Рассказал ему всю историю, а он мне: «А знаете, Мотылек, Пушкин действительно очень пространно писал. Теперь так уже не пишут! Нужна концентрация мыслей». Посмотрел я на него и говорю: «Пойдите к редактору, попроситесь в секретари – он вас с удовольствием возьмет!» А он замялся да и спрашивает меня таково деликатно: «Я не знаю, как и быть. Боюсь, что это будет не по-товарищески по отношению к вам...» – «Ничего, идите. Я буду очень рад. Все равно в этом доме мне больше не бывать!» Он и потащился. Воображаю разговор этих двух ослов! Кстати, я его потом сюда пригласил. Вы не против этого, Меценат?

– Я очень рад! Послушайте, Принцесса! Вы ничего не будете иметь против, если сюда придет один очень милый, воспитанный молодой человек?

– А он меня не заговорит? – опасливо спросила Принцесса.

– То есть как?

– Да вдруг начнет меня расспрашивать – бываю ли я в театрах... или еще что-нибудь? Тоска!

– Не бойтесь, Великолепная, – хитро ухмыльнулся Кузя. – Мы представим ему вас как настоящую кровную принцессу... Язык у него и прилипнет к гортани...

– Ну вот, глупости... Я не хочу быть самозванкой.

– Ну, Принцессочка, позвольте. Мы ведь в шутку... Он так глуп, что всему верит! Сделайте этот пустяк для нас.

– Это будет сложно?

– Ни капельки! Сидите, как великолепная статуя, а мы около вас будем порхать и щебетать, как птички.

Глава X

тосты. первая удача куколки

Когда подали вино и шашлыки, произошло общее движение, полное восторга, почти экстаза. Новакович глянул хищным оком на шашлыки и проронал:

– О, как я люблю этого зайца!

– Да это не заяц, а шашлыки.

– Ну, все равно, я люблю эти шашлыки.

И блестяще доказал это. Шашлыки понесли от его зубов полное поражение. Увлеченный его аппетитом, Меценат заказал еще несколько порций, потом встал с бокалом в руках и провозгласил:

– Этот бокал я выпью за вечную немеркнущую красоту мира! И воплощение этой красоты в сегодняшней нашей имениннице – Принцессе, которая одной своей улыбкой способна осветить все кругом! О, конечно, вы можете возразить мне, что женская красота – предприятие непрочное, но я смотрю на это шире: когда красота поблекнет, когда наступит мудрая красивая старость, за ней смерть, а потом разложение жизненной материи на первоначальные элементы, то из элементов моей дорогой жены снова получится что-либо не менее прекрасное: вырастет стройная белая кудрявая березка, под ней свежая шелковая травка, а над ней проплывет душистое жемчужное облачко, прольется несколькими жемчужными каплями и протечет светлым ручейком... И во всем этом – в березке, в облачке, в мураве и в каплях весеннего дождя – будет часть красоты моей прекрасной жены, именины которой мы сейчас так чинно и благородно празднуем. Принцесса! За ваше великолепное здоровье!!

– Вот тебе, – прошептал пригорюнившийся Новакович, – начал Меценат за здоровье, а кончил за упокой. А интересно, братцы, куда, в какие элементы перейду я после смерти?

– В силу справедливости, – ухмыльнулся Кузя, – ты бы должен был целиком перейти в барана...

– Почему? – грозно спросил Новакович.

– Потому что сейчас целый баран со всеми своими элементами, и даже с почками, которые ты стащил с моей тарелки, потому что целый баран перешел в тебя.

Нет, господа, вот я скажу речь, так это будет речь, а не разложение живого человека на первичные элементы. Друзья! Никто из вас так не понимает Принцессу, как я. Нам говорят: «Вы ленивы! Вам не хочется даже пальцем пошевелить, лишний шаг сделать...» Слепцы! Да разве ж это не самое прекрасное, не самое благодетельное в мире?! Вот мы ленивы – да разве ж мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло? Ох, бойтесь, господа, активных людей! Мы-то, может быть, наполовину и приятные такие, что мы ленивы. Да дайте Принцессе подвижной, деятельный характер, дайте ей инициативу – сколько она нашего мужского человека погубила бы на своем пути?! Этакая красавица, да если бы она не дремала в прямом и переносном смысле этого слова – ряд мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда на голове неумолимой богини Кали! Есть чудачки, которым мил ураган, разметывающий тучи, как щепки, ломающий вековые деревья и срывающий с домов крыши, есть любители бешеной бури на море, когда скалы стонут под напором озверевших волн! Я не из их числа! Мне мила тихая зеркальная заводь, где дремотные ивы, склоняясь, купают свои элегические зеленые ветви в застывшей воде и где я вижу свое отражение, тоже мирное, кроткое, не возмущенное рябью никакого беспокойного ветра!

– Однако ты довольно ловко приплел себя к этому тосту, – ядовито перебил его Мотылек, – все «я» да «я»! «Мне мило то-то», «я смотрю туда-то», «я люблюсь собою там-то и там-то». Нарцисс паршивый.

– Молчи, изгнанник из редакционных недр! Придержи язык, заступник Пушкина! Я перехожу сейчас непосредственно к Принцессе. Сегодня вместе с ней на нас сошла сама прекрасная Тишина, наши души окутал сладкий покой нирваны, мы будто стоим на берегу южного знойного моря, заснувшего в такой прекрасной неге, что взять бы крикнуть: «Остановись, мгновение, на всю жизнь! Ты прекрасно!» Но не хочется нарушать криком этого знойного душистого молчания, и стоишь так молча – зачарованный колдовской волшебной царицей лени и сладкой неподвижности. За ваше здоровье, Принцесса! Вы согласны со мной?

– А? Что вы такое сказали? Я, признаться, немного замечталась... Простите!

Общин смех не смутил Кузю. Он сделал рукой знак помолчать.

– Не гогочите. Клянусь вам, что в жизни своей я не произносил такой длинной речи, и еще клянусь, что вопрос великолепной Принцессы есть лучшее подтверждение моих слов и лучший для меня комплимент. Я сейчас молился, понимаете вы это? Моя душа звенела, как Эолова арфа... Мотылек, дай мне спичку.

– Какую тебе спичку?! Моя коробка у меня в пальто, а твоя лежит около тебя.

– О толстокожий! Как ты не понимаешь, что твоя коробка в пальто ближе к тебе, чем моя здесь же на столе! Тебе легче...

– Я не помешаю? – раздался мягкий голос из-за портьеры. – Можно к вам?

Вошел Куколка, свежий, застенчиво улыбающийся красными пухлыми губами, как всегда, безукоризненно одетый – в свежий черный костюм, в элегантном галстуке, с перчаткой на левой руке...

– А, Куколка! Вас только и недоставало до ансамбля. Входите! Позвольте вам представить. Это Ее Высочество принцесса Остготская. Ваше Высочество! Разрешите вам представить нашего юного друга, чудного поэта, для которого наши духовные очи провидят большое будущее.

– Очень счастлив, – сказал, склоняя кудрявую голову, Куколка. – Мое имя Шелковников Валентин... мое отчество...

– Подробности письмом, – бесцеремонно перебил его Мотылек, целуя вместо него на лету белую душистую руку, протянутую Принцессой, – садитесь, сын Аполлона. Ну, что... вас можно поздравить? – осведомился он, подмигивая всей компании.

– С чем?

– С секретарским местом! Ведь я же вас давеча туда направил.

– Ах, – вспыхнул Куколка, – а я и забыл поблагодарить вас! Экая неучтивость. Вы знаете, Мотылек... (Вы позволите мне вас так называть?) родной брат не сделал бы мне того, что сделали вы!

– Да что такое? – нервно перебил его Мотылек.

– Дело в том... (Ох, как я вам благодарен. О, какая, господа, это великая вещь – дружба!) Дело в том, что я пошел почти безо всякой надежды... единственно потому, что решил во всем вас слушаться. Ведь я знаю, что вы желаете мне добра...

– Да не мямлите. Ближе к делу! – проскрежетал нетерпеливо Мотылек.

– Ну, что ж... Ваш редактор оказался очень симпатичным. Когда он узнал, что я тот самый поэт Шелковников, о котором последнее время так много писали в газетах, то сделался вдвое любезнее. «Буду, – говорит, – счастлив сделать для вас все что ни попросите». – «Я, – говорю, – слышал, что у вас освободилось место секретаря редакции, так вот нельзя ли?..» – «Видите ли, – говорит, – мой принцип – избирать себе помощников только среди людей, хорошо мне известных, но я вижу, что характер у вас хороший, покладистый, да и имя вы себе уже коекакое приобрели... А кроме того, явились вы под горячую руку!! Так что приступайте с Богом к своим обязанностям...» – «Простите, – говорю я, – я буду согласен на все ваши условия, но разрешите мне поставить только одно свое: я могу занять место лишь тогда, если вы пообещаете напечатать стихи моего предшественника – „Тайна жемчужной устр...“»

– Ни за что! – дико закричал Мотылек, вскакивая с места. – Кто вас просил ставить такие условия?! Не хочу! Завтра же отбираю свою «Тайну устрицы»!!

– Постойте... Да ведь он согласился. Я его убедил.

– Вы его убедили?! – угрюмо сказал Мотылек, обведя всю компанию непередаваемым взглядом. – Вы его убедили!! Я его не мог убедить, а вы его убедили...

– Я же хотел вам приятное сделать, – моляще прошептал Куколка, прижимая к груди руки. – Если бы я знал, что этого не следовало...

– Он его убедил, – простонал Мотылек, роняя голову на руки.

Потом встряхнулся и угрюмо поглядел на Куколку:

– Короче говоря – место за вами?

– Да, за мной. Но если хотите, я завтра же...

– Нет, нет! – с дикой энергией вскричал Мотылек. – Вы должны, обязаны занять это место! Я так хочу. И вы пишете в этом журнале! Пишите больше!!

– Он и просил у меня стихотворение для следующего номера. У меня и сюжет в голове есть.

Воцарилось долгое молчание, которое каждый переживал по-своему... Один Меценат был царственно невозмутим, тихо посмеиваясь в свои пышные седеющие усы...

Да еще Куколка: он с детским любопытством поглядывал на Принцессу и потом, не выдер-

жав, склонился к уху своего соседа, Новаковича:

– Скажите, эта дама – действительно принцесса? Настоящая принцесса?

– О да, – с готовностью отвечал шепотом Новакович. – Только она не любит, когда ей говорят о ее царственном происхождении. Это вообще тяжелая история... Она недавно пережила большую душевную драму. Дипломаты ее родины задумали выдать ее замуж за абиссинского негуса, а она, понимаете, не может переносить черного цвета... Это, кажется, называется дальтонизм. Или еще проще – идиосинкразия! Она сначала хотела лишиться себя жизни посредством фиалкового корня, но ее спасли, тогда она подкупила слуг и бежала, севши в корзинку воздушного шара, который для забавы был привязан в роскошном саду ее владетельного отца... Северо-восточный ветер и принес ее в Петербург.

– Как же вы с ней познакомились?

– Целая история! Пошел я однажды ночью прогулки ради на Горячее Поле, вдруг вижу – воздушный шар низко-низко над полем летит... А внизу конец гайдропа болтается... так сажени на полторы от земли. Ну, вы же знаете мою силу и ловкость; подскочил я, ухватился за конец и притянул корзинку. В корзинке Принцесса в обмороке и мертвый, уже разложившийся, как говорит Меценат, на свои составные элементы, слуга. Извлек я Принцессу, привел в чувство, и с тех пор, вы видите: нас водой не разольешь, такие друзья. Только вы, Куколка, не напоминайте ей этой истории... Вы понимаете, как тяжело!.. Слугу Рудольфом звали, – добавил Новакович ни к селу ни к городу.

– О, я понимаю, совершенно понимаю, – пылко воскликнул Куколка. – Однако, Новакович, какой это замечательный сюжет для стихотворения, правда?

– Чудный сюжет, – согласился Новакович, запихивая в рот кусок шашлыка. – Вы бы поговорили с Ее Высочеством. А то наши ребята перед ней робеют. А вы такой находчивый.

– Чего ж тут робеть, – улыбнулся Куколка. – Я могу вести какой угодно разговор.

И изысканным тоном обратился к дремлющей Принцессе:

– Как поживаете, Ваше Высочество? Принцесса открыла глаза и впервые взглянула на Куколку:

– Что вы говорите?

– Я спрашиваю: как вы себя чувствуете?

– Спасибо, очень хорошо. Только они все такие шумные. Давеча даже речи какие-то в мою честь говорили. А вы тоже из их компании?

– Да, я имел счастье недавно познакомиться с Меценатом и его друзьями, и вы знаете, Ваше Высочество, они ко мне отнеслись как к родному. В их обществе я себя чувствую чудесно.

– Отчего они называют вас Куколкой?

Куколка зарумянился и опустил свои длинные шелковые ресницы.

– Право, не знаю... Это меня впервые Анна Матвеевна – достойнейшая женщина! – так окрестила, а им и понравилось.

– Я вас тоже буду называть Куколкой. Можно?

– Пожалуйста, Ваше Высочество.

– А вы не шумите?

– То есть как? Нет, я вообще тихий.

– Ну, тогда хорошо. Заезжайте когда-нибудь ко мне, я вас чаем попою.

– Буду счастлив. Не замедлю.

– А они все такие шумные, – капризно пожаловалась Принцесса. – Новакович однажды Кузю в ковер закатал... Мне же пришлось его потом и раскатывать.

– Какой ужас! – искренно огорчился Куколка. – Но, если не ошибаюсь, господин Кузя, кажется, очень тихий?

– Да он ничего, только однажды в мою раскрытую шкатулку с бриллиантами окурков насовал.

– Пепельница далеко стояла, – вразумительно пояснил Кузя. – Но я люблю бывать у Принцессы. Тихо так, никто не беспокоит. Я один раз у нее часа три в кресле проспал.

– А вы любите поэзию? – осведомился Куколка.

– Люблю, – согласилась, немного подумав, Принцесса, – только чтоб стихи были короткие.
– Мои не длинные, – успокоил Куколка.
– Господа! – нетерпеливо стукнул по столу хмуро молчавший до сего Мотылек. – Когда же мы устроим коронование Куколки в поэты?!

– Не нравится мне что-то Мотылек, – шепнул Кузя Меценату. – Мы все шутим, смеемся, а у него в истории с Куколкой какой-то надрыв.
– Мотылька надо понять, – качнул седеющей головой Меценат. – Он талантливее нас всех, а не складывается у него, у бедняги, литературная судьба. Вот он и дергается... Денег дать ему, что ли? Да нет, это его не устроит.
– Когда коронование? – капризно повторил Мотылек, ударяя ладонью по столу. – Хочу короновать Куколку.
– Да можно в субботу. У меня. Только Яблоньку нужно бы предупредить.
– Хорошо, – поспешно подхватил Новакович с деланно-равнодушным видом. – Я зайду ей сказать.
Кузя толкнул Мецената локтем в бок.
– Да зачем же тебе затрудняться? Я почти мимо ее дома прохожу. Зайду утречком.
– Где тебе! Ты так ленив, что на площадке лестницы заснешь. Не трудись лучше – я сам зайду.

– Нет я!
– Кузя! Опять в ковер закатаю!
– А я высуну голову из ковра да и крикну на весь крещеный мир: «Православные! Телохранитель влюбился в Яблоньку!»
– Дурак! – прошептал Новакович, отворачивая лицо к стене. – Ах, какой ты дурак! И с чего взял, спрашивается.
– Что я взял?
– Что я... этого... люблю Яблоньку.
– Ах, значит, ты ее не любишь? Завтра же доложу ей: «Телохранитель сказал, что он вас не любит!»
– Да чего ты пристал к нему, как комар, – вступился Меценат. – Не смей обижать моего Телохранителя!
– Как это они хотят вас короновать? – спросила Принцесса, мерцая из полутьмы своими черными звездамиглазами.
– Не знаю, – добродушно усмехнулся Куколка. – Но это, вероятно, очень забавно и весело.

Разошлись поздно. Решили всем обществом проводить Веру Антоновну. Ночь была ясная, звездная, и дышалось после душного кабинета легко. Шли так: впереди Куколка вел Принцессу под руку, за ними Меценат об руку с Мотыльком – что-то тихо, но горячо доказывал своему погасшему другу-неудачнику, а сзади Новакович с Кузей энергично доругивались по поводу все той же Яблоньки...

А она, даже не подозревая, что служит предметом спора, уже давно спала в своей белоснежной девственной постельке... Белокурые волосы, как струи теплого золота, разметались по подушке, а полуобнаженная свежая девичья грудь дышала спокойно, спокойно...

Глава XI приготовления к коронованию куколки

– Какой у вас тут беспорядок, – критически заметил Новакович, оглядывая Меценатову гостиную, – отчего вы не прикажете вашим слугам прибраться?
– Ну, слуги! Они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. А у меня все на месте.
– Именно что. Например, эта пачка старых газет на ковре около оттоманки, кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняный халат на дверце книжного шкафа – все это придает комнате очень уютный, чисто будуарный вид! На крышке рояля такой слой пыли, что все письменные ра-

боты можно исполнять на этой крышке. Вот я вам тут напишу сейчас один вопль!

И он четко вывел по слою пыли на крышке роаяля: «Ребята, позвольте рекомендоваться: я – пыль. Братцы, да кто же меня сотрет наконец?!»

Кузя привстал с кресла, прочитал «воплъ» и деловито объяснил:

– Эту пыль нельзя трогать. Она уже осела и лежит себе спокойно, не попадая ни в чьи легкие... А начни ее стирать – наши легкие погибнут.

– А эти бутылки на полу в углу? А грязные пивные стаканы? Удивляюсь, Меценат, как вам не противно!

– Да что тебя вдруг обуял такой бес аккуратности?! – удивился Меценат. – Никогда я этого за тобой не замечал.

– Мне-то, в сущности, все равно, но сегодня у нас будет дама... Ну, как ее посадить в такое кресло, на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горюющего еврея?! Яблонька не любит грязи!

Все значительно переглянулись и в один голос монотонно затянули:

– А-а-а!!

Когда один уставал и замолкал, другой подхватывал эту заунывную ноту и тянул дальше, пока его не сменял первый.

– А-а-а!.. А-а-а!..

– Честное слово, я расскажу Яблоньке, как вы надо мной издеваетесь, приплетая ее имя!!

К Яблоньке «клеветры» относились молитвенно, поэтому после угрозы Новаковича рты моментально захлопнулись, как пустые чемоданы.

Впрочем, Кузя не утерпел:

– Телохранитель, когда свадьба?

– Чья? – не понял сразу Новакович.

– Ваша же, ваша! Ты ведь сохнешь так, что даже сахар Анны Матвеевны не помогает. Сдашь государственные экзамены – надевай фрак, белый галстук и делай предложение.

Новакович, уныло свесив голову, помолчал, потом вдруг встряхнулся и сказал с неожиданной откровенностью:

– До чего бы это было хорошо! Конечно – фрак ерунда, но вообще, помимо фрака... Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством.

– Да мы не смеемся, чудак. Мы сочувствуем. Я это понимаю. Я сам один раз был влюблен в некую вдову – так влюблен, что и сказать невозможно. До того дошло однажды, что я на пол повалился и стал ножку стола грызть.

– Что общего? – возмутился Мотылек. – Тут чистая, благородная, благоуханная девушка, а этот шахматный Кузя со своей затрапезной вдовой вылез да еще ножкой стола подпер?! Новаковича я понимаю, тем более что Яблоньку чудесным образом отыскал именно я. И горжусь!

И закончил прозаически:

– Тем более это стоило Меценату всего два рубля! Куколка обошелся нам в двенадцать раз с половиной дороже...

– Мотылек, не будь циником, – мягко упрекнул шокированный такой странной математической выкладкой Меценат.

– Моя вдова не затрапезная, – обиженно сказал Кузя, думая о своем, – у нее был муж полковник и такая грудь, что вы таких грудей не выдывали! А волосы! А губки!

Новакович счел нужным перебить его:

– Анатомия полковничьих вдов в твоём живописном изложении не является тем предметом, который увлек бы нас! Меценат! Разрешите все-таки, мы тут приведем все немного в порядок. А?

– Как хотите! Разве я могу в чем-нибудь вам отказать? А прислугу не допущу! Она порядок путает.

– Ну-ка, Мотылек, Кузя! Долой пиджаки. Приступим.

Кузя снял пиджак, уселся в кресло и сказал:

– Начинайте! Я буду руководить вами. Мотылек, собери газеты, накрой глину тряпкой и сунь ее под стол подальше! Новакович, сними халат с дверцы шкафа, оботри им пыль и стряхни

пепел на пол. Потом подметешь.

Работа закипела, а Кузя, потонув в кресле, изредка командовал Новаковичем и Мотыльком, ворча себе под нос в паузах:

– Хм! «Затрапезная вдова»! Да она бы вас к себе и на кухню не пустила. А ноги у нее какие были – красота! Беленькие, пухленькие... Вот тебе и «затрапезная»! Аристократы нашлись! Отнеси теперь халат к Анне Матвеевне – пусть в грязное белье бросит! А шейка у нее была – мрамор! Бывало, оскалит белые зубки... Окурки, окурки, не забудьте смести с подоконника!

Меценат в это время тоже не сидел без дела: он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону.

– Порфиру бы ему еще соорудить, черту полосатому, – сказал Мотылек, отрываясь от работы, – да не из чего!

– Послушайте, – задумчиво почесал за ухом Меценат, – а что, если он раскусит нас и обидится... Неловко будет.

Мотылек собрал складки своего лица в очень причудливый рисунок и хихикнул:

– Он-то? Да представьте вы себе – он сейчас плавает в океане блаженства! Я его раздул, как детский воздушный шар! Не встречал я дурака самонадеяннее! Все принимает за чистую монету, строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры и... Да ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки удержался на моем бывшем месте в редакции... Я, признаться, думал, что дело окончится скандалом, а он... приспособился! Вот именно такие ничтожества этаким болванам, как редактор, и нужны! Впрочем, я спокоен: он удержится до выхода первого очередного номера. А как тиснет в журнале свою «старушку в избушке, кругом трава» – так ведь, как пустое ведро по лестнице, загремит! И опять, хамы этакие, придут ко мне на поклон... Тут-то я и поиздеваюсь. А-а, скажу, аршинники, самоварники... О, мне Куколка еще нужен! Я все редакции взорву этим Куколкой... Пусть они его подхваляют да заметочки о нем печатают, вроде как вчера: «Входящий в известность поэт В. Шелковников, о котором в последнее время так много писали, выпускает свою первую книгу, ожидаемую литературными гурманами с большим интересом...» Нет, Куколку обязательно нужно короновать в короли поэтов! А потом я им преподнесу: «Глядите, остолопы! Вот тот властитель мыслей, которого вы заслуживаете!»

– Одна вещь только меня заботит... – обеспокоенно сказал Новакович, крутя свой рыжий ус. – Ведь по проекту церемониала участие в этом идиотском коронавании должна принять и Яблонька?

– Конечно! Она увенчает его короной!!

– Ну, вот. Как же мы поступим: объясним Яблоньке, что Куколка – жалкий болван, или оставим ее в неизвестности, придав всей церемонии вид настоящего преклонения перед этим «Божьей милостью» поэтом?

– По-моему, признаться во всем Яблоньке, да и дело с концом! Она же с нами и повеселится.

Новакович твердо посмотрел всем в глаза:

– Нет, ребята, значит, плохо вы знаете Яблоньку! Могу сказать заранее, что будет: узнав, что мы мистифицируем этого жалкого парнишку, она возмутится, назовет нас жестокими, бессердечными, пристыдит нас, укажет на то, что мы зря издеваемся над Божиим творением, что у этого «творения» тоже есть живая страдающая душа – и прочее, и прочее. Одним словом, сорвет всю нашу игру. Вы об этом не подумали?

– Тогда можно Яблоньке вообще ничего не говорить... Представим его как нового Шиллера, Пушкина и Байрона, вместе взятых, и что мы, дескать, хотим почтить это гигантское дарование!!

Новакович покачал головой:

– Значит, вы предлагаете попросту обмануть нашу Яблоньку?

– Да чего ты заныл преждевременно? – вскипел Мотылек. – Сегодня Яблоньке ничего не скажем, а завтра явимся все к ней, падем на колени, поцелуем край ее платья да и покаемся. Кто открыл Яблоньку? Ты, что ли? Я ее открыл! Значит, я за все отвечаю!

Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид: посередине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло, в свою очередь покрытое великолепной персидской шалью; по бокам кресла – две развесистые пальмы в кадках, задрапированных одеялами. В

стороне – маленький столик, на столике красная шелковая подушка, а на ней – сверкающая разноцветными камушками чудесная корона, которая под искусными пальцами волшебника Мецената превратилась в подлинное художественное произведение. В стороне стол – с цветами и фруктами.

Мотылек ходил вокруг, любовно осматривая все эти вещи, и только кричал от удовольствия. Все поработали сегодня достаточно – даже Кузя внес свою лепту в общие труды: разбил фарфоровую вазу для цветов.

Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанским и бокалами – она остановилась посреди комнаты совершенно остолбенелая...

– Это чего такого вы тут настроили?

– Красиво, бабуса? – с гордостью спросил Кузя. – Видите, как я тут все прибрал?!

– Да что это вы... женить кого собрались, что ли? Что за праздничек придумали?

– О, благодетельная Кальвия, – выскочил вперед Мотылек. – Все это для вас! Мы пронюхали, что ровно сорок лет назад вы погасили огонь Весты; уронили пылающий факел девственности и, упав в объятия супруга, перешли на брачное положение. Этот угрюмый факт мы и решили отметить!

– И кто тебе, лешему, такой язык привесил?! – сердито сказала Анна Матвеевна. – Ты бы лучше в церковь ходил да Богу молился!

– Нот, уж вы его не заставляйте Богу молиться, – вступился Кузя. – А то он лоб разобьет – кто будет чинить церковные плиты? Вы, что ли?

За дверью свежий звучный голос произнес:

– Разбойнички!.. А здесь Яблонька! Впустите!..

Глава XII коронование

Рев восторга приветствовал гостью. Гибкая, золотистая, в платье персикового цвета, с обнаженными руками и открытой шеей – будто кусочки белого мрамора мелькнули перед глазами восхищенных клеветов, – она была обворожительна в своей не искусственной кокетством юности.

От пышных волос, окружавших прекрасное лицо золотым сиянием, до маленьких ножек, обутых в серебристые туфельки, – она вся теплилась, как радостная пасхальная свечка.

– Яблонька, – восхищенно воскликнул Меценат. – Если я ослепну от вашей красоты, как старый Велизарий, будете ли вы водить меня за руку, как тот мальчик, который питал Велизария?

Новакович вздохнул и мрачно ответил за Яблоньку:

– Не такой она человек, чтобы водить за руку. Она за нос водит...

Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвеевной, и поэтому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей.

– Голубка ты моя белая, – обратилась к ней нянька. – Хучь ты объясни мне – чего это тут затевается?! От них нешто добьешься толку?! Такое мне объяснили, что тебе, девушке, и слушать неподобно!

– А вы думаете, нянечка, я знаю? Прилетает ко мне Новакович, сует в руку две груши и наказывает, чтоб обязательно я сегодня пришла в самом парадном виде! Спрашиваю, зачем. Мычит что-то.

– Мудреные они, – сокрушенно сказала нянька. – Ты бы их остерегалась, девушка, а то втянут они тебя в историю. Ведь я их знаю – сущие мытари!

– Настало время объяснений, – напыщенно сказал Мотылек. – Сегодня мы коронуем одного чудного поэта, а имя этому поэту: Куколка.

– Что за коронация? – забеспокоилась нянька. – Чего надумали?! Нешто он царь какой?

– Король, бабуса! Король поэтов.

– Ну, дай ему Бог, – смягчилась нянька. – Очень он ладный парнишка: великатный такой, почтительный – не вам, бесстыжим, чета. Да вот он – легок на помине.

Куколка появился, одетый, как и подобает королю поэтов, в черную бархатную тужурку, ловко обрисовывавшую его стройную талию... Черный глубокий тон бархата резко оттенял блед-

но-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос.

– Вот они, – любовно сказала нянька, поглядывая то на него, то на Яблоньку. – Две золотые головушки! Будто ангелята в ад слетели.

– Тесс! – зашипел Мотылек, приложив палец к носу. – Частные разговоры не допускаются! Без прозы! Все по местам!

Он низко поклонился Куколке, взял его деликатно за пальцы, усадил в торжественное кресло на белой медвежьей шкуре, подскочил к роялю и, обрушив на клавиши свои проворные пальцы, стройно заиграл полонез из «Сказок Гофмана»...

Кончил. Схватил со стола заранее приготовленный том Пушкина, развернул его, как Евангелие, на заранее приготовленном месте и звучно прочел:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон –
В забавы суетного света
Он малодушно погружен.
Когда ж в избе старушки скрип
До слуха четкого коснется...
Тотчас к бумаге он прилип
И от нее не оторвется!..

Так он и откатал все стихотворение, причудливо мешая звучащий медью пушкинский стих с пресловутыми Кукольными стихами о старушке. Окончив, захлопнул книгу, благоговейно поцеловал ее и начал речь:

– Ваше величество, дорогой Куколка! В жизни почти всякого большого поэта есть одна неизбывная трагедия... Современники его или недостаточно ценят, или совсем не ценят, и только после смерти поэта приходят признание, слава, почести. Это ужасно!! И вот мы, люди хрупкой утонченной духовной организации, почуяв, что в отношении вас может совершиться та же вековая несправедливость, решили по мере своих слабых сил дать вам при жизни то, на что при других условиях вы бы имели право после смерти! Мы создадим вам славу, потому что вы достойны ее, и сегодняшний день – это первый робкий шаг в страну Очаровательных Возможностей, которые ожидают вас на вашем пути, на том пути, с которого мы заботливо сметем все камни преткновения, все шипы – чтобы шествие ваше встречало по сторонам только цветущие розы, только благоухание цветов и приветственные улыбки благодарного народа, который вы вознесете и облагородите вашим волшебным талантом! Настоящих поэтов коронуют так же, как подлинных королей, поэтому, о прекраснейшая из русских женщин – Яблонька, – благоволите покрыть сверкающее будущим гением чело этой королевской короной. Ур-ра!!

Яблонька, ласково улыбаясь, взяла с подушки корону, надела ее на кудрявую голову «короля поэтов», а «король поэтов» с серьезным видом преклонил одно колено и благодарно поцеловал гибкую душистую ручку...

И все клеветы во главе с Меценатом грянули могучее «ура!», а в углу сидела нянька, растроганная речью Мотылька, и тихо плакала, утирая глаза белым фартуком.

«Ура» продолжало греметь, клеветы выхватили из ваз благоухающие цветы и принялись забрасывать ими сияющего, глубоко растроганного Куколку.

Когда овации утихли, Яблонька подняла с белой медвежьей шкуры темно-красную розу и, приколов ее к корсажу, обратилась к Куколке:

– К сожалению, я еще не читала ваших произведений, но я доверяю литературному вкусу всех, кто находится здесь, и поэтому присоединяю свои поздравления и пожелания... Вот что скажу вам: работайте, рвитесь вперед, не удовлетворяйтесь внешним успехом, а главное – не застывайте на одном месте! В искусстве – все в стремлении.

– Спасибо! А мы с вами еще не знакомы. Позвольте представиться: моя фамилия Шелковников, мое имя...

– Имя ваше можете не произносить, – перебил его Мотылек. – Оно будет прочтено миллио-

нами на обложке ваших сочинений. Господа! Теперь по бокалу шампанского! Яблонька! Предложите королю из ваших ручек.

Когда Мотылек подскочил к разливавшей шампанское Анне Матвеевне, старуха взяла его за ухо и доброжелательно сказала:

– Ведь вот и шут ты, и суший разбойник, а сказал давеча так, что меня, старуху, слеза прошибла. Тебе бы остепениться – из тебя бы человек вышел.

– Э, бабуся! Куда мне в люди выходить... Я на себя рукой махнул. Дай Бог других в люди вывести! А я – ни в чем мне нет удачи...

И среди этого напускного веселья густое облако грусти напоззло на морщинистое лицо Мотылька, и такое это было густое облако, что часть влаги осела в одной из морщин под глазом, задержалась на минуту и потом окончательно скатилась на борт пиджака.

– Фу ты, – развязно сказал Мотылек, – сколько газу в этой шампане. Инда до слез!..

А на другой стороне комнаты огорченный Кузя с бокалом шампанского, спрятавшись а глубое кресло, как черепаха в свой панцирь, бормотал, глядя выцветшими глазами в пространство:

– «Затрапезная вдова»! Да вы, может, таких вдов еще и не нюхали! Грудь как слоновая кость, упругая, как на пружинах, и на рояле хорошо играла... А мужа, может быть, и генералом бы сделали, да он сам не хотел. Зачем, говорит, мне! Я не чинов, говорит, добиваюсь, а дело люблю делать. Дело, дело и только дело! Вот тебе и «затрапезная»!

Глава XIII болтовня на ковре

Пить вино на полу – была затея Кузи. Он объяснял ее уютностью такого положения, оправдывал примером древних римлян, которые, дескать, тоже всегда во время пиров возлежали, но на самом деле эта мысль имела своим источником отчаянную лень этого вялого шахматиста. Ему очень хотелось полежать, но в обществе растянуться вдруг ни с того ни с сего на оттоманке было невежливо, а если сделать из этого общую забаву, то ему, Кузе, будет удобно, а всем вообще весело...

В центре большого персидского ковра поставили объемистую вазу с крюшоном, а вокруг нее радиусами разлеглась вся компания, не исключая и Яблоньки, которой пылкий влюбленный Новакович смастерил царственное ложе: шкура белого медведя, на шкуре плюшевый плед, а на пледе Яблонька, положившая круглый алебастровый подбородок на огромную пушистую голову страшного зверя.

– Дорогие друзья, – предложил Меценат, – мы могли бы заняться светским разговором, но нет ничего более нудного и тягучего, чем эта болтовня, в которой не больше содержания, чем в пустом орехе! Вместо этого пусть каждый из нас расскажет самую диковинную, самую замечательную историю из своей жизни и практики. Это всегда весело и поучительно, а тем более в такой торжественный день. Ну-ка, Телохранитель, зачинай! Какой самый удивительный случай был в твоей многоцветной жизни?

Умный Меценат неспроста начал с Новаковича, потому что труднее всего в таких случаях начинать первому, а известно, что Новакович в карман за словом не лазил и в любой момент способен был с самым хладнокровным видом состряпать самую чудовищную историю.

– Извольте, – с готовностью сказал Новакович. – Только в моей истории будет одна девушка и один поцелуй, так что я заранее прошу у Яблоньки прощения за некоторую фривольность сюжета.

– Рассказывайте, Телохранитель, – рассмеялась мягким всепрощающим смехом Яблонька. – Я не такая наивная, чтобы не знать, что некоторые девушки целуются.

– И даже очень! – подхватил Кузя с таким фатовским видом, который ясно указывал, что в этих отклонениях от девичьей добродетели он, Кузя, играл не последнюю роль.

– Кузя! Девушки не твоя среда, помолчи. Вот когда девушка выйдет замуж, да муж ее делается полковником, да потом умрет, да она останется вдовой с белыми ножками и прочим...

– А вы сегодня мою вдову напрасно обидели, – опять омрачился Кузя. – Как она играла на

рояле! И когда играла, так ямочки на плечах, как живые, прыгали...

– Это ты нам расскажешь без Яблоньки, – сурово прервал его пуританин Новакович. – Ну, так вот вам, почтенные, моя история... Называется она –

ПОЦЕЛУЙ В КАЮТЕ

Должен я начать с самой интимной подробности моей прошлой жизни: в дни своей юности я влюбился... Чувства свои я подарил одной очень достойной девушке, а отвечала она мне взаимностью или нет – я не знал, и это чрезвычайно терзало меня!

(При этих словах рассказчик бросил косой взгляд на Яблоньку, ожидая, что веки ее или углы губок предательски дрогнут, но Яблонька самым безмятежным образом была погружена в вылавливание розовым язычком ананаса из бокала с крюшоном. Рассказчик тоскливо вздохнул и стал продолжать.)

Я и теперь, господа, застенчив и робок с женщинами, а в те времена взглянуть даже на женщину дерзновенным взглядом было для меня подвигом совершенно невозможным. И случилось так, что любимая мною девушка и я должны были ехать на пароходе из Одессы в Севастополь. Я только издали поглядывал на нее да вздыхал, а она была весела, как никогда: каждую минуту подходила ко мне, шутила, подтрунивала надо мной, а когда ее заинтересовывало что-нибудь из жизни моря – мимо идущий корабль или плывущий обломок лодки, разбившейся где-нибудь о скалы, или резвящаяся за корабельной кормой стая дельфинов, или поле водорослей, колышущееся на поверхности воды, – она обо всем этом меня расспрашивала, и я толково объяснял ей, потому что в морских делах очень хорошо понимаю и во мне, может быть, заглох какой-нибудь морской корсар, и слава Богу, что заглох, потому что за эти штуки по головке не гладят.

Вот так-то беседуем мы с ней, а она вдруг я спроси меня:

– У вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи?

– Есть, – говорю. – Хорошая коллекция.

– Покажите. Только вы не тащите всего этого сюда, а я, – говорит, – лучше пойду в вашу каюту. Можно?

А у меня была отдельная каюта – капитан был приятелем, так дал.

Услышав предложение любимой девушки, я засиял, как бриллиант Кох-и-Нор, и, конечно, помчался вперед самым гостеприимным образом. Входим мы, и как остановилась она посреди каюты, красивая, будто наша Яблонька, сверкающая черными глазами, белыми перламутровыми зубками, освещенная ярким полуденным солнцем из открытого иллюминатора, как наклонилась она над альбомом жарко дышащей грудью – вспыхнул я, как солома на огне.

И уж буду с вами откровенен до конца – до того захотелось мне поцеловать эту прекрасную девушку, что чуть не до крику.

Собственно, другой на моем месте, может быть, и сделал бы это, потому что девушка относилась ко мне чрезвычайно ласково, но, как я вам говорил уже, характер у меня был дико застенчив. Как так? Среди бела дня вдруг ни с того ни с сего – чмок! Еще если была бы темная ночь – тогда не так стыдно... А то как назло: солнце нагло лезло всеми своими лучами, как осьминог лапами, прямо в открытый иллюминатор, так что я мог пересчитать все выющиеся мягкие волосики на ее склоненном затылке...

И воззвал я ко Господу:

– Всемогуший! Если для тебя действительно нет ничего невозможного – пошли сейчас ночную тьму, чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующие меня чувства!

Не успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг – трах! В каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи... Не помня себя, я хватаю любимую девушку в объятия, целую, и – о счастье! – она отвечает мне таким же горячим поцелуем!! Оказалось, что я ей давно уже не только не противен, а совсем даже наоборот...

Божье чудо!

Новакович умолк, благоговейно склонив голову на ковер и бросая косые взгляды на Яблонь-

ку, заливавшуюся самым беззаботным, безоблачным смехом.

– Послушай, Новакович, – значительно начал Кузя. – Я в течение нашего знакомства выслушал много твоих историй, но эта сегодняшняя история... гм!! Не находишь ли ты, что всему на свете все-таки должны быть какие-нибудь границы?!

– Почему? А что тут невероятного? – хладнокровно пожал плечами Новакович.

– Не будешь же ты утверждать, проклятая Эйфелева башня, – заревел выведенный из своего дремотного состояния Кузя, – что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце?! Осмелюсь сказать это – и ваза с крошоном будет у тебя на голове!!

– Нет, солнце не погасло.

– Значит, вы оба на несколько минут ослепли?!

– Зрение наше было в совершеннейшем порядке.

– Телохранитель, – вступился Меценат, увидев, что Кузя потерял все свое безмятежное спокойствие и вотвот готов броситься на Новаковича. – Телохранитель! Если ты нас не дурачишь, то объясни же: откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь?

– Ах, простите, я и забыл сказать вам! Дело в том, что у борта парохода резвилась стая дельфинов... И вот один, наиболее прыткий, подпрыгнул выше других и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел совершеннейшую темноту, столь благоприятствовавшую ворами и влюбленным. То, что я рассказал, факт! Можете проверить у капитана! Он теперь плавает на «Императрице Екатерине», Чайкин фамилия его.

Все прыснули со смеху, а Куколка поднял на Новаковича свои прозрачные, как лесное озеро, голубые глаза и воскликнул с увлечением:

– А вы знаете, Телохранитель, вот прекрасная тема для рассказа в эксцентричном английском стиле!

– Я думаю! Запишите, чтоб не забыть.

– Кузя, – скомандовал Меценат, выпив залпом бокал холодного крошома и утирая усы. – Твоя очередь.

– Моя история коротка, – проворчал ленивый Кузя. – В ней нет ни девушек, ни дельфинов, а есть только –

ДВУНОГАЯ СОБАКА

О двуногой собаке я говорю не в ироническом смысле – это была настоящая собака, и жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание.

Когда я учился в третьем классе – это была обыкновенная четверногая собака, но когда я перешел, засыпанный наградами, в четвертый класс (хотя моя карьера и не имела прямого отношения к трагическому случаю с псом), то однажды этот ординарный пес потерпел самое оригинальнейшее крушение! Именно: перебегая дорогу, попал под автомобиль, да так попал, что колесом ему начисто отрезало переднюю левую и заднюю правую лапу.

– Какой ужас, – покачала головой сердобольная Яблонька. – Неужели издох?!

– В том-то и дело, сударыня, что выжил! Мы, гимназисты, его и лечили. Но тут вот и начинается самое диковинное: остался он, песенок этот, с одной правой передней к левой задней ногой, причем ходить, конечно, не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломаны две ножки по диагонали. Никак его, черта, не поставишь. Но прошло некоторое время – и собака наша стала показывать чудеса... Лежит, бывало, у стенки, греется на солнышке, вдруг – свистнешь ее! Подползет она на брюхе к стенке, обопрется об нее боком да вдруг как побежит!!

– Послушай, Кузя, да ведь это невозможно!

– Почему невозможно?! Она бегала по принципу двухколесного велосипеда: сразу приобрела инерцию и мчалась как сумасшедшая! Но стоило ей только остановиться, как она сваливалась набок, тоже вроде двухколесного велосипеда! И так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища по оси, а вкось, по диагонали, то она бегала не прямо, а всегда загибалась самые крутые виражи.

Кузя поглядел на Новаковича с убийственной иронией и закончил:

– Я вижу, что вы мне не совсем верите, но утверждаю, что собака такая была, и, как любит говорить Новакович, это легко проверить: ее звали Лорд! А владельца звали – Гусаков! Он теперь тоже плавает где-то, на чем-то.

После некоторого молчания – дани общего удивления странной Кузиной собаке – перст Мецената направился на Мотылька:

– Твоя очередь, Мотылек. Твой стиль обладает большими литературными достоинствами, и поэтому ты не будешь калечить собак или затыкать дельфинами иллюминаторы! Алло! Мы слушаем.

– Моя история не будет веселой, потому что я нынче настроен не особенно хорошо, хотя коронование Куколки для меня большой праздник! Кстати, Куколка! Благополучно ли вы несете ваши секретарские обязанности?

– О спасибо! Я вам бесконечно благодарен. С редактором мы ладим, хотя знаете что? Он мне говорил, что собирается оставить «Вершины»... Его приглашают редактировать большую ежедневную газету. Хотите, я вас помирю, и он устроит вам в газете заведывание литературным отделом?

– Нет, где там! Я его так тогда отделал, что придется мне жить отдельно от этого отдела – простите за плохой каламбур. А за вас я рад, очень рад, Куколка! Вы оправдываете мои надежды!

Мотылек собрал лицо в клубок морщин, странно поглядел на Куколку и сказал:

– Однако к делу. Моя история под стать моему настроению – будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея, художника Гойи. Тем более что и в истории этой главное действующее лицо – художник! Итак –

О ХУДОЖНИКЕ, КОТОРЫЙ НЕ МОГ ПОПАСТЬ ДОМОЙ

Я, подобно Меценату, люблю побродить по разным трущобам, поэтому да не покажется вам удивительным, что однажды судьба, прихоть и ноги занесли меня в мрачный трактиришко на Обводном канале, нечто подобное той «Иордани», где Телохранитель при первом знакомстве удержал Мецената от карточной игры с елейным убийцей...

Трактир, в который я попал, был переполнен публикой, плохо одетой и еще хуже воспитанной, что неопровержимо доказывалось двумя висящими на стене суровыми плакатами:

«ЗА ПОТРЕБОВАННОЕ ПЛАТИТЬ ВПЕРЕД»

и

«ЗА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ГОСТЕЙ, ПОЛОЖЕННЫЕ НА СТОЛ, ХОЗЯИН НЕ ОТВЕЧАЕТ».

Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво, как вдруг мое внимание приковал к себе один человек, сидевший налево от меня в полутемном углу этого прокопченного дымом и пропитанного зловонием устаревших кушаний трактира.

Лицо этого человека было бело как мел, углы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза угрюмо и будто испуганно сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным тяжелым взглядом из своего угла и вдруг задал странный вопрос:

– А вы чего сюда пришли?

Вот это маленькое словечко «а» впереди фразы и особое ударение на местоимении «вы» главным образом и поразило меня. Благодаря этому фраза приобретала определенную окраску: «Я, мол, пришел сюда потому, что иначе не могу, а какие дьяволы тебя принесли в такое место?»

– Я зашел случайно – люблю понаблюдать низы, – вежливо отвечал я на его странный вопрос. – И потом, не находите ли вы, что в этой грязи и отчаянности падения есть своего рода жи-

вописность?

– Не правда ли? – ответил он, забирая свою бутылку вина и переключивая к моему столику. – Но на такую картину ни кармина, ни берлинской лазури не потребуется ни капельки – сплошная сепия и терр-де-сиена, с щедрой примесью жженой кости!

– Вы художник?

– Художник. Слушайте, будем пить и разговаривать – у меня есть деньги, я вас угощу. Только, пожалуйста, разговаривайте, разговаривайте больше!..

– Что это, у вас как будто странное настроение? – с любопытством спросил я.

– Ничего не странное! Ничуть не странное – самое обыкновенное! Но... будем разговаривать! Говорите что-нибудь – не могу выносить молчания.

Я принялся рассказывать ему какой-то вздор, и он слушал меня с интересом, даже иногда оживлялся, но сейчас же потухал, и уголки его губ опускались самым демонски угрюмым образом.

«Черт его знает, – подумал я, – не убил ли нынче этот Веласкес какого-нибудь человека?»

– Слушайте, – вдруг спросил я, оглядываясь на шумевшую сзади толпу оборванцев, среди которой я чувствовал некоторую опору в безумной смелости моего вопроса. – Вы сегодня никого не убили?

Нисколько не удивившись моему дикому вопросу, он болезненно поморщился и заторопился:

– Нет, тут не то. Это совсем другое! Впрочем, о смерти не стоит. Вы же сейчас говорили об Анатоле Франсе! Вернемся к Анатолю Франсу.

Вернулись мы к Анатолю Франсу, потом перешли к Малларме, переехали на Барбе д'Оревильи – всех трех странный художник знал превосходно.

Особенно взволновала и растрогала его история, которую я незадолго до этого прочитал во французских газетах: однажды на рассвете на скамейке одного из бульваров Парижа нашли мертвого старика, как потом оказалось, поэта. И в карманах его ничего не обнаружили – ни денег, ни документов, – кроме трех вещей: свертка рукописных стихов, штопора для откупоривания бутылок и пряди тонких женских белокурых волос, завернутых в полуистлевшую бумажку. Вот что было в кармане трупа на бульварной скамейке. Смерть настоящего поэта!

– Вот это я понимаю, – воскликнул художник, выслушав историю парижского поэта. – Да, это так! Он был настоящий поэт, как и я, может быть, настоящий художник!

Я огляделся: трактир уже опустел, так как незаметно нахлобучилась на беспокойную голову столицы сырая петербургская ночь.

Слуга, изжеванной судьбой наружности, усыпанный веснушками, как паркет маскарадного зала – конфетти, подошел к нам и твердо предложил:

– Идите домой. Заведение закрывается.

– Голубчик, мы еще немножко... Еще полчаса посидим. Я заплачу!

– И что это вы за господин такой! – угрюмо и подозрительно проворчал слуга. – И вчера не хотели уходить, и позавчера... У нас с полицией строго – такой час, что закрываем!

– Может, кабинетик какой есть или вообще комнатка?.. Вы бы нам – полдюжины вина, телятинки холодной и свечей пару! Ничего больше не потребуется, и можете спать...

– Собственно, и мне пора домой, – нерешительно пробормотал я.

– Дорогой, милый, – ни за что! Оставайтесь. Вы еще расскажете что-нибудь, выпьем вина – хорошо? Не оставляйте меня одного!

Я не совсем благосклонно пожал плечами и по темной скрипучей лестнице поднялся следом за ним наверх.

Уселись. Выпили еще вина.

Только наш неожиданный, причудливый, призрачный Петербург может щегольнуть такой зловещей комбинацией: мрачная сырая комната без всякой мебели, кроме тяжелого стола, покрытого сырой дырявой скатертью, комната, где будто застоялся запах старого убийства; за окном густая, как кисель, сырая ночь, дышащая в лицо тифом, а против меня – тускло освещенный единственной свечкой человек, из опущенных углов рта которого вопияла смертная тоска, а глаза

испуганно, умоляюще вонзались в меня с молчаливым криком: не умолкайте! Говорите о чем угодно, но не молчите!

Однако наступил момент, когда я совершенно иссяк и умолк, устало прикрыв глаза веками.

– Ваши родители живы? – вдруг спросил меня художник вне всякой связи с предыдущим разговором.

– Отец жив; мать умерла.

– Умерла?! Неужели? А что ж вы с ней сделали, когда она умерла?

– Да что ж с покойницей делать? Как полагается – похоронили честь честью.

– А как?! Как это делается? Расскажите!

Я невольно отодвинулся от него к окну. Мелькнула мысль: сумасшедший.

– Вы думаете, я сумасшедший? Даю вам слово – нет. Тут не то. Тут другое. Не знаю, поймет ли кто-нибудь меня...

Я решительно встал с места:

– Вот что, дорогой маэстро! Если вам мое общество приятно – вы сейчас же немедленно расскажете мне, что с вами такое делается! Если нет – сейчас же уйду! Ну вас к черту с вашими истерическими вопросами и с тоскующими глазами птицы Гамаюн! В чем дело?

Он подошел к окну и, вперив в него лицо, долго вглядывался в серую слепую сырую слизь, которая в Петербурге пышно именуется «ночь».

Потом отвечал. Не мне, а этой унылой ночи:

– У меня умерла жена.

– Это огромное несчастье, – деликатно ответил я. – Но нельзя же быть таким... странным!

– Я знаю. Но у меня нет мужества вернуться домой... И потом – не смейтесь! – я не знаю, как это делается!!

– Что делается?!

– С покойниками. Первый раз в жизни. Пятые сутки брожу по трущобам. Дома не был.

– А жену когда похоронили?

– Не хоронил еще. Дома лежит. Слабое сердце. Получила телеграмму о смерти отца – не выдержала. Упала. Разрыв сердца.

– Безумец вы! Пять дней – и она лежит непогребенная?! Почему не похоронили?!

– Поймите – мы здесь одни жили: без друзей, без знакомых... Ну, вот – смерть. А как с ней обращаться, со смертью-то – не знаю. Первый раз в жизни. Ушел я из дому и... не могу туда вернуться. И страшно, и не знаю: что же делать с ней. Жену я очень любил – поймите. А там... ведь это обмывать как-то нужно, свечи разные. Псалтырь читать – откуда я все это знаю? Вот и отдаляю момент возвращения. Пью. Страшно там, поди. На полу так и лежит. Пять дней. И чем дальше, тем все страшнее пойти.

– Знаете что? Стол этот достаточно большой. Ложитесь-ка на нем до утра. А мне дайте ваш адрес, ключ, я все устрою – потом вернусь за вами, когда уже будет готово...

Он поглядел на меня, как на Бога, благоговейно сложив руки, и покорился во всем, как дитя. Лег на стол, положив под голову пиджак, вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

– Я над ней больше суток просидел. Пожалуй, даже не плакал – все смотрел на мертвое лицо. А когда обоняние мое почувствовало странный и неприятный запах, совсем жене не присущий, – испугался и убежал из дому.

Было уже светло. Я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом в участок, взял околоточного и доктора, вошли мы в мастерскую художника. Действительно, на полу лежит женщина, и первый, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да... Нелегко дышалось и этой комнате!

К вечеру вся процедура была закончена, мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилой, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в трущобе на Обводном канале. И что ж вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена, благодарно поцеловал меня, пробормотал: «Сейчас буду писать ее в рай, куда

она, я полагаю, попала», – и, как ни в чем не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Это он хорошо делал. Потом я видел картину... Прекрасная! Этакая мистическая вещь. На выставке была.

Мотылек обвел удовлетворенным взглядом притихших слушателей и добавил:

– А что вы думаете, Меценат! Этот непрактичный художник, это Божье дитя любил «живую жизнь» еще больше, чем мы с вами!

– Ты меня обокрал, Мотылек! – печально улыбнулся Меценат. – Я хотел рассказать историю в том же грустном зловещем стиле, а ты меня опередил!

– О, милый Меценат, – поощрительно возразила Яблонька. – Вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом во вкусе Гойи. Начинайте и вы!

– Яблонька может вертеть мной, как ребенок погремушкой. Тряхнула – и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю –

О СУМАСШЕДШЕМ, КОТОРОГО ОБМАНУЛИ

Два года тому назад проживал я летом в одном из своих имений... Река, сенокос, парк, огромный плодовый сад – хорошо! Приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав – Зубчинский. Уселись мы с ним на веранде, увитой диким виноградом, играть в шахматы – оба были страстные шахматисты. Сбоку столик, на столике белое вино со льдом, ягоды, бисквиты – хорошо! Передвигаем фигуры, болтаем о том о сем, вдруг он, сделав удачный ход, на минутку призадумался, посмотрел на меня странными глазами и говорит:

– Что, если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть?

Шутка была глупая. Я пожал плечами, снисходительно усмехнулся и говорю:

– Что за дикая мысль пришла тебе в голову?

– Нет не дикая! (И смотрит на меня нехорошими глазами.) Нет-с! Не! Дикая! Сено – великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь! А вам все жалко?! Лошади у вас живут без сена – безобразие!

– Николай Платоныч, – испуганно говорю я. – Что это ты, от жары, что ли? Опомнись!

Завизжал он дико, пронзительно:

– Не потерплю! У самого сенокосы по пятьсот десятин, а он лошадей с голоду морит!! Во мне, может быть, душа лошади – и я страдаю! Подлецы!!

Волосы у него сделались влажными, стали дыбом.

Я его взял за руку, а он как обожженный отскочил, закричал, перекинулся через перила веранды и давай по клумбам сигать, точно жеребенок...

– Ход коня! – кричит снизу. – Видишь? Париуй, подлец!

Прыгал он, прыгал, наконец, очевидно, острый пароксизм прошел, утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся тихо, жалобно плакать.

Я долго стоял над ним в раздумье. Положение было жестокое и глупое. Что Зубчинский мой сошел с ума – я, конечно, не сомневался. Но что с ним делать дальше? Помешательство, очевидно, буйное. Связать его и запереть в сарай – жаль. Все-таки приятель. До ближайшего доктора двадцать верст, до губернского города, в котором была и лечебница для умалишенных, – около тридцати. Но как довести его туда, этакое сокровище? Сумасшедшие необычайно подозрительны, хитры, и, конечно, мой Николай Платоныч сразу догадается, куда я его везу... А догадается – страшных вещей может наделать. Силища у них в этом состоянии непомерная – и Телохранителю, пожалуй, не справиться.

Пока я стоял так над ним в раздумье, приблизился мой управляющий – человек со светлой головой, бывший провинциальный актер, потянувшийся за мной на лоно природы. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделывал на клумбах мой кандидат прав, и поспешил на помощь.

Я отвел его в сторонку, посвятил в двух словах во всю эту глупую историю, спрашиваю:

– Что делать?

- Не иначе как в город везти нужно, в сумасшедший дом.
- Да ведь как его отвезешь-то? Ведь он тут все переломает и нас перекалечит.
- Хитростью надо взять.

Призадумался я – и вдруг, как птица крылом по воде, зацепилась у меня в мозгу мимолетная, но очень светлая мысль.

- Вот что... – сказал я. – Вы можете часа на четыре притвориться сумасшедшим?

Смотрит на меня управляющий умными глазами, ухмыляется:

- Конечно, могу. Актером я был неплохим.
- Ну и ладно. Попробую подловить на это беднягу. Сядьте-ка там за столом и скроите физиономию по возможности наиболее идиотскую. А я с ним поговорю.

А Николай Платоныч плакал, плакал и затих. Задремал, что ли... Сел я около него на ступеньки веранды, потряс его за плечо и говорю:

– Николай Платоныч, а Николай Платоныч! Поднял он измученное осунувшееся лицо и спрашивает:

- Что тебе?
- Послушай... У меня, брат, большое несчастье!
- А что такое?
- Мой управляющий с ума сошел.

В его тусклых глазах блеснул интерес.

- Да что ты? Гаврилов? С ума сошел? С чего же это он?
- А черт его знает. Понимаешь, стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил.
- Вот дурак-то! Как же это человек может проглотить крысу?
- То же самое и я ему говорю! Никаких резонов не принимает – сидит внутри крыса, да и только!

- А знаешь что? Дай я с ним поговорю. Может, урезоню.

Подошел к управляющему. Стал разглядывать его с огромным интересом и сочувствием.

- Послушайте, что с вами случилось?
- Крыса внутри сидит. Нынче нечаянно проглотил.
- Ну, Гаврилов, голубчик! Подумайте сами: ведь это вздор. Как это человек может проглотить крысу? Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода...

У моего Гаврилова лицо до того тупо-идиотское, что смотреть противно.

- Раз я вам говорю, что у меня внутри крыса, значит, она там. Вот приложите руку к животу – слышите, как скребет когтями внутри?
- Поймите, что никакое живое существо не выдержит температуры желудка...
- Не морочьте голову... Вы подкуплены хозяином. Плюнул Николай Платоныч, отошел ко мне:

– Форменный сумасшедший! Я ему логически доказываю, что не может быть живая крыса в человеческом животе, а он черт его знает что несет. Послушай... Давай его полечим, а?

- Чем же его лечить?!

– Покормим сеном. Живые соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благотворное действие на серое вещество мозга. Понимаешь – сочное сено! Накормим его, а?

Я сделал вид, что размышляю.

– Сено, конечно, очень полезная вещь. Но как его дозировать? Очень сильная доза может оказаться убийственной. Здесь без доктора не обойдешься.

- Так отвези его в сумасшедший дом, там его поставят на ноги.
- Я бы и отвез, но одному трудно. Друг Николай Платоныч, выручи! Давай его вместе отвезем.

- Послушай... А вдруг он догадается, куда мы его препровождаем?

– А ты с ним поговори. Соври что-нибудь. Николай Платоныч сомнительно покачал головой, приблизился к Гаврилову и сказал, хитро на меня поглядывая:

- Вот что, друг Гаврилов! Мы тут обсудили этот вопрос с крысой и решили вас везти в город

на операцию. Раз крыса в желудке, нужно его вскрыть и извлечь оттуда инородное тело. А потом уж я буду долечивать вас сеном – согласны?

– Я боюсь докторов! Вообще же есть у меня один приятель – доктор, да он в доме умалишенных служит.

Глаза сумасшедшего радостно блеснули.

– Ну, вот мы вас к нему и отвезем. Конечно, знакомый доктор лучше!

Он подошел ко мне на цыпочках и подмигнул на Гаврилова с дьявольски лукавым видом:

– Все устраивается как нельзя лучше. Этот болван со своей глупой крысой внутри сам лезет в лапы психиатров. Вели закладывать лошадей – мы его живо домчим.

И вот, когда мы уселись в экипаж, нужно было видеть, с какой трогательной заботливостью относился настоящий сумасшедший к поддельному. Он закрывал ему ноги пледом, хлопотливо засовывал за жилет клочок сена («Жизненная эссенция сена очень хорошо размягчает инородные тела внутри организма...»), изредка во время пути обращался к Гаврилову, сочувственно кивая головой:

– Ну, что, Гаврилов?.. Успокоилась крыса?

– Нет, ворочается, проклятая.

– Ах ты ж, история какая. Ну, потерпи, голубчик... вот привезем тебя, сделаем операцию – и все как рукой снимет.

Приехали. У ворот дома умалишенных Зубчинский заботливо помог Гаврилову выйти из экипажа и, деликатно поддерживая под локоть, стал всходить с ним по ступенькам лестницы.

Я шел сзади, а сердце отчего-то тоскливо ныло.

На наше счастье, в приемной находился в тот момент доктор с ассистентом и два здоровенных служителя в белых халатах.

– Чем могу служить? – деловито спросил доктор. Оставаясь благоразумно около входных дверей, я сделал незаметный знак доктору и сказал:

– Да вот приятель у меня захворал. Не можете ли вы его освидетельствовать?

– Понимаете, доктор, – развязно вступил в разговор Зубчинский. – Вообразил он, что в его животе сидит крыса, и...

– Дело, собственно, не во мне, – вежливо шагнул вперед, кланяясь и делая знак доктору, Гаврилов. – А мы привезли к вам господина Зубчинского...

Доктор опытным взглядом окинул лица обоих и сразу понял, в чем дело.

– То есть он шутит, – насильственно улыбаясь и странно дрожа, сказал заискивающе Зубчинский. – Если крыса действительно сидит внутри, то препарат свежего сена...

– Хорошо, хорошо. Но вы, господин Зубчинский, пока отдохните, вы устали с дороги. Уведите этого господина в восьмой номер!

Глаза Зубчинского странно округлились, он дернулся вперед, но четыре могучие руки уже клещами держали его сзади. Он увидел ясно сразу, все в один момент: Гаврилова, деловито что-то шепчущего на ухо доктору, и меня, отворачивающегося от него смущенное лицо, меня, который уговорил его помочь, меня, который уже взялся за ручку двери, чтобы уйти, покинуть его.

И страшный, как лязг железа, стон прорезал застоявшийся больничный воздух:

– Обманули!!! Доктор, они меня обманули!! Погиб!! Не помня себя я выскочил из приемной, кубарем скатился с лестницы и опомнился только тогда, когда Гаврилов догнал меня на улице, усадил в экипаж и мы выехали снова на степной простор среди желтеющих полей. Гаврилов молчал, но, если бы даже он заговорил, я бы не слышал его голоса. Все заглушалось этим до сих пор звенящим в ушах пронзительным криком, в котором слилось все человеческое отчаяние, ужас, страшный упрек и огромное страдание при столкновении с подлостью людской:

– Обманули!!!

Рассказ произвел большое впечатление. После общего молчания лежащий около Яблоньки Новакович вздохнул своей могучей грудью так, что даже приподнялся корпусом, и сказал задумчиво:

– Эти две истории – ваша, Меценат, и Мотылька – навалились на меня, как две надгробные плиты. Я возлагаю большие надежды на Яблоньку в смысле освежения этой склепообразной ске-

летоподобной атмосферы. Рассказывайте что хотите, Яблонька, и если даже вы заткнете какой-нибудь иллюминатор дельфином, все равно окружающие будут в восторге.

Яблонька погладила нежной, как лепестки розы, рукой огромную голову белого медведя и, сжав значительно губки, погрузилась в задумчивость... Потом решительно тряхнула жидким золотом своих растрепавшихся волос.

– История моя так же коротка, – улыбаясь, сказала она, – как и случай с двуногой собакой, хотя я и не так ленива и односложна, как ее автор Кузя. Так как у нас уже установилось правило, чтобы давать рассказываемым историям заглавия, то моя история должна называться несколько легкомысленно –

СВЯЗАЛСЯ ЧЕРТ С МЛАДЕНЦЕМ

Два года тому назад жила я с родными на даче. При даче был небольшой парк, который непосредственно переходил в лес, отделяясь от него деревянным высоким забором. По сю сторону забора стояла скамья, на которой я любила сиживать с томиком Тургенева или Гончарова, пригретая солнышком, обвеянная смолистым ароматом деревьев...

Сижу однажды, читаю, вдруг – слышу за забором шорох. Сначала я подумала, что это пробрается кто-нибудь из гуляющих дачников, переждала немного, опять углубилась в чтение, вдруг ухо мое ясно уловило за забором чье-то дыхание. Человек всегда инстинктивно чувствует, что за ним наблюдают, и я это сразу почувствовала: за забором в щель меня кто-то разглядывал...

– Кто там? – строго спросила я. И вслед за этим услышала шорох чьих-то быстро удаляющихся шагов.

Тут же этот пустяк сразу и вылетел из моей головы, но вечером, когда я вернулась с прогулки по озеру в свою комнату, мне в глаза бросилась странная вещь: на туалетном столике, прислоненный к зеркалу, стоял образ святителя Николая Чудотворца в золоченой ризе. Вне себя от удивления, я позвала прислугу, опросила всех домашних – все выразили полное недоумение: такого образа ни у кого в доме не было и в мою комнату никто не заходил, тем более что дверь была мною заперта.

Мы все в душе немного Шерлоки Холмсы, поэтому я, оставшись одна, стала на колени и внимательно освидетельствовала ковер. Следов, конечно, никаких не было, но по линии от раскрытого окна до туалетного столика я обнаружила несколько песчинок, лежавших небольшими островками на определенном друг от друга расстоянии. Конечно, это мне ничего не объяснило, так как и сама могла занести на подошвах эти песчинки – пришлось предать чудотворный случай с Николаем Чудотворцем забвению.

Но дня через два повторилось то же самое: утром чье-то дыхание за забором и шорохи, вечером на туалетном столике я обнаружила флакон французских духов, уже откупоренный и начатый.

Я опять взяла всех на допрос, и снова все отозвались полным незнанием, а горничная посоветовала запирать мое окно, выходящее в сад.

Я так и сделала, но на четвертый день окно оказалось открытым, а на столике лежало несколько книг в великолепных переплетах, но по содержанию их подбор был самый странный: два тома Энциклопедического словаря, том стихов Бодлера, роскошное издание «Бабочки Европы» Мензбира и «Семь смертных грехов» Эженя Сю в русском переводе...

Мне сделалось не по себе. Очевидно, кто-то через окно являлся в мою комнату, как к себе домой, и хотя ничего не уносил, а, наоборот, одаривал меня же, но, согласитесь, неприятно чувствовать, что «мой дом – моя крепость», это фундаментальное правило англичан, уже кем-то неоднократно нарушено.

На другое утро я, не переставая размышлять об этой дурацкой истории, захватила томик Бодлера и «Бабочки Европы» – с целью рассмотреть все это и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание... Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в разглядывание раскрашенных политипажей, – и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жокейской фуражке, при моем

движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием.

– Послушайте, молодой человек, – строго сказала я. – Подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц.

– Я не прячусь, – сконфуженно пробормотал рыжий «молодой человек», снова выглянув из-за забора. – Я тут... вообще на сад люблюсь.

Вдруг взгляд моего нового знакомого упал на книгу Мензбира, которую я держала в руках, и лицо его засияло от удовольствия:

– Понравилось вам, барышня? – спросил он, указывая грязной рукой на книгу. – Книжонка, кажется, стоящая. А? Чудеса, можно сказать, природы!

И тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений.

– Значит, это вы лазите через окно в мою комнату? – сурово спросила я, еле удерживая улыбку при виде его смущенного лица.

– Простите, барышня. Я ж ничего и не взял у вас. Наоборот, презентовал кой-чего на память.

– Зачем же вы это делаете?

– Очень вы мне приятны, лопни мои глаза! На вас и поглядеть-то – одно удовольствие. Сломайте мне два ребра, ежели вру!!

Объяснение в любви от такой нелепой рожи не могло польстить моему женскому тщеславию, и я сказала еще суровее:

– Чтоб этого больше никогда не было, слышите? И потом, я не хочу, чтоб вы тратили деньги на подобные глупости!

– Тю! Кто это? Я трачу? Об этом не извольте беспокоиться – ни копеечки-с! Все задаром. А образок я вам, как говорится, на счастье. А ежели что не нравится, так мигните – все настоящее предоставлю: из материи что али из брошков, с браслетов...

– Да вы что, купец, что ли?

– Так точно, – хитро ухмыльнулся он. – Почти что купец. Некупленным товаром торгую.

Я хотя и девушка, почти не знающая жизни, но сразу сообразила, что это за купцы такие, которые «некупленным товаром торгуют».

– А что, если я на вас полиции донесу?!

– Ни в жисть не донесете, – спокойно сказал он, пяля на меня свои глупо-влюбленные глаза. – Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести. Нешто такие беленькие доносят?

Этот вор был большим психологом. Я помолчала.

– Что же вам от меня нужно?

– Разик на вас глазом глянуть да презент какой исделать – больше мне ничего и не требуется. Уж такая вы барышня, что прямо на вас молиться хочется. Два ребра сломайте, ежели вру!

– Молиться, говорите, а сами для меня вещи воруете.

– Зачем специально для вас? Я кой-что и для себя делаю.

Посмотрела я на его рыжую расплывшуюся физиономию, и почему-то жалко мне его стало.

– Слушайте, голубчик... Если я вас о чем-то попрошу, вы сделаете?

– В один секунд! Голову себе или кому другому сверну, а добуду! Два ребра!..

– Вы меня не поняли!.. Я прошу вас о другом: бросьте это ваше... занятие!

Он призадумался, изящно почесывая оттопыренным большим пальцем рыжую голову.

– «Работу» бросить? Гнилой это плант ваш, прекрасная барышня. Делу я никакому не приучен – только «работать» могу. Да кто меня и возьмет на дело? Извольте полюбоваться на личность – прямо на роже волчий паспорт нарисован, за версту от меня воровом пахнет.

Ах, бедняга! В этом он был категорически прав, даже не клянясь двумя сломанными ребрами.

Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на правильный путь, но расстались мы друзьями. Он даже дал слово не таскать мне в окно «презентов», вымолил только разрешение «чествовать меня лесными цветочками».

Я видела, что встречи со мной доставляют ему огромную радость, и думаю я, что помимо этого невинного удовольствия – никаких утех в его горемычной жизни, исключая пьянство и чужие сломанные ребра, – никаких других утех не было!

Приходил он к забору в течение лета несколько раз. Я ему связала в «презент» гарусный шарф, а он перекидывал мне через забор «лесные цветочки», но и тут раза два по своей воровской натуре сжульничал, потому что однажды презентовал мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем, а другой раз преподнес букет великолепных оранжерейных цветов, бешено клянясь при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал в лесу. Дикий человек был (закончила Яблонька с ясной светлой улыбкой) – что с него взять!

– Где же он теперь, этот ваш рыцарь без страха, но с массой упреков?.. – ревниво спросил Новакович.

– Ах, я боялась этого вопроса, – уныло, со вздохом прошептала Яблонька. – Конец этой истории такой грустный, что я хотела не наводить на вас тоски... но раз вы спрашиваете – закончу: когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги. Недоумеваю, как он узнал мой адрес... В записке значилось: «Если вы точно что ангел, то не обезсудьте, придите проститься. Очень меня попортили на последней работе – легкия кусками из горла идут. Повидаться бы!! Лежу в Обуховской больнице, третья палата, спросить Образцова... Ежли ж когда придете – оже помру, – извините за беспокойство».

– Что ж... пошли? – тихо спросил Меценат.

– Конечно! Как же не пойти. Труд не большой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. Этакий рыжий неудачник, прости его Господи. При мне же и умер... Сдержал-таки свою любимую клятву «сломанными ребрами»: доктор говорил – три ребра сокрушили ему.

Вдруг Яблонька вздрогнула и, отдернув руку, лежавшую около Куколки, поднесла ее к лицу.

– Кто? Что это? Неужели Куколка? То, что вы поцеловали мою руку – так и быть, прощаю вам, но что на ней ваши слезы – нехорошо. Мужчина должен быть крепче.

– Господи! – в экстазе вскричал Куколка, приподнявшись с ковра на колени и молитвенно складывая руки. – Неужели такие женщины существуют? Как же, значит, прекрасен Божий мир!!

Мгновенную легкую неловкость развеял Мотылек:

– А ваша история, чувствительная Куклиная душа?! Вы должны ее рассказать – чтоб мне два ребра сломали!!

– О друзья! Позвольте мне ничего не рассказывать... После истории Яблоньки все другие истории покажутся шакальим воем. Да если вы хотите – самая чудесная история в моей жизни – это та, которую вы знаете: знакомство с такими замечательными людьми, как вы, и та сила, та мощь, которую вы в меня вдохнули и которая, я чувствую, сыграет огромную роль в моей жизни!! Последний бокал пью за ваше здоровье и счастье, мои родные друзья!! Уже поздно. Не пора ли спать? Этого вечера я никогда не забуду!..

Домой шел Куколка, пышно освещенный полной луной. Глаза его, полные слез, были обращены к небу, и там в неизмеримой роскошной глубине он видел прекрасного Бога, окруженного сонмом сверкающих серафимов и не чувствовал в этот момент Куколка под собой земли, потому что, когда наткнулся на уличную проститутку, то даже вопреки своему обыкновению не извинился.

Глава XIV куколка входит в моду

Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее, небо ярче и солнце светит, точно праздничная русская девушка в алом сарафане, идущая в церковь под бурный и радостный колокольный звон, – солнце светит тоже по-праздничному... Тогда будни уползают, как серые старые змеи, куда-то далеко и на душе весело, радостно. Тогда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки в дружески теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пылинки пляшут особенно беззаботно и лихо...

Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закурился, когда Куколка потянулся в своей постели и раскрыл сонные глаза.

Утренний церковный благовест разлился круглыми, тугими, упругими, как литые мячи, зву-

ками, и несколько таких медных мячиков-звуков запрыгало в Куколкиной комнате, схватившись за руки с пляшущими золотыми пылинками.

Этот веселый утренний бал окончательно вернул Куколку от сна к жизни.

Он бодро вскочил, накинул халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и, освеженный, особенно благодушный в предвкушении праздничного дня, важно развернул свежую газету. В отделе литературной хроники было написано и о нем:

«Входящий в известность писатель В. Шелковников едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать над задуманным им романом».

Куколка улыбнулся и с дружеским упреком покачал головой:

– Ах, Мотылек, Мотылек! Вечно он что-нибудь выдумает... Впрочем, это он для меня же. Какой такой роман? И в голове даже не было. А роман хорошо бы написать. Толстый такой. В трех частях.

Снова гулко и тяжело грянули воскресные колокола; Куколка при этих звуках вдруг бросил газету и всплеснул руками:

– Боже ты мой! А помолиться-то я и забыл!..

Очевидно, для Куколки это было важное упущение («Пойди-ка потом исправь! Как исправить?»), потому что он немедленно же опустился перед образом на колени и вознес к Богу ряд мелких и крупных молитв, где причудливо смешались воедино прошения и благодарения за посланное свыше: молился он за мать, за Россию, за Мецената и Мотылька, за Кузю и Новаковича – его новых, таких преданных друзей; за то, чтобы тираж «Вершин», где он секретарствовал, вырос вдвое, благодарил Бога за ниспосланный ему талант, вознес самую пышную гирлянду лучших отборных молитв за прекрасную, чудную Яблоньку, а вспомнив, кстати, и о ее знакомом рыжем воре, испросил и для него у Господа Бога мирного упокоения в селениях праведных.

Чистая душа был этот Куколка, и сердце его возносилось с просьбами ко Вседержителю с такой же сыновней простотой, с какой мальчишка выпрашивает у матери лишнюю горсть орехов.

Покончив с религиозными хлопотами и заботами, Куколка бодро нырнул в светские дела, а именно: выпил большую чашку кофе с двумя популярными филипповскими пирожками, еще тепленькими, и принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о Яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим Божьим созданием на земле, о романе в 3–4 частях, который он предполагает писать (так здоровое зерно, брошенное в черноземную почву, немедленно дает роскошные ростки), о взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке – о многом писал Куколка, много зернистых мыслей и сведений опрокинул со дна чернильницы на бумагу, много дряни и трухи втиснул туда же, инстинктивно памятуя, что родительский желудок все, все, решительно каждую крупицу с жадностью поглотит и все с благодарностью переварит...

Только что окончил Куколка письмо, как в дверь постучали.

– Пожалуйста, войдите, – разрешил Куколка. Господин с жесткой щетиной на лице и искательными глазами, в узкой, отлакированной временем, венскими стульями и пивными столиками без скатерти визитке, в брюках, чудовищно вздутых на коленях, будто он сунул туда два футбольных мяча, – такого вида господин вошел в комнату и поклонился с принужденной грацией щедро получившего на чай трактирного слуги.

– Простите, что врываюсь. Праздник. Отдых. Знаю. Но пресса безжалостна. Чудовище. Сжевывают зубами в конце концов всего человека.

К новоприбывшему чудовище-пресса, однако, отнеслась довольно милостиво: кроме наполовину сжеванного галстука и объединенного низа брюк, он почти не пострадал от зубов прессы.

– Да, насчет прессы вы верно отметили, – благосклонно согласился Куколка. – Чем вообще могу служить?

– Я от редакции «Вечерняя Звезда». Прислан. Интервьюировать. Вас. Разрешите!

Сердце Куколки бешено забилося и сладко, как на качелях, опустилось вниз, чтоб сейчас же еще слаще взлететь в поднебесье.

– Да что вы... Мне, право, так неловко. Зачем же вам беспокоиться... Я бы сам пришел, если

нужно.

На лице щетинистого изобразился благоговейный ужас.

– О, что вы! Как же мы осмелились бы беспокоить такого масти... (он чуть не сказал «масти-того», но, взглянув на юное простодушное лицо Куколки, спохватился) такого... популярного человека! Итак, разрешите?

– Извольте! – засуетился Куколка. – Да вы не хотите ли кофе выпить?.. Вот и булочки, масло, пирожок есть.

– Я, собственно, уже завтракал, – пробормотал интервьюер «Вечерней Звезды», в то же время обрушиваясь на предложенные продукты с такой яростью, что его слова о съеденном завтраке должны были бы относиться к эпохе семидесятых годов. – Эх, под такой бы пирожок бы да рюмочку бы водки... двуспальную!

На лице Куколки отразилось совершеннейшее отчаяние.

– Ах ты несчастье какое, Боже мой! Водки как раз и нет! И как это я упустил?! Впрочем, есть красное вино. Вы выпьете красного?!

Интервьюер закивал головой и промычал набитым ртом так энергично, что было очевидно – окраска предложенного напитка являлась для него мельчайшей деталью.

Наконец, отвалившись от стола, он допил последнюю каплю вина и сказал в виде оправдания своему хищному поведению:

– Прогулка, знаете, дьявольски развивает аппетит! Где родились?

– В Симбирске.

– Хороший город. Непременно побываю. Так и запишем: «Место рождения – Симбирск».

Учились?

– Учился.

– И правильно. Ученье, как говорится, свет. Почему начали писать?

– Тянуло меня к литературе.

– Благороднейшая тяга! Другого, паршивца, к бильярду тянет, ботифончик этакий заложить, а избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают или там к музыке какой ни на есть. На какие языки переведены?

– Собственно, еще ни на какие...

– Так и запишем: «Две поэмы вышли в английском переводе в „Меркюр-де-Франс“».

Репортер откинул назад голову и с такой восторженной любовью и гордостью артиста поглядел на четко выписанное им в памятной книжке название иностранного журнала, что у Куколки не хватило духу протестовать.

– Кого из классиков лично знали: Тургенева, Достоевского, Гончарова?

– Помилуйте, меня и на свете тогда не было.

– Прискорбно. Строк тридцать похитила у меня эта ваша молодость. Впрочем, черкнем штришок: «В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова – тогда еще малютку – и пророчески воскликнул: „Вот мой продолжатель!“».

– Но... ведь этого... не было!

– А почему вы знаете? Вдруг было, да вы по младенчеству не обратили внимания. Ваш любимый писатель?

– Пушкин.

– Так и занесем: «Пушкин и Достоевский». Говорят, роман пишете?

– Видите ли... я еще не знаю...

– Так-с. Тайна. Понимаю. Тайна – святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции. Э!

– Как вам сказать... – в отчаянии пробормотал Куколка.

– Так и запишем: «В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских Рудинных, оторвавшихся от земли...» Курите?

– Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать...

– Нет, мне бы, мне папироску. Ужасно курить хочется! Я в том смысле. Скажите еще что-нибудь копеек на тридцать! Для округления.

Куколка беспомощно взглянул на него. Что ему сказать? У бедняги даже мелькнула мысль предложить интервьюеру эти недостающие тридцать копеек наличными, но тот уже вдохновенно перебил его:

– Спортом занимаетесь? Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса. Нет? Ну, все равно займетесь на свободе. «Наш собеседник очень увлекается, кроме литературы, и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался: „Просвещенные мореплаватели – и вдруг бокс“. Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает в...» Ну, во что он вырастает, я после допишу. Дома.

Он перечитал написанное и вытянул губы трубочкой.

– Гм... суховато немного вышло. Ну, я дома еще иллюминую; красочкой кое-где трону. Ну, я побегал. Еще один фрукт на очереди. Посланник. Балканский вопрос. Рубля на четыре. Счастливо оставаться. Еще папиросочку. Можно? Три? Ну, три! Или пять? Для округления. Так, в Саратове родились? Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Чудно! Пляж. Фактории. «Эх ты, Волга», – как говаривал покойный Степан Разин. Эпос, а? До скорейшего.

Этот бедный поденщик пользовался в литературных кругах популярностью за одну свою странную особенность: получив в конце месяца из редакции деньги – рублей пятьдесят, – он, вместо того чтобы освежить свой туалет или расплатиться с пребывавшей в хронической панике квартирной хозяйкой, вместо этого он брал лихача на дутых шинах, мчался в «Аквариум», заказывал великолепный ужин в ложе, выходящей к сцене, пил шампанское, закуривал «гавану» и, купив у продавщицы пук красных роз на деньги, оставшиеся после уплаты по счету, барским жестом швырял цветы какой-нибудь пляшущей на сцене испанке, после чего пешком возвращался домой, опустошенный, но бодрый, бормоча себе под нос:

– По-великокняжески провел вечер! Ай да мы, Пегоносовы! Вот это жизнь! Красота! Ракета!

Манера разговаривать у него была тоже особенная, никому другому не свойственная. Мотылек почему-то называл эту манеру «фонетическим методом».

При встрече с Мотыльком он еще издали кричал:

– Здравствуйте, красавец! Зарабатываете? Красота! А галстучек-то! Мода! Король Эдуард пуговицу на жилетке для моды расстегивал! Англичане! Гибралтарский вопрос! Думаю в Испанию поехать – кастаньеты, танцовщицы, в «Аквариуме» давно были? Осетрина беарнез чудная! Рыбный вопрос! Думаю рыбной ловлей заняться! Море – Черное – Каспийское – Нефтяные вышки – Нобель – керосиновый король – красавец – зарабатывает!!

Эта бесконечная лента могла тянуться полчаса.

Теперь, когда он вышел от Куколки, Куколка минут пять сидел оглушенный, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили.

Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали.

– Можно?

– Можно.

Вошел седобородый старец, казалось весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке.

– Жаждал познакомиться... – мягким серебристым баском проворковал он, окружая руку Куколки двумя пухлыми ладонями, будто пуховой периной. – Вот вы какой!.. Совсем молодой. А мы уже старики-с! Да-с... На исходе. Вы в гору – мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит.

– С кем имею честь?.. – пробормотал Куколка. Посетитель назвал свою фамилию, и Куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе: носитель фамилии был крупный, по петербургскому масштабу, писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии.

Что его привело к бедному, в шутку раздутому, «как детский воздушный шар», по выражению Мотылька, Куколке? Захотелось ли ему при взгляде на Куколку вспомнить себя самого – молодым, входящим в моду, «взбирающимся на высокую гору»? Или уж очень он боялся отстать от века? Или захотел старый литературный слон, грешным делом, заручиться признательностью и дружбой будущей знаменитости? Бог его знает. Темны и извилисты пути артистической души на

закате!..

– Боже ты мой! – засуетился радостно смущенный, растерянный Куколка. – Я даже не знаю, какое кресло вам предложить! Ведь вы наш учитель! На какое почетное место посадить вас?!

– Э! Все равно в конце концов в калошу посадите, хе-хе. Впрочем, шучу. Вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершины»?

– Да... я там... секретарем.

– Хороший журнал. В моду входит. Я вам, кстати, чтоб не с пустыми руками заходить, вещицу принес. Кажется, удалась. Хотите, берите для журнала!

Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубнообразную «вещицу», и хотя был он восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что «вещица» уже бывалая. Следы ее путешествий ясно обозначались в виде истертых, потрепанных краев и карандашных ядовито-синих, не поддающихся резинке пометок на обложке: **«К взвр.»**

Тем не менее Куколка вещицу благоговейно взял и тут же заверил, что со своей стороны приложит все усилия, чтобы в ближайшее время... и так далее.

Был он еще мягок и сердечен, резко отличаясь от старых очерстневших редакционных тигров, жестоких палачей, живодеров, убийц и крушителей как робких, радостно начинающих, так и угрюмо кончающихся дарований.

– Ну, тепер я пойду... А то вы тут, может, творили что-нибудь... хе-хе... вечное, а я, старый брюзга, мешаю.

Еще раз Куколкина рука нырнула, как в душную пуховую перину, – в две чисто вымытые пухлые ладони, и плюшевый мягкий старик вышел, покачивая серебристой бородой, опираясь на трость с серебряным набалдашником.

После его ухода Куколка посидел еще немного в задумчивости, перечитал письмо к маме, дописал несколько строк и сказал сам себе, потирая лоб:

– Что-то мне еще нужно сделать?.. Неприятное, но необходимое... Гм! Со вчерашнего дня собираюсь. Ах да! Разыскать Мецената и поговорить с ним.

Куколка с гримаской почесал затылок, вынул из ящика письменного стола какую-то светло-фиолетовую записочку, перечитал ее, вздохнул и, энергично одевшись, решительно вышел из дому.

Глава XV мат меценату

Изменял ли жене Меценат? Никто из клеветов не мог сказать об этом ничего положительного или отрицательного. Вообще эта сторона жизни Мецената была окутана абсолютным мраком. В орбите его разнообразной жизни вращались кроме клеветов и несколько очень недурненьких девушек сорта, совершенно противоположного Яблоньке, но у Мецената к ним отношение было более отеческое, чем галантное. На ухаживание за ними вездесущего Мотылька Меценат смотрел сквозь пальцы, сам же ограничивался благодушным подшучиванием над всеми этими Мусями и Лелями, подкармливая Мусю и Лелю ужинами при упадке их личных дел и снабжая малой толикой денег под деликатным предлогом, что «мне твоя красная шляпа, Муся, действует на нервы. Возьми себе эту бумажку и купи что-нибудь менее кровавое!»

И Муси жалась к нему при всяких невзгодах, как попавшие под ливень пичуги к могучему гостеприимному дубу.

И сегодня – в этот воскресный день – Меценат тоже кейфовал не один, а обсаженный с двух сторон Мусей и Лелей. Сидели они в том самом кабинете кавказского погребка, где не так давно праздновался день рождения Принцессы, столь прекрасно воспетой Кузей в его импровизации о красоте лени.

Муся сидела справа от Мецената, Леля слева.

Леля была брюнетка в серой шляпе, Муся – блондинка в черной, с эспри. Кроме этого, ничем они друг от друга не отличались. Муся как Леля, Леля как Муся. Одним словом, девушки как девушки.

– Понимаете, Меценат, – рассказывала, волнуясь, Леля. – Когда мы познакомились, он уверял меня, что учится студентом в Лесном институте, а оказался простым приказчиком на дровяном складе вовсе. Как это вам покажется?

– Отчаяние и ужас, – серьезно сказал Меценат, прихлебывая белое вино. – Я бы не пережил этого удара.

– Знаете, я поэтому с ним и разошлась.

– Надеюсь, он не перенес разлуки и покончил с собой?

– Какое! Я сама так думала, а он за Дусей от «О бон гу» стал бегать, да еще и смеется вовсе!

– Смеется?! Возмутительный цинизм. Я бы его на вашем месте забыл.

– Я уже и забыла.

– Ну и умница. Почирикайте мне еще что-нибудь.

– Ха-ха! Что ж вы нас за птиц считаете, что ли? – кокетливо рассмеялась Муся. – Ужасно обидно, что вы нас даже, кажется, не считаете за интеллигентных вовсе. А я даже слушала курсы повивальных бабок!

– Святое призвание. Даю вам слово, если у меня родится ребенок, вы будете первая бабка, которая повеет его.

– Да я не кончила курсы. Все из-за того Гришки, который был инструктором на скетинге. Из-за него и курсы бросила, а потом долго плакала вовсе.

– Значит, ты, Муся, пожертвовала карьерой ради сердца... Такая жертва угодна Богу.

– Какой вы странный, Меценат. Говорите серьезно, а будто смеетесь вовсе.

– Смех сквозь невидимые миру слезы. Ну, чирикните еще что-нибудь.

Муся надула губки.

– Да что мы вам, люди или птицы?!

– Конечно, люди! За убийство каждой из вас убийца будет осужден на такой же срок, как и за убийство Льва Толстого. Значит, с точки зрения юриспруденции вы имеете такой же удельный вес, как и Лев Толстой.

– А у меня есть открытка Льва Толстого.

– Быть не может! Повезло старику.

– Меценат, а кто вам больше нравится – Муся или я? Но этот рискованный вопрос остался без ответа, потому что в ту же минуту из-за портьеры, заменявшей дверь, выглянуло смущенное лицо Куколки.

– Простите, Меценат... Я, право бы, не решился, но я думал, что вы одни. Почтенная Анна Матвеевна сказала, что вы сюда поехали... Я думал, с вами наши...

– Да чего вы там на пороге бормочете извинения?! Входите. Вот познакомьтесь с этими бабышнями: левая – Муся, правая – Леля. Пожалуйста, не перепутайте только, это очень важно.

– Какой хорошенький, – проворковала Муся, косо, как птичка, поглядывая на Куколку. – Прямо куколка.

– Да его Куколкой и зовут, – рассмеялся Меценат.

– Неужели?.. Какая странная фамилия.

– Видите, собственно, моя фамилия Шелковников. Имя мое – Валентин, отчество...

И Куколка добросовестно выложил всю подноготную, благо тут не было Мотылька, который никогда не давал ему закончить полного своего титула.

– Но я вас буду лучше называть Куколка. Можно? Вы актер?

– Нет, я поэт.

– Как чудно! Напишите мне стишки.

– С удовольствием, – с невозмутимой вежливостью, характеризующей его в отношениях ко всем окружающим, согласился Куколка. – Выберу свободный час и напишу.

Потом обратил свое лицо, на которое налетело неуловимое облачко заботы, к Меценату:

– Простите, милый Меценат, но я, собственно, к вам по делу. Поговорить бы нужно. Очень серьезно.

Брови Мецената дрогнули от легкого удивления и какого-то тайного смущения, но он сейчас же деловито кивнул головой Куколке и встал.

– Это легко устроить даже сейчас. Тут рядом свободный кабинет. Перейдем туда. А вы, миледи, попросите еще вина и фруктов – позабавьтесь минутку без меня. Наболевший вопрос о предателе – приказчике дровяного склада еще не обсужден вами с исчерпывающей ясностью.

По искусственной веселости Мецената было заметно, что он немного внутренне сжался перед «серьезным разговором», потому что в его грешной голове сразу же мелькнула мысль: уж не открылась ли вся «Кукольная комедия» и не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки «в космических размерах».

Но о том, что случилось на самом деле, бедный Меценат и не догадывался и не мог бы догадаться, если бы ему дали на догадки три года срока.

В пустом кабинете электричество не горело и весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, помещавшемся высоко, а на улицу выходившем низко – в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылинки на окне, но они не танцевали, как давеча в комнатке Куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то выжидая. Скатерть со стола была снята, и на голой столовой доске ясно обозначилась цифра «8», получившаяся из двух следов от стоявших рядом мокрых стаканов с вином. На стене висела преглупая картина «Отдыхающая одалиска» – полногрудая женщина, играющая с ручным леопардом на пестром ковре.

Все вышеописанные подробности Меценат заметил не сразу, а втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось «это», и осели в мозгу на всю будущую жизнь. Даже запах – причудливая смесь из зеленого лука, лимона, тертого сухого барбариса и острого овечьего сыра, – даже этот специфический аромат, вьедшийся в стены комнаты, долго потом преследовал Мецената.

Когда они вошли в кабинет, Куколка повернулся лицом к свету и, положив свою изящную тонкую руку на могучее плечо Мецената, сказал с некоторым волнением:

– Верите ли вы мне, Меценат, что я люблю вас больше, чем всех остальных?

– Верю, – немного колеблясь, ответил Меценат.

– Очень хорошо. Тогда мне легче говорить. Верите ли вы, что я сейчас обращаюсь именно к вам, потому что вы самый умный, самый добрый и вообще... Вы мне напоминаете доброго Бога-Отца, к которому всякий человек имеет право обратиться со всякой просьбой, за всяким – самым даже диким – советом. Верите?

Такое лестное сравнение немного испугало Мецената, и он с трудом преодолел себя, чтобы скрыть смущение:

– Куколка! Да что же случилось?

– У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее, к кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу. Дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось.

– Вам нужен совет? – облегченно вздохнул Меценат. – Говорите смело. Что будет в моих силах...

– Меценат! Вы... не считаете меня фатом?..

– Боже сохрани!

– За это спасибо. Иначе бы я не мог и рта раскрыть. Слушайте же! Одна женщина призналась мне в любви и... как бы это сказать?... немного даже преследует меня. А я, видите ли, ее не люблю. Признаюсь уже во всем: мне нравится другая. А эта первая... она хоть и красавица, да не по душе мне.

И доверчиво закончил:

– Это бывает, Меценат?

– Бывает, – усмехнулся мудрый конфидент. – Скажите, Куколка, а вы давали первой женщине... какой-нибудь повод?

– Ни малейшего. Я только был вежлив, как со всеми прочими... А случилось другое. Согласитесь сами, разыгрывать Прекрасного Иосифа – роль чрезвычайно глупая, но что ж делать, когда у меня совсем другие мысли и... стремления. Вы умный и опытный, посоветуйте, как это ликвидировать?

– Гм!.. Если вы мне так доверились, так доверяйтесь до конца! Чтобы дать вам толковый совет, я должен знать: кто эта первая? Эта жена Пентефрия? А?

– Я думал, вы сами догадаетесь! Впрочем, уж буду говорить все прямо, как на исповеди: Ее Высочество.

Меценат в недоумении поглядел на него:

– Какое... Высочество?

– Ах, Боже мой, да та красавица, которая была с нами в прошлом месяце в этом ресторане. Еще Новакович рассказывал, что она на воздушном шаре от отца бежала... Ну... Принцесса, одним словом!

Потолок был и без того низкий, а в этот момент он спустился еще ниже, с треском ударил Мецената по темени, пригнул его и расплющил... Меценат молча покачнулся, уцепился за спинку стула и осел, будто из него кто-то волшебной силой сразу вынул костяк.

– Что с вами, Меценат? Вы как будто чем-то поражены? Может, мне не следовало этого говорить?

– Нет, ничего, ничего, – замахал трепещущей рукой Меценат. – Это я просто, кажется, выпил вина больше, чем полагается... Подождите!

Он отошел к окну, поднял локти, оперся о подоконник и долго и внимательно разглядывал пылинки, осевшие на стекле.

Мысли у него были разорванные, растрепанные, как облака после бури...

«Вот эта дождевая засохшая клякса чрезвычайно напоминает очертание Африки, – подумал Меценат. – Да... Африка! Туда мы не доехали... Поленилась Принцесса. А будь мы в Египте – ничего бы этого и не случилось... Восемь лет!.. И как легко их составить, эти восемь: след от двух пустых осушенных винных стаканов рядышком – вот тебе и восьмерка. Гм... Ленивая одалиска... Пожалуй, что и не ленивая. И одалиска не ленивая, и леопард – не леопард».

– Я с ним и в цирк, и в кинематограф, как порядочная, а потом его товарищ, знаешь, брюнетик такой, Вася, говорит: «Да какой он студент Лесного института?! На дровяном складе служит. Доски записывает вовсе». – «Что вы ко мне со своими досками лезете», – говорю я, а сама плачу, плачу, как дура, верное слово, плачу, – доносила из-за стены монотонная, печальная повесть Лели.

Меценат вдруг оторвался от окна и обратил совершенно спокойное лицо к Куколке:

– Ф-фу! Прошло. Ну, теперь рассказывайте, севильский обольститель, как же это все случилось?

– Да вот – в самых кратких словах, потому что вас там дамы ждут, неловко оставлять их скучать! На другой день после знакомства заехал я к ней просто из вежливости, думал, не застану дома, оставлю карточку. Вдруг говорят: «Вас просят». Ну, выпили мы чаю, посидели... то есть сидел я, она лежала... Поговорили. Ухожу я, она говорит: приезжайте еще на днях, привозите стихи, почитайте. Я думал, она стихами заинтересовалась! Приехал вторично, стал ей читать, а она, представьте, заснула, кажется! Очень странная дама. Потом, когда я кончил, очнулась и говорит: «Что вы там сидите, сядьте около меня!» Присел я на кушетку, а эта самая... Принцесса стала мне волосы гладить. Я думал все-таки, что кое-что из моих стихов ей понравилось и она... одобряет, а она обняла меня за шею и говорит вдруг: «Поцелуйте меня!» Я немножко испугался и ушел. Потом она два раза вызывала меня к телефону...

Сама заезжала в экипаже... Кататься на Острова приглашала... Я один раз по слабости характера поехал, потом стал отказываться... Неприятно, знаете, когда человек все время говорит: «Вы меня разбудили, вы меня разбудили».

– Да... неужели... она заезжала за вами?!

– Ей-богу.

– Но ведь эта... Принцесса... ленива, как сотня сытых кошек!

– Не знаю, что с ней случилось – совсем не такая, как первый вечер... Глаза сверкают, румянец во всю щеку и губы облизывает, как вампир, ищущий крови. Я ее даже, знаете ли, немного боюсь. Вчера вечером четвертую записку от нее получил. Звонит, пишет, заезжает...

– Что ж вы от меня хотите? – странным голосом спросил Меценат.

– Вы с ней... ближе знакомы, чем я. Посоветуйте, как всю эту историю ликвидировать? Чтобы было не обидно для нее и чтоб мне не терять мужского достоинства. Такая неприятность, знае-

те! В первый раз у меня это. Впрочем, простите, Меценат... но, может быть, мне было бы лучше посоветоваться по этому поводу не с вами, а... с Новаковичем, например? А то вы... какой-то странный!

– Нет, нет. Вы как раз обратились по настоящему адресу. Умнее ничего нельзя было придумать! А сделайте вы, чтобы выйти с честью, вот что... Возьмите портрет той особы, которую вы любите, напишите на обороте: «Моя невеста» – да и пошлите ей без всякого письма. Она поймет, и все кончится красиво.

– Вы думаете? А это... удобно?

– Чрезвычайно. Я вам советую, как лицо... не заинтересованное.

За портьерой вдруг послышался мужской смех, возня и крики:

– Да куда это они уединились?! Телохранитель! У Куколки с Меценатом секреты – не подкапывается ли Куколка под нас? Не хочет ли понизить наш курс в глазах Мецената?!

Кузя и Мотылек под предводительством Новаковича бесцеремонно ворвались в кабинет с одалиской и леопардом на стене и остановились, удивленные; на них в упор смотрели черные неподвижные глаза Мецената, и... никогда еще клеветы не видели такого странного взгляда.

– Простите, Меценат... Если вы еще не кончили, мы подождем.

– О нет! Мы уже свободны. Куколка читал мне по секрету свою новую поэму, и... это... оказалось... дьявольски сильная вещь!!

– Закончили поэму? – осведомился профессиональным тоном Мотылек.

– Да! Закончу, – твердо отвечал Куколка. – Сегодня же.

Глава XVI

самая короткая глава этой книги

В нарядном будуаре Веры Антоновны сидел Новакович, почти расплющив своим мощным телом хрупкий воздушный пуф, и говорил:

– Недоумеваю, за каким чертом Меценат не сам к вам явился, а послал меня. Такая простая вещь... Говоря кратко – он просит у вас отпуск.

– Какой отпуск? Боже, как это все... утомительно.

– Для нас? Нисколько не утомительно. Он собирается ехать на Волгу – от Рыбинска до Астрахани и обратно – и берет с собой Мотылька, Кузю и меня.

Вера Антоновна полузакрывает засверкавшие глаза и сонно спросила:

– Конечно, и Куколку берет?

– О нет! На что нам этот юродивый... Он забавен только в столице как объект Мотыльковых затей. Так как же... даете Меценату отпуск?

– О, Боже мой... когда же я его удерживала! Пусть едет. Желая вам веселиться. Ох, как я устала!

Исполнив поручение, Новакович сидел и томительно молчал. Хотя был он человек разговорчивый, но знал – с мраморной статуей не разговоришься.

– Да... такие-то дела, – пробормотал он, собираясь встать. – Так-то, значит. Вот оно какво.

И вдруг странный вопрос Принцессы пригвоздил его к месту:

– Скажите, Телохранитель... Эта ваша знаменитая Яблонька – очень красивая?

– О, описать ее красоту так же трудно, как...

Вдруг его взгляд упал на одно место огромного ковра, покрывавшего пол, и фраза осталась незаконченной.

– Ну, чего ж вы замолчали? Говорите!

– Так же трудно описать Яблоньку, как...

– Ну?!

– Так же трудно... как...

– Боже, какой вы нудный!!

Но Новакович не слушал: он наклонил корпус и впился ястребиным взглядом в часть пушистого ковра около кушетки...

– Так же труд... Боже мой, да вот ее кусок!.. Что это?

Быстрее молнии он упал на колени и поднял запутавшийся между бахромой края ковра кусок фотографической карточки.

– С ума я схожу?! Ведь это часть лица моей... нашей любимой, неповторяемой Яблоньки! Глаз ее! Кусочек ее капризной нижней губки... Принцесса! Что случилось?

Принцесса вдруг уткнулась лицом в подушку, так быстро, что ее бурные, как черный вихрь, волосы разметались во все стороны. Поглядывая одним сверкающим глазом из этого водопада темных струй, она вдруг спросила сурово, почти грозно:

– Вы ее любите, Новакович?

– Правду вам сказать? Больше света Божьего!

– Так и ступайте вон! Дурак вы! И вообще все вы дураки!

Плечи ее затряслись, она конвульсивно изогнулась, как раненая королевская тигрица; она извивалась, заглушая подушкой еле слышные стоны.

– Истерика или нет? – спросил сам себя Новакович, вертя в руках обрывок карточки. – Пожалуй, что нет. С жиру бесится наша Принцесса! Нет, на истерику не похоже. Обыкновенный дождик без грома и молний. Что бы это значило?

– Уходите! Скорей!! Сейчас же... отсюда!

Он пожал плечами и на цыпочках вышел из комнаты.

Глава XVII крылья куколки

Меценат в одиночестве шагал по своей огромной гостиной, как дикий зверь в клетке, отталяющая ногой стулья и делая такие резкие повороты, будто он оборачивался на чей-то невидимый удар сзади.

Но когда в дверь постучали, он отпрыгнул в сторону, повалился на диван и сказал равнодушным сонным голосом:

– Ну, кто там? Войдите. А! Ты, Кузя!

– Вы, кажется, спали? Я вас разбудил?

– Наоборот.

Кузя с треском опустил в свое обычное кресло и, не обращая внимания на загадочный ответ Мецената, погрузился в мрачное молчание.

– Что с тобой, Кузя? Кузя промолчал.

– Что-нибудь случилось?

Кузя помолчал и вдруг прорвался, точно вода из проткнутой гвоздем пожарной кишки:

– Меценат! Да ведь он форменный мошенник! Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но... я ведь профессионал! Мне простительно! А тут... это такое грязное животное!

– В чем же дело, Кузя? Ты сегодня разговариваешь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало.

– Проиграл!!

– В шахматы?

– А то во что же? Все свои личные деньги, да еще ваших малую толику прихватил, что вы давеча дали на покупку чемоданов! Уехали мы, чтоб его нечистый взял!!

– Проиграл?! Кому?

– Кому же, как не этому дьявольскому Куколке! Видали вы такого мерзавца?! Ясные детские глазки, серебристый, как у девчонки, голосок, а сам форменный бандит с большой дороги.

«Я, видите ли, дилетант (совсем непохоже передразнил Кузя), мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться!.. Я давно не играл...» Не играл ты давно? Чтоб на том свете черти твоим черепом так давно не играли!! Показал он мне старушку в кадушке! Я ему свои гамбитики да дебюты пешки, а он... черт его знает, как парирует... Гляжу – ан королеве моей деваться и некуда! А на четвертой партии такой гамбит показал, что уж не знаю, как его и назвать... Гамбит Чертовой Куклы, что

ли?! Меценат! Дадите свеженьких денег на чемоданы? Если нет, так выгоняйте уж сразу! Чтоб не мучиться.

По странному совпадению клеветы стали слетаться «на огонек» – один за другим.

Вторым влетел Мотылек:

– А я к вам на огонек... Куколки не было?

– Нет, этой Чертовой Куклы не было, – мрачно пробурчал Кузя.

– Почему Чертовой? – живо обернулся Мотылек. – Ты тоже, значит, все узнал?!

– Кое-что узнал... Мотылек завизжал:

– Ну, как вам это понравится!! Когда я нынче прочел, что издательство «Альбатрос» купило его книгу – лучшее издательство! – я чуть не упал на улице под копыта лошадей!! Болваны! Они моим заметкам поверили! Старушки в кадушках на подушках заскачут теперь по всей России!

Подумайте! Я собрал том стихов – ожерелье чистейшего жемчуга, – и это «ожерелье» валяется у меня в столе, мертвое, неподвижное, будто оно из свинцовых пуль, а этот болотный пузырь со своими «Зовами утра» выскочил и – пожалуйста!! Ну, пусть же книжонка его выйдет – хохот, треск и скандалище пойдет на всю Россию!! О, дурачье! О, трижды идиоты!!

– Кто трижды идиоты? – спросил Новакович, входя без стука и поймав на лету последнюю энергичную фразу.

– Пожалуй, что и мы. А ты из нас первый. Черт тебя надал притащить тогда эту чертову Куколку! Сколько я из-за него крови испортил!! Сидит он теперь на моем секретарском месте и небось смеется, подлец, в кулак. Ведь не будь его, меня бы снова, может быть, позвали в «Вершины» секретарствовать!

– Не будь его – я бы сегодня не проиграл кроме своих денег еще и Меценатовых чемоданов, – меланхолично добавил Кузя.

Новакович поглядел на Кузю с любопытством:

– Неужели Куколке проиграл? В шахматы? Однако! Да, вот что, Меценат... Я сейчас от Великолепной! Отпуск вам милостиво разрешен. Да-с, да-с, да-с... вы не можете, Меценат, объяснить мне одной дьявольщины: каким образом в будуар Принцессы попала Яблонька?! Вот кусочек ее спас. В ключья разорвана.

– Так это... Яблонька?! – ахнул Меценат, и тут же в душе вздохнул Меценат, и, забыв о собственных переживаниях, уныло пробормотал Меценат: – Бедный Телохранитель!

– Что вы там бормочете?

– Это я стараюсь догадаться, в чем дело! Действительно, за каким чертом попала карточка Яблоньки к моей жене? Да еще разорванная. Уж не приревновала ли меня Принцесса к Яблоньке?..

– Иначе я и не могу объяснить, – угрюмо пожал плечами Новакович. – Хотя вы ведь никакого повода не давали. А? Меценат?

– Ни малейшего.

– На обороте ничего не написано? – спросил Мотылек.

– Ах, я даже не посмотрел! Вот тут... Гм!.. Странно: «Моя не...» Дальше оторвано. Удивительная загадка!

– Почему ж ты не спросил у Принцессы?!

– Поди-ка спроси! Истерика у нее, у вашей Принцессы! Дураком меня назвала и выгнала, – с досадой сказал Новакович.

Мотылек сморщил лицо:

– Мы с Принцессой почти сошлись во взглядах: она назвала тебя дураком, когда ты выходил от нее, я – когда ты входил к нам.

– Да почему же именно я дурак? Я от Куколки не потерпел урона, как ты с Кузей! Мы с Меценатом остались неуязвимы! Правда, Меценат?

Меценат, не отвечая, отошел в угол, уткнулся в него и, кажется, засмеялся... По крайней мере, плечи у него дрожали, как у смеющегося.

– Да, – искоса поглядывая на странно смеющегося Мецената, покровительственно говорил Новакович. – Ты сам, Мотылек, виноват в отношении Куколки. Заварил эту кашу с газетной ре-

кламой, да и не знаешь, как ее теперь расхлебать. Как неопытный спирт, вызвать призрак – вызвал, а как теперь его спровадить обратно – и не знаешь. Теперь уж машина завертелась без тебя! Не читали интервью с Куколкой в «Вечерней Звезде»? Это уж помимо вас кто-то постарался. И где родился, и как родился, и почему родился, и все такое...

– Да ведь лопнет же все это! – завопил Мотылек. – Не может не лопнуть! Ведь если выйдет книжка – старушку в избушке никуда не спрятать. Черным по белому! А стоит только этой дурацкой старушке выглянуть из избушки, как все полетит к черту!

– Стучала я, стучала, – сказала, входя, Яблонька, – а вы так тут кричите, хоть из пушек пали. «Здравствуйте, разбойнички», – как говорит няня. А Куколки еще нет?..

– И вы насчет Куколки? – горько усмехнулся Новакович.

– Да... он мне сказал, что сейчас придет. Чего это вы все носики повесили?

Яблонька была по-прежнему ласкова и тепла, как солнечный луч, но наблюдательный Меценат заметил, что в ее ясных глазах мелькало какое-то легкое и милое смущение.

– Куколка, Куколку, Куколкой, о Куколке, – продекламировал Кузя.

В дверь постучали.

– А! Вот и Куколка. Комплект полный!

– Друзья! – с порога закричал Куколка. – Я так счастлив, так счастлив и за себя и за вас, Мотылек!! Вы снова можете занять ваше секретарское место!!

– Что такое? – с тайной радостью спросил Мотылек. – И вас так же «ушли» из редакции, как меня?

– Наоборот! Все складывается наилучшим образом. Помните, я вам говорил, что редактор переходит в ежедневную газету? И знаете, кого издатель пригласил на освободившееся место редактора? Меня! Премилейший человек. И подумать только, что всем этим я обязан вам!

– А правда ли, – спросил Кузя вместо Мотылька, который при последних словах Куколки странно хрюкнул, завалился за спинку дивана и затих, – правда ли, что «Альбатрос» издает вашу книгу?..

– Да, – сияя прекрасными светлыми глазами, радостно подтвердил Куколка. – Можете поздравить. Да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы.

– Где?! – взвился из-за дивана, как пружина, Мотылек. – Покажите!!

– Да вот они. Я уже и корректуру продержал.

Мотылек лихорадочно, дрожащими руками рылся в длинных полосах бумаги и, странно дрожа, допрашивал:

– А старушка где? Старушка есть? А? Есть? Старушка в избушке? Где она? Куда вы ее тут засунули?..

– Я совершенно не понимаю, – искренно удивился Куколка, – почему вам так исключительно нравятся эти стихи? Я их сюда и не включал.

Мотылек подскочил к Куколке и принялся трясти его за плечи:

– Как не включили? Почему нет?! Ведь вы же написали эти стихи или не вы?!

– Я-то я... Но, спросите, когда? Это старый грех. Мне тогда было лет шестнадцать. Когда Новакович попросил меня прочесть в кафе тогда при первом знакомстве все мои стихи, я и стал читать их в хронологическом порядке. А он вдруг на этой самой несовершенной «старушке» неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к Меценату. Да... дом Мецената принес мне счастье, друзья! Но, впрочем, дело и не в литературных успехах. Гм! Теперь вы будете, господа, приятно поражены...

Куколка обвел всех восторженным взором...

– В доме Мецената я нашел самое большое счастье на земле. Позвольте, друзья, представить вам мою невесту!! Чего вы так краснеете, Яблонька? Через месяц наша свадьба, и мы едем во Флоренцию – буду там с вашего благословения новую вещь для «Альбатроса» писать. Роман в трех частях. Уже заказан.

Все окаменели. А Кузя подобрался бочком к комку странных морщин, под которыми с большим трудом можно было разглядеть черты Мотылька, и дружески шепнул ему:

– Подойди же, поздравь, дружище. А то неловко. У тебя лицо, как старый кисет, из которого

вытрясли весь табак!

Потом подобрался к закрывшему лицо рукой, будто ослепленному Новаковичу и доброжелательно толкнул его в бок:

– Не горюй, чего там. Мало ли хороших женщин? Я, брат, недавно познакомился с одной – ну точь-в-точь как моя незабвенная вдова, которую вы так неделикатно назвали «затрапезной», – хочешь, познакомлю?.. Так и быть, забирай ее себе. А я другую для себя пошарю.

Яблонька скорбно и виновато поглядела на Новаковича и вдруг заторопилась:

– Ох, ведь нам уже ехать нужно! Мы на минутку забежали. Вале еще нужно корректуру в типографию отвезти. Валя, поедем! До свидания, разбойнички.

Меценат и клеветы снова остались одни в большой мрачной комнате, окутанной тишиной.

Неслышными шагами вошла Анна Матвеевна и остановилась у притолоки, пригорюнившись:

– Ага! Вся гоп-компания в сборе... Чего это у вас темно так? Сидите, сычи какие словно, наохлились. Небось коньячище опять хлестать будете, разбойники?! Сюда подать на ковре али по-христиански – в столовую?

Кузя подмигнул Меценату на Мотылька и Новаковича, совсем затушеванных сумерками, и, неслышно подойдя к нему, шепнул:

– Это, пожалуй, лучший выход из положения. А? Меценат? Коньяк!

Меценат вдруг подпрыгнул на диване и выпрямился – старый, дряхлеющий, но все еще мощный лев.

– Ну, ребята, нечего нюнить!! Глади весело!! Ходи козырем! Выпьем нынче, чтоб звон пошел, а завтра айда к берегам старой матушки Волги – целой разбойничьей ватагой... Айда! На широкие речные просторы, на светлые струи, куда Стенька Разин швырял женщин, как котят! Туда им, впрочем, и дорога!

– Аминь! – восторженно закричал Кузя. – Долой Петербург, да здравствуют Жигули! Кальвия! Почествуйте волжскую вольницу!! «Что ж вы, черти, приуныли... Эй ты, Филька, шут! пляши!! Грянем, братцы, удалую – за помин ее души!»

заключение

О, могущественное Время! Будь ты трижды благословенно. Ты лучший врач и лучшее лекарство, потому что никакие препараты медицинской кухни не затягивают, не закрывают так благоговорно глубоких открытых ран, как ты, вечно текущее, седое, мудрое!

Читатель! Если ты через год заглянул бы в – уже так хорошо тебе знакомую – темную гостиную Мецената – ты тихо улыбнулся бы, увидев, что все на своем месте:

Меценат в одном углу, одетый в белый полотняный балахон, лепит новый бюст Мотылька, важно восседающего на высоком стуле, в другом углу возится со штангой, выбрасывая сверху свои могучие, будто веревками – мускулами опутанные руки Новакович; в глубоком кресле мирно покоится, поедая апельсин, Кузя...

А у дверей стоит Кальвия Криспинилла и в тысячу первый раз кротко бормочет:

– Опять ты, разбойник, шкурки на ковер бросаешь?! Управы на тебя нет, на мытаря!..

Zoopot, 1923 г.